АХИЯР
ХАКИМОВ

Плач домбры

БИБЛИОТЕКА
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"
Основана в 1971 году

АХИЯР ХАКИМОВ

Плач домбры

РОМАНЫ. ПОВЕСТЬ

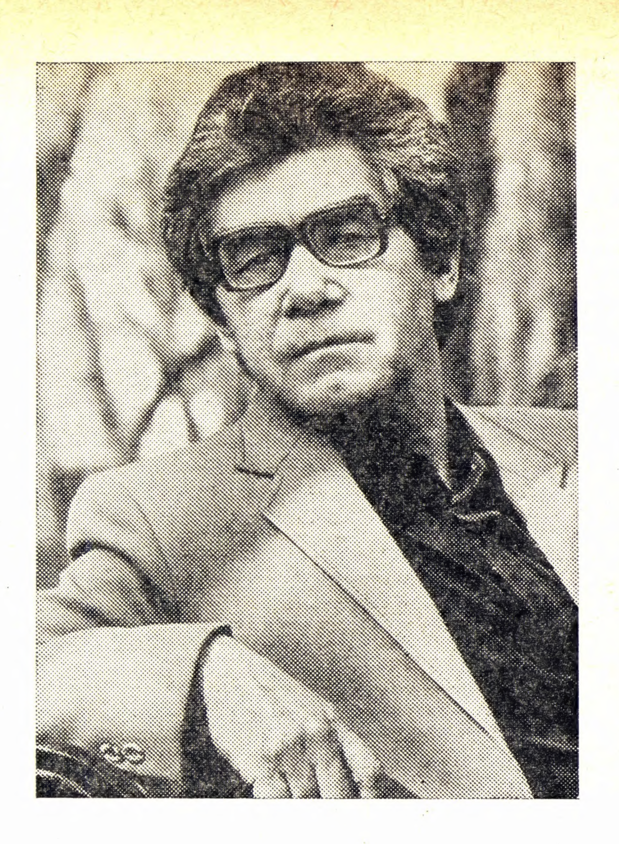
Перевод с башкирского И. Каримова

МОСКВА
"Известия"
1991

ББК 84Баш7
Х16

Х $\frac{4702110600—018}{074(02)—91}$ 97—91 подписное

ISBN 5—206—00213—5



Художник И. БРОННИКОВ

ПЛАЧ ДОМБРЫ

Кто-то осторожно подергал подложенный под голову дорожный мешок. Путник, молодой джигит лет двадцати, еще и не проснулся, но рука забегала, заискала.

— Крепко же спишь, агай [1],— озорно сверкнув глазами, сказал худенький, одетый в лохмотья мальчик лет двенадцати.

— А? Что? Где они? — Путник вскинулся и сел.— Где?

— Ты о ком? Больше здесь никого нет. У меня телка потерялась. Залез я вон на тот осокорь: дай, думаю, оттуда высмотрю — а высмотрел тебя,— принялся рассказывать мальчик.— Все лежишь и лежишь. Подхожу, а ты бредишь, во сне заговариваешь.

У путника уже весь сон вышел.

— Ты чего за чужой мешок хватаешься, а? — Он глянул на круглое, крапчатое, как воробьиное яйцо, с маленьким вздернутым носиком лицо и с трудом удержал улыбку.— Телку-то нашел?

— Найти-то нашел... Да только есть хочется,— хмыкнул тот.— Мешок-то, похоже, у тебя не пустой.

— Ха! Можно подумать, он мне на сохранение давал! — И, тут же отбросив нарочитый свой гнев, обнял мальчика — ведь то была первая живая душа, которую он после затянувшихся на три года чужедальних странствий увидел в родных краях.

Даже не отерев навернувшихся слез, он принялся расспрашивать мальчика. Оказывается, на здешних травах нынче летует род сарыш — сильная ветвь племени кара-кипчаков. Мальчик живет у родственника в кочевье Богары — отец с матерью умерли, когда ему было три года. Зовут его Ильтуганом, пасет коров Богары.

[1] **Агай** — обращение к старшему.

Путник поделился с ним остатками дорожной пищи, дал четвертушку лепешки, твердой, как обломок точила, и отсыпал в его черную заскорузлую, как птичья лапка, руку горстку изюма и пять-шесть орехов, что берег на гостинец.

— Кто же ты такой, агай, а? — Ильтуган глаз не отрывал от него. Щедрость и приветливость незнакомца вконец покорили его.

— Странник я, браток, прохожий. Зовут меня Хабрау. Из тех стран возвращаюсь, куда и птицы наши не долетают. Что не ешь? Сам же говорил: проголодался.

Пока мальчик яростно крушил лепешку, Хабрау оглядывал родную степь, и привядшая было тоска-печаль долгих, проведенных на чужбине дней снова потянулась к душе.

Да и было ли все это?

Неужели с чего-то началось? Может, сон это и мальчик разбудил, вывел его из долгого сумрачного сна?

Нет, не сон обманчивый — ясная явь. Все это Хабрау видел, все изведал и пережил. И все началось в то весеннее утро, когда милая его мать все повторяла мягким встревоженным голосом, пытаясь согнать с него сон...

1

— Вставай, сынок, проснись, бредишь ведь,— говорит мать.

А Хабрау стонет, руками машет, испугался чего-то.

Во сне он попал в черный непроглядный ураган, сбился с дороги и, не видя пути, метался, бросался из стороны в сторону.

Ветер, закрутившись в смерч, бил его, отрывал от земли, а Хабрау пытался удержаться, хватался за слабые кустики и, словно сцепившись в обхват с самим ураганом, изнемогал в борьбе.

А внутри смерча, еще чернее его черных струй, носятся какие-то всадники в черных личинах на вертких черных конях.

Но дошел сквозь тьму, пробился голос матери, он вскочил и сел. Моргая глазами, в которых еще не разошелся сумрак сна, огляделся по сторонам.

— Что вы там мешкаете? Хабрау, тебе говорю! Ждешь, когда за полдень перевалит? — донеслось снаружи ворчание отца.

Еще толком не проснувшись, Хабрау вылетел из юр-

ты — где там за полдень, солнце еще и через дальние-то отроги не перетянулось. Берега Сайылмыша, широкую пойму и ложбины затянуло сизым туманом. Ни звука. Долгий миг, когда аул еще выходит из рассветного сна.

Хабрау — с широкими дугами бровей, с орлиным носом, стройный, хорошего роста джигит — зябко поежился от сырого воздуха и повел плечами. А отец уж ждет верхом на высоком длиннотулом вороном жеребце. Сыну, еще не очнувшемуся ото сна, он показался могучим богатырем, о которых в детстве мать и бабушка рассказывали ему в сказках.

— Крепко спишь. Носит тебя где-то до полуночи, утром не добудишься,— проворчал отец.

Брови насуплены. Однако, судя по тому, как мягко погладил вислые усы, как подбоченился в седле, как важно прокашлялся, прочистил горло,— не сердится. Хочет, по обыкновению, показать себя мужем решительным, ухватистым, потому и говорит сурово:

— Лошадь твоя под седлом, одевайся и — в дорогу.

Вчера был праздник науруз.

Весь день Хабрау играл, дул в курай и бренчал на домбре, веселил молодежь и сам плясал вместе с ними, пел кубаиры [1].

Однако молодой поросли дня не хватило. Хабрау вернулся домой, когда уже на востоке прочертилась алая заря. Потому и вчерашний наказ отца вылетел из головы.

О том, что предстоит дорога, отец предупредил, а вот куда — не сказал. Наверное, мать тоже ничего не знает. Если бы знала, то уже была в хлопотах, собирала в дорогу. Но путь, видать, недалек, и Хабрау оделся легко, только чекмень накинул. К тому же к его седлу ничего не приторочено. Впрочем, отец, кажется, позаботился: куржин [2], что на вороном, набит по обе завязки.

На слова жены: «Хотя бы подождал, пока поест»,— Кылыс-кашка [3] и бровью не повел.

— Полон куржин еды. Проголодается, в дороге пожует,— сказал он. Велел сыну взять домбру. Больше ни слова.

Прислушиваясь к резвой иноходи, Хабрау ломал голову: что же вынесло их в столь раннее путешествие?

---

[1] Кубаир — жанр устной поэзии, поэма.
[2] Куржин — переметная сума.
[3] Кашка — богатырь, почтенный муж.

Часа через два впереди показалось большое становье.

— На яйляу Богары едем?— спросил Хабрау, нарушив долгое молчание.

Кылыс молчал. Он остановился возле серой березы, усеянной набухшими уже почками, слез с коня. Достал из куржина небольшой бурдюк, развязал его и налил в деревянную чашку кумыса. Выпил сам, потом налил сыну. Они сели рядом на большой валун, закусили вяленым мясом и курутом. Когда поели, Кылыс положил руку на плечи сына и сказал:

— Через три месяца семнадцать тебе будет, на восемнадцатый пойдет. Человек в этом возрасте, если умом не ущербен и телом не калека, о своей жизни наперед должен думать. К воинскому ремеслу, воинской потехе, к щиту и сабле ты равнодушен. С малых лет курай и домбра в руках.— Кылыс, уткнув взгляд в землю, некоторое время сидел молча, и по тому, как переложил из руки в руку камчу, вдруг неожиданно похлопал сына по спине, было ясно, что сейчас он потянет нитку непростых для него, непривычных мыслей, начнет распутывать вылежавший в груди клубок. Покашляет, слегка прочистит горло, совсем уже соберется сказать — и опять упрячется слово, будто птенец в гнездо.

— Слушаю, отец,— сказал Хабрау. Во взгляде — удивление и легкая тревога.

— Вот и слушай. Так что... Надумали мы тебя отправить учиться.

— Надумали? И мама тоже? А мне — ни слова...

— Погоди-ка, ты тоже не это...— странно осипшим голосом сказал Кылыс, враз помягчел, от смущения взял камчу за концы и дернул, словно испытал, насколько она крепка. Сыромять лишь сухо щелкнула.— Сказать ведь ей — слезами озеро нальет. Так тебе и самому вроде учение по сердцу. Богара, он жизнь знает, дурного не посоветует.— Кашка влез на коня и, не оглядываясь, на легкой рысце поехал к становью.

Хабрау вконец растерялся. Что за учение? Какое? С чего вдруг? Куда хотят послать? В те немногие книги, которые удалось выменять у проходящих караванов на скотину, он, хоть и с трудом, но вгрызается, постигает науку. Сколько добра отец за них отдал, а сколько он, Хабрау, труда в эту грамоту вложил — неужто этого мало? К тому же, сказать по совести, в книгах этих ничего такого, чтобы разумом зайтись, и нет. Или про влюбленных, в долгой разлуке тоской исходящих, или про какого-

нибудь батыра, который все с разными драконами, чертями, упырями и прочей нечистью тягается, будто мужчине другого дела нет. Таких сказок он и от покойницы бабушки чуть ли не с колыбели наслушался. У Хабрау на уме другое. Чувства, мелодии, которые рождаются в его душе, родниковой струей пробиваются в его домбре, звенят в ее струнах и тянут за собою слова, и рождаются песни.

Как полюбились вчера на празднике друзьям-ровесникам его песни — и протяжные, и быстрые, озорные!

Кто знает, может, и он станет известным йырау[1], и слава его догонит славу знаменитого усергеневского певца и сказителя Йылкыбая. Он еще и собственные кубаиры будет сочинять.

Хабрау, растерянный, ехал чуть позади отца. Мерно покачивался он под легкую рысь коня,— а мысли его метались...

Повернул бы коня да помчался домой — отца стыдно. «Через три месяца семнадцать тебе исполнится...» Сказал так отец, и Хабрау сразу почувствовал себя взрослым. Выдержка нужна, солидность.

Словно услышав мысли сына, Кылыс-кашка придержал коня.

— В юрте Богары человек гостит. Очень, говорят, ученый мулла. Из Орды, правда, но худого от него пока не видели. Не то что другие муллы — те на каждом шагу криком заходятся: безбожники, дескать, эти башкиры, язычники. Он же говорит, что люди в мусульманство своей охотой, своим чередом переходить должны. И против, значит, всяких угроз и запугиваний.

— Ты чего это муллу принялся расхваливать? — Хабрау поднял удивленный взгляд на отца.

— Ладно, ладно... не рвись, не торопись. Покуда от него мы только пользу видим. В прошлый раз, как встретились, он все говорил: «Эх, Кылыс-батыр, мир-то этими степями да Уральскими горами не кончается. Есть на свете и большие города, где собраны знания всей земли, мудрость и ремесла. Слышал, сын у тебя сметливый. Учиться бы надо ему. Выучится и станет светочем науки, своим знанием будет освещать эти степи». И Богара его слова подхватил. Если, говорит, вышли бы из наших кочевий ученые люди, у всего народа глаза бы раскрылись.

---

[1] Йырау — музыкант и поэт-сказитель.

— Подожди-ка, отец. Я-то при чем? Они там говорили, я здесь сижу. Ты же сам слушал мои песни, задорил все: «Быть тебе сэсэном!»

— И сейчас то же самое скажу,— перебил сына Кылыс-батыр.— Всю дорогу о том твержу. У ученого человека и язык другой. Короче — решили отправить тебя на учение, в город Сыгнак. Не думай, я это не впопыхах надумал. Решился не сразу. У меня тоже лишнего сына нет.

— Где же он, этот Сыгнак?

От дрогнувшего голоса сына Кылыс смутился.

— Далеко, говорят.— Он прокашлялся.— Верблюжий караван два месяца идет. Да ты не робей. На этой лошади, с полным куржином и тронешься.

В белой юрте Богары было застолье. Сам хозяин и пятеро гостей.

Хабрау знал их — все свои, люди почтенные, отцы рода. А тот, в белоснежной чалме, меднолицый, с рыжеватыми усами и бородой, не иначе как тот самый мулла, о котором говорил отец.

— Очень хорошо, очень кстати, кашка, что привел сына,— зачиная беседу, сказал Богара Кылысу.— Оказывается, караван, что на том берегу Яика встал на отдых, с рассветом уходит.

У Хабрау сердце замерло. Выходит, и домой съездить не успеет, с матерью не попрощается? И, даже в лучистые ее глаза не взглянув, отправится в дальнее странствие?

— Караванбаши мой верный друг, чистой души человек. Даст бог, от бурь и напастей спасет, живым-здоровым довезет Хабрау до назначенного места,— улыбнулся мулла. Вынул из-за пазухи свиток.— Эта бумага, Хабрау, мое послание настоятелю и учителю самого большого, самого славного медресе в Сыгнаке. Клянусь верой, если скажешь, что послал тебя Абубакир-мулла, с распростертыми объятиями тебя примет.

— Так ведь... Как же я, отцы, в такое лихое время доберусь до этого Сыгнака? Никто и слыхом о нем не слыхивал и в глаза его не видел... Только за Яик перейдешь, как ногаи словят! — Хабрау покраснел от собственной смелости — заговорить при стариках! — и взгляд его перебежал с отца на Богару и обратно.

— Пусть это тебя не тревожит,— сказал мулла и положил рядом с лежавшим на кошме письмом медную

пайцзу[1].— Если в пути встретится ханское войско, во время досмотра покажешь вот эту пайцзу. И что еще хочу сказать, Хабрау. Говорят, в книжной речи ты малость разумен. А в медресе еще и письму выучишься, от плодов мудрости великих умов вкусишь. Сам видишь, земля ваша коснеет в невежестве, от наук и просвещения в стороне прозябает. Муллы вам нужны, и такие муллы, чтобы из вашего же народа вышли, одной с вами крови.

— Да, да,— в четыре бороды покивали аксакалы.

— Афарин, почтенный,— сказал Богара. И, словно в подтверждение слов благочинного, притянул к себе Хабрау и похлопал его по спине.— Мир повидаешь, ума наберешься. И не заметим, как год пройдет.

— Ну, в час добрый! — Мулла прошептал в сложенные горсти молитву и провел ладонями по лицу. После полуденного намаза — в путь. Я тебя караванбаши сам представлю,— кивнул он Хабрау.

Хабрау, не зная, что делать и как молвить, только и пробормотал потерянно:

— Одежонка вот у меня... я и не успел...

— Не горюй, байбисе[2] обо всем подумала: и одежду приготовила, и еды на дорогу припасла,— сказал Богара и взмахом руки показал, чтобы шел в юрту к Татлыбике.

— Без увечий и бед ходи, жив и здоров возвращайся, дитятко, вместо матери благословляю тебя,— прошептала байбисе и накинула ему на плечи красивый мелкостеганый зилян[3], дала в руки увесистый сверток.

Так весной 1379 года с наказом постичь учение дин-ислама[4] отправили его в далекое путешествие.

Без особой охоты, без особого рвения вышел Хабрау в путь. Особенно скребло на душе оттого, что строгий и суровый отец ни словом не обмолвился заранее. Хоть бы намек скользнул — он бы догадался, он бы попрощался с друзьями-ровесниками, с кем с малых лет пас стадо, гонял на лошадях, с кем играл-ватажничал, но прежде всех попрощался бы с милой родимой матерью. В мыслях он видел ее плачущей, согбенной горем, и темней становилась тоска. Как выдали сестру замуж, остался Хабрау единственным ребенком на родительских руках, последним в гнезде птенцом.

---

[1] Пайцза — знак, дающий право на проезд.

[2] Байбисе — хозяйка богатого кочевья.

[3] Зилян — халат.

[4] Дин-ислам — мусульманская вера.

Остальные братья и сестры еще в младенчестве умерли от разных болезней. У отца, Кылыс-батыра, вся жизнь на службе у Богары проходит. Чем, какими радостями, какими заботами-печалями будет жить осиротевшая мать?

* * *

Первый раз в жизни вышел Хабрау в такой далекий путь, впервые увидел чужие земли.

Мерно, величественно, лишь постанывая порою, вышагивают верблюды, верховая охрана то вперед уносится, дорогу выведывает, то, гарцуя, ходит вокруг каравана. Только встанут на привал, сразу завязывается оживленная беседа. Караванщики, бывалые путешественники, рассказывают об удивительных приключениях, случавшихся с ними в их дальних странствиях. Быль и небыль, правда и вымысел — все идет вперемешку.

Однако на первых порах вид у Хабрау был пасмурный. Все было будто во сне. И как уехал, и сейчас — словно несет его по бескрайнему, неоглядному морю и он отдался течению и не знает, не ведает, к какому берегу его вынесет.

Одно удивительно: отчего это отцу, который и мулл, и дин-ислам до этого не очень-то жаловал, вздумалось вдруг послать его учиться на муллу? В чем смысл? Или умысел? И зачем таился? Почему открыто, начистоту не поговорил с ним и с матерью?

— Что приуныл, юный истяк?[1] Зря печалишься. Величие и богатство Сыгнака достойно семи чудес света. Попадешь туда, и Яик свой и Сакмару, все забудешь,— посмеиваясь, успокаивал его караванбаши. То ли шутит, то ли всерьез.

А сам он из каких краев? И забыл ли в бесконечных дорогах, долгих годах свой родной дом? И вечерами, когда разжигают костер на привале, в заметавшемся над казаном дыме ловит ли он сквозь верблюжий запах ту горечь, какая была в дымке родного очага, как ловит ее Хабрау?

И все запахи расцветающей степи перебивал этот дымок, и оттого не затихало в душе Хабрау чувство обиды и несогласия. Ладно еще, отец — о чем он подумал? — велел взять с собой домбру. Порою не выдержит Хабрау и возьмет в руки домбру, и словно тот дымок, тот горь-

[1] Истяк (иштяк) — так раньше называли башкир.

кий вечерний ветерок коснется струн — и зазвенят долгие печальные мелодии родной стороны. А уж когда путники примутся упрашивать, он и споет что-нибудь. Конечно, о том, чтобы муллой стать, он и мысли не допускал. Страсть одна, мечта одна. Возьмет в руки домбру — в домбре душа просыпается, а запоет — звучный и сильный голос его тоскливому сердцу в исцеление. А сколько песен он сам придумал! Но Богара и Кылыс-батыр его страсть не уважили, с мечтами его не посчитались, всю его жизнь круто на свой лад завернули. К добру ли это? К недобру ли?

И время было тревожное. Весь мир в неурядицах. Нет покоя в Великой Орде. Только один хан усядется на престол, как, глядишь, он уже убит и на его место другого посадили. Оттого и на дорогах, что ведут в Сыгнак, столицу Белой Орды, разбойничает всякий сброд. К тому же, после того как два года назад владыка Белой Орды Урусхан убил Тайгужу-углана, правителя Мангышлака, сын Тайгужи, Тохтамыш, бежал под покровительство Хромого Тимура и теперь там собирает войско. Куда ни пойди, а все равно на берегах Сырдарьи наткнешься на заставы Тохтамыша.

Через месяц пути караван, с которым шел Хабрау, тоже остановили. Разъезд в пятьдесят всадников окружил путников и погнал в ставку Тохтамыша.

Тохтамыш, тщившийся выказать себя властителем просвещенным и великодушным, полководцем суровым, но справедливым, большого вреда купцам чинить не стал и, удовольствовавшись богатыми подношениями, караван пропустил. Но в Сыгнак, к которому уже два года примеривался и теперь собирался разнести вдребезги, идти не разрешил, велел поворачивать верблюдов на Хорезм.

Как и всегда, в поисках безопасности к каравану прибилось много всякого бродячего люда. Ясно, что были здесь и дервиши-каландары, что бродили в поисках истины небесной, и юноши, что вышли в путь в поисках мудрости земной, были и рабы, бежавшие от своих колодок, о лазутчиках и соглядатаях и говорить нечего, эти всегда возле караванов крутятся.

Таковых — человек двадцать — отделили от каравана и посадили в яму. Сказывали, что допрашивать их будет сам Тохтамыш.

Через три дня началось дознание. Тех, кто показался подозрительным, забили в колодки, а тех, кто шел без

злого умысла и божьим промыслом, отпустили на все четыре стороны, вернее — на три, на Сыгнак дорога была закрыта и им. «Слышал, слышал о башкирах,— с важностью проговорил Тохтамыш, когда узнал, из каких земель идет Хабрау,— у нас их истяками называют. Народ храбрый и злой, вот несчастливый только. Правда, нет? Знаю, знаю, пьет вашу кровь Голубая Орда, батманами пьет. Недолго ждать осталось, вот соберу Дом Джучи воедино и вас под свое крыло возьму». И еще: «Божью, значит, истину постигать идешь? Одобряю. Не то в ваших краях от языческих обычаев все никак не отойдут». Повелел Хабрау пристать к дервишам и идти в Самарканд. «Повели уж и коня моего вернуть, сардар»,— сказал джигит. «Зачем тебе лошадь? —усмехнулся Тохтамыш.— Она же сбилась... В обузу только. К тому же в святой город пешком войти прилично». Приказал нукеру, стоявшему рядом на часах, выдать стоимость лошади деньгами. В руки Хабрау тут же сунули три серебряные монетки. Как ни жаль было любимой лошади, но тут не поспоришь, он это уже понял.

Скуластый, с серым, словно прикопченным лицом, с острыми, как у ястреба, глазами, Тохтамыш не понравился ему сразу. Высокомерие его, важный ли разговор и повадки уязвили, или намерения его — еще один на башкирские земли, и без того страдающие от вражьих набегов, зарится! — разозлили,— от этой встречи в душе осталась какая-то тоскливая оскомина. Откуда им было знать, что через восемь лет они встретятся снова. Тохтамыш уже будет сидеть на ордынском престоле, а прославленный уже сэсэн Хабрау опять пленником предстанет перед ханом, чтобы держать ответ за свои кубаиры, направленные против Орды. А пока и сардар, который хотел с помощью могучего Тимура добраться до престола Белой Орды, и молодой джигит с домброй в руке и с печалью в душе были словно две подхваченные стремниной щепки.

Теперь, когда нукеры из Тохтамышевой своры отобрали и пайцзу, и письмо муллы, ему оставалось полагаться лишь на свои силы и сметку. Одно-единственное утешение — старая домбра. Ладно, хоть на нее никто не позарился, отдали обратно.

Сославшись на то, что его разлучили с караваном, Хабрау мог бы и повернуть домой. Он было и собрался, но все же сообразил, насколько это будет опрометчиво. Разве такая эта дорога, чтобы одолеть ее в одиночку?

Без лошади, без пайцзы. И еды ни кусочка. Так он поневоле пристал к дервишам и, слушая их удивительные рассказы, зашагал в славную столицу Хромого Владыки. Где тьма застанет, там и ночевка, что бог пошлет, тем и сыты.

Стояла самая жаркая в этих краях пора, называемая саратан. Солнце вставало в дымке, потом светлело, разгоралось, огнем палило, Хабрау иссох, почернел, как головешка. Случалось, что и падал на землю без сил. Спасибо, спутники не бросали его. Дервиши, которые бренную свою жизнь посвятили поискам истины и справедливости, силы свои клали, чтобы обучить детей человеческих благочестию, на такой грех пойти не могли. Оно конечно, при случае и эти благочестивые души о своей праведности забывали и пропитания ради мелким воровством не брезговали. Заблудшую ли козу или овечку прирезать и съесть, хлеба ли, плодов ли с дерева прихватить, когда хозяин не видит,— это для них ничего не стоило. Впрочем, у здешнего мусульманского люда и так уже голова кругом шла от благочестия, дервишей они почитали за святых и охотно поили-кормили их.

Среди попутчиков Хабрау были и арабы, и персы, и тюрки. Дервиши, исходившие весь Восток вдоль и поперек, свободно говорили на многих языках. Были среди них и такие, что учились в самых прославленных медресе, постигая учение великих философов. Когда Хабрау немного разобрался в сути споров, освоился с их языком, он стал с жадностью слушать беседы. Чуткий, жаждущий познаний ум его каждую новость, каждый дастан из уст своих спутников, удивительные случаи поглощал, как иссохший песок поглощает воду.

Только с одним не соглашался джигит-полуязычник. О чем бы ни говорили дервиши, все дела они откладывали на потом, на «мир иной». Все радости, все горести бренного мира — сон обманчивый, ветер мимолетный. Что бог послал, тому и радуйся, тем и живи. Богатство, роскошь ли, разор или нищета — все преходяще, все минет. С сильным не борись, с обидчиком не судись.

Нет, таких посылов Хабрау принять не может!

Немного он прожил на свете, но что видел и слышал, что успел понять, все говорило против того, во что веровали дервиши. Отчего же тогда ордынцам, которые считают себя правоверными мусульманами, не довольствоваться тем, что аллах послал? Радуйся и живи! Нет же, не довольствуются и раздирают башкирские земли.

И войны, и кровавые усобицы, измена и коварство — не ради ли того богатства, обманчивого и мимолетного, как толкуют дервиши?

И что особенно удивляло Хабрау — это как они относятся друг к другу. Еда и питье всем поровну, заболеет кто — все вместе выхаживают. А как станут на отдых, на ночевку, то такой заведут спор — сущие враги, словно для рукопашной сошлись, ни с одним словом противника не соглашаются, так бы взяли и языки друг другу оттоптали. Из диких этих перепалок Хабрау узнал, что одни из них — сунниты, другие — шииты. К тому же шестеро из дервишей-шиитов относятся к секте накешбенди, самой фанатичной, с самыми суровыми, порой даже изуверскими обычаями. Эти в самый разгар спора примутся вопить: «Ты — истинный боже, аллах! Только ты!» Повстречав кого-нибудь из местных, они становятся особенно усердными: сверкая глазами, кричат в речитатив, до хрипоты, до изнеможения славят аллаха. Лохмотья одежды, ниспадающие из-под остроконечной шляпы волосы развеваются на ветру, пронзительные голоса наводят ужас. Если кто, дескать, не будет поклоняться святому Али, грянет тому на голову божье проклятье, а на том свете будут варить его в кипящей смоле и на раскаленной сковороде жарить.

Хабрау и это в диво. Думает он, думает, вспоминает тех бакши[1], которые нет-нет да и попадаются еще в его родных краях. Те тоже извергают проклятия, но только уже на ислам, и с такой же яростью, с какой эти дервиши восхваляют его. Чтó мусульманская вера, чтó языческое суеверие — сразу и не отличишь. Однако со своими спутниками, и особенно с ретивыми шиитами, вступать в спор не рисковал. Только все, что видел и слышал, низал на нить. Но если вдруг на привале кто-то из дервишей вынимал из заплечной сумы книгу и садился читать, джигит не находил себе места.

Вот, оказывается, тоска, чтó горящим углем жгла ему сердце,— страсть к познанию, к книжному слову! Одна теперь тяга — скорее добраться до Самарканда, скорее избавиться от этой своей ущербности. Если он, как и его спутники, сподобится такому счастью и сможет прочитать книги великих ученых и мыслителей, он свои знания впустую, как эти дервиши, горлом не истратит, а все силы отдаст, чтобы просветить темное, не про-

[1] Бакши — языческий жрец, шаман.

бужденное еще сознание своего народа, вывести его на путь к истине.

Но все же к этим дервишам, которые в трудной дороге были ему верными спутниками, от бед и невзгод оберегали и, более всего, заронили в его душу первую жаркую искру мысли, раздразнили жажду к знаниям, он сохранил благодарность на всю жизнь.

Когда Хабрау вошел в Самарканд, деньги, что хранил он завернутыми в кушак, были уже истрачены все до последнего медяка. Он не знал, как быть, куда податься. Но тут помог один из спутников. Был это суфий [1], нрава тихого и лет уже преклонных. Он-то и устроил парня к знакомому мударрису в услужение.

Дом старого ученого и его медресе занимали целую махаллю [2] и расположены были в густом, как лес, саду неподалеку от площади Регистан. И хотя пришел Хабрау на чужбину, но ступил он на эту прекрасную землю и почувствовал, что тело его, измаявшееся за четыре месяца тяжкого странствия, нашло отдых и облегчение.

2

Сарыш, сильный род кипчакских башкир, владел широкими степями, раскинувшимися от Яика на север до берегов Тока.

Не было в этих краях человека богаче, человека знатнее, чем Богара, глава рода. Табуны его лошадей, словно черные тучи, овечьи стада его, словно белые облака, растекаясь, застилали долины. На сотни верст разбрелись десятки его кочевых аулов.

Почтенные богатые мужи, доблестные богатыри, мудрые, много изведавшие аксакалы только и смотрят на Богару, каждое его слово на лету ловят. Бой-баранта [3] ли завяжется, сватовство, свадьба ли, большая байга затеется, или распря из-за наследства вспыхнет — все только его слова ждут.

Куда ни приедет — его место всех выше, всех почетнее, каждый ему угодить старается. Даже ногаи и те вынуждены считаться с Богарой.

Понимает Богара: хочешь жить в мире — крепи свои мышцы, то есть оружие держи наготове. И, понимая это,

---

[1] Суфий — последователь мистико-аскетического учения.
[2] Махалля — часть, район города.
[3] Баранта — набег с целью угона скота.

раздал он четыремстам джигитам каждому по сагайдаку — а в нем лук с налучником и колчан со стрелами, по сабле и по седлу с полной сбруей. О том, что они учатся военному ремеслу, ратной сноровки набираются, никто ногаев в известность не ставит. Посмотреть, так у Богары, кроме сорока — пятидесяти человек охраны, другого войска и нет. Однако войско-то есть. Старшине рода только подбородком повести — глазом моргнуть не успеешь, уже все четыреста в седлах и в полном вооружении. Вот какая палица охраняет его вольную жизнь. Оттого и другие роды косятся на эту палицу и стараются ладить с Богарой.

Уж на что Байгильде, старейшина рода сайкан, человек злой и безоглядный, выдал дочь за ногайского сотника и решился потягаться с Богарой, но почуял, что против сарыша слабоват, задавил в себе ярость, склонил голову вслед за другими и повинился. «Ты и я — оба мы черные кипчаки. Жить нужно мирно и по чести»,— сказал он и отдал свою младшую пятнадцатилетнюю дочь за Аргына, сына Богары.

Однако дело вышло не совсем по чести. Вернув калым прежнему жениху, с которым дочь была обручена с детства, ненасытный Байгильде нарушил обычай. Но семья Богары на это закрыла глаза, и аксакалы вдоль шерстки погладили: в делах саясат — политики, дескать, и слегка в сторону вильнуть не возбраняется. Аргын было заупрямился — только где уж с отцом-то тягаться, где сила, чтобы от дела, коли он его надумал, отворотить?

Сыграли свадьбу — вся округа сотрясалась. Богара размахнулся широко. «Отведает человек от моего угощения,— полагал он,— и станет мне другом, в дороге спутником будет, в бою — соратником, верным воином». Потому не только знатных и богатых турэ созвал и потчевал он, но и батыров победней и даже совсем неимущую молодь, которая, однако, оружие в руках держать могла. И не жалел об этом. С одной стороны, Байгильде, породнившись с сарышами, сам, своей охотой в капкан влез, впредь уже так зарываться не будет, с другой стороны — народу по душе пришлось.

Ясно, что эти свадебные хлопоты в стороне от настороженного внимания ногаев не остались. Но Богара и тут предусмотрел: зная, что те попытаются сунуться, не оставил им для этого никакого повода. Не любят в Орде, когда на берегах Яика играют большую свадьбу или за-

тевают большую байгу. У башкира, известно, где гульба — там и бунт. Хитрый Богара первым делом, чтобы молодым честь по чести, по мусульманскому обычаю прочитать никах[1], привез из ногайской ставки Абубакира-муллу, накормил-напоил его до отрыжки, по самое темя завалил подарками и проводил с почетом. А потом, когда гульба на убыль пошла, и игры отыграли, и байга отшумела, и молодежь по своим становьям разошлась, собрал всех старейшин и тут уже принял гостем сына ногайского эмира Кутлыяра-мирзу.

Ногаи уверены, что в делах веры Богара крепок, не пошатнешь. Оттого хоть род сарыш и не больно жалуют, но в своем постоянном жестком натиске на башкирские земли считают вроде как опорой. Где веру чтят, там и народ податлив: что ни есть, все, дескать, от аллаха, кряхтит да постанывает, но ясак — подати — платит. Так полагают в Орде.

Но Богара и силу религии себе на пользу обернуть хочет. Пусть бродячие муллы снуют в народе, пусть перетягивают его в мусульманскую веру. Но то у башкирского-то Тенгри и за грех не считается, когда разные роды поклоняются разным идолам — у каждого свой зверь и своя птица. А от этого только беспорядок. Хочешь, чтобы вся страна одной жизнью, одной душой жила, то и вера у нее должна быть одна.

Конечно, Богара и сам дитя своего Тенгри, чьей святой милостью из поколения в поколение растет мощь и слава рода. И гнев его тоже страшен и тоже над головой висит. Но у ислама слово весомей, уздечка, чтобы чернь удержать, крепче, да и силы, чтобы к порядку его приучить, побольше. Поэтому Богара, когда встречался с Абубакиром-муллой, в споры не лез, веру своих предков отстаивал не очень рьяно. Доводов-то маловато. А что до стариков, то их помыслы ясней ясного. Лишь бы чернь на постромки налегала, до остального дела нет. Впрочем, и тут надо с оглядкой. И их зря не теребить, и мулле угодить, и торги свои с Тенгри совсем уж не обрывать.

Сейчас Богара в самом расцвете сил. Как говорится, ногою пнет — железо разорвет. Только-только сорок минуло. Могущество его, влияние на другие роды в последние годы возросло несравнимо. Если и дальше так пойдет, если Аллах и Тенгри, двое с двух боков будут поддерживать его и прибавлять ему силы, то, похоже, Бога-

---

[1] Никах — свадебная молитва.

ра и есть тот человек, который всю кипчакскую степь заберет в свою охапку. А потом... Впрочем, далеко загадывать не будем. Великая цель должна и вызреть неспешно, как яйцо под птичьим крылом. Но и остужать нельзя. Из яйца, которому тепла не хватило, птенец не вылупится — тоже известно.

Из-за этих забот, что еще в грядущем, и отправил Богара сына Қылыса-кашки в Сыгнак. Божью ли грамоту постигнет или науку, говоря языком Абубакира-муллы, мира бренного — все на пользу будущей кипчакской державе. Если власть Богары раскинется на все окружающие земли, ему будут нужны верные образованные люди. Хорошо бы вслед за Хабрау послать еще несколько сметливых, ясных умом джигитов. Одно тревожно: год прошел, а от Хабрау никаких вестей нет. Может, в дороге что случилось? Или, уже когда Тохтамыш громил Сыгнак, стряслась с ним какая беда? А тут еще и отец его, Қылыс-батыр, тяжело заболел...

Хорошо бы сыновей, Аргына и Айсуака, хоть письму и чтению выучить, о большем образовании уж говорить не приходится. Тут не до большего. Старший Аргын до сих пор ходит губы надув, обижен, что женили на дочери Байгильде. Только и бурчит: «Толстая, что бурдюк, некрасивая». Это он про жену. Тут уж как от судьбы выпадет, сынок, приходится терпеть. Зато Байгильде теперь хвост поджал.

Только Аргын, словно боевой конь, все в поле смотрит. Одно на уме: сабля да сагайдак, баранта да потасовка. Может, и к лучшему, что он такой. Есть ли по нынешнему времени наука превыше воинской? Меж скалистых отрогов Аргун и Таймас-батыр скрыто обучают молодых парней военному ремеслу. Заветная палица — в этих руках. Жалко только, Қылыс-кашка вконец слег. Правое крыло Богары под корень подломилось. А вот Айсуаку, видать, больше бы книга на пользу пошла. На оружие и не оглянется, о ребячьих играх в войну, о конных скачках и не помыслит — все его дни возле йыраупевцов проходят. Вернулся бы Хабрау, сразу бы Айсуака в его руки отдал.

Молод Айсуак, совсем еще ребенок. Лет шесть пройдет, пока он женихом в объятия Қарасэс, старшей своей снохи, вдовы погибшего брата, женихом войдет.

От этой мысли Богара и сам не заметил, как коротко простонал. Старший его сын Таргын был в войсках Ор-

ды. Ушли войной на берега далекой Сулман-реки[1], там и погиб Таргын. Юная жена его Карасэс не то что ребеночка родить не успела, не зачала даже, в семнадцать лет осталась вдовой. Вот и сидит теперь в своей юрте одна-одинешенька, изнывая от тоски, и ждет, когда у деверя под носом подсохнет. Что делать, выше обычая не прыгнешь, сноха...

Богара, словно бы гостюя, проехал от кочевья к кочевью, сначала по Яику, потом к верховьям Демы, оттуда вдоль Сакмары. Где ласковым словом, где тихой угрозой, а где и золотые горы пообещав, склонял на свою сторону турэ и старейшин. Одно прошлогоднее событие укрепило его в решении, дало силы его помыслам. Темник по имени Мамай, захвативший ханский престол, собрал огромное войско и вышел походом против русского князя Дмитрия. К Богаре прибыл гонец от ногайского эмира с фарманом — приказом — немедля снарядить ратников в распоряжение Мамая.

Хитрый Богара отнекиваться не стал. При гонце развернул он приказ, при гонце вызвал к себе Кылыса-кашку с Аргыном и повелел весть о наборе срочно разнести по всем кочевьям многочисленного рода сарыш.

Но тайное слово было пущено и того прежде, когда сей фарман-приказ в Орде еще только писали да в свиток сворачивали, сговорились еще раньше. И войско кипчаков вместе с усергенскими и тамаяновскими ратниками, как было сговорено, не пройдя и четверти пути, повернули обратно. Взвились было ногаи, бросились выяснять, что и как, но, пока выясняли, пока кипятились, дошли слухи, что войско Мамая разбито, сам он убит и теперь на ханский престол сел Тохтамыш. Тут уже стало не до выяснений. Теперь уже самим ногаям нужно стлаться перед новым ханом, подбирать к его нраву ключи, искать его милости.

После этих событий имя Богары в цене-достоинстве поднялось еще выше. Теперь и слово его не только в кипчаках, но и в других племенах ложилось плашмя и крепко. Только бурзянцы все так же были непримиримы и с прежним усердием ворошили угли былой вражды. Вот кого нужно скорей перетянуть на свою сторону.

Особенно порадовал Богару приезд Юлыша, главы Голубого Волка — рода из племени усергенов. Издавна уже не в ладах между собой усергены и кипчаки. То со-

---

[1] Сулман — Кама.

предельные кочевья из-за пастбищ набегом друг на друга идут, то кто-то у кого-то девушку умыкнет — и опять свара. Оба племени древние, могучие, с широкими корнями. И никто другому уступить не хочет. А теперь, похоже, Юлыш хочет замириться, положить конец старым раздорам, а это на руку сокровенным помыслам Богары. Если он с этого боку укрепится, тогда и Бурзян не шибко разгуляется.

Главу Голубого Волка устроили в белой юрте. Зарезали в честь гостя кобылу-двухлетку, раскинули большое застолье, созвали аксакалов. Обе стороны растрогались, размякли душой и во славу дружбы и родства подняли чаши, до краев полные кумыса.

Но разошлись гости, челядь убрала застолье, оставила их одних, и беседа двух турэ с плавного хода быстро перешла на тряскую рысцу.

Юлышу только тридцатый пошел, телом он велик, склада богатырского, нравом смелый, решительный, в речах прям и открыт. Поначалу он Богару похвалил за то, что печется о нуждах страны, за совет не давать Мамаю войска, но тут же горько посетовал на драчливость кипчаков, что не дают покоя усергенским родам.

— Попридержи малость своих воров! Твое слово в весе, тебя послушают. Чуть что — и уже готовы сабли скрестить,— прямо в лицо сказал он хозяину.

— Вора, значит... Твои тоже, брат Юлыш, не ягнята, что и листиком сыты. А свары да раздоры... не начинаются ли они с наскока, вроде твоего? У вас гордость, у вас обиды — а у нас их нет? Лишь из уважения к гостю, а не то...— Богара подавил гнев.

— Так ведь, почтенный, случись где свара какая, то кончик-то к вам ведет. Мало вам, что с бурзянами грызетесь. И они, и наши уже от злости выть готовы. От мести месть умножается.

Нет, слова свои медом подслащивать Юлыш не собирается, опуская увесистый кулак на колено, что молот на наковальню, словно все свои обиды в пол юрты вколачивает. Этот, видно, тоже, как Кылыс-кашка, за правду и справедливость душу отдать готов.

— Долго мы еще каждый сам по себе бродить будем, словно овечье стадо без барана? Вот ты, Богара-агай, по всему Уралу, по всем долинам Яика известный турэ. Скажи, неужто не суждено нам в один клубок сметаться, в один ком слепиться? Неужто не по силам башкирам соб-

раться в единое свободное государство и жить с другими народами вровень?

С хозяина весь гнев сошел. Этот широкоплечий, богатырской стати усергенский турэ, мрачно полыхая глазами, говорил о том, о чем бессонными ночами думал он сам, словно подслушал его самые заветные мечты, и переломленные сомкнувшиеся брови кипчака разошлись и распрямились.

— Афарин, славный Юлыш! — Он поставил перед гостем чашу, полную кумыса, но решил до конца не открываться, самый потайной узел развязать при следующей встрече.— Мед да масло на твой язык! Ах, если бы все так думали, как ты говоришь!

— Уже мозг в костях наших сохнет. Только и богатства у бедняка — две-три головы скота. А сборщики ясака последнюю овцу у него уводят, последнюю корову — единственную кормилицу его детей. А податей сколько? Сидим дожидаемся, когда народ вконец вымрет? Скажи, как скинуть гнет Орды?

Богара постарался не выдать своего ликования.

— Плетью обуха не перешибешь,— вздохнул он.— Однако, Юлыш-батыр, надежды терять не будем. Еще придет день.

— Как бы не пронадеяться.

Они договорились время от времени встречаться, устраивать состязания борцов и наездников, а, перезимовав зиму, следующим летом, в самую прекрасную пору, собрать большой сход — праздник двух вот уже сотни лет соседствующих родов.

— Я много слышал про тебя,— сказал Богара, когда вышел проводить гостя,— отважен, говорили, и умен, хоть и молод. Увидел тебя и еще больше поверил. Дело делать нам нужно вместе, сообща, советуясь друг с другом. А свару-баранту эту я пресеку. И ты своим накажи.

И они, обнявшись, попрощались.

«Вот кто, когда дело настанет, станет моей правой рукой»,— подумал Богара.

Поэтому и в ответ на подарок Юлыша — шубу из выдры — одарил неслыханно: подвел к нему своего подменного скакуна-иноходца.

Байгильде замешкался по своим делам и усергенского гостя не застал, в кочевье Богары он явился лишь следующим утром.

— Ай-хай, сват, не с огнем ли играешь? — заговорил он, ворочая белками глаз. Изо рта его шел тяжелый до

тошноты запах. Поговаривали, что, с тех пор как стал Байгильде ходить у Орды в сватах, пристрастился он к хмельному напитку под названием арак.

— Что за огонь, о чем ты? — прикинулся непонимающим хозяин.

— Ты мне не хитри! Юлыш усергенский был у тебя! Что, с бурзянами мириться зовет?

— К справедливости зовет. Бурзяны тоже племя для нас не чужеземное.

— Озеро крови между нами лежит. Забыл? А усергены? Что, может, тоже родня? А ты Юлышу собственного иноходца подарил.— И без того красноватое лицо его от арака уже полыхало огнем.— Прознает эмир ногайский — по головке не погладит.

— Подарки, сват, в обычае,— ответил Богара.— Право соседа — право Тенгри.

— Знаем твой обычай! И против кого вы с Юлышем сговариваетесь — тоже тайна не великая.

— Ногайским своим зятем, сватами-упырями меня пугаешь? Коли наушничать собрался, то и про свои собачьи дела донести не забудь. Ладно? — Хоть и злость кипела, Богара держался, гнева своего не выдал, говорил тихо и не спеша.

— Это какие еще собачьи дела? Аллах знает, о чем ты...

— Ладно, ладно, я так просто... двоих ясачников вспомнил вдруг.

—Ты грех черного пса на белого пса не вали. Невесть чьих рук дело, а ты на меня... — враз скинув голос, забубнил Байгильде. На лбу его выступил крупный пот. Камча, которую он цепко, до ломоты в пальцах, сжимал в руке, перешибленной змеей вытянулась на войлоке.

Месяца три назад два ясачника, возвращаясь от минцев, заночевали в ауле у Байгильде. Поели они, попили с вечера и завалились спать — ну, это известно, а вот что сталось с ними дальше — темно и неведомо. Были два ордынца — и нет их, туманом развеялись, в небо улетели. Были у баскаков два пегих, навьюченных пушниной верблюда — исчезли, земля сглотнула. Приходили выведчики из ногайского тумена, вынюхивали, высматривали, но никаких следов не нашли. Только и узнали, только и выведали, что следы их в кочевье Байгильде обрываются, но, чтобы схватить, на аркане до самой Орды протащить да на самый высокий кол посадить, никаких улик не было. К тому же Байгильде с Ордой знается, свой у них чело-

век. Свата ли в таком подозрении держать показалось неприличным, другая ли какая причина — на том дознание и закончилось.

Но у Богары глаз острый и в каждом кочевье свои уши есть. Как и куда исчезли двое ясачников и два навьюченных пушниной верблюда, донесли тут же. И не донесли бы — все равно узнал. Один из шуряков Аргына, расхваставшись перед зятем, рассказал Аргыну, как было дело, открыл секрет. Богара, словно бы шутя, сказал тогда Байгильде: «Мог бы с той добычи хоть шкурку дать, хотя бы на треух». А сват — и знать, дескать, не знаю, и ведать не ведаю — еще ходил и ныл: безвинно, мол, обвиняют. Но понимает Байгильде: Богара, который и то слышит, как змея в земле жвачку жует, знает все. Кончик-то от клубочка в его руке. Захочет извести свата — ему только слово сказать. Оттого лишь еще раз крутнул белками и тут же залебезил:

— Я ведь что говорю, сват, давно ты у нас не был. Я тут новую юрту обшил, дай, думаю, свата на новоселье позову, может, думаю, снизойдет.

— Загляну при случае. Пока времени нет,— сказал Богара.

—Воля твоя, сват... А все же бурзянов и усергенов остерегись. С ними всегда надо быть настороже. Совести у них нет.

— Совесть, говоришь? — не выдержал Богара. Голос его зазвенел: — Тебе ли чужую совесть вымеривать?! Я скажу, а ты слушай: перед разумом усергенского Юлыша и ты и я — всего лишь безусые мальчишки... А приезжал он вот зачем: хочет, чтобы пришел конец вражде между нами. Решили весною устроить вместе на берегу Сакмары байгу. Может, и бурзянские батыры надумают приехать. Тоже, по-твоему, грех и козни?

— Я что, разве против? Только скажи, сват! — поспешил согласиться Байгильде. Качнувшись в сторону Богары, положил руку ему на плечи.

— И чего ты этот поганый арак пьешь? Сроду его не знали... — отклонился хозяин от тяжелого духа. Хоть и пробурчал так, но втайне был рад, что на этот раз вроде кончилось миром.— Если зиму без напастей перезимуем, соберемся вместе, в борьбе и скачках посостязаемся, разгуляемся немного. А тебе — быть главой скачек,— усмехнулся он, протягивая свату-разбойнику чашу с кумысом.

— Хай, сват! Хай, Богара-хитрец! — сказал Байгиль-

де. Хлопнув по ляжкам, он расхохотался.— Всем своим видом, всеми повадками — ну вылитый хан. Одним ведь словом своим — из огня вынешь да в воду окунешь.

Когда попрощались у дверей юрты, гость свистнул разбойничьим свистом, и в тот же миг из ближнего березняка, еле сдерживая ржущих коней, вынеслось человек пятнадцать всадников. Толстый, неповоротливый Байгильде вдруг легко, словно юноша, одним махом взлетел в седло. Подняв коня на дыбы, он лишь махнул камчой, и всадники разом, словно рванув из засады, понеслись с кликами прочь.

— Аб-ба! — только и сказал Богара.

Если в первой половине этого всклика было восхищение, то во второй — тревога. Из всех разбойников этот Байгильде был самым решительным и жестоким. И свора его — один другого здоровее, ударом кулака племенного быка свалят, и повадки своего хозяина усвоили хорошо. Плечами поигрывают, в глаза ему смотрят. Поговаривали, что Байгильде растил их, волчьей кровью вскармливая, да и сейчас, чтобы кости и мышцы силой и злостью налились, дважды в неделю кормит их полусырой, с кровью, медвежатиной. Посмотреть, так не пустые выдумки. А седла, сбруя, оружие? Словно воины из свирепой ханской стражи!

Из своей юрты вышла байбисе.

— Будь осторожен с этим висельником, отец. Как я посмотрю... — И покачала головой.

Да, в пути, на который решился Богара, за окаянным этим сватом нужен будет глаз да глаз. Так держать, чтобы лютый его жеребец с лохматой гривой шел только сзади, мордой в хвост коню Богары. Хоть на шаг обойдет — беды не оберешься. Все твои мечты-помыслы, все, что уже свершил ты и только еще надумал свершить, все дотла вытопчет.

* * *

Хоть головорез этот и уехал с виду довольный, Богара, разумеется, ему не поверил. Проводив гостя, он вызвал Аргына и наказал следить за каждым шагом тестя. Дня через три один из лазутчиков принес тревожную весть: Байгильде готовится идти барантой на усергенов.

Но Аргын только усмехнулся себе в усы и ничего отцу об этом не сказал. Может, подумал о том, что баранта — обычай древний, от дедов-прадедов оставшийся, так чего

же, дескать, пусть побалуются джигиты, разгонят застоявшуюся кровь в жилах, разомнут суставы, или, может, решил, что разок усергенов потрепать-потрясти только во благо,— во всяком случае, донесение это он скрыл.

Но, похоже, и усергенский Юлыш не слеп и глух — и у него в кипчакской земле глаза и уши есть. Налетчиков он встретил как положено.

Богара хоть и с опозданием, но узнал о подлом замысле Байгильде, собрал человек пятьдесят воинов и помчался следом, надеясь упредить потасовку, отвратить новые раздоры. Доехав до Сакмары, они вдвоем с Таймасом поднялись на высокий холм и оглядели окрестности. Вдоль подножия холма ехал конный отряд. Байгильде приметен, этого можно узнать издалека.

Головы у налетчиков опущены, глаза смотрят в землю. Лихим взмахом камчи взбодрял своих джигитов глава сайканов, один его возглас, и они — хоть в огонь, хоть в воду, а теперь славный турэ едет понурый и от стыда и досады уже всю щеку изнутри изгрыз. Вот он придержал коня, повернулся в седле и оглядел свое войско. Едут вразброд, лошади по брюхо в грязи, еле плетутся. Где там прежняя спесь, где там, чтобы каждого встречного ожечь презрительным взглядом или с шумом-громом подскакать и над его головой поднять лошадь на дыбы.

Богара сразу смекнул: этих хорошо угостили. «По шее и кнут»,— подумал он, но тут же и пожалел свата, как-никак свой, кипчакский, турэ. Но все же не удержался:

— Похоже, не велика добыча, сват,— съязвил он.

Байгильде слабо махнул рукой. Жестом приказал, чтобы джигиты ехали дальше и, повернув лошадь, поехал рядом с Богарой.

— Ну, если не проучу я этого Юлыша! Он у меня еще отведает! — процедил он сквозь зубы и выругался.

— А покуда он, кажись, тебя угостил,— усмехнулся молчавший до сих пор Таймас-батыр.— Что, петушок, опал гребешок? — Злой его взгляд впился в Байгильде.— Пятьдесят скоро, а носишься словно мальчишка безмозглый.

— Ты, рвань! У тебя, что ли, ума-то просить? Еще суется...

Не успел он договорить, Таймас, дотянувшись до него, схватил его за грудки:

— Голову размозжу!

Когда бы не Богара, разнявший их, вырвал бы дюжий

Таймас сайканского турэ из седла и грохнул о землю.

— Ты еще попляшешь у меня! — Лошадь его отпрянула, и, качнувшись в седле, Байгильде, ворочая белками глаз, погрозил Таймасу камчой.

— Что, до сих пор не остынешь? — Богара расхохотался.

— Ладно, хоть ты не изводи. И так нутро огнем горит...

Наконец Богара дал волю своему гневу. Схватив лошадь Байгильде под уздцы, он притянул ее к себе и закричал в круглое, красное ненавистное лицо:

— Огнем, говоришь? Да чтоб тебя насквозь прожгло, дупло трухлявое! А кто тебя туда гнал? Оттого гнилые твои потроха огнем тлели, что Юлыш к нам с дружбой, с открытыми объятиями пришел. Остолоп! Пошел, так хоть битым не возвращайся. Так-то нашу кипчакскую честь бережешь?

Узкие под большими опухшими веками глаза Байгильде еще больше сузились, темная крутая жила на шее взбугрилась. Дернув уздечкой, он ожег коня камчой и поскакал вслед своему волчьему выводку.

Вражда между кипчаками и усергенами, которая то тлела, то разгоралась, теперь широко займется, подумал Богара, и его бросило в жар. Словно то пламя уже трепыхнулось возле самого лица. «Дурак!» — прошептал он вслед скакавшему во весь опор свату.

Теперь, если начать переговоры с усергенами, этот вояка для обеих сторон будет что кость в горле. По милости этого ротозея Аргына не остановил он эту волчью стаю, не отвратил злосчастную баранту. Только дело пошло на лад, теперь опять все запутается.

Мерно покачиваясь в седле, едет Богара. Взор его проходит по долине, чуть прикрытой первым снежком, через сквозящий редкий молодой березняк, и по склону печальных холмов поднимается к тусклому небу. Вокруг тишина. Словно во всей степи ни единой живой души. Но если вглядеться пристальней, то видно, что молодой снег уже вдоль и поперек прострочен стежками звериных и птичьих следов. Вот так-то... Байгильде побитый домой возвращается, его, Богару, мучают тревожные предчувствия, а природе ни до чего дела нет, сама своей жизнью живет, потому что и земля, и жизнь ее вечна. Только жизнь человеческая свой срок имеет. Чьи только следы ни ложились на эту широкую степь — и смыло их все; какие толь-

ко славные мужи ни проходили по ней — и их кости лежат в красноватом ее прахе.

Речь не о древних турэ и воителях — их имена хоть в преданиях и песнях сэсэнов живут. Сегодняшних жалко. Вот Кылыс-кашка — какой верный, отважный был человек, страха не ведал. Скажи Богара: «Войди в огонь»,— входил в огонь. И тоже ведь только-только сорок минуло, а уже готовится переселиться в чертоги Тенгри. Могуч был телом, как Алпамыша, а теперь болезнь к подушке прижала, куска проглотить не может, пожелтел, что шафран, усох, что курай, и жалко и тревожно.

Вспомнил Богара Кылыса, и встали перед глазами молодые годы. Всяко было. Огонь и воду — все прошел. Сегодняшние сила, власть и людское уважение так просто, сами собой, не дались.

Не сразу сумел Богара подчинить сарышей своей воле. Когда умер отец, ему и двадцати пяти не было, и старики, решив, что молод еще наследничек, не признали его главой рода, хотели поставить другого. Вот тогда-то Богара и собрал вокруг себя пять десятков отчаянных джигитов и с их помощью переломил сопротивление аксакалов. И конечно, самое трудное взял на свои плечи молодой батыр Кылыс. Что поделаешь, если время было такое. Глубокой ночью захватил Кылыс аул Якшыгула, которого прочили во главу, в старейшины рода, и привез его в кочевье Богары. Приставив кинжал к горлу, заставили его поклясться, что впредь не пойдет против Богары и на совете скажет слово в его пользу. Родня-свояки Богары зашумели было: «Змея и без хвоста все змея», советовали убить Якшыгула. Кылыс решительно встал против и не дал совершиться неправедному кровопролитию. Нищий простодушный батыр хотел, чтобы всегда все было по чести и справедливости. А потом сторонники Якшыгула пошли на мир с Богарой, а на Кылыса точили зубы. Что зубы — ножи. Закрой молодой глава рода на это глаза, не жить бы ему на свете. Но Богара ради худого мира не отдал его, хватило ума и сердца защитить батыра. И Кылыс, молча ждавший все эти дни своей участи, был потом верным ему слугой и, покуда не свалила его болезнь, не знал иных тревог и забот, чем заботы и тревоги своего турэ.

На другое утро неугомонный Байгильде уже опять прискакал к Богаре. Отдохнул, отоспался в теплой юрте и вроде поутих, успокоился немного. Копытом уже не бьет, как вчера. Сказал, словно о самом обычном деле:

— Ты, сват, сделай одолжение... Зятюшку моего или Таймаса пошли к Юлышу.

Богаре уже рассказали, как началась и чем кончилась баранта.

Юлыш, проведав каким-то образом, что Байгильде с сорока джигитами вышел в путь, выставил заставы, и, когда кипчаки вошли в усергенские земли, сто воинов Голубого Волка в укромном месте тихо, незаметно окружили барантовщиков. Так что дело даже до потасовки — до камчи, дубинки или ожога[1] не дошло. Началось и кончилось взаимной перепалкой. Юлыш забрал троих джигитов Байгильде в заложники, а остальных, никакого вреда им не причинив, отпустил восвояси. Вслед без драки побитым, без добычи отступившим сайканским джигитам никто не улюлюкал и угроз и насмешек не выкрикивал. Юлыш даже позвал было Байгильде к себе в аул погостевать, да какое уж тут гостеванье! Байгильде, чуть не лопаясь от позора, повернул домой...

— А при чем тут Аргын и Таймас? Ты, выходит, под каждым кустом петушков сажай, а они, значит, подчищай за тобой?

— Так ведь, сват, три моих джигита у него в неволе томятся. Их отцы и матери уже с вечера явились ко мне. Опять я виноват...

— А кто же виноват? Ногайский эмир, что ли? Ходишь воду мутишь, всей стране от тебя покоя нет. Ступай, сам разбил горшок, сам и чини,— сказал Богара, но все же, высунувшись в дверь, велел позвать Таймаса-батыра.

Тем же днем Таймас и два джигита с тремя кобылами-трехлетками из табуна Байгильде отправились в кочевье Голубого рода.

Через два дня заложники вернулись домой. Но Юлыш вернул и выкуп — трех кобыл-трехлеток. А сами изнемогшие в неволе джигиты говорили, что хотя сидели они под крепким караулом, но угощали их так, что, внимая их рассказам, слушатели только шумно оттягивали слюну.

Как понял Богара, Юлыш по-прежнему не хотел доводить дело до ссоры с кипчаками и поэтому, отступив от суровых обычаев степи, спор решил без дубины.

Что это — великодушие? Или все та же простоватость? На это осторожный, подозрительный Богара, который даже малый себе ущерб взыскивал пятикратно и дела свои устраивал по-хитрому и исподтишка, ответить не мог.

---

[1] Ожог — копье без наконечника.

Однако в сердце сарышского турэ великодушие Юлыша вызвало восхищение.

Но ни Богара, ни Юлыш не догадывались, какую новую подлость задумал Байгильде.

3

Хозяин Хабрау, настоятель медресе Камалетдин, был еще и прославленным хафизом — ученым, знающим Коран наизусть и умеющим толковать его. Обращались к нему только уважительным словом «мавляна» — как обращаются лишь к великим ученым. С Железным Владыкой он был знаком лично, оттого и сам был на виду, и медресе его переживало самый расцвет. Преподавали там знаменитые на весь Восток ученые, а учились будущие муллы, поэты, историки, зодчие, государственные деятели. Разумеется, нищий парень, явившийся неведомо из какой далекой страны, стать шакирдом в медресе, где учились только сыновья знатных и богатых, не мог. Он смотрел за лошадьми мавляны, бегал по его поручениям. Но хозяин скоро заметил, что паренек-то способный, смекалистый, восприимчивый, все время крутится возле шакирдов, всячески пытаясь им угодить, и с их помощью быстро набирается грамоты.

Мавляна был добрый человек, великие познания и толстые книги не иссушили его мягкой души. В один из дней он позвал Хабрау в богато убранную михманхану, то есть гостевую комнату, и долго расспрашивал юношу о его родных краях, о доме. Под конец старик даже прослезился: «Эх, бедный, бедный, страсть к знаниям погнала тебя из дома, в поисках истины пришел ты сюда с края света. Похвально, так похвально, что ничего похвальнее и на свете нет! Одна беда — не могу я тебя принять в медресе. Жаль, обидно... Сам диван утверждает каждого шакирда.— Потом подумал и добавил: — Не горюй, что-нибудь придумаем».

Но Хабрау об этом не помышлял. До Сыгнака он не добрался, здесь его никто не знает, значит, надо осмотреться немного и, пристав к какому-нибудь каравану, возвращаться домой. Но, видно, книжная хворь от дервишей перешла и на него. И сам не заметил, как сблизился с шакирдами и уже с интересом слушал их беседы.

Немного времени прошло, и один из любимых шакирдов мавляны Камалетдина вызвался давать ему уроки.

Конечно, это только так говорится «давать уроки», они же не сидели, целыми днями уткнувшись в книгу. У шакирда своих дел выше головы. Однако Хабрау все силы напряг, все свое усердие приложил и в короткий срок довольно сносно выучил арабский и фарси. Книги, даже те, что полегче, поначалу он по слогам крушил, строчку за строчкой, но через четыре-пять месяцев уже любую читал, пробегая взглядом.

Шакирда звали Нормурад. Веселый, благодушный, он оказался, однако, весьма требовательным. Хотя объяснял только урывками, но задания день ото дня усложнял все больше. Настоял: между собой говорить только на арабском и персидском. Мало того, и книги стал приносить — одна другой мудреней. Иной раз и подбодрит полушутя-полусерьезно: «А ты упрям, башкирский джигит. Коли так пойдет, то скоро и кое-кого из наших шакирдов обойдешь. А уж дома у себя или большим турэ станешь, или настоятелем медресе». И мавляна о том же говорит, хвалит его успехи.

Но от их слов на душе Хабрау только горечь. Не знают его учителя́, что нет на земле башкир ни шумных городов, ни учебных заведений. Людей, которые ушли в чужие земли и, одолев тысячи преград и невзгод, вернулись хоть с каким-то образованием, можно перечесть по пальцам. Его народу не до наук и просвещения, одна забота — выжить. Ведь и Хабрау не своей волей отправился в эту страну, на стезю науки его, можно сказать, вытолкнули в спину. Но он верит: когда-нибудь и возле Уральских гор поднимутся города, будут воздвигнуты мечети, откроются медресе. Только бы скорей от гнета Орды освободиться.

Сердце Хабрау, изнывавшее от тоски и обиды, что уехал он и с матерью не простился, стало понемногу отходить. К чему только не притерпится душа человеческая, какие только страдания не оседают илом на дно ее памяти! Беды и горести, печали и грусть — все пройдет, все минет, лишь бы надежда не остыла — жар и свет жизни. А если ты к тому же еще юн, дух твой свеж, помыслы чисты — легко принимаешь начертания судьбы и идешь навстречу новым и новым испытаниям.

Самарканд оглушил его невообразимым шумом, бурным кипением, стремительным ходом жизни. Слышится ему в этом шуме жуткое дыхание великого моря, угроза неведомых, безжалостных к людским судьбам и не то что человеку, но и самому богу неподвластных могучих сил.

Великая столица, властвовавшая над половиной мира, приводила Хабрау в смятение, нагоняла тревогу. Но в тревоге этой оставался маленький просвет — надежда на ясные дни впереди.

На первых порах Хабрау, стоило ему освободиться от работы и выполнить уроки, уходил в город и с удивлением глазел на богатые изукрашенные дворцы, на мечети, золотыми куполами уходящие в небо. Невольно зажмурив глаза, входил он в гудящие, как пчелиный рой, базары. Куда ни пойдешь — деловая суета, оживленное строительство, поднимаются новые дома, дворцы, мосты, высокие, могучие стены. На улицах, возле рабатов[1] и ханака[2] — всюду снует народ. Рабы с серыми — в пепле потухших надежд — лицами обтесывают камни, месят глину, рычагами перекатывают огромные бревна. Нищие, калеки, грязные, в лохмотьях, обступают на каждом шагу, тянут за руки, просят милостыню. Посверкивая золотой и серебряной отделкой на оружии и сбруе, в шелках и бархате, ярких, как павлинье перо, проносятся вельможи на прекрасных скакунах. И здесь, как и на Урале, у богатого и у нищего, у сильного и у бессильного — свой путь, своя судьба. Но в Самарканде эта разница поражает сильней: не только рядом они, золото и рубище, сытый взгляд и гноящийся глаз, но золото ярче и рубище смрадней.

Хабрау, как только исполнит все возложенные на него по хозяйству дела, сразу берется за книгу. Днем это редко удается. А вечером сядет под каким-нибудь окошком, откуда падает свет от свечи, и, забыв обо всем, читает великие дастаны, труды по философии и истории. Чем больше он читает, тем яснее становится мир вокруг, просветляется разум, и кажется ему, что он входит в удивительные просторы вселенной. Тщательно, с особой страстью, и страсть эта порой переходила в ненависть, выписывал он все, что касалось истории Орды. Кровавой летописью великих трагедий была эта история. Цветущие, богатые города, возделанные долины, сады, хлебные поля — все легло золой и покрылось пылью из-под копыт. Сколько держав, сколько народов исчезло с лица земли! Куда ни посмотри — печальные руины. Где шагнула стопа Орды — там все арыки, все колеи, каждый копытный след по край залило кровью и слезами. В чем же сила Чин-

---

[1] Рабат — дом, где останавливаются торговцы.
[2] Ханака — дом, где живут дервиши.

гисхана и «медноголовых волков» — его наследников? Почему ни одно государство не сумело им противостоять?

После усердных размышлений Хабрау сделал такой вывод: Чингисхан и его наследники всю свою политику строили на хитрости и коварстве. На страну, которую собирались растерзать, они сначала нагоняли ужас, а правителей склоняли на свою сторону — угрозами или подкупом. И дело не в том, что Чингисхан, бич божий, был послан, как пишут некоторые арабские путешественники, всевышним на эти земли карой за их великие грехи. И сила его поначалу была не такая, чтобы половина подлунной склонилась перед ним. Словно коварная юха-змея, которая по башкирскому поверью двенадцать лет живет и все двенадцать лет изводит людей страхом смерти, затуманил он разум племен и народов, подчинив своей воле, и всю их силу и богатство бросил на исполнение своей кровавой цели. Разобщенность этих стран — вот в чем была сила Чингисхана.

Нормурад, заметив пристрастие Хабрау к истории, стал порою проверять его знания.

— Эх, друг Хабрау,— вдруг отбросив книгу, с горечью говорил он,— история — наука такая: изучаешь ее, изучаешь, и ничего, кроме уныния, не остается. Тоска и безнадежность. Кровь, кровь, кровь — тогда ли, сейчас ли, и все уже было сотни раз. История ли Туркестана, история ли Юнана [1], летопись ли халифов — всюду одно и то же и все как сегодня. В какую эпоху ни заглянешь — те же измена, коварство, резня и погоня за богатством... История-то человечества кровью написана, чернилами ее только переписывали. Ну, скажи, был такой владыка, царь, скажем, или хан, чтобы народы, как собак, друг с другом не стравливал? Было так, чтобы справедливость торжествовала? Оставь ты ее, эту науку. Только себя изведешь.

А Хабрау, словно мотылек, летящий на свечу, все больше льнул к этим книгам, читал, пока строчки перед глазами не наливались красным.

— Нет, уважаемый мирза,— спорил он с Нормурадом,— слова твои верны, но вывод ошибочный. Я в эту историю затем вгрызаюсь, что надеюсь такой урок извлечь, чтобы на пользу был моей стране, ее будущему. А вдруг мой народ изберет не тот путь, о котором ты говорил, а путь правды и справедливости?..

---

[1] Юнан — Греция.

— Дай-то бог. Но помни, Хабрау, твой народ не единственный на земле живет. Заживет он праведно — и другие государства тут же протянут руки к его богатству и свободе. Так что, хочешь не хочешь, а придется и тебе воинское ремесло постигать. А без этого каждый сильный твоей голове господин... Слышим мы тут, Русское государство быстро набирает силы. Московский князь Дмитрий разгромил Мамая, хана Золотой Орды, самозванца этого, и теперь хочет укрепить отношения с другими сильными государствами. И то подумай: русские к вам близко. Они силу набирают — на пользу это башкирам или во вред? Как бы не попасть вам меж двух держав, как зернышку меж двух жерновов.

— Хоть что — беды хуже ордынской не будет.

— У русского вера другая.

— Вера, вера... тоже еще одна петля.

— Вера — оружие политики, Хабрау...

Жаль, нет у Хабрау таких доводов, чтобы опровергнуть Нормурада. И знает маловато, и нынешнее положение его страны — скорее в поддержку мыслям Нормурада, чем его, Хабрау.

Понемногу он начал понимать, что и богатство, и слава, и мощь Мавераннахра растет за счет стран, захваченных Хромым Тимуром. Роскошные дворцы под голубыми куполами, мечети, медресе, гробницы и мавзолеи, узорчатые каменные мосты — на крепком растворе держится их кладка, а раствор на крови сотен тысяч рабов замешен. Какую бы страну ни завоевал Железный Хромец, первым делом он выбирает мастеров, строителей, зодчих, кузнецов, оружейников и под крепкой охраной отправляет в Самарканд. От темна и до темна, не разгибая спины, работают они здесь. Малая задержка, пустяковая провинность — и ждет искусников-рабов тяжелая расправа.

Целыми днями, до треска в голове, думает Хабрау обо всем этом, потом закроется в узенькой комнатушке, отведенной ему в доме для прислуги, чуть слышно играет на домбре, порою и споет тихонько. Но долго сидеть и печаль свою тешить некогда. И двор, который от зари до зари жаром пышет, водой полить нужно, богато разодетых гостей встретить, за лошадьми их присмотреть, утром и вечером в большом саду цветы и плодовые деревья напоить, а кроме того, чай богатым шакирдам заваривать, по разным поручениям сбегать — все он, Хабрау.

И парень — услужливый, усердный, что ни скажи, бегом исполнит — скоро для всех стал своим.

Смышленость, одаренность Хабрау, жадность, с какой набрасывался он на каждую новую для него книгу, удивляли мавляну Камалетдина и Нормурада. Да и не удивительно разве: в один год он уже прилично натаскался в арабском и фарси, выказал страсть к философии и истории, стихи великих поэтов целыми страницами выучил наизусть и о том или ином событии, о деяниях могучих царей, о прочитанных дастанах и диванах этот джигит-полуязычник может спорить с шакирдами на равных! «Что с тобой? Какая в тебе сила сидит? Как твоя голова сразу столько знаний принимает?» — то удивляется, то восхищается Нормурад. Парень чистый, открытый, он принял Хабрау в свою душу, перезнакомил с другими приятелями-шакирдами. Приносит ему редкие огромные старинные книги, которым и цены нет. В один из дней он попросил разрешения у мавляны и позвал Хабрау в гости в свой загородный дом.

Пять-шесть джигитов, однокашников Нормурада, на легких, резвых конях через ворота Фируз выехали из города. Хабрау гарцевал на прекрасном черном иноходце своего хозяина Камалетдина. Настроение у джигитов веселое: то поддразнят друг друга, перекинутся скла́дным, в рифму сказанным словом и расхохочутся, то, отпустив поводья, с криками и улюлюканьем сорвутся вскачь. Клич, удар копыт — и только облако пыли, где миг назад были они.

Дом Нормурада стоит в местности, которая называется Баги-Дилкуа. Здесь неподалеку знаменитый загородный дворец Тимура-Гурагана, приют его отдохновений. Время, когда виноград полнится сладким соком, деревья гнутся, еле удерживая плоды, и воздух густ от аромата цветов. Под открытыми верандами, разгоняя зной, протекают арыки со студеной водой.

При виде всей этой красоты и великолепия, в восхищении от роскоши и богатства, Хабрау лишился языка. Вспомнился ему собственный его народ, как перекати-поле, кочующий по степям вслед скоту, представил жалкую его судьбу и тихонько вздохнул. Почему же его народ выпал из арбы просвещения? Отчего же такие баи и турэ, как Богара и Байгильде, хоть немного не оглянутся по сторонам и по примеру соседей не постараются перейти к оседлой жизни, не распашут земли, не поставят города? Пришли эти мысли, ожгли сердце, и Хабрау почувствовал, что зря он приехал сюда, в этот дом, все вдруг стало в тягость. И впрямь, что общего: он — ни-

щий, неволей забредший в этот город странник, прислуга в доме, живет и заглядывает людям в глаза; они — джигиты в богатых одеждах, шумные, веселые, не знают, куда силы девать. Ведь каждый из них — или сын крупного вельможи, опоры державы Мавераннахра, или высокого военачальника дорогой наследник.

Хабрау, в задумчивости сидевший на каменной скамье в тени оливкового дерева, вздрогнул от чьего-то голоса: «Ассалям, дорогой гость!» — и поспешно встал с места.

— Прости, я, кажется, перебил твои мысли,— сказал незнакомец. Сел и жестом посадил Хабрау рядом.— Слышал о тебе, знаю, что ты друг Нормурада-мирзы.

Открытый ли взгляд, улыбчивый ли разговор, простая ли одежда этого опрятного человека лет тридцати, с орлиным носом и черными, коротко подстриженными усами и бородой — но что-то в нем сразу сняло все замешательство Хабрау, словно водой смыло. Он, приложив ладони к груди и почтительно склонив голову, принял его приветствие.

— Слышал, что пришел ты из башкирской земли в поисках знаний. О твоих способностях шакирды между собой говорили, что в короткий срок грамоте выучился и теперь постигаешь тайны наук и поэзии, очень хвалили тебя,— продолжал незнакомец.

Хабрау в знак несогласия лишь головой покачал. И сам не заметил, как вдруг взял и выложил, о чем думал:

— Эх, господин, что́ мои скудные знания рядом с глубокими, как море, познаниями шакирдов? Вот этот узенький арычок. От тех сокровищ, которые они пять-шесть лет золотыми слитками собирают, мне только упавшие к ногам крохи достаются.

Незнакомец удивленно посмотрел ему в лицо и вдруг обнял его за плечи.

— Афарин, башкир! — с чувством сказал он.— Ты повторил слова поэта. Но, как говорил Нормурад, тех блесток, что под ногами, тебе уже мало.

— Прости,— прервал его Хабрау,— я не узнал тебя. Кто ты будешь?

— И ты меня прости, брат. Нет чтобы сразу назваться, познакомиться... Имя мое Миркасим. А друзья еще Айдыном зовут.

— Миркасим Айдын?! — Хабрау вскочил с места. И с каким-то детским подозрением — верить или не ве-

рить? — уставился на нового своего знакомого. Опомнившись, в знак уважения и восхищения с глубоким почтением склонил голову.

От Нормурада и других шакирдов он уже слышал имя поэта Миркасима Айдына, и не только имя — Хабрау слышал и прекрасные, полные загадочной грусти касыды, газели, знал он и язвительные строки, изобличающие жадных вельмож. И теперь, когда неожиданно увидел его самого, не смог скрыть радости.

— Садись, садись,— сказал Миркасим, почувствовав неловкость оттого, как низко джигит-башкир поклонился ему.— Много великих поэтов жило и в Мавераннахре, и в Иране, и в Шемахе. По сравнению с их, как ты давеча сказал, глубоким, как море, искусством моя писанина — детское лопотанье...

На этом беседа прервалась. Подошел один из слуг Нормурада и пригласил Миркасима и Хабрау к гостям.

Оказалось, что Миркасим, любимый поэт шакирдов, преподает в одном из медресе Самарканда каллиграфию. Нормурад пригласил его в гости с тем, чтобы просить его прочитать стихи и принять участие в беседе.

Многие из шакирдов увлекаются литературой, а кое-кто и сам стихи пописывает. Поэтому, только сели за стол и по чашке чаю не допили, застольная беседа сразу легла на поэтическую колею, разговор пошел о тонкостях стихосложения. Имена поэтов, истинно великих и величием наделенных в скромных размерах, названия их произведений так и летали, то и дело упоминались такие книги, как «Наука быть счастливым» Юсуфа Хас-Хажиб Баласагунлы, «Книга о языке тюрки» Махмуда Кашгари, звучали прочитанные наизусть строки на фарси, арабском и тюрки, разбиралось их построение, звучание, и все — с основательными пояснениями.

Пока пили душистый чай, кое-кто из шакирдов, дав немного себя поупрашивать, почитал и собственные стихи. Миркасим хвалил их, подбадривал, только иной раз, заметив в касыде или газели шероховатость, поднимет полусогнутый палец, скажет: «А что, если вот так сказать»,— и снят заусенец. Когда же выставили изысканные яства и из рук в руки пошел серебряный кубок с вином, языки у шакирдов совсем развязались, разговор пошел быстрей, перебивчивей. Миркасим сначала почитал наизусть газели своего любимого поэта Шамсутдина Хафиза, потом из книг «Бустан» и «Гулистан» Муслихетдина Саади стихи о благонравии и воспитанности. Опять к

возгласам восхищения и одобрения присоединились тонкие замечания и объяснения.

Миркасим-то, оказывается, стихи пишет и на тюрки, и на фарси. Он читал, и с каждым стихотворением росло восхищение Хабрау. Оба эти языка для обыденного разговора он знал довольно сносно, но разобраться в тонкостях поэтических образов, понять намек и уловить ироничный поворот строки ему было еще трудно. Однако, не смущаясь веселых насмешек шакирдов в сложных для него местах, он переспрашивал по нескольку раз, стараясь уловить наконец-то суть. Но Миркасима такая дотошность не смущала, он охотно отвечал на каждый вопрос.

Хабрау уже несколько раз был на таких мушаирах — состязаниях поэтов. Они очень походили на башкирский айтыш. Хабрау восхищался острым умом поэтов, метким словом, красотой касыд и газелей. По их примеру он и сам украдкой попробовал сочинить несколько стихотворений на тюрки. Но странно: и персидский аруз — на протяжности гласных звуков, и тюркский бармак — по счету слогов — лишь с натугой вмещали его мятежные, изнутри обжигающие мысли. А вспомнит, скажем, кубаиры усергенского йырау Йылкыбая — и будто стоит меж двух огней.

Поэтому, когда они в какую-то минуту оказались вдвоем, Хабрау сказал Миркасиму о своих сомнениях.

— Ну-ка, прочти что-нибудь из вашего поэта,— оживился Миркасим Айдын.

Выслушал, помолчал немного и сказал:

— Я, конечно, не все понял, но из того, что уловил, мне показалось, что башкирская поэзия больше политикой увлекается.

— Увлекается? Разве это увлечение? — вспыхнул Хабрау.— Само горе народа заставляет писать об этом. Это ваши поэты больше о любви и влюбленности, о соловьях и розе поют. А еще тоска-разлука да печальные всхлипы...

Миркасим молчал долго. Потом ответил тихо:

— Да, верно ты сказал, много у нас таких стихов пишется. Но ведь немало и таких, которые направлены против зла, против черных сил, душащих свободу, истину, просвещение. Ну скажи, почему вырвали глаза царю поэтов Абуабдулле Рудаки? За соловья и розу? Отчего жизнь таких великих поэтов, как Низами, Хайям, Аль-Маари, прошла в изгнании и странствиях, в горе и стра-

даниях? И сегодня певчая птица Востока, великий мастер газелей хазрет Шамсутдин Хафиз обречен на муки изгнания...

После этого разговора Хабрау стал больше вникать в потаенный смысл поэтических книг, в скрытые узорами образов и затейливой вязью рифм намеки и иносказания. Из китайской бумаги он сшил довольно толстую тетрадь и стал вписывать туда полюбившиеся ему баиты и газели. Он взял у Миркасима четыре урока каллиграфии, и пальцы его окрепли, перо побежало увереннее, и он уже получал удовольствие от быстро ложащейся узорной вязи арабских букв.

Сочиненные Хабрау стихи на тюрки от совершенства были далеки. Миркасим осторожно объяснял ему это. Похвалит какой-то образ, какой-то оборот, разберет стихосложение. Свободная, дружеская беседа идет все шире, расходится, как круги на воде, и доходит до Урала, до башкирских степей.

Миркасим уже о многом расспросил его, почти вся жизнь друга открыта ему. Знает он, что Хабрау хочет вернуться домой и уже затягивает пояс, чтобы начать борьбу с Ордой. Знает и одобряет.

— Ум твой зорок, слово метко, и место тебе среди борцов.

4

Почти все шакирды медресе Камалетдина, подобно Нормураду, не кичились тем, что они из богатых семей, и были приветливы с Хабрау. Непонятное слово или темное место в научном трактате нужно разъяснить, нужда ли в перьях, в бумаге появится, каждый был рад помочь ему. Однако было двое-трое таких, которые делали вид, что не замечают его, при встрече смотрели мимо или сквозь и даже не отвечали на приветствия. От таких Хабрау старался держаться подальше, сами не окликнут, так и он не заговаривал.

Однажды самый надменный и молчаливый шакирд по имени Абдулсамат окликнул Хабрау, когда тот подметал двор медресе:

— Эй ты, как тебя... подойди.— И он полусогнутым пальцем поманил его. После этого поправил шелковую чалму и одернул блестящий, вышитый серебряным узором халат.— Тут говорят, что рука у тебя легкая, пишешь гладко и каллиграфию знаешь.

Хабрау, не понимая, куда он клонит, лишь ответил смиренно:

— Куда уж нам до шакирдов...

— Ладно, ладно, скромничать в другом месте будешь,— хмыкнул Абдулсамат.— Это... как тебя... у моего отца секретарь заболел. Нужен человек на его место дня на два, на три.

— Так ведь, мирза Абдулсамат, я человек подневольный...

— Это все обговорено. Мавляна не против. Завтра за тобой придет человек из отцовского дома,— сказал шакирд и, стараясь держать гордую, степенную осанку, перебирая четки, направился к дверям медресе.

Первым делом Хабрау решил повидаться с Нормурадом, что он посоветует?

— Отец Абдулсамата — крупный торговец, зовут Абдулкадыром. Каждый месяц уходят три-четыре его каравана, и столько же из чужих стран возвращаются. Говорят, что в городе он самый богатый человек. Иди, пожалуй, не задаром же он заставит тебя работать,— сказал Нормурад и истолковал это как удачу.— Кстати, и в письме поднатореешь.

Дом Абдулкадыра стоял неподалеку от площади Регистан. Встретил Хабрау одноглазый человек преклонных лет. Он управлял конторой купца Абдулкадыра, где под его руководством человек двадцать вели все дела. Купля и продажа, письмо и счет проходили через их руки. Одни ведут учет товаров, которые увозят и привозят караваны, прикидывают доход и расход, другие собирают сведения, где какой товар каким пользуется спросом, и устанавливают цены, третьи следят за доставкой из ближних к Самарканду кишлаков риса, хлопка, изюма, фруктов, держат связь с поставщиками. Два самых доверенных работника у Абдулкадыра — два его секретаря. Один под его диктовку записывает основной смысл писем, какие нужно отправить. А второй подчищает стиль и переписывает набело. Этот, второй, и заболел.

Несколько первых писем Хабрау пришлось переписывать по два-три раза. Голова шла кру́гом: «Другу моему в удивительнейшем городе Ширазе, красе и радости вселенной, милостью эмира нашего Тимура-Гурагана подобно знаменитым розам своей земли процветающем, богатством своим в семи окраинах мира прославленном, проживающему, чистому душой, с нескудеющей рукой, мудрому и справедливому Салахутдину ибн-Шамсутдину

с пожеланиями благополучия дому, здоровья его драгоценной семье, неизменного процветания в делах торговли, благороднейшем промысле, угодном богу и великим пророком нашим завещанном нам...» — тьфу, «процветающем» и «процветания», опять переписывать заново! Такое письмо не то что пока напишешь — пока прочитаешь, весь изведешься. Будь его воля, он бы всеми этими узорами ни себя, ни получателя не мучил, а, жалея бумагу и время, написал бы прямо: «Если по цене не будет дороже стольких-то тысяч динаров, пошли два каравана иранских ковров», или: «Этого караванбаши пришлось взять в последний час, по глазам вижу, что плут, тщательно проверь каждый тюк» — как это и выходило из-под пера первого писаря. А то: «Обрати взгляд очей своих на товары, посылаемые твоим ничтожным слугой, и пусть свет их обольет их сверху донизу, не оставив никаких закоулков, не то в бренном мире сильны козни дьявола, и даже на самые светлые души ложится тень корысти и греха».

Оказывается, и приветы, и восхваления, и словесные узоры, и иносказания нужны, чтобы смягчить жесткость требования. Они завораживают получателя письма, обнадеживают и тем зачастую затягивают его в ловушку. Старается Хабрау, целыми днями сидит, сгорбившись над низким столиком, утирая пот со лба, переписывает письма Абдулкадыра.

И еще, самое главное: содержание писем должно храниться в глубочайшей тайне. Что в них — знают только Абдулкадыр, одноглазый управляющий и два секретаря. Об этом Хабрау с самого начала был предупрежден строго-настрого. Впрочем, и болезнь-то его предшественника оказалась связанной с этими тайнами. Сидел тот в застолье с товарищами, тоже служившими у разных купцов, ударило вино в голову, ну и понесло, пошел хвастать: все-то он, дескать, знает и такие вещи ему известны, о которых другие и слыхом не слыхивали. Приятели стали насмешничать, подзуживать его, у того от обиды и язык развязался. Но сидел меж них и Абдулкадыров доносчик. Пришел, видать, других послушать, а тут и свой хорош...

Разглашение же торговых секретов приравнивается к разглашению государственной тайны. По приказу Абдулкадыра того болтуна за его длинный язык повели на крутую расправу. Оттянули пятьдесят плетей по спине, и сидит он теперь в зиндане. Спасибо, язык не вырвали.

Хабрау заметил, как тайком и с оглядкой шепчутся об этом в конторе, и решил, что больше в этом торговом доме не останется и дня.

— Говорили два-три дня, а уже неделя, как я здесь,— сказал он Кривому, когда тот зашел разобрать переписанные бумаги.— Вот допишу эти и к мавляне Камалетдину вернусь.

— Не торопись, браток, больно уж много работы в последние дни привалило, сам видишь. Еще неделя — и ты свободен.

— Перед хозяином неудобно. Как бы мое место другому не отдал.

— Об этом не беспокойся,— сказал Кривой.— С ним всё обговорили, хозяин согласен подождать. И к тому же с твоими способностями... разве такой ты человек, чтобы в прислужниках ходить?

— Я работы не боюсь, господин. Уроки пропускаю, вот что беспокоит,— не сдавался Хабрау.

А у того на все ответ готов:

— Какая книга понадобится, мне скажи. Библиотека Абдулкадыра — первая во всем Самарканде.

— Из кочевников я, не привык день и ночь в худжре сидеть, голову ломит.

— Привыкнешь, привыкнешь, нет в этом мире такого, к чему бы не привык сын человеческий,— усмехнулся старый крючкотвор и вышел. Послышался звук повернувшегося в замке ключа.

«Вот, значит, как! Хотят заставить меня работать под замком». От этой мысли Хабрау обдало жаром. Он бросился к двери, стал кричать: «Откройте!» — колотить в двери кулаками. Не только не открыли — и не откликнулся никто.

Хабрау была отведена маленькая комнатка. Здесь он и жил. Спал, вставал, ходил. Здесь он переписывал порученные ему письма и разного рода деловые бумаги о купле и продаже. Все, кто приходил к нему,— управляющий конторой да тот хмурый детина, который составлял письма вчерне. Самого Абдулкадыра Хабрау не видел ни разу.

Уже само поведение Кривого, постоянные его слова «еще неделю» и ухмылка (пять дней прошло, а все «через неделю») и то, что теперь в комнату он никогда не входил один, было подозрительно. Мало того что держат под замком, еще и коварство какое-то замышляют. Сначала в знак несогласия он отказался работать; два

раза, когда дверь открывалась, чтобы впустить кривого конторщика, пока она не закрылась, выскакивал из комнаты, но оба раза четыре дюжих охранника сразу же за порогом хватали его и заталкивали обратно. Шуметь и скандалить было бесполезно, таким способом от псов Абдулкадыра он не спасется. Теперь он ел и пил и выходил по нужде только под присмотром охранника. Что ж, на коварство у него хитрость найдется.

После недели войны с Кривым Хабрау вдруг успокоился и без шума, без скандалов снова принялся за работу: «Исполненный божьего благочестия, золотая опора Исфагана, расцветающего в лучах двух солнц, того, что на небе, и того, что на земле,— мудрого и милосердного царя царей эмира нашего Тимура-Гурагана, друг мой, зрачок моего глаза, достопочтенный Хазрет Фахретдин ибн-Мухитдин...» Но все мысли были об одном: хоть как, но дать о себе знать Нормураду. Больше друга в этом огромном чужом городе, чтобы просить помощи, у него нет. Если кто и поможет, так только он.

И Кривой доволен: утихомирился парень, работает так же прилежно, как и раньше.

— Эх, браток, браток! Бедный нищий странник! Где ты еще найдешь такую райскую жизнь? Ни в чем нужды не знаешь, есть, пить прямо в руки приносят,— увещевал он притихшего строптивца.

— Сколько держать меня собираетесь? Ты хоть это скажи! — спрашивал тот, не поднимая глаз от бумаги.

Тот щурил глаза и с тонким жутким смешочком отвечал:

— Так ведь, если хочешь... хоть век живи!

— По родным своим краям скучаю, почтенный господин. Вот потеплеют дни, и я вослед птицам уйду.

— Вот видишь! В таком долгом пути прежде всего деньги нужны. Коли поработаешь прилежно до весны, лошадь себе купишь, хорошую одежду справишь.

— Куда уж лучше,— смиренно вздыхал Хабрау и даже подкладывал под себя обе руки — такая вдруг брала охота мерзавцу этому, который держал его под замком, вышибить и второй глаз.

Хабрау не знал, что уже несколько раз Нормурад приходил и спрашивал о нем, выслушивал какую-нибудь очередную выдумку и уходил ни с чем.

Долго сидел в раздумье Хабрау и решил: коли единственное оружие в его руках перо и бумага — их он и использует.

Когда в доме все стихло, он написал коротенькое письмо на имя Камалетдина-мавляны и Нормурада. Взял голыш, которым придавливал бумаги, и тщательно обернул его письмом. Теперь оставалось попроситься по нужде во двор и выбросить письмо через высокий дувал на улицу. Если попадется в руки доброму человеку, то отнесет его мавляне. О том, что добрый человек должен быть и грамотным, Хабрау как-то не подумал.

На другое утро Хабрау все и исполнил. Умываясь возле протекающего через сад арыка, он заметил, что человек, приставленный к нему в караульные, уселся совершать омовение, и, достав из-за пазухи увесистый бумажный сверток, метнул через стену.

Весь день у Хабрау работа валилась из рук. То ошибка проскочит, то уже в самом конце письма поставит кляксу. Все его мысли были о письме, которое должны доставить мавляне и Нормураду. Нашел ли его кто-нибудь? А коли нашел, то доставил ли по назначению?

Наступил вечер. Стемнело. Наступила ночь. Хабрау с горькой усмешкой покачал головой: «Эх ты, наивный человек! Да, ничего не скажешь, хитрую ты уловку придумал, куда уж хитрей! Конечно, никто письма не заметил, и его, наверное, затоптали в землю снующие туда-сюда прохожие. Ну, скажем, нашел его человек, а читать-то и не умеет,— вдруг осенила догадка.— Куда он пойдет? В ближайший дом, где есть люди, знающие грамоту? А какой дом ближе? Конечно же контора достопочтенного Абдулкадыра!» Говорят, растерявшаяся утка задом в воду ныряет — вот и Хабрау... задом нырнул. Надо снова думать, искать другой способ. Он уже достал с полки одеяло и тюфяк, приготовился лечь спать, как распахнулась дверь и вошел Кривой в сопровождении двух дюжих молодцов.

— Одевайся! — взвизгнул старик. Единственный его глаз зло блеснул в свете свечи.

Один из молодцов сдернул со стены халат и бросил его Хабрау.

Держа халат в охапке, Хабрау прокатился по ступеням, вылетел во двор и упал на землю. «Что поделаешь, если большинство добрых людей безграмотны...— еще хватило у него сил усмехнуться.— А эти ждали, когда стемнеет».

Его подняли и поволокли.

— Куда вы меня тащите? Отпустите! — кричал он, хотя знал, что и не ответят, и не отпустят. Но просто

так, словно тюк, мотаться в их руках было совсем унизительно.

Те двое подтащили его к лошади, туго, так что заломило затылок и стало тяжело дышать, завязали глаза, завернув за спину, веревкой замотали руки. Потом забросили его в седло, вдели ноги в стремена, и они поехали.

Сколько ехали и куда ехали, Хабрау не понял. Только осталось в памяти: лошади пошли рысцой, потом пустились галопом, поворачивали то влево, то вправо, шли в гору, потом вниз.

Наконец лошади стали. Ему развязали глаза, размотали веревку на руках. Но и когда сняли платок с глаз, он не сразу смог что-нибудь разглядеть, кругом была непроглядная тьма.

Хабрау слышал, что у Абдулкадыра есть загородный дом. Видать, туда-то его и привезли. Что-то большое, высокое чернелось впереди. И ни звука вокруг. Даже собачьего лая не слышно.

Но все же, когда начальник конторы, позвенев ключами, открыл ворота, внутри дома блеснул огонек. К полуночным путешественникам подбежали двое, в их руках мерцали обнаженные сабли. Они перекинулись несколькими словами с приехавшими, узнали их и поклонились одноглазому:

— Ждем, давно ждем, господин!

Высокое строение впереди оказалось двухэтажным домом. Быстро прошли через огромную комнату внизу и поднялись наверх. Хабрау втолкнули в такую же, как и в городе, маленькую узкую комнатку. Кривой вошел следом.

— Впредь будешь работать здесь! — заверещал он.— И знай, если задумаешь бежать отсюда или эту свою подлую выдумку захочешь повторить, а может, новое что придумаешь — эти двое тебя не пожалеют. Запомни, приказ им дан простой: заметят что подозрительное — смахнут тебе голову с плеч. Сабли ты их видел.— И он бросил на стол бумажный комок. Но комок не отскочил от стола, а стукнул коротко и лег. То было его злополучное письмо.

— Тьфу, будьте вы прокляты! — сказал Хабрау.

Но голоса его, кроме него самого, уже никто не услышал.

Всю ночь не сон был, а долгий бред. Он бежал и бежал от разбойников в черных личинах на вороных быстрых конях, оглядывался на бегу, и они уже настигали, настигали, настигали его...

Только теперь понял Хабрау, на какую участь он обречен. До конца жизни, пока не потускнеют глаза, за одно лишь пропитание будет работать он на Абдулкадыра. Любит почтенный торговец в своих письмах пофилософствовать о совести и справедливости... Вот его совесть, вот его справедливость! В единственном окошке — железная решетка. Тяжелую, из цельного карагача, дверь вечером запирают на замок с тюбетейку величиной. Неужели ни суда, ни кары нет на этого злодея?

Бедному узнику кус в горло не шел, ночами и на короткий миг сон глаз не смежал. С тех пор как заточили его сюда, работы стало еще больше. Закончит писать письма, перед ним кладут старинные арабские свитки, теперь он и их должен переписывать.

Задумается о своей участи, вспомнит с тоской родные степи и отложит на миг перо — сидящий у порога человек сразу рычит, даже камчой замахивается. Да, его решили сделать рабом. Трудно ли обратить в рабство одинокого, беззащитного парня, забредшего из далеких стран на чужбину? Никто о нем не встревожится, никто его не пойдет искать. Что он, что камень, ушедший в воду,— бульк, и нету.

Но Хабрау сдаваться не собирался. Уже прошло два месяца, как он — всего на два дня! — ушел из дома мавляны Камалетдина. Не найдя другого выхода, он решил напасть на часового. Однажды, когда его вывели во двор, незаметно подобрал и спрятал за пазухой круглый увесистый камень... Улучив момент, стукнет часового этим камнем по голове и, когда тот свалится без сознания, вытащит у него кинжал из-за пояса и бросится к наружной двери. Лучше, конечно, угадать так, чтобы второй стражник в это время ушел поесть или был в людской у слуг. Пока поднимется шум, пока поймут, что к чему, он должен успеть перелезть через высокий дувал. И если доберется до зарослей дикого орешника — там уж он будет бежать и бежать, пока, запалившись, не упадет на землю. Потом выйдет на открытое место и где увидит огонек, туда и пойдет. Этот беспрерывно льющий дождь — тоже в помощь ему.

Опасная эта затея с каждым днем все сильнее возбуждала его. В то же время он через окно примечал, где глиняный дувал пониже, высматривал и запоминал все, что было дальше, за оградой. Чтобы не возбудить у сменявшихся часовых подозрения, он усердно исполнял всю порученную работу.

В день, на который был намечен побег, он работал не поднимая головы. Он знал: если прервется, даст себе отдых, то своим нетерпением выдаст себя, свой замысел. Нельзя останавливаться, даже головы поднимать нельзя! «Светоч справедливости, милосердием своим... Светоч справедливости, милосердием своим...» Он и не видел, что этими четырьмя словами заполнил уже целый лист.

Пришел вечер. Реже и тише стали шаги домашней прислуги. Хабрау нет-нет да и скосит глаз на стражника. Затих на улице дождь, по гребням гор на горизонте разлился тусклый свет. Значит, уже завтра может распогодиться. Надо спешить.

Хабрау сунул руку за пазуху, положил на камень, перекрутил его два раза в дрожащей ладони, приподнялся из-за стола... В этот миг в уличные ворота загрохотали с такой силой, словно хотели выломать их. Должно быть, и выломали — тут же во двор влетело человек десять верховых нукеров. Пятеро-шестеро из них, то и дело поднимая лошадей на дыбы, поехали вокруг дома, остальные спешились и с шумом и грохотом разбежались по дому.

Стражника, в растерянности застывшего у двери, схватили, вырвали оружие из рук и пинком спустили с лестницы. Хабрау, отбросив камень в угол, шагнул навстречу нукерам. Попытался пересилить волнение, рассказать о своей участи, выразить свою радость, но его тоже тычками спустили вниз, во двор.

Как его привезли в город, как вместе с пятью-шестью другими схваченными в доме Абдулкадыра людьми спустили в черный зиндан — он помнил только урывками. Оттого что в последние дни он думал только о побеге, все тело его и чувства были натянуты как тетива, видно, ничему другому места в душе не было. Вырвавшись из когтей Абдулкадыра, он расслабился, словно тяжкий груз скинул с плеч, и потому досыта спал, за всю бессонницу отоспался, скудную пищу, которую бросали ему тюремщики, ел с удовольствием. О будущем не тревожился, и в заботах не было.

На третий или четвертый день его вызвали на допрос. Тем же вечером вручили письмо от Нормурада и Миркасима Айдына. Друзья призывали его не тревожиться и духом не падать, обнадежили, что, как только кончится следствие, он выйдет живой и здоровый.

То ли неделя прошла, то ли две, Хабрау не считал.

Ум и чувства — словно омут под ряской, застой и тишина. Он и не знал, что юное его сознание и дух были на пределе, побудь он еще немного под замком во власти этого мерзкого одноглазого — он и духом, и сознанием своим стал бы рабом...

И когда Нормурад и Миркасим вывели его из темницы на божий свет, от радости, от чувства свободы у него закружилась голова. Не подхвати они его на руки, так бы спиной и грянулся на жесткую, как камень, уже прокалившуюся под весенним солнцем землю.

Вернулся Хабрау в дом мавляны Камалетдина и слег. И болеть ничего не болит, но руки-ноги словно наговором сковало, не слушаются его, нет-нет и тьма к глазам подступает. А хуже всего — точит душу непонятная тоска.

Но лежать без дела, ссылаясь на болезнь, которая и не болезнь, он не мог. В саду кипит работа. С десяток поденщиков раскапывают зарытые на зиму виноградные лозы, очищают от старых веток плодовые деревья, вскапывают землю вокруг них. Хабрау тоже надо бы туда, дармовой хлеб есть он не привык.

Вечером к нему заходят Нормурад с двумя-тремя сокашниками или Миркасим.

— Ты уж зла на меня не держи,— сказал однажды Нормурад.— Ну... это же я тебе насоветовал идти к Абдулкадыру.

Хабрау удивился. Так ведь если ему суждено было пережить то, что он пережил, при чем здесь чьи-то советы или отговоры? У каждого своя судьба, и что кому суждено — то и на лбу написано. Но сказал только:

— По пустому не переживай, мирза Нормурад. Никакой твоей вины нет. Это тебе столько хлопот, столько переживаний из-за меня, ты сам меня прости.— И приложил руку к груди.

— Не говорю «забудь», однако об этом нечестивом доме старайся думать меньше. О надежде на будущее думай, оно лучше,— попытался ободрить друга чуткий душой Миркасим.

Узнав из их рассказов, как им удалось спасти его, Хабрау начал выходить из застойного своего омута. А ведь он мог на всю жизнь остаться в неволе. Не то что вернуться на родину, окинуть взглядом родной окоем, вдохнуть полынные его ветры, он даже милые лица своих друзей, которые были здесь, совсем рядом, не увидел бы никогда! Подумает об этом Хабрау, и в глазах тем-

неет, в горле — что уголек горячий. Есть ли беда страшнее рабства? Голоден будь, гол и бос — лишь бы дух твой и тело не были в оковах. Кто жизнь в нищете мыкает, кто горем разбит, даже кто на смертном одре лежит — в каждом есть еще уголек надежды, дышит и тлеется. Нет ее только у раба.

Вздрогнул Хабрау, взял в руки домбру, которая три месяца без него в сиротстве прозябала, полою халата вытер с нее пыль.

И горестные переживания, задор и вдохновение — все было в новой его песне, которая сама лилась из сердца. И раздвинулись тесные стены худжры, наполнились светом. И не знает Хабрау, где он, кто сидит перед ним. Закрыл глаза и улетел туда, к горам Урала. И чем дольше играл, тем больше смывалась странная мертвящая накипь с души и душа наполнялась болью.

Ни Миркасим, ни Нормурад, ни другие шакирды больше в этот вечер не сказали ни слова. Опустив взгляд влажных глаз в землю, разматывая нить сокровенных своих дум, пошли они по домам.

Утром Хабрау вызвали к следователю. Разумеется, в этот раз Нормурад не захотел отпустить его одного и даже позвал с собой еще двоих шакирдов. По пути вызвали и Миркасима.

Следователь протянул Хабрау какую-то бумагу, велел подписать, потом сказал:

— А здесь то, что ты за два месяца и двадцать дней наработал у Абдулкадыра, врага божьего и государства,— и сунул ему в руки увесистый кожаный мешочек.

Когда он вышел на улицу, друзья шумно обступили его, принялись поздравлять, высыпали деньги из мешочка на гладкий камень. А Хабрау стало грустно, и, пока товарищи, двигая по камню монеты, считали их, он стоял и комкал в руках кожаный мешок. Словно какая-то постылая тяжесть из мешочка легла на сердце. Он смотрел на маленькие, блестящие кружочки серебра в паутине букв и узоров — вот дни его заточения, его страх и тоска, тяжелое небо за решетчатым окном и тусклая безнадежность.

Хабрау знал, что Абдулкадыр кроме караванной торговли занимался поставками продовольствия и фуража войску эмира. И попался на том, что подсунул две тысячи тюков плесневелого риса. Гнев эмира — гнев божий, узнаешь, когда он уже ударил: все имущество велеречивого торгаша конфисковали, а самого увезли в далекий

вилайет и бросили там в зиндан. Об этом Нормурад рассказал Хабрау еще в день его возвращения. Любил Абдулкадыр в своих посланиях о чести, о совести, о справедливости поразглагольствовать, столько наговорит — печати на письме трещат. Что ж, теперь узнаешь настоящую справедливость. Вот с тех неправедных богатств и перепало Хабрау, и немало, видать. Сам Хабрау здешних денег так и не узнал, но два товарища Нормурада заговорили наперебой:

— Разбогател, друг Хабрау!

— Знатные сапоги купишь!

— Что сапоги — с головы до ног оденешься!

Они собрали деньги, ссыпали в мешочек и положили ему за пазуху. Хабрау поморщился, словно что-то скользкое сунули.

Когда шли через площадь Регистан, он заметил стариков, которые сидели на весеннем солнцепеке и что-то жевали всухомятку. Хабрау подошел к ним.

Видно, что пришли старики издалека, усталые, изможденные, одежда густо присыпана пылью, обувь изношена и разбита так, что смотреть страшно. А по кускам и объедкам, что лежат на платках перед ними, видно, что живут подаянием. Не от хорошей жизни пустились они странствовать.

Друзья и слова сказать не успели, Хабрау развязал мешочек и положил перед каждым стариком по две монеты, а что осталось, сыпанул под ноги ватаге мальчишек, которые, размахивая руками, оживленно переговариваясь, спешили куда-то, и, не оглянувшись на то, как странники-аксакалы вскочили на ноги, одни застыли, разинув рот, другие с благодарными причитаниями заковыляли следом, а мальчишки, бросившись, как воробьи на мякину, и вздымая клубы пыли, принялись искать монеты и тузить друг друга, быстрыми шагами пошел с площади.

— Прости, Хабрау, но ты сделал глупость,— вздохнул один из шакирдов.

— Вон оно, твое удальство,— сказал другой, кивнув на мальчишек.

А что касается Миркасима, он молча обнял Хабрау за плечи. Подошел Нормурад, обнял с другого бока.

— Хы! — сказал Миркасим.

— Хы! — уточнил Нормурад.

И оба рассмеялись. Вправо покосился насупленный Хабрау, влево покосился и засмеялся тоже.

5

Вызвавшись пригнать находившихся на выпасе коней, Хабрау отправился за город. Была пора, когда бурно молодеет природа. Через неделю праздник науруз. Высокие берега Кухака, холмы и взгорья, уходящие далеко, насколько хватает глаз, словно охвачены пламенем, все застлано красными тюльпанами и дикими маками.

Хабрау пристально вгляделся в синеющие вдалеке горы, и сжалось сердце. Перед глазами встали отроги Урала, берега Яика, Сакмары и Сайылмыша.

Давно не видел Сайылмыша,
Все ль броды прежние узки?
Есть средства от недугов тела,
А где лекарство от тоски? [1]

Полной грудью, дав голосу волю, пел джигит, но утоления тоске не нашел. Вспомнит месяцы Абдулкадыровой тюрьмы, и кажется ему, что и весь мир — темница. А разве на далекой его родине не то же самое? С одной стороны жмут ордынские армаи [2], а с другой — живешь и кланяешься таким баям и богачам, как Богара. Сильный, гордый человек Кылыс-батыр, отец Хабрау, уже стареть начал на службе у Богары и не то что скота, богатства, даже простого достатка не нажил. А всего горше — в воле своей несвободен. Не смог встать против желания турэ и отправил единственного сына в далекие неведомые страны. Впрочем, он, кажется, и сам хотел, чтобы Хабрау получил образование и стал муллой.

Уже два с половиной года, если не считать дороги, Хабрау на чужбине. Увидел, чего и деды-прадеды не видели, тайны наук и искусств познал. Самое время и домой отправляться. Отчего же так саднит сердце, предчувствия какие-то? Что это, тоска по дому или опять вспомнил о матери, с которой даже попрощаться не довелось? Нет, чем-то еще встревожено сердце, чуткое, как рассветная птица, какое-то горе предвещает, подступающую беду...

Вернувшись домой и загнав лошадей в конюшню, он зашел к Нормураду. В его худжре сидели еще человек пять шакирдов. Хабрау поздоровался, те лишь коротко кивнули в ответ. Головы поникли, губы поджаты, в глазах удивление и страх. У Хабрау екнуло сердце.

---

[1] Песни и кубаиры перевел Равиль Бухараев.
[2] Армай — палач.

— Что случилось, мирза? — спросил он у Нормурада.

Из сбивчивых слов друга он понял, что вчера по обвинению в святотатстве и, того ужасней, в хуле на самого Рожденного под Счастливой Звездой великого эмира схвачен Миркасим Айдын.

И неизвестно, какая ждет его кара, возможно, самая страшная. Пробовали заступиться за него — теперь и у заступников, и у всех, кто был дружен с ним, жизнь висит на волоске. А среди них кроме мавляны Қамалетдина — отцы и родственники пяти-шести его шакирдов. Упало подозрение и на отца Нормурада.

Так вот почему ныло его сердце! С белым как бумага лицом Хабрау опустился на земляной пол.

Қак узнали потом, на застолье какого-то богача Миркасим прочитал свои новые стихи и кто-то из гостей донес визирю, что в стихах этих содержатся нечестивые намеки на великого эмира, что они посягают на безопасность государства и сеют смуту.

Две недели о Миркасиме не было никаких вестей, и даже спросить было нельзя. Хабрау измаялся в тревоге за его судьбу. Шакирды даже друг с другом боялись заговорить, мавляна Қамалетдин целыми днями сидел у себя в комнате, ни к кому не выходил.

Наконец узнали, что Миркасим от смертной казни был помилован и его увезли в город Астрабад, в ссылку. Хвала аллаху, все те, на ком лежало подозрение в сочувствии ему, под суд не попали, все остались на прежних местах, в прежних должностях. Но тень опасности, словно крылья стервятника, уже нависла над ними. Мавляна стал все чаще болеть, все реже выходить к своим шакирдам. В медресе, как и во всем городе, надолго установилась настороженная тишина.

После всех этих тревог Хабрау еще сильнее потянуло домой.

Қамалетдин успел полюбить его как родного сына. Верно, Хабрау не гостем нежился в его доме, труд его был нелегок. Но разве он на это в обиде? Қакие тут обиды! А работа и есть работа. Его приняли, обучили наукам, ему нашлось место возле самых просвещенных людей Мавераннахра, и он, на далекой чужбине, один без родных, а сначала и без верных друзей, достиг того, за чем прошел такой долгий, мучительный путь. Мало того что выучился письму и чтению, высокомудрые книги, о которых не то что на отрогах Урала, даже не во всех дворцах Самарканда слышали, открыли ему свои тайны,

он узнал великие истины, вступил в волшебную страну поэзии.

Хабрау уже начал разузнавать, нет ли караванов, которые собираются на берега Яика.

Занемогший Камалетдин хотел оставить его еще на один год, жаль было ему отпускать от себя верного, усердного в любой работе джигита. О Нормураде и говорить нечего, он считал Хабрау за брата. Отец его — известный сардар в войске Тимура. Вот минует та буря, снова будет на виду и в силе, на сына и капле дождевой упасть не даст. Вот Нормурад, как и мечтал, пойдет по стезе государственной деятельности, послужит расцвету просвещения и культуры. Через год кончится его учение, и тогда он соберет вокруг себя самых высокообразованных, самых преданных делу просвещения людей. «Будешь у нас толмачом или переписчиком книг,— уговаривал он Хабрау.— Женишься, в круг больших ученых войдешь».

Нет, другие у джигита помыслы, иная дорога. Знания, которые он набрал здесь, он хочет, и крохи не обронив, донести до своей родной земли, отдать своему народу. В душе рождаются мятежные песни, а возьмет в руки домбру — буйные непокорные мелодии. И судьба его принадлежит не одному ему — он уже начал понимать это.

И может, из верности, из благодарности, просто из приличия — как же откажет он старому человеку в его просьбе? — остался бы еще на один год, кто знает, но неожиданно мавляна Камалетдин оставил этот мир. Его наследники службу парня-башкира не сочли необходимой. До седьмого дня после похорон своего учителя Хабрау ходил, не находя себе места, а на восьмой, обливаясь слезами, попрощался с Нормурадом, как он думал, навеки...

Нормурад сам позаботился, чтобы найти ему попутный караван, хотел сам оплатить переезд и все расходы, но Хабрау не согласился. Семья покойного Камалетдина не обидела его, приняв во внимание, что джигит как-никак два года усердно работал за один, считай, прокорм. Они дали ему денег, чтобы он оделся получше и обулся покрепче, купил провизии в дорогу. К тому же Хабрау и так чувствовал себя в долгу перед Нормурадом. Однако друг все же настоял на своем, на память, дескать, подарил ему шесть дорогих книг, а для матери и сестры — шелковые платки, такие тонкие, что скомкать — так в детском кулачке уместятся.

— Спасибо, Нормурад-мирза, век не забуду твою

доброту ко мне! — сказал Хабрау, обнял его и прижал к груди.

— С легкой поклажей уезжаешь ты, Хабрау, но, боюсь, с тяжелым сердцем. Не держи обиды на нас. Всякое ты повидал в моей стране. Черная, червивая душа этого Абдулкадыра — но добрых и светлых душ в моем народе больше. Помни это.

— Нет, мирза, поклажа моя не легкая, бесценный мой товар — ваша доброта и великие знания твоей земли,— ответил Хабрау.

Верблюды тронулись. Хабрау навсегда распрощался с высокими минаретами Самарканда, с его величественными дворцами, прохладными садами. Теперь этот город будет лишь сиять в его мечтах, больше он его не увидит никогда.

Но того, что с другом, который за руку ввел его в мир знаний, через многие годы он встретится опять, в эти мгновения Хабрау и помыслить не мог.

На исходе лета пришел Хабрау на берега Яика. Пришел и рухнул.

То-то, что рухнул...

Перед тем как выйти в путь, он договорился с караванбаши, что наймется к нему погонщиком верблюдов. Поначалу все было хорошо и ладно, и караванбаши, и остальные погонщики были довольны им. Но через полтора месяца пути Хабрау внезапно заболел. Он крепился из последних сил, не подавал виду, потому что знал, сколько вдоль этого караванного пути рассыпано костей тех, от кого судьба лишь на миг отвела свой милостивый взгляд. Обычаи далеких странствий суровы и безжалостны. Стал обузой — останешься один-одинешенек посреди этой бескрайней степи.

Но сколько ни крепился, день ото дня становилось хуже. Голова огнем горит, суставы ломит, ноги на ходу о землю цепляются, чернолицые всадники пляшут перед глазами.

У караванбаши свои заботы: если вдруг болезнь этого бедняги окажется заразной, то и все караванщики один за другим останутся лежать по краям пустынной дороги. Он хоть и видел через силу бредущего за караваном парня, но делал вид, что не замечает. На привалах он наказывал ему, чтобы тот ложился подальше, к ним не приближался. И все же товарищи не отвернулись от Хабрау, по очереди кормили и поили его.

Промучился он так неделю, и словно бы полегчало дыхание; только на железном своем упорстве, как на аркане, вытащил он себя из омута смерти. Сколько раз, сидя скорчившись в стороне от сгрудившегося каравана, он говорил себе, что от судьбы все равно не уйдешь, что больше не встанет, останется здесь. Может, и остался бы. Но только начнет уходить в блаженное беспамятство, встанет перед глазами мать, посмотрит лучистыми глазами и махнет рукой: вставай, иди. Встает Хабрау и идет. Падая, спотыкаясь, бежит на звон колокольчика, который слышен уже вдалеке.

Уже на берегу Яика, когда расходились их пути, караванбаши долго, испытующе смотрел ему в лицо, потом окинул взглядом с ног до головы и сказал: «Ай-хай-хай, джигит, упрям же ты оказался! Многих я знал, которые в твою беду попадали, и все там, в степи, и остались лежать. А ты не сдался. Не отбивайся, держись меня. Помощником моим будешь, разбогатеешь». Вцепился намертво, уговаривал долго, но так и не уговорил. Тогда снял с себя новый халат и надел на Хабрау, еще дал пару крепких сапог. У парня брызнули горячие слезы, первый раз с тех пор, как простился с Нормурадом. Так, видно, и бывает с человеком: в невзгодах и тяготах душа твердеет и дух крепнет, а от доброго слова или поступка снова тает воском, и все злое тут же забывается. Ожесточение на караванбаши, который готов был оставить его умирать в степи, тут же прошло. Пара сапог, конечно, тоже обрадовала; два месяца шел он по пескам и по камням, по горам и ущельям, переходил вброд реки, сапоги разбил вдребезги, подметки на сыромятных веревках держались. А теперь перед отцом и матерью, родственниками-свойственниками предстать будет не стыдно.

Когда переправились через Яик, караван взял налево по направлению к Итилю[1], а Хабрау поднялся на высокий холм и рухнул на высохшую траву. Два месяца шел, ни отдыха, ни послабления себе не давал, а три часа осталось — силы кончились.

Все дальше и дальше уходил тоскливый звон медных колокольчиков на шеях верблюдов. Большой караван, навьюченный тюками риса, изюма, дорогих шелков, красивой узорчатой посуды, оружия в золотой и серебряной чеканке, обходя невысокие холмы, мерно покачиваясь, потянулся на запад.

---

[1] Итиль — Волга.

Караван уходил и уходил. Хабрау лежал навзничь, лицом к небу, и уже не смотрел, а только слушал затихающий звон верблюжьих колокольцев, которые еще порывами доносил ветер... Так, видно, и заснул.

Ильтуган домолол лепешку, которую дал ему Хабрау, и теперь спит. Во сне чмокает губами — все, видно, еда снится. А путник, встав во весь рост, оглядывает бескрайнюю степь. Куда ни бросит взгляд, пасутся стада, то там, то здесь тянутся в небо столбы дыма. Земля, где родился он и вырос, его родина, по которой он тосковал три года. Что ждет его здесь?

Сначала он уткнется лицом в колени матери и расскажет ей обо всем, что видел, что изведал, о всех своих мытарствах, о бедах и радостях, пережитых за годы разлуки.

Словно вешние воды, выходящие из берегов, кипят в его душе новые песни, строки новых стихов. Не было предела его тоске по этим краям, вот о чем он будет петь своим землякам — о том, что нет ничего дороже земли, на которой ты родился и вырос.

Пришлось разбудить Ильтугана. Мальчик побежал к пастухам, а он зашагал к большому яйляу, раскинувшемуся на землях Богары. Эти места уже были знакомы, и он быстрым шагом пошел искать свой аул, повезло, что его сородичи в этом году остановились здесь.

Явь это? Сон? Вот и стоит Хабрау возле их старенькой юрты. Протянет руку к дверному ремню и опустит снова. И рука — как душа, чего-то боится и чего-то ждет. Наконец дверь распахнулась сама. На пороге показалась мать. Осанка все такая же прямая, как и в молодости, но время свое берет, две глубокие морщины прочертили лоб, вытянулось лицо, из-под платка выбились пряди волос, в них серебром сверкает седина. Только глаза, как и в молодости, яркие и лучистые. Застыла на миг мать и вспорхнувшей птицей бросилась к сыну на грудь.

— Сынок, свет моих очей! — Из груди ее вырвался стон. Руки гладят сына по лицу, по плечам, а обессиленное тело сползает на землю.

Хабрау подхватил ее и ввел в юрту. Мать пришла в себя, смущаясь, убрала волосы под платок, пригладила платье и, сверкнув молодым, лучистым взглядом, по которому так тосковал ее сын, уткнулась головой ему в грудь.

— Сынок, сынок... где же ты ходил три года, сынок? Неужто о сироте своей, о матери, не вспомнил? Глаз от дороги не отрывала, и глаза померкли, плакала-плакала,

и все слезы высохли. Сколько раз к ворожее ходила. Даже она твоих путей не отыскала.

— Глаза твои все такие же лучистые, мама,— сказал улыбаясь Хабрау,— и не сирота ты, с отцом вдвоем...

— Отец твой... нет его, сынок.— Из лучистых глаз потекли тихие слезы.— На другой же год, как ушел ты и потерялся, напала на него какая-то болезнь. Пролежал три месяца, промучился, и душа отлетела кречетом. Большой был человек, сильный, поверишь ли, усох весь, как подросточек сделался...

Хабрау, обмерев, опустился на кошму. Что его страдания, его мытарства рядом с горем и потерями, которые выпали на долю его бедной матери? Вот и отец умер, опора и щит аула, кто же теперь защитит сородичей?

Долго молчал Хабрау. Щадя его душу, мать ничего не говорила, сидела рядом, тоже уйдя в свои думы, лишь тихо всхлипывала порой. Вот она, словно в ответ на глубокий вздох сына, погладила его по руке, и по всему телу Хабрау прошло ласковое тепло.

— Вслед мертвому не умрешь... очнись, сынок. Живым о живом думать. Аксакалы соберутся. Пойди овечку зарежь. Сам знаешь, семилетний из странствия вернется — семидесятилетний навестить придет.

Хабрау вышел на улицу, откинул крышу юрты.

Потом, когда Хабрау освежевал овцу, мать лила ему на руки. Журча стекала вода, а она не могла оторвать взгляда от сына.

— Усы отпустил, мужчиной стал, жениться тебе уже пора. Сговоренной невесты у тебя нет, но чем никогда мир не скудел — так это девушками на выданье. Женишься, хозяйство наше в свои руки возьмешь, а я внучат буду нянчить. Сам видишь, уже в тот возраст вошла, когда только и делать, что дома сидеть. Отец покойный все горевал: так, дескать, и ухожу, на свадьбе сына не погуляю. Вспомню все его страдания, все оборванные надежды, и душа заходится,— разматывала она клубок надежд и печалей.— Сегодня гостей созовем, а потом пойдешь на могилу отца. Перед смертью тебя звал, твое имя последним было на языке, прости меня, Тенгри. Очень я поначалу обиделась на него, что увез тебя и мне ни слова не сказал, в далекий путь отправил. А потом или свыклась, или оттого, что слег он... сердце отошло.

— Отец, хотя грамоты не знал, умом вперед видел, мама.

— Может, и так, сынок, только очень уж дорогое вы-

шло твое путешествие. А ведь и прежде не было в нашем кочевье человека ученей тебя.— И, сама не замечая, гладила сына по коротко остриженным волосам, касалась его плеч.— Тревожно мне, сынок. Все кажется, что если упущу тебя из глаз, то опять надолго.— Она сквозь слезы посмотрела на него.— Нездоровится мне, в груди колет.

— Теперь я уже так далеко не уеду, мама. Разве что в аул Богары съезжу, это же рядом.

— Для тебя рядом, сынок, а для меня от кочевья нашего чуть шагнешь — уже далеко.

Хабрау смотрел на шершавые руки матери, думал о том, что и вспухшие вены, и глубокие борозды на ладонях похожи на его дороги. Он опустил голову, и перед сощуренными глазами встало удивительное видение. Юная, стройная, гибкая телом женщина, сверкая лучистыми глазами, звеня монистами в накосницах, бежит навстречу четырехлетнему сыну, который верхом на лошади возвращается с водопоя. Светлый высокий день, степь вся в цветении. Два маленьких братишки и сестра, уже подросток, что-то кричат, зовут его. А там, возле юрты, стоит огромный богатырь с саблей на поясе и в кожаном шлеме, одной рукой уперся в бок, другой поглаживает усы и улыбается. Это его отец, Кылыс-кашка.

Унеслись годы, словно яростные кони, исчезли за горизонтом, и вместе с ними ушел отец, а молодая мать с лучистыми глазами, что бежала навстречу маленькому всаднику, постаревшая, грустная, сидела теперь, словно птица, сложившая усталые крылья, возле сына-странника, единственной своей опоры.

Хабрау мотнул головой, словно бы хотел стряхнуть и сладостные, и горькие эти воспоминания...

Позавтракав вместе с матерью, он взял соседского мальчика и пошел на могилу отца.

Кылыс был знаменитый батыр, слава его шла далеко. Когда Хабрау было лет пять, на их аул напали барантой. Так и в память врезалось, как отец огромной своей палицей раскидывал налетчиков, лошадь его с диким ржанием вставала на дыбы, а голос кашки, громкий, как рев вожака оленя, звал сородичей не поддаваться грабителям. И еще мечется в памяти страшное видение: между юртами черной смертью крутятся на вороных конях всадники с черными тряпками на лицах. Один из них опрокинул их юрту, в пух и прах разнес утварь, но тяжелая палица Кылыса вмяла его в землю...

Гонец Богары встретил его по пути со старого кладбища, и под причитания матери сын опять вышел в дорогу. Когда он тронул оставшегося от отца длиннотулого жеребца, мать взялась за стремя и долго шла рядом.

— Бедный твой отец... вся жизнь его прошла на службе у Богары. Теперь и ты на ту же службу,— тихо говорила она.— И уйдешь, как в воду...

— Успокойся, мама, не плачь. Это же близко, его кочевье совсем рядом, скоро я обратно вернусь.

Так он утешал мать. А сердце у самого отчего-то сжалось, дрожь прошла по истомленному, еще не отошедшему после долгой дороги телу.

— Иди же, возвращайся, устала уже,— сказал он.

Мать отпустила стремя, и он рысью пустил лошадь вслед гонцу, который ехал шагом далеко впереди.

Нагнав посыльного, он оглянулся. Мать где остановилась, там и стояла.

6

Через три дня в аул Богары прискакал зять Хабрау, муж сестры. При виде его у Хабрау замерло сердце. «Мать»,— подумал он. Когда он подошел к зятю, тот отвернулся, принялся поправлять потник, так, стоя спиной, и сказал: «Мать умерла...» Хабрау уже сам, холодея, на миг раньше сказал про себя эти слова, но, когда услышал, не поверил им...

Он гнал и гнал коня, и когда он подъехал к аулу, вороной жеребец был в белой пене. Но мать уже успели похоронить. По обычаю Тенгри, мертвое тело должно видеть только одно солнце...

За неделю он и куска не взял в рот. Сестра и друзья-ровесники пытались хоть как-то утешить его, но он их и не слышал. То одни соседи приходили к застолью звали, то другие, он даже не отвечал им. Потом заперся в юрте и больше никого к себе не пускал.

Когда он снова вышел к людям, то все увидели, что он разом стал намного старше — уже мужчина, поживший, повидавший. В глазах печаль и задумчивость, губы сжаты, словно больше и не улыбнется никогда.

Он поймал пасущегося в степи вороного и поехал к могилам отца и матери.

Вот он и сирота, на всем необъятном свете один-одинешенек. Есть, конечно, сестра, есть сородичи. Но у них своя жизнь, свои заботы. День-деньской век за веком

кочуют вслед за своей скотиной, и мало ли ее, много ли, все думы, все помыслы в ней, так и живут-перемогаются. И в черном горе, что палит его изнутри, и в будущих его замыслах они ему не товарищи. Но разве не для того он собирал в трудах и невзгодах знания, чтобы отдать их своей бедной, своей темной родине? С чего начать, как осуществить задуманное? С Богарой обстоятельно поговорить он так и не успел, а другого советчика нет. Таймас-батыр, задушевный друг отца, заехал ненадолго и исчез — тоже у Богары на службе.

По обычаю в помин душ отца и матери он зарезал скотину, созвал стариков на застолье, и на этом дела его в ауле кончились.

Опять он вышел в дорогу, и вся поклажа — горе, что плечи гнет.

— Куда поедешь? — спросила сестра.

— В аул Богары. Начатое дело ждет,— ответил брат.— За юртой, за скотом моим присмотрите...

На первых порах Богара не тревожил его, разговора о будущем не поднимал. Впрочем, в хлопотах о зимовье у турэ на это не было времени.

Наконец, в самое безвременье, когда стало холодать и в воздухе замелькали первые белые мухи, он вызвал Хабрау к себе.

Турэ считал, что джигит, который три года проучился на чужбине и хотя, по собственным его словам, в красный угол дворца науки не прошел, но через порог все же перешагнул, должен бы сесть в его кочевье муллой. И разрешение на это при помощи Абубакира можно было получить скоро и без проволочек.

Но замыслы Хабрау были иные, и образование, что он получил, вовсе не богословское. Он чистосердечно признался, что желание его — обучать детей. А если найдутся такие, до грамоты охочие, то и взрослых парней.

Сколько ни убеждал его хозяин пойти стезей благочестия, Хабрау стоял на своем, и Богаре пришлось согласиться с его желанием.

После этого разговора он собрал учеников — младшего сына Богары, Айсуака, и еще десять мальчишек из кочевья — и начал давать уроки.

Ребятишки за учение взялись ретиво. И Хабрау с ними полегчало, немного рассеялась тоска. Он намеревался взяться за работу немного попозже, а сейчас, пользуясь тем, что дни ясные, хотел объездить ближайшие аулы, может, заехать к усергенам. Но Богара настоял на том,

чтобы за учение принялись сразу. Как бы Хабрау не отбился от рук, кто знает, что у него там в голове, какие думы, уж лучше сразу засадить за работу.

По правде говоря, Хабрау и сам чувствовал: изможденное, истощенное тело, каждый измученный сустав просят покоя, сердце мается, и никак ему, горестному, не успокоиться. Куда он такой поедет? И разве такая у него сила, чтобы спорить с Богарой? Живешь в отдельной большой юрте, обут, одет, накормлен. Чего ни захочет, уже перед ним. У хозяина своих забот выше головы, докучать Хабрау, чего-то выпытывать ему некогда. Препоручил гостя сыновьям и байбисе, а сам все по делам, все в разъездах.

Из одиннадцати учеников скоро выделились пять-шесть — расторопней и сообразительней. Через три месяца они уже читали по складам; закусив язык, белым мелом на плоском черном камне выводили коротенькие предложения, освоили сложение и вычитание в пределах ста. Самый быстрый в счете и чтении, самый сметливый — Айсуак. Выполнит задание, еще и тугодумистому товарищу поможет, тоже молодому учителю облегчение в непривычном еще деле.

Но нелегко мальчишек, которые целыми днями носятся на воле, то возле скотины, то в играх в войну да в баранту, заставить сидеть над книгой. Приходится Хабрау идти на всякие уловки. Обещает после уроков из толстой арабской книги, одной из подаренных Нормурадом, почитать сказки — читает по-арабски и тут же переводит — или же спеть под домбру кубаиры усергенского йырау Йылкыбая. А уж если начнет рассказывать о годах, проведенных в Самарканде, ребятишки слушают, весь свет позабыв.

Однажды к вечеру, уже к концу занятий, открылась дверь в юрту и вошел Ильтуган, тот мальчик, с которым Хабрау повстречался на берегу Яика. Худой, озябший, в старом чекмене — заплата на заплате, на ногах старые сарыки — пальцы торчат.

Шакирды, дети отцов состоятельных или хотя бы живущих в достатке, при виде худенького мальчика в рваной одежде стали смеяться и дразнить его. Хабрау с трудом унял их.

Когда они остались в юрте с Ильтуганом вдвоем, Хабрау посадил его поближе к очагу, подождал, когда тот отогреется, и принялся его расспрашивать. Слово за сло-

во, и выяснилось, что покойные отец и мать Ильтугана были из того же аула, что и Хабрау.

Наконец, осмелев, мальчик открыл и свое заветное, с чем пришел: очень уж ему хочется научиться грамоте. Оказывается, каждый раз, как приведет какая-то нужда его в аул, затаится, бедняга, за юртой Хабрау и слушает, как он играет на домбре и на курае. «Я и сам на курае играю»,— вырвалось у него. Хабрау взял с полки курай и протянул ему. И впрямь, неплохо затянул, сорванец!

Хабрау посидел, подумал немного и вышел, оставив его в юрте. Он пошел к Аргыну и рассказал ему про Ильтугана, стал просить за него: бедный сирота в голой степи в мороз и вьюгу ходит за стадом, ну детская ли работа? Хоть бы в ауле к какому делу его пристроить.

— Полно в мире нищих,— хмыкнул Аргын.— Всех начнешь жалеть, так и за тем стадом, о котором говоришь, некому будет ходить.

— Неужели славному Аргын-батыру не по силам одного-единственного сироту взять под свое крыло? Богатства не хватает? — потянул Хабрау за ниточку его самолюбия.

После такого заявления Аргын только для вида поупрямился немного, а потом покашлял с достоинством и сказал:

— Ладно, только ради тебя. У матери на посылках будет. Пусть в юрте с работниками живет.

Разумеется, Ильтуган успевал посидеть и на уроках Хабрау, и не только посидеть — к исходу зимы он уже догнал остальных шакирдов.

Все время Хабрау уходило на ребятишек, а когда, уже к вечеру, те убегали домой, остаток дня он отдавал стихам и песням. Поэтому за всю зиму он никуда не выезжал. И лишь весной, когда потеплело, вдвоем с Аргыном съездил в свой аул. Привел в порядок могилы родителей, положил рядом два плоских камня, камень серый и камень белый.

Сестра с зятем и четверо их детей живы-здоровы, бьются-перемогаются, тянут хозяйство, как и сородичи, как и соседи, как и весь мир остальной. Когда они заговорили было о его скотине, Хабрау отмахнулся, ему было не до скота: «Пусть в вашем стаде ходит, если вы не против, а выпадет нужда какая, пользуйтесь как своей». Сестра сразу поняла, что все отговоры будут впустую, и лишь удивленно покачала головой. Зять же, чтобы скрыть блеск в глазах, отвернулся в сторону. И все же не выдер-

жал, погладил усы. Глупой щедростью шурина он был доволен.

В дороге Хабрау думал о том, как измаялись, измучились за зиму кочевья, о жалкой участи тех, кому, кроме как в старой, насквозь продуваемой кибитке, укрыться негде, о том, что от бескормицы начался падеж скота. И горечь не отпускала его. А ведь всё как всегда, как и в каждую зиму, и год, и два, и, наверное, век назад. Пожалуй, не так тяжко было бы на душе, если бы не пожил Хабрау оседлой жизнью Мавераннахра. Там и зима полегче, и корм скоту, и все запасы готовят заранее. Хотя простой люд и там живет впроголодь, но все же зимует в тепле.

Он поделился своими мыслями с Аргыном, но угрюмый, молчаливый детина лишь удивленно хохотнул:

— Женись скорее, у жены в объятиях не замерзнешь. Эх, Хабрау, нашел над чем голову ломать! Не сегодня же помрем, коли век так жили.

Нет, с этим не столкуешься. Что ни есть — то праздник, сегодня живы — и завтра не помрем, так и привык. Впрочем, он по-своему прав. Степная жизнь, она не торопится, новое принимать не спешит. Если вся степь прадедовским укладом и уставом живет, менять ничего не хочет, так Аргыну ли чего-то хотеть? Вот, извольте, у молчуна язык развязался. Хлеща воздух камчой, он начал говорить о том, что оскудевшее от падежа стадо пополнить совсем нетрудно: сходил два раза в баранту — и живи как жил. Хабрау молчал, и тогда Аргын, уже тыча сдвоенной камчой перед собой, стал учить его уму-разуму:

— Пока ты ходил к родителям на могилу, я аул ваш посмотрел. Старики говорят, мол, у Хабрау десять лошадей, голов с тридцать овец, три коровы, говорят, да еще телята. Зачем их этому востроглазому зятю отдавать? Не будь дураком, забери их себе! Женись. Сколько тебе? Двадцать один? Давно пора. Я только на три года старше тебя, а уже двое мальчишек. Видел их?

Старшему четвертый идет, уже теперь, как лошадь увидит, тянется, кричит, чтобы верхом посадили... Знаешь что? Бери нашу сноху Карасэс, моего старшего брата вдову. Такая красавица — с ложкой воды проглотить! Всего месяц прожила с братом.

— А старший твой брат... когда он умер?

— Не такой уж и старший. Близнецы мы. Был он жив — были Таргын и Аргын. А теперь привык считать

его старшим. Уж год, как он в войсках Орды был, на какой-то Сулман-реке смерть нашел. Эх, Хабрау, у Карасэс даже походка своя, ни на чью не похожа. Посмотрит — сердце, что воск, тает. Женись, не пожалеешь.

— Коли так хвалишь, сам бы и женился.

— Нельзя мне... Хочешь знать, оба глаза на другой красавице, жду, когда вырастет. К тому же младший есть, Айсуак. Отец хочет выдать Карасэс за него.

— Так ведь Айсуаку всего десять! Вы что, извести ее хотите? Пока он вырастет, Карасэс иссохнет и пожелтеет вся! — Он в сердцах рывком закинул голову коню.

— А я о чем тебе толкую? Дашь немного скота, так, чтобы обычай уважить только,— и весь калым. Без горя, без забот женатым станешь. И раздумывать нечего!

— Что воду толочь! На родину, к отцу отправьте сноху.

— Тоже сказал слово! — Тяжелое лицо Аргына стало еще суровей.— Знаешь, сколько за нее калыма выплачено? То-то, что не знаешь! Пятьдесят лошадей, двести голов овец, десять верблюдов. Эх, Хабрау, да отец ее скорее зарежет дочку, чем вернет такой калым. Не Карасэс это — а черный камень на нашей шее...

После этого разговора Хабрау как-то по-иному стал примечать грустную красоту Карасэс. Видимо, пользуясь тем, что отец все время в отъезде, Аргын велел ей почаще бывать у Хабрау на глазах. И в юрте приберет, и пищу приготовит, и белье ему постирает — все она, Карасэс. Без шума, без звука войдет к нему в юрту, как тень сумеречная. Сделает всю работу — и нет ее. Спросит Хабрау о чем-нибудь — «да» или «нет». Голова опущена, если поднимет взгляд, лицо закрывает краем платка.

Но однажды принесла она мяса в деревянной чаше и, собравшись уходить, открыла было дверь, но опять закрыла. И, будто сама с собой, с ноткой тоски в голосе протянула:

— Льет-то ка-ак... Снег с дождем...

— Так посиди. Спешной-то работы нет? — Парень нерешительно показал ей на дальний от себя край кошмы.

— Посидишь тут... Свекровь каждый мой шаг сторожит,— сказала Карасэс и рассмеялась, но и в смехе была печальная медлительность.

— Свекровь на меня не подумает. Знает мой скромный нрав,— пошутил Хабрау.

Карасэс вскинула на него быстрый взгляд. Но лица при этом не закрыла, то ли забыла, то ли впрямь реши-

ла, что бояться или стесняться повода нет. И ответ ее ударил Хабрау обухом по голове:

— Нашел чем хвастать. Скромный он, видите ли. А я женщина, Хабрау, или не видишь? — И, выпятив высокую грудь, выгнулась к Хабрау.

У парня в руках айран выплеснулся из чашки, лицо жаром вспыхнуло.

А Қарасэс — уж коли, дескать, открыла рот, так до конца скажу:

— От тоски умру. Қакая радость мне на земле осталась?

И не подумаешь, что стыдливая семнадцатилетняя женщина, ходит обычно — глаз от земли не поднимет.

— Ты молодая, здоровая... — пробормотал в растерянности Хабрау.

— Тоже радости — здоровая! Қакой толк от моего здоровья... Мертвая уже, только обмыть, в саван зашить и в землю зарыть осталось... Домой, к отцу-матери, вернуться не могу, вот и жду здесь, дожидаюсь, когда деверю Айсуаку пятнадцать исполнится...

На ресницах слезы, словно роса вечерняя, тяжело блестят, брови от безысходной досады круто взмыли вверх. Даже в такой темный миг красива Қарасэс! Узкое тело стройно и гибко, и сама, как молодая косуля, быстра и ловка. Было с чего Аргыну, слюну оттягивая, расписывать ее.

Қарасэс, собрав посуду, ушла, Хабрау долго сидел и думал о ней. Вот еще одна душа, у которой погасла звезда надежды... Еще пять-шесть лет не узнает она мужского объятия, счастья материнства. Цветущие, наливные годы зазря проходят. Да и станет женой подростку, сойдется ли сердцем с выжданным супругом, полюбит ли? И всему виной — железный обычай; калым, скот дороже человеческой судьбы.

Хабрау взял в руки домбру и запел приглушенным голосом. Песня была о юной вдове, которой и в доме покойного мужа жизни не осталось, и домой, к отцу-матери, все пути отрезаны.

А наутро, когда Хабрау проходил мимо юрты Қарасэс, ему причудилась вчерашняя его песня. Остановился, прислушался. Точно, она! И напев, и слова его, Хабрау. Видно, за юртой стояла бедная женщина, подслушала, запомнила, а теперь поет, наверное, слезами обливается...

Двух дней хватило, чтобы песня разошлась по всему

кочевью. Это была не первая сочиненная им песня, которая у молодежи на устах.

Аргын же полностью уверился, что сноха и впрямь приглянулась Хабрау, и как-то заговорил опять:

— Оказывается, друг, ее за тебя так просто не выдашь. Нельзя, говорят, чтобы сноха из рода мужа уходила. Однако мулла этот, Абубакир, который все время у нас околачивается, говорит, пусть, мол, отец объявит Хабрау названным сыном. Так что будешь мне братом. И готово дело, забирай Қарасэс!

— А если Айсуак крик поднимет? — хотел было отшутиться Хабрау, но до Айсуака первым крик поднял сам Аргын.

— Дурак ты! Сам своей выгоды не знаешь! — В досаде несколько раз щелкнул камчой.— Скота у нас вдоволь. Не жизнь, а мед да масло.

Аргын не зря так горячился. Причину открыл отец. Однажды он вызвал Хабрау к себе на вечернюю трапезу.

— Уж, считай, месяцев шесть, как вернулся ты... А чтобы вот так вместе, вдвоем, обо всем обстоятельно, еще и не поговорили. Виноват, браток, мирское бремя — на плечах мужчины,— начал хозяин.— Худой ты все еще, мяса побольше ешь, округлишься малость,— добавил он.

— Да я уже в силах, почтенный Богара-агай. Вот подсохнут дороги, хочу к усергенам съездить, с Йылкыбаем-певцом познакомиться,— сказал Хабрау.

Что-то не понравилось Богаре — что ехать ли собирается, что Йылкыбая ли помянул. Брови дрогнули, по лицу прошла тень. Потянувшаяся было к мясу рука дернулась обратно.

— С усергенами, которые век с кипчаками грызутся, что у тебя общего? Ты — сэсэн кипчаков.

— Нет, почтенный Богара-агай, хватит силы — так певцом всех башкир хотел бы стать. Потому и ногайскому натиску противостоять не можем, что меж кипчаками и усергенами свара. Пал гуляет по нашей степи. И мне тоже его разжигать, на единокровных усергенов людей натравливать?

— Аб-ба! Уж больно кровь у тебя горячая, как я посмотрю, вмиг вскипел. Так просто сказал, испытать тебя хотел. Осмотрителен будь, другого у меня к тебе слова нет.— Богара пригладил поникшие усы и, откинувшись грузным телом, рассмеялся.— А все же не годится, как Йылкыбай, он ведь где ухватится, там и ломает, очень уж смел с ногаями, оттого и жизнь на волоске висит.

— А что ему, сидеть и поддакивать им? Орда за глотку держит, ясак такой, что не поднять. Ногаи-то нас на кипчаков, усергенов, бурзянов делят, одной дубиной всех равно охаживают, одну саблю над головой занесли. Почему таких спятивших турэ, вроде Байгильде, не придержишь? Все время усергенов или бурзянов укусить норовят.

Богара задумался. Долго крутил в руках чашку, то одним, то другим боком выставляя ее на свет лучины.

— Пытаюсь, да руки коротки,— вздохнул он наконец.— Мысли-то у нас с тобой одинаковые... Да, раздоры в костях у нас сидят.— Большая его рука легла на плечо Хабрау.— Где, ты думаешь, день и ночь меня носит, куда скачу? Свой-то род у меня вот здесь.— Рука, взлетевшая с плеча Хабрау, сжалась в кулак.— А вот остальные кипчаки — что овечье стадо без барана-вожака, во все стороны готовы разбрестись. Вот их всех и хочу собрать в один кулак. Тут одного моего слова мало. На твою помощь расчет держу.

— Что моя помощь могучему Богаре?

— Ты мое дело своими песнями защищай! Орду пока не трогай, язык вырвут. Сначала надо кипчакскую землю собрать и укрепить. И еще... Аргын, наверное, сказал уже... Жениться тебе надо, и скорей. И красавица есть, при виде тебя языка лишается. Будешь жить...

— Нет! — Хабрау встал с места. Не успел бы хозяин ухватить за рукав, махнул бы дверью и вышел.

— Говорю же, горяч,— хмыкнул Богара.— Никто тебя сегодня в юрте Карасэс запереть не собирается. Думай. Но если впрямь, как говоришь, за единство башкирской земли душой болеешь, хочешь в ней мира и согласия, от меня тебе отрываться нельзя. Через три дня старейшин родов, уважаемых аксакалов в гости созову. «Хабрау-сэсэн будет петь и говорить» — вот какая по всем кочевьям разослана весть. Готовься! — Это прозвучало как приказ.

— Какой там сэсэн, агай... Все мое сэсэнство — только молодежь веселить.

— Большая вода с малого ручья начинается,— сказал Богара, похлопав его по спине.

Хабрау показалось, что ладонь главы рода — во всю его спину.

Хабрау, конечно, на запреты смотреть бы не стал, если нужно куда, взял и поехал, он в своей воле. Того достаточно, как он в Самарканде у торговца-злодея под

замком сидел, во всю жизнь не забудет. Что может быть дороже свободы? Ни на день бы здесь не остался, детишек жалко, с такой ведь охотой взялись за учебу! Как бросишь, как уедешь? Теперь ему захотелось на кипчакскую верхушку посмотреть, узнать, чем живут, о чем думают. К тому же в таком высоком собрании себя, свою домбру и свои песни испытать тоже заманчиво.

...Сначала, пока аксакалы пили-ели, разговор толокся вокруг предстоящей летовки, решали, как и где ее устроить, на каких пастбищах. Когда же перешли на недоплаченный ясак, поднялся крик. Богара, конечно, стоял на том, чтобы с ногаями не ссориться, хоть и нелегко будет, но все же поднатужиться и с долга, который висел на них, хоть малость, а скинуть. Байгильде поддержал его. Старики из родов победней с этим не соглашались: надо, говорили они, отправить к ногайскому эмиру послов, просить, чтобы снял часть податей или уж, на худой конец, не жал со сроками.

— Знаем, чего добиваетесь! — закричал один из стариков, переводя взгляд то на Богару, то на Байгильде.— Хотите баскакам угодить и получить ярлык на тарханство.— Он даже хотел, кажется, плюнуть, но удержался, не плюнул.

— Верно, что змея, что скорпион — одинаково жалят. В Орду в гости ходят, подарки там раздают, против нас замышляют,— подхватил другой старик.

Аргын, сидевший у порога на корточках, вскочил с места.

— Забыли, где сидите? — потемнев лицом, закричал он.— К вам с добром, а вы с колом! Вам еды кус, а вы камнем в ответ.

Первый старик:

— Вот, видели? И этот тоже! Здесь турэ сидят, каждый втрое его старше, а он на нас горло дерет.

Тут же и второй:

— Оно и есть: силен пес в своей конуре...

Хабрау сидел, потупившись от стыда. Мудрость и опора страны, бороды по пояс, а где ум, выдержка, степенность? Где уж тут с другими — меж собой поладить не могут, не совет старейшин, а собачья свалка.

Перекрывая шум, загремел твердый голос Богары:

— Подождите, не шумите. Аргын, садись... сядь, говорю, твое место пока у порога.— Еще не затихло ворчание, хозяин, сверкнув белками глаз, перешел в наступление: — Вы что, собрались криками мир исправить? Ор-

да высоко, так меня кусаете? Эх, мужи почтенные, гости дорогие, медведя хворостиной не испугаешь. Наши раздоры и нелады — ногаям сила. Мое слово такое: немощный люд всего ясака не поднимет, возьмем половину на себя. Тем и народу угодим, совьем в его душе гнездо благодарности. А с Ордой тягаться рановато, года два-три подождать надо. Потерпим, высокий ямагат[1], недалек он, желанный день.

— Афарин! — приложил печать Байгильде. Он сидел выпятив грудь, отвага так и перла из него: вот, мол, за свата и жизнь отдаст.— Долг своего рода завтра же отправлю.

— У тебя известно: бегаешь в баранту на соседей, награбил скота,— начал было один, но Байгильде рыгнул так, что юрта качнулась, и ответил:

— И ты побегай.

Грудь и живот его выпятились еще больше. Он подождал, не посетит ли его еще отрыжка, и продолжил:

— Учти и то, почтенный, что каждый голодранец, которому ты поможешь поднять ясак, любому твоему врагу ради тебя горло перегрызет. Дайте мне два-три парня от каждого кочевья. За неделю весь скот бурзян пригоню.

— Опять свару затеваешь? Забыл усергенское угощение?

— Ничего, и он еще у меня отведает, этот Юлыш!..

Пока турэ и аксакалы то приходили к согласию, то опять поднимали крик, Хабрау под пустячным предлогом вышел из юрты. После духоты юрты на свежем ночном воздухе мысли немного прояснились. «Нет»,— сказал себе Хабрау и даже мотнул головой. Нет, не будет он сидеть и петь свои песни, которые кипят в нем, из груди рвутся, в усладу этим живодерам, готовым сгрызть друг друга. Его место там, в бедных юртах, среди черни, которой нет жизни от ненасытности и сумасбродства богачей.

Шел мокрый снег, вихрился в столбы. Уже и дни потеплели, и степь уже вышла из-под снега — вдруг закрутил этот рехнувшийся, совсем не ко времени буран. Возможно, это последний снег долгой, мучительной, выстудившей весь люд до костей зимы, но и он, этот последний буран, сколько еще принесет народу мук и скоту погибели.

---

[1] Ямагат — общество.

Не может Хабрау выйти в путь в такую тяжкую пору, придется ждать, когда установится погода и подсохнут дороги. А самое верное — доучить ребятишек до лета. И то сказать, к такому великому йырау, как Йылкыбай, не явишься с пустыми руками. Нужно закончить стихотворения, которые начал и не дописал, отделать их как следует. Песни, что теснятся в душе, отточить так, чтобы не было стыдно перед высоким судьей.

Он вошел в свою юрту, бросил на чуть дышавшие угли сухие ветки, положил сверху кизяку и при свете лучины принялся листать толстую тетрадь, привезенную из Самарканда.

Приходил посыльный, звал его обратно к застолью, но он не пошел.

Причуды своенравной погоды оказались помехой и замыслам Богары. Ехать по делам он не мог и сидел безвылазно в теплой, подстеганной ватой юрте. Гостей приезжих нет, аул живет своей размеренной жизнью. Одна-единственная радость — песни Хабрау. Только что-то в последнее время никак он с молодым сэсэном общего языка не найдет. С того вечера, как не послушался Хабрау и ушел от гостей, к турэ он заходит лишь из приличия, словно горячий суховей прошел меж ними и выжег что-то.

Но все же хитрый Богара увидел, в чем его слабость. Теперь при встречах он увлеченно расспрашивает о Самарканде, и у парня сразу развязывается язык, и уже сам не замечает, как с жаром начинает рассказывать обо всем, что видел и пережил, о порядках, установленных Тимуром в государстве, о повседневной жизни, о том, как строится его войско, о том, как живет тамошний народ, о его обычаях. Подробно расспрашивает дотошный турэ, выпытывает, уточняет, но весь вывод из услышанного — погладит усы и удивленно покачает головой. Начнет Хабрау хвалить оседлую жизнь, на пальцах перечислять ее достоинства перед кочевой, турэ тоже, как и Аргын, спорить не спорит, а лишь усмехается: «Так ведь, браток, у каждой страны свой уклад, свои обычаи». Кто знает, может, про себя за дурачка его считает.

Хабрау ломал голову, пытаясь понять его натуру, разгадать его цели. Раз посмотришь — ради единения страны жизнь отдать готов, а в другой посмотришь — все помыслы в богатстве и высоком положении. На любое нов-

шество глаза закрыты, уши на замке. Человек жесткий, своенравный, на бедных сородичей, что живут с ним рядом, на работников никогда по-доброму не взглянет. Может, главе большого, в тысячу юрт, рода и положено быть таким крутым?

Молод еще Хабрау. Трудно ему во всех качаниях человеческой натуры разобраться, разглядеть жизнь до ее закоулков. А Богара человек вовсе не простой и бесхитростный. На языке одно, на уме другое. И к цели, о которой втайне мечтал, на которую жизнь был готов положить, он подбирался осторожно, как чуткий охотник, хорошо знающий повадки птиц и зверей.

Да, из всех дорог Богара выбрал хоть и окольную, но самую надежную. Законы степей, родовой уклад у него в крови сидят. Слов нет, города, хлеборобство, оседлая жизнь, культура — хорошие вещи, прямо на зависть, и слов нет. Одно жаль — совсем для башкирской степи не годятся. Всю жизнь, все традиции, все завещанное наследство, что из поколения в поколение идет,— взять и переиначить? Возможно ли? Нет, невозможно. Так что зря хлопочет Хабрау, зря колотится. Все помыслы Богары — в сегодняшнем дне, а не в далеких помыслах сэсэна. Впрочем, если всю кипчакскую землю собрать воедино, вот в этой своей горсти, кое-какие каноны-обычаи и можно повернуть так, как говорит сэсэн. Придет время — посмотрим.

А пока сарышский голова какой выбрал для себя путь, тем и пойдет. И замыслов своих вздорным, неустойчивым турэ раскрывать не будет. Молчи и делай. А опираться нужно на простодушных батыров, этим улыбнешься чуть пошире, они уже за тебя жизнь отдать готовы. А чернь-нищета всю жизнь на одной надежде живет. Услышит какую добрую весть — и сразу спасибо какому-нибудь турэ, за него молится. Вот и слова Богары, которые он бросил на ясачной грызне, разве не разошлись тут же — и не только среди кипчаков, но и в других племенах? Разлетелись, впятеро умножились, из пуговицы в верблюда выросли. И ведь знают люди, сколько раз так было: нынче турэ две головы скота даст, а на будущий год три головы потребует. Но народ все равно доволен. Некоторые йырау уже и песни поют о доброте и справедливости Богары. Только Хабрау молчит. А ведь глава сарышей хотел вырастить из него соратника, наперсником своим сделать. Дурит джигит, никак не образумится.

Чуткий кипчакский турэ раньше других унюхал, что

жизнь забродила по-иному. После того как ордынские войска были разбиты на берегах Дона, прежние железные порядки Дома Джучи сильно пошатнулись. А старания Тохтамыша взять в жесткие тиски все эти рвущиеся из-под власти Орды в разные стороны, стремящиеся проводить свою политику народы и племена — все равно что пытаться остановить великий Итиль. Но и того не следует забывать, что раненый зверь на любое злодеяние пойдет, нальет кровью зрачки и прыгнет. Нет, всегда нужно быть как ловчая птица, настороже.

Понимает, хорошо понимает Богара, что даже подгнившее в корнях дерево само не упадет, его подтолкнуть нужно. Разве согласятся ногаи, которые уже сто лет башкирскую землю словно кость обгрызают, так просто от такой сыти отказаться? Тоже хитрые. Хотя сорок сороков всяческих податей и не убавляют, но теперь стараются с влиятельными башкирскими старейшинами ладить, из-за каждого пустяка, как прежде, войной не идут. Хоть с виду важничают и хорохорятся, но дела теперь ведут осторожней, осмотрительней.

Этим и должен воспользоваться Богара, повернуть к своей выгоде, разобщенные башкирские племена соединить в одно. Только зима наконец сошла, поскакал он, горя этим желанием, через всю степь, из рода в род, из кочевья в кочевье. Созвал в гости всех турэ кипчакских родов, уважаемых старцев, славных батыров. Но мало этого, мало, мало! Кипчаки — одна лишь ветвь башкирской страны. Птица души Богары, как быстрый беркут, ищущий добычи, летит, забирая в полете и весь Урал, и яицкие, сакмарские, демские берега.

И все он делал, как принято, согласно древним обычаям, старался помириться с тамьянами и минцами, а более того — с усергенами и бурзянами, позабыть старые обиды и жить в ладу. С этими помыслами он выдавал девушек из своего рода соседям, а для своих джигитов брал у них невест. Года через три-четыре уже почти все большие турэ с берегов Сакмары, Яика и Демы стали сватами дома Богары.

7

— Вставай же, вставай, йырау!

Кто-то тронул его за плечо — словно мать коснулась. Почему же не скажет «сыночек» или «дитятко», а все:

— Проснись, сэсэн, гость к нам пожаловал.

И еще, ну разве поверишь?

— От Йылкыбая-певца тебе привет доставил. Вот и бужу, разве посмела бы...

Хабрау вздрогнул, открыл глаза. Вот кто будил его — Қарасэс.

— Тебя ждет,— сказала она и быстрой своей походкой вышла из юрты.

Сладкий сон Хабрау будто рукой сняло, в легкой тоске, что обманулся сквозь сон, почудилась мать, он накинул зилян и вышел из юрты.

Гость, большой солидный мужчина лет тридцати пяти, действительно приехал из страны усергенов, из кочевья Голубого Волка. Он бросил на Хабрау недоверчивый взгляд и чуть заметно покачал головой. Однако поздоровался двумя руками и передал от славного Йылкыбая привет.

Хабрау ввел его в юрту. За айраном гость сообщил, что на будущей неделе в кочевье Голубого Волка соберутся известные сэсэны бурзян, тамьянов и минцев и что Йылкыбай будет петь свои новые кубаиры.

Очень спешит, оказывается, гонец. Переночевал в соседнем с усергенами ауле сарышей, позавтракал у них еще до света, так что теперь угощения ждать ему недосуг, завтра вечером должен быть в верховьях Демы, передать сэсэнам минских земель приглашение Йылкыбая.

Уже сидя на лошади, гонец опять с тем же недоумением покачал головой.

— Через три дня выходи в путь, сэсэн,— сказал он и поехал дальше.

Было гонцу отчего покачать головой. Парню-то всего, видно, лет двадцать, никто о нем дальше кипчакских кочевий и не слыхивал, а вот Йылкыбай, имя которого сам гонец всегда произносит с почтением, песни которого заучивает и поет народ, про этого Хабрау уже знает! Мало того что знает — гонца за ним послал. Вот и смотри на этого тонкоусого и удивляйся...

С малых лет научился Хабрау играть на домбре и на курае, что душа подскажет — на мелодию перекладывал. Чем душа нальется, то мелодией изливал. Он еще до самаркандского путешествия на вечерних играх среди молодежи, а изредка и во взрослом застолье показывал свое умение. Но о том, чтобы стать сэсэном и выйти на состязание с другими сэсэнами, мог еще только мечтать. Кочевал с отцом и матерью, с аулом вместе... Вот и он, тоже уставившись скотине в хвост, так и бродил бы за ста-

дами следом, как подхваченное ветром перекати-поле,— то в гору, то с горы, с одного края степи на другой. Так и жизнь бы прошла. А что еще остается человеку, когда мечты его не выше бараньей холки, а кругозор не дальше своего кочевья? В это лихолетье путы косности и невежества могут разорвать лишь люди с крылатой душой, вроде Йылкыбая, но таких из тысячи тысяч — единицы...

Нет, богатства, слава, положение, честь-почести Хабрау не манят. Одна мечта, одна забота: дать хоть каплю света, хоть чуточку знаний своему народу. Вот учит он грамоте десятерых ребятишек, а надо бы тысячу. Вот если бы не в каждом становье, так хотя бы в каждом кочевье был хоть один учитель. Но, скажем, появился учитель, так еще бумага, книги нужны — опять бедному кочевнику не по достатку. Вспомнил Хабрау о стариках и вздохнул только. У этих от всяческих суеверий уже ум за разум зашел, его за юродивого считают. А турэ вроде Байгильде, те просто грозят исламом и Ордой.

Недавно Хабрау заезжал к сайканам, искал желающих, которые отправили бы своих детей учиться в кочевье Богары. Сидели человек десять в юрте старого приятеля покойного Кылыса, отца Хабрау, и мирно беседовали, как вдруг вошел Байгильде. Как понял, о чем идет речь, вскипел сайканский турэ, раскричался: все, дескать, науки — источник смуты и непослушания, ногаи прознают, так на каленую сковородку посадят; чем пустое толочь, лучше бы чернь в святом слове наставлял! И конечно, пятеро, совсем уже было согласившихся отдать своих детей в ученье, тут же отказались...

Мысли Хабрау, побродив где-то, снова возвращаются к яростным, мятежным кубаирам Йылкыбая-йырау. Но почему собственные его, Хабрау, кубаиры, сочиненные в подражание йылкыбаевским, похожи на жеребенка, еле ковыляющего на шатких ногах? Нет, перед народом их петь еще рано. Спел бы, но идут они, тянутся и вдруг напевом и словами, всем ладом и складом в кубаиры старого йырау и утянутся. Чего-то не хватает ему своего, собственного, а чего — он и сам не поймет. Страсть в душе есть, и боль жжет за землю, за свой народ, а вот слов таких, как у Йылкыбая, которые огнем пышут, у него нет. Что найдет — или не свои, или тусклые какие-то, не звенят, а побрякивают, и весь жар их в груди певца остается. Странно, как это усергенский йырау о нем услышал? Даже нарочного послал! Может, слышал кто, как кипчакский парень поет его песни, и донес ему, вот и зовет на суд и

расправу. Мол, зачем мои песни на свой лад поешь? Вот стыд-то!

Так до сих пор Хабрау к нему не съездил. С одной стороны, робость удерживала: как это он вдруг возьмет и заявится к знаменитому сэсэну? С другой стороны, както больше стал верить Богаре и не хотел его ослушаться. Что ни говори, а ради единения страны бьется сарышский турэ. И Хабрау в его трудах поддерживает. Оттого и не мог сэсэн не посчитаться с его словами.

Но теперь, одолев сомнения и не думая, согласится Богара или нет, Хабрау начал собираться в дорогу. А Богара вдруг не только согласился, но даже хотел дать ему в спутники трех-четырех джигитов. Но Хабрау отказался: «Что я, большой турэ или славный в стране человек, чтобы с охраной ездить?» Но все же, чтобы уважить его слова, взял лук с сагайдаком и к седлу, рядом с домброй, привесил увесистую дубинку.

Сильное усергенское племя владело междуречьем Яика и Сакмары. Они, как и кипчаки, племя Хабрау, издавна стояли вдоль Урала крепким щитом против ногаев, опоры Орды.

Затихнув было на короткое время, опять вспыхнули междоусобицы. Дороги неспокойны. Потому и не хотел Богара, чтобы сэсэн ехал один, боялся, что наткнется на ордынский разъезд.

Но никаких в дороге происшествий не случилось. Хабрау переночевал в тех кочевьях, где наказал Богара, и наутро третьего дня повернул лошадь к землям Голубого Волка. Впереди по всей широкой степи виднелись большие кочевые аулы.

Только что прошла весна, и весь мир помолодел. Куда ни глянь, под сухой прошлогодней травой бегут ручьи, подсыхает, исходя паром, земля, на глазах оседают редкие островки снега. Хабрау, всем телом ощущая ласку весны, следил за птичьими стайками, с щебетом перелетавшими с места на место, за ленивым ходом облаков в высоком тусклом небе.

Посветлев лицом, он широко, всей грудью, вздохнул. Скоро он встретится со знаменитым йырау, увидеть которого мечтал уж давно, услышит его песни. Может, здесь-то он и найдет ответ своим сомнениям.

Прошлая осень была дождливой, а всю весну бесновался весенний буран акман-тукман, и Хабрау не мог никуда выехать из аула Богары. Днем — с мальчишками, учит их грамоте, а вечерами — в своих неотвязных думах.

С тех пор как вернулся, он все бьется, хочет свои познания в поэтике, полученные в Самарканде, приложить к башкирским кубаирам. И ничего не получается, не может он найти такую тропку, чтобы свести их вместе.

В кубаирах ему слышится то гул бурного потока, то гром копыт несущихся табунов. Вот взять песни Йылкыбая, в них действительно, как говорил Миркасим Айдын, больше призывного клича, чем нежного зова. Они связаны с тяжкой жизнью народа, его укладом, в них чаяния страны. Нет в них, как в арабской и персидской поэзии, сетований на бренность мира, прославления вина и веселья. Йылкыбай — певец борьбы и ненависти. Оттого, может, его кубаиры и прибаутки не ложатся на бумагу. А устный стих труднее отделать, довести его до совершенства, он требует большого мастерства: хотя слова и песня сэсэна зарождаются в одиночестве, но перед слушателями каждый раз заново появляются на свет, и если не будет в их звучании силы, проникновенности, народ останется равнодушен.

Много думал об этом Хабрау. Закрывшись в юрте, целыми днями писал свои стихи по-новому, разбирал кубаиры Йылкыбая или отделывал свои. Наконец он понял, что душа его и вдохновение раздваиваются, словно шла-шла одна тропа и от развилки побежала двумя дорожками. Среди людей, в гуще народа он, подобно Йылкыбаю, будет говорить древние, идущие из старины кубаиры, а при случае и сам под удары домбры скажет новый кубаир. А наедине с собой станет, по примеру восточной поэзии, писать газели, касыды и даже большие дастаны. Не сегодня, так завтра, но они тоже найдут место в душе народа.

Два года, как Хабрау вернулся из Самарканда, он уже снова обжился на родной земле. И горести вроде бы поутихли, и к одиночеству своему привык. Душа мается, и вдохновение не дает покоя. Горе порабощенной страны, ненависть парней, взятых в Орду заложниками, горе юных цветущих девушек, угоняемых в гаремы богатых ногаев,— все в его сердце. Кажется, запоет он, и польются слова проклятия баскакам и ясачникам. Но язык словно на замке, где же ключ?

В этот раз дорога ему выпала спокойная, доехал он без всяких происшествий. Но судьба Хабрау, щедрая на беды, скупая на добро, следовала за ним той же мерной поступью, что и его конь, не отставая ни на пядь. Собы-

тия, которые на всю жизнь останутся в его сердце, уже поджидали его.

Хабрау вброд пересек Сакмару, пустил коня шагом вдоль берега. Вдруг он услышал песню. Пела женщина. Чем-то встревожила его эта песня, что-то знакомое почудилось в мелодии, которую приносили порывы ветра, и, забыв, куда и зачем едет, он, словно батыр, которого заворожил курай шайтана, повернул коня в поисках того родника, откуда лилась песня. Раздвинул осторожно тальник — вот он, глазок родника! Певучая усергенская девушка, мерно водя рукой, полощет вытянувшееся по течению белье и поет, забыв обо всем на свете.

Хабрау чуть не вскрикнул от удивления — девушка пела его песню!

Песня смолкла.

— Здравствуй, красавица! — сказал джигит и спрыгнул с коня.

Девушка вздрогнула, испуганно оглянулась назад. Увидев незнакомого человека при оружии и с конем в поводу, выпустила трепещущую в струях холстину и, метнувшись от берега, застыла на месте. От страха ли, от стыда ли глаза стали круглыми, светлое лицо покраснело, как луна на восходе.

А Хабрау, удивляясь ее красоте, сказал первое, что за язык зацепилось:

— Думал, что за ранний соловей, а это девушка Голубого Волка такая певучая...

Та же, видимо, по шутливому разговору парня поняла, что никакая опасность не грозит. Одернула одежду, поправила платок.

— Я тебя не узнаю, агай,— сказала она, глядя ему прямо в глаза.— Если в наше кочевье едешь, так поезжай, с пути не сворачивай, к мужчинам ступай... Чем девушек пугать.— И подняла лежавший на берегу валек.

— Ухожу, ухожу, красавица,— засмеялся Хабрау.— Не ушел бы, да оружие твое напугало меня.

Он на коне въехал в воду, отцепил зацепившуюся за ствол ивы длинную холстину и, подавая девушке, сказал:

— Не ходи одна, еще украдет кто-нибудь.

Тонкие брови ее сердито сомкнулись над закрывающим лицо краем платка, но глаза смеялись.

Что за диво? Красота незнакомой девушки, певучий ее голос, сдержанный разговор, настороженная готовность вмиг, как чуткая косуля, сорваться с места, скрыться, а не скроется — так защитить себя... все так и стояло перед

глазами. И день посветлел, и небо поднялось еще выше, и все невеселые мысли, и печаль в душе сэсэна ушли куда-то. Едет, и, как солнечный блик, бродит по лицу улыбка. А сам невольно обернется и посмотрит назад, проедет немного и опять обернется и радостным взглядом обежит ровную стену тальника. И все слушает, не послышится ли песня опять?

Нет, больше песня не слышалась, но все вошло в сердце — лицо ее, стройность, голос, взгляд в розовом свете красного тальника и светлой бегущей воды... Покачал головой Хабрау: бывают же такие красивые девушки — что крутые брови, что прямой взгляд ярких глаз, что мягко-звонкий голос, как журчание родника.

Йылкыбай встретил его радостно, как долгожданного сына, не знал, куда посадить. За легкой трапезой долго, подробно расспрашивал о делах кипчакского племени, радовался, что друзья, знакомые живы-здоровы, а тех, кто ушел в мир иной, поминал добрым словом.

Йылкыбай-йырау ростом небольшой, телом сухощав, самый обычный с виду человек. И часто поглаживает реденькую бороду, как поглаживал бы ее любой старик из кочевья Хабрау, порою и слезы навернутся на глаза. Парня даже сомнение взяло: «Может, я не к йырау, а к какому-то другому Йылкыбаю попал?»

Но тут Йылкыбай взял домбру, провел пальцами по струнам. Хабрау еще грешную свою мысль не додумал, как домбра заговорила.

И опять мелодия показалась молодому сэсэну знакомой. Так ведь... Это он, Хабрау, сочинил ее. Что же это? А может... это и не его мелодия, может, услышал когда-то, а потом вспомнил, посчитал своей и, сам того не зная, повторил мелодию Йылкыбая, только чуть изменив ее? Стыд, вот стыд-то какой... И девушка пела эту песню. А он еще порадовался: вот, дескать, даже сюда дошла моя песня! Безумный!..

Лицо словно пламя лизнуло, он поник головой. А домбра звенит, домбра печалится. Но знакомую мелодию Йылкыбай ведет по-иному, больше в ней задора, больше страсти. Вся стать Йылкыбая, весь его вид, вызвавшие поначалу разочарование Хабрау, изменились до неузнаваемости. Мохнатые брови сошлись, искры мечутся в глазах, и даже плечи раздались вширь. А тело то склонится над домброй, то распрямится гордо; как быстрые птицы, летают руки, глазом не уследишь.

— Афарин, отец! — сказал он, одолев стыд, когда тот закончил играть.

— Нет, йырау, это тебе спасибо. Узнал, наверное, свою песню? Наши джигиты запомнили и к себе в кочевья привезли. Очень уж мне по душе пришлась.

— А я-то подумал...

— Я немного изменил, не обижайся...

Хабрау не знал, что и сказать, только радостно улыбнулся ему. Снова рядом сидел маленький сухонький старичок с редкой бородкой и мягкими быстрыми глазами, но Хабрау уже видел, какая в нем могучая сила.

Посидели, еще поговорили, потом старик дал ему джигита в сопровождение и сказал:

— Старики — народ многословный, утомил я тебя, ступай, сынок, прогуляйся, наше житье-бытье посмотри.

Когда Хабрау, обойдя кочевье, снова вернулся в юрту, день уже клонился к вечеру. Джигиту, который водил его по кочевью, о встрече на берегу Сакмары он и словом не обмолвился, однако, сам себе удивляясь, все время поглядывал по сторонам, не покажется ли та девушка, но нигде ее не заметил. Наперед не загадывал. Что будет, то и будет. К добру ли, к худу ли, но красивая усергенская девушка уже заронила ему в душу огненный уголек.

Возле юрты Йылкыбая в большом казане варится мясо, женщины суетятся, накрывают застолье. Сам же хозяин сидит на сложенных друг на друга кошмах в окружении четырех мужчин, беседуют о чем-то, лица у всех сумрачные.

— Иди, иди, гость, вот сюда садись.— Йылкыбай показал на место рядом с собой. Познакомил Хабрау со стариками и с главой рода Юлышем.

Джигит обошел всех, поздоровался обеими руками и сел на указанное место.

— Дела-то не складываются, сынок, званые гости гостевать отказываются.

Вопросительный взгляд Хабрау обошел всех сидящих.

— Вот глава рода расскажет,— показал хозяин на Юлыша.

— Хоть и молод ты, сэсэн, но имя твое усергенам известно,— сказал Юлыш.

— Оставь, агай! Мое сэсэнство и в своем кочевье-то...

Но Юлыш его слова пропустил мимо ушей.

— Особенно молодежь твои песни любит, считает их своими. Из почтения к имени славного Йылкыбая ты

дальнюю дорогу посчитал близкой, приехал к нам, и твой приезд прибавил нам радости. Погости, пока душа не насытится, поживи с нами, посмотри усергенскую землю. А те... другие званые гости, сэсэны, как я понял, испугались. Услышав, что Йылкыбай-йырау певцов созывает, юрматинский сэсэн Акай переманил их к себе, созвал на свой айтыш. Каждому, кто придет, обещал дорогой зилян, а кто не послушается, тем пригрозил Ордой. Вот так, Хабрау-сэсэн. Акай тем и живет, что ногайскую посуду вылизывает, про это слышал, наверное.

Аксакалы, сидевшие до этого молча, поддержали главу рода:

— Верно сказал Юлыш-турэ, в самый раз!

— Лизоблюд Акай, оттого и голос у него жирный.

— И сэсэнов трудно винить. Когда над страной сверкает сабля, опасно с Акаем ссориться. Если ногаи заявятся, какая сэсэнам защита от меня? — сказал Йылкыбай, тяжело вздохнув.

— Так неужели, отец, оттого лишь, что не приехали сэсэны, песню свою, слова, что из сердца рвутся, в себе задавишь? — вмешался в разговор Хабрау.

— Народ ждет,— поддержал его Юлыш.

— Нет, уважаемый Юлыш, нет, сэсэн! Смысл-то моего нового кубаира — тем трусам на голову град, в печень Акаю яд. Придет день, в глаза им скажу. А сегодня будем слушать домбру и песни Хабрау-сэсэна.— Старый певец положил руку джигиту на плечо.

— Что ты, отец, как же так! — всполошился Хабрау.— Рядом с мастером, говорят, придержи руки, рядом с сэсэном придержи язык. Кто я такой, чтобы перед тобой песни распевать? У меня и рот не раскроется...— Он покраснел и хотел встать с кошмы.

Йылкыбай, нажав ему на плечо, заставил сесть на место.

— Про ту твою песню говорю. Очень уж за сердце берет. И к тому же... чтобы по воде вплавь пуститься, сначала макнуться надо, снять озноб. Сам же говоришь, нельзя песню, что из сердца рвется, в себе задавить.

После этих слов Хабрау взял в руки домбру, но сказал, что лишь попробует спеть какой-нибудь кубаир Йылкыбая, и строки, в которых он призывал к согласию и единению, пел с особенным чувством:

Имя Воин — только лесть.
Для того, кто множит месть,

Вместо ястреба гуся
Подстрелит, сочтя за честь.
Край огромный — семь племен,
Разорен и скуден он:
Набегают чужаки,
Раздирают на куски.

Разом плюнуть — море будет.
Разом встать — им горе будет.

Тем временем один за другим подходили старики, батыры из соседних становий. К концу трапезы народу возле юрты уже собралось видимо-невидимо.

Хабрау тайком поглядывал на стоявших в стороне женщин, искал ее. Удивительно, разве мало он видел красивых девушек, но почему ни одна не задела сердца? Хотя бы Карасэс — разве не из таких, чтобы полюбить без памяти? А эти усергенские черные брови, вспомнит их, и — что за наваждение? — слегка кружится голова...

Энжеташ — Жемчужинка — так звали ее. И пришла она на песенный майдан позже, потому что все заботы большой семьи, можно сказать, на одних ее плечах. Пока трех коров подоила, пока ужин приготовила...

Она совсем маленькой лишилась отца и матери, росла в доме стареющего уже дяди, не было у нее ничего своего, даже хроменького козленка, и даже хырга туе [1] ей не сыграли, нянчила детей, с малых лет была в работе, до шестнадцати жила — глаз от земли не поднимала. Нет, зла ей не чинили, голодной не ходила. Росла, как растут все другие дети. Но все равно на душе у Энжеташ была щербинка. Все взрослее становилась она, яснее и шире становилось сознание, и все глубже уходила в сердце горечь, что так и не узнала материнской ласки и некому открыть свою душу. Пела тайком песни, что слышала от девушек и молоденьких сношек, и в том находила грустной душе утешение. Говорят же, сиротки всегда певучи.

Пока Энжеташ развязалась с домашними делами, приоделась как могла и пришла к юрте Йылкыбая, празднество уже почти закончилось.

«Ты бы еще дольше копалась! Хабрау-сэсэн кубаиры нашего Йылкыбая говорил, а ты и не услышала!» — шептали подруги. А шепот их огнем пробегал по сердцу. Энжеташ протиснулась вперед. Прошла, увидела бьющего по струнам парня, и... не прикрой она вовремя рот краем

---

[1] Хырга туе — обряд помолвки, который играют будущим жениху и невесте еще в малолетстве.

рукава, вскрикнула бы от удивления. Сэсэн, которого ожидали с кипчакской земли, был тот самый джигит, от которого она, когда полоскала белье, собиралась отбиваться вальком.

Хорошо, что никто не заметил, как Энжеташ в испуге отпрянула за спины девушек. Знал бы кто, что она днём видела сэсэна и так неучтиво обошлась с ним, закричала: «Ступай своей дорогой!» — со стыда бы умер.

Стыд-то стыд, но глаза ее все на том, бьющем по струнам парне, никак отвести не может. Хабрау тоже ищет кого-то, быстрый его взгляд то и дело обегает толпу. Может, ее, Энжеташ, ищет?.. Нет... просто так смотрит... Словно луч прошел в щель меж головами, осветил ей глаза... Энжеташ зажмурилась... и пробежала дальше. Такой статный парень, красивый обликом, и к тому же сэсэн — как же, заметил он шестнадцатилетнюю сиротку...

Домбра вдруг замерла.

— Когда подъезжал к вашему аулу, встретил я возле воды девушку, белье полоскала,— словно бы сам с собой заговорил сэсэн. Чуть улыбнулся: — Удивительной красоты! Но, похоже, грозная очень. Чуть меня бельевым вальком по голове не огрела.

«Ах!» — Энжеташ двумя руками закрыла рот. Бросилась бы со всех ног прочь, черного-белого не видя, куда дурная голова понесет, но страх, что выдаст себя, удержал ее.

— Какая из вас сумела приворожить гостя нашего? Где она? — стали спрашивать в толпе, и женщины быстро-быстро зашептались, подталкивая друг друга локтями, прыская от смеха.

Очень скоро они перебрали, кто чем занимался, и выяснили, что никого сегодня, кроме Энжеташ, на реке не было. И вдруг две сношки-молодушки взяли ее — стояла зажмурившись и воздух из груди боялась выдохнуть — с двух сторон под локти.

— Вот она, йырау! Энжеташ ты видел! — И, пересмеиваясь, вывели отбивающуюся девушку на середину круга.

— Отпустите... нет!..— Энжеташ закрыла лицо платком и, пытаясь вырваться, забилась как птица, попавшая в силки. Из глаз брызнули слезы.

Парням потеха:

— Смотри, смотри, на сэсэна валек не забоялась поднять, а сейчас испугалась!

— Прямо стригунок, который еще уздечки не знает, а?

— А мы ходим, как слепые, и красоты ее не видим!

— А увидел бы? К ней и близко не подступишься!

А Хабрау не скрывал своего восхищения.

— Да, есть с чего парням сойти с ума,— сказал он. И, пожалев Энжеташ, сказал со смехом: — Отпустите ее, отпустите! Не то опять за валек возьмется!

Энжеташ густо покраснела и, даже не отерев слез, бросилась к подругам. А те принялись ее шутя успокаивать.

— Ладно, сэсэн, пока домбра твоя не остыла, послушаем еще твою песню! — сказал один из стариков, решив, видно, положить конец этой внезапной забавной суматохе.

Но Йылкыбай, мелко рассмеявшись, сказал:

— Ай-хай, не знаю... Боюсь, теперь, как увидел сэсэн нашу красавицу, язык у него начнет заплетаться!

Старик радовался бесхитростной шутке Хабрау, его простодушному, как и присуще молодости, озорству и тому, что народ уже успел полюбить его.

А Хабрау вдруг стал задумчив, он легонько провел по струнам и сказал старому йырау:

— Девушки наши стройны, как высокие речные камыши, голоса их — как пение птиц, как журчание родников, они — краса нашей земли, отец. Энжеташ — одна из них. Если в ее честь песню спою, не осудите?

— Песня — голос души,— сказал Йылкыбай.— И Энжеташ такая девушка, что не одной, а пяти песен стоит.

— Как же, кроме сопливой девчонки, выросшей на чужих объедках, другого человека не нашлось, чтобы песней одарить,— сердито забубнила чья-то байбисе.

— Да, да, да, будто нет, будто нет! — зачастили стоявшие возле нее две щеголихи-подпевалы.

А женщина в стареньком зиляне покачала головой:

— Смотри-ка, даже тут завистники найдутся, даже на песню рот разинут!

Но кипчакская домбра, заглушая ропот, уже начала свою песню — печальную, страстную и столь неожиданную и новую, что даже сама домбра будто удивлялась порой: что это, откуда, совсем незнакомая, но мне радостно играть ее — и жильным струнам моим, и кленовому телу!.. Готовый вспыхнуть спор тут же затих. Народ замер в молчании. Хабрау, то грустно поникнув головой, то озорно улыбаясь, все играл и играл. Напев то, словно птица в широком поднебесье, плавно идет, то вдруг в быструю, задышливую скороговорку переходит.

— Хай, ну и сыплет, ну и сыплет! — говорили люди.— Пусть руки твои тебе во благо служат! Смотри-ка, чтобы у упрямых кипчаков — да такой домбрист появился!

Хабрау, делая вид, что не видит, как Йылкыбай тем языкастым погрозил пальцем, запел:

Сакмар-река струится-вьется,
По всем излукам — камыши.
Как на тебя взглянул — влюбился,
Тоски не выгнать из души.

Потянулся сначала плавный напев. И только он, извиваясь долгими излуками, дотек до конца, голос домбры, словно ударившийся о пороги быстрый поток, споткнулся вроде, прозвенел брызгами — и побежала-запрыгала быстрая шуточная песня:

Ручей журчит, с горы струится,
Сверк-сверк — как солнце в небесах.
Красавицы идут по воду:
Звяк-звяк — подвески в волосах.

Энжеташ, закрыв от смущения лицо, не видя, куда несут ноги, побежала в степь. А сама и смеется, и плачет. Ей, которая, как верно сказала та завистливая байбисе, на чужих объедках выросла и лучину своей надежды, чуть тлеющую, разжечь не надеялась, сэсэн посвятил песню! И что ведь поет? «С первого взгляда влюбился...» Хотя, конечно, если каждое слово в песне за правду принимать... И все же радостно Энжеташ. Будто какую-то муть отогнало от глаз, и весь мир посветлел, заиграл в ярких лучах.

Всю ночь не спала Энжеташ. Все думала и думала. Чередой проходили перед глазами сегодняшние события. Встреча на берегу Сакмары, сердитый ее окрик: «Ступай своей дорогой!» — песня Хабрау. И самое тревожное, самое страшное — его слова, которые он без стыда, без смущения пропел перед всем народом: «Как на тебя взглянул — влюбился...» А вдруг это правда, не для песни только? Если же в шутку— как она теперь людям на глаза покажется? А если от сердца сказал — что же теперь будет?

Чем дольше думала, тем больше запутывались мысли, попыталась распутать, расплакалась и уснула уже только на заре.

Не успела Энжеташ накрыть стол к завтраку, пришли и позвали ее дядю к Йылкыбаю.

В большой, в восемь клиньев, юрте старого йырау си-

дели пять-шесть аксакалов. Вскоре подоспел из соседнего аула и глава рода Юлыш. Йылкыбай кивнул Хабрау: говори, мол. По лицу сэсэна прошел румянец. Оглядел стариков, словно удостоверился: все ли здесь. Сидят, опустив глаза в землю.

— Слово у меня такое, уважаемые аксакалы...— одолев смущение, заговорил он.— Как я слышал, у девушки вашей по имени Энжеташ, оказывается, хырга туе ни с кем не сыграно. Значит, она вольная еще птица. Коли дадите согласие, хочу послать в ваш дом сватов, в жены ее просить.

Йылкыбай заметил, что два старика уже начали надуваться, как торгующие знатным товаром купцы, и поспешил перехватить их слова.

— Видите, почтенные, правду говорят: кто ходит, тот за счастье свое зацепится,— засмеялся он.— Вот и Хабрау-сэсэн приехал к нам и зацепился. Выходит, нашел, чего искал.

— Эй, йырау, ты дело на шутку не сворачивай! — сказал один из тех стариков.

— И то... заносчивым кипчакам сватами быть... все время к усергенам с враждой,— забубнил второй.

Не обращая внимания на вздохи и ерзанье Йылкыбая, старики принялись расспрашивать Хабрау, чем он живет, о семье, о родне, о скотине, чем жил до сего времени и чем думает жить дальше. Когда же вызнали все, что хотели, повернулись к Юлышу, спросили, что думает он.

Свадьба эта, коли удастся ее сыграть, хотя немного, да укрепит отношения между усергенами и кипчаками — вот что было важнее всего для Юлыша, об этом он и сказал. Но в то же время, при всем уважении к гостю-сэсэну, заметил он, надо узнать, что думает сама Энжеташ.

— А может, молодые тут сами разберутся? — сказал Йылкыбай.

Однако дядя девушки начал было противиться, замямлил о подлостях Байгильде, но Юлыш сказал твердо:

— Ну, аксакалы, если таково ваше решение, пусть сэсэн сегодня же повидается с Энжеташ. И если сойдутся молодые в сердечных своих помыслах, через две недели будем встречать сватов,— чем и закрыл дядюшке рот.

Кое-кто из стариков выразил недовольство: больно, дескать, быстро решили дело, не поторговались даже. И не слишком ли торопится сэсэн по молодости лет? Вспыхнул как вязанка хвороста, глядишь, так же быстро и отгорит. К тому же одинок, без угла, без пристанища, ски-

тается по чужим становьям, выплатит калым и останется нищим и голым, чем жену будет кормить?

Хабрау делал вид, что не слышит их ворчания, обиды своей не выказывал. Йылкыбай незаметно сжал его локоть: терпи. И впрямь, к девушке посвататься, с новым родом породниться — греха тут нет. А если сама Энжеташ будет согласна — куда старик денется?

В тот же день Хабрау встретился с Энжеташ и поговорил с ней...

— Разве мало девушек, зачем я тебе? — сказала Энжеташ, забыв страх и смущение.— С баями роднись!

— Не встреть я тебя вчера, всю свою жизнь, Энжеташ, до самой смерти, одиноким бы прошагал. Вошла ты в мое сердце и свила гнездо. Взлететь хочу в поднебесье, на весь мир пропеть свою песню, будь моим крылом, моим кураем.

— Полно, полно, а если бы не приехал к нам?

— Сейчас не приехал, так приехал бы позже. Нас Тенгри вместе свел, Энжеташ.

— Скажи, зачем я тебе?

— Зачем жизнь нужна? Жить!

— Эх, йырау! Сиротка я, на чужих объедках выросла, в чужие глаза смотрела. Ошибусь, отдам тебе свою душу, а ты остынешь, полюбишь другую, что мне тогда?

— Ослепнет тот, кто обидит тебя. Пуще жизни буду беречь, на лунный твой лик, на стан твой тонкий, как этот камыш, буду смотреть и любоваться, и песни мои будут о тебе.

— Йырау — голос страны, говорят старики. А что они скажут, если все твои песни будут обо мне одной?

— И они вслед за мной весть о твоей красоте, о доброй твоей душе разнесут по всей стране. Отбрось страхи, Энжеташ.

— Боюсь, Хабрау,— сказала она и показала на слабенький желтый цветочек, чуть-чуть приподнявший голову от земли: — Глянь на этот цветок. Тоже не смог подняться в тени березы.

— Твое место у меня в сердце! Откажешься от моей любви — завяну, как этот желтый цветок.

— Эх, Хабрау, Хабрау! Ну что же мне сказать? Если бы не ты — разве в душе моей поднялся этот огонь? Тенгри тебя ко мне послал, я это сразу поняла... Как только увидела.

— Вот видишь... И все же боишься.

— Как же не бояться? Появился откуда-то...

— Значит, судьба наша, Энжеташ...

— Ну, что я теперь могу сделать?! Ты хозяин моей судьбы. Дашь мне счастья на один только день — а там на руках твоих согласна умереть.— Не отерев даже бегущих слез, она уткнулась головой парню в грудь.— Шли сватов,— всхлипнула она.

— Не плачь, Энжеташ! Не плачь, сердце мое! Мы же вместе будем.— Хабрау крепко обнял ее.

— Не буду плакать...— Просветленным взглядом она посмотрела в лицо своему любимому.— Вот ведь, невесть откуда появился... Я боюсь, Хабрау, приезжай быстрее, ладно? Измучаюсь, ожидаючи...— сказала и прижалась к парню.

...Не знали двое влюбленных, какая страшная беда ожидает их впереди...

Счастливые, с радостными лицами, в надежде на скорое свидание расстались они. Когда солнце перевалило за полдень, Хабрау оседлал лошадь, попрощался с Йылкыбаем, святой души человеком, и вышел в обратный путь. В глазах не затухают счастливые искры, на лицо то и дело выплывает улыбка. И только об одном думает Хабрау — вернуться поскорей и послать сватов к Энжеташ.

Весть о том, что сэсэн ездил в страну усергенов, что влюбился там в девушку по имени Энжеташ и что, вернувшись оттуда, собирается послать сватов, очень скоро разлетелась по кочевьям сарышей и сайканов.

Однако столько добра, чтобы выплатить калым, какой запросили аксакалы Голубого Волка, у Хабрау не было. Несколько голов скота, оставшиеся от покойного отца, он отдал сестре и зятю. Единственная надежда — на помощь Таймаса-батыра, друга отца, его соратника. Если же он откажет, оставалось одно — выкрасть Энжеташ.

Но Таймас собрал аксакалов в гости, накормил-напоил их и разъяснил, как обстоят дела. Старики согласились внести каждый, исходя из достатка, свою долю калыма. Батыр обещал дать три лошади и десять овец. Зять же, почесав спину, снизошел до кобылицы и пяти овец, будто свою скотину отдавал.

Сватами были назначены Таймас-батыр и два джигита.

Но сидеть и ждать, когда они выйдут в путь, Хабрау не мог. Всей душой он был там, с любимой. Еще недели не прошло, как вернулся от усергенов, а ему казалось, что уже месяцы не видел он своей Энжеташ. И он опять

заторопился в кочевье Голубого Волка. Ничто не могло удержать его: ни сердитое ворчание стариков, что нельзя, дескать, вперед сватов являться в становье невесты, ни в какие обычаи это не лезет, ни полушутливые-полусерьезные уговоры Таймаса-батыра. Вроде и предчувствия никакого не было, а что-то гнало его... Откуда было знать ему, что злые силы уже проснулись, уже снова готовы броситься и губить все доброе.

Только с калымом все уладилось, Хабрау снова вышел в путь.

Он уже ехал вдоль излучины Сакмары, той самой, где впервые увидел Энжеташ, сейчас он по размытому склону спустится к реке, пересечет вброд, а там...

Сначала он услышал шум, крики, но откуда кричат, о чем, понять не мог,— они доносились издалека, приглушенные шорохами живой степи и прибрежного тальника. Расстояние и ветер заглушали и выдували силу и смысл криков, оставляли только их тоску. Хабрау придержал лошадь за уздцы, вслушался, всмотрелся. Сквозь черноту и слабую зелень тальника пробился густо-шафранный свет, и над берегом, там, где было кочевье Йылкыбая, взмыло пламя. Встревоженный Хабрау на рысце проехал вперед и увидел, что горят две-три юрты. Он пустил коня вниз по откосу наискось, вспенив воду, по брюхо коню пропахал реку вброд...

Баранта!

В становье шел бой. Несколько барантовщиков в черных личинах, на низких, быстрых, как пламя, черно-гнедых конях с мохнатыми гривами, сбив лошадей в табун, отгоняют их к Яику, а другие бьются с вооруженными наспех, схватившими что под рукой было джигитами Голубого Волка. Остальные же с горловыми криками и оглушительным свистом крушат юрты, попадется какое добро на глаза — хватают и бросают поперек седла. Опять оно, страшное видение, которое с четырех лет мучает Хабрау, приходит в сны, бессмысленный разор и погибель.

Несколько растрепанных простоволосых женщин с криками и визгом пробежали к Сакмаре. Энжеташ с ними не было.

Хабрау, размахивая дубинкой, озираясь по сторонам — нет ли где ее? — бросился в самую гущу боя.

Джигитам Голубого Волка приходилось туго. По два-три налетчика наседают на одного. Куда ни глянь, в крови лежат и стонут изувеченные джигиты с переломанными ногами и руками. Чем все кончится, угадать было не-

трудно. Но тут вдруг кто-то закричал: «Юлыш идет! Юлыш идет!» Спину Хабрау тоже прожгла тяжелая камча. Огромного роста барантовщик с выпученными глазами, размахивая дубиной, с громкими ругательствами ринулся к нему. Кровь с разбитого лба текла ему под лучину, но опустить свою дубину на Хабрау он не успел — один из усергенских джигитов ударил его лошадь колом в бок. Лошадь прянула в сторону, детина замахал руками и еле удержался в седле.

Видно, успели послать гонца в кочевье главы рода. Часть всадников Юлыша с громкими криками поскакала наперерез отгонявшим табун барантовщикам, остальные начали окружать аул. Грабители, пытаясь вырваться из западни, бросились к реке.

Хабрау, не зная, куда устремить свою лошадь, озирался по сторонам. И тут из самой гущи отступающих налетчиков донесся жалобный крик, ударил ему в уши:

— Хабрау! Хабрау! Спаси меня!

Он бросился на голос.

Джигиты Голубого Волка, тесня врагов, валили их дубинами или вырывали из седел волосяными арканами, но пять-шесть из них, побросав наворованную добычу, неслись во весь опор вдоль берега, пытаясь добраться до темневшего впереди мелколесья, скрыться из глаз.

— Хабрау, я здесь! — крикнула опять Энжеташ, колотясь в руках разбойника.

Крик ее словно подстегнул и без того распаленного коня Хабрау, прибавил ярости.

Обогнав воинов Юлыша, Хабрау, нацелившись на барантовщика, поперек седла которого билась Энжеташ, перехватил поудобнее аркан. Еще рывок — и он со свистом ссадит его из седла. До похитителя оставалось расстояние в два копья.

— Стой, вор! Стой, падаль! — крикнул он и метнул аркан.

И в этот миг истошно закричала Энжеташ. Вор, с захлестнувшимся на шее арканом, и девушка грянулись с коня на землю. Подоспели мчавшиеся сзади джигиты.

— Милый... умираю...— прошептала Энжеташ и посмотрела на склонившееся лицо любимого. Но это было последней вспышкой лучины, перед тем как погаснуть,— взгляд тут же начал быстро туманиться и темнеть.

Хабрау, не шевелясь, словно завороженный, смотрел на тусклый блик на рукояти кинжала, торчавшего из ее груди, и не знал, вытащить лезвие или оставить так.

— Энжеташ! Свет мой... Что же это?

— Эх, Хабрау... Не суждено быть нам вместе... Не плачь, сэсэн... Когда заскучаешь по мне, спой ту песню... «С первого взгляда в тебя я влюбился...»

— Нет... я не верю... Ты выживешь... Я не отдам! — Крупная дрожь трясла его, и с помутившимся рассудком он прижал ее голову к груди, погладил мягкие, шелковистые волосы.

— Спаси меня, Хабрау... спаси...— Энжеташ дернулась, выгнулась и опала. В полузакрытых глазах на светлом, еще не изменившемся лице появилось выражение удивления и боли.

Хабрау, сжав в объятиях тело любимой, лежал неподвижно, потом поднял лицо, опустил мертвую Энжеташ на землю и вскинул руки к небу:

— Ты, безжалостный Тенгри! Видишь ты это злодейство? Не видишь! Будь ты проклят! — крикнул он.

Воины, оставив лошадей, окружили их. Плечи понуры, глаза — в землю. Один из них, постарше, положил руку на плечо Хабрау:

— Осторожней, сэсэн, Тенгри не касайся. Судьбу не обойдешь, уж как начертано.

Хабрау не слышал его. Не слышал он и того, как подъехали Йылкыбай-йырау с Юлышем, подсели к нему, мягко утешали, и того, как сбежались женщины и, сгибаясь в рыданиях, принялись оплакивать Энжеташ. Черная ночь покрыла мир...

Юлыш и Йылкыбай не сумели удержать трясущихся от гнева джигитов Голубого Волка. Тут же на суку ближайшего дерева они повесили налетчика-убийцу. Только и узнали, что он из рода киреев. Он видел свою вину и пощады не просил. Лишь когда уже натянулась веревка, он раздвинул петлю и закричал:

— Будьте вы прокляты, Кутлыяр-армай, и ты, вор Байгильде! Тысячу раз будьте прокляты!..— и с этими словами умер.

Юлыш начал дознание. Привели двоих пленных. Того детину, который чуть не раскроил дубинкой голову Хабрау, и парня с перебитой рукой. Действительно, узел этого вероломства был завязан Кутлыяром и Байгильде. Оказывается, у одного из них в роду киреев, кочующих по ту сторону Яика, есть какой-то дальний родственник, а у другого сваты. С их помощью те два разбойника собрали в этом роду десятка два нищебродов, накормили их до-

сыта, до отвала, обещали каждому по верховой лошади и уговорили напасть на кочевье Голубого Волка.

Это выяснилось быстро. Но больше Юлыш ничего не узнал. Почему киреи напали на кочевье Йылкыбая, а не на какое-то другое, заранее было решено похитить или убить Энжеташ, то ли так все сошлось — осталось тайной. Предводители баранты умчались, а убийца уже висел высоко и смотрел вслед убежавшим товарищам. Но ясно было каждому: и ногаи, и прихвостень их Байгильде, учинив это злодейство, хотели посеять вражду между потянувшимися к согласию кипчаками и усергенами.

Теперь уже не думали о том, что лето — самая красивая пора — наступает и можно, как договаривались Богара с Юлышем, провести байгу двух родов. Эта баранта и вовсе разбила надежды на скорый мир и согласие между соседями.

Немного прошло времени, и младший брат Юлыша, не сказав старшему брату ни слова, повел джигитов на земли Байгильде и пригнал оттуда пятьдесят голов племенных коней. В отместку за это головорезы Байгильде среди ночи налетели на усергенский аул, разорили и пожгли юрты, угнали скот. Даже мирный нравом Таймас-батыр не удержался, напал на одно из становий Юлыша. Байгильде и это в радость. Принялся уговаривать Таймаса, будто тот невесть какой подвиг совершил: «Переходи в мои кочевья, во главе своего войска посажу!» А батыр от стыда за содеянное готов был прибить Байгильде на месте.

От огня пал расходится, от мести месть множится. Вместо того чтобы разом с двух сторон ударить по кровным врагам ногаям, кипчаки и усергены начали междоусобицу. Теперь лет пять нужно Богаре и Юлышу, чтобы как-то затушить этот пожар...

* * *

Лицом как пепел стал молодой сэсэн, губы сомкнуты так, словно не разомкнутся больше никогда. Взгляд мертвый.

Он вернулся в свое становье. Без чувств, без мыслей сидел в душной юрте или, словно прячась от сородичей, одинокий носился по степи. «Что с тобой, что сделалось? Ведь юродивым уже становишься!» — причитала сестра. Женщины и дети при встрече с ним в испуге и удивлении шарахались в сторону. Он же не видел и не слышал ничего, и ничто не могло вывести его из омертвелого покоя.

Сокрушив все опоры его души, кромешною мглой застлав ясный день, прокатилась черная буря. Во что ему веровать теперь, какая для него отрада в этом мире, оглохшем и потухшем? И ласковая его мать, которая с колыбельными песнями качала его зыбку, волшебными сказками приоткрыла неведомый мир и пустила свет в его младенческое, пустое еще сознание, и отец, широким своим плечом ограждавший сына от бед и лишений, уже давно в сырой земле. Любимую — нераскрывшийся, еще только дрогнувший лепестками цветок — скосил заморозок. Куда пойдет, где голову приклонит, кому изольет свою печаль молодой сэсэн?

Из тех, кто мучил его в Самарканде, кто отправил в изгнание Миркасима Айдына, из той же своры — злобный пес Байгильде. У змеи повадки повсюду одинаковы. Неужто ни Аллах, ни Тенгри не видят их, не ужасаются их бесчинству, тому, как губят они человеческие жизни?

На эти горестные вопросы ответа у Хабрау в душе не было...

8

Когда Богара услышал, что киреи по наущению Байгильде напали на кочевье Йылкыбая и убили невесту Хабрау, он без сил опустился на кошму. «Ну вор! Злыдень, кровопийца...» — сыпал он проклятия на голову свата. Только было замирились с усергенами, как опять этот разбойник змеей прополз между ними, в уже затухающем жаре раздул синее пламя, и снова занялся пожар. Что делать, как остановить бессмысленную распрю?

Первая мысль была — напасть на кочевье сайканов, связать вора по рукам и ногам, собрать совет всех кипчакских старейшин и бросить Байгильде им под ноги. Но подумал-подумал и понял: только замахнись на этого вора, весь род за дубье схватится. В собственном племени кровь прольешь и ногаям дашь готовый повод послать войско на башкирскую землю. Кутлыяр-то, видать, на это и рассчитывал, когда науськивал Байгильде на усергенские кочевья. Во-первых, они, дескать, своего неустойчивого свата защищают, во-вторых, спасают кипчакское племя от внутреннего раздора и разорения. И кончится тем, что самых сильных джигитов обвинят в мятеже и отправят в Орду. Нет, схватить Байгильде не удастся.

Эти взаимные налеты, баранта, ограбления вызвали брожение и в потаенном войске Богары. «Съездим, по-

учим уму-разуму усергенов»,— говорили джигиты. Это, понятно, Аргыну неймется, его козни. Изныл от безделья, кровь закисла, бродит. Даже Таймас-батыр — под пятьдесят уже, многоопытный, заматерелый воин, сколько крови видел — и тот бестолковым словам Аргына поддакивает.

А Байгильде затих, поджал хвост. «Приболел малость, как поднимусь, сам, без зова явлюсь»,— ответил он гонцу Богары.

Оставалось одно — забыть гордость и самолюбие и как-то встретиться с Юлышем. Через посредников Богара предложил взять каждому для охраны по десять воинов и встретиться на слиянии Яика и Сакмары, обещал вернуть угнанный скот. Однако Юлыш на мировую не пошел. «Перешагнуть через пролившуюся кровь совесть не позволит»,— сказал он. С тем гонец и вернулся. Значит, все до первой искры, какая-нибудь мелкая стычка — и распря вспыхнет снова.

А тут еще с сэсэном неладно. По крепкому убеждению Богары, пожар, почти было затухший, Хабрау-то и раздул, из-за его безрассудного сватовства пошел по степи новый пал. Сидит теперь йырау, чахнет в тоске. Как же это — потеряв разум, влюбиться в первую встречную девушку? Разве сэсэну, имя которого уже становится известным всей башкирской стране, не нашлось бы невесты из богатого рода? Ладно, полюбил, согласен. Так ведь можно полюбить, можно и позабыть. Разве годится столько времени убиваться из-за случайно погибшей девушки? Говорят же: не ходи с красавицей у кручи, до кручины доведет.

Видит Богара, что Хабрау, даже если выйдет из горя, воспрянет, снова оживет, за ним, Богарой, по пятам следовать не будет. Как ни посмотришь — все среди голытьбы, среди сирот и нищих, их песни пел, их думами жил, их горе делил. А теперь, когда из-за своих же кипчаков погибла любимая девушка, и вовсе взбунтуется, всем наперекор пойдет. Может, он его, Богару, винит в том, что погибла девушка? Отчего же целый месяц не заглянул, весточки даже не подал? А ведь турэ надеялся, что песни йырау из страны в страну полетят, далеко разнесут имя сарышского вождя. Одно слово сэсэна, говорят, пять добрых дел, тобой содеянных, перевесит.

Наконец прошел слух, что Хабрау, после того как месяц скрывался в своем становье, стал изредка появляться в соседних аулах. Но все еще сторонится Богары, не на-

ведается, даже мимоездом не заглянет, о житье-бытье, о здоровье турэ не осведомится.

Да, надолго же затянулась эта песня! Разве не об одном у них, у турэ и сэсэна, помыслы? И если Богара через слово на другое не изливает на Орду проклятья, так не без причины же... Страна башкир пока еще только подросток, в жилах еще слаба, костяк не окреп, ждать нужно, ждать, пока не окрепнет, в силу не войдет. Надо бы повидаться с сэсэном, поговорить, чтобы понял он святую цель, великие замыслы Богары. А он все нос воротит, еще и песню, говорят, сочинил — готово, уже гуляет по кочевьям. Какого-то турэ уподобил лисице. Как там? Дескать, турэ-лисица хвостом виляет, дурачит таких же лис, заманивает: есть, мол, пожива — и ведет прямо медведю в берлогу. На кого намек — ясно как день. Никак в нем молодость не перебесится. А ведь самое святое дело — сидеть йырау-сэсэнам под рукой большого турэ, отстаивать, прославлять его дела...

Ну что ты будешь делать! Махнул рукой глава рода на свою степень-достоинство и сам отправился к сэсэну.

Однако Хабрау не больно стелился перед ним. Хотя встретил почтительно — зарезал овцу, созвал пять-шесть аксакалов, устроил застолье. Даже на домбре сыграл, спел кубаир Йылкыбая. В общем, со всех сторон уважил.

Поначалу разговор шел о хозяйских делах, о повседневном житье-бытье. О своем горе Хабрау не обмолвился ни словом, но видит Богара, крепко сдал джигит. Что и говорить, как вернулся из Самарканда, беда за бедой, только от одного горя оправился, уже новое тут как тут.

Только когда Богара начал рассказывать о том, что от муллы Абубакира доставили книги, в глазах Хабрау мелькнул интерес. Айсуак-то, по словам отца, прямо вгрызся в них, но пока они не очень-то ему даются, трудноваты.

Печаль вдруг отошла, Хабрау стал рассказывать, что в кочевьях, где он бывал, ребятишки тянутся к грамоте. Вспомнил и соседей-усергенов, похвалил их особое к учебе рвение. И этим тоже кольнул гостя: дескать, если из всех кипчакских турэ один только Богара печется о просвещении, то еще не значит, что других среди башкир нет и вовсе.

— Юрту большую дал, чтобы ты детвору грамоте учил, бумагу, книги доставил. Наши все время тебя вспоминают.— Богара решил говорить осторожней, помягче. Обиду спрятал подальше.

— Я и сам по мальчишкам этим соскучился, Богара-агай,—сказал Хабрау.— Вся надежда на них...

— А коли соскучился, чего аул мой стороной обходишь? Юрта твоя пустует. К слову сказать, и места, куда нынче перекочевали,— душе отрада.

— Хочу сначала Йылкыбая-йырау навестить, человека прислал, к себе зовет.— Хабрау дать согласие не торопился.

Слово за слово, и разговор все же заехал в топкое место, которое Богара всячески хотел обойти.

— Почему свата своего, Байгильде, не уймешь хоть немного? Из-за этой несыти вся беднота не живет, а горе мыкает. Мало того что вместе с баскаками да ясачниками своих обирает, только стон стоит, еще и соседям от него покоя нет!

— Все понимаю, сэсэн. И про подлость Байгильде, и про твое горе знаю. Придет время, и на этого вора колодки стешем,— сказал Богара, стараясь уйти от этого разговора.

Но Хабрау только сверкнул глазами и, словно не турэ перед ним, не гость, прямо в лицо бросил:

— Где честь? Где верность интересам страны? Не обессудь, Богара-агай, той же дорожкой, что и твой сват-разбойник, идешь, хоть и рысца у тебя другая. А ведь я беем тебя видел, с твердой рукой и справедливым сердцем, во главе не только кипчакского племени, но и всего Яика, всего Урала. Неужели нет больше наследников тем львам башкирским, которые били тумены Батыя и Субудая?

— Эх, Хабрау! Эх, сэсэн!— В душевном порыве Богара обнял его за плечи.— Помыслы-то у нас одни. Много у меня мыслей собралось, чтобы поделиться с тобой, посоветоваться. Поедем сейчас вместе ко мне в аул. Ты песней, ученым словом, я своим опытом, каким-никаким черным разумом и вот этим,— он поднял свой крепкий кулак,— послужим стране!

Но Хабрау к нему не поехал. Лишь обещал, что по пути к усергенам заглянет на его новое яйляу.

Пришлось турэ довольствоваться хоть этим.

Уехал Богара как-то присмирев, весь в думах. Совсем еще молод сэсэн, года на четыре младше его сына Аргына, а сумел укорить главу рода. Больней всего задели похвалы Хабрау тем башкирским турэ и батырам, что в давние времена храбро бились с туменами хана Батыя и Субудая. Что он этим хочет сказать? «Ты ли

им чета? Тебе ли с ними равняться?» — вот, наверное, что.

Еще помянув об учении, намекнул на безграмотность Богары. Если, дескать, человек книжного слова не разумеет, как он может себе на плечи государственные заботы взваливать?

«Ничего, настанет день, узнаешь мне цену, увидишь, каков я!» Хоть и досадовал Богара в душе, но понимал, что сэсэн прав. И жалел, что не может удержать его возле себя. Что и говорить, умен, знания обширны. Крепкой опорой мог бы стать: в кочевьях уважаем, слово его весомо. Нет, не согласился обосноваться в ауле Богары. Отшутился только: «Сядешь на ханство или хотя бы на бейство, пришли гонца, стрелой прилечу». Сказал, словно проник в тайные помыслы Богары,— и опять кольнул.

Хабрау свое слово сдержал, заехал по пути, ночевал две ночи. В эту встречу хозяин серьезными разговорами не донимал, дал гостю волю. Хабрау повидался со своими шакирдами. Среди новых книг, которые достал Айсуаку отец, были несколько сказок из «Тысячи и одной ночи», переведенных на тюрки, «Тахир и Зухра», «Книга о Юсуфе» прославленного Кул Гали. Айсуак читает со всем усердием, даже пот прошиб, с запинками да заминками, а все непонятное выписывает в тетрадку. Стараются и остальные. Ильтуган старше других на два-три года. Хотя за учебу взялся много позже их, уже сравнялся с ними. Учиться ему приходится лишь урывками, то и дело гоняют с поручениями, сиротская участь — совсем как Хабрау, когда жил в Самарканде. Ладно еще, Татлыбике-байбисе за одежонкой его смотрит. Парнишка вытянулся, с виду не такой забитый, и товарищи не так дразнят его, как прежде. Попробует кто-нибудь задраться — и слово есть, чем ответить, и крепенький кулачок уже наготове. Даже Айсуака, меньшего, ненаглядного Богары, не боится. «Ты, женишок, полегче, ладно? Ступай, невеста ждет». Ребенок еще, не в том возрасте, чтобы чужую кручину понять.

Уезжая, Хабрау наказал шакирдам переписать по десять страниц из каждой книги, чтоб набить руку и разгладить почерк.

Он решил выехать рано, до зари, пока все спят. Были тусклые утренние сумерки. Предвещая жаркий день, над горизонтом вставало ало-желтое зарево. Хабрау спешил, чтобы успеть проехать больше по утренней

прохладе. Он сложил в куржин свои скудные пожитки, оделся и только вышел из юрты, перед ним встала Карасэс.

— Уезжаешь, йырау? — спросила она, и голос ее дрогнул.

— Может, Карасэс, кто-нибудь лошадь мне пригонит и оседлает?

— Кони недалеко пасутся. Если не против, пойдем приведем вместе. Седло сама возьму. И половину горя твоего взяла бы...— Немного прошли, и Карасэс вздохнула: — Узнает свекор, что уехал ты не сказавшись, рассердится.— И покачала головой: — Храни аллах ему в немилость попасть.

— Я человек вольный, Карасэс. И так с дороги своей свернул, два дня потратил,— сказал Хабрау, сглотнул комок, вдруг отвердевший в горле. Заслышав перханье лошадей, он опустил куржин на землю.— Ты постой здесь, подожди, ладно? Нехорошо, если пастухи увидят нас вместе.

— Нехорошо, говоришь... И без того в кочевье все, и мал и стар, говорят, что я твоей женой буду.— Опустив голову, она тихо засмеялась, но плечи дрожали, словно в плаче.

Хабрау быстро вернулся, ведя коня в поводу.

— Ладно, прощай, Карасэс. Лихом не поминай.— И он вскочил на лошадь.

— И ты с обидой не уезжай...— Сдержав всхлип, Карасэс щекой приникла к его ноге.— Эх, сэсэн, живьем ты меня сжигаешь! Скажи «пойдем» — от стремени не оторвалась бы, бежала, пока не задохнулась.

— Оставь... успокойся...— осипшим голосом сказал Хабрау.— Дороги разные, судьбы врозь. Какая тебе радость от меня, горемыки?

— Ногаи на тебя зубы точат, сэсэн. Тот приезжал, Кутлыяр который... На свекра все рычал: «Если сами не уймете, вот этой рукой своей вырву ему ядовитый язык!»

Откуда было знать сэсэну, еще только собравшемуся в свой долгий путь, что через много лет он сойдется со смертью лицом к лицу и эта печальная женщина, себя, своей жизни не пожалев, бросится ему на помощь?

Действительно, своеволие Хабрау, его поспешный отъезд не понравились Богаре. Но раздражения своего не выказал, спрятал в себе. «Ничего, придет день, и ты тоже возьмешь мою сторону»,— думал он, в том было

его утешение. Он знал, что помыслы у них одни, к одной цели ищут они пути, только у Хабрау по молодости чутье еще рыскливое, не поймет, где лежит его дорога.

* * *

Перешел он брод через Сакмару, увидел знакомые места, и слезы навернулись на глаза. Здесь он впервые увидел Энжеташ. Вот и одинокая береза, возле которой они открыли друг другу свое сокровенное. Теперь береза вся в зеленой листве.

Чуть поодаль ее могила. Хабрау слез с лошади, долго сидел возле поросшего травой и высокими цветами холмика. Увидел перед собой ее глаза — все те же в них сомнение и надежда, услышал ее слова: «Судьбе моей ты хозяин. Дай мне счастья на один только день — а там и на руках твоих согласна умереть...»

На руках и умерла. Только счастья он ей не дал, на полдня даже. Отчаянный зов ее: «Спаси меня!» — прорезал тишину, и все исчезло. Хабрау, как просила Энжеташ перед смертью, тихо запел:

Сакмар-река струится-вьется,
По всем излукам — камыши.
Как на тебя взглянул — влюбился,
Тоски не выгнать из души.

Широко раскинув объятия, встретил его Йылкыбай. Боясь коснуться израненной души, разговор старался вести о вещах, далеких от его горя. Дня через два, как гость приехал, хозяин улучил момент и стал расспрашивать о Самарканде. В прошлый его приезд поговорить об этом не пришлось. Но видит старый сэсэн, рассказывать Хабрау рассказывает, но самого его собственный рассказ не увлекает, вспоминает все удивительное, что видел там, а лицо сумрачное, взгляд равнодушный.

Но стоит разговору зайти о поэзии, Хабрау вроде бы стряхивает обычную вялость. В один из дней он вдруг достал из-под расстеленной кошмы толстую тетрадь. Полистал ее, посмотрел в нерешительности на своего устаза и сказал, что хотел бы прочитать стихи, написанные им на тюрки.

Так они сидели два-три дня, читали стихи, разбирали образы, лад и рифмовку, порою начинали спорить.

Старик слушал его песни и млел от удовольствия. Да и парень все больше светлел лицом, одна песня шла

за другой, и рождались совсем новые. Йылкыбай радовался, что его ученик понемногу выходит из душевного застоя, снова начинает чувствовать вкус жизни, скорбь ее и сладость. Они вдвоем объехали соседние кочевья, участвовали в айтыше молодых сэсэнов. И впрямь ожил Хабрау, только в глазах его, на самом дне, осталась грусть.

Он ездил из кочевья в кочевье, встречался с людьми, и дорога его с каждым разом становилась все длиннее, все дальше. Порою он уже оставлял начавшего прихварывать Йылкыбая, старался, особенно в зимнюю непогодь, беречь старого йырау. А сам из усергенских земель скакал к тунгаурам, от них к кипчакам. И где бы он ни появлялся, тут же собирался народ. За год-два его имя и его песни разошлись далеко по башкирским землям.

Удивительная вещь слава. Споет йырау песню, что легла слушателям на сердце, ум и память разбередила, а чуткие душой люди запомнят ее и разнесут по кочевьям. Сам певец и не знает об этом. Но бывает, заедет в далекие земли, скажет там свое имя — и нет гостя дороже, чем он. Вот так же и с Хабрау.

И слава его, кажется, началась с кабаира о горестной участи двух влюбленных по имени Кёнсуак и Кёнхылыу.

Несколько раз видел их Хабрау — юношу и девушку из племени тунгауров. Еще в отрочестве полюбили они друг друга. Жили небогато, скота в семье у обоих было немного. Джигит пас скот, делал, что по хозяйству нужно, девушка помогала матери и снохам, доила кобылиц, готовила еду. Год шел за годом. Кёнсуаку восемнадцатый пошел, Кёнхылыу — семнадцатый. Еще в детстве им сыграли хырга туе, и вот пришла пора, уже осенью они должны были пожениться, сыграть настоящую свадьбу. Но приметил красавицу Кёнхылыу баскак из Орды. Напуганные родители, хоть сердца кровью обливались, согласились отдать дочь за него. Но джигит и девушка сошлись ночью на тайном свидании, стали мужем и женой.

Баскак в стыде и ярости забил двух влюбленных в колодки и продал встречному купцу в рабство...

Оттого ли, что все строки кубаира пронизывала память и боль об Энжеташ, от чувства ли ненависти, что била через край, но в истории этой любви была особенная сила, и, переходя с языка на язык, из кочевья в кочевье, она разлетелась по всей башкирской земле.

После трехмесячного путешествия по кочевьям Хабрау вернулся в становье Йылкыбая и только было дал отдых изломанному верховой ездой телу, как по следу кубаира о Кёнсуаке и Кёнхылыу нагрянул сын ногайского эмира Кутлыяр. Как потом узнали, на след навел Байгильде. Кутлыяр долго ругал Хабрау и, уезжая, пригрозил: «Не две головы у тебя! Смотри, сэсэн, прикажу, и вырежут твой язык!»

В ответ на это сэсэн сочинил песню «Легавый пес Кутлыяра», в которой ногайского мирзу иносказательно приравнял к бешеной собаке.

Упрям Хабрау — если что сказал, от слова своего не отступится. Оттого и жизнь его порою висела на волоске. Но год от года крепла слава сэсэна, и, не будь ему защитой предводители родов, не сопровождай его в пути охрана, давно уже сгубили бы его ордынские головорезы или какой-нибудь их приспешник вроде Байгильде. Но все же несколько лет ему пришлось провести вдали от родного становья.

* * *

Богара видел все это, но защитить сэсэна не спешил. Разумеется, когда Хабрау, проезжая мимо, заглядывал к нему, то принимал как гостя, за глаза о нем худого не говорил. А уж остальное — время покажет. Что для него дорого: горячее слово сэсэна разжигает ненависть народа к Орде, призывает подняться всем родам и свалить ногаев. Богара и сэсэн один воз тянут, одной мечтой живут, но пока об этом знает только сам турэ. Если же ногаи начнут всерьез давить: Хабрау, дескать, из твоего рода, сарышский отщепенец, обуздай его,— тогда и посмотрим. Чтобы с ними в открытую схватиться, силенок еще маловато.

Дела хоть и неспешно, однако идут на лад. Наверное, знает сват Байгильде, что говорит, иной раз и не зря язык чешет. Пять-шесть месяцев назад он сказал по секрету Богаре: «Повезло тебе, сват, от Кутлыяра-мирзы слышал: ногаи-то, оказывается, хотят тебя беем над кипчакскими, усергенскими, бурзянскими и тамьянскими коленами поставить». Богара на это лишь брови нахмурил: «Жди, когда начнут с камня лыко драть». Нахмурить-то брови он нахмурил, но сердце от слов Байгильде мягко толкнулось: сват мог что-то и вызнать, все же дочь у него за ногаем. Окажись это правдой, уж он, Богара, знал бы, что делать.

В это же время один за другим в его кочевье прибыли вначале высокопоставленный мулла, а следом — даруга[1] тумена. Мулла околицей да обиняком еще раньше вызнал, что Богара с почтением относится к исламу, хвалил его за щедрость в пользу веры. Потом велел созвать всех людей кочевья от мала до велика, прочитал им проповедь и, ведя в поводу кобылу-иноходца, отбыл весьма довольный.

Даруга обошелся подороже. Сам да еще шесть человек свиты не поднимались от застолья два дня, а потом — хотим, дескать, на табуны кипчакские полюбоваться — выехали в степь и там исходя слюной хвалили трех купленных Богарой в Сарае жеребцов. Пришлось одного из них заарканить и подвести почтенному и уважаемому даруге, чтоб его короста съела. Не обижена осталась и свита, каждому по чину, по достоинству — или бобровая шуба, или богатый чапан, или лисья шапка.

Уехали ненасытные гости, и через месяц Богара был вызван к ногайскому эмиру. Турэ почувствовал себя человеком, который, зажмурившись, бросается в воду. Взял для подношения десять жеребцов, пять десятков овец, верблюда, навьюченного кадками с медом и большими связками переливающейся мягким блеском пушной рухляди, и с охраной в сорок джигитов вышел в путь.

Путешествие, растянувшееся на две недели, оказалось даже удачнее, чем ожидал. Сначала водили из аула в аул, всюду застолья, везде угощение до отвала. С самыми высокими мирзами познакомили Богару, потом представили эмиру тумена.

В большой белой юрте перед лицом тысячников, сотников, высоких вельмож и чиновников в торжественной обстановке от имени хана Тохтамыша эмир присвоил Богаре титул бея, а вдобавок к сему выдал ярлык на тарханство.

Весть об этом — из становья в становье, из кочевья в кочевье — в скором времени разлетелась по всем башкирским племенам. Конечно, турэ разных родов приняли эту весть по-разному. Одни истолковали как измену, обвинили Богару в том, что он предался Орде; другие, сгорая от зависти, терзались тем, что не они оказались на его месте; третьи же поспешили подладиться к новому бею, завязать с ним дружбу.

И впрямь уму непостижимо: вон их сколько, турэ башкирских родов, десятки по всей стране, и вдруг один,

[1] Даруга — чиновник, ведающий хозяйственными делами.

казалось бы, такой же, как и все, ничем особо не примечательный,— и вознесен на такую высоту, рукой не дотянешься! Отныне уже не только колена кипчаков или соседних усергенов и тунгауров, но и бурзяны, и тамьяны в делах правосудия, ясака — подати, войскового набора будут подвластны бею,— и это возродило надежды, которые долгие годы священным заветом, тайной мечтой переходили из поколения в поколение. Говорят же: чужой не простит, а свой не изведет. «Вот и из самих башкир поднялся такой высокий бей,— говорили мудрые старцы,— может, это и есть первый проблеск той зари, той светлой свободы, которой ждала земля башкир...»

Всю эту ходившую в народе пеструю молву, которую приносили ему доведчики — длинные уши, Богара собирал в душе, белое к белому отделял, черное к черному. И по всегдашней привычке не торопился, ждал. Понимая, что теперь он не средней руки старейшина и дом его, и обстановка, и челядь, и даже одежда должны быть другими, вместо прежней, поизносившейся уже, восьмикрылой юрты поставил новую, обставил и украсил заново, пол застелил дорогими коврами. Сам теперь ходит в зеленом чапане, на голове шапка из сверкающей чернобурой лисы, на широком кушаке висит кинжал с серебряной рукоятью. Мало того — отобрал пятьдесят воинов, одел всех в одинаковую одежду и посадил на серых в яблоках резвых коней. С тех пор как он сел на бейство, никто из турэ, кроме Байгильде, еще не приезжал к нему. Наконец, на исходе месяца, потянулись один за другим: сначала усергены, следом тамьяны, тунгауры. Каждый турэ ехал в сопровождении аксакалов и с дорогим подарком: один вел яростного, рвущего копытом землю породистого скакуна, второй гнал пять-шесть дойных кобылиц, третий — стадо овец. О разной утвари, одеждах, коврах, оружии и говорить нечего — горами высились возле юрты бея.

Больше месяца тянулись торжества. Состязались на саблях, в стрельбе из лука, в борьбе, от больших конных скачек, которые пришлись на самый разгар празднества, гудела степь.

От надолго затянувшихся встреч и проводов, от хлопот с гостями Богара порядком приустал. Чуть выпадет возможность, он запирался в своей большой юрте. Тысячи мыслей в голове. Как взяться за дело? С чего начать? Как сделать так, чтобы и своей пользой не поступиться, и Орду зазря не дразнить? Ведь отныне ясак ли, подать

ли, войсковой ли набор — ногаи все будут требовать с него.

Только уехали последние гости, как опять со своими головорезами заявился Байгильде. С тех пор как Богару возвели на бейство, он уже крепко утоптал дорогу между двумя кочевьями. Ввалится в юрту, зыркнет завистливо на бея, который возлежит, подоткнув под локоть подушки в шелковой наволочке, на ковре, постеленном поверх нескольких слоев войлока, и начинает уму-разуму учить: «Вот она, жизнь-то! Тоже нелегкое дело — беем сидеть. Однако ты, сват, на верных друзей полагайся, таких, как я. Один далеко не уйдешь, спотыкнешься». Неймется ему, боится, что от жирного мосла, который достался свату, ему куснуть не удастся. И все намеками на свойство свое с ногаями донимает: «От нас не отбивайся. Сам знаешь, кто отбился — в берлогу провалился, медведь его съел».

А Богара сколько бы ни радовался своему высокому чину, глаз от дороги не отрывал. По его подсчетам, побывали турэ всех родов, из всех племен, что были теперь под его рукой. Даже бурзянцы не слишком долго заставили ждать. Мурат, известный своей скаредностью турэ из усергенского рода Старшего Волка, и тот, чествуя бея, поднес ему двух дойных кобылиц.

Один только Юлыш не спешил явиться с поклоном.

Все племя усергенов живет по словам и воле Юлыша, на всем лежит его рука. Ни один род ничего не может сделать через его голову. Если и приехали сейчас, чествовали его, то сделали это, как и бурзяны, лишь ради обычая, и еще не значит, будто сегодня же готовы плясать под кубыз бея. Вероятно, и Мурат, и остальные усергены в путь тронулись только с согласия Юлыша, это по обычаю-приличию. А вот самого-то нет.

Все лето — один вздох. С гостями, со всеми празднествами Богара и не замечал, как летит время. Уже выпал первый снег, установилась погода, и к ним прибыл баскак. Вот тогда и понял Богара подлый замысел Орды. Баскак повелел Богаре во всех пяти вверенных ему башкирских коленах, в каждом роду и кочевье, переписать население, причем у всех мужчин указывать возраст, наказал быстрее собрать ясак, с чем и уехал. Еще и след его не остыл, прибыл битикчи — чиновник, занимавшийся в тумени счетными делами, и с ним двадцать его человек. Пока эта саранча три дня в большой юрте Богары пожирала все, что подадут, бей разослал по всем землям

верных гонцов, предупредил, с каким делом приехал счетчик, и наказал всем подвластным ему турэ задержки или препятствий в счетном деле не чинить. И еще передать велел: пусть, дескать, там на ходу не спят, а когда ходят, полы подбирают. Намек ясен. Те, у кого есть хоть малое соображение, позаботятся, чтобы их людей в ордынские бумаги попало как можно меньше.

Под охраной сарышских джигитов счетчики один за другим разъехались по разным землям. Бей посмотрел каждому вслед, усмехнулся исподтишка и погладил короткую, тщательно подстриженную бороду.

Разумеется, отправил он гонца и к Юлышу. Видать, своевременное предупреждение было оценено по достоинству, и старая обида наконец пригасла, гордый турэ Голубого Волка повернул коня к кочевью бея.

Торжествуя, но затаив свою радость поглубже, бей вышел навстречу гостю, который был на десять лет моложе его, взял из его рук повод коня. «Вот так-то, браток, жизнь все на свое место ставит. Плюнь против ветра, а там увидишь...» — подумал он. Но ликовать было еще рано. Бей это понял скоро.

Первое, что он заметил,— Юлыш приехал без всяких подарков. Такой поступок богатого, известного своей щедростью турэ конечно же царапнул самолюбие Богары. Он-то думал, что бею, чином-достоинством его повыше, Юлыш выкажет свое почтение. А гость хоть бы ради приличия улыбнулся — нет, процедил сквозь зубы два слова поздравления, обнял коротко и заговорил о погоде. Словно каждую неделю встречался с беем. А ведь четыре года прошло, как он последний раз приезжал сюда, еще перед той проклятой барантой. Выходит, прячет что-то за пазухой усергенский турэ, уж не острый ли нож?

Богара, подавив раздражение, продолжал следить за долгожданным гостем. Большой, высокий, широкоплечий, Юлыш стал еще величественней, еще степенней. В самом расцвете сил, в самом что ни на есть львином возрасте мужчина. Острый, смелый взгляд пронзает собеседника, доходит до самого сердца.

Богара, любуясь им, даже про обиду забыл.

— Аб-ба, не сглазить бы, Юлыш-турэ, я уж подумал, не Урал-батыр ли проснулся, из чрева гор вышел,— в восхищении сказал он.— Проходи, брат, добро пожаловать.— И широким жестом пригласил в белую юрту.

Как бы ни тщился Богара держаться чинно и сте-

пенно, как положено вельможному бею, но перед Юлышем надменность его сразу привяла. И даже слова невольно начал подбирать такие, чтобы пришлись гостю по сердцу, подняли его настроение. Однако Юлыш этого не замечал, разговор сразу повел о том, о чем, видать, надумал еще раньше:

— Я вот что хотел спросить, бей-агай, с чего это Орда принялась наших людей считать? Что за причина?

— Причина... Так ведь всюду, во всех странах так делают. Обычное дело, ничего удивительного...— сказал хозяин, решив мнение свое сразу не высказывать.

— Ничего удивительного? А зачем тогда гонцов посылал? Когда хóдите, мол, полы подбирайте. Это как понять?

Да, с этим в прятки не поиграешь, ждет, чтобы все по его было, в открытую — хлеб-соль ешь, правду-матку режь. Кто знает, может, и встанет в будущем рядом с ним, плечом к плечу? Будет ему соратником, правой его рукой.

— Выходит, намек-то мой понял? — усмехнулся Богара.— Орде войско нужно, оттого и перепись эта. Сегодня мальчишке двенадцать, а через пять лет семнадцать, уже воин, оружие в руках может держать. Случись война, только и нужно, что в каждый род послать ярлык: пусть столько-то воинов садятся на коня.

У Юлыша бровь переломилась пополам.

— И я так думал...— сказал он после недолгого молчания.— Афарин, бей-агай, святое дело сделал, что прислал гонца.— Скупая улыбка чуть разгладила лицо. И, освобождаясь от чувства тяжелого сомнения, он добавил: — Ай-хай, умный же ты совет дал!..

За едой разговор долго крутился вокруг скота, хлопот по зимовке, наконец опять вернулся к козням Орды.

— Нет в мире покоя, Юлыш-батыр. Тохтамыш за Хромым Тимуром тянется, его превзойти тужится. Оттого и нужда в войске, заранее пекутся о пополнении.

— Нам от любого из них только вред один, пользы никакой. Когда львы из-за добычи сцепятся, мелкому зверю, вроде нас, лучше под ногами у них не путаться, раздавят. Я думаю...— Юлыш, словно бы в сомнении, говорить или нет, посмотрел хозяину в глаза.

— Слушаю,— сказал бей. Почувствовав, что гость собирается сказать нечто важное, опустил взгляд на ковер. Он все еще остерегался быть откровенным до конца.

— Я вот о чем хочу сказать, агай... Отчего бы нам о торговле с русскими не побеспокоиться?

— Придет день, побеспокоимся. А пока эту мысль даже от самого себя подальше спрячь. Вот подкопим силенок, оглядимся-осмотримся, тогда и отправим послов,— сказал Богара, а сам про себя еще раз подивился уму и дальновидности Юлыша.

— Ну, тысячу лет тебе жизни! — покачал головой Юлыш. В глазах его опять сверкнули искры, и он открыл еще одну заветную свою мысль: — Если хан уже сейчас печется о войсках, значит, и мы можем открыто, не таясь, обучать джигитов военному ремеслу?

— Тут уж каждый пусть сам соображает. Слишком заноситься тоже не дело. У ордынцев глаз острый, ухо настороже. Истолковать могут по-всякому.

— Верно говоришь. Еще и продажные шкуры есть, вроде свата твоего Байгильде. Тоже все высматривает...

— Не бойся, далеко не разбежится,— отрезал было Богара и хотел разговор свернуть на другое, но не таков Юлыш, чтобы слово, которое уже на кончике языка, обратно сглотнуть.

— Неужто управы на этого вора нет? — снова нахмурился он.— Всех вокруг истерзал.

— Баранта — из дедовских времен обычай, как ее остановишь? Твои парни тоже его табуны угоняли. От мести месть множится...

— Будто мы это начали! Если бы ту нашу девушку можно было оживить — все пятьдесят его лошадей вернул бы, еще и своих сто добавил! — Юлыш поник головой.— Безвинный ведь жаворонок была, только-только взлететь собиралась, крылья расправила — сгубил ваш злодей!

— Что я могу сказать? Хочешь, выберу из наших девушек самую красивую и твоему ли брату, другу или родственнику без всякого калыма отдам? Лишь бы кончилась вражда между нами.

— Эх, Богара-агай! Разве в калыме дело? Женой Хабрау должна была стать Энжеташ. Сломали бедному сэсэну крылья.

Богара спросил, где теперь Хабрау, как живет, что делает. Юлыш рассказал, что тот ездит из аула в аул, учит ребятню грамоте и песни сочиняет, удивительные песни. А сейчас вроде загорелся поставить на отшибе в горном распадке деревянный дом и открыть в нем медресе.

— Разве мало у меня добра? Пусть домой возвращается. И медресе содержать, и двадцать — тридцать мальчишек прокормить моего бейства хватит. Сэсэну надо к власти поближе быть,— повторил бей давнюю свою мысль.

— Увижу, передам,— сказал Юлыш.— Но и сам подумай, такой сэсэн, как Хабрау, может, раз в сто лет родится. Его становье — всюду, кочевье — весь свет.

— Накажи, пусть будет осторожней. Кое-кто давно уже на него зубы точит. Попадет ногаям в лапы — конец известен. Упрям, своеволен, как упрется... Думал вдовую свою сноху за него выдать, ближе родного сына был бы, не захотел...— со вздохом сказал Богара. Одно из многих его желаний — и тоже не сбылось.

Договорились обо всем важном оповещать друг друга, держать крепкую связь. Расстались турэ теплее, чем встретились. Юлыш, уже вскочив на коня, сказал:

— Не гневайся, бей, что без подарка приехал. В честь высокого твоего чина пришлю тебе неука от этого жеребца и ловчего сокола.

К исходу зимы перепись во всех кочевьях, что были под управой Богары, закончилась. Сколько воинов в случае войны должен выставить каждый род, было назначено строго. Ногайский эмир, довольный тем, что непростое это дело пришло к благополучному завершению, известил Богару, что он пожалован дорогим зиляном.

Богара тоже был доволен переписью. По тайным сведениям старейшин родов, один из каждых троих мужчин в бумаги счетчиков не попал.

За наградой он должен был явиться самолично. Дни установились, Яик вернулся в свои берега, и бей отправился в путь.

В ногайской ставке он гостевал и прежде. Не такое место, чтоб душа тянулась. Неволей едет. Но в этот раз было особенно тревожно. От недоброго предчувствия дергалась жилка на виске и смутно было в думах — что-то темное, опасливое ворочалось в голове.

Пусти лихо в думу — оно и наяву. Поначалу все шло хорошо. Ногайский эмир собрал большое застолье и перед всеми гостями, перед сотниками, тысячниками, богатыми родственниками, накинул на плечи Богары сверкающий бархатный зилян с горностаевым обкладом. После этого все с поклоном тихо-тихо вышли. Таков, видно, за-

веденный здесь порядок. Вот исчез последний, и эмир, понизив голос, заговорил:

— Ты показал себя преданным сурой[1] великого хана, Богара-бей, афарин! Теперь нам осталось только породниться и жить в дружбе и согласии.

— Воистину,— сказал Богара, посчитав, что сидеть молча неприлично.

Широкое, узкоглазое, с топорщащимися усами лицо хозяина расплылось в улыбке.

— Да, в мире нужно жить, в согласии. Вот потому посоветовался я с большими турэ и аксакалами, что под моей рукой, и решил дочку мою Зумрат, знаменитую на всю ногайскую землю красавицу, отдать тебе в жены. Милостивое разрешение великого нашего хана Тохтамыша уже получено.

— Хы! — задохнулся Богара, спину под новым зилянном продрал озноб. От изумления он уже был готов вскочить с места и выйти вон. Грянь гром с ясного неба — не так бы поразился. Он покраснел, как пойманный за грешным делом мальчишка, и, еле придя в себя, забормотал: — Так ведь... подожди-ка... светлый эмир... мне скоро пятьдесят уже... где уж мне на молоденькой жениться...

— Нашел диво! — расхохотался эмир.— Зумрат уже семнадцатый пошел. В моем гареме и пятнадцатилетние красавицы есть. Ай-хай, сладкие! А мне не пятьдесят, мне шестьдесят скоро...

От стыда Богара остался без слов. Пряча гнев в глазах, опустил голову. Эмир, кажется, посчитал его молчание за согласие и деловито заговорил о калыме и свадебных хлопотах:

— Калым не я, а старики определили, бей. Осенью, в самое изобилие, сто пятьдесят лошадей пригонишь, пятьсот овец и двадцать верблюдов. Об остальном тебя известит даруга...

Вот так-то. С этим бейством раз выгадаешь, пять раз внакладе останешься.

Вернувшись домой, Богара собрал аксакалов и всех ближних людей, рассказал, как все вышло. Аргын даже отцовского рассказа до конца не дослушал, встал и, чуть не опрокинув дверь, вышел из юрты. «За стыд посчитал, что на молодой женюсь. Стыд, стыд, и какой еще стыд,— юную девушку, собственных детей моложе, в жены беру.

---

[1] Сура — подчиненный, подвластный.

Что еще Татлыбике скажет?» — думал Богара, не поднимая глаз от кошмы.

Но против Орды не пойдешь; чем на нее, уж лучше прямо на рогатину. И старики помялись, поежились, и так истолковали, и супротив прикинули, и начали, как по обычаям положено, снаряжать сватов в ногайскую ставку.

Аргын же не оттого раскипятился, что за отца стыдом горел. Оказывается, юная ногайка приглянулась ему самому. К тому же и Кутлыяр, ее брат, все время обнадеживал: дескать, только за тебя сестру отдам.

Ладно еще, байбисе не взбунтовалась. Приняла так, словно ничего особенного и не случилось, все свадебные хлопоты взяла на себя, и делом помогала, и советом. Гордая женщина Татлыбике. Нутро огнем горело, а на свет — ни искорки, виду не показала, ума хватило, пустой бранью себя не унизила. Да и кого ругать-то? На кого лаять? На Орду не тявкнешь, а на своих и вовсе не следует. Не годится с Ордой ссориться, понимает Татлыбике. Понимать-то понимает, но ведь и сама еще не старуха трясущаяся, только-только сорок, в самый налив женщина.

9

Предупреждали его старики, наказывали быть осторожным, но Хабрау, хоть и старался держаться их советов, беречься не умел. Он сочинил кубаир про хана Тохтамыша, и ответ ногаев был скорым. Нукеры Кутлыяра-мирзы подстерегли его в дороге, схватили, привезли в ногайскую ставку и бросили в темницу.

Однако мирскую молву ситом не просеешь. Хабрау сидел в зиндане, а слова его уже разлетелись далеко. Новый кубаир подхватили не только молодые, но и знаменитые старые сэсэны, от становья к становью шел он, пролетал долинами Сакмары и Яика, перевалил через Уральский камень и достиг Аслыкуля, оттуда — кочевий катайцев и табынцев.

...Это смерть высоких круч —
Если скроются меж туч.
Месяца и солнца смерть —
Коль зайдут, красны, как медь.
Смерть кормилицы-земли —
Если снеги замели.
Для мужчины значит смерть
Над отчизной вражья плеть.

. . . .
Превратит отчизну хан
В гурт испуганных овец.
Укротит мужчину хан —
Задрожит овцой боец.
Край родимый отберет,
Сына в войско заберет.
Что имеешь — все учтет,
У него особый счет.

Выпьет кровь, не укусив,
Душу вынет, не спросив, эу,
Душу вынет, не спросив.
. . . .
Светел ликом край родной,
Если в нем рожден герой.
Край в кручину погружен,
Если недругом сожжен.

Духом храбрые бойцы
На врага рванутся в бой,
На равнине встав горой!
Будет кровь сквозь потник течь,
Будет смелый насмерть сечь!
Чтобы край родной сберечь,
Не остудит в ножнах меч, эу,
Не остудит в ножнах меч!

Йылкыбай, забыв о том, что Орда на него самого уже давно смотрит косо, бросился спасать Хабрау, взял с собой шесть уважаемых аксакалов и поехал к Кутлыяру. Все свое добро готов был отдать старый йырау, лишь бы здравствовал славный сэсэн, краса и слава башкирской земли, лишь бы звенела его звучная домбра, в голосе которой каждый башкир слышит свой голос, свой смех и свои слезы. Понимает старый сэсэн, что уже теперь Хабрау силой своего таланта начинает превосходить его. Останутся ли его, Йылкыбая, имя и песни в памяти народа, нет ли — а вот слава Хабрау не затеряется и через сотни лет.

У ногаев свой расчет, свой подлый умысел. Они уже знали, что хан Тохтамыш выехал проверять стягивающиеся в разных местах тумены и скоро должен прибыть на берега Яика. Конечно, Кутлыяр и сам мог бы расправиться с сэсэном. Но когда хочешь наладить с башкирским беем добрые отношения, даже породниться с ним, зачем еще и этот грех брать на себя? Отдать этого горластого пса приближенным Тохтамыша, и вся недолга. На хана лаял, на хана поносный кубаир сочинил — пусть от ханской руки и смерть примет. А они, ногаи, в этом деле чище воды, белее молока. Потому мирза с Йылкыбаем и разговаривать не стал.

Ногайский тумен уже месяц был на облавной охоте. Хан прибыл к ее завершению. Он осмотрел войска, проверил, в каком состоянии лошади и оружие, потом принял положенное угощение и почести, отдохнул, и уже пора было ехать в обратный путь, когда ему доложили, что схвачен и брошен в темницу башкирский сэсэн, весьма у себя знаменитый.

— Какая вина, чтобы до слуха самого великого хана доносить? — спросил один из свиты.

— Вечному Улусу Джучи кровный враг. Сочинял песни, в которых поносил падишаха, великого нашего джахангира. Светлое его имя тщился запятнать. Тебя... прости милостивый хан... разбойником назвал. Знамени-

тый певец, вернее — знаменитый смутьян,— выложил одно за другим ногайский эмир.

— Дубье! Давно бы взять и придушить, что, ума не хватает? — сказал хан и хотел было уже встать и идти, но вдруг сел обратно. Лицо его потемнело, опухшие веки сомкнулись, обузив вспыхнувший взгляд в два отточенных лезвия.— Покажите-ка мне этого... голосистого.

Два охранника тут же представили Хабрау великому хану. За десять дней в сыром зиндане лицо сэсэна стало серым, как зола. Одежда вся в грязи. Но глаза горят, во всем облике — гордость и спокойствие.

Он сразу узнал хана. За те семь-восемь лет, что прошли после встречи на берегах Сырдарьи, хан, конечно, постарел, телом осел и раздался.

Но в темном, словно прикопченном, лице все та же надменность, острая злая улыбка в твердых ястребиных глазах.

— Садись, йырау,— приказал хан.

Тот стоял не шелохнувшись. Тохтамыш смягчил взгляд, вкрадчивая ласка скользнула в голосе, видно, злую потеху готовил себе хан.

— Изволь, садись. Наверное, говорить вот так с ханом не доводилось,— усмехнулся он, когда Хабрау, подогнув под себя ноги, нехотя сел.

«Довелось разок»,— усмехнулся про себя и Хабрау. Но в ответ сказал:

— Ханские уши народному голосу закрыты.

— Налей гостю чаю,— бросил Тохтамыш стоявшему рядом эмиру.

Тот, кряхтя, нагнулся, плеснул чаю в пиалу и тычком подвинул к сэсэну. Отхлебнув из своей пиалы, хан сказал:

— А ты разве народ? — и, стараясь веселую свою злость удержать в узде, рассмеялся.

— Нет, я не народ, но слово его у меня на языке, его чаяния-помыслы, радости и горести...

Чуть приоткрыл удивленно веки Тохтамыш, взгляд впился в лицо Хабрау. Где-то, когда-то видел он это лицо, слышал этот голос.

Но вспоминать было некогда. Он начал разговор, ему и заканчивать.

— И какие же помыслы-чаяния у твоего народа?

— Не от души спрашиваешь, хан. От скуки твой вопрос. Тешишься. А как я полагаю, каждый владыка должен знать, чем дышит подвластный ему народ.

— И все-таки?

— Свободы, счастья, избавления от гнета Орды,— ровным голосом сказал Хабрау.

Еще больше встревожилась память Тохтамыша. Где, когда слышал он этот голос?

— Ты говоришь «народ», йырау, а я говорю «овцы». Черные овцы. Овцам хороший пастух нужен, твердый страж. Не уследи, дай стаду волю — разбежится и станет добычей разного зверья...

— Если к тому, как ты сказал, «овечьему стаду» пастухом приставить волка — конец тот же...— Он подождал, когда хан отхлебнет из своей чашки, и отпил тоже.

К изначальному беспокойству хана прибавилось удивление. Ты только посмотри на него, вместо того чтобы дрожать от страха, сэсэн говорит с ним как с равным, да еще спорит!

— Говорят, ты песню про меня сочинил? Спасибо, сэсэн, уважил. Может, споешь... Вот мой придворный певец,— кивнул он на молодого парня с блеклым морщинистым лицом,— тебя послушает, у тебя поучится...

— Прости, великий хан, не в голосе я сегодня.

— А ты чаю, чаю попей...— Голос хана зазвенел и сорвался.— Смерти не боишься? — Шесть стражников, стоявших поодаль, сделали шаг вперед.— Видел? Скажу — и нет тебя.

— Я — что? Меня убьешь, песни мои останутся. А потом, как благочестивые учат, разве смерть — не ворота в истинную жизнь? О том подумай, что и сам ведь не для вечной жизни родился. И о том, какая слава про тебя останется... Известно, если непосильную кладь на послушную лошадь навьючивать, и она свалится. Или что станет с беркутом, если запереть его в клетке и не давать ему пищи? Когда ты сел на престол, тоже, подобно другим ханам, разослал по улусам фарман-указы, обещал, что отныне все твои подданные будут жить вольно. Они поверили, искра надежды загорелась в их сердцах. Или ты собственные свои слова забыл? Куда ни глянь, обиды и произвол, над каждой головой твоя камча свистит...

— Когда в одном конце моего государства заходит солнце, в другом конце уже начинается день. Разве может хан уследить за всем? Я накажу эмиру, чтобы правил вами по справедливости. Слышишь, эмир? — усмехнулся Тохтамыш.

Эмир сокрушенно развел руками.

Хан, который в других случаях подбородком поведет — и сотни людей идут на казнь, был в недоумении. Этот сэсэн жизни себе не вымаливает, а все упорствует, о народе говорит, о стране, правление Орды обличает в грехах и несправедливости. И голос его покоя не дает: где он слышал его, отчего так ему знаком? Где же он видел этого человека? Конечно, если и вспомнит, смысла в этом нет. Судьбу сэсэна хан уже решил, но приговора своего выносить не спешил. Нет, прежде надо вспомнить. Спросить у сэсэна, не встречались ли они прежде, не позволяла гордость. Если бы даже он не был ханом, ум, память, сила, быстрота соображения — вот что всегда поднимало его над людьми. Вот что должен был он еще раз доказать себе и этим стоящим вокруг остолопам.

— Да, править государством — нелегкая служба, сэсэн,— тянул хан беседу.— А твои башкиры всё строптивничают, кровный ясак прошу — людей, дескать, нету, пушной и копытный ясак прошу — в ответ слышу, что велик. Что мне за это, спасибо сказать?

— И войско бы дали, и ясак. Но почему требуешь столько, что никакая земля не поднимет? Вконец обнищал народ. А с нищего что возьмешь? С одной липы в год два раза лыко хочешь драть.

— Что ты мелешь? — поморщился Тохтамыш.— Ясак есть ясак, его нужно платить. Вот и видно, что нет у тебя государственного соображения.

— А сук рубить, на котором сидишь, это государственное соображение?

Но хан то ли не расслышал, то ли надоело препираться, пропустил мимо ушей.

Вдруг он тихонько рассмеялся и с облегчением откинулся на подушку, довольная усмешка прошла по его лицу.

— А все же крепко ты изменился, сэсэн,— покачал он головой.— В первую-то встречу безусым юношей был...

— И ты не помолодел...— ответил Хабрау.

Хан радостным увлажнившимся взором обвел свиту. В этот миг он был благодарен Хабрау за то, что он, Тохтамыш, смог вспомнить его и доказал себе: нет, он еще не стар, еще и ум, и память при нем и они сильны так же, как и его тумены. Он заметил удивленные взгляды и поймал шепоток, который прошел среди приближенных.

— Да, певец, много лет миновало. Ты был скиталец,

я был изгнанник. Однако оба мы с тобой время не теряли.— Хорошо стало хану, благодушно, было такое ощущение, словно он одержал победу.— Если память не подводит, ты тогда в Самарканд шел за знаниями? Похоже, нашел что искал. И к чему же ты теперь приложил свои знания?

— Юное поколение письму и чтению учу, великий хан.

— Божьему слову учи! Оно, божье слово, говорит: чем жив, тем и довольствуйся. От горя и забот освобождает. От писанины да чтения пользы нет, они лишь всякой смуте дорогу открывают.

— Где нет справедливости, там и на божье слово спроса нет. А эти армаи,— кивнул Хабрау на почтенных турэ, стоявших, сложив руки на животе,— коли смогли бы, даже солнцу над башкирской землей взойти не дали.

Тохтамыш, кажется, ждал, что сэсэн ухватится за прежнее знакомство, попытается как-то использовать себе во спасение.

Но тот, похоже, об этом и не думал. Мало того, сказал с усмешкой:

— У журавля и ястреба речь несхожая. Журавль курлычет, ястреб клекочет. Выноси свой суд, хан. Не для праздной же беседы, оставив государственные дела, ты позвал меня.

— Да, одно мое слово — и огнем покарают тебя. Но если прикажу казнить, эти мои вельможи, умные головы,— кивнул хан на свою свиту,— подумают, что я испугался тебя. Моих башкир, которых вот здесь, у сердца, держу,— разве буду бояться? Нет, сэсэн, я не казню тебя. Иди, поезжай домой. Но заруби себе на носу: хан — посланник бога на этой грешной земле. Имя мое всуе не тронь. Человек ты вроде образованный, значит, должен понимать: страна башкир — заводная лошадь Орды! Объясни это своим землякам. От меня отобьетесь, сразу русские начнут на вас зариться. Эй, эмир! — Не дожидаясь ответа Хабрау, Тохтамыш повернулся к бухнувшемуся на колени ногайскому эмиру: — Оказывается, мы с сэсэном давние знакомцы. В честь этого мы его помилуем. Оденешь его в хороший зилян, посадишь на хорошую лошадь и отпустишь домой. А он обещал ради нашего старого знакомства больше имя хана зря не трепать.

Хабрау хотел что-то сказать, но Тохтамыш встал с места:

— Прощай, сэсэн. Что сказал — исполни,— и вместе со всем окружением зашагал к коням.

Грузный ногайский эмир вспорхнул с земли, мелькая грязными коленями, подбежал к ханской лошади и держал стремя, пока Тохтамыш влезал на коня. Хан что-то тихо сказал ему. «...Не теперь, после...» — услышал Хабрау.

Вот так спустя многие годы он опять встретился с Тохтамышем.

В тоске и тревоге вышел Хабрау в обратный путь. На ледащую лошаденку, которой одарили его ногаи, и лежавший поперек седла поношенный зилян он и не глянул. Впрочем, если бы и впрямь по ханскому слову подвели добрую лошадь и поднесли новый зилян, он бы не польстился.

После этого кое-кто из своих же турэ и их лизоблюдов взахлеб говорил о том, как хан сам освободил Хабрау из заточения и простил ему вину, иные даже до небес возносили ханское великодушие и уговаривали сэсэна покориться и сочинить кубаир во хвалу Тохтамышу.

А Хабрау молчал. Он прятался от людей, считая, что в споре с ханом он проиграл, горько досадовал, что не высказал всего, что думал. Верно, коварный Тохтамыш рассчитывал, что, коли к сэсэну с добром, тот не ответит колом и в обмен на жизнь сам, своей волей, залетит в золотую клетку. И если уж после таких благодеяний опять будет тявкать на Орду, то народ этого не примет, обвинит сэсэна в черной неблагодарности, отвернется от него. Вот каков был ханский умысел, и Хабрау попал в эту ловушку.

Но вскоре выяснилось, что коварство Орды и того подлей. Не прошло и двух недель, как Хабрау вернулся из плена, в кочевье Богары вдруг заявился Кутлыяр, бич ордынский, следом за ним, как всегда, трусила большая, как волк, собака. И не один — в окружении без малого двадцати головорезов-нукеров. Все увешаны оружием, словно собрались на войну. Узнав, что Хабрау живет у себя в ауле, Кутлыяр поскакал туда. Богара из опасения, как бы он там не учинил какую-нибудь гнусность, осмотрительно дал ему в сопровождение Таймаса-батыра.

И действительно...

Хотя род сарышей уже давно принял ислам, старики все еще упорствовали и по-прежнему тайком исполняли языческие обряды.

Несколько старух пришли на поляну к каменному, похожему на птицу идолу, расселись вокруг него и принялись молиться, когда на них наехал Кутлыяр. Он в бешенстве вырвал саблю из ножен и, подняв коня на дыбы, влетел в середину круга. Старухи с визгом брызнули в разные стороны. А Кутлыяр со всей яростью обрушил саблю на каменного истукана. Сабля с тягучим звоном разломилась пополам.

И что теперь будет — ясно, как в открытой книге. То, что у Кутлыяра сломался меч, старики истолкуют как силу язычества, ордынские муллы, конечно, тоже насядут на мирзу и тем еще больше запутают дело. Кутлыяру ничего лучшего не оставалось, как схватку свою с истуканом и сломанную саблю скрыть. Разумеется, и своим ретивым охранникам приказал лишнего не болтать. Таймас тоже велел сарышам помалкивать. Но к мирскому рту сито не подставишь. Сарыши и впрямь сломанную саблю истолковали могуществом Тенгри, и это опять на многие годы осложнило отношения кипчаков с исламом.

Два дня, будто и не замечая косых взглядов, не слыша ропота хозяев, Кутлыяр вел себя как желанный гость, объедался и принимал от людей подношения. На третий день велел собрать на майдане всех мужчин кочевья, от малого до старого, предупредив, что сообщит фарман хана. Для столь важного события одного Таймаса ему показалось мало, из кочевья Богары был вызван еще Аргын.

Люди застыли в тревоге. Какая еще напасть ожидает их? Даже Таймас и Аргын не знали, что же в том фармане.

Кутлыяр шагнул на бугорок посреди майдана. Словно человек, принимающийся за благое дело, потер руку об руку, с широкой улыбкой оглядел собравшихся, помолчал с минуту, потом начал:

— От великого падишаха нашего хана Тохтамыша привез я привет на землю сарышей. И еще от верного его сардара, ногайского эмира, моего уважаемого отца, всем вам добрые пожелания...

Народ, как по обычаю положено, молча склонил головы.

Кутлыяр довольно долго говорил о том, что вечен великий Улус Джучи, могуча держава наследников хана Шайбана, о том, как они любят башкир, заместо родных братьев, и берегут их от всех бед и невзгод. Потом славословия его перешли на светлую душу, доброе сердце

хана Тохтамыша, милосердное его правление и мудрую политику. И вдруг начал хвалить славных сэсэнов башкирской земли, выразил восхищение их искусством.

— И есть среди них прославленный Хабрау-сэсэн. Ага, и сам здесь, оказывается. Привет тебе, йырау!.. Знаем, домбра твоя звонка, слово метко. Но, бывает, ошибается сэсэн, не те песни поет. Вот и недавно по молодости и недомыслию задел имя нашего великого владыки...

Гул прошел по майдану.

— Хватит петлять, говори прямо...

— При чем тут йырау?

Пес Кутлыяра оскалил зубы, зарычал, стал рваться, готовый броситься на зашумевшую толпу. Кутлыяр с трудом успокоил его. Нагнав на себя еще пуще важности, заговорил дальше:

— Да, ошибся сэсэн, дар, отпущенный богом, употребил на грешное дело. Однако всемилостивый наш хан освободил его от смертной казни, и Хабрау дал слово больше великого имени не задевать, на путь клеветы не становиться.

— Ложь! — крикнул Хабрау.— Ничего я не обещал! Он сам сказал: «Если убью, то подумают, что испугался хан, из страха казнил». Вот его слова!..

— Погоди, сэсэн, не спеши! Что бы тебя пугаться — пяти туменов за твоей спиной не стояло. По милости аллаха всевышнего есть у нашего великого падишаха неисчислимое войско, которому не страшны любые враги! А ты вместо того, чтобы спасибо сказать, глупость мелешь. Правду, видно, говорят: твори благодеяние, жди злодеяния... Тише, не кричите, я еще не все сказал. Вот что, аксакалы, в обмен на жизнь Хабрау великий хан повелел из вашего рода забрать в войско Орды трех джигитов. Этим он показал, как высоко ценит сэсэна и его дар! Пусть живет и здравствует прославленный Хабрау!

Весь майдан одной грудью выдохнул: «Ах!» Хабрау побледнел, закружилась голова. Стоявший рядом Таймас-батыр крепко стиснул его локоть, быстро зашептал что-то.

Хабрау огляделся по сторонам: майдан замер словно завороженный, Кутлыяр, подбоченившись, то на Хабрау с Таймасом смотрит, то взгляд на аксакалов бросит — ну, что теперь скажете, что делать будете? Руки невозмутимой стражи лежат на рукоятях сабель.

— Ямагат! — охрипшим голосом закричал Хабрау.—

Не знаю, по ханскому ли велению сказал он это, по собственному ли собачьему разумению, но все это неправда! Пусть лучше меня забирают...— Сэсэн встал перед Кутлыяром.— Скажи своим стервятникам, вяжите меня...

— Не буйствуй, сэсэн,— ощерился Кутлыяр.— Войску нужны здоровые парни, с сильными руками, с крепкими плечами. А какой из тебя воин? Песнями своими служи великому хану!

Снова зашумел народ:

— Нет такого обычая! Не дадим парней!

— Он сам... он, Кутлыяр, выдумал эту подлость!

— Пусть убираются отсюда! — доносилось с разных концов майдана.

— А ну-ка, замолкните все! — крикнул Таймас, подняв руки.— Сделаем так... Кутлыяр-мирза сообщил волю эмира и свою часть дела исполнил. Теперь он поедет домой. Остальное решат наши аксакалы. Соберутся, обдумают, обсудят.

— Нет, Таймас-агай, так не годится,— тихо сказал ему Аргын,— уж одно из двух: или сразу отдадим им трех парней, или покрошим ордынских собак на месте. Или так, или эдак...

Таймас не успел ответить ему — человек пятьдесят джигитов выскочили из толпы и окружили вооруженных ордынцев.

Только искра малая — и вспыхнут распаленные джигиты, и случится самое страшное — прольется кровь. Если хоть одного ордынского стражника коснется сабля, по ниточке его крови придет войско и пепел с кипчакских пожарищ взметнется до самого неба.

Только Таймас мог остановить беду.

— Что будем делать, мирза? — спросил он, повернувшись к Кутлыяру.

Тот начал было вытягивать саблю, но, вспомнив, что она сломана, ударом ладони по рукоятке затолкнул обратно. Лицо его расплылось в хитрой улыбке. Даже рычащий пес со взъерошенной на холке шерстью вдруг затих и снова вытянулся у ног своего хозяина.

— Ай-хай, горячие же вы ребята, кровь так и кипит! Разве я сказал, что сейчас же и заберу ваших парней? Таймас-батыр правильно сказал: думайте, советуйтесь. Остальное я поручаю Аргыну-батыру, он и приведет джигитов...

Не успела толпа опомниться, ногаи вскочили на коней и были таковы...

Как бы ни изводился Хабрау, но беду, которая легла на плечи рода, отвести он не смог. И аксакалы, понимая, что ногаев силой не сломить, решили до пожара не доводить. Однако Кутлыяр за дело взялся круто. Хорошо еще, Богара-бей уговорил мирзу вместо трех парней забрать лишь одного. Время выпало удачное, как раз обе высокие стороны были заняты сватовством Зумрат, так что препирались недолго. Выбор пал на Ильтугана, которому только что исполнилось семнадцать. Он и был отправлен в войско Орды.

Все дни Хабрау был в тоскливых думах.

На люди не выходил, считая, что народ теперь отвернулся от него, сидел в своей юрте и сочинял грустные песни или уходил в степь и бродил там в горьком раздумье. И хотя люди не отвернулись от него, из всех, даже дальних кочевий приезжали к нему гонцы, он отказывался от приглашений, и вестник от Йылкыбая уехал ни с чем. Не было исцеления его скорбному сердцу. Ильтуган был шакирдом Хабрау, тем самым курносым мальчишкой, который повстречался ему на берегах Яика, когда он возвращался из Самарканда. Вырос, выучился, стал джигитом. Самая пора, когда мужает человек, наливается силой — и в чужое войско, невольником!.. Еще одна рана, вечная, незаживающая, на саднящую совесть поэта.

В один из таких дней, когда сидел он и изводился в черных думах, в юрту в сопровождении пяти-шести аксакалов вошел Таймас-батыр. Тут же следом внесли кумыс и широкое блюдо с горкой дымящегося мяса.

Долго уговаривали, долго корили Хабрау за уныние старики.

— Эх, певец, дорогое дитя Кылыса-кашки,— говорил Таймас.— Самым близким моим другом был твой покойный отец, нрав его хорошо помню. Не похвалил бы он тебя сейчас! Смотри, в домбре твоей уже паук паутину свил. Горячие мелодии, заветные твои слова — будто родник под камнем, им исход нужен. Нет, сэсэн, с досады на вошь шубу в костер не бросают. Выйди к народу! Столкни камень с сердца, скажи свое слово!

Хабрау нехотя, только чтобы уважить старцев, взял домбру, начал перебирать струны, и тускло, лениво прогудели они. Но вдруг проснулась домбра, встрепенулись струны, быстрее побежали пальцы, и мелодия, новая, дотоле неслыханная, лилась все сильней и звучней. Поникнув сидели гости. Горький, жгучий ком стоит в горле

Хабрау, слезы бегут из глаз. Вот он, словно распаленный конь, мотнул головой, распрямились, разошлись плечи, искры сверкнули в глазах. Гордый его взгляд скользнул по старцам — и он начал говорить кубаир, совсем новый, никому из слушателей не ведомый, сэсэн его сочинил в дни своего тоскливого одиночества.

Таймас встал и открыл дверь юрты. Вначале Хабрау не обратил внимание на это. Но в одном из переходов напева он бросил взгляд на дверь — юрту, как пчелиный рой, облепил народ. Лица стариков опущены, женщины тихонько плачут, а отважные джигиты смотрят прямо, в глазах — чистый огонь мести, руки сжимают рукоять кинжала или камчи.

И вдруг тесная темная юрта показалась сэсэну похожей на ордынский зиндан. Сердце, все существо его устремилось на свет, на вольный воздух. И мелодия, и яростные слова кубаира — все рвалось туда же, на простор, на широкий майдан.

Рывком поднялся он с места, вышел и встал перед народом. Высоким плачем рыдает домбра, гневным призывом рокочет — и вдруг взлетает и расходится вдаль широкая мелодия, полная любви и нежности к этому приволью, к светлым грустным рекам, к могучим величавым горам. Сколько же силы затаилось в трех жилочках домбры, сколько души и чувства!

Новый кубаир был о парнях, которых, оторвав от родного кочевья, от родных и близких, уводили заложниками в чужую землю.

— Ядовитая змея обвилась вокруг шеи, страшная рука Орды взяла башкир за горло,— пел Хабрау.— Над Уралом, день затмевая, алкая крови, стервятники кружат. Отчего почтенные наши старцы, слава и честь страны, поникли головами, отчего в очах матерей наших, что молоком своим вскормили нас и взрастили, не просыхают слезы? Отчего тоска во взорах юных жен наших и девушек, при виде которых бледнеет от зависти луна и вспыхивает солнце в невольном восхищении их красотой, стройной статью, черными бровями, губами с наперсток, талией, тонкой, как у муравья, и высокой грудью? Земля моя гордая, страна моя горькая! Где батыры твои, что, взлетев на аргамаков, бросятся в бой? Нет разве мужей, что клинок о камень уральский отточат, из веток прокаленных стрел нарежут летучих и соколом-белогорликом, что зайца с излету бьет, щукой, что плотву с измаха подсекает, бросятся на врага, огнем против

пламени встанут, даже когда седло и потник кровью сочатся, они стоят как скала, не шатнутся?

Народ, сам собой прихлынувший на звук домбры, молчит и вздохнуть боится. Но глаза их теперь не в земле — в небе. А там, облетая бескрайнюю синеву, большими кругами ходит орел. Он учит летать двух своих неуклюже взмахивающих крылами детенышей. Время от времени орел проклекочет коротко. То ли подбадривает орлят, то ли от какой-то опасности остерегает.

Один из парней, неотрывно следивший за орлом, обнял Хабрау за плечи.

— Спасибо, йырау,— сказал он.

10

Государственные дела, хитросплетения политической жизни были далеки от мыслей Нормурада. Человек с живым умом и горячим сердцем, как только закончил учебу, он собрал вокруг себя, как и мечтал, молодых ученых, переводчиков, и все принялись за работу — переводили с арабского и фарси научные трактаты, дастаны великих поэтов. Искусные каллиграфы переписывали эти книги в пяти-шести экземплярах, художники украшали орнаментом и миниатюрами. Казалось, Нормурад достиг всего, к чему стремился, к чему готовил себя.

Отец его был видным сардаром в армии Тимура, эмиром тумена, войска в десять тысяч сарбазов. Участвовал во множестве набегов и во всех больших походах Железного Хромца, много сил отдал на великое дело укрепления мощи Мавераннахра, расширения его пределов. В награду за полководческие таланты, воинскую доблесть и верность политике салтаната щедрой десницей отсыпал ему великий эмир несметные богатства. Кроме большого дома в центре Самарканда на окраине, среди садов, подобных райским кущам, сияет его загородный дворец. Полсотни юных наложниц украшают его гарем. Десятки рабов с утра до вечера хлопочут в большом, отлаженном до мелочей хозяйстве, и течет в нем жизнь несуетливо, размеренно, подобно льющемуся в часах песку. Богат и знатен сардар, плодородные земли между Самаркандом и горой Ургут — его суюргал, владение, свободное от всяких налогов.

Но ничто в мире не вечно, и все проходит. Сардару далеко за пятьдесят, подступает старость. И получен-

ные в боях раны дают о себе знать все сильней, и телесная немощь все чаще гонит его на перину или на молитвенный коврик. Вспоминая кровавые деяния воинов, что были под его рукой, их бесчинства в завоеванных странах, сардар все теснее жался к богу, каялся в грехах своих и готовил себя к настоящей жизни, той, что ждет правоверных в ином мире. Войны, походы, ратные заботы уже мало трогали сердце стареющего военачальника, все реже появлялся он на совете государственных мужей, все тягостнее было ему посещать устраиваемые Владыкой Мира шумные пиры.

Законы дворцовой жизни неумолимы, суров ее неписаный устав. Изо дня в день должна обновляться на придворном позолота, какую оставляет на нем державный взор, и стоит царедворцу чуть реже попадаться правителю на глаза, как уже потускнела она, стал человек забываться. А верткие пролазы в лихорадке не осуществленных еще притязаний переминаются тут же и, как собаки, грызущиеся из-за кости, готовы, топча друг друга, ринуться на оставленное на миг теплое место вблизи престола. Так случилось и с отцом Нормурада.

Владыка Вселенной, Рожденный под Счастливой Звездой, не видя на советах и пирах своего сардара там, где ему положено, напротив себя, спросил о нем раза два, а потом и вовсе перестал справляться. Знаменитый воин со счета выпал. И постоянное его место возле трона, и десять тысяч отважного войска перешли к другому.

Дому, землям, богатствам сардара урона особого не было. Разве только дворец на Баги-Дильгуше велели продать новому темнику, потому что он, дворец этот, находился рядом с резиденцией самого Владыки Вселенной. Сочли, что в таком соседстве жить пристало человеку, денно и нощно обремененному государственными делами, нежели тому, кто от исполнения таковых дел удалился. Вместо Баги-Дильгуши отставному воину приискали поместье и сад в другом месте, похуже. На другие его дома и богатства, на землю и воду притязающих не было, все осталось без ущерба.

Но опытный, видавший виды старый сардар быстро смекнул, как могут пойти дела дальше. Разве ветер, который едва колышет кроны деревьев, не оборачивается вдруг ураганом, что и камни двигает? Да, да, если его сегодня, несмотря на былые заслуги, лишили внимания, то не значит ли это, что завтра такая же судьба постиг-

нет и его сыновей? Он должен предупредить беду, заранее побеспокоиться о будущем своей семьи.

Раздав огромные деньги, старый сардар для двоих сыновей, бывших на войсковой службе, выхлопотал должности тысячников; снарядил большой караван с хорошим товаром и отправил в Китай с зятем-купцом. Сам же все мешки с пшеницей, отборным рисом, изюмом и орехом, собранные в закромах, по выгодной цене продал прежним своим друзьям по военной службе, которые теперь занимались поставками войску. Случись что вдруг, подумал он, так пусть хоть часть добра будет превращена в деньги. Всяк знает: золото-серебро много места не займет, в землю зароешь — и там не сгниет...

Особенно тревожило старика будущее Нормурада. Жил тот покуда за широкой отцовской спиной, в тени былой его славы и могущества, не ведая невзгод и лишений. Но отцу-то известно и другое. То, что молодой ученый наряду с безбожными, полными наветов на святую религию, научными трактатами переписывает и распространяет произведения мятежных поэтов, собирает вокруг себя людей темного умонастроения, уже давно приводило в ярость мулл-улемов. Когда бы не страх перед могущественным сардаром великого эмира — давно бы с потрохами съели. Теперь же всякое может случиться. Пошатнулся отец — жди беды на опрометчивого сына.

После долгих раздумий сардар начал хлопотать, чтобы хоть как, но устроить Нормурада на государственную службу. Сын, разумеется, и слышать об этом не хотел, обеими ногами уперся, горячился, доказывал, что дела, затеянные им, очень важны, бросить их на полпути нельзя. Молод был Нормурад. Кроме своей цели — развития науки, поэзии, просвещения, ничего не признавал, хоть и видел, что живет в мире, которым движет грубая сила, где властвует меч, но пытался закрыть на это глаза. Сколько, однако, ни противился, отвергнуть доводы отца был бессилен. Горючими слезами оплакал он свою заветную мечту и понес поникшую голову во дворец Тимура-Гурагана.

На первых порах он был в ведении дивана, отвечал за работу двух десятков писцов и переводчиков. Здесь переписывались державные фарманы, отсюда рассылались во все вилайеты. Лет через пять, в дни, когда начали собирать силы для великого похода против Тохтамыша, Нормурада перевели в помощники знаменитому историку мавляне Шарафутдину. Теперь ему все чаще

и чаще приходилось бывать на военных советах, на больших курултаях, и все, что говорилось там, все распоряжения великого эмира вменялось ему в обязанность слово в слово записывать.

В 1379 году Тохтамыш с помощью Тимура захватил престол Белой Орды. И с той поры, где хитростью и коварством, где силой оружия, пытался он объединить под своей властью Белую и Синюю Орды. После того как был разбит Мамай, он стал ханом всего Улуса Джучи.

От чрезмерного усиления хана-разбойника пользы для Хромого Тимура не было вовсе. Неуемный Тохтамыш всюду, где мог, вредил политике Мавераннахра; только выпадал случай, забыв Тимурову помощь, грабил окраины его державы.

Мелкие стычки с Золотой Ордой отвлекали Тимура от главного — мешали его планам нападения на Иран и турков. «Повадился волк в стадо, покоя не жди. Пора обкорнать его»,— пришел к выводу великий эмир. Наконец, отсрочив схватку с турецким султаном Баязетом, он решил сначала разбить Тохтамыша.

Осенью 1390 года двухсоттысячное войско, перейдя реку Сейхун, встало на зимовку неподалеку от города Ташкента.

Нормурад был в самой гуще приготовлений к походу. Конечно, все дела идут без него, но он был свидетелем — зорким, дотошным, тщательно все записывающим. Частые ли военные учения, совещания ли военачальников, дела ли снабжения — он все переносит на бумагу. Его записи, попав в руки мавляны Шарафутдина, проходят через его сито и, нанизанные на одну нить, становятся страницами будущей книги [1].

И еще одна обязанность Нормурада — он принимает донесения лазутчиков, приходящих от Золотой Орды. Многочисленные соглядатаи под видом дервишей или караванщиков шныряют из конца в конец ордынских земель. Изучают дороги, по которым пройдут войска эмира, природу, расположение пастбищ, берега, переправы, повороты рек, жизнь и быт тамошних народов, их стада и богатства, выведывают, как относятся эти народы к Тохтамышу. И со всеми этими сведениями возвращаются в ставку. Из подробных донесений отбирается то, что мо-

[1] Книгу эту, о походах Хромого Тимура, под названием «Зафарнаме», что означает «Книга побед», Шарафутдин Али Язди закончит в 1425 году.

жет принести хоть малейшую пользу и кажется достойным внимания, и доводится до ушей великого эмира.

Как можно было понять из донесений лазутчиков, ставка Тохтамыша готовилась мирно летовать на левой степной стороне Итиля, заняв растянувшиеся на сотни верст поймы и луга. Бо́льшая же часть войска оставалась в низовьях Итиля и на берегах реки Дон. Ходили слухи, что весной опять готовится набег на Хорезм, чувствуются какие-то приготовления. Тимур решил упредить Тохтамыша.

Зимой 1391 года он провел большой курултай.

По сути, военачальники и высокие вельможи государства собрались на курултай, чтобы найти ответ лишь на один вопрос: как провести двухсоттысячное войско через бескрайний Дешти-Кипчак? Даже если пойти напрямик — кочевая столица Тохтамыша стояла в трехстах фарсахах [1]. Нужно идти так, чтобы огромное, заполняющее степь войско не встретилось с врагом раньше срока, к тому же бесчисленные табуны лошадей, десятки тысяч назначенных на убой коров и овец, караваны с оружием и провиантом довести без потерь.

Значит, во-первых, никакие чужие глаза, хотя бы поначалу, не должны видеть, куда направляется войско, и его продвижение не должно встревожить Тохтамыша. Во-вторых, путь должен лежать через земли с обильными пастбищами, у полноводных рек и озер...

Мнения на курултае разделились. Одни считали, что лучший путь — меж двух морей, Хазарского и Хорезмского [2], другие настаивали на том, что нужно, пройдя восточнее моря Хорезмского, выйти к берегам Яика. Загорелся спор.

Длиною оба пути примерно одинаковы, и у каждого свои достоинства и свои изъяны. Но умный полководец, опытный воин, Тимур-Гураган думал глубже и видел дальше. Он мыслил так: если он изберет первый путь, то пространство между Хорезмским и Хазарским морями в четыреста верст нужно будет пройти еще в начале весны, потом, ближе к лету, от палящего зноя выгорит вся трава, от талых вод не останется и капли, а дальше на север не то что реки, даже ручейки попадаются редко. Оставшийся путь и того тягостней. Ведь даже если войско благополучно минует безводные пустоши, к пред-

---

[1] 300 фарсахов — около 2 тысяч км.

[2] Каспийское и Аральское моря.

горьям Урала оно подойдет в самый разлив Уила и Яика, когда они выйдут из берегов, затопят всю степь, встанешь перед неодолимой преградой и будешь топтаться на месте чуть не до середины лета. Ибо известно, в тех краях весна приходит много позже, чем здесь. Еще одна напасть — степные пожары, после которых лишь одна зола во весь окоем. Случись огонь — ни стебелька травы не останется, и все стада, все лошади падут от бескормицы.

Второй же путь не нужно и в счет брать, потому что тянется он через пески да солончаки. Направить огромное войско в пустыню, где ни травы, ни воды,— все равно что собственной головой залезть в капкан.

Тимур до этого держал совет с бывалыми путешественниками, неутомимыми исследователями природы разных стран и выбрал третье направление, которое всей его войсковой верхушке и в голову не пришло.

Этот путь, длиннее тех двух, шел в обход, однако не столь опасный, как те, обильный кормом для скота и пресными водами. В начале месяца Хамаль[1] Тимур минует засушливые, бедные травой места, уйдет так далеко, что уже никакой враг не достанет его. Впереди тучные пастбища, полноводные реки. Войско пройдет вдоль Ишима, потом, уткнувшись в излучину Тобола, круто повернет на запад и в лучшую пору, макушку лета, устремится на Орду Тохтамыша.

Придя к такому решению, Тимур устроил смотр войск, ввел изменения в походный порядок туменов, провел учет снаряжения. Каждому воину надлежало иметь саблю и колчан с луком и с тридцатью стрелами. Сверх этого на двух всадников положена одна заводная лошадь, на десятерых одна юрта, две лопаты, один серп, один топор, одна пила, мотки веревок, походный котел.

Войска, разбившись на четыре колонны, пойдут рядом на расстоянии дневного пути друг от друга. По замыслу Хромого Тимура, тумены, прикармливая по пути стада, проводя учения, устраивая облавную охоту на степную дичь, в четыре месяца должны добраться до бродов Яика. В начале лета, перейдя через Ик, намечалось достичь берега Итиля и обрушиться на кочевую столицу Тохтамыша.

Впервые отправился Нормурад в столь далекое путешествие. Выросший в холе, как говорится, на меду и

---

[1] **Месяц Хамаль** — март — апрель.

масле вскормленный, он никак не мог привыкнуть по целым дням трястись в седле, есть кое-как, урывками и всухомятку. На первых порах, только войско встанет на ночевку, он вываливался из седла и, стиснув зубы от ноющей боли во всем теле, падал на траву. Приставленный к нему в услужение сарбаз тормошил его, пытался разбудить, уговаривал поесть, если нет охоты к пище, то хотя бы выпить кумыса или чаю. Перебраться бы Нормураду в походную юрту, лечь на кошму, но он ничего не слышит, одно желание — сон, сон, отдых усталому телу.

Воистину нет на свете того, к чему бы не привык человек. К исходу месяца боль отпустила Нормурадовы кости, ушла вялость из тела, и дорожные муки стал он переносить легче. Позади остались и покрытые кустиками полыни и медной выжженной травой иссохшее плоскогорье Туркестана, и берега Сырдарьи, войска вступили в бескрайнюю Срединную степь. Чем дальше к северу, тем прохладней и свежей становился воздух, открылись широкие просторы с большими и малыми озерами, с высокой, по пояс, травой.

В Тургайской степи войску был дан недельный отдых. Уставшие лошади, стада коров и овец разбрелись по широким пастбищам и неумолчно хрумкали траву, воины проверяли оружие, чинили сбрую, латали одежду.

Что же касается Нормурада, то он под неусыпным наблюдением своего учителя Шарафутдина переносил на лист бумаги описания событий, случившихся в походе, наблюдения о состоянии войска, об особенностях здешней природы. В будущем, подправляя и дополняя эти записи, мавляна превратит их в значительный исторический труд. Будут в нем и правда, и плеснувшая через край лесть, и преклонение перед Тимуром-Гураганом. Еще раз найдут весомое подтверждение справедливость и величие эмира, Рожденного под Счастливой Звездой, его военные таланты и беспощадность к врагам. Иначе и быть не может. Мавляна Шарафутдин, подобно любому придворному поэту, который, как курица, склевывает пищу со ступенек трона,— птица в золотой клетке. Во имя правды и справедливости воюет великий Владыка Вселенной, Разящий Меч Аллаха, без сна и устали печется о славе, мощи и благополучии живущего под светлыми лучами ислама благословенного Мавераннахра. Это и восславит историк...

По мысли же Нормурада, мечтавшего посвятить свою жизнь делу просвещения, война, кровопролитие — это чуждые человеческой природе дикость и варварство. Отдельные ли люди, целые ли страны — все должны жить в дружбе, любой спор, любой раздор решать сообща и мирно. Войны, набеги, угроза оружием должны быть изгнаны из политики. Вот тогда расцветут государства и люди, не зная, что такое зло и нужда, голод и лишения, заживут вольной и счастливой жизнью, наслаждаясь плодами истины и просвещения.

Так думал Нормурад. И верил этому. После того как прочитал дастаны Низами, великого поэта из Гянджи, он не признавал других путей, определяющих ход развития истории и общества. Три самых верных, самых неустанных тулпара, считал он, двигают общественный прогресс — наука, просвещение, ремесла.

Но положение у молодого ученого было плачевным. Служил он чуждой ему, отвратительной его душе политике — политике войны, разорения, уничтожения. И не только не мог рассказать о том, что видел, что пережил, излить свой гнев, но даже бесстрастным быть ему не дозволено. В тех записях, которые станут в будущем страницами книги мавляны Шарафутдина Али Язди, каждое деяние, каждый приказ, каждое слово Владыки Вселенной Нормурад обязан представить плодами великого ума и великой справедливости. Рука пишет, а душа в иных мыслях, словно в тенетах, бьется. И не идет из головы больной отец, молодая жена и единственный сын, сердце по ним мается, исходит тоской. Вернется ли он домой, увидит ли своих родных?

Шедшие на Тохтамыша войска Хромого Тимура связи с родиной не обрывали, гонцы безостановочно сновали в оба конца. По старому, еще со времен Чингисхана идущему обычаю, на том пути, что оставляли за собой войска, каждые десять — пятнадцать фарсахов ставился почтово-сторожевой пост в сорок — пятьдесят человек, где держали сменных лошадей для гонцов и запасы провианта. Как бы ни увеличивались расстояния, гонцы, одолевая по сто верст в сутки, сначала за десять, позже за двадцать дней добирались от походной ставки эмира до Самарканда.

Такая осмотрительность не была излишней. Хотя и в покоренных странах, и в самом Мавераннахре управлять оставались верные Тимуру люди, там или тут, только и гляди, закипит смута или вспыхнет мятеж.

О делах торговли и строительства, правосудия и сбора налогов, о посеве или жатве, обо всем, что связано со спокойствием государства, о тайных кознях врагов великий эмир должен узнавать своевременно, пусть он и находится за сотни фарсахов от столицы. К тому же в такой дальней дороге постоянная в чем-то нужда — в новом ли оружии, в дополнительном ли снаряжении. И в каждом случае, спрятав за пазуху грозное предписание эмира, несутся быстрые гонцы по широкой степи. Одни с фарманом домой скачут, другие же с вестями из дома спешат.

Переговорив с главой гонцов, Нормурад отправил домой два письма, но ни от отца, ни от братьев, оставленных защищать Самарканд, ответа почему-то не было. Того начальника без воздаяния он не оставил. Вроде доволен был глава почты, пылко уверял, что, мол, тот же самый гонец и ответ привезет. Но нет ответа. Тревожно было на душе у Нормурада.

До самого Ишима войска продвигались без особой спешки. Верховые лошади, стада овец и коров, отощавшие в долгом походе, на богатых приишимских лугах подкормились и отдохнули. Но вот войско пересекло Тобол, повернуло на закат солнца, и движение убыстрилось, день ото дня становясь стремительней.

Каждую колонну, каждый тумен, до последнего десятка,— все видит Тимур, все под тяжелым неусыпным его вниманием и движется его железной волей. Каким бы смелым, отважным ни был военачальник, воли ему эмир не дает, требует, чтобы все исполнялось по заведенному порядку, чтоб ни на миг не забывалась осторожность, чтоб ни одного безоглядного шага. Ибо знает великий воитель: здесь, в сотнях фарсахов от своей державы, случись что, ждать помощи неоткуда. И то известно Тимуру: упустишь время и случай — и пятисоттысячное войско Тохтамыша, собравшись воедино, подобно страшной палице обрушится на него. И чтоб не поднялась она, не раздавила, не разнесла вдребезги двадцать его туменов, он должен в излучине Итиля разбить Тохтамыша — прежде чем подоспеют войска Золотой Орды из южных степей.

Когда тумены Тимура вошли в привольные долины, прилегающие к предгорьям Урала, конный дозор наткнулся на небольшое кочевье башкир, не успевшее укрыться в горах. По свидетельству аксакалов, ногаи, летовавшие к югу от берегов Яика, собирались откочевать

в глубь Дашти-Кипчака, войска их, как слышали, готовятся отбыть в ставку Тохтамыша. Что думает, к чему клонится бей башкиров Богара, пока что неясно, неведомо; известно только, что он тоже собирает силы. Во всяком случае, по стариковским догадкам, уж не на помощь ли великого царя Тимура он рассчитывает?

Эта весть очень скоро достигла ушей Железного Хромца. Эмир позвал своих сыновей, самых верных сардаров и приказал установить связь с башкирским беем. Еще он отправил к Уральским горам человек двадцать острых на язык и легких на ногу дервишей. Пусть ходят по тамошним кочевьям, призывают башкир отложиться от Тохтамыша, идти под руку великого эмира. Если не подчинятся, гнев Тимура-Гурагана будет страшен, и ни в горах, ни в лесах, ни в самой преисподней никому от его расправы не найти спасения. Так что судьба башкирских родов — в их собственных руках. Пусть думают.

А Нормурад вспоминал о своем друге Хабрау, с которым расстался много лет назад. Есть ли он еще на этом свете? И, провожая башкир-аксакалов, Нормурад спросил одного из них, что постарше:

— Отец, не знаешь ли ты человека по имени Хабрау?

— Если ты о Хабрау-сэсэне спрашиваешь, кто же его не знает? — ответил старик.— Есть ли другой сэсэн славнее Хабрау?

Поговорить еще, расспросить о друге подробнее не удалось. Охрана, поторапливая, повела стариков в степь. Они тоже получили повеление идти в свои кочевья и рассказывать о том, что великий эмир несет свободу землям Урала и тем народам, которые не поднимут против него оружия, зла никакого учинено не будет.

У Тохтамыша же были свои заботы.

Еще весна не сошла, как в степях по обе стороны нижнего течения Итиля под ярым солнцем выгорела молодая трава, пересохли озера и мелкие речушки и пришла сушь. Бесчисленному множеству мелкого скота, стадам коров, а пуще того измученным зимней бескормицей табунам лошадей, боевым коням нужны были сочные пастбища, войскам же — отдых.

После долгих раздумий Тохтамыш разделил свое войско на две части, одну половину отправил на берега Дона, а другой, оставшейся в среднем течении Итиля, приказал перейти на левый берег. Раскинувшись на со-

тни верст, черною тучей закрыв степь, войска двинулись на север. Повелев разбить на степной пойменной стороне Итиля временную ставку, хан определил каждому из двадцати туменов положенное ему становье и под надежной охраной вышел в путь.

Зима прошла в нудной кровопролитной войне с охваченными смутой народами Кавказа, потом в набеге на Хорезм потеряно до восьми тысяч воинов. Но сумрака на душе у Тохтамыша не было. Из последних походов он возвратился с богатой добычей, и самая большая гордость — разбил десятитысячное войско Хромого Тимура, Властелина Вселенной, который поставил на колени полмира. Вот так-то, пусть не слишком заносится славный Мавераннахр, пусть не забывает, что есть под самым боком теплый сосед — могучая Золотая Орда; чуть зазеваешься — он тебя и пригреет. Тимур поносит его, владыку вечного Улуса Джучи, обзывает самозванцем и вором, на каждом шагу норовит дать подножку. Не обидно ли: мол, сытая собака на хозяина бросается. Вот его доподлинные слова. Тем хочет пристыдить, что помог ему когда-то завоевать престол Белой Орды. Будто мир как взял одно направление, так и идет им... Нет, великий эмир, не будет хан семенить, уткнувшись носом в хвост твоей кобылы.

Хан прибыл в свою кочевую столицу и сразу отдался утехам и наслаждению. Вправе он, пока войска отдыхают, лошади отъедаются на тучных пастбищах, от мирских хлопот отрешиться? По высокому ханскому примеру и сановники его, и славные сардары скинули с плеч воинскую ношу и тяготы месячного перехода. Пошли-покатились пиршества, да гульба, да скачки.

Видит Тохтамыш, хорошо понимает настроение своих сподвижников. Они спешат хоть немного пожить в покое, без опаски и тревог, попользоваться награбленным добром, от услады этого бренного мира отведать свою долю. Пусть побесятся малость, недельки две. Будь уверен: опустеют бурдюки с вином, опостылят наложницы, и сами же начнут приходить к хану и заводить разговоры о новых набегах. Добыча им нужна, новые богатства. Смысл их жизни в том.

Но, по правде сказать, и ханам отдых нужен. И более телесного отдохновения надобен душевный покой. Не по нраву было Тохтамышу валяться на мягкой перине, долго ублажать себя изысканной снедью и утехами гарема. На то он и хан, что мог неделями не слезать с

седла, спать по два-три часа в сутки, есть что ни попадя. А покой и уединение ему нужны, чтобы решить, куда теперь повернуть тулпара своей державной политики, обдумать, как повести дела в самом государстве, которое год от года расшатывалось все больше.

Прямой угрозы от Хромого Тимура пока что нет. По донесениям лазутчиков, он собирается сразиться с Молниеносным Баязетом. Потом на Қитай, наверное, обрушится и на Индию. А помыслы Тохтамыша здесь. Пусть про него говорят, что и опрометчив хан, и своенравен — он-то видит, какая беда подстерегает Золотую Орду, на столько-то чутья у него хватает. Одно не дает покоя хану, заставляет думать целыми днями, никого к себе не допуская. Проснется ночью и ходит взад-вперед, как лев в клетке. А вся досада, вся ярость его — на Московское государство. Из всех бед самое грозное — возвышение Москвы. Видит Тохтамыш: растет Москва Золотой Орде на погибель. Стоит отрядам хана перейти на другой берег Итиля, так непременно где-нибудь да натолкнутся на русских и без крови не расходятся — уже в этом видно, что Москва в своей политике сделала крутой поворот. И еще саднящая рана Тохтамышу в печень — русские налаживают связи с богатыми западными странами, крепят государство. Междоусобица притихла, княжества, большие и малые, все больше к Москве льнут. Упустишь время, и кровный враг Улуса Джучи вырастет в грозную силу.

Тохтамыш принял решение: нужно воспользоваться тем, что Хромой Тимур отсюда далеко, стягивает силы против Баязета, и нынешней осенью захватить Москву. И чтобы скрыть истинные свои помыслы, отдал приказ войскам готовиться к набегу в Закавказье. В этом он, какой бы ненавистью к Тимуру ни исходил, взял себе в пример его умение и воинскую хитрость. Вон ведь как ловко тот придумал! Перезимовал с двумястами тысячами войск возле Ташкента, а с началом весны пошел в Срединную степь. «Вот лиса, вот плут! — восхитился хан еще раз хитроумием эмира.— Ловко он всем глаза замазал! И проморгаться не успеешь, а он уже повернет на запад и ударит по Молниеносному!»

Так думал Тохтамыш, так сам себе рыл могилу. И двести тысяч войска, что были с ним, обрек на гибель. Поздно разгадал он истинные цели Тимура, не успел вызвать войска с Дона. Как стояли они там, так и остались стоять...

А пока что хан бредил мыслями о захвате Москвы и пытался склонить на свою сторону Витовта, князя Литвы. Вскоре его посольский караван отбыл в Киев с наказом: пусть Витовт в дружбе Орды не сомневается, и если даже помощи не окажет, так хоть на политику Тохтамыша, направленную против Москвы, смотрит сквозь пальцы — и на том спасибо.

11

Богара-бей сидит, поджав ноги, на расстеленном в тени молодых березок белом войлоке, длинное полотенце в его руках мокро от пота. Он морщится от солнечных лучей, пробивающихся через листву, ерзает, поворачивает свое большое, тучное тело то так, то эдак. Взгляд его рассеянно проходит по блюду, полному мяса, по шурпе с курутом, по большим кускам лепешки. Кусок в горло не идет у бея. Сунет в рот кусочек мяса и, не прожевав толком, запьет кумысом из красной чашки с ободком, протолкнет дальше и словно бы ничего не видит, не слышит — ни сидящей напротив молодой жены Зумрат, которая исподтишка удивленными глазами посматривает на него, ни внуков, которые с шумом и криками играют неподалеку в войну. Сам здесь, а думы неведомо где. Однако, хоть и сидит с деревянным лицом, нет-нет да и кинет быстрый взгляд на север, на гору Сарыкташ. Оттуда, от той горы, должны показаться гонцы, которых послал он к бурзянам и тамьянам. Уже неделя исполнилась и вторая пошла, как уехали они. Если даже сегодня вернутся, все равно, по подсчетам Богары, на два дня опоздают. Не захочешь, да озадачишься. Кони под ними отменные, и ни бурь, ни дождей, чтобы в пути их задержать, не было. Неужто в какую беду попали?

Особенно тревожили его бурзяны. Поймут ли намек бея? Смогут ли они в это смутное время, когда вся башкирская земля должна сесть на коней, позабыть прежние раздоры и обиды?

Потому-то Богара послал гонца и к юрматинскому сэсэну Акаю. Оказывается, Акай, презрев все мирские заботы, ходит по бурзянским кочевьям и читает дастан «Бабсак и Кусэк». В том-то худа нет. Пусть бы читал. Дастан этот к единству зовет. Худо иное: говорят, что все слова старинного дастана Акай перекроил на свой собачий лад: бурзянский батыр Карагулумбет у него чи-

ще воды и белее молока, а во всех раздорах, во всех бедах, постигших два племени, виноваты одни кипчаки и более всех — Бабсак и сын его Кусэк. Тайный посол Богары ездил к сэсэну, накинул на его плечи новый с иголочки богатый зилян, советовал ему сдержать себя и не петь ничего такого, что мешало бы единению башкир.

Но вернулся гонец и не успел даже выгулять разгоряченную лошадь, как пришла весть о новой подлости Акая. В угоду богатых турэ он на айтыше унизил Хабрау-сэсэна. Значит, проведчики Орды уже добрались и туда. Они-то и мешают восстановить дружбу между кипчаками и бурзянами. А что жадный Акай держит руку ногаев, известно давно.

Да, в мире нет мира. Мало того, ходят слухи один другого страшней. В любом кочевье тебе расскажут, что видели каких-то непонятных чужаков. Когда же дороги просохли и дни повернули на лето, слухи эти уже, как мухи, множатся. Четыре дня назад Богара сам видел одного из этих таинственных бродяг и не только видел, но и сидел с ним в застолье, угощал его и принял тайный подарок, принесенный из дальней страны, и с тем подарком словно бы принял наказ. Такой наказ — недолго и головой поплатиться.

Двадцать пять аулов сарышей — около пяти тысяч юрт — перезимовали в междуречье Ика и Иняка, в тихих ущельях горы Зилаир, и с первой весенней травой, которую уже мог ухватить скот, по заведенному обычаю разбрелись в пойменных низовьях Сакмары и долинах Яика на летнее кочевье. Зима была суровая, а с началом весны с шумом прошли теплые дожди. Быстро шла в рост обильная трава, вместо павшего на зимней бескормице скота поднимался молодняк. Богара уже подумывал о том, что если все будет в мире и спокойствии, то осенью погонит самое малое сто пятьдесят — двести голов племенных коней в сторону Итиля, а то и прямо в Сарай, на знаменитый базар, и купит на выручку оружие, одежду, муки на зиму, крупу и соль. И вдруг свалился на голову ярлык от хана.

Хотя в южных предгорьях Урала, в долинах Сакмары и Яика беем сидит Богара, но в действительности эти земли считаются владением Золотой Орды. Когда-то они входили в раскинувшийся на полмира Улус Джучи; ими владел Бату, внук Чингисхана, от Бату перешли к младшему его брату Шайбану. Уже сто пятьдесят лет эти земли переходят в наследство от поколения к поколению,

сначала к детям Шайбана, потом к его внукам и правнукам. В последние годы стали сажать здесь беями самих башкир, но это всего лишь уловка хитроумных ордынских ханов. Дескать, живет народ на своей земле, в воле и довольствии, под властью собственного турэ. Выходит, за все, что ни случись, и за хорошее и за плохое, в ответе бей. Он голова, с него и спрос. Потому-то, чтобы и узду держать короче, и чужими руками творить зло, вышедшие из шайбанского корня ногайские мирзы сделали Богару своим зятем. Какие стада пришлось отогнать этим прожорам, какой калым выплатить, чтобы взять Зумрат в жены,— не счесть!

Уже два года, как Зумрат стала его женой. Вроде бы свыклись, живут мирно. Но стройная, с высокими дугами бровей, с большими оленьими глазами, красивая, молодая жена до сих пор не родит. Богара то печалится этим, то утешается. Вот родит Зумрат мальчика — и где порука, что между старшими, Аргыном и Айсуаком, и побегом из корня Шайбанова не выйдет раздора из-за бейства? Нет его — и забот меньше. Так-то оно так, но и на честь Богары — горчайшая язва. Говорят, спесивая родня Зумрат, устали не зная, жует имя высокого бея, насмехается над ним. Богара, дескать, старый мерин, где уж там женщине от него понести? Давно бы он отправил молодую жену обратно и след пеплом посыпал, но нельзя из-за этого идти на ножи с мстительными ногаями.

Терпит Богара. И на строптивый нрав Зумрат, и на ее попытки подчинить все кочевье, согнуть в дугу старается закрывать глаза. Не закрывал бы, прописал бы заднюю грамоту, да сам бей не без греха. Гоняет по мирским хлопотам день-деньской по степи, возвращается уставший и только на самую малость утолит своими чуть подогретыми ласками разгоряченную жену и заснет. Вот и вскидывается Зумрат, места себе не находит. По любому пустяку изводит работников: то еда не по ней, то одежда не в порядке. Никто и слова ей поперек не смеет сказать. Чует Богара, по взглядам чует, не любят Зумрат в доме бея. А старшая байбисе Татлыбике — уж на что нравом горда и на руку тверда,— даже она остерегается задеть молодую наперсницу. Она-то сумела бы обуздать ее, на каленую сковородку бы посадила, но помнит, что за спиной этой бодливой козы вся ногайская мощь.

Ни в чем Богара не может упрекнуть Татлыбике. И она держит себя так, словно ей упрекнуть мужа не в чем: ни в том, что женился на девушке, которой скорее

бы пристало выйти за кого-нибудь из его сыновей, ни в том, что на все проделки юной женушки, на нрав ее спесивый и брыкливый закрывает глаза. Изъявит бей желание — в неделю, может, раз — переночевать в юрте байбисе, а она: «Ступай, отец, еще Зумрат заревнует. Сам знаешь, где юность — там и дурость, пора обидчивая. У нее ночуй». «А как же ты —или не ревнуешь? Ты ведь и сама что молодая невестушка»,— тянется Богара обнять ее. «Оставь,— увертывается байбисе от его объятий,— прошла наша пора, чтобы сидеть в обнимку. Небось стыдно...»

Когда же разговор заходит о заботах большого мира, ум у Татлыбике — что у бывалого мужчины, советует ногаев не дразнить, гордыни их не задевать, а вот своих турэ в руках держать крепче, к простому люду быть снисходительней. Вот и скажи, что не живет делом мужа, большими его заботами. Да, ум Татлыбике до таких глубин проникает, до каких не всякий мужчина додумается. «Придет день, отец,— ободряет она,— наш день, и эти унижения забудутся». Ради того дня согласна сегодняшние обиды молчком глотать, гордый свой нрав держать в узде.

Все видит Богара, все понимает. Цепным своим псом хочет сделать его Орда. Чтобы он башкир, расселившихся в предгорьях Урала — тунгауров, усергенов, кипчаков, кочующее в верховьях Яика, возле Кырктау, племя тамьянов, драчливых бурзян, занявших подножия голубой горы Иремель,— всех держал под своим дозором, каждый шаг сторожил, вовремя собирал и отправлял в Орду ясак и иные многочисленные подати — вот его обязанности. Чуть задержка вышла — баскак с двумя десятками головорезов тут как тут. А явился баскак — беда на страну хуже мора. Ордынские живоглоты и без того жалости не знают, а тут ходят из кочевья в кочевье, уже вовсю, открыто грабят и терзают народ. У кого скота нет — сына или дочь в рабство забирают, у кого детей нет — самого или жену.

Идут-текут думы и опять к ним возвращаются — к сыновьям, заветным стрелам из отцовского колчана.

Изрядно же хитрости, выдержки, ума понадобилось, чтобы отвести все козни ногаев, уберечь детей, оставить их возле себя. Несколько лет уже сидит он беем, а есть ли покой хотя бы в собственной юрте, в собственной семье? В войске Орды сложил голову смелый, как барс, быстрый, как летящая со свистом стрела, отважный Тар-

гын. А прошлым летом явился баскак и насел на Богару, требовал, чтобы теперь уже отдал в орду Аргына, отцову надежду и опору. Ратному, дескать, ремеслу выучится и вернется домой опытным воином, львом матерым, крепким щитом страны... «Воином», «львом», «щитом»... Скажи уж: хотим взять бейского сына заложником. Подлая тварь! Десять дойных кобылиц отдали ему вместо Аргына — только тем и заткнули глотку. А ногайские сваты — где уж там за свойственника заступиться! — напротив, знай тому поддакивают.

Как бы там ни было, но сумел бей оставить сына под своим крылом. Иначе как бы он народу своему в глаза смотрел, что сталось бы с властью и достоинством бея, если он даже собственного сына не смог уберечь, как бы верили ему? А по совести говоря, Аргын этого не понял и не оценил, отца своего, которому недавно только пятьдесят исполнилось, считает уже стариком, и не терпится ему место бея занять самому. И нравом горяч, крут, думать некогда, где ухватится, там и ломает. Станет беем, того и гляди, всю мощь, что Богара изо дня в день по крупицам собирал, пустит на ветер.

Младшенький Айсуак совсем на старшего брата не похож. Пятнадцати лет женил его Богара на Карасэс, вдовой своей снохе. Вот и живут невпопад: Карасэс сама по себе, Айсуак сам по себе, и совсем не похоже, что в одно сольются. Жену Аргына послушать, так они и спят врозь. Зато где песни поют, где домбра звенит, там и Айсуак все дни напролет. Добро, хоть письму и чтению от Хабрау выучился. А книжное слово худому не научит. Одна жалость — ратного дела совсем не любит, нет в нем воинского задора. Правда, в стрельбе из лука, в борьбе и джигитовке он среди ровесников не из последних, но к военному искусству и политике — вовсе никакого интереса. Когда бы не это, Айсуака, а не Аргына назначил бы бей своим преемником. Нет, не знают, не ведают сыновья забот и надежд отца. Один топором машет, сук, на котором сидит, норовит подрубить, другой из детства никак не выйдет. Душа бея огнем горит, даже мысли о кочующих в степях бесчисленных стадах и табунах, о том, что десять лет уже, с получения тарханского ярлыка, он свободен от ясака и пушной дани, не приносят утешения. Где уж там утеха, если из-за уступок Орде ропщет народ, проклинает его втихомолку. Сколько раз собирался он, махнув на все рукой, подняться и откочевать со всеми стадами да скарбом на север, на ту сторону Ак-

хыу[1]. Уж, верно, катайцы и табынцы не прогнали бы его, дали сколько-нибудь земли. Да нет, разве покинешь родные степи, где родился, где вырос... Ладно, решился, скажем, поднялся и ушел. А что там, одному аллаху ведомо, то ли выиграешь, то ли проиграешь. А рука у ногаев длинна, месть беспощадна. Того и гляди, следом пойдут, злодеи, весь твой род до последнего человека вырежут. Вот и терпит против воли своей Богара, носит тугой хомут Орды. Не терпел бы — да над головой острая сабля посверкивает.

Вот так и жил-крутился бей меж двух огней. Льстил-уговаривал, поил-угощал заклятого врага, взятки совал, посулами да подарками заваливал, порою и смутой попугивал, но отродье Шайбаново на эту сторону Яика пока что не пускал. Нынче весной, еще дороги не просохли, опять объехал кипчакские и усергенские земли, с почтенными главами родов, мудрыми аксакалами повидался. Где намеками, а где и в открытую поговорили о том, что снова всколыхнулся и замутился мир, что Хромой Тимур собирается схватиться с ханом Тохтамышем, а тут и в самой Орде беспорядки, снова появились домогатели на ханский престол. Разговоры долгие, а намек один и ясный: вы тут не спите, случится что — надо быть готовым о себе подумать.

А что удивительного, если Богара ухватит случай за гриву и станет ханом в своей стране? Разве лет тридцать — тридцать пять назад, когда был он еще безусым джигитом, Тугыш-бей, глава минцев, кочующих по берегам Демы и у Асликуля, или Байсура, что из устья Караидели, не сидели ханами великих земель и племен? Чем Богара хуже их? И опыта, мудрости по годам своим, а то и выше набрал, и богатством известен. Сила есть, и такая, что страна, как гарцующая лошадь, будет послушна в его руках. А надежная опора? Вот она — четыреста воинов в седле. Барсы, а не джигиты. Взлетит бей на аргамака, взмахнет саблей, бросит клич — и недели не пройдет, десять — пятнадцать тысяч войска станет под его знамя.

Как раз в дни, когда он эти мечты, заветные и заманчивые, лелеял, словно воробышка в ладони, в бесконечных поездках исподволь, не спеша склонял на свою сторону надежных соседей, уважаемых людей дальних и ближних родов, прибыл к нему тот ханский фарман.

[1] Акхыу (Аксу) — река Белая.

Ударь гром с ясного неба, не так бы удивился бей. В фармане было сказано, чтобы в течение двух недель бей собрал войско в пять тысяч всадников и привел его к устью Иргиза. Сверх того надлежало доставить на воинские нужды хана пятьсот лошадей, пятьдесят верблюдов и еще три тысячи овец на убой.

Десять всадников, что доставили сей ярлык, даже не подождали, пока закипят котлы и будет готов обед. Перекусили наспех всухомятку, дали небольшой отдых лошадям и поскакали дальше. И все же собака, она и есть собака. Десятник — ханское слово, видишь ли, везет — даже не поговорил толком, все лаялся и грозил. А вот трех лучших бейских скакунов вырвал на подмену своим клячам: дескать, дорога дальняя, ему отсюда в верховья Демы скакать, а там к Асликулю.

«Ага, похоже, подол-то у вас загорелся»,— усмехнулся им вслед Богара. Посмеяться-то посмеялся, но только и крякнул от груза, что лег вдруг на плечи. Шутка ли, только лошади начали по молодой траве отъедаться — и собрать войско! И овцы недавно оягнились, где уж тут на убой отделять.

Ладно, скот, хоть с грехом пополам, собрать можно. А что скажут старики, народ что скажет? Согласится ли чернь в ханское войско идти? Как разошлись по стране тревожные слухи, затлели в народе искорки смуты. Того и гляди, полыхнет.

Вот нахлынут полчища Хромца, кто знает, может, будет еще и Тохтамышевых ужасов похлеще. И гонец-то — черное рыло, чтоб лишай и короста его изъели! — ничего не объяснил. На расспросы бея — причем самым любезным тоном — рявкнул: «Он еще будет ханский фарман обсуждать! Велено — исполняй!»

Выходит, кляни не кляни, а велено — исполняй. Богара, разослав гонцов в ближние кочевья кипчаков, усергенов, тунгауров, созвал на совет известных среди башкир аксакалов и батыров. Пока дождался дня, когда собрался совет, весь извелся. Куй железо, пока горячо,— а тут и железо было в самом накале, и молот уже занесен. Опустить бы молот, рука уже немеет, но башкирский бей обдумывает, взвешивает, на кого можно опереться, а кого нужно опасаться. Что скажут старики? Может, поддержат давний тайный замысел бея и по его настоянию решат уйти в глухие ущелья Урала, в глубь страны, схорониться и ждать конца войны? Но случись так — значит, меч мятежа вынут из ножен. Тогда уже

назад пути нет — до победы или до погибели, но биться до конца. Тогда объединенное войско башкирских племен под руку хана не пойдет, наоборот, ударит ему в спину.

Вопросы, один другого страшнее, терзали рассудок, как ястреб, бьющий тетерку. Что делать? Отважиться, подняться или — что есть, мол, то и праздник — тащить, как послушный верблюд, ногайскую поклажу и дальше?

Ночь накануне совета Богара провел без сна, встал рано, не находя себе места, измаявшись ожиданием, взял с собой двух немых охранников и еще пять-шесть ратников и поехал на другой берег Сакмары, туда, где верстах в десяти от кочевья паслись его табуны. Поехал, посмотрел. Табуны-то в целости и сохранности, что им сделается? Порою проржет заливисто горячий жеребец, жидкие в суставах жеребята скачут, задрав хвосты, а кобылицы стоят, положив голову на шею соседке, и словно секретничают о чем-то. Обозрел Богара свои неисчислимые, разбредшиеся во весь окоем стада и вроде немного успокоился. Он подозвал старшего табунщика и велел потихоньку начать отгонять табуны в сторону гор и через неделю ущельем Сарыкташа идти на север, к берегам Иняка, и строго-настрого наказал, чтобы об этом никому ни словом, ни намеком. С тем бей и отправился домой.

Проехал ли с полпути, нет ли — на пересекавшей дорогу тропе ему попался один из джигитов, что держали караул по берегу Яика. Дозорный ехал верхом и гнал перед собой какого-то пешего чужака.

Богара велел охране, кроме двух безъязыких, отъехать в сторону. Если секрет какой, им лучше не слышать, от немых же опасности нет.

— Этот оборванец тебя спрашивает, бей-агай. Срочная, говорит, весть, но только для твоих ушей. Больно уж подозрительный. И язык от нашего отличается. Прикажи, бей-агай,— и размозжу ему голову! — сказал дозорный, поигрывая палицей.

— Где поймали? — спросил Богара, окинув чужака взглядом: ветхий зилян, островерхая шапка, глаза блестят.

— Через Яицкий брод шел. Вот, в мешке двух голубей нес, бей-агай. Один белый, другой сизый. Живьем съесть, что ли, хочет, сыроед? Что прикажешь, может, выпустим их?

— Отдай ему,— ответил бей, насторожившись.— Лад-

но, иди, скачи к своим. Будьте всегда так же зорки. За хорошую службу велю доставить тебе одну овцу.

— Хай, живи тысячу лет, бей ты наш! — гаркнул парень и поскакал обратно.

— Кто таков? Чего ходишь по моей земле?

— Дервиш я, уважаемый Богара-бей. Брожу по миру путями аллаха.

— А мне что хотел сказать?

Дервиш, сглотнув слюну, сказал охрипшим голосом:

— Еда у меня кончилась. Со вчерашнего дня крошки во рту не было. А идти далеко. Может, думаю, Богара-бей даст пищи в дорогу, щедрость его известна. С тем и шел.

«Врешь, блестящие глаза! Другое в голове держишь»,— подумал Богара. Но долго разговаривать на виду у стоящей неподалеку стражи не захотел.

— Добро пожаловать, коли так, поедем в мой аул,— сказал он, трогая коня.

Дервиш пошел рядом.

Когда пришли, Богара пригласил его в белую юрту.

— Спасибо, достопочтенный бей,— ответствовал тот, низко поклонившись,— меня до сана своего гостя возвеличил. Но только и у юрты бывают уши. Лучше будет, если весть, которую я принес тебе, услышишь только ты.

Скатерть расстелили на траве в тени березы. Гость ел быстро, жадно, но чуть насытился — вытер рот и огляделся по сторонам.

— От разящего Меча Аллаха, Владыки Вселенной, от великого эмира Тимура славному турэ башкирской страны Богаре привез я привет,— сказал он.

Богара сразу почуял запах опасности, исходивший от этого дервиша с блестящими глазами, но такого не ожидал. Его бросило в жар, острым всплеском поднялся кумыс в чашке, которую он держал в руке. Схватил другой рукой камчу, что лежала рядом, процедил сквозь зубы:

— Как у тебя язык повернулся такое сказать? Здесь, за моим дастарханом? Дервиш ты или лазутчик — а на аркане побежишь в Орду!

— Суд бея в его руках.— Чужак твердым взглядом встретил рыскливый взгляд бея.— Что ни сделаешь, на все твоя воля. Но прежде выслушай. Весть моя такая, Богара-бей: дни Тохтамыша-разбойника сочтены. Страну башкир великий наш падишах берет под свое крыло. Если кто его встретит с открытой душой и широкими объятиями, кто не будет преградой на его пути — тому не знать беды и не изведать проклятия эмира.

Звон металла услышал Богара в шепоте странного гостя и оробел еще больше. Но оглянулся на стоявших шагах в тридцати стражников, устыдился. Этот человек, назвавшийся дервишем, говорит слова, которые могут стоить головы — или бея, или его собственной. Если он окажется лазутчиком Орды, посланным ради испытания башкирского бея,— тогда это будет его голова, Богары. Поверишь ему, откроешься — и побежишь на аркане прямо в ногайскую Урдугу. А если и впрямь от Тимура, а Богара его выдаст — голова скатится эта, длинноволосая, в островерхой шапке. Только и она, если победит Тимур, долго сиротой не будет — в пару к ней ляжет и обритая голова башкирского бея. Эх, зачем пригласил, зачем угощал, уважение оказал? С досадой вспомнил дозор на Яике, нет чтобы, где поймали, там и утопить.

— Ты только посмотри на него,— изменившись в лице, заорал он,— еще от имени какого-то там далекого царя говорит, а! Живи, казнить я тебя не буду. Мои парни проводят тебя через Яицкий брод. Все! — Но заорал все же шепотом, чтобы стража не слышала.

— Сомнение — признак ума,— похвалил гость,— в наше время не то что первому встречному, даже жене, с которой жизнь прожил, открываться не следует... Вот, бей, это тебе из рук самого эмира.— Он положил на ладонь Богары серебряный, с зеленым лунным камнем перстень.

Сердце забилось так сильно, что бей закрыл глаза. Сидел не дыша, не шевелясь. Странный гость тоже не спешил продолжить беседу, видно, подумал: пусть услышанная весть до сердца дойдет. А когда почувствовал, что Богара поверил до конца и не только поверил, но и согласился с ним, заговорил снова:

— Я был наслышан, что ты умный турэ, потому и пришел, уважаемый бей. Войска великого эмира будут здесь не позже первых дней рамазана. То есть через месяц... рад буду засвидетельствовать перед падишахом твою верность. Аминь!

— А эти голуби, что ты будешь делать с ними? — спросил Богара.

Ему показалось, что он стоит на краю пропасти. Один шаг — и грянется в гибельную бездну, в прах, в муку-толокно разнесет его. Хромой Тимур... хром, да скор. Через месяц обещает быть. А если не придет? А если и явится, какую известный жестокостью падишах окажет

милость? А Орда тут, рядом. Уже на том берегу Яика ногайские кочевья. Могучие мирзы корня Шайбанова. Тоже, наверное, не полеживают на боку. Коли башкирскому войску приказано идти к Иргизу, значит, и ногайский тумен, направляясь туда, походом пройдет через кипчакские земли. Конец известен: ханские ли полчища прошли, пожар ли степной — все едино. Но пожар все же милосердней. Всего богатства, всех стад, которые годами собирал, в один день лишится...

Пока он заметавшимся рассудком спешно обдумывал, что делать, как повести себя дальше, посол развязал мешок и вынул белого голубя. Прицепил что-то к лапке и двумя руками подкинул в воздух. Птица взлетела над юртами, очертила круг над становьем и понеслась прямо на восток.

— Через два дня сядет на плечо сардара великого эмира,— ублаготворенно сказал посол, блеск в его глазах потух.— В знак твоих добрых помыслов отпустил белого голубя, а к лапке привязал колечко с твоим именем. А случись иначе... окажись твои намерения нечестивыми, выпустил бы сизого голубя. Хвала всевышнему, избавил ты меня, бей, от сего греха.

Богара бросил обреченный взгляд на стражу: все видели. Нарочно, окаянный, у них на глазах выпустил. Теперь назад пути нет.

Дервиш прочитал молитву, положил принесенный работником узелок с провизией в свой дорожный мешок, поблагодарил за угощение и поднялся с места. Дальше его дорога лежала к минцам. День уже клонился к вечеру, когда бей проводил его.

До съезда гостей время еще было. Богара махнул рукой, словно хотел сказать: чему суждено быть, то и свершилось, пошел и лег в юрте.

Ему было что обдумать.

Многие тайны политики Орды понял Богара с тех пор, как стал беем и породнился с ногаями. В шумном ли застолье, в тихом ли сборище или же на встречах и переговорах с приспешниками ногайского эмира, всюду он доискивался до скрытого смысла всего, что делалось, что говорилось, пытался понять не только то, что слетело у них с языка, но и что таилось под языком. И что он замечал всегда: души ногайских турэ, вассалов Орды, постоянно точила какая-то смута. То и дело, хоть и обиняком, выразят недовольство действиями хана, а в последнее время нет-нет да и заведут разговор о Тимуре.

Дескать, меч Хромца молниеподобным просверком освещает весь мир, а вот наш хан только и знает, что расшатывает золотые столбы, опору его высокого трона, то есть их, ногаев, отпрысков Чингисхана, которые всегда у него под рукой, всегда на его службе, в грош не ставит.

Богара не мальчишка какой-нибудь, лета его такие, чтобы все услышанное и увиденное низать на одну нить, понять, куда мир клонится. Сколько ходит слухов о Железном Владыке, о его славе и мощи, о беспощадности к врагам истинной веры! Многое Богара знал и из рассказов Хабрау-сэсэна, который в юности прожил два года в Самарканде. И все ширятся слухи о том, как Хромой Тимур, не ведая поражений, захватывает одну страну за другой, и, если окажет кто ему сопротивление, целые страны Разящий Меч Аллаха обращает в прах и золу. Однако, думает Богара, зачем этот эмир должен карать башкирскую страну, если она не причинит ему никакого зла? Наоборот, довольный тем, что башкиры отложились от Орды, он протянет их бею руку помощи.

Но торопиться не следует, и близкий разрыв с Ордой нужно скрывать от всех, даже от аксакалов, держать под семью замками. А уж когда придет день...

В грустный час захода солнца начали съезжаться гости. В белой юрте было накрыто застолье.

Когда Богара зачитал гостям ханский приказ, все застолье подняло дружный крик. Но каждый кричал о своем, и соображения у каждого были свои. Дальше того, что всю ночь кричали, ели мясо, пили кумыс, ахали и охали, дело не шло. Каждый бы из них выложил, что у него на уме, но мялся и косился на соседа. Скажешь, а слово твое тут же доведут до ногаев. И перед Богарой не пооткровенничаешь. Поди попробуй. Бей он вроде и свой, башкирский, но кто его на это место посадил? Те же ногайцы. То-то. Сторону хана держит, ханским словом живет. Так и ночь прошла, стало светать. Сарышский батыр Таймас, из приличия перед стариками сидевший молча, взял слово.

— Гляжу я на вас, уважаемые аксакалы, и удивляюсь,— кашлянул, прочистил горло.— Если эта весть, что война, что идет сюда Тимур,— правда, то, пока сидели мы тут с вами и угощались, хромой царь уже много прошагал.— На шее Таймаса вздулась жила в рукоять камчи толщиной, шрам на виске побелел. Взмахивая большим, как лошадиное копыто, кулаком, заговорил дальше: — Ну, чего вы мнетесь? Одно из двух: или, как хан

повелел, посадим пять тысяч джигитов на коней и отправим в поход, на смерть, или же поднимемся все вместе и откочуем в горы, в глубь страны. А от ярлыка этого,— он показал подбородком на свиток с ханским приказом,— откажемся.

И молодые батыры поддержали твердое, ясное слово опытного воина.

— Да и другого пути нет,— сказали они и посмотрели бею в глаза.

— Две головы, что ли, у тебя? Одна и та баранья. Отказаться от ярлыка — ишь ты! Не споткнись, Таймас! — погрозил ему блестящим от жира пальцем Байгильде.

Богара говорить не торопился, спокойным, медленным взглядом шел он по сотрапезникам. Нет, не первые встречные они ему, не мальчики незрелые. С одним, давним соратником, ходил в походы, с другим девушку сватал, а с третьим на большой свадьбе или на скачках подружился. Но в это тревожное время с кем поделиться тайными своими заботами, кто примет часть ноши на свои плечи?

Вон, опустив тяжелые веки, сидит узкоглазый, с темным, словно чугун, лицом жирный Байгильде — турэ сайканский. Сват любезный. Вон рыкнул на Таймаса — с той ссоры после баранты они то мирятся, то снова рады вцепиться друг другу в загривок — и снова уткнулся в край парчовой скатерти, сидит что каменный истукан и не шелохнется. Ему довериться, что о воду облокотиться. Коли вспыхнет война, зазвенит оружие — он еще подождет, посмотрит, как безмен завалится, куда потянет — туда гирькой шлепнется. Живет, упиваясь своим богатством, мир-де сейчас принадлежит сильным, время такое. И у бея первый сват, и с родом Шайбана дружба, водой не разольешь: то девушку из своего рода в ногаи замуж выдаст, то стадами-табунами могучим родственникам поклонится. Ему только камчой взмахнуть — и триста головорезов в седлах. На кого он их повернет, на чью защиту встанет?

Вот два турэ усергеновских родов — Голубого Волка и Старшего Волка. Сидят рядом, а смотрят в разные стороны. Глава Голубых Волков Юлыш и приехавший с ним старый его батыр Аккужа, вконец уже уставшие от окружающего коварства и шатаний, привыкли рассчитывать только на свои силы. Конечно, держат они на кипчаков обиду из-за Байгильде, но в великом деле, кото-

рое предстоит Богаре, положиться на них можно. Люди верные, бойцы отважные. За башкирскую землю жизнь отдадут, пусть потники их лошадей кровью будут сочиться, но к врагу спиной не повернутся. Рядом сидит Мурат — Старший Волк — человек неустойчивый, переменчивый и трусливый. Жаден к тому же, из-за маленького ягненка душой поперхнется. Где уж там заботы о стране.

Балапан и Юлдыбай — из страны тунгауров. Старший, Балабан, глава рода; Юлдыбай, его спутник, известный батыр. Эти обычно жмутся к родственным усергенам. Как решит сильный сосед, так и они, ибо становья их малочисленные, если подметут-поскребут до последнего и выставят триста всадников, и то хорошо.

Своих кипчаков, кроме Байгильде, Богара крепко в горсти зажал, давно под его кубыз пляшут. Но забудут ли издревле враждующие племена кипчаков и усергенов на время похода старые обиды, баранту и набеги друг на друга? Не бросятся ли, как запахнет кровью, в разные стороны? Попробуй загони волка и рысь в одно логово...

Впрочем, кроме Байгильде и Мурата, помыслы других известны. С какой бы радостью, полагает бей, и тамьяны, и бурзяны, и усергены с тунгаурами сбросили власть Орды — содрали с себя, как старый чекмень, раскрутили над головой и хлопнули о землю. А эти двое? Чуть что — и шмыгнут в сторону. Один потому, что хорошо знает: лучше воробей в руках, чем журавль в небе, второй просто от страха. Нет... пока нельзя открываться...

— Беспокойные времена, почтенные отцы и братья, смутные времена,— издалека начал Богара.— Ходят по нашим землям чужие люди, слухи нечестивые разносят, если верить им, недолго нам головы на плечах носить...

— Да, сват, вроде один такой и к тебе забредал?.. Кто он, а? — Байгильде мазнул по нему взглядом и снова уткнулся в пустую чашу, стоявшую перед ним.

«И тут поспел, проклятый! Видать, кто-то из моей охраны у него в доводчиках...»

— Дервиш был, странник, по делам веры ходит. От таких угрозы нет, сват. Лазутчики бродят, выведчики, издалека пришли, шныряют, высматривают, черные слухи распускают. Вот про кого говорю.

— И у нас один такой побывал, тоже дервишем назвался,— кивнул тунгаурский турэ Балапан.— Сам я его не видел, в стада отъезжал, говорят, что не о вере-бла-

гочестии говорил. Нет, угрожал все: хромой царь-де надвигается, мол, если поднимем оружие в защиту Тохтамыша, юрты ваши пеплом по ветру разлетятся.

— Пустое болтаешь! — закричал Байгильде.— У страха глаза велики! Где тот хромой разбойник и где мы?

— От наших мест, дескать, если идти кочевым ходом, на десять дней пути,— спокойно ответил тунгаурский старейшина.— Стало быть, скоро и здесь будет.

— Пусть будет. Только где у него сила, чтобы силу хана сломить? — сказал Байгильде. Или вправду так уверен, или хочет выведать, что другие думают.

— И твоя правда, сват. Мы здесь, Тимур там. Птица и та до него не долетит. Какое эмиру дело до нас? Подумаем, ямагат, как нам пять тысяч конного войска собрать.— Бей опять взял нить беседы в свои руки. Нет, не время еще открывать тайные свои помыслы. Он подкатил к себе свиток с ханским ярлыком. Голос стал медлен и тяжел, словно его устами говорил сам ордынский владыка.— Перейдем к счету. У Байгильде-свата триста человек войска уже есть, да по ханской переписи его сайканы должны поставить еще тысячу двести. Всего выходит полторы тысячи.— Байгильде подскочил на месте, но гневный взгляд Богары не дал ему сказать и слова.— Усергены дадут тысячу, тунгауры триста, еще и из моих кочевий тысячу взять, выходит почти четыре тысячи. Остальное падет на плечи бурзян и тамьянов...

— Души у тебя нет, сват! Откуда оскуделым сайканам набрать полторы тысячи? — Байгильде швырнул кость, которую обгладывал, на скатерть.— Я же без рук останусь, если отдам тебе триста джигитов!

— Ай-хай-хай, обнищал же ты, сват, вконец обнищал! — усмехнулся Богара, и усмешка его вышла радостней, чем он хотел выказать. Очень уж Богара был доволен, что задел больное место Байгильде. Но тут же погасил улыбку и сказал жестко: — Я, что ли, назначил войсковой ясак? Как закончили перепись, приехали баскак и даруга и определили: с тебя триста воинов, со всех сайканов две тысячи! Отчего ты тогда не петушился? Смотри, дойдут эти слова до Орды — потащат на конском хвосте как смутьяна!

Байгильде, красный, с дергающимися глазами, попытался укусить с другого бока.

— Перед ханом хочешь выслужиться? — брызжа слюной, закричал он.— Сделали тебя беем — и рад стараться, они еще в ладони не хлопнут, ты уже в пляс! Вот до

чего довел страну! Если отправим столько войска — с чем останемся? Будем как беззубая собака!

«Хай, злодей! Перед ханом я выслуживаюсь, а? Ловко! А он, значит, за страну болеет, вот бесстыжий!» — и разозлился и восхитился хитростью свата Богара.

— И правда, бей-агай, почему не сказал: нет, дескать, у нас такого войска! Почему хоть малость с ногаями не поторговался? — подняв глаза, угрюмо спросил Юлыш.

— Вот и хваленый твой друг Юлыш против тебя, а не против меня! — Байгильде, воспрянув, надменно огляделся по сторонам.

Но никто больше не подхватил его слова. Чего-то ждали. В юрте стояла тяжелая тишина. Только Таймас-батыр сказал негромко:

— Вот тебе на!

Бей был доволен вспыхнувшим спором. Сейчас, в запале, они многое выскажут, что у них на уме. «Вот бы показать вам серебряное кольцо,— как бы тогда заговорили?» — подумал он. Что теперь гадать, что маяться, все решено — голубь улетел, и назад пути нет. Опять заговорил Байгильде. Даже не скажешь, что тот самый человек, который минуту назад был готов лопнуть от ярости. С широкой угодливой улыбкой на лоснящемся лице он сказал:

— Ай-хай, хитер же ты, сват! Сидишь и нас испытываешь, будто и знать нас не знаешь, в первый раз сегодня увидел, а?

— Ты не петляй, говори прямо! — Острый взгляд Богары впился ему в лоб.

— И скажу, сват, скажу... Тот, кого ты назвал дервишем... которого кормил, поил, да еще еды на дорогу дал, далеко не ушел. Мои джигиты подкараулили его и привели ко мне. Вытянули разок по спине камчой, сразу все сказал.

— Ну и что? Он-то здесь при чем?

— При том. Лазутчик он! От Хромого Тимура. Я его в колодки забил. Завтра ответ будет держать.— Байгильде, довольный, погладил реденькую бородку.— На твой суд отдам. Скажешь зарезать — зарежу, скажешь повесить — вздерну.

Почтенные мужи загудели, как пчелиный рой. Богара поднял руку, попытался успокоить их, но гул в застолье не утихал. Каждый торопился высказать свое. Бей сидел и слушал. Турэ кричали на Байгильде, что, схватив дервиша, он поступил глупо и опрометчиво: ко-

ли весть об этом дойдет до Тимура, страшно подумать, чем она может обернуться, если же отпустить его на волю и ногаи прознают об этом, тоже ничего хорошего не жди.

— Хорошо, хорошо... завтра же отправлю его к свату Кутлыяру, и вся недолга,— сказал Байгильде, думая тем остановить спор.

Богара стиснул в руке ханский ярлык, печати раскрошились в побелевшем кулаке. Отдать дервиша Кутлыяру было хуже всего. Забьют в колодки, начнут пытать огнем, тот все и выложит — и кто он такой, и о чем они с беем толковали.

— Ладно, высокий ямагат, не будем из-за какого-то оборванца в сторону уходить,— сказал бей, стараясь не выдать своего беспокойства.— Давайте ешьте, пейте... Ох-ха-ха, кумыс-то, оказывается, кончился! Эх, работнички, работнички, даже сна своего побороть не могут...— С этими словами он вышел из юрты.— Дармоеды! Лодыри! Бездельники! — послышался его сердитый голос.

Богара нашел способ развязать тот узел, вернее, разрубить и теперь спешил сделать задуманное, покуда еще оставалось время. Он быстро прошел в караульную юрту, поднял, встряхнул дремавшего там Аргына и в нескольких словах сказал, что ему делать. Аргын сразу подтянулся, лицо стало жестким. Нет, здесь Аргын не подведет, в таких делах он сообразительный. Не слушая его ворчания, повеселевший Богара поспешил к гостям. Вслед за ним один из охранников-джигитов внес кадку с кумысом.

Аргын был обижен, что его не позвали на совет старейшин, даже во сне он чувствовал эту обиду. И хотя на приказ отца заворчал: «Они опрокинут, а Аргын поднимай...» — однако столь важным поручением был доволен.

Гостям же было не до кумыса. Эх, как прост был мир, и как теперь запутан мир, а тут еще тайны какие-то, странные события, грозящие бедами и напастями! Вот что давит на плечи почтенных мужей, вот что их пугает. Чтó там кумыс, чтó мясо?..

— Вот так, уважаемые турэ и батыры. Как я уже сказал, царю Тимуру до нас, а нам до царя Тимура дела нет. И дни и пища наши здесь... Войскам, которых требует хан, надлежит в течение десяти дней съехаться на пересечении дорог, у подножия Сарыкташа. Сотники и десятские — как прежде, снаряжение — полное походное: еда-провизия, юрты, казаны... Юлыш-турэ, тебя назначаю

своим помощником. С зарей уйдут гонцы к тамьянам и бурзянам. Пока они доскачут...

— А почему Юлыш? — сумел вставить слово Байгильде.

— Потому что зовут его Юлыш! [1] — усмехнулся Богара, видя согласие остальных.

— Тьфу, коли так! — Байгильде вспыхнул, резво, как мальчишка, вскочил и, не сказав ни «спасибо», ни «до свидания», бросился к двери.

За порог еще не шагнул, пронзительно свистнул. Сайканская охрана узнала зов своего турэ, кто же еще здесь будет свистеть, как вор? Было слышно, как тут же, стуча копытами, примчались и стали кони. Оставшиеся в юрте еще не успели понять, что к чему, а топот копыт, удаляясь, исчез в предутренней тишине.

— Пусть поскачет, остынет малость,— сказал Богара. Хоть про себя встревожился: Байгильде, по его расчетам, уезжал в свое кочевье рановато, как бы там они с Аргыном не столкнулись.— Молодым батырам можно в соседней юрте прикорнуть малость... К турэ же у меня есть разговор.

Вот тогда он и выложил тайную весть, полученную от лазутчика Хромого Тимура.

— Чуял я, таил ты про себя что-то, бей. Афарин! — сказал Аккужа-батыр.— Так куда же думаешь повернуть войска?

— Как куда? Против ногаев! — вскинулся Юлыш.

Богара жестом велел ему помолчать.

— Увидим,— сказал он, сдерживая охватившее его нетерпение.— А пока понемногу, чтобы не бросалось в глаза, заворачивайте кочевья к горам. Дозорные, что по Яику, пусть ночами жгут костры и ведут себя так, словно ничего не изменилось. Старайтесь, чтобы ногаи не заметили, что аулы поднялись с места и ушли.

— Коли дела так пойдут, того войска, о котором ты говоришь, окажется маловато,— высказал сомнение Балапан.

— Как пойдут дела, узаман [2], пока еще не ясно. Все что ни делаем — пока только из предосторожности... Основные войска, как уже сказал, встанут у подножия Сарыкташа. Остальные же мужчины, кто может взять в руки оружие, пусть охраняют кочевья. Во главе их тоже

---

[1] Юлыш — спутник.
[2] Узаман — почтенный муж.

надлежит поставить сотников и десятских. Связь будем держать через гонцов. А теперь поклянемся: до конца, до последнего стоять вместе и никто на сторону смотреть не будет!

Богара вынул из-за пояса короткий кинжал, вытянул перед собой. На лезвие со звоном легли кинжалы остальных старейшин.

— Клянусь! — сказал Юлыш, сверкнув глазами.

— Клянемся, клянемся! — сказали усергенские и тунгаурские старейшины.

Когда на востоке начало расходиться алое пламя зари, гости вышли в путь. Только они отъехали, как с пятью своими джигитами вернулся Аргын. Кони их были в белой пене.

— Сделал, отец,— сказал он тихим голосом.

— Ну, сынок, всех тебе благ! — Богара похлопал его по спине.— Следов не оставили?

— Нет. Возле ямы, где сидел этот дервиш, стоял охранник. Тоже заткнули рот и прихватили с собой. Дескать, стакнулись они и удрали вместе...

У бея похолодела спина, он схватил сына за плечо:

— Где они?

Лицо Аргына расплылось в злой хвастливой улыбке. «Кых»,— провел он ребром ладони по шее.

— Известно где... Камень на шею и — в Сакмарский омут.

— Что-о?! — Богара не смог удержать крика ужаса.

Что же за изверг он, единая его кровь? Мало того что учинил такое зверство, еще хвастается, за доблесть почитает. Отцовский-то приказ был освободить дервиша и отпустить своей дорогой, а не убивать. А коли всплывет вся эта история, кто ответит?

— Брось, отец... На тебе прямо лица нет. Нашел о чем. Не этот бы охранник, сделал бы все, как ты сказал. Ну, а так... — Аргын развел перед собой ладонями, дескать, все чисто-гладко, концы в воду, и никаких следов.

Да, что случилось, то случилось, и ничего теперь не сделаешь. Лошадь споткнулась — так не дорогу же винить. Если дервиш и спасся бы, то неизвестно еще, что из этого вышло. Может, оттого что Байгильде его схватил и избил, на всех кипчаков навлек бы беду. Главное, чтобы тайна не раскрылась. Богара кивнул на стоявших в стороне джигитов: как, не выдадут?

— Трое из наших — хоть ремни из спины режь, ни звука не услышишь. А у тех двоих и лошади, и оружие,

и прокорм — все от нас. Куда они денутся? Ну а если неладное почуем... — Аргын погладил кинжал на поясе.

— Довольно! — Богара поспешил оборвать разговор.— Сейчас же одного из них пошли гонцом к тамьянам, другого к бурзянам. К каждому приставь по верному джигиту, коней для подмены выбери хороших, из своего табуна. Пусть немного поспят и придут ко мне.

— Что совет решил? Куда пойдем? К хану? Или на хана?

Пришлось Богаре, хотел он того или не хотел, открыть краешек правды. Дела предстоят нешуточные, и без такого головореза, как сынок, не обойтись. Этот в огонь и в воду готов, даже отцова приказа ждать не будет.

— Ступай, снаряди гонцов в дорогу,— сказал Богара.

Выбросив из памяти ночное происшествие, он постарался представить, как теперь развернутся грозные события. Нужно спешно созвать десятников и сотских, объяснить, что предстоит делать каждому. Самое же главное — не откладывая, разослать гонцов...

12

И теперь Богара ждет гонцов, которых отправил в путь на рассвете той бессонной ночи. С какими вестями вернутся они? Поймут ли тамьянские и бурзянские турэ, что кроется за его иносказаниями? Поднимутся ли на его клич?

С того ночного совета уже неделя кончается. По донесениям, что прибывают от разных родов, сбор войск, можно сказать, заканчивается. Дня через три тронутся в сторону Сарыкташа. Стада откочевывают. Только для виду вдоль Яика бродит немного скота да стоят старые юрты. Ногаям замазать глаза хватит. Всего, что происходит в башкирских землях, им знать не обязательно.

Однако ногаев, в плутовстве и коварстве поднаторевших весьма, так просто вокруг пальца не обведешь. Услышав, что кочевья Богары отходят к северу, прибыл сват Кутлыяр, родной брат Зумрат. Подозрений никаких вроде бы не выказал, убедился, что сбор войск идет скорый. В доме зятя угощали от души, все «сват» да «сват», не знали, куда и посадить, так что уехал довольный. Однако попробуй поверь ордынцу. Еще неизвестно, о чем он говорил с сестрой. Не зря, наверное, шушукались наедине.

В день совета молодой жены дома не было. Бей нашел удобный повод и спровадил ее в гости в соседний

аул. Однако ручаться, что у Зумрат нет в становье своих доносчиков, нельзя, такая — у змеи когти острижет. И сама во все дела бея, в его управление башкирскими землями суется. Этой только кончик зацепить, весь клубок размотает, до самых тайных твоих помыслов доберется.

Зумрат придвинула к нему мясо и подлила в чашку кумыса. Хочет что-то сказать, совсем уже соберется, но отведет взгляд и вздохнет тяжело. Боязно. Не в духе муженек, взгляд мрачный, брови насуплены. Хоть бы спросил о чем-нибудь. Вот тогда уж, как строчковая нитка, слово к слову, без зазора, все и выложила.

Наконец Богара обратил на нее внимание.

— Ты что, будто на горячей сковородке,— поморщился он,— заду своему места не найдешь?

Зумрат метнула на мужа быстрый взгляд, надула губы — видишь, обижена.

— Можно бы и не рычать так...

— Где свербит? Говори уж...

— И скажу! Как ночь — «лебедушка моя», «души моей половина», а днем, хоть на глаз тебе наступи,— не видишь своей лебедушки! — Зумрат, играя плечами, выпятив грудь, стала ластиться к мужу.— Слухи разные ходят. Боюсь. Что еще увидим? И это... Ты что, на ордынские войска не надеешься? Зачем аулы откочевывают и стада тоже погнали?

— На кого же еще надеяться, если не на Орду? А что откочевываем, так это из осторожности. Вот нахлынут сюда два войска и затеют побоище в наших местах. Тогда что? Говорят, Хромой Тимур совсем недалеко отсюда.

— Да и брат мой говорит... Наши ногаи к востоку, в глубь Дешти-Кипчака уходят, оказывается.— Зумрат пристально посмотрела на мужа.— А что, если и нам туда же, за ними следом?

«Вот ведь змея, то справа зайдет, то слева»,— подумал Богара и поморщился. Втянула-таки его в этот опасный разговор. Но вопрос молодой жены без ответа оставлять было нельзя. Сглотнув желчь, ответил:

— Разве по одному только моему слову стада, аулы, тысячи людей пойдут в чужие земли? К тому же ногаи твои — могучие, богатые, и стада их несчетные, следом за ними идти — только пыль глотать, ни травы, ни воды за ними не останется. Ты бы голову попусту не ломала, это заботы мужские, велела бы лучше зарезать овечку, созвала девушек да сношек-молодушек, домбриста пригласила и погуляли бы, повеселились.

— Вот еще... — сказала Зумрат, но по рассеянной ее улыбке было видно, как она довольна еще одним свидетельством ногайского величия. Выгнув стан, раскачивая бедрами, пошла к своей юрте. Было слышно, как она громким голосом отдает приказы работникам и женщинам-стряпухам. Выходит, совет мужа все же приняла, думает устроить пир.

Но молодая жена давно уже что-то чуяла, какую-то угрозу, и ходила, будто по горячим углям ступала. Было отчего встревожиться: в день совета старейшин спешно, по пустячному поводу вытолкали в гости; почти неделю уже то оттуда, то отсюда, загнав лошадей до черного пота, до белой пены, прибывают гонцы, разговоры с беем ведут шепотом, Аргын же, как только увидит Зумрат, сразу ощетинивается, ведет себя грубо, непочтительно. Когда же сказала: «Соскучилась, домой хочу съездить, отца с матерью повидать», Богара отрезал: «Дура, не домой, а в гости! Твой дом здесь»,— и не отпустил. Пояснил при этом: «Время лихое, и дорога дальняя, а лишней жены у меня нет». Только ли этого опасается муженек? Кто приходит, кто уходит — охрана за всеми следит, ни с кого глаз не спускает. Измены боится бей. Разве боялся бы, если у самого в мыслях разброда не было?

Зумрат, как и Богара, тоже ждет уехавших к бурзянам и тамьянам гонцов. Хотя, конечно, не всех, одного ждет, того, которого зовут Толкебай, к тамьянам его послали.

Зумрат еще подростком, бывало, не спала ночами, все думала о своем будущем муже. Могучий, красивый батыр — вот каким она представляла его себе. Не всякий же может высватать невесту от корней самого хана Шайбана! Конечно же выдадут ее за богатого мирзу или даже за углана [1], и будет она самой красивой, самой желанной из всех его жен, другие жены будут склоняться перед ней.

Все это втолковывала ей сноха — старшая жена брата Кутлыяра, считала своим долгом подготовить подрастающую золовку к будущей семейной жизни. О тайных сторонах отношений между мужем и женой она рассказывала со сластью и в удовольствие. Свой-то муж разве только по заблудке переночует иной раз в ее юрте — есть еще три жены помоложе. Вот и оставалось старшей байбисе с тоскливо-бесстыдной улыбкой предаваться воспомина-

---

[1] Углан — царевич, ханский сын.

ниям. Делая вид, что не замечает, как ехидно перемигиваются ее молодые наперсницы и жены мужниных братьев, давала она уроки любовной грамоты Зумрат. «Не красней, не красней! — говорила она, находя особое удовольствие в том, как вспыхивала Зумрат и от стыда закрывала лицо руками.— Лучше все знать наперед. Мужчины — что псы, с привязи сорвавшиеся. Не ублажишь их, так они на сторону смотрят».

Впрочем, и другие снохи день-деньской слоняются, изнывая от безделья, и только соберутся — заводят все тот же упоительный разговор о любви. И хотя каждая рассказывает только то, что конечно же слышала от других, но Зумрат видит их насквозь: просто того в себе каждая удержать не может, что сама изведала, или тайные свои мечты разматывает, по чему изнывает долгими одинокими ночами. Лица огнем горят, неутоленная страсть маслом блестит в глазах. Старшая жена в досаде и ревности, но и млея от такой беседы, порою обрывает их: «Перестаньте, еще услышит кто-нибудь. Прыгаете, как сытые кобылицы!»

Эти разговоры, однако, не могли замутить светлых мечтаний Зумрат. Восхищаясь божественной любовью царевичей и царевен, о которой читала в дастанах, она ждала свою большую любовь, назначенную судьбой, и не знала, не ведала, что сладкий яд, который нацедили ей в кровь снохи, забродит после. А пока она жила ожиданием счастливой жизни, которая была впереди, и торопила дни.

И наторопила... Судьба решилась скоро и враз. Зумрат продали куда-то на задворки Орды, стареющему бею чужого народа. Отец ее, эмир ногайский, а более того — старший брат Кутлыяр, не видя ее слез, не слыша стенаний, то руганью, то уговорами сломили ее сопротивление. Нужно, говорили они, нужно — ради благополучия дома, ради того, чтобы намертво, сыромятным ремнем, привязать к Орде беспокойные башкирские племена. Плакала-плакала Зумрат и выплакала со слезами все силы, всю ярость...

Конечно, поначалу молодая байбисе забот державной политики, о которых твердили отец и брат, и в голове не держала. Богара хоть и не царевич из дастана, однако же оказался человеком на удивление богатым. Не знает, куда и посадить, пылинки с нее сдувает, яства ли невиданные, одежды ли богатые, украшения ли из злата и серебра, ценою в целые табуны каждое,— ничего не

жалеет для молодой жены Богара. Захочет Зумрат наведаться в отцовский дом, бей в свиту ей дает самых красивых девушек, а в охрану — до полусотни всадников при полном вооружении. Сбруи лошадей, оружие охраны на солнце сверкают, у девушек в накосницах монеты звенят, разноцветные ленты в гривах коней на ветру полощутся. Ну прямо ханской дочери гостевой караван!

Так что Зумрат вроде бы утешилась быстро. Только рот откроет — и что хотела, уже перед ней. Но понимает молодая жена: чужая она в доме своего мужа. Глазами не видит, так спиной чует. Старшая наперсница Татлыбике сама первой не заговорит, скользит мимо. Словно юной наперсницы и вовсе нет, скоро уж и тень ее будет обходить. Девушки, приставленные в услужение к Зумрат, только с виду приветливы и послушны. Чуть пожестче с ними — огрызаются. А эмирская дочка сызмала привыкла в отчем доме держать всех в страхе. Уж она бы подняла голос, установила в доме свои порядки. Глянет на байбисе, стоящую, скрестив руки на груди, неподвижно, словно каменный истукан, встретится с ее острым взглядом — и немеет язык. Взгляд ее выдержать еще может, а вот слова сказать сил уже нет.

Кто скажет про Татлыбике, что троих родила, что сорок ей уже: стан гибкий, в сочных губах, в больших карих глазах еще гуляет отсвет молодости. Разве умная, властная байбисе, у которой все кочевье на ладошке пляшет, снизойдет до молоденькой, еще и девятнадцати-то нет, соперницы? Где уж...

А ведь эти капризы Зумрат совсем не от глупости. День и ночь у нее душа горит, оттого что мечты юности растаяли как отрадный сон, оттого что жизнь ее вместо желанных мраморных дворцов пройдет вот в этой войлочной юрте, оттого что всем она чужая и всеми обиженная. Никак не привыкнет она к здешним нравам и обычаям. Душа тоскует, ищет чего-то, от смутных мятежных мыслей голову ломит, если бы не страх перед отцом и, того более, перед братом...

Страх, страх... Хоть и живет за широкой спиной мужа, но кажется ей порой, что шагает она по самому краю бездны. И не в Татлыбике дело. Что байбисе? Как говорит брат Кутлыяр: «Сколько бы корова ни брыкалась, оглобли ей не сломать».

Страх ее, самый ужас — Аргын.

Коли встретятся ненароком за юртами с глазу на глаз, выдавит он на широком лице шутливую усмешку

и ощупает ее взглядом с головы до ног. И без того узкие глаза сжимаются в щелочки, широкие конские ноздри дрожат. Вот-вот рванется к ней, сграбастает ручищами и подомнет под себя, огромным своим лошадиным телом упадет на молодую женщину. Вспыхнет Зумрат от стыда и страха, помертвелые ноги пронесут мимо.

Только недавно узнала Зумрат, почему Аргын так бесстыже ведет себя с ней. Оказывается, ногаи поначалу, когда надумали войти в свойство с башкирами, хотели выдать Зумрат не за самого Богару, а за его старшего сына. Свою жену, толстую, широколицую дочь Байгильде, которую сосватали ему против его воли, Аргын терпеть не может. Давно уже полюбилась ему красивая дочь ногайского эмира, еще до отцовской женитьбы на ней, да и Кутлыяр подзадоривал, сулил отдать свою сестру за него. Но дела вдруг круто повернулись, и Зумрат выдали за Богару. Однако не остыли в Аргыне давние желания. Упаси аллах, не осилит он своей обиды и злости, польстится на молодуху и сотворит глупость. А там известно: за грех черного пса белая собака расплатится. Весь срам ляжет на Зумрат. Татлыбике, которая и так ее видеть не может, если и не отправит ее с позором домой, то уж мужа-то от нее наверняка отвадит.

Когда ее провожали в кочевье жениха, Зумрат отцовских слов даже в толк взять не могла: как это она будет помогать сближению Орды и башкир? Непонятны были слова отца и брата. Как же так — сильный нуждается в дружбе слабого? Орда — хозяин этого мира, дикие башкиры — Орды подневольники, Орде — повелевать, им — платить ясак и слушаться. Вот что знала она с малых лет, вот что вошло ей в кровь.

Не ведала молодая изнеженная девушка, что времена изменились и власть Орды давно уже пошатнулась. Очень скоро Зумрат поняла, что эти башкиры издавна противились власти ханов и смотрели на сторону.

Недавно мимоездом заглянул Хабрау-сэсэн. Какие же злые он поет песни! Каким гневом горят его глаза, какие проклятия Орде шлет его домбра! Молодые джигиты, слушая его кубаиры, готовы вскочить с места, рвануть сабли из ножен.

Сама пригласила, сама ввела сэсэна в белую юрту Зумрат, на белую кошму посадила. Нельзя было гневаться ей. Терпела. Сидела, опустив глаза, боясь и дышать. Потом, по обычаю, сама накинула на плечи сэсэна вышитый зилян. Вспомнила она тогда наказы брата Кут-

лыяра. Вспомнить-то вспомнила, но взяло душу сомнение: нет, не исправить, не приручить этот народ, только заслышат слово «Орда» — и рука уже саблю ищет. Сэсэн, будто услышав мысли Зумрат, мягко сказал ей: «Не обижайся на песню, бике. Слова из песни не вырвешь, заплаты не положишь. К тому же... ты ведь теперь наша, своя...» А зилян не взял. Ничем, дескать, он такого подарка не заслужил.

И то правда: коли ты любимая жена башкирского бея — значит, заботами его земли и живи. Сказано: муж — голова, жена — шея. И ногайская родня зря фыркала: дикий, мол, народ, темный. Не дикий и не темный, встречаются среди них и ученые люди, и много разных умельцев. Есть ковали, что отменно выковывают сабли и кинжалы, наконечники стрел и копий; шорники, что мастерят сбрую, седла; резчики из дерева, что вырезают посуду, делают оснастки юрт; кожемяки, что выделывают кожи. А женщины ткут паласы, валяют войлок, на диво красиво шьют и вышивают. И обычаи, коли сравнить с ногайскими, не такие уж суровые.

С одной стороны, она, дочь из рода Шайбана, жена турэ, вроде бы смотрит на всех вокруг свысока, с презрением, тешит свою гордыню, с другой — вглядывается, вдумывается, незаметно для себя самой старается усвоить обычаи и законы нового своего дома. Конечно, в делах управления Богара с ней советоваться и не думает. Посмотришь, так даже к словам Татлыбике вряд ли прислушивается. А в последнее время, с тех пор как поползли слухи про Хромого Тимура, молодую жену вовсе забыл, ни ласки, ни внимания. Затаился муж, скрывает что-то, ушел в какие-то непонятные и опасные замыслы.

Видно, и Кутлыяр в тревоге, боится, как бы башкиры не отшатнулись от Орды, а хуже того — не переметнулись на сторону Хромца. Не эти бы страхи, разве стал он в такую пору, когда мир вот-вот огнем займется, когда весь ногайский дом, весь улус укладывается в дальнюю дорогу, разъезжать по гостям? Впрочем, похоже, с беем они договорились. Сомкнутые брови мирзы разошлись, угрюмое лицо разгладилось, уехал с виду довольный. Однако сестре наказал — и не раз, и не два — следить за каждым шагом Богары. Положил ей на ладонь серебряную, редкого чекана монетку и сказал: «Через неделю приедет мулла якобы тебя проведать, покажет точно такую же монету. Все, что увидишь, услышишь, расскажешь этому

мулле. Он уже передаст мне». Сестра вскинула на него испуганный взгляд.

Так вот в чем видели ее помощь своим государственным делам отец и брат! Наконец-то поняла Зумрат: они выдали ее замуж за башкирского бея, чтобы сделать ее при нем соглядатаем! Соглядатаем! Какой срам! Какой стыд и позор! Она должна притворно улыбаться мужу и не любимой женой входить в его объятия, а вползать, как черная змея. Выпытывать его мысли, червем копаться в его душе, из жеста, из слова, из сонного бормотания должна она вызнать секреты, которых ожидает Кутлыяр! Эх вы, если уж на такое унижение обрекли, так хоть выдали бы не за старика с холодными объятиями, а за молодого, горячего парня. По сравнению с Богарой даже грубый увалень Аргын, от которого вечно разит лошадиным по́том, лучше. Душе омерзение, так хоть бы тело насладилось.

К давно уже копившимся обидам подбавились и эти грешные мысли, и Зумрат почувствовала себя птицей в клетке. Хоть бы понесла, что ли. Будь у нее ребенок, теплый крошечный комочек, утешилась бы, в ласках к нему исцедила тоску из сердца. Нет, и это счастье заблудилось где-то. Или сама пустобрюхая, или у мужа силы все вышли. Знахарке-старушке показывалась молодая бике, отвары из трав пила, но никакой пользы не нашла. Правду, видать, говорил брат Кутлыяр, что у бея корень мужества высох. Неужто за три-то года молодая, здоровая женщина не затяжелела?

С тех пор как брат побывал в кочевье, нет Зумрат покоя. Сядет вышивать, воткнет иголку и задумается, вспоминает девичью пору, когда она жила, как птица вольная, без горя и забот, и от тоски этой или запоет тихонечко, или безмолвно, беззвучно заплачет. Некому ее утешить. Выйдет погулять с девушками в поле, взгляд ее пробежит по широкой, лежащей в мареве степи и устремится туда, в родную сторону.

В последние дни, как поняла она, что отдали ее в угоду проискам Орды, бродят в душе молодой бике суматошные мечтания. Вот она, никому не сказавшись, тайком от мужа уезжает домой к родителям... или нет... ее крадет молодой джигит, не царевич даже, самый простой кара-кипчак, и они убегают в неведомые дальние страны. Но понимает Зумрат, да и как не понимать: пустые это мечты. Не рабыня она и не убогая жена бедняка, чтобы

скрыться бесследно. Еще за окоем не уйдут они, как пустится следом погоня и поймает их.

В золотые, невидимые глазу цепи закована юная бике. Бывают отважные мужчины, выламывают они железные решетки и бегут из темных зинданов. Слышала Зумрат о батырах, что, переплыв широкие моря, одолев отвесные скалы, уходящие к облакам, достигают желанной цели. У женщины судьба иная: хочешь не хочешь, таскай эти цепи всю жизнь, а если невмоготу — головой в омут.

В последние дни Зумрат все чаще вспоминает Толкебая. Ей удалось выведать, что поскакал он с ханским ярлыком к тамьянам, однако наверняка кроме ярлыка он повез еще какое-то секретное послание от Богары. Только затем она и ждет Толкебая — тайну выведать. Других мыслей нет. На то она и ищейка, чтобы вынюхивать. До приезда муллы, о котором говорил брат, она должна вызнать всю подноготную этой подозрительной возни.

Саму себя пытается обмануть молодая бике. От самой себя увильнуть хочет, в собственное сердце боится заглянуть: что там, один лишь интерес, зачем ездил гонец к тамьянам, или же теплые чувства к самому Толкебаю? Ну что может быть общего у нищего парня, вся жизнь которого проходит на службе у бея, и девушки из великого рода хана Шайбана? Смех, да и только. Но почему же тогда его стеснительная улыбка и статная фигура то и дело встают перед ее глазами?

С тех пор как начали собираться войска, Богара часто возвращается лишь под утро, иной раз даже остается ночевать в дальнем кочевье. Тогда у Зумрат сна ни в одном глазу. Ворочается ночь напролет — то на один бок, то на другой.

Сидя в передней большой, стеганной изнутри шелком юрты, девушки-служанки слушают вздохи молодой хозяйки и, не смея ни прилечь, ни хотя бы перешептаться, с тоской думают о том, что утром надо будет ублажать капризную бике, как малого ребенка, гадают, какие еще мучения падут на их бедные головы.

Но странное дело, в последние дни, когда утром в четыре руки умывают байбисе теплой водой, в шесть рук расчесывают и заплетают ей косы, в восемь рук одевают и наряжают, Зумрат не дергается, не привередничает, как прежде. Какое платье принесут, то и наденет, какое блюдо подадут, то и поест. Но, видно, не до еды бике. Поклю-

ет малость и плеснет рукой: уберите. Не мучает, не изводит, и на том спасибо.

День уже клонился к вечеру, когда прибыли гонцы, посланные к тамьянам. Богара увел их в сторону от аула и велел рассказать обо всем, что видели и слышали, не упуская ничего. Выслушав привезенные Толкебаем и его спутником вести, Богара задумался. Что ж, ответом тамьянов, хотя в пляс, конечно, не пустишься, можно быть довольным. Тамьяны обещали, что от них прибудет войско в двести человек. Старейшины рода сказали: «Если же слова бея, что у него под языком, окажутся правдой, за нами дело не станет. А пока посмотрим...»

— Если, говорят, придется подняться против Орды, ничего не пожалеем, ни добра своего, ни жизни своей, бей-агай. Они тоже, как и мы, готовы седлать коней! — сказал под конец Толкебай.

— Попридержи язык! Слишком много знаешь! — Богара замахнулся зажатой в руке камчой.

«Эх, выдадут они секрет раньше срока,— подумал он.— Может, и этих двоих потихоньку... того?» Но вспомнил, что случилось с тем дервишем, и тут же отпала охота. Никому другому, кроме Аргына, такое дело не поручишь. Представил его тогдашнюю свирепую ухмылку — глаза сощурены, зубы оскалены,— и мурашки пробежали по спине бея. Но гнев его перекинулся на гонцов.

— Забудьте! — рявкнул он.— Что видели, что слышали — все забудьте! Хоть слово кому сболтнете — языки ваши с корнем вырву! — Потом, уже потише, добавил: — А так... я доволен. Службу исполнили хорошо. Утром приходите в юрту байбисе. Такая служба без награды оставаться не должна.

Ночью вернулись гонцы, посланные к бурзянам. Охрана, помня наказ Богары, тут же разбудила его. Бурзяны, как и тамьяны, решили пока разом не подниматься, однако уверили, что триста всадников сразу же следом за гонцами выйдут в путь. Но только раздастся клич, под начало Богары будет послано еще пятьсот джигитов.

У бея весь сон пропал. До сна ли теперь, когда такие вести! Гонцы вышли, и он глубоко, так что высоко поднялись и опали под накинутым халатом плечи, облегченно вздохнул, словно тяжкий груз свалил с загорбка. Потом кликнул двух охранников. Ему тут же привели любимого коня. Богара молодцевато, словно юный джигит, взлетел в седло и на плавной иноходи направился к перепутью, куда съезжались объединенные башкирские войска.

13

Посмотришь, так сэсэн вроде птицы, что летает себе вольными небесными угодьями. Вся земля, все дороги перед ним, певцом, в какую сторону душа потянется, туда и завернет коня. Слова и песни, что вызревают в душе, намерения-помыслы — все в его воле, и никто сэсэну не хозяин.

Но впереди сэсэна, гонцом от него, бежит его слово. Звуки его домбры, как громкое эхо в ясный день, летят по отрогам, расходятся из племени в племя, от кочевья к кочевью. Значит, его желания должны совпадать с помыслами всей страны. Птица, что свила гнездо в его душе, не будет какую ни стало мелодию выпевать.

Об этом, пустив лошадь мерным шагом, думает Хабрау. И еще с горечью вспоминает прошедший дней десять назад йыйын — съезд родовых старейшин,— который собрался на бурзянской земле, и свой айтыш со знаменитым Акаем.

Хотя лицом к лицу с сэсэном юрматинцев он повстречался впервые, Хабрау много раз слышал из других уст его кубаиры, где он воспевает красоты Урала и берегов Акхыу, красоту девушек, восхваляет турэ достойных и справедливых. Наслышан и о том, что голь неимущую Акай не очень-то жалует, корит за строптивость, за непослушание, призывает быть терпеливой и за все что ни есть благодарить аллаха. Против Орды, против безжалостных мурз шайбанского рода хоть бы словом обмолвился, за то и ногаи готовы на руках его носить — сэсэн, говорят они, божий человек, а с чего божьему человеку ясак платить, с небесных выпасов? — и сняли с него ясак.

Когда на йыйыне толстый, с тройным подбородком и сытым взглядом Акай, сдвинув дорогую шапку набекрень, засучив рукава богатого шелкового зиляна, играл на курае, Хабрау забыл про все на свете. Долгая нежная мелодия будто из сердца самого Хабрау тянется. Но потом старик Акай, отложив курай, взял в руки домбру и начал напевать кубаир во славу привольной жизни башкирского народа и его беспечального житья-бытья. Хабрау не вытерпел.

— То, что хвалишь ты как счастье,— это стонет бедный люд. Кого кличешь ты батыром — то ногайский нар-верблюд,— перебил он старика.

Люди засмеялись, шумно поддержали Хабрау. Ста-

рейшины же стали упрекать его, обвиняя в невоспитанности. Один даже, зажав нос, прогнусил:

— Разве из кипчаков выйдет приличный сэсэн? Гоните его в шею, ходит тут, воздух портит!

— Айтыш, коли так! — закричала беднота.— Пусть состязаются!

Обычно об айтышах сообщается заранее, каждая сторона задолго готовится к состязанию. В тот раз словесный бой завязался сразу.

Акай-сэсэн, вскидывая мохнатые брови, передал от юрматинских турэ, затейливо переплетая слова, множество длинных и пышных приветов, хвалил смелость бурзянов, их спокойный нрав, некичливое достоинство, а кипчаков ругал ворами. Еще он говорил о том, что в тяготах, которые падают на плечи страны, повинны и сэсэны, бесчестные и бессовестные, вроде Хабрау и Йылкыбая. Ибо они для своей пустой потехи задирают медведя, который спокойно лежит в своей берлоге, и будят в нем ярость. Саруа[1] должна почитать власть Орды и своих турэ, и за это в будущем, в ином то есть мире, им воздастся пятикратно. Сэсэн слагает кубаир, чтоб песнею восславить мир, не станет он вороной каркать, не станет он лягушкой квакать, и разжигать в стране раздора, и насылать на край разора. Нет, не станет, ау, не станет!..

Расчет Акая прост: во-первых, крепко-накрепко запечатать Хабрау рот, во-вторых, вызвать в слушателях недовольство им и, того более, возбудить негодование против кипчаков. И действительно, пока он пел, разомлевшие от мяса и кумыса старейшины, прищелкивая языком, перекидывались исполненными глубокого значения взглядами, когда же Акай опустил домбру, шумно выразили одобрение, в своих похвалах вознесли старого сэсэна чуть не до небес.

Хабрау заиграл, даже не дождавшись, когда шум стихнет. Пальцы на струнах то убыстряют мелодию, и тогда слышен гулкий топот копыт, то придержат ее — и текут тихие струи неспешного потока. Вдруг в эти звуки влился сильный голос певца. «Скажешь: «Говори»,— скажу я, скажешь: «Говори»,— скажу я»,— начал Хабрау свое пение. Акай-сэсэн годами своими многим из нас в дедушки годится, слава его — безмерна, беспредельна, песни его во славу могучему Уралу — любой душе исцеление. Но этот йырау — словно птица, которая сама себя

[1] Саруа — голытьба.

посадила в золотую клетку. Бросит кто зернышко, тому и хвалу поет. Если же у сэсэна народным горем сердце не изъязвлено, если в эти страшные смутные дни живет он, льстясь на выдровую шубу да на сладкий кус, кому отрада от его медоточивых слов? То не вода в стремительной Акхыу, в неумолчном Инзере и в бурном плеске Яика и Сакмары — это кровь башкир. Вот чем славна горькая наша земля, вот ее песня! Не слышит разве Акай этого рыдания? Не видит разве этих слез?

Известно, на кровавом пути ногаев из слов засеки не положишь, из кубаиров частоколов не воздвигнешь. Но разве башкирским джигитам, которые вставали когда-то с оружием в руках против коварного Узбек-хана, били ногаев хана Шайбана, не прибавляли отваги сэсэны Акман и Суяргул, слова которых были острее меча? Разве у бурзянов и юрматинцев, у кипчаков и усергенов не одни и те же песни и не один и тот же язык, разве не одна общая судьба? Не верьте сэсэну, который подстрекает на брата! Кто отстанет, того медведь съест, кто в сторону собьется, того волки загрызут! Эх, почтенный, уважаемый Акай-йырау! Кто воро́ной каркает, кто лягушкой квакает, кто горе людей во счастье считает, а богатырей, способных меч поднять, в пугливых тетеревов обращает — это не я, ау, это не я!

Мудрость турэ не оспаривай, на сильного не замахивайся, к мстительному не цепляйся, говорил в ответ Акай и позорил Хабрау: «Что у тебя, кроме паршивой клячи да старого чекменя, за душой? Придет война — ничего у тебя нет, ни добра, ни скота, чтобы потерять, ни жены, ни детей, чтобы плакали вослед. Оттого и других на сильного науськиваешь». Турэ громко хвалят старого сэсэна. А народ криками поддерживает Хабрау. Но и сегодня, как и вчера, время сильного. Главы йыйына на этом оборвали айтыш и признали победителем Акая.

Хабрау, воспользовавшись суматохой, вышел из толпы и пошел искать Арслана, сопровождавшего его джигита. Хотелось быстрее уехать с места своего позора. Обиделся йырау. Нарушили аксакалы древний обычай — в самый разгар состязания встали между певцами. Если бы в угоду богатому Акаю не подставили ему ногу, дали Хабрау сказать до конца — такое услышали бы, чего не слышали никогда. Огонь, который горит в его душе, охватил бы всех, весь йыйын и всю толпу. Ладно, пусть победителем будет Акай, не это обидно. Слово, которое хотел сказать, не успел высказать — вот что обидно.

К тому же слова Акая, что, коль придет война, мол, ничего у Хабрау нет, ни добра, ни скота, чтобы потерять, ни жены, ни детей, чтобы плакали ему вослед,— отравленной стрелой вонзились ему в сердце. Стада и богатство — это пустое, не о том печаль Хабрау. Но сказал Акай, что некому слезы лить по Хабрау, и разбередил его неизбывное горе. Знает, что говорит, старый лис, в самую боль ударил...

Мгла застлала светлый день. Шум, праздничная суета кругом, а он в глухой кромешной ночи. И только зов ее: «Хабрау, Хабрау! Спаси меня...» — звенит в ушах. Хабрау рукавом стер слезу, горькой солью обжегшую щеку, и бросился на землю. Шесть лет, как погасла светлая звезда, озарившая небо его души. И нет ему больше отрады в этом мире. «Эх, Энжеташ, страны моей певчая птица, песня курая, звон родника, сердца частица, отзвенела песня твоя, больше ей не звучать. Надломилась душа моя, крыльев ей не поднять!..»

Долго лежал Хабрау. От холодной земли остудилось тело. Он всхлипнул, освободился от застрявшего в горле комка. Поднялся, сел и словно бы в удивлении посмотрел вокруг. Нет, воспоминания о любимой, о несбывшихся мечтах не должны нести уныние в его душу. Горькая судьба Энжеташ зовет его на борьбу. Пусть же песни Хабрау острым копьем вонзятся в злое сердце врага. А иначе не будет успокоения горестной душе Энжеташ, заблудшей птицей в небесных чертогах Тенгри будет биться она, не находя себе места...

Сейчас он доберется до какого-нибудь бедного кочевья, там переночует, а с зарею направится к отрогам Баштау, спустится в долину Акхыу и, пройдя через земли бурзян, выйдет к кочевьям тамьянов.

Но вдруг перед ним встали с десяток парней.

— Из сил выбились, пока тебя разыскали, а ты, оказывается, вон где,— сказал один.

Джигиты взяли сэсэна под руки и, как он ни отказывался, повели на берег Инзера, где уже была расстелена скатерть, расставлена еда.

— На то они и турэ, чтобы неправду творить,— говорили джигиты,— и ты вправе обидеться, сэсэн. Однако знай, мы думаем по-другому. У нас нет вражды к кипчакам.

Один из парней играл на курае, другой пел. Потом попросили Хабрау сыграть на домбре. Все больше и боль-

ше стягивалось людей к берегу Инзера. И сэсэн допел оборванный давеча кубаир:

Что нам терзает сердце злой порой?
Неутоленный гнев земли родной.
Сплотясь в одно, мы встали бы горой,
Едины стали б, как гудящий рой.
На поясе есть меч, чтоб насмерть сечь,
Урал есть за плечами, чтоб сберечь.

Не сядет птица счастья на гольцы,
Пока ее пугают пришельцы.
Язык мой, семь племен объедини,
От корня одного взошли они.
Прерви междоусобную войну,
На недруга направь батыра меч,
На части расчлененную страну
Сумей сопрячь, отеческая речь!
Нахмурив брови, род встает на род,
Терпеть междоусобицу невмочь!
Приди чистосердечия черед,
Приди, как белый день сменяет ночь.
Пусть под ногами будет Млечный Путь,
Пусть единенья будет вечный путь.
Страну объединяя, чтоб сберечь,
Передавайте всем сэсэна речь,
Несите вдаль с собой сэсэна речь...

В тот день выйти в путь сэсэн не смог. После угощения он смотрел, как джигиты состязались в стрельбе из лука, борьбе и скачках, и отошло изболевшееся сердце. Правду сказали джигиты: пусть продажный Акай унизил его, но племя бурзянское было за Хабрау. Еще одна радость — от Богары прибыли гонцы. Бей собирает войско. Только вот куда, в какую сторону направит его Богара? И пойдут ли тамьяны за ним? Хабрау должен ехать туда, узнать, что у них на душе. Надо спешить.

На другой день проводили сэсэна в путь, посадили взамен его заморившейся лошадки на резвую, с широкой спиной кобылу-трехлетку, приторочили к седлу набитый едой куржин. У Хабрау в глазах словно бы посветлело и на душе развиднелось, хоть немного, но нашел горю утешение. Что его обиды, когда весь народ готовится сесть на коней...

Хабрау с Арсланом миновали рассыпавшиеся по горным склонам и долинам быстрых рек бурзянские аулы и дней через десять, где ночь застанет, там и ночуя, вышли к отрогам Ҡырктау.

Вот они и приехали — впереди лежала земля тамьянов.

Остановив лошадь, сэсэн оглядел окрестности и, по-

раженный красотой этой земли, тихонько запел. Слова и мелодия рождались сами собой и, пробиваясь сквозь застрявший в груди комок, устремлялись на волю. Куда ни глянь, острые вершины гор, зеленые леса, а внизу, среди широкой, колышущейся в волнах марева степи, зеркалами сияют светлые озера. Эх, Тенгри! Коли и на этих привольных землях не может судьба-удача разбить себе становье, есть ли в этом подлунном мире справедливость?

Справедливость, справедливость... Где он видел, где нашел ее? В славном Самарканде, в могучем Мавераннахре? Или в своей на сотни и сотни верст раскинувшейся отчей земле?

Уже год, как Хабрау ездит по стране. Прошлым летом, когда прославленный его учитель Йылкыбай лег на смертную перину, положил он руку на голову молодого сэсэна и сказал: «Знаю, сердце твое полно горя, не можешь забыть Энжеташ... Иди, дитя, обойди все великое наше кочевье. Может, сыщешь душе хоть малое утешение. И еще... Пусть надежды и мечты народа дадут крылья твоей душе, пусть его судьба, и горе его, и чаяния станут твоими. Нет сегодня у башкир сэсэна выше и славней тебя. Будь же совестью уральской земли». Таково было его завещание. Еще сказал: «Орда — страшней бешеной собаки. Пусть слова, что рвутся из твоей груди, станут острым мечом против этого чудища!» Наказал остерегаться Акая-сэсэна. Будет случай — выводить его на чистую воду, чтоб все видели лживость его песен. Свою домбру, которую берег как зеницу ока, Йылкыбай вручил Хабрау. И, глядя в глаза молодому сэсэну, сказал слова прощания:

Гнутся камыши, сплелись,
Жизнь и смерть в клубок свились.
Злая времени напасть —
Тохтамыша-хана власть.
Звоны звезд средь тишины.
Ложь и правда сплетены.
Разве во дворце вселенной
Слышен стон одной страны?
Кру́гом кочевым иди
С думой огненной в груди,
Пусть терзают сердце дни,
Мысль об отдыхе гони,
Каждый скорбный кров в пути
Словом правды освети!

В собственной юрте, в окружении уважаемых аксакалов и всей большой родни закрыл глаза старый сэсэн.

Но чувствует Хабрау, да и слухи ходят, что смерть эта Йылкыбаю не от аллаха и не от Тенгри пришла, земная рука навела ее. После долгих и настойчивых приглашений поехал он как-то к ногаям на празднество по случаю рождения ребенка, с их сэсэнами и юрматинцем Акаем сходился там в айтыше и вернулся оттуда уже хворым. Слег Йылкыбай, все нутро горело. От этой болезни так и не оправился. А ведь и старики без причины не умирают. Давно выслеживали его прихвостни Кутлыяра, вот и поймали случай.

Нрав змеи известен. Старики рассказывали, что лет пятьдесят назад Акмана-йырау тоже подкараулили ночью армаи Узбек-хана и всадили в него отравленную стрелу. Да, жизнь сэсэнов на волоске висит. Если не будут, как этот спесивец Акай, торговать родиной, если не сойдут с пути правды и справедливости — не жить им спокойной жизнью, да и ту до срока оборвет рука врага. Взять хотя бы Миркасима Айдына, с которым Хабрау подружился в Самарканде. Тоже попал в беду оттого, что обличал неправедных вельмож и правителей.

Верный наказу своего учителя, Хабрау объездил долины рек Ашкадара и Уршака, пожил на Деме и Асликуле, у минцев, познакомился с их укладом и обычаями, перезимовал на берегах Юрюзани, а с весной, побывав у Инзера, завернул в кочевья канлы.

Если в мире будет спокойно, вернется он из этого путешествия и отправится в Дешти-Кипчак, а оттуда — к каракалпакам, они башкирам родственны по крови. Хабрау еще постранствует, лишь бы Тенгри продлил ему век. «Кто мир не повидал, тот большим йырау не станет»,— говаривал покойный Йылкыбай. Истинно так.

Дорога выпала нелегкая. Не зря говорят: дорожные тяготы сродни смертным мукам. Но не пугала Хабрау ни тряска в седле дни напролет, ни ветер и дождь, ни лютые морозы или слепящие зимние бураны. Да и забот о пропитании не было. В какое бы кочевье ни завернул, стоило ему передать последний привет Йылкыбая-сэсэна и назвать свое имя — навстречу ему открывались широкие объятия. Всюду почет и внимание. Когда же приходит час прощания, вооруженные всадники провожают, пока не минуют сэсэн и его спутник опасных мест.

Ни в малых, в пять-шесть кибиток, ни в великих, в несколько сот юрт, кочевых аулах — нигде Хабрау не встречал человека, который не роптал бы на Орду. Куда ни глянь, везде жестокость и произвол. Коли подсчитать

ясак и всякие подати —диву даешься, как еще жив этот башкир. Каждый год из десяти голов скота две головы отдай баскаку, еще шесть-семь хвостов пушнины да несколько шкур лесного зверья положи у его ног, ставь липовые кадки с медом и воском, посади ему на руку охотничьего беркута, и аллах знает, что еще потребует ненасытная Орда! Вдобавок к неподъемному ясаку — мор, бескормица, падеж скота. А нет мора, так голод и холод выбьют бедноту любого мора почище. Но всего страшней — кровный ясак. Сколько раз видел Хабрау, как лучших джигитов страны, завязав руки за спиной, отправляли или заложниками, или в ордынское войско, сколько раз слышал рыдания юных девушек, которых уводили в гаремы богатых ногаев, погрязших в грехе и разврате. В такие минуты он вспоминал горькую свою любовь, свою Энжеташ, ярость затмевала разум. Случалось, он бросался защищать этих несчастных. И чуть не находил свою смерть. Вот так и остался на спине рубец от камчи ордынского ясачника.

Прошлым летом Хабрау заехал в кочевья племени минцев. В большом ауле старейшины по имени Янбек собрались аксакалы. Хабрау играл на курае, пел песни под домбру. Сидели они так, ели мясо, пили кумыс, вели степенную беседу, и вдруг с другого конца аула донесся истошный крик. И тут же к накрытому в тени деревьев дастархану с плачем подбежал мальчик лет двенадцати. Рубашка разорвана, еле держится на одном плече, по щеке струится кровь. «Вы тут сидите... А там моего отца убивают!» — крикнул он и кинулся обратно.

Все вскочили и поспешили за ним. По дороге, давясь слезами, мальчик рассказал, что его отец не сдал в счет подати нынешнего года волчьей шкуры. Все остальное сдал, но вдруг заболел и сходить на волка не смог. А сейчас приехали ясачники и решили, что в счет волчьей шкуры они заберут его пятнадцатилетнюю дочь, сестру этого мальчика. Отец просил их подождать немного, чуть не в ногах у них валялся. Но разве есть у ордынца жалость? Отчаялся отец и, когда ногай поднял на него камчу, сам замахнулся жердиной. Тогда остальные накинулись на него, повалили и стали избивать. Мальчика же, пытавшегося защитить отца, ударили по голове камчой. А когда стали выволакивать из юрты сестру, мальчик бросился за помощью.

Хабрау с Арсланом прибежали первыми. Пятеро ясачников, перекинув девушку поперек одной из вьючных ло-

шадей, уже собрались уезжать. Около юрты, обняв окровавленного, лежащего без памяти мужа, навзрыд плакала одетая в лохмотья женщина. Задыхаясь от ярости, Хабрау ринулся наперерез богато одетому ясачнику и схватил его коня под уздцы. С криком сбегался народ, вскоре подоспели и старики. Пятеро всадников оказались в окружении толпы.

— Как? Что такое? Бунтовать вздумали?— крикнул ясачник, размахивая камчой.— Вы что?

— Девушку оставь, мирза... Если уж нужда такая... долг за шкуру заплатит аул,— сдерживая гнев, сказал Хабрау. Нарочно бездушного разбойника поднял до мирзы.

— Да, да,— сказали собравшиеся,— заплатим!

— Прочь с дороги! Все ваше кочевье золой в небо взлетит!

— Ну, чего смотрите, ротозеи? Тащи их с лошадей! — крикнул Арслан и начал стаскивать одного из них с лошади.

Старший ясачник закричал:

— Стойте! Остановитесь! Пайцза хана! — И что-то сверкнуло в его взлетевшей вверх руке.— Что, две головы у вас?! — поднял лошадь на дыбы, и камча со свистом ожгла спину Хабрау.

— Уй черное твое лицо! На йырау руку поднял, бешеная собака! — Арслан ухватил его за кушак и сбросил на землю.

Следом за ним и остальные повышибали ясачников из седел. Встающих на дыбы ржущих лошадей вывели за круг. Девушка-пленница побежала и бросилась в объятия матери.

— Ну, что с этими делать будем? — Один из джигитов встал перед Янбеком.

— Слышите? Что, говорит, с ними будем делать? — зашумели вокруг.— Как что? Камень на шею и — в Уршак. И поделом будет за такие-то зверства!

Глава рода молчал. Да, круто дело заварилось. Видать, легкой бедой не обойдется. Он покашлял, почесал в раздумье шею.

Теперь, когда отобрали у ясачников оружие и собственными же кушаками крепко-накрепко скрутили руки, отвага покинула их. Гневные крики невесть когда сбежавшейся толпы, сжатые кулаки, сверкающие ненавистью глаза — ясно, к чему идет дело.

— Эй, Янбек-турэ! Мы на службе у хана. Что нам

велено, то и исполняем. Смотри, поднимешь руку на нас, потом своею кровью расплатишься! — крикнул старший ясачник. Но уже не было прежней спеси в его дрожащем голосе.

— О себе позаботься! — бросил через плечо Янбек и повернулся к аксакалам: — Ваш приговор, почтенные?

Опять шум, опять крики.

— Верно джигиты говорят, убить — и в воду! — крикнул Арслан.

Ясачники один за другим на четвереньках подползли к старикам и склонили головы.

— Прости на первый случай, не убивай,— сказал старший.— Пусть девчонка остается. А тот ваш оборванец за шкуру потом заплатит.

— Уй, бешеная собака! Обманом хочет спастись, не верь ему, Янбек-агай! — неистовствовал Арслан.

— Да что с ними разговаривать? Размозжить им головы — и в воду! — опять зашумели парни.

— Тихо вы! — оборвал их Янбек.— Есть тут и постарше вас...

Короче, посоветовались старики и отпустили ясачников восвояси. Цену волчьей шкуры Янбек заплатил сам, но за это вызволенная из плена девушка должна была отработать в его подворье все лето, до самой глубокой осени. Не то, дескать, ясачники могут вернуться и увезти ее, а здесь, под рукой старейшины рода, она будет в безопасности. На самом же деле — все равно что рабыня, только в своем кочевье.

Вот эти события с горечью перебирает в памяти Хабрау. В каждом бы случае вот так окорачивать этих ясачников, вставать всем миром и гнать в шею — небось, меньше бы размахивали плетью и самоуправствовали. Нет, конечно, Хабрау не хотел, как Арслан, чтобы дело кончалось смертью, убийством. От крови кровь, от мести месть множатся. И все же и горько, и странно, что великая, в сотни тысяч юрт, земля башкир не может стряхнуть с себя гнет Орды. И как не пожалеть девушку, которая у себя дома, в своем кочевье стала рабыней?

Волнение улеглось, народ разошелся, и Янбек как-то враз охладел к своим гостям. Дескать, всю свару эти двое начали. Хорошо еще, так обошлось. И — неслыханное дело! — через стариков турэ передал гостям, чтобы они скорее уезжали.

Мало гнета Орды, сами башкирские племена все никак не уживутся. Из-за малой малости готовы в горло

друг другу вцепиться, биться хоть в кровь, хоть до смерти. Если один ради дарового богатства барантой идет на соседа, то другой, ограбленный, в жажде мести решается на еще большее злодеяние. Какое там единство! Где уж тут всем разом подняться против Орды! «Мы — юрматинцы!» — говорит один, свысока глядя на соседей. «А мы — усергены!» — выпячивает грудь другой. Или: «Мы — минцы!», «Мы — кипчаки!» Конечно, человек должен помнить свои древние корни, в этом дурного нет. Но насколько было бы лучше, когда бы все роды, все племена жили вместе, дружно и говорили: «Мы — башкиры!» — а враг придет — то все вместе, широким морем, высокой горой, встали перед врагом.

Это уже не первое путешествие Хабрау. Повидал он в свое время дальние страны, пожил в городе, слава о котором гремит по всему миру, среди народа, искусство и просвещение которого далеко ушло вперед. И там бедный люд хуже собаки живет, и там на пути правды и справедливости стоят неодолимые препятствия. Но такого зла, такого горя, как здесь, нет, пожалуй, нигде. Почему так? Почему от берегов Урала и Итиля и до самого Самарканда, где солнце такое ярое, что плавит песок, известная своим мужеством башкирская земля не может стать самостоятельным государством? Когда же из своего народа поднимется смелый, как лев, мудрый хан?

Из рода в род ездил Хабрау, из кочевья в кочевье, испытующим оком вглядывался в каждого знатного турэ и хотел понять, вытянуть в беседе, о чем думает этот почтенный муж, когда остается их двое — он и Тенгри. Но кого искал, не нашел нигде. Все интересы турэ здесь, в кругу своих кочевок, замыслы коротенькие, укладываются в срок до ближнего яуляу или зимовки, мысленный же взор турэ... руки у него и то длинней. Живет только сегодняшним. Не то что бедных сородичей от ордынского грабежа защитить, сам готов их как липу ободрать, а случись с голытьбой несчастье — глаза в сторону, уши закрыты. Все оттого, что каждый турэ Орде хочет угодить, за свое угодничанье ярлык на тарханство получить.

Но были у сэсэна такие минуты, когда чувством радости и гордости наполнялась душа и на глаза наворачивались слезы. На праздниках восхищался он мелодией курая, древними песнями, тем, как яростно и страстно неслись в пляске джигиты и водяными кувшинками проплывали девушки. Видел отважных воинов, готовых сегодня же вскочить на коней и ринуться в бой — лишь бы

нашелся вождь, который поведет их. Исцелением израненному сердцу сэсэна была удивительная природа отчей земли. Словно пил он живую воду — и тело набиралось сил, а душа вдохновения. Радость сливалась с горем, ненависть с высоким вдохновением, и так закалялся его дух.

И всегда поражали Хабрау терпение, жизненная сила народа, его усердие. В какое кочевье ни зайди, в каждом — собственный промысел и собственное, только ему присущее ремесло. В лесных краях из дерева изготовляют остовы юрт, древки копий, седла, резную посуду. В горных каменистых местностях плавят руду, отливают наконечники стрел и копий, куют сабли и кинжалы, пряжки на сбрую и узорчатые обклады на седла. Выделка кожи, валяние войлока, ткание паласов, полотенец, скатертей — это повсеместное, издревле идущее ремесло.

Дары природы — самая верная народу подмога. С начала лета женщины, дети высыпают в леса, в уремы. Прежде всех подходят борщевник, щавель, дикий лук, саранка. Потом настает пора земляники, малины, смородины. К осени собирают черемуху, калину, орехи, лекарственные травы, сушат ягоды, пастилу.

Летом и осенью хватает забот охотникам и бортникам. Хотя бóльшая часть добытых мехов и собранного меда уходит в счет дани, но и себя народ совсем уж не обделяет. Сильные, многолюдные роды знают, как спрятать от глаз ясачника и сохранить припасы на зиму...

Арслан, кажется, удивлен тем, что Хабрау никак не может стронуть коня с места, все стоит и оглядывает окрестности из-под руки. Тогда Арслан улыбается во всю ширь своего лица и поводит плечами, так он выказывает нетерпение.

Вдалеке, у подножия гор, вольно раскинулись аулы с пестрыми юртами. Неудивительно, что Арслан хочет быстрее добраться туда, дать отдых телу, ноет оно, болит от долгой тряски в седле. Последние два дня они прокладывали себе путь по диким горам, сквозь лесные чащобы, где не ступала нога человека.

Наконец сэсэн ослабил уздечку. Тропинка пологим склоном пошла с горы в низину и нырнула в заросли под высокой скалой, похожей на какого-то страшного вздыбленного зверя. Лошади стали фыркать, запрядали ушами и пошли боком.

— Осторожней, агай, кажись, где-то медведюшка гуляет,— сказал Арслан, перехватив поудобнее палицу.

Только они поравнялись со скалой, кто-то пронзительно свистнул. В мгновение ока из-за деревьев выскочили двое и схватили кобылу Хабрау под уздцы, а еще один стал стаскивать его с седла. Арслан же двумя взмахами палицы отложил на две стороны двух накинувшихся на него разбойников и бросился на выручку Хабрау. Но не успел — грудь ему со свистом обвил волосяной аркан, и он слетел с седла.

Двум путникам скрутили руки, тычками дотолкали до пещеры, вход в которую был закрыт колючей чилигой, молодыми березами и кустами черемухи.

Арслан беснуется, рвется как зверь из петли разбойников, заломивших ему руки за спину, норовит или головой двинуть, или же ногой достать.

— Отпустите! Не трогайте йырау! Воры! — В схватке он потерял шапку, из носа течет кровь.

Когда его насилу усадили на землю, ладный, крепкий телом человек лет тридцати погладил бородку и, поигрывая кистенем, сказал:

— Этот бесноватый назвал тебя йырау. Из какого ты племени? Куда путь держишь? —И пронзительный взгляд его впился в Хабрау.

— Видно, ты эмир этого войска. Прикажи своим сарбазам, пусть развяжут руки,— усмехнулся сэсэн, кивнув на разбойников.

Они, человек десять, вооруженные кто палицей, кто луком, стояли в стороне. Бородач вздрогнул от насмешки, острые глаза сузились, но все же усмирил гнев и кивнул одному из своих: развяжи, дескать. Потом обернулся к йырау.

— Ты не ответил на мой вопрос,— напомнил он.

Хабрау, растирая запястья с врезавшимися в кожу следами от веревки, сказал:

— В старину один известный своей мудростью аксакал показал троим усталым, падающим от жажды путникам, молодым парням, большое красное яблоко и спросил: «Чем оно примечательно?» Один ответил: «Цветом», другой ответил: «Вкусом», третий ответил: «Как и все плоды, оно, почтенный отец, примечательно семенами». И старец отдал яблоко третьему парню.

— Ну и что?

— Для забавы рассказал. Ни по возрасту, ни по одежде, ни даже по словам о человеке судить нельзя. Чтобы составить о нем суждение, надо узнать, семена каких на-

мерений он несет в себе. А вы прежде расспросов за дубинки схватились.

При этих словах один из джигитов одобрительно щелкнул языком, но другие, будто устыдившись, стали смотреть в сторону.

— Издалека петляешь,— насупился бородатый. Но тон уже был мягче, не такой резкий, как вначале.

— Если эти леса и горы под твоей властью — не очень-то для хозяина ты гостеприимен,— улыбнулся Хабрау.— Путь я держу в страну тамьянов. Имени моего, может, и не слыхал. Хабра-йырау зовут меня...

Он не успел договорить, как бородач вскочил с места.

— Кто-кто? Хабрау, говоришь? Ай-хай, ну, если врешь...—Он встал перед сэсэном, еще раз в сомнении быстро оглядел его: старый выцветший зилян, шапчонка из черно-бурой лисы.— Правду говоришь?

— А нужна ли правда тому, кто ходит путями неправедными?

— До моих путей тебе дела нет! — Брови главаря резко переломились, на виске вздулась жилка.— Повторяю: коли врешь, на этой березе вздерну.

— Воля твоя,— улыбнулся Хабрау.— Но сначала отведи меня к кусимам. Может, там найдется хоть один человек, который меня признает.

— К кусимам? Слышали, джигиты? К кусимам, говорит, отведи нас.

Те расхохотались. Но в этом смехе больше слышалось горечи, чем удовольствия от забавной шутки.

— Мы сами кусимы,— сказал бородач. Он не смеялся.— А глава кусимов, бешеный пес Игэш-тархан, если хочешь знать, поехал в гости к соседям. Я его подкарауливаю. Уж того-то я точно на березе подвешу... Хм, Хабрау, говоришь...

— Вроде был такой слух, что Хабра-йырау в наши края собирается. Только смотри-ка, агай, это... совсем ты на йырау не похож,— скребя в затылке, сказал один из разбойников.

— А что, разве у йырау должны быть рога? Такой же человек, как и мы все... —улыбнулся Хабрау.

— Вот сказал! Как и мы, а? Да про него говорили, что он ростом и статью настоящий богатырь, а слово его — острее сабли!

— Вот оно как... А вы что же, сами кусимы, а на кусимов держите зло?

— Только ли зло? —Бородач стиснул дубовое ядро

кистеня так, что побелели пальцы.— Жена моя, работая на этого Игэша, надорвалась и умерла. Единственного моего ребенка, тринадцатилетнюю дочку мою, ягодку наливную, заветную, в счет ясака продали в Орду. Ну, Игэш! Он еще получит у меня! Коли не перегрызу ему глотку, не зваться мне Айсурой! — Распалившись от собственного крика, он отошел, сел на камень и стиснул голову. Потом показал на товарищей: — Эти вот бедняги... У всех горе, все от мести Игэша бежали. Один не захотел в войске Орды повинность отбыть, другой, как и я, всех своих родных лишился, остальных, когда гнали заложниками, по пути отбили. У каждого на спине следы от ногайской камчи. Вот она, правда, о которой ты говоришь!

И здесь, как в других становьях, над головами сынов башкирских играет камча, сверкает сабля, и здесь продажные турэ пьют кровь народа...

— Парень этот — Арслан, мой товарищ. Не мучай его, скажи, чтобы руки развязали,— сказал Хабрау.— И... торопимся мы, не держи нас больше.

Айсура сидел словно бы в задумчивости.

— Это твои с Игэшем дела, ваши тяжбы. Я вам не судья. Но коли есть у джигита в сердце отвага и в руках сила, он в лесу хорониться не будет.

— Положить перед Игэшем повинную голову? — хмыкнул один из джигитов и стал нехотя развязывать Арслану руки, ворча: — Развязал бы я тебя... придушить бы на месте... По башке огрел, чтобы руки твои отсохли. До сих пор подташнивает...

— Не надо было рот разевать! Коли полез драться, так не жди, когда тебе палица на голову упадет. Уроком будет... — Айсура ударил в ладоши: — Эй, джигиты, мясо несите, кумыс... А ты, коли вправду сэсэн, покажи свое умение.

— Ну-ка, подай домбру,— сказал Хабрау разбойнику, стоявшему рядом. Посидел в раздумье, прошелся по струнам пальцем и под быстрый рокот начал говорить:

— Когда у волка и лисы из-за добычи вышла ссора, обрадовался медведь: «Вот так умора!» Одну налево сбил ударом, направо сбил другого и поволок добычу их к себе за горы...

— Мудреные какие-то слова. Кто они — волк и лиса? И еще медведь? На кого намек? — Айсура в недоумении покачал головой.

— Просто так сказал, что на ум пришло,— ответил

Хабрау.— Вот о чем думаю, Айсура-батыр. И сам ты, и твои джигиты стали беглецами, потому что иссякло ваше терпение. Кто виноват в ваших бедах? Хан! И ногаи! Все муки от них. Мы там, у бурзян, слышали: вот-вот начнется война, Богара-бей войска собирает. На кипчакские земли идите! Скажите, Хабрау вас послал,— примут с раскрытыми объятиями.— Он положил домбру в обтянутый кожей короб и встал с места.

Джигиты Айсуры молча подвели коней. Оружие Арслана было на месте, приторoченное к седлу. Он проверил его и вскочил на коня.

— Хабрау-агай,— сказал Арслан, когда они отъехали,— а джигиты попались неплохие!..

— Хорошие попались джигиты. И по носу тебе хорошо стукнули, потому, наверное, и хвалишь? — улыбнулся сэсэн.

Но лицо его тут же померкло. Мало радости, коли башкиры теперь уже уходят в леса и с кистенем поджидают путников. Орда, Орда, сколько же бед ты несешь башкирской земле!

Хабрау был доволен, что Игэш в отъезде. Узнав у встречных, где стоит юрта старого мэргэна[1] Буребая, про которого рассказывал Йылкыбай, туда он направил коня.

День клонился к вечеру. Мужчины с криками «хайт-хайт!» сгоняют табун, женщины спешат подоить коров и кобылиц. В разных концах яйляу поднимаются дымы. Несколько вооруженных всадников берегом озера отъезжают в караул.

Аул Игэша раскинулся вдоль широкой низины на северном берегу озера Мауызлы. С заката — стоит поросший черным лесом хребет Кыркты, с другой стороны, с восхода, тянутся низкие голые холмы и плоские озера, за ними — бескрайние степи. Восточной своей половиной озеро отражает ясное небо, а западную половину застлали тусклые сумерки — этим краем оно приткнулось к горе по имени Карангылык — тьма, темнота,— и ее отражение затеняет воду. Всюду еще день, а тут уже будто выползает ночь. Впервые увидел Хабрау эти места. И красота их понемногу выщелочила горечь из его раздумий от встречи с лесными разбойниками. Когда же встретился с Буребаем, уныние развеялось совсем.

Мэргэн оказался в возрасте преклонном, уже за семьдесят. Однако, услышав конскую поступь, он вышел из

[1] Мэргэн — меткий стрелок, охотник.

юрты, сам принял поводья из рук гостя и лишь потом передал их подбежавшему мальчику.

— Добро пожаловать, йырау,— сказал он, здороваясь обеими руками.— Не удивляйся, не удивляйся, весть о тебе прибыла раньше тебя самого. Ждем тебя, ждем. Пожалуйте-ка в юрту, дорогие гости...

По словам мэргэна, два их джигита на охоте в горах повстречали бортников из племени бурзян. Они-то и сказали, что Хабрау отправился к тамьянам.

— Про меня уж... разве только дурная слава дойдет... — пробормотал Хабрау, он все еще не мог забыть свой айтыш с Акаем.

— Про Акая, что ли, вспомнил? И об этом наслышаны, каждое слово этого губастого знаем. И как ты на них ответил, тоже донесли. Турэ неправо судили, победа была за тобой. Ладно, это одна сторона дела. Как ты сам, здоров ли? Что слышно в краях, где ты побывал?

— Слава Тенгри,— сказал Хабрау. Скрестив ноги, он сел где ему показали, в красном углу юрты.— А по правде, так всяко: и хорошее, и дурное. Вот уже год, отец, везу тебе последний привет от Йылкыбая.

— Йылкыбай, Йылкыбай... Маленькой моей услуги до самой смерти не забыл.— Мэргэн покачал головой.

— Не маленькая была услуга-то. Как рассказывал Йылкыбай, ты его от смерти спас.

— Да, было. Из медвежьих лап его вырвал. Молодые были, отважные и глупые,— усмехнулся мэргэн.— Все трое — и медведь, и мы с Йылкыбаем.— И, махнув рукой, поторопился перевести разговор на другое: — Слышал, наверное, сэсэн, Богара войска собирает. Гонцы были, ханский ярлык привезли. Говорят, Орда к войне готовится с Хромым Тимуром. Но у Богары на уме что-то другое. Передал с гонцами: «Когда два стервятника дерутся, не лучше ли соколу лететь стороной?»

— Ну и?.. Что тамьяны думают? Коней седлают или ищут, где бы в тенечке прилечь?

— Двести всадников встали под руку Богары. Еще четыреста готовы седлать коней. Старейшины тянут, новых вестей от бея ждут. На то они и турэ, все прогадать боятся.— Мэргэн тяжело вздохнул.— Стар я стал, сэсэн. Скоро сабли зазвенят, а я, как ты говоришь, в тенечке хоронюсь.

Значит, правда... Слова мэргэна подтверждают слухи, которые он уже слышал урывками. Надвигается буря. Если намек Богары верен, то светлые дни, в ожидании

которых истомился народ, уже близки. В такое время сэсэну положено быть в войсках. Завтра же они с Арсланом выйдут в обратный путь.

В это время поднялся полог юрты, и один за другим вошли человек десять стариков. Пока они здоровались, о житье-бытье расспрашивали, женщины расстелили на войлоке просторную, как озеро, скатерть, принесли большое деревянное блюдо с исходящей паром молодой бараниной.

Весть о приезде сэсэна уже облетела все кочевье. Гости ели-пили, а тем временем к юрте Буребая собирался народ, все надеялись увидеть Хабрау, услышать его песни и кубаиры.

— Добро, сэсэн, возблагодарим Тенгри и выйдем к народу. Они твоего слова ждут,— сказал мэргэн.— Есть, видно, в струнах твоей домбры какой-то секрет.

Люди сидели, большой подковой охватив юрту. Хабрау вышел на середину, поприветствовал народ, затем дал знак Арслану. Тот принес два курая, один подал сэсэну, другой взял себе. Глянули они друг на друга, вздохнули разом — и ожили, запели два курая. Сэсэн, прикрыв глаза, тянет мелодию на широком дыхании, а за ним чутко, с еле заметным прогалом следует глуховатый говор курая Арслана.

Народ молчит. Лишь женщины вздохнут порой и вытрут слезы краем платка. Замолкают кураи, но не успеют старики воскликнуть «Хай, афарин!», как начинается новая мелодия. Затихнет она, протяжная, вольная, как эти просторы, ее сменяет быстрая и задорная плясовая, и тут же следом — яростная, грозная, в рокоте которой слышны боевые кличи.

Затем пришел черед домбре и кубаиру. С минуту сидел Хабрау, опустив глаза в землю. Вот в полной тишине зазвенели и зарокотали струны, и сильный, звучный голос подхватил:

Скажешь: «Говори»,— скажу,
Скажешь: «Говори»,— скажу,
Так внимай, народ, словам:
Слово вашего сэсэна —
Завещанье предков вам.

Слова старинного кубаира проникают в самое сердце слушателей. Молодые сжимают рукоятки сабель, а аксакалы, что были в многочисленных сражениях, не щадя себя бились с врагами, а теперь уже и суставы не гнутся,

и глаза слезятся, с гордым видом поглаживают бороды. Громко звучит сказание сэсэна, высоко взлетает рокот домбры, взмывает соколом, но тут же сложит крылья и ринется вниз, и вот уже летит низко, как стриж над самой водой перекатов,— просверк, еще просверк, и исчез...

Разве дичь оставишь в небе,
Коль тесен сагайдак стреле?
Разве ты мужчина, если
День-деньской ты не в седле?
Если встал Урал высоко —
Край, милей зеницы ока,
Ты ль не страж родной земле?

Положил Хабрау обе ладони на струны, оборвал их рокот.

— Кони ржут в предгорьях Урала, звенят клинки,— заговорил он в полной тишине,— усергены, кипчаки, бурзяны точат сабли. У минцев оседланы кони, юрматинцы хоть сегодня готовы в бой. Тамьянская сторона, знаменитая тамьянская сторона, что думаешь ты? — Хабрау встал, скинул зилян и, подняв рубашку, обнажил спину.— Смотрите! Вот он, след зубов ордынской собаки! А на вас — мало таких следов? Неужели на силу нет силы? Неужели нет отважных мужчин, что поднимутся на ордынских армаев? Рта еще не откроешь, слова в защиту правды и справедливости не скажешь, а вперед твоего слова над головой твоей уже свистит камча. Неужели нет отважных джигитов, что поднимутся на ордынских армаев?

Только тут он почувствовал, как устал, нащупал свой зилян и, опустив голову, шагнул в юрту.

14

Турэ всех племен поддержали Богару и решили, что объединенное башкирское войско под руку Орды не пойдет, а останется здесь, на своих рубежах, для защиты собственных земель. Тем самым все башкирские племена, слившись воедино, станут как бы на путь самостоятельного государства — свой хан, свое постоянное войско, свое собственное твердое управление. Большинство пришло к мысли, что настало время объявить Богару ханом и поднять его на белой кошме, лишь старейшины минцев воздержались. Причина — минский бей на совет не прибыл, а глава его войска Янбек твердил одно: «У меня

свой бей есть, его слова жду. Даст он согласие — соглашусь и я».

Богара, хоть сердце огнем жгло, виду не подал, обиды не выказал, наоборот, похвалил минца за мудрость и осмотрительность. Принялся разъяснять, что самостоятельное государство создавать — дело не из легких, неплохо бы на первых порах держаться какого-нибудь сильного царя. «А минцы,— медовым голосом говорил он,— кровная наша родня. И уж, конечно, заботы своих родов выше интересов всей башкирской земли никогда не поставят. Подождем их гонцов». Словом, не шел напролом, не напирал, был мягок и осторожен. Будто лиса, подбирающаяся к добыче, крался к цели обходным путем.

Сарышские аксакалы, как заранее уговорился с ними Богара, сказали: «Царь Тимур идет, теснит ханские войска. Надо отправить послов, довести до великого эмира то высокое уважение, какое испытывают к нему башкиры. Узнает Тимур, что мы отклонились от Орды, и тоже на добро ответит добром». Послом решили отправить Юлыша, а в подтверждение искренности и чистых помыслов бея в спутники Юлышу дать младшего сына Богары — Айсуака. Такое решение одобрили все. Сказали: Юлыш смел, натурой тверд и прям, в ратном деле искусен, умом крепок и основателен. Сказали: хотя он глава лишь одного усергенского рода Голубого Волка, но человека более достойного, чтобы мог говорить от имени всей башкирской земли, пожалуй, не найти.

Все дела были улажены, когда кто-то вспомнил, что в державе Хромого Тимура говорят на другом языке. Турэ в растерянности поглядели друг на друга.

— Если уважаемый совет одобрит, я поеду с Юлышем-турэ. Язык тамошних народов я хорошо знаю,— нарушил молчание Хабрау.

Совет пошумел самую малость и одобрил предложение сэсэна.

— Живи тысячу лет, сэсэн! — сказал Богара, обнял его и прижал к груди. Он был доволен, что Хабрау, как разнеслась весть о походе, отбросил прежние сомнения и теперь постоянно находится при бее. Помогает ему во всех его делах политики, готов разделить будущую государственную ношу.

— Афарин, Хабрау, брат мой,— сказал он, похлопывая его по спине.

О том, что отправлены послы, кроме участвовавших в совете турэ, никто не должен был знать. Богара опасался

Байгильде: если проведает — секрет тут же дойдет до ногаев. Богара воспользовался тем, что сват неделю носился где-то по гостям, и совет провел без него. Если же начнет вынюхивать, можно сказать, что старейшины и батыры собрались затем, чтобы сделать общий подсчет войск, договориться, какие надлежит отправить в распоряжение Орды, какие оставить здесь, а что до Юлыша, так он, мол, послан к тунгаурам. Когда Зумрат пристала к нему с расспросами, он так и ответил.

Через два дня Юлыш и Хабрау под охраной пятидесяти всадников вышли в свой тайный путь. Взяли в дар Хромому Тимуру серого в яблоках жеребца под драгоценным седлом и в чеканной сбруе, сорок отборных лошадей, дорогую пушнину, двух охотничьих соколов и через степи кипчаков отправились навстречу известному во всем мире своей жестокостью хромому царю искать мира.

Мерной рысью бегут кони. Куда ни кинь взгляд — плоская, бескрайняя, безмолвная степь. На всем пути ничего приметного. Лишь изредка попадаются пересохшие еще в начале лета русла рек да местами тянутся в траве выгоревшие полосы. Ордынские разъезды пускали пал, но из-за спешки и нерадивости не подождали, чтобы степь загорелась во всю ширь и легла золой.

Сэсэн, поотстав от всех, едет в задумчивости. А подумать есть над чем. Наконец-то башкирская страна стоит на пороге освобождения. Сто пятьдесят лет страшного гнета! Об этом своем путешествии Хабрау напишет дастан. Начнет издалека. Все, что было пережито раньше, он свяжет с сегодняшним днем, расскажет о грозных событиях, которые потрясли мир, о жалкой участи родной земли и о том, как она ради свободы билась с Ордой. Первые строки напевного рассказа, затейливо переплетаясь, уже потянулись в его душе. Это были еще только воспоминания: о молодости, о тех днях, когда пешком в толпе дервишей пришел он в страну Хромого Тимура.

Сколько лет прошло с тех пор, как он вернулся домой, а высокие минареты Самарканда, мраморные дворцы, шумные базары, сады, цветущие или плодоносящие, так и стоят перед глазами. И незабвенный мавляна Камалетдин, открывший ему пути к знанию, и друг Нормурад, и поэт Миркасим Айдын. Их он будет помнить до самой могилы. Нормурад, наверное, преподает в каком-нибудь большом медресе, светоче культуры и просвещения. А где Миркасим, под какой светлой звездой проходит его путь?

Если жив, имя его, наверное, уже давно сияет в ряду самых высоких поэтических имен.

Встречая караванщиков из Мавераннахра, Хабрау каждый раз покупает у них книги, расспрашивает о друзьях, но ни о поэте по имени Миркасим Айдын, ни о Нормураде никто не слышал... или, может, они уже покинули этот светлый мир?

Вот едет Хабрау в посольском караване навстречу войскам Хромого Тимура, а в душе его чередой проходят события тех далеких беспокойных лет. Они составят лишь первую половину будущего дастана. Во второй же половине он расскажет об этом вот путешествии, о надеждах своих и предстоящих боях за свободу.

Хабрау, как и Богара с Юлышем, не сомневался в помощи Хромого Тимура. Как донесли лазутчики, Повелитель Вселенной идет во главе двухсоттысячного войска. Если и не прикончит Орду, то хребет-то ей сломает. Так что все заботы хана Тохтамыша будут о том, как бы свою голову спасти, на другое не останется. Этим и хочет воспользоваться Богара.

На исходе недели послы повстречались с конной разведкой Тимура. Их привели в дозорный отряд и оттуда отправили в передовой тумен. Еще через два дня на берегах Тобола они присоединились к ставке эмира и вместе с ней повернули обратно.

Тимур — властелин половины мира. Одно его имя повергает народы в ужас. И конечно, грозный завоеватель не торопился принять послов какого-то Богары. Сначала с ними поговорили чиновники, мелкие и покрупнее, потом вельможи повыше. Подарки приняли без особого почтения. Само же высокое посольство приткнули в самый конец идущего за ставкой войска.

Войско шло быстро, за весь день — лишь одна остановка, чтобы покормить лошадей; на отдых располагались только к полуночи и, чуть заря зажелтеет, снова выходили в путь. Послы были поражены великим числом войск, даже взгляд не мог охватить его. Хоть день, хоть два, хоть три скачи вдоль этого потока — а конца не видать. От шума стад, топота конницы, грохота сапог пешего войска стоит неумолчный гул. Порою сквозь этот гул прорываются гортанные крики и грубая ругань десятников и сотников. Взад-вперед носятся на взмыленных лошадях гонцы. И чувствовалось: денно и нощно войска скованы жестокой дисциплиной, чья-то беспощадная воля ведет их. И что-то особенно жуткое было в том, что в лю-

бой миг огромные полчища готовы изменить направление и вступить в бой.

Послов несло с войском, как бурный поток несет щепку. Посмотреть, так никому до них дела нет, но чувствуют Юлыш и Хабрау: нукеры, что едут поблизости, с них глаз не спускают. Стоит послам, пусть даже нечаянно, на шаг отъехать в сторону, и стрелы вонзятся им в спину.

Наконец, когда все терпение вышло и они уже начали роптать, Юлыш и Хабрау были приглашены к Хромому Тимуру.

Была полночь. Войско встало, и еще не затихла гудевшая от его шагов земля, как по всей степи зажглись тысячи костров. Гремела посуда, фыркали усталые лошади и с хрустом жевали ячмень. Послы спешились, отдали оружие охране и, прислушиваясь к ночным звукам, вслед за хмурым бородатым человеком зашагали к высокому, освещенному пламенем нескольких костров шатру. Когда до него оставалось шагов сто, дюжие, рослые стражи быстро обыскали их, а угрюмый провожатый, будто наконец-то вспомнил, что у него есть язык, стал объяснять, как обращаться к великому эмиру, как выражать к нему почтение. Оказывается, обращаться к нему следует: «Владыка Вселенной», «великий эмир» или же «великий хазрет». Как только войдешь, встать на колени, поклониться и молчать, пока он сам не заговорит.

Глубоким рвом опоясан шатер, и охраняют его, как и на подступах к нему, рослые, широкоплечие часовые — знаменитая личная охрана из племени барласов, живой обруч вокруг шатра. Отсветы пламени на железных шлемах, кирасах и кольчугах слепят глаза.

Бородач передал послов толстому, богато одетому человеку в белом тюрбане. Два скрещенных копья выпрямились у резной двери, откинулся парчовый полог, пропуская башкир внутрь шатра. Юлыш и Хабрау вошли и опустились на колени перед Тимуром.

— Встаньте, достойные сыны башкирской земли! Подойдите поближе,— сказал Хромой Тимур по-чагатайски.

Хабрау тихонько перевел его слова Юлышу, потом, следуя его примеру, сел на узкое, стеганное шелком ватное одеяло, куда указал хозяин.

Вот он, грозный эмир, уверенный в собственной силе, считавший каждый свой поступок святым и справедливым, привыкший мановением руки отправлять тысячи людей на смерть. Что он скажет? Пока что на его грубом темном лице шевельнулась еле заметная улыбка.

— Вижу, мой язык знаешь, уважаемый гость.— Пронзительный взгляд эмира остановился на Хабрау.

— В молодости два года моей жизни прошли в твоей великой столице Самарканде, Владыка Вселенной,— ответил сэсэн.

— Благоразумно! Страна Мавераннахр — центр просвещения и культуры, очаг знания. А то, что ты изучил мой язык, говорит о твоем уважении к моей стране.

— Истинная правда, Владыка Вселенной.

— Слушаю тебя, Юлыш-батыр. Мне уже говорили, с чем ты прибыл ко мне, пройдя столь длинный путь. Но хотим услышать от тебя самого.

В шатре еще сидели три старика и два щегольски одетых совсем молоденьких юноши — то ли сыновья, то ли внуки эмира. Все пятеро приложили руки к груди и поклонились Железному Хромцу.

— Великий эмир! — начал Юлыш.— Большой турэ башкирской страны Богара-бей, аксакалы и главы родов шлют свои нижайшие поклоны и желают тебе здоровья, а твоим войскам победы. Страна башкир не встанет преградой на твоем державном пути.

Как только Хабрау перевел слова Юлыша, заколыхались тюрбаны приближенных, сдержанный шепот одобрения прошел по шатру.

Лицо эмира прояснилось.

— Расскажи, как живет твоя страна.

— От насилия Тохтамыша вконец обнищали, великий хазрет. Лучшие наши пастбища в руках у ногаев, от непосильного ясака и разных податей страна разогнуться не может. Иссякло наше терпение. Все надежды на тебя, великий эмир. Помоги нам скинуть ордынское ярмо.

— Знаю,— сказал Хромой Тимур, вдруг потемнев лицом.— В вере ищите опору, у аллаха! Государство без твердых законов и религии — то же, что дом без крыши, без запора. Каждый вор может вломиться в него. Тохтамыш — один из них, вор, изживший веру, разбойник... Я освобожу вас от этого нечестивца. Впредь будете жить как вольные птицы, по своему усмотрению и ясак будете платить меньше. Есть еще какие просьбы?

— Мы, башкиры, хотим поднять ханом Богару-бея и зажить своим собственным государством. Пусть же твои войска обойдут нас, пусть не принесут новых тягот и без того разоренной земле.

Спокойно, приветливо беседовавший Тимур хмыкнул, взгляд его метнулся от Юлыша к Хабрау и обратно. Бро-

ви взлетели на лоб, лицо потемнело еще больше. Вельможи его, что сидели рядом, то ли в испуге, то ли, как и эмир, разгневавшись, уткнулись взглядом в ковер. Звенящая тишина тетивой натянулась в шатре. Глаза эмира, блестя в свете свечи, уставились в какую-то только ему самому видимую точку над головами двух послов. Кулаки сжались так, что суставы пальцев побелели, словно он сгреб и стиснул свой гнев, не дал ему воли. Юлыш и Хабрау невольно втянули головы в плечи. Однако, кажется, пронесло. Тимур, словно бы в улыбке, сморщил нос:

— Чтобы пройти с одного конца Мавераннахра до другого,— тусклым голосом заговорил он,— нужно целый месяц скакать. Войско мое видели. По воле аллаха половина мира в моих руках, и все же я не хан, а всего лишь эмир... Так насколько же у Богары богатства и войска больше моего? И что, дед, отец его, тоже были ханами?..

— Великий царь! Хоть и получит ханство, все равно он останется твоим сурой, у твоего стремени будет шагать,— вставил слово Юлыш.

— Нет! — отрезал Тимур.— Бейства в самый раз. А защитить — я сам защищу вас, надейтесь. Войско же, какой путь ему определен, тем и пойдет...— Давая понять, что беседа закончилась, устало закрыл глаза.— Богаребею, всем турэ башкирским передайте мой привет. Об остальном договоритесь с эмиром ставки.

Встреча, занявшая всего четверть часа, на этом закончилась... Послы, пятясь и кланяясь, как их учил провожатый, отступили к дверям. Оба хмуры, во взглядах удивление и разочарование. Но даже словом перекинуться не успели, появился сардар охранного тумена и вывел их за пределы ставки.

Шатер, к которому они вышли, был намного меньше эмирского. Сардар раскинул руки и широким жестом пригласил послов войти. Пока рассаживались, вошли еще четыре человека. Два охранника расстелили скатерть, выставили сушеные фрукты и чай. И беседа возобновилась.

Хотя официальность беседы сохранялась, той скованности в жестах, сдержанности в речах, что в шатре у Тимура, уже не было. Сардар, источая гостеприимную ласку из маслено поблескивающих глаз, то и дело прикасаясь рукой к груди, словно встретил самых близких родственников, радушно угощал гостей, рассказывал смешные истории и сам же вперед всех заливисто смеялся. Трое из пришедших следом кивали каждому слову хозяина, хихикали вслед за его смехом — вот и весь их разго-

вор. Четвертый сидел поодаль и молчал. Но странное это веселье протянулось недолго. Сардар вдруг посерьезнел и стал подробно расспрашивать о житье-бытье башкир, об их истории. Ко всему проявил трезвый интерес: чем богата их земля, какими заняты промыслами, как народ относится к Орде. Юлыш, скрыв разочарование, на все вопросы отвечал не спеша, с видом степенным. Он, хоть и на самую малость, но еще верил, что посольство кончится благополучно.

Хабрау же, переводя ответы Юлыша, дополнял их подробностями, расцвечивал. И незаметно поглядывал на сидящего в темном углу молодого чиновника с усами подковкой и маленькой бородкой. Лицо его было таким белым, что и в глубокой тени светлело молочным пятном. Среди собравшихся в шатре вельмож он был самый молодой — в разговор не вступил ни разу, только, войдя, сказал несколько слов приветствия, и голос его показался Хабрау знакомым. Ни подумать, ни вспомнить у Хабрау не было времени.

— Велик ли ясак? — спросил сардар.

Теперь разговор шел на фарси. Хабрау перевел слова сардара и, не дожидаясь ответа Юлыша, начал перечислять:

— По закону, а лучше сказать — беззаконию Орды из десяти голов скота мы должны отдать одну, но на деле забирают две и даже три. Еще с каждого очага по семь-восемь шкур, два батмана меда, одного сокола. Еще сверх того и подводы им дай, и на постой прими. Да только ли это!.. Эх, мужи почтенные, башкир даже вздохнуть не может! Случись война, от каждых десяти очагов четырех мужчин забирают в войско, табунами угоняют коней, стадами коров и овец... Никакого уважения к нашим аксакалам нет, самых красивых девушек забирают на позор и глумление!..

— Участь вашей страны нам известна. Но волею аллаха самозваный хан Тохтамыш будет разбит, и великий наш повелитель, эмир Тимур-Гураган, возьмет своих башкирских братьев под свое крыло, уважаемый Юлыш-бай, уважаемый Хабрау-сэсэн. И ясак будете платить только вполовину того, что перечислили сейчас.

— Аминь, пусть будет так! — сказали остальные вельможи.

— Нет, уважаемый сардар, не поднять башкирской земле такого ясака! Дотла, до нитки обнищали мы. На первых порах будем давать четверть того, что перечислил

сэсэн. У царя Тимура и так богатства выше головы,— возразил Юлыш.

Хозяин его слова пропустил мимо ушей. Улыбаясь еще шире, еще приветливей, он продолжил:

— Войско наше бессчетно, Юлыш-бай, сам видел, и его кормить надо...— Сардар каждый раз к имени Юлыша прибавлял «бай». Хабрау не понял, хотел ли он этим выказать особое к послу уважение или же намекал на его молодость, но в душе с этим не согласился и, когда переводил, эту «добавку» пропускал. А сладкие слова сардара текли, что вода: — Мы, Юлыш-бай, с самой весны уже в пути. Сам знаешь, уменьши прокорм — и у войска убавится мощи, силы не останется саблей махать. Враг у нас общий... На этот год повелитель от ясака вас освобождает. Но в счет будущего года сейчас же поставите пятнадцать тысяч овец на убой и тысячу лошадей. От прочей же подати свободны.

Послы молчали. Они уже понимали: спасаясь от одного дракона, угодили в пасть другому. Было видно, что этот похожий на хитрого торговца сладкоречивый сардар с маслеными глазками будет стоять на своем, ни на пядь от сказанного не отступится и даже малой малости, даже увечного ягненка у него не отторгуешь. Но Юлыш решил не сдаваться.

— Сам великий Тимур «башкирскими братьями» нас назвал. И это братство? И это помощь?

— Решено, что славное войско великого нашего эмира на Урал, в глубь башкирских земель, не пойдет. Только правое его крыло заденет владения кара-кипчаков. Разве это не помощь? Известив нас о своей верности, Богарабей признал себя сурой нашего падишаха. Значит, он должен выставить в помощь великому эмиру свое войско. Как я уже говорил, враг-то теперь у нас один... Если Богара к своей коннице возьмет еще минцев и черемисов — больше двадцати тысяч наберется. Половина этого войска должна влиться в наше правое крыло.

Было чему удивляться послам. Видно, во многих башкирских кочевьях побывали пронырливые лазутчики Хромого Тимура, змеей проползли, все обшарили. Иначе откуда бы такая осведомленность сардара? Дервиш, что оставил бею серебряное кольцо, видать, был не единственным. Подумал-подумал Юлыш и пошел на хитрость.

— Часть войска мы вам отправим, доблестный сардар,— сказал он.— Что же касается ясака, обсудим с аксакалами и известим вас. Не торговаться мы сюда при-

были, а выразить великому эмиру свою преданность и усердие. Теперь же, попрощавшись, можно и обратно.

— С зарей и тронетесь. Все, о чем мы здесь говорили, должно оставаться в тайне. Это вы, конечно, и без слов понимаете. Еще, уважаемый Юлыш-бай, вот какой к тебе вопрос: что вы сделали с моим человеком, которого я посылал к Богаре-бею? Почему он не вернулся с вами?

— От нас живой-здоровый ушел, собирался идти к минцам,— спокойно, смотря сардару в глаза, ответил Юлыш. Он не лгал — он не знал, что дервиш был убит.

— Хорошо,— сказал хозяин. Поверил ли, нет ли, но лицо его все так же радушно, глазки все так же маслены.— От слов перейдем к делу. Сын Богары-бея с четырьмя джигитами останется у меня. Чтоб было кому, случись от нашего падишаха какой приказ, доставить его вам...

Понятно. Оставляют заложниками. Если тот дервиш не сыщется, участи Айсуака и тех четверых не позавидуешь.

Когда послы вышли из шатра, к ним подошел тот первый провожатый с часовыми. Только они тронулись, кто-то шепнул Хабрау на ухо:

— Жди, следом буду.

«Тот, белолицый»,— понял Хабрау.

Они подошли к месту своей ночевки и только присели на корточках перед синим жаром догорающего костра, из темноты послышалось:

— Эй, Хабрау! Есть ли ты?

— Я здесь! — шагнул Хабрау на голос. И в тот же миг понял, кто это.

Две руки обняли его. Горячее лицо прижалось к его лицу.

— А ведь говорил я, что станешь ты большим турэ! Помнишь? — спрашивал задыхающийся голос.— Слышал, слышал, ты теперь знаменитый поэт своей земли! И такая тебе честь — посол при великом эмире.

— Нормурад... шакирд... брат...— только и сказал изумленный Хабрау. Из глаз брызнули слезы. И, все еще не веря, обнял его за плечи и потянул к свету костра.— Он — как в первый день!

— Нет, поэт, прошли беспечальные шакирдские времена. Сном теперь кажутся, сладким сном...— сказал Нормурад, его лицо тоже было мокро от слез.— Я теперь на службе у эмира.

— Подожди-ка, ты же не к военному ремеслу готовился. Хотел все силы науке и просвещению отдать...

— Эх, Хабрау, да ты и сам, как я полагал, не стал ни муллой, ни ученым! Смотрю, даже домбру свою оставил, на государственную службу пошел. Нет, не может, видно, человек жить как он хочет... Я готовил законы, чтобы улучшить правление в разных областях нашего государства, в разных вилайетах, пекся о культуре и просвещении. Но...— Нормурад помолчал, как бы прикидывая, говорить или нет, прислушался к окружающей их тишине.— Но дали понять, что время для своих замыслов я выбрал неудачное. Так что теперь я в помощниках у историка Шарафутдина. Пишем историю войны.

Когда Хабрау стал расспрашивать про Миркасима Айдына, Нормурад с еще большей настороженностью вгляделся в темноту.

— Уже лет шесть,— тихо сказал он,— как незабвенный Миркасим Айдын ушел из этого неправедного мира.

— Совсем еще молодой! Какая же болезнь его... так...

— Тогда еще, при тебе, его выслали из Самарканда. А в Астрабаде держали в сыром зиндане. Самые знаменитые, самые влиятельные ученые и поэты написали на имя великого эмира прошение, чтобы Миркасима вернули в Самарканд. Дать-то согласие эмир дал, но поэт в сырых камнях уже застудил грудь, когда вернулся — лицо было желтым, как шафран.

— Эх, поэт, бедная бессчастная душа!..— горестно покачал головой Хабрау.

— Да, Хабрау-друг, счастье не открыло ему своего лика. Болезнь-то болезнью... Душа у него подломилась, рухнули золотые опоры. Тонко чувствовал, и сердце у него было чистое. А за каждым его шагом следили соглядатаи. Тяжело переживал, что уже не может творить. Стал пить... И, проклиная жестокую судьбу, во всем широком мире не найдя душе приюта, наложил на себя руки. Повесился...

Голова Хабрау дернулась, как от удара. Стиснув зубы, он смотрел, как почти уже затухший костер перед ним на глазах наполняется алым жаром. И лишь когда померкло снова, он смог сказать хоть что-то.

Грустная беседа — тихие слова и горестное молчание — двух сердечных, случайно встретившихся друзей, уже на всю жизнь распрощавшихся когда-то, длилась, пока желтый рассвет не осветил небо на восходе.

Хабрау сетовал на то, что и надежды, которые измученная башкирская земля связывала с царем Тимуром, вот-вот рухнут.

Нормурад рассказывал о том, какая шла в Мавераннахре борьба за власть между городскими богатеями и верхушкой кочевых племен и как он сам из-за этих распрей распрощался с мечтами юности. Оказывается, если хочешь, чтобы имя твое было в чести, добро в сохранности, а семья в благополучии, будь всегда у великого эмира на глазах, ходи с ним во все его походы. Тогда и свою долю военной добычи получишь, и как государственный служащий, заслужив доверие, можешь войти в самое ближайшее окружение владыки. И с тех пор как больной, состарившийся его отец ушел с воинской службы на покой, пришлось на службу к эмиру идти Нормураду. Потому что их род из городских, а возле Тимура набирает силу кочевая знать.

Посольскую миссию Юлыша и Хабрау Нормурад одобрил, хотя и дал понять, что на эмира больших надежд возлагать не следует. Однако будет лучше, если башкиры выставят войско против Тохтамыша, это им зачтется. В этом с сардаром он был согласен.

— Видишь, и Зухра[1] взошла. Добрая примета. Пусть она будет предвестницей исполнения ваших надежд!

Случайная эта встреча оставила в сердце сэсэна глубокую печаль. И две струи в этой печали. Одна — о гибели Миркасима, о разбитых надеждах юности Нормурада. Другая — по уходящей жизни: время течет, время безостановочно, благие цели так же далеки, как та утренняя звезда.

Но черная тягучая тоска, которая пригнула головы послов,— о многострадальной родине. Повелитель Вселенной не захотел, чтобы Богара стал ханом. Значит, образование независимого государства на башкирской земле считает шагом, противоречащим политике Мавераннахра. Если, вопреки его воле, все же поднять Богару на белой кошме, свирепый владыка нашлет полчища на страну, и без того измученную, разграбит дочиста...

В смятении, с тревогой в душе вернулись Юлыш и Хабрау из ставки Тимура. Выслушав их речи, Богара тоже поначалу растерялся. Весть о том, что Айсуак оставлен заложником, отдалась острой болью в сердце. Но от замысла своего, который обдумывал долгими бессонными ночами, отказаться он уже не мог. Все, что лелеял в мыслях, скрывая даже от самых близких людей, давно стало явью для него. Великое государство башкир, ханская

[1] Зухра — звезда Венера.

власть — вот они, совсем рядом! Протяни руки — и все твое. Потому и обиду на Тимура, и боль за сына он спрятал глубоко в себе.

— Хорошо, дальше будет видно,— резким голосом сказал бей.— Пока вас не было, численность войска дошла до пятнадцати тысяч и все еще растет. Обдумаем.— Он помолчал, собираясь с мыслями.— А теперь пора начать боевые учения. Юлыш, брат мой, нет тебе отдыха, с завтрашнего дня все дела войска бери в свои руки...

15

Широкая, раскинувшаяся меж Сакмарой и Яиком степь нежится в лучах нежаркого солнца. Только начало лета. Трава еще не вытоптана. Еще не долетело сюда горячее дыхание Дешти-Кипчака. И не скоро выгорит степь и станет бурой, как шкура гнедой кобылицы. А пока раскинь стада на этом приволье, и пусть пасутся они, щиплют молодую травку всласть.

Но кругом, сколько видит глаз, ни юрты, ни косяка лошадей или стада коров. Колышется на легком ветру трава. Ручейки и лужи, оставшиеся от вешних вод, посверкивают, как зеркальца. И ни единой живой души, только протянется порою в небе птичья стая, пробежит, чуть шелестя густой травой, на свой маленький промысел суслик.

На гребне высокого холма стоит всадник и недоуменно смотрит по сторонам. Удивительно, земли кара-кипчаков, исконные их кочевья, пусты, как в первый день творения. Всадник, ладонью затенив глаза от прямых лучей солнца, выворачиваясь в седле, прошел глазами весь окоем. Взгляд его обшаривает все холмы и низовья, хоть бы какая-нибудь черная точка, хоть шалашик или кибитка, хоть бы дымок, хоть бы признак чего-то живого — ничего.

Всадник, плечистый парень лет двадцати, развязал кожаный шлем на голове, потер запотевшие лоб и шею, расстегнув рубашку, подставил грудь ветру. Еще раз удивленно огляделся по сторонам и, завернув лошадь, на рысце затрусил к северу, в сторону Сакмары.

Когда впереди показался невысокий дубняк, джигит проверил саблю на поясе, повесил камчу на луку седла и ослабил повод. Случись что, мощный, с длинным туловищем каурый жеребец, не дожидаясь понукания или

рывка повода, сам возьмет направление и по толчку пятки в ребро поймет, чего хочет всадник. Каурый — боевой конь, волю хозяина чует сразу — идти тихо, осторожным шагом или же пуститься во весь опор.

Но их, всадника и коня, тревога на сей раз была напрасной. Редкий дубняк площадью в три-четыре юрты был виден насквозь. А кругом открытая степь. Всадник, легко вздохнув, чуть улыбнулся, но из осторожности все же объехал дубняк и лишь потом соскочил на землю. И ему, и лошади был нужен отдых.

Степной человек, у которого вся жизнь проходит в седле, прежде всего позаботится о лошади. Вот и джигит, распустив подпруги, снял седло, вынул удила и конец поводьев обмотал вокруг деревца. Оставалось две-три горсти ячменя, он все высыпал каурому. Лишь когда раздался громкий хруст размалываемых зерен, занялся своей трапезой. Вся его еда — черствая лепешка в ладошку величиной и твердый как камень комок курута [1]. Да еще в кожаном мешке теплой воды два глотка. Но даже этой скудной пищи не доел, сон смежил глаза, и он прислонился к дереву.

Он не спал двое суток.

Его звали Ильтуган, был он из рода сарыш, из племени кара-кипчаков, в счет жизни Хабрау-сэсэна был отправлен в Орду. Служил он в трехтысячном сторожевом отряде под рукой Кутлыяра-мирзы, в сотне, где службу тянули самую тяжелую и неблагодарную.

В том отряде еще было человек двадцать башкирских парней из разных племен, но их раскидали по нескольким десяткам этой же сотни. Воины-земляки встречались редко, десятники не спускали с них глаз, даже поговорить на своем языке не давали: мол, где разговор — там и заговор, знаем этих башкирских собак, всегда сзади куснуть норовят.

Но когда Ильтуган услышал, что вот-вот начнется война, сумел встретиться с земляками и четверых из них, более смелых, уговорил бежать. Вскоре темной ночью пятеро джигитов вышли в путь. Но на берегу Яика они натолкнулись на сторожевой пост ногаев и были вынуждены скрестить с ними сабли. В короткой, но жестокой сече один из беглецов был зарублен, остальные, держась за гривы лошадей, переплыли Яик. Сильное течение разбросало их; возможно, кого-то вместе с конем утянула быст-

[1] Курут — сушеная брынза.

рая стремнина. Ильтуган долго рыскал по берегу, но никого не нашел и, одинокий, поскакал в родные степи.

Каждому своей жизни жалко, но Ильтуган бежал не затем, чтобы спасти свою жизнь. Конечно, в войсках Орды на башкир смотрят как на чужаков и даже за малую провинность жестоко истязают. Служба им достается самая тяжелая, шлют их гонцами с самыми опасными поручениями, и в проливной дождь, и в лютую стужу, и в палящий зной несут они сторожевую службу. Сотники же с десятниками не только потворствуют, но даже подзуживают воинов из других ордынских племен измываться над башкирами. А начнется война, их опять поставят в самое гиблое место.

Но сильнее этих обид побег Ильтугана поторопил подслушанный им разговор.

Случилось это вскоре после того, как пошли слухи, что идет Хромой Тимур. Ильтуган узнал, что ногайский эмир повелел Богаре-бею собрать войско в пять тысяч человек. Столько же потребовал и от минцев. Потом, присоединив к ним еще черемисов, все это чужекровное ногаям войско во главе с Богарой, башкирским беем, бросить прямо в пасть дракона. Только войско Богары вступит в бой, ногайский тумен снимется и быстрым ходом пойдет на Итиль, к Тохтамышу-хану. Конечно, башкиры и черемисы Хромому только на зубок, но на день-два они его задержат. Войска Богары будут уничтожены, но ногайский тумен нагнать уже будет нельзя.

Этот подлый замысел Ильтуган подслушал, когда стоял на карауле возле юрты Кутлыяра. Тот, созвав на совет тысячников, объяснил им, каким путем будет отступать ногайский тумен к Итилю, какие сотни пойдут на левом и какие на правом крыле и куда будут уходить кочевья. Но он, должно быть, упустил из виду, что среди часовых, стоявших вокруг белой юрты, двое были из башкирских земель, или же настолько был уверен в железном порядке, который установил в тумене, что не придал этому значения. А навостривший уши Ильтуган слышал весь разговор в юрте от начала до конца. И тысячники, и другие военачальники шумно одобрили военную хитрость против своего же союзника. «Так и надо этим истякам! — говорили они с хохотком.— Бараны упрямые, все на сторону смотрят, вот и увидят, чего в жизни не видели!»

Еще на совете говорили, что за Богарой нужен глаз да глаз, особенно перед сражением, решили для этого, буд-

то бы для подмоги, приставить к нему сотню, набранную из одних только свирепых монгольских киреев.

Ильтуган уже давно собирался бежать. Случайно открытая им тайна подстегнула его. Он должен упредить погибель башкирского войска, добраться до Богары и открыть ему подлый замысел ногайского эмира. Он и спутникам своим открыл тайну: мол, хоть один доберется.

...Долго спал Ильтуган, но, и проснувшись, не сразу открыл глаза. Только вспомнив, с каким делом он едет, вскочил на ноги. День уже клонился к вечеру, над степью разливался фиолетово-красный свет заката. Кругом стояла та же тишина. Но тревога охватила Ильтугана. Что-то изменилось вокруг. Он приложил ухо к земле: верстах в пятнадцати отсюда шло то ли большое войско, то ли стадо. Так, значит, кипчаки начали откочевывать куда-то? Ильтуган отвязал пасущегося на длинном поводе коня, оседлал его и знакомой с детства степью помчался к Сакмарскому броду.

Только он, раздвигая высокие камыши, вышел на другой берег, послышалось: «Стой!» Из тальника выехали трое верховых. Башкиры. Все трое при оружии. Один, видимо старший, велел Ильтугану сойти с коня. Завернув назад, связали ему руки и, не слушая его объяснений, повели с собой.

Они вышли к реденькому березняку.

— Вот, Аргын-агай, вонючего ордынца поймали. А говорит, что сарыш.— Значит, хоть что-то из его слов услышали.— Лазутчик, должно быть.— Они подтолкнули Ильтугана в спину.

— Ты кто такой? Почему, как пес, ходишь один? — спросил Аргын и сгреб Ильтугана за ворот.

— Эх, Аргын-батыр! Неужто не узнал меня? Я же у матери твоей, Татлыбике-байбисе, в работниках вырос. Три года тому назад ты меня сам из сарышского кочевья в ордынское войско отправил. Ильтуган я...

— Ну и что? — Аргын уже узнал парня.

— Вести у меня для самого Богары-бея. Только ему одному сказать могу. Быстрее веди к нему.

— Выкладывай мне. Сам ему передам.

— Нет, Аргын-агай! Такая весть — головой поплатиться можно. Бей от меня самого должен услышать. Не для того я из Орды бежал, чтобы мои слова ветром во всей степи разнесло,— решительно сказал Ильтуган.

— Ах ты рвань! — крикнул Аргын, замахиваясь камчой.— Под носом еще не просохло, чтобы с беем разгова-

ривать! Наверное, подлость кому-нибудь задумал, затем из Орды тебя и послали!

Один из воинов быстро шагнул и встал меж ними.

— Подожди, Аргын-батыр! Может, весть его и впрямь важная. Похоже, упрется и ничего не скажет, хоть ты голову ему сними. Прикажи, я сам отведу его к бею.

Это был лесной разбойник Айсура, который, послушавшись совета Хабрау, пришел в кипчакское войско.

Аргын подумал немного и сказал:

— Далеко ведь. Когда вы туда пешком дойдете?

— Зачем пешком? Привяжем его к седлу, а жеребца возьмем под уздцы.

— Будь по-твоему, Айсура, тебе доверяюсь,— сказал Аргын, одолев сомнения.— Но упустишь — ответишь головой. Если же выяснится, что его подослала Орда, жизнь его в твоих руках. Лошадь и оружие перейдут к тебе.

Айсура и еще один парень повели Ильтугана к бею.

Богара и Юлыш целый день объезжали войска, смотрели, где и как устроился каждый отряд, проверяли, как обстоят дела с оружием и продовольствием, в каком состоянии лошади. Позвали тысячников и сотников к вечеру на военный совет.

Ильтугана с завязанными руками поставили перед двумя турэ.

— Вот, слово, говорит, у меня есть, сказать, говорит, могу только бею,— сказал Айсура.

Стоявший поодаль Таймас-батыр, как только увидел Ильтугана, вскрикнул:

— Так это же свой джигит, наш, бей-агай, из твоего аула! Ну-ка, развяжите ему руки! Что, бедолага, сбежал? Как только духу у тебя хватило! Я еще тогда сказал: этот долго в ногаях терпеть не будет.

— И кто же он такой? — Богара оглядел Ильтугана из-под нависших бровей.— Что у тебя за слово, джигит?

— В позапрошлом году летом был отправлен в войска Орды. В обмен на жизнь Хабрау-сэсэна,— сказал Таймас-батыр.

— Ну, разматывай свою весточку,— сказал Юлыш.

Ильтуган кивнул на Айсуру. Когда тот отошел в сторону, подробно рассказал, как обстоят дела в ногайском тумене и что он слышал на совете у Кутлыяра.

Юлыш подозвал Айсуру и приказал вернуть Ильтугану коня и оружие и хорошенько накормить его.

— Ну, бей-агай, и после этого еще будем туда-сюда качаться?

Богара, в гневе закусив щеку, заходил взад-вперед, руку, сжимавшую камчу, упер в бок, чтоб не дрожала, резкие морщины легли на лицо.

— Все! Хватит! — сказал он и пригрозил кому-то камчой.— Сотню киреев придется тебе встретить, Юлыш-батыр, позаботься. Сотника допросим, огнем будем пытать, коли понадобится. А потом... прикажешь всех до единого положить под сабли.— И окликнул уходившего с Ильтуганом Айсуру: — Скачи к Аргыну, передай: из Орды сотня идет. Пусть ее без задержки сюда проводит.

— Среди киреев много усергенских свойственников, бей-агай, их девушек брали, своих выдавали,— сказал Юлыш.— Большая оплошность будет, если перебьем их. Свои же шум поднимут.

— А ты сделай так, чтобы и кончика наружу не вышло. Если вернутся в свой тумен, все до срока откроется. Ничего иного не остается, Юлыш-батыр.

— Почему не остается? Оружие и коней отберем — и, как сами ногаи говорят, все четыре стороны им — кибла [1]. Куда ни пойдут, твое милосердие будут славить. В Орду-то им хода нет, ногайский обычай знаешь: кто без коня и оружия вернулся — того ждет смерть.

Хотя настойчивость Юлыша бею и не понравилась, он буркнул:

— Пусть... делай как знаешь. По мне, так...

Один за другим на гарцующих конях начали подъезжать тысячники и сотники.

Когда зашло солнце и пали сумерки, возле ярко полыхающего костра начался совет.

Богара сообщил, что объединенное башкирское войско из ханского повиновения выходит и драться с войсками хромого царя не будет.

— От минцев весть пришла: их войска стоят в верховьях Демы, они с нами!.. Не позже чем завтра видные аксакалы кипчаков, усергенов, тунгауров соберутся на большой совет... Так что решайтесь. Кому только своя голова дорога́, пусть сейчас же уйдет восвояси. Потом, когда в огонь войдем, будет поздно! — Богара в ожидании ответа оглядел своих военачальников.

Турэ молчали, даже между собой не переглянулись — смотрели на Богару. Уже по пути сюда они чувствовали, что решительный час близок. Но чтобы вдруг, вот сейчас,

---

[1] Кибла — направление на Каабу, священный камень мусульман. То есть: все пути (для тебя) хороши (*ироническое*).

в эти светлые теплые сумерки, под этим тонким молодым месяцем... Миг — и сошло оцепенение, они вскочили, сабли вылетели из ножен.

— Тысячу лет живи, Богара-бей!

— Мы подумали — ты сказал!

— Бросай клич, бей-агай! Поднимай башкир!

Бей махнул рукой, чтобы сели.

— Не торопитесь. Впопыхах и айраном подавиться можно. Пусть еще совет пройдет, послушаем, что старики скажут,— остудил он своих соратников.— Войско переходит к боевой готовности. Без приказа из лагеря ни на шаг. Лошадям и ночью пастись под седлом. Оружие у каждого должно быть полностью наготове. Учения — от темна до темна.

Всю ночь бей не сомкнул глаз. Весть, которую принес джигит по имени Ильтуган, покончила со всеми сомнениями. Конечно, войска свои против Хромого он и без того не поднял бы. Другое мучает: что дальше? Хорошо, если в предстоящей войне Железный царь сломает Орде шею. Но если Тохтамыш возьмет верх или пойдет на мир с великим эмиром — тогда дни Богары сочтены. Пусть поднимутся все башкирские кочевья и даже придут черемисы — спасибо аллаху, коли наберется войска до двадцати тысяч.

Еще забота: Тимур не признал Богару ханом, не захотел, чтобы росла мощь башкир и они создали свое государство. А тут еще из-за пропавшего дервиша взяли заложником Айсуака. Не верит хромой разбойник башкирам, хочет привязать их к хвосту своей лошади. Тоже, видать, как и Тохтамыш, собирается из них соки тянуть.

А ведь чтобы добыть вольность, другого случая не будет. Такой — во всю жизнь только раз... Доходят мысли Богары до этой точки — и, как вода, что, наткнувшись на скалу, дальше пробиться не может, крутятся на месте.

И Зумрат, лежащая рядом, кажется, тоже не спит. То на один бок повернется, то на другой. Разве откроешь ей свою тайну? Как побывал в гостях ее брат, закрылась, как цветок перед закатом. Спросит Богара о чем-нибудь — «да» или «нет», отвечала бы и того короче, если бы можно было. Что-то тревожит молодую жену. Молчит все, ходит бледная, рассеянная. Правда, о великих и опасных замыслах мужа, похоже, не подозревает. Но поди разберись, что у нее на уме. С шайбанским племенем всегда надо быть настороже.

Перед рассветом один из часовых тихим голосом вызвал Богару из юрты. От лазутчиков пришло срочное донесение: Байгильде остановил откочевку в горы трех своих аулов, сам же с войском в четыреста человек отделился от сайканов и остался ждать ногаев.

Богара хотя и задохнулся от ярости, но в душе измене свата не удивился. «Ну, если при случае не сверну тебе шею!..» — процедил он сквозь зубы. Однако решил весть держать пока в тайне.

Только под утро уснул Богара. И приснилось ему, будто почтенные мужи семи колен подняли его на белой кошме и провозгласили ханом башкирской земли.

А Зумрат никак не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок, все думала, думала... Было молодой бике над чем ломать голову.

На другой день, как вернулись гонцы из тамьянской стороны, она встретилась с Толкебаем.

Было так. Зумрат с двумя девушками из прислуги пошла на берег Сакмары. Долго бродила, не находя успокоения душе, все думала, молчала. Потом захотелось ей побыть одной и отослала девушек в аул. Расстелила на горячем от солнца камне отороченный горностаем зилян, села и тихим голосом запела грустную песню своих родных кочевий. В это время послышался топот копыт, фырканье лошади. Мимо ехал Толкебай.

«Уф, как ты меня напугал! — Зумрат вздрогнула.— И не услышишь, как подкрадешься».

Парень покраснел, опустил глаза. Дернув лошадь за уздцы, хотел было проехать, но бике приказала: «Постой! Ты ведь хочешь что-то сказать мне. Говори!» Толкебай остановился, покраснел еще больше, промямлил что-то. «Ты почему все время следишь за мной, бей велел?» — строго спросила Зумрат. «Нет, это я сам, бике... Не слежу я... зачем следить... я коня привел напоить»,— вконец растерялся парень. С Зумрат вся грусть сошла — то ли вид парня позабавил ее, то ли хотела скрыть собственное волнение,— взяла коня под уздцы. «Ладно, ладно, не ври! По пятам за мной ходишь... Не бойся, никому не скажу». Она плечом прижала ногу Толкебая. «Отпусти поводья, бике. Еще увидит кто...» — «Фу, какой все же трус! Послушай меня... Как стемнеет, приходи сюда, в тальник. Разговор у меня к тебе...» И только отпустила повод, парень огрел лошадь камчой.

В ту ночь, кроме немощных стариков да четырех-пяти часовых, мужчин в кочевье не было. Все джигиты, ка-

кие могли держать в руках оружие, давно ушли в войско, а Богара, забрав сотню личной охраны, поехал встречать отряды усергенов и тунгауров.

Вернувшемуся издалека Толкебаю дали сутки отдыха. Зумрат на это и рассчитывала. Весь день себе места не находила молодая бике, душой маялась. Туда пойдет, сюда заглянет, никак вечера не могла дождаться.

Первая в Орде красавица, изнеженная, избалованная дочь ногайского эмира, а теперь молодая жена славного и сильного башкирского бея напрочь забыла о своем высоком положении. В голове пусто, тело томится, жаждет любви и ласки. Что будет потом, она и не думает. Представит застенчивую улыбку рослого, сильного Толкебая, и по всем суставам огонь проходит. В своем воображении она бедного, неимущего воина превращает в долгожданного царевича, осыпает серебром и золотом. Потом вдруг вспомнит о лежащей меж ними бездне и начнет себя стыдить: «Ох, Зумрат, Зумрат! Кем соблазнилась? Безродным парнем, который ради черствого куска тянет службу! Такой ли был в твоих мечтах? Неужели этому нищему отдашь свою неутоленную любовь, горячую ласку?» Душа противится, а тело тянется к Толкебаю. Черной своей судьбе назло, продавшим ее на чужую землю отцу с братом и замкнутому, с холодными объятиями мужу назло должна она броситься в эту бездну, хоть один раз ублажить свое молодое тело. А там будь что будет...

Кажется, и Толкебай хоть немного, но освободился от страха и стыда. Подумал, наверное: чему быть, того не миновать, и, как в омут головой, в назначенный срок явился на берег...

А сейчас, прислушиваясь к бормотанию спящего Богары, тихому его постаныванию, Зумрат думала о Толкебае и того больше о том, в какое положение попала сама. Сначала, когда она обняла его, джигит вконец растерялся, попытался вырваться, но потом обнял так, что у молодой бике косточки захрустели...

После той ночи, после тех неистовых, до слез, до изнеможения, ласк Зумрат больше не видела Толкебая. Наутро джигит уехал в войско. Теперь от одного воспоминания о тайном грехе у молодой бике закипала кровь, тело все еще жило тем блаженством. Но строгий наказ брата Кутлыяра то и дело царапал душу, темной тучей ложился на ее сладостные мечтания. Мулла-соглядатай не заставит долго ждать. А что есть у Зумрат, что подо-

зрительного приметила, что вызнала, чтобы донести Кутлыяру?

Хотя кое-что и настораживало. В ту ночь, в тальнике, из отрывочных слов Толкебая поняла, что Богара собирает войско втрое, вчетверо больше, чем затребовала Орда. С чего вдруг так расщедрились башкирские кочевья? В другое время легче кость вырвать у собаки из пасти, чем у них лишнего человека в ордынское войско. Еще Толкебай говорил: «Коли дела пойдут как надо, можешь и ханшей стать». На что намекал? Даже представить смешно, что он, Толкебай, станет ханом и отберет Зумрат у ее старого мужа.

А тут еще бродивший где-то Хабрау-сэсэн вернулся в кочевье Богары и опять в своих песнях высмеивает хана Тохтамыша, осыпает проклятиями Орду, ее порядки и повадки. Почему сейчас, когда все вместе готовятся идти против Хромого Тимура, никто не уймет его?

Похоже, проглядела Зумрат что-то. Пока она выслеживала лису-Толкебая, вожделение свое ублажала, старый волк Богара времени не терял даром, в башкирских степях идет какое-то тайное брожение. А что она расскажет мулле? О неясных своих подозрениях?

Росла Зумрат, эмирская дочь, в неге и роскоши, по взмаху ресниц, по легкому кивку исполнялись все ее желания. Однако с ранних лет получила она кое-какое образование и, от природы умная и сметливая, умела оценивать житейские и государственные дела, большие и малые события, низать их, как зерна четок, на одну нить. Правда, эти дела все больше крутились вокруг того, кто на ком женился, да кто с кем породнился, и какая от этого политическая выгода родне жениха, и какая — родне невесты. Но если учесть, сколь много внимания уделялось таким вещам в Орде, а точнее — при ногайском дворе, то нельзя сказать, что Зумрат жила в стороне от всего, что творилось в мире.

Коли выдали замуж ее за Богару, значит, ногаям нужен мир с башкирами, Орде нужна опора. А если Богара выйдет из-под руки Орды и решится создать собственное ханство, тогда —война. Дом ногаев не захочет потерять башкирские земли и пошлет войска. Но постой, постой, когда муж — хан, кто же тогда жена? Выходит, вместе с мужем на такую немыслимую высоту взлетит и она? Дочь эмира, она станет ханшей! Не зря, выходит, болтал Толкебай: «Станешь женой хана...» Вот что имел он в виду! Говорил то, о чем, видно, давно уже в народе толкуют.

Когда такие ожидаются события, разве останется Зумрат в стороне от трудов мужа? А Толкебай?.. Что Толкебай? Ему — свое место. При случае будут встречаться. Запахнет горелым — способ избавиться от него найдется быстро...

16

Зумрат встала пораньше, разбудила одну из служанок, и они принялись готовить утреннюю трапезу. Взбудораженная своей догадкой, Зумрат отбросила все беспокойные мысли, терзавшие ее в последние дни. Да, птица счастья готова сесть на ее юрту. Каждый миг, на каждом шагу должна она оказывать мужу уважение, знать, что у него на сердце, предупреждать каждое его желание. Всегда находиться рядом, всегда быть помощницей в его делах. Надо будет — сядет на коня, возьмет саблю в руки и вместе с Богарой — хоть в огонь, хоть в воду. Не лучиной, едва мерцающей в темноте, а сверкающей молнией должна она жить! И не в жалком кочевье главенствовать, а над тысячами тысяч владычествовать. А придет смертный час — чтобы ни в чем не каяться, ни о чем не жалеть. Когда муж поднимается на завоевание ханского трона, такая ли она жена, чтобы быть при нем соглядатаем!

Богара с некоторым удивлением следил за женой. Сегодня она не сидела надувшись, как обычно, нет, сама накрыла, сама позвала к застолью. С улыбкой сама разливает чай, подкладывает мужу лучшие куски. Насупленные брови бея поневоле опустились, он обнял ее за талию и приласкал.

Они сидели, мирно ворковали, когда, неслышно ступая, вошла одна из служанок и низко поклонилась.

— Ну, чего молчишь, словно перстень во рту прячешь? Говори, коли зашла! — нахмурилась Зумрат. Она была недовольна, что помешали сладкому чаепитию.

— Это... енге, джигиты это... какого-то чужака около Яика поймали. Говорит мулла, он.., тебя спрашивает...— сбивчиво забормотала девушка.

— Не выше бея небось. Пусть подождет! — отрезала Зумрат. Она замерла на миг, быстро о чем-то подумала, потом прильнула к мужу и прошептала ему прямо в ухо: — Послушай, отец...

Богара стремительно повернулся к ней:

— Отец, говоришь? Неужто... это?

— А что, ночуй почаще в моей юрте, может, и слу-

чится...— Она тихонько засмеялась. По лицу пробежал румянец. Но не от смущения — вспомнила Толкебая.

— Если новость твоя окажется правдой, тебе от меня шелковый зилян на выдре и золотые сережки с яхонтом,— сказал Богара.

— Уж и не знаю... Дней через десять — пятнадцать выяснится, правда или нет. Послушай-ка меня... Тот мулла, пожалуй, от ногаев лазутчик. Должно быть, хочет у меня что-нибудь выведать.

— И что же?

— Ах, аллах, еще спрашивает! Говорю, лазутчик, наверное. Сделаем так. Я его сюда позову, а ты постой за юртой и послушай.

Еще больше удивился бей.

— Откуда ты знаешь, что он лазутчик? — покачал он головой.— На служителя веры напраслины не возводишь ли?

— Сам посуди, кто в такое лихое время выйдет в дорогу без веской причины? Правда ли, напраслина ли, выяснить нетрудно,— сказала Зумрат и хлопнула в ладоши. Показалась та самая служанка.— Пусть хазрет войдет!

В юрту вошел человек средних лет в стареньком зиляне, зеленой чалме. Проходить не стал, присел около дверей и прочитал молитву.

— Я человек занятый, мулла, сам знаешь, с бея тоже службу спрашивают. Вот бике от моего имени тебе почет окажет, не обессудь,— сказал Богара и поднялся с места. Уловка жены разбудила его любопытство.

Только бей вышел, мулла достал монету, она словно сама выкатилась у него из-за пазухи, прокатилась по ладони и легла на край скатерти. Зумрат показала свою.

Мулла выпил кумыса, поел наспех и сказал:

— Через два дня твой почтенный отец снимется вместе с войском. Место на Яике, у брода, где стоял наш тумен, должны занять башкиры. Они готовы?

— Готовы, почтенный мулла, готовы. И недели не пройдет, сядут на коней,— уверенно ответила Зумрат.

— Похвально,— кивнул мулла, поглаживая бороду.— Однако Богара, оказывается, набирает войска больше, чем мы велели. Нет ли в этом умысла какого?

— Богара-бей — верный сура хана и ногаев. Все повеления брата моего Кутлыяра он выполняет неукоснительно. Передай, пусть не тревожится,— все так же твердо сказала Зумрат.— А что больше воинов — так это Орде лишь на пользу.

— Хорошо... Еще один вопрос. Сюда была послана сотня киреев. Но донесения от сотника твой брат, почтенный Кутлыяр-мирза, никакого не получил. Почему? Может, эти,— он кивнул прямо туда, где, как казалось Зумрат, за стеной юрты стоял Богара,— неладное что-то замыслили и перерезали отряд?

— Пусть ветром унесет твои слова! — От растерянности она даже подскочила на месте, и в этой горячности была своя убедительность.— Та сотня с башкирами на военных учениях. Наверное, у сотника не было возможности.— Зумрат говорила первое, что приходило на ум. О прибытии отряда киреев она слышала лишь краем уха, о том же, что их обезоружили и забрали лошадей, не знала вовсе.

— Ладно, схожу сам разузнаю.

— Ты туда не пройдешь, почтенный, чужих к войску не пускают. Богара — умный сардар, ничуть не хуже знаменитых эмиров Орды. Порядок установил крепкий. О киреях я узнаю сама,— твердо сказала Зумрат.

— Когда узнаешь? Я ведь, бике, через два дня перед мирзой Кутлыяром должен стоять.

— Не беда, сегодня к вечеру получишь нужные сведения. В обратный путь через караулы сама проведу.— Зумрат и сама подивилась той властности, которая вдруг зазвучала в ее голосе, словно говорил человек, управляющийся с большими государственными делами.— Так что ничего худого от Богары не ждите. Человек мудрый и осмотрительный, хоть сейчас его ханом сажай...

— Ханом сажать? Ай-хай, бике, не вздумай самого бея в этом уверить! Кутлыяр-мирза того и опасается!

— Аллах не внушил, так я внушать не буду. Я говорю: мог бы, по силам. Но не такой он человек, чтобы отвернуться от великой Орды. Сказала же так, чтобы ты понял: Богара — умный, осмотрительный турэ.

Мулла посидел молча, перебирая четки, потом заговорил снова:

— Последний вопрос. Говорят, у этих аулы в горы уходят. Как сама быть думаешь? Кутлыяр-мирза велел передать: найди какой-нибудь повод и возвращайся к отцу. Мы на время уходим в глубь Дешти-Кипчака. Башкирские войска останутся за нами, на пути Хромого Тимура. Он-то никого не пощадит, всех подчистую уничтожит.

«Вот оно как! Значит, мой отец с братом хотят кинуть

башкир в пасть дракону...» — похолодела Зумрат. Но смятения своего не выдала.

— Что стране суждено, то и мне. Достойно ли жене бея бежать, бросив мужа? Меня сюда не рабыней привезли. Так и скажи Кутлыяру-мирзе.

Зумрат увлеклась опасной игрой, самой же и затеянной. Лишь бы Богара стоял там и слушал. Хотя, чем дело кончится, было еще не ясно. Бей мог и не сдержать своего гнева. Потому молодая бике поспешила проводить лазутчика. Стоявшим поодаль караульным приказала:

— Устройте муллу в гостевой юрте!

Только она вернулась в юрту, следом влетел Богара.

— Ай, я глупец! Ай, я слепой! Все время подозревал тебя! Живи тысячу лет, бике! — сказал он, крепко обнимая ее.

— Чего удивляешься? Я — твоя жена,— ответила Зумрат.— Говорят же: где иголка — там и нитка. И мне теперь башкирская земля не чужая.

— С огнем играешь! Разве для твоих тонких плеч дело, которое я затеял? — Богара не знал, как приласкать жену.

— Ладно, отец, время не ждет. Мне гонца надо послать в войско.

— В сотню киреев? — спросил Богара и усмехнулся: — Ну, змея! Как проведала только!

— Если ты меня за куклу считаешь... — Бике надула губы и отвернулась. Но время ли обидами считаться? — Сделаем так,— сказала она,— пусть кто-нибудь приедет в одежде киреев, покажем его мулле. Что сказать, я сама его научу, не сомневайся.

— Есть такой джигит. Толкебай, что ли. Язык киреев знает, был у них в заложниках.

Зумрат вспыхнула и спрятала глаза. Но бей не заметил этого. Он уже торопился ехать к войскам, большой совет старейшин должен был начаться вскоре после полудня.

Сухо, строго, словно ничего между ними не было, деловито объяснила Зумрат Толкебаю, что ему следует говорить мулле.

— Смотри, коли ошибешься и ордынский посол заподозрит что-то, прямо в руки Аргыну попадешь,— сказала она.

Толкебай слегка опешил от такого ледяного тона, еще раз оглядел юрту: они были одни.

— Головой клянусь, сделаю все, как ты велела,— с широкой улыбкой, заглядывая ей в глаза, сказал он.

Простодушный влюбленный джигит не понимал, что юная жена бея уже с головой ушла в упоительную политическую игру, а сам он лишь орудие в ее руках. Ему казалось, что птица счастья села ему на плечо. И хотя кружилась голова и он мало что соображал, но все, что говорила бике, запомнил.

— Далеко не уходи, как тебя кликнут, подойдешь, поклонишься мне и мулле, поздороваешься! — С тем Зумрат и выпроводила его.

Все вышло, как задумано. Толкебай передал мулле от сотника привет, то и дело вставляя кирейские слова, рассказал, как их сотня сдружилась с башкирами и теперь обучает их воинскому ремеслу. Мулла, довольный, похлопал Толкебая по плечу. Потом, понизив голос до шепота, передал приказ Кутлыяра-мирзы:

— Доведи до сотника: если почувствует, что башкиры стали на путь измены, пусть первым делом зарежет Богару и Юлыша. Змея с расплющенной головой — хвостом покрутит, но ужалить не сможет. Затем пусть от имени хана возьмет все башкирское войско в свои руки. Правда, Кутлыяр-мирза надеется, что дело до этого не дойдет. Однако надо быть начеку.

Только начало темнеть, три всадника вышли в путь. Как условились с Богарой, Зумрат сама поехала проводить муллу и Толкебая взяла с собой.

Пофыркивая, мерной рысью идут кони. Путники молчат, слова, какие нужно было сказать, уже сказаны.

Зумрат думает о том, в какое положение она попала. И теперь выверяет все, как дотошная швея проверяет шов — на ощупь, на свет, на растяжку. Пока вроде шьет туго, расползтись не должно. Она уверена, башкиры поднимут восстание, в этом-то у нее сомнений нет. Конечно, Богара ей всех своих замыслов не раскрыл, но сообразительная бике уже сама о многом догадалась. Только сможет ли бей, не споткнувшись, дойти до конца? Хватит ли у него силы, терпения и ума взять башкирские племена в кулак и направить к своей цели? Если и сможет собрать войско — самое большее в двадцать тысяч. С этими силами идти на Орду — уж лучше прямо в огонь. Значит, Богара должен на кого-то опереться, просить помощи у могучего владыки... Выходит, что расчет-то его на Хромого Тимура. Да, да, прошел как-то слушок, месяца два назад, поговаривали, что приходил какой-то дервиш.

Может, он был ходоком от царя Тимура, его ищейкой? А Юлыш и Хабрау-йырау, они-то где пятнадцать дней пропадали? Ну, Богара! Ну, хитрый старый лис!

Проводив муллу через сторожевые посты, Зумрат и Толкебай повернули обратно. Проехали немного, и возле молодой рощицы бике остановила лошадь. Спросила:

— Может, немного остудим коней?

— Как хочешь, бике. Что прикажешь, я в твоей воле,— ответил джигит.

— Иди сюда! — задыхаясь, прошептала Зумрат, спрыгнув с лошади...

Когда снова тронулись в путь, она сказала с тихим вздохом:

— Теперь не скоро увидимся... — Как бы ни были горячи объятия Толкебая, не сроки следующего свидания занимали Зумрат, она думала о грозной буре, что уже клубилась на горизонте.

— Не знаю, как ты, а у меня, если хоть день не увижу тебя, душа с телом прощается! — Толкебай потянулся обнять ее.

Зумрат отвела коня в сторону.

— Я, кажется, в тягости... — сказала она.

— От меня, что ли?

— Дурак! Разве жена бея может на стороне нагулять! Ты смотри, держи язык-то за зубами.— Бике и сама не заметила, как перешла на крик.

— Да нет, я так... Сама же... сколько времени никак не родишь,— забормотал парень.

Еще одна задача для Зумрат. Коли надежда сбудется, коли догадки окажутся верными, эту нитку надо будет рвать тут же и кончик спрятать как можно дальше. Не приведи аллах, кто-нибудь хоть что-то заподозрит. Ребенок, которого она родит,— сын Богары. И все. Никому никакой иной мысли, ни тени сомнения и в голову прийти не должно. Если этот простоватый Толкебай по глупости своей проболтается, откроет тайну — все замыслы Зумрат пойдут прахом. На белоснежную юрту Богары-бея, который будет вознесен ханом всей башкирской земли, даже капля грязи попасть не должна. Мальчик, что в чреве бике,— сын хана, бесспорный наследник своего отца, ибо мать его — потомок хана Шайбана.

Вдруг молча ехавший позади Толкебай показался чужим и опасным... Конечно, Зумрат нашла бы причину, хоть самую пустячную, и отдала его в руки безжалостному Аргыну. Хоть завтра же... Но забурлит опять ее мо-

лодая кровь, куда, в чьи объятия бросится она? Пусть пока... потом увидим...

Когда впереди показались костры ее кочевого аула и пришла пора им разъезжаться, Зумрат решила еще раз предупредить парня.

— Старайся почаще показываться на глаза бею и Юлышу, Толкебай. Я им скажу о сегодняшней твоей службе, замолвлю словечко, чтобы тебя десятником поставили. Но смотри... крепко держи язык за зубами. Если хоть маленький слушок пройдет, бей не пощадит. И первым на расправу пойдешь ты.

— Эх, Зумрат,— вздохнул парень.— Говоришь, что только меня одного любишь, а сама все время стращаешь...

— Я — жена бея, повелителя всех башкирских земель! Не забудь это! — сказала она и, ударив коня камчой, помчалась туда, где горели костры становья.

Назавтра случились два события, которые резко повернули судьбу дома Богары. И они убедили Зумрат в верности ее догадок.

Она взяла одного из джигитов, оставленных для охраны кочевья, и поехала к войскам. На это нужно было разрешение бея, но Богара не вернулся, остался ночевать в лагере. А у Татлыбике можно и не спрашивать, она в дела молодой наперсницы не вмешивается. Да и сама Зумрат, помня, из какого рода вышла она и из какого байбисе, смотрит на нее свысока. Ровня ли Татлыбике, дочь главы захудалого рода в пять-шесть сотен юрт, дочери эмира, взошедшему из ханских корней нежному цветку? А теперь она собирается стать матерью ханского сына, и к тому же в государственных делах мужа от нее большая помощь. Потому Зумрат и осмелилась без позволения бея покинуть кочевье.

Поначалу при виде ее Богара недовольно нахмурился. Но окинул взглядом молодую жену, облаченную в темно-зеленый, до колен камзол, перебрал глазами серебряный пояс, туго перетянувший тонкую талию, кинжал с красивой чеканкой, щеголеватые булгарские сапоги, оглядел украшенные драгоценностями седло и сбрую вороного иноходца — и озорная улыбка расплылась на лице.

— Аб-ба-ба, ты, бике, никак в бой собралась? Ну-ка, слезай с коня, заходи в юрту... Эй, джигиты, несите кумыс!

— Все сделала, как ты сказал. Муллу одарила выше

головы, уехал. Службой кирейской сотни остался доволен. С этим и торопилась. Не сердись, прошу тебя! — И Зумрат, обвив руками, прильнула к мужу.

— Не сержусь. Только вот что, время опасное, а ты — с одним только джигитом. А весть твою тот парень — как его там, Буребай, Толкебай? [1] — еще перед рассветом привез. Так что...

— Так что еще неизвестно,— перебила его Зумрат,— сумел ли этот тугодум хоть что-нибудь толком рассказать.

— Да нет, с виду парень сообразительный. Я хочу как-то отметить его службу,— сказал Богара.

— Уж не знаю. А на мой взгляд, забитый какой-то. Стоит и в глаза смотрит, ждет, когда прикажут.

— Молодой еще. От твоей красоты, наверное, одурел,— засмеялся Богара.— Надо его вознаградить. Остальным в пример, верно?

— Ну, коли уж так его любишь, поставь во главе всех войск,— притворно насупилась Зумрат.

— Всем войскам голова — я сам. Помощник — Юлыш. Так что поставлю-ка я его во главе десятки. И эта десятка будет охранять тебя. Ну как?

Бике на это лишь плечами пожала: мне, дескать, все равно. Мелкими глотками отпивая кумыс, рассказала, о чем говорили с муллой и как она, одурачив, выпроводила его.

Богара же рассказал о том, что около пятисот всадников из двинувшегося на запад ногайского войска ворвались на землю сайканов, разграбили три аула. Даже сам Байгильде от сватов своих еле спасся.

— Все хитрил, все ловчил Байгильде, никак не хотел в горы откочевывать. Никуда, мол, он не пойдет. Если мы собираем войско для ногаев, так зачем они будут нападать на нас? Да-а, угостили его сваты! — бушевал Богара.— Вот и остался — ни скота, ни богатства. Юрты и закопченные котлы и те уволокли, окаянные!

— Впору ему! — поддакнула Зумрат.— Все заносился, на своего зятя-разбойника, на сватов надеялся...

— Пусть заносится теперь. Над остатками сайканов я его сотником поставил. Может, поумнеет малость, если в седле потрясется. И другим хороший урок: Орде довериться — что о воду опереться.

— Ты, оказывается, турэ, и аксакалов собрал. И что же решили? Или от меня секрет?

---

[1] Буре — волк. Толке — лиса.

— Клич бросили, бике! Вся наша земля на бой поднимается. Во все кочевья поскакали гонцы. Как только войско достигнет двадцати пяти тысяч, откладываюсь от Орды. Вот так! — сказал Богара и быстро заходил по юрте.

— Я ведь дочь Орды, бей.— И Зумрат выжидающе посмотрела на него.

— Ты — жена башкирского хана, бике! Наши судьбы одним узлом связаны! Сама же вчера так сказала.

— Как?.. Неужели тебя возгласили ханом? О аллах! — сказала Зумрат и обняла Богару. Глаза ее наполнились слезами.

— Скоро, скоро, подожди еще немного. Пусть кое-кто и не согласен, но, если народ мой захочет, турэ поднимут меня на белой кошме.

Совсем другим человеком показался ей Богара. Всем своим видом, жестами, быстрой мягкой походкой он напоминал зверя, который, выпустив когти, изготовился броситься на добычу. Словно бы помолодел даже. От острого взгляда, от дюжего тела и широких плеч исходили доселе таившиеся в нем сила и отвага. Хай, Богара! Уж если не ему, так кому же тогда и быть ханом в стране башкир? Всем хан — и видом-обличьем, и умом-достоинством, и силой-отвагой. Даже голос вроде бы погустел. Зумрат, понимая, что у мужа куча неотложных дел и он не может оставить ее одну только из приличия, чмокнула его в щеку и направилась к двери.

— Погоди-ка, погоди... куда торопишься? Если уж приехала, так переночуй сегодня у меня,— сказал Богара и потянулся обнять ее.— Я только ненадолго... А может, всегда при мне будешь?

— Может быть... — пряча радость, ответила Зумрат.

Тут распахнулась дверь юрты, со вздохом и стенаниями ввалился Байгильде. Только вошел, чихнул, разбрызгал слюни на всю юрту, так что Зумрат брезгливо поджалась, сорвал с головы шапку и хлопнул ее о кошму. Сразу видно, с горя крепко выпил.

— Эх, сват, сват! — засипел он, даже не поздоровавшись.— За что же это такое, а? Меня, Байгильде, который всем войском может командовать, поставил сотником, а? И я должен подчиниться усергенскому Юлышу. Нет, сват, хоть убей, а я не согласен!

Богара, настроение которого от встречи с молодой женой взлетело, как птица на крыльях, разом посуровел, на лицо легли резкие морщины. Надменно подбоченившись, он рявкнул:

— Попридержи-ка поводья!

— Не забывай, перед кем стоишь,— сказала Зумрат.

— Так ведь я тебе, сват, не чужак какой-нибудь... Лежачего не бьют...— слезливо протянул Байгильде. Толстое, рыхлое тело осело еще ниже.

Богара окинул его презрительным взглядом, голос зазвенел, будто железо ударилось о железо.

— Оттого и помиловал тебя, что не чужой. Ради Аргына. Я, что ли, велел тебе упрямиться, от своих отбиваться? Я, что ли, отдал все сайканское добро на разграбление? По моему, что ли, приказу загубил ты почти сто прекрасных воинов? Бесстыжий! Придушить бы тебя — и вся недолга.

С каждым «что ли» все ниже клонилась голова Байгильде.

— Так ведь стыдно в мои-то годы сотником ходить! Вся страна мне в лицо смеяться будет. О чине моем вспомни,— сказал он плаксивым голосом.

— Чин! Нет у тебя чина! Сам ты его растоптал.— У Богары лицо пошло пятнами.— А стыд перед страной, и не только стыд — вину и позор — кровью своей в бою смоешь.

— И не ходи, не беспокой попусту бея, где твоя ровня, там и будь,— прибавила Зумрат.— Сват он, видите ли...

Байгильде, кажется, только сейчас заметил ее. Глянул, словно просверлил насквозь:

— Молода ты еще, бике, чтобы так со мной разговаривать. Я в отцы тебе гожусь. Жизнь — как норовистая лошадь, то передом встанет, то задом. Как бы и к Байгильде не пришлось с поклоном идти.

— В отцы, говоришь? Оборванец, мой отец — ногайского тумена эмир! — Зумрат брезгливо сморщила нос и отвернулась.— Пошли ты его, бей, овец пасти.

Байгильде, гоняя от злости желваки, жгучим взглядом прочертил юрту и хозяев и выскочил из юрты, хлопнув дверью.

«Этот на любую подлость способен,— подумал Богара,— глаз с него спускать нельзя». Потом покосился на Зумрат. Ему не понравилось, что начала она столь решительно вмешиваться в его дела. Уже не один год, как стала второй женой бея, а все никак не могла прижиться в новой семье. А тут вдруг, забыв отчий дом, всей душой принимает заботы мужа, становится близким помощником и единомышленником. От чистого ли сердца? Или

потому все, что горит страстью стать женой хана? Да, да, наверное, в том все дело. Как-никак Шайбаново семя. Эта не чета Татлыбике, которая ничего, кроме своей степи, не видела! Сядет Богара на белого иноходца и начнет налаживать отношения с другими государствами,— вот тогда имя Зумрат и сослужит свою службу.

Весть о разграблении сайканских аулов нужно было сейчас же, не откладывая, сообщить войску, а также отправить гонцов во все кочевья. Богара выглянул из юрты и велел позвать Юлыша.

Об аулах, попавших в беду из-за глупого турэ, Хабрау в эти же дни сочинил кубаир.

17

Объединенное башкирское войско от горы Сарыкташ двинулось к реке Ашкадар. Ничего другого Богаре не оставалось. Спустя три дня после гибели аулов Байгильде с берегов Сакмары, загнав лошадь до белой пены, прибыл один из тамошней стражи — тамьянский батыр Айсура. Он привез сообщение, что передовые тумены правого крыла Тимуровых войск, переправившись через Сакмару, направились к Ику. Значит, хромой царь свое обещание не вступать в башкирские земли нарушил. Война пройдет по самой середине кипчакских земель.

Больше двадцати тысяч всадников было под рукой Богары, и казалось ему, что светлые дни уже совсем близко,— и тут надежды на помощь Хромого Тимура начали таять. Если бы хотел помочь, не направил бы он свои полчища прямо через покрытые густой травой пастбища, оставляя позади себя черную вытоптанную землю. Нет у эмира забот, кроме собственной выгоды. Что ему башкиры? Не о них он печалится и победу свою, славу и добычу делить с другими не собирается. Хорошо еще, хватило у Богары ума отвести стада и аулы в горы. Иначе и сам бы лишился всего нажитого, и кочевья были бы разорены дотла.

Но ничего не поделаешь, коли ступил на этот опасный путь — уже не сойдешь. Как только бей разместил все войска, он позвал к себе Юлыша.

— Мой приказ таков, брат Юлыш,— начал он.— Отбери от войска каждого рода по четыреста парней и передай в распоряжение Аргына. С ними он присоединится к правому крылу туменов Хромого Тимура. Никого другого, кроме сына своего, во главе войска поставить не могу, надо как-то всем нашим турэ заткнуть рот... И еще в

счет скота, который потребовал эмир, отправь сто пятьдесят лошадей и две тысячи овец. Надо заверить его, что все остальное доставим дней через десять, пусть не беспокоится. А там видно будет.

— Все исполню, бей! Однако... неужели мало этим турэ твоего младшего сына? — сказал Юлыш.

Взгляд Богары потемнел.

— Поздно уже отступать,— махнул он рукой.— А начальнику минцев Янбеку прикажи: пусть с двенадцатью сотнями своих всадников идет лесами, глаз не спуская с войск Тимура. Сам видишь, Хромой к берегам Итиля торопится, хочет ударить по главной ставке Тохтамыша.

— Туда спешит,— кивнул Юлыш.— Думаю, что на наших землях задерживаться не будет.

— Янбеку накажи, пусть идет тихо, как рысь, чтобы ни один чужой глаз не заметил. Если же вдруг какой-нибудь отряд из войск Тимура к нашим кочевьям свернет, пусть заградит им путь.

Уже назавтра две тысячи Аргына и сторожевые сотни Янбека вышли в поход. Взяв с собой Арслана, отправился и Хабрау. Все думы его были о джигитах, которые остались заложниками в стане Тимура. Там его любимый ученик Айсуак, Хабрау должен быть с ним рядом, стать ему защитой.

Шныряя повсюду, пробираясь такими местами, где и не всякий зверь проберется, проворные Тимуровы лазутчики наконец сообщили Железному Хромцу, что отступавшие тумены Тохтамыша стягиваются в один лагерь на реке Кондурче. Расстояние между ханом и эмиром было меньше ста верст.

Переправившись в середине месяца Жауза[1] через Ик, Тимур шел еще три дня и встал на двухдневный отдых, ожидая, когда подтянутся бредущие сзади стада и караваны с оружием и провизией. Он созвал на военный совет эмиров передовых туменов правого и левого крыла, сыновей, внуков и других родственников, командовавших войсками. Великий эмир видел, что последние две недели, когда ежедневно одолевали по тридцать пять — сорок верст, утомили коней и вконец измотали пешие войска.

Был отдан приказ: прежде чем вступить в бой, тща-

---

[1] Жауза — с 22 мая по 21 июня. Тимур переправился через Ик 4 июня 1391 года.

тельно проверить состояние войска, начиная от десятка и кончая туменом, еще раз строгим глазом осмотреть оружие и одежду каждого воина, а у конного и лошадь. Если в чем обнаружится недостаток, восполнить и привести в порядок.

Тимур не сомневался, что все будет исполнено в точности и беспрекословно. Однако его терзала тревога: если Тохтамыш успеет собрать в кулак свои летовавшие на сотнях верст войска, его двумстам тысячам придется сражаться с пятьюстами тысячами Орды. Так что надо ударить, пока из Сарая и с берегов Дона не прибыло к хану подкрепление. Поспешить бы, но и войскам нужен отдых.

Совет закончился около полуночи. Когда все ушли, Тимур позвал звездочета.

— По воле Всемогущего и Всемилостивейшего Зиждителя расположение звезд предвещает только хорошее, великий хазрет,— сказал провидец.— Слава аллаху, твои славные войска, меч и защита нашей истинной веры, и в этот раз одержат победу, и приумножится твоя безмерная слава.

Ко всякого рода гаданиям, ворожбе, знамениям и приметам Тимур был весьма неравнодушен. Если бы следящий движения светил старый звездочет предрек обратное тому, что сказал сейчас, великий эмир не сделал бы ни шагу, сидел бы и ждал, когда звезды сойдутся снова и укажут, что наступил благоприятный час. А коли так — причин для сомнения и тревоги никаких. Что ж, два дня он пробудет здесь, а там стрелой полетит, тигром набросится на врага.

У Повелителя Вселенной поднялось настроение, он велел позвать историка Шарафутдина и его помощника Нормурада. Те вошли в шатер и, опустившись на колени, почтительно склонились перед ним. Великий эмир коротко сообщил им, о чем говорили на совещании и что предсказал звездочет. Потом высказал несколько мудрых мыслей по содержанию той исторической книги, которая еще только проглядывала из черновиков, наказал особенно тщательно описывать расположение войск, а также преданность и стойкость воинов.

Когда эмир остался один, он набросил на плечи чекмень, вышел из шатра и походил немного, давая разойтись застывшим суставам.

Слабый свет зари уже проступил на востоке. В ясном небе переливаются звезды. Вокруг тишина. Если не замереть на миг и не прислушаться, то даже представить

трудно, какое великое войско, заняв эту широкую степь, спит сейчас глубоким сном. Но у Тимура уши настороже, глаза остры. Он слышит тихий переклик караульных, и фырканье лошадей поодаль, и звон железа, вглядевшись, видит медленно движущиеся тени, поблескивающие при свете звезд навершия копий.

Мысли его о Тохтамыше. С его, великого эмира, помощью этот нечестивый сын Тайгужи сначала сел ханом Белой Орды, потом захватил Синюю Орду, а когда уже подмял под себя весь Улус Джучи, ответил черной неблагодарностью, стал замахиваться на Мавераннахр. Верно говорят, когда собака отъестся, на хозяина бросается. Ну, ничего... Если милостью аллаха сбудется сегодняшнее пророчество, в близкой битве Тимур свернет шею этому разбойнику. Ведь нужно скорее возвращаться домой, в Самарканд, крепче взнуздать Кавказ и Иран, а затем разгромить Молниеносного Баязета. Великий эмир замыслил за десять лет раскинуть свою державу от Средиземного моря до Китая, от Хорезма и до того предела, где великий Индустан сходится с великим океаном. А из-за выродка Тохтамыша эти замыслы самое малое года на два, на три придется отложить.

От гнева переломились брови эмира. Он невольно убыстрил шаги, но, обойдя вокруг шатра, резко остановился, улыбаясь про себя. Нет, он должен пока подавить свою злость. Не то накинется изжога и не только нутро изгрызет, но и ум замутит. А ему особенно теперь, перед большим сражением, нужно душевное спокойствие и ясный рассудок. Много чего скопилось, что надо спокойно обдумать.

Какое взять построение войска, чтобы оно оказалось неожиданностью для врага? — вот что было неотложной заботой эмира. Этот ордынский самозванец неглуп и обычный боевой порядок Тимура знает хорошо. Наверное, по этой памяти и расставит свои тумены. Нет, разве Тимур — не Разящий Меч Аллаха, чтобы не приготовить ему хитроумной загадки!

После долгих раздумий он решил так: левое и правое крыло останутся без изменений, но конницу авангарда в середине надо довести до шести отрядов по тысяче, перед ними поставить три тысячи легковооруженных воинов. А самое главное — удержать в резерве как можно больше войска. И резерв этот построить в два ряда. Численность переднего ряда можно довести до двадцати, а может, до пятнадцати тысяч, второго ряда — до двадцати

восьми — тридцати. В бой они вступят только в крайнем случае — и решат исход сражения. С ними и будет Тимур, чтобы самая грозная палица была под рукой. Основное же войско вместо трех, как было прежде, он разделит на семь колонн, и впереди каждой пойдут лучники...

Такие большие изменения надо испытать на военных учениях, еще до встречи с врагом. Как только войска поднимутся с отдыха, эмир уже в пути расставит их в новом порядке, объяснит задачу и место каждого тумена, каждой тысячи.

Нет у великого эмира обычая отступать от задуманного, от цели, которую поставил перед собой. Если бы сомневался, обращал внимание на всякие препятствия и неурядицы, разве отважился бы выйти в поход за две с половиной тысячи верст от Мавераннахра? Но и очертя голову он не бросился. С помощью лазутчиков выверил направление, узнал, через какие страны ляжет путь, где что есть, чего нет, и только тогда приказал войску трогаться. И потому вплоть до сегодняшнего дня его войско ни с чем неожиданным не столкнулось. Лишь в последний месяц возникла ощутимая нехватка в провизии, и дневное довольствие воинов пришлось урезать чуть не вполовину. Хорошо еще, на днях башкиры пригнали скот на убой. Пусть хоть перед боем сарбазы наедятся как следует.

А вот воинов Богара дал мало. Может, не верит, что Тимур разобьет Тохтамыша? По донесениям лазутчиков, больше двадцати тысяч посадил в седло башкирский бей. Хоть бы половину из них прислал — совесть его перед эмиром, который несет стране башкир освобождение от гнета, была бы чиста. А так...

Эмир уже входил в шатер, когда сзади кто-то негромко покашлял. Это был начальник стражи. Не дойдя до Тимура шагов пять-шесть, бросился на колени:

— Великий хазрет, сторожевой разъезд, который ходил к Итилю, привел двух человек. Говорят, что есть у них слово, но оно только для ушей Повелителя Вселенной. Как прикажешь?

— Чего сам не допросил? — поморщился Тимур.

— Допрашивал... Только, говорят, хоть режьте, никому, кроме самого великого эмира, не скажем. У старшего кольцо есть с твоим именем.

— Приведи в шатер! — приказал Тимур.

Один из пленников, степенный мужчина средних лет, опустился на колени и, приложив руки к груди, с подоба-

ющим почтением приветствовал эмира, потом обеими ладонями провел по лицу. Второй, безусый еще юнец, косил на него взглядом и повторял его движения.

— Говори,— разрешил эмир.

— Сначала назовусь, великий хазрет. Я в диване хана Тохтамыша служил по делам снабжения. Зовут Мухаммедом. Этот юноша — единственный мой сын. Вдвоем бежали.

— Говори, с чем пришел.

От пристального взгляда эмира тот поежился. Однако нити рассказа не упустил, продолжил, как задумал.

— Уже почти два года я на твоей службе, великий эмир. И перстень этот два года хранил, берег в глубочайшей тайне. Сам понимаешь, откройся мой секрет, не сносить бы головы. Вот вдвоем с сыном и бежали... А весть моя такая: главного ханского знаменщика взял я под твое милосердное покровительство.

— Хы... — сказал эмир и даже привстал с места.— Ну-ка, повтори!

— Да, великий хазрет, да! В самый разгар боя этот мой земляк повалит на землю главное знамя Тохтамыша. А ханские войска, увидев, что знамя повержено, поймут это как поражение. Их поражение — твоя победа...

Тимур долго сидел молча. Услышанная весть — еще одно подтверждение предсказанию звездочета! Он знал, что у него в войсках Тохтамыша есть свои люди, но на такое не рассчитывал. Если слова этого проныры окажутся правдой, какая же подмога будет его отважным туменам! Да, аллах одобряет его поход, благословляет каждый его поступок, каждое его решение, дает ему силы!..

Очнувшись от покашливания Мухаммеда, эмир пробормотал молитву и провел руками по лицу.

— Когда я по милости аллаха разобью вора Тохтамыша, предстанешь предо мной, как тебя... Мухаммед-мирза. За верность дам тебе сердечное свое благословение и столько богатства, что на всю твою жизнь хватит и потомкам еще останется...

Когда перебежчики вышли, он хлопнул в ладоши.

И ладонь еще от ладони не отнялась — вошел начальник охраны.

— Окажи уважение, устрой гостей на отдых. Но... и глаз с них не спускай!

Когда лег, долго не мог уснуть. Думал о том, как повсюду верные лазутчики с тысячами уловок, вопреки

смертельной опасности, собирают для него сведения — и все благодаря его мощи. Все боятся его гнева, любой готов отдать за своего эмира жизнь. Иначе и быть не должно. Он — Разящий Меч Аллаха, защита ислама. Всему миру известна справедливость великого Тимура-Гурагана, его милосердие и беспощадность к врагам, его верность святому пути истинной веры, с которого он никогда не сходил. И все страны, которые под его рукой, все соседи, даже сыновья и внуки, и все войско, от самых знаменитых его сардаров до самого последнего ратника, любой из них в каждую минуту живет между надеждой и страхом. Так думал он. И еще раз уверился в том. Недаром же трус Тимут-Кутлуг и коварный темник Едигей, в надежде после разгрома Тохтамыша залезть на престол Золотой Орды, примкнули к войскам великого эмира. Очень уж хочется при дележе добычи утянуть кус пожирней.

А башкирский бей Богара? И этот тоже меж надеждой и страхом мечется. С одной стороны, хочет скинуть власть Орды, надеется создать свое собственное государство, встать в один ряд с сильными правителями и ханами. С другой стороны — и Тимура боится, и Тохтамыша. Да, щекотливое положение у бея. Сразу на двух коней хочет сесть. Если же в предстоящей битве Тохтамыш возьмет верх — дни башкирского улуса сочтены, Орда утопит его в крови. Оттого и бережет войско, прислал только две тысячи всадников. Хочет уверить Тимура: видишь, мол, и войско дал, и скот на убой пригнал, твою сторону держу.

Да, хитрый, видно, человек этот бей. Хитрец, хитрец... Норовит, целясь криво, попасть прямо, рассчитывает снять шкуру со зверя, убитого другим. Ну, это еще посмотрим. Когда его, Тимура, войска разобьют врага и войдут в башкирские земли, Богара сам придет и склонит перед ним голову. Ничего другого ему не остается. С Ордой в мире ему больше не жить. Конечно, долго быть здесь Тимур не собирается. Самые высокие его помыслы связаны с Индией и Китаем. Вот с помощью аллаха побьет он Тохтамыша, сломает ему хребет, так что он и головы больше поднять не сможет. И, оставив его издыхать, повернет своих коней в те заветные сказочные страны. А с этой по милости Орды вконец обнищавшей степью ему возиться некогда. Пусть дерутся башкиры с раненым зверем, пусть добивают друг друга. Это ему, великому эмиру, лишь на пользу.

В своих гордых мечтаниях Тимур не захотел понять, каким опасным путем пошел Богара, какой груз принял на свои плечи. А сколько понял — того не уважил. На самом же деле врагом башкирского бея, который с большими трудами смог собрать вокруг себя только южные кочевья, был не один Тохтамыш. Раздоры, вечная вражда башкирских племен, которые хоть и перебивались между жизнью и смертью, но жили каждый сам по себе, в любую минуту при возможности были готовы обобрать соседа,— вот что было самым страшным врагом Богары. А Тимуру свои помыслы дороги, и к жалобам башкирской земли он глух...

Короткий, но сладостный утренний сон дал отдых телу и успокоение душе — Тимур проснулся с просветленным лицом. Сон, который приснился ему, тоже сулил радость: будто поднялся он на вершину круглого холма и оттуда обозревает открывшиеся ему дали. Льет дождь, но весь мир озарен ярким светом.

Он совершил утренний намаз, позавтракал и велел позвать толкователя снов. Надо свою вынесенную из сна догадку закрепить и утвердить мудростью ученого. Только тогда сбудется это предзнаменование.

Выслушав рассказ эмира, толкователь, достав лбом до пола, отбил поклон, подумал немного и, воздев руки к войлочному потолку, пронзительно запричитал:

— Бисмиллахи-иррахман — иррахим! Слава аллаху, великий хазрет, сон, который ты видел, еще одно святое знамение свыше. Ты стоял на высокой горе — это говорит о том, что и впредь ты будешь править всем миром...

— А дождь? А сияние зачем?

— Великий правитель! Если проливной дождь показывает, что сила-мощь твоя неисчислимая будет расти еще и еще, то лучи, сияние озаряют ту истину, что нет на земле никого, кто мог бы своей славой сравниться с тобой. Аминь! — И толкователь провел руками по лицу.

Еще больше поднялось настроение Тимура. Резвыми шагами прошел он к двери и широким взмахом откинул парчовый полог. Теперь у него не оставалось ни капли сомнения в том, что в битве с Тохтамышем он возьмет верх. Однако, взнуздав свое нетерпение, он повелел пригласить сыновей и внуков и изъявил желание вместе с ними объехать войска.

Вскоре разодетое в расшитые серебром и золотом одежды, гарцующее на чистокровных иноходцах потомство эмира предстало перед ним. И в сопровождении ста

пятидесяти воинов личной охраны они пересекли защитный ров вокруг шатра и выехали в степь.

Хорошо отоспавшиеся, отдохнувшие воины ухаживают за лошадьми, чистят одежду и оружие. Куда ни посмотри — горят костры, в казанах варится мясо. Это — от щедрот Богары-бея. Никакой бестолковой толчеи, никакой суеты. Все работы ведутся под присмотром десятников или сотников, по жесткому порядку.

Правда, если вглядеться, то можно уловить в глазах тревогу и чуть заметную вялость в движениях. Ведь одни четыре с половиной месяца колотились в седлах, другие прошагали пешком. Но старый полководец знает: только начнется бой, от этого застоя, от вялости и тревоги не останется и следа. Войска приводят в движение две силы: страх перед гневом Владыки Вселенной и надежда на предстоящую богатую добычу. Да, да, все они — и эмиры, большие и самые мелкие, и сарбазы, и лучники, и несколько тысяч чиновников, что пригрелись возле войска, все во власти этого закона. Какими бы разными ни были натуры и мысли-помыслы детей человеческих, каждый живет меж страхом и надеждой. Воины, когда храбро идут в бой, рассчитывают на повышение в чине, бóльшую долю из военной добычи и в то же время страшатся наказания, боятся гнева десятников и сотников. И боязливых, и тех, кто силой еще не окреп,— всех ведет все тот же страх. Тысячи страхов и тысячи надежд — но поднимаются все разом, как один, и одолевают сопротивление врага, ломают его хребет.

Царевичи, сохраняя приличие, молчат. Если великий эмир сам не заговорит, сам не спросит, разговаривать при нем — это ни в какие законы-обычаи не входит. Однако младшие его внуки, чувствуя, что у всемогущего деда хорошее настроение, тихо о чем-то переговариваются, чему-то улыбаются. Если бы не строгие взгляды взрослых, молодежь готова рассмеяться, в любой мелочи найдя потеху, поднять коней на дыбы и пуститься вскачь. Чувство гордости щекочет их сердца, дыхание перехватывает: они — наследники великого эмира Тимура-Гурагана, золотые опоры его бескрайнего государства. В чьи руки перейдет этот мир? Конечно, в руки царевичей!

Жизни и судьбы тысяч и тысяч людей, мраморные дворцы и грозные тумены, что, сотрясая землю, скачут в походы за добычей,— все достанется им, законным хозяевам и всевластным правителям Мавераннахра. Они еще молоды и еще не знают, что самое большее через

пятнадцать лет дойдут до того, что из-за престола готовы будут перегрызть друг другу горло. Кровное родство, братство, единство и целостность государства — все будет забыто. И всем будет править только неутоленная алчность, стремление оттеснить другого.

Но эти дни еще не настали. И того, что будет через пятнадцать лет, верно, не знает даже сам великий эмир. Все его мысли там, возле Тохтамыша, с которым он вот-вот встретится лицом к лицу.

Дорога перебежала через овражек и уткнулась в небольшой лесок. Тимур невольно дернул повод, остановился и чуть было не повернул коня обратно. Екнуло сердце. «Что за наваждение?» — пробормотал он, не в силах оторвать взгляда от леса. И было чему изумиться: одни деревья вырваны с корнем, другие сломаны посередине или в вершине, раскиданы как попало. Видно, прошла здесь страшная буря, сокрушительный смерч.

Эмир верил всяческим приметам и знамениям. Тревога сжала сердце, но обратно коня он не повернул, поехал в обход покалеченной рощи. Отогнав тревожные мысли, он заставил себя думать о том приятном, что сопутствовало ему с самого утра.

Вот он, коснувшись головы коня, пустил его шагом, негромко покашлял. Поняв, что он собирается что-то сказать, сыновья и внуки подъехали поближе.

— Сегодня ночью сон видел, дети... — начал эмир. И с легкой улыбкой пересказал свой исполненный значения сон и объяснения по сему случаю толкователя.

— Иншалла! — сказали в один голос царевичи. Хотели сказать еще что-то, выразить свою радость, но эмир взмахом руки остановил их.

— И звездочет тоже расположение звезд истолковал на нашу победу. Значит, долгий путь, который одолел я с тысячами мук, аллах одобряет. Посему сегодня вечером всему моему войску отслужить молебен!

— Слушаемся и повинуемся, великий хазрет! Исполним, как ты сказал! — ответили старшие царевичи.

А молодые, почувствовав, что державшие их поводья наконец-то ослабли, разом зашумели, с кликами стали поднимать коней на дыбы.

Видимо, общая радость и оживление передались и Тимуру. Легонько поддав коня каблуками в бок, он поскакал к отряду, расположившемуся в ложбине, в стороне от других войск.

Когда уже расстояние до отряда оставалось лишь в три-четыре полета стрелы, эмир понял, что это не его войско. Прежде всего насторожило, что не было присущих остальным его туменам порядка и деловитости, доносились шум и смех. Одни воины уселись в круг, а внутри круга идет борьба, а другие воткнули копья, повесили на них кожаные мишени и состязаются в меткости, третьи же растянулись на траве и слушают курай. Гул стоит в ложбине. Одни борцов подбадривают, другие кураиста нахваливают, кричат: «Хай, тысячу лет живи!», «Пусть умножатся твои стада!», «Ну, чисто соловей заливается!».

При виде всадников в богатых одеждах, увешанных дорогим оружием, на сверкающих драгоценной сбруей и седлами конях сидевшие с краю воины тут же вскочили на ноги. Крики: «Аргын!», «Аргын!» — покатились по лагерю.

— Башкиры,— сказал начальник охраны, поклонившись эмиру.

Тимур и сам понял это. Он стоял, кидая по сторонам быстрые взгляды, не зная, к кому обратиться, как по степи, перекатываясь словно эхо, разнеслось:

— По коням!

Войска мгновенно пришли в движение, и вот уже две тысячи всадников стояли в ровном, словно по нитке протянутом строю. Каждая сотня отдельно, перед каждой — сотник. Трое всадников стояли особняком. Один из них взмахнул камчой, и клич: «Да здравствует великий царь Тимур!» — сотряс воздух далеко окрест.

Трое всадников во весь мах поскакали навстречу эмиру, осадили, подняв на дыбы, коней и стали в нескольких шагах от него. Все трое враз поклонились. Эмир не знал, удивляться или сердиться тому, что они не спешились, не упали на колени. Сказал, поморщившись:

— Подойдите поближе, башкирские воины! — И переднему: — Назови себя!

— Аргын я! Начальник вот этого твоего войска! — бодро прокричал Аргын.— Этот — мой помощник, Таймас-батыр. А тот — Хабрау-сэсэн. Сейчас толмачом у нас.

Пока Хабрау переводил его слова, начальник охраны шепнул Тимуру:

— Аргын — сын Богары-бея, великий хазрет.

Взгляд Тимура прошел по Хабрау. Кажется, этого человека он уже видел. Где? Когда? И тут же отмахнулся от самого себя: нигде, никогда! Какой толк запоми-

нать всякого... Его внимание на войске. Двадцать сотен — двадцать застывших ровных квадратов, и у каждой кони одной масти; хоть одеты воины пестровато, но у каждого на голове лисья шапка, что же касается оружия, то оно ничем не хуже, чем у воинов самого Тимура: за спиною колчан, на поясе сабля, к седлу подвешены аркан и тяжелая палица.

Но с каким бы удовольствием ни следил великий эмир за башкирским войском, взгляд его был сумрачен. Он высказал пожелание объехать строй воинов. После осмотра приказал Аргыну, который ехал, не отставая от него ни на пядь:

— Ну-ка, отважный сын уважаемого Богары-бея, пусть твое войско покажет свою ратную сноровку,— и вместе с сыновьями и внуками поднялся на вершину вздыбившегося посреди степи холма.

Аргын каким-то условным знаком подозвал к себе сотников и отдал приказ, сотни тут же разделились на две половины. Одна, пустив лошадей в галоп, отъехала к тому покалеченному лесу, другая поскакала к холму поодаль. Лощина опустела.

Сам Аргын встал у подножия холма, на который поднялся эмир со своей свитой. Пронзительно свистнул. И тут же с двух сторон два грома, два потока ринулись навстречу друг другу.

В миг, когда сошлись два войска, Тимур даже зажмурился — так яростно они сшиблись. От ржания лошадей, сверкания сабель, выкриков, с которыми воины разили «врага», он поначалу опешил. Словно не военная игра перед ним, а настоящий бой. Но искусный полководец, умелый воин Тимур видит, что башкирские джигиты в этой схватке осторожны и вреда друг другу не наносят.

— Афарин! Афарин! — крикнул он в восторге.

Но тут же опять вспыхнуло раздражение. Нет, не оттого, что какой-то там Аргын не встал перед ним на колени. Если он приветствовал лишь кивком головы, таковы, значит, их дикие обычаи. Причина в другом. Ведь если бы хитрый Богара поступился своими тайными расчетами и вместе с этими двумя тысячами львоподобных воинов прислал еще тысяч семь-восемь, какая была бы существенная подмога! Кони быстрые, оружие отменное. А про ратное искусство их и говорить нечего.

Тимур собрал волю в кулак, постарался подавить разгорающийся гнев. И впрямь, даже если не десять, а двадцать тысяч дал бы — все равно они рядом с грозны-

ми, не ведающими страха туменами Тимура-Гурагана были бы схожи с впадающей в море речушкой. Так что и душу травить незачем. Море и есть море. Какая сила может его укоротить?

Эмир не стал дожидаться конца «сражения», повернул коня к своему шатру. Когда же Аргын пригласил его на бишбармак и кумыс, посчитал за ту же невоспитанность. Лицом посуровел, брови переломились. Но и на этот раз он сдержал раздражение, лишь усмехнулся про себя: откуда и знать сыну дикого народа, как нужно вести себя с царями?

Пустив коня рысью, эмир чуть слышно проговорил:

— Пусть их место будет в раю,— и провел руками по лицу.

Один из сыновей, ехавший рядом, не расслышав, переспросил:

— Слушаю, великий хазрет?

Тимур приказал тусклым голосом:

— Перевести башкирские тысячи в самый первый ряд передового тумена в центре.

Уже этим самым войска Аргына заранее были обречены на гибель. Башкиры, отбив первое нападение Тохтамыша, должны были остаться лежать, как те искалеченные бурей деревья, но ценой своей жизни открыть передовым туменам эмира дорогу в центре.

Поначалу Аргын не понял, что ждет его войско. Когда снова тронулись в поход и его тысячи перевели во главу колонны, он это даже истолковал к лучшему. Сзади только и знали что глотали пыль, а здесь хоть вдоволь, всей грудью дышишь свежим воздухом. На привале же трава коням достается свежая, невытоптанная, вода чистая, незамутненная.

Сразу, как влились в войска Тимура, Аргын попытался отыскать брата Айсуака. Но в растянувшихся на десятки верст воинских колоннах найти нужного человека было немыслимо. И еще Хабрау все никак не может уехать из войска. Да и джигитам не хочется отпускать его от себя.

В течение двух дней, не прерывая движения, тумены великого эмира обучались новому боевому построению. И здесь башкиры не подвели, заслужили похвалу темника авангарда. Аргыну с Таймасом и обоим тысячникам накинули на плечи дорогие зиляны.

Когда до речки Кондурчи оставалось с полдня пути, ранним вечером, в самом начале сумерек, был дан при-

каз занять боевой порядок и располагаться на отдых. Аргын уже слышал, что разведчики наткнулись на заставы Тохтамыша, сошлись в рукопашной и было с обеих сторон много раненых, даже убитых. Значит, уже завтра на рассвете его джигиты сойдутся с неприятелем лицом к лицу.

Вдруг тревога охватила его, он отправился искать Хабрау. В походе сэсэн ехал в рядах то одной сотни, то другой. Мерно идут кони. И в плавный их ход, топот копыт вливается звон домбры. В какой сотне Хабрау, там и боевая песня — то звучит приглушенно, то вдруг взлетит дружно.

И сейчас, на отдыхе, сэсэн ложиться не спешит. Собрал вокруг себя джигитов, играет на домбре, напевает кубаир:

Это смерть высоких круч —
Если скроются меж туч.
Месяца и солнца смерть —
Коль зайдут, красны как медь.
Смерть кормилицы-земли —
Если снеги замели.
Для мужчины значит смерть —
Над отчизной вражья плеть.

Притихли джигиты. Аргын, стараясь остаться незамеченным, отошел в сторону, присел на корточки и задумался. В последнее время он свои грубые замашки и жестокость к воинам словно бы забыл. Вдруг порою пройдет по сердцу какая-то печаль ли, тревога ли, и погибший в войсках Орды брат Таргын вспоминается, а задремлет, приходит в сон и изводит его Зумрат, отцова молодая жена.

Все текут и текут строки кубаира, как бурлящая на перекатах река, рокот домбры то взлетает брызгами ввысь, то затихает и идет журчащим круговоротом. «Если спрячешь саблю в ножны, станешь ты рабом Орды. Будешь прятаться от схватки, станешь ты рабом Орды»,— поет сэсэн, крепит в джигитах отвагу, зовет их в завтрашнем бою биться с врагом без пощады.

Поначалу Аргын был против того, чтобы Хабрау шел с ними в поход. До домбры, до песни ли в бою? И другие турэ поддержали его, не хотели славного сэсэна отправить прямиком в огонь. Но Юлыш сказал: «Только Хабрау сможет разыскать Айсуака и тех джигитов. К тому же в войсках Тимура есть у него друг. Не такое это дело, освобождение заложников, чтобы можно было обойтись

без знакомства»,— чем и прекратил спор. Пришлось Аргыну согласиться. А теперь сэсэн здесь, и в том для него утешение. Но и забота: как бы побыстрее, до начала смертного боя, выпроводить отсюда сэсэна.

У Хабрау же свои мысли, свои помыслы. Будет от него польза в бою или нет, но оставить товарищей он не мог. Джигиты в глаза ему смотрят, им нужны слова надежды.

Когда их с правого крыла перевели в центр, на самое острие удара, Хабрау, как и Аргын с Таймасом, понял, что ожидает башкирское войско. Вместе с передовым туменом они полягут первыми. Но разве из-за этого отступит он в задние ряды? Коли останется жив, найдет и освободит заложников. А пока его место здесь — плечом к плечу со своими джигитами.

18

Богара метался, не находя себе места. Больше двух недель миновало, как ушел Аргын, но до сего времени от него никаких вестей. По расчетам бея, Хромой Тимур давно пришел на берега Итиля. Должно быть, эмир и хан уже сошлись в бою, и кто-то потерпел поражение, а кто-то торжествует победу. Но почему же до сего времени нет гонца от Аргына? Ведь условились же! Или сам он и две тысячи его ратников остались лежать на поле боя?

С тяжелым сердцем отправил Богара своего сына в путь. Но что он мог поделать? Когда разговор зашел о том, кого поставить во главе уходящего в распоряжение Хромого Тимура двухтысячного войска, большинство турэ уткнулись глазами в землю. Ни один из них не вскочил, не сказал: «Я пойду, почтенный бей!» Он и послал своего сына — дабы показать, что дело, начатое им, надежно. Ладно еще, хватило у бея ума назначить горячему неопытному Аргыну в помощники старого Таймаса-батыра.

Терзается Богара из-за Аргына, из-за томящегося в заложниках Айсуака, но более того — здешние дела всю душу извели. Да и как не извести? Более двадцати тысяч стоят у него в верховьях Демы и Ашкадара, и держать их в узде с каждым днем становится все трудней. Какой отряд ни возьми, воины не ладят между собой, ссоры вспыхивают по любому пустяку, даже порой доходит до сабель. И ни уговорами, ни наказанием их не осадить, не утихомирить. Оно и понятно: когда войска

топчутся на одном месте, воины изнывают от безделья и неизвестности, падает дисциплина. Слышно, что джигиты из дальних земель ропщут: «Зачем нас на коней посадили, если на привязи решили держать? Мы тут будем стоять, а там кто-нибудь наши аулы захватит!» — и хотят разъехаться по домам.

Первым здесь оказался опять Байгильде. Как только понял, что Богара решил окончательно порвать с Ордой, а идти на Тимура у него и в мыслях нет, забрал сотню своих сайканских джигитов, остававшихся в его подчинении, и бежал из лагеря. Не послушался бей Татлыбике. Она предупреждала: «Не верь Байгильде, за каждым шагом этого головореза нужно следить. А самое верное — убрать с дороги». Теперь уже и другие сайканы ходят угрюмые и при виде бея отводят глаза.

Даже Юлыш, и тот не хочет ждать, не терпится ему, поднять саблю на хана. Уж не сомневается ли он в расчетах Богары? Не потому ли твердит все: «Нужно слать гонцов к табынцам и юрматинцам. Если и они поднимутся, не страшны нам ни Тохтамыш, ни Тимур»? А Богара думает иначе. Юрматы, табын, гайна — племена воинственные, драчуны изрядные. Сесть-то на коней они сядут, но потом, когда падет Орда, каждый из них начнет перед другими заноситься, захочет подчинить себе все башкирские земли. Нет, таких опасных помощников Богаре не нужно. Сначала, пользуясь тем, что хан и эмир вцепились друг другу в глотку, он создаст на Южном Урале свое государство и уж потом, поглаживая по головке, подомнет под себя одного за другим и юрматинских, и табынских забияк.

А вот войскам действительно нельзя сидеть в безделье. Может, отправиться следом за Хромым Тимуром к Итилю? «Здравствуй, великий эмир, войско, что ты просил, я привел под твою руку. Что прикажешь?» Дальше и гадать не надо. Хромой царь бросит башкир в самое пекло боя. Нет, такой глупости бей не сделает. Войско ему самому нужно.

В эти-то беспокойные дни от минского турэ Янбека и прибыли гонцы.

По их словам, пятнадцать дней тому назад возле речки Кондурча между войсками Тимура и Тохтамыша случилась великая сеча [1].

[1] Это сражение произошло в 1391 году 18 июня между нынешними городами Куйбышевом и Чистополем.

Бесчисленные рати полегли с каждой стороны, но Тимур вышел победителем. Остатки разгромленных туменов Тохтамыша бежали на юг, а воины Тимура, преследуя ордынские войска, положили их тысячами.

Но главное, что велел передать Янбек: три тысячи, уцелевшие от ногайского тумена, пробившись из окружения, пошли в отход не к Итилю, а сюда, на башкирские земли. Ногайский эмир, старый стервятник, остался жив. Должно быть, намеревается, разграбив кипчакские земли, набрать пропитания для войска, заменить изможденных лошадей и, перебравшись через Яик, уйти в Срединную степь. Если бей не поможет, полутора тысячам Янбека ногаев не остановить.

В том, что победит Железный Хромец, Богара и прежде не очень сомневался, однако боялся, что война перекинется на его земли. Теперь же, когда ордынцы бежали вниз по Итилю на юг, бей утвердился в том, что Тимур не повернет к Уралу, а будет преследовать Тохтамыша. Вести гонцов окрылили его.

Кипчакские аулы прятались в лесах и горных ущельях. Узнав же, что опасность миновала, они, слышно, потянулись обратно в степь. Да и что им остается? Скот-то кормить нужно. Они и не думают, что, спасшись от Орды и Тимура, станут добычей вырвавшегося из кольца ногайского тумена.

Богара должен разбить ногаев и упредить грабеж. Назначив Юлыша главой пятитысячного войска, он бросил его навстречу врагу. Сам же с основными силами неспешным ходом через отроги Кансуры направился к Акхыу.

Он все еще надеялся, что Аргын жив. На случай, если он вернется на место прежней стоянки, бей оставил там сотню воинов, они должны были вести Аргына по следу отца.

Не знал Богара, что, направив основные силы не к Яику, а к излучине Акхыу, совершил непоправимую ошибку.

А сын бея, отважный воин Аргын, к тому времени уже покинул этот светлый мир.

...Две тысячи его всадников были поставлены сразу позади шести тысяч тяжеловооруженных пеших воинов. Очередь до башкир дошла скоро. Только сшиблись два войска и пешие ратники, метнув стрелы и копья, отошли

назад, конница Тимурова авангарда и две башкирские тысячи ворвались в центр ханских войск. Тем временем правое и левое крыло, растягиваясь на несколько верст, начали обходить полчища Тохтамыша.

Яростно ржут кони, с криками валятся из седел раненые и умирающие, со свистом летят стрелы, звенят сабли и копья.

Еще бой не разгорелся во всю силу, а половина башкирских конников уже полегла. Аргын, неистово размахивая саблей, звал своих джигитов вперед, но строй их редел и редел. Сразив пятерых-шестерых врагов, пал спутник Хабрау, усергенский богатырь Арслан. Чуть поодаль ордынцы окружили Ильтугана и двух тамьянских джигитов. Аргын бросился им на помощь, но не успел — все трое уже рухнули под копыта коней. В это время кто-то крикнул ему: «Хай, Аргын, бесстыжее твое лицо! Против свата пошел? Вот тебе, изменник!» — и, нацелившись, метнул в него копье. Аргын успел уклониться, и копье с бунчуком пролетело возле плеча.

Это был Кутлыяр. Аргын, подняв коня на дыбы, повернул и ринулся на него. Долго бились они. У одного свата из виска кровь течет, а другой не может даже улучить миг и вытащить впившуюся в бок стрелу.

Но вот Аргын, вконец разъяренный от запаха струящихся по лицу пота и крови, начал теснить врага. Прорычал: «Умри, шакал проклятый!» — и, зло выругавшись, обрушил саблю на голову Кутлыяра.

Но в центре у Тохтамыша сил оказалось больше. Передовые тысячи Тимура, не выдержав натиска, стали пятиться назад. Но башкиры, сколько их еще оставалось в живых, всё рвались вперед. У кого сломалась сабля — взялся за палицу, кто потерял палицу — мозжил головы врагов камчой со свинцовой заплеткой. И в неудержимом своем запале не заметили джигиты Аргына, что передовой тумен начал отступать.

Ордынская конница, охватив башкир железным кольцом, теснила их к своему тылу. Положение было гибельным. На каждого башкирского воина насели по два, по три врага. Видит Аргын: многие его джигиты, истекая кровью, рухнули под конские копыта и все меньше сил у тех, кто еще в седле. Руки устали, от рукоятей сабель вспухли ладони. Хабрау еще в седле, направо, налево раскидывает сабельные удары: «Вот тебе! Вот! За Йылкыбая!..» Шапку с головы сбили, из висящей за спиной домбры торчит стрела.

И вдруг для Аргына весь огромный бой замер и затих. Лишь стрела прозвенела тонко и вошла ему в грудь. Упала взметнувшаяся с саблей рука, мощное тело склонилось к гриве коня. Собрав силы, Аргын прошептал: «Таймас-агай, пригляди за сэсэном!..» — обнял коня за шею и закрыл глаза.

И не было бы башкирским джигитам спасения, если бы в этот миг, воодушевив, прибавив сил одной из отчаянно рубившихся сторон, а другую повергнув в страх, не прозвучало: «Знамя! Опрокинулось ханское знамя! Подох Тохтамыш!» Ордынские конники, выворачиваясь в седле, разом посмотрели назад — там, где только что гордо развевался главный ханский стяг, ничего нет — и, развернув коней, бросились врассыпную. Начавшие было подаваться войска Тимура устремились вперед.

Из двух тысяч воинов Аргына на конях оставалось всего четыре сотни. Эмир передовых туменов дал им отдых, разрешил им отыскать своих раненых товарищей, перенести в шатры, стоявшие верстах в пяти отсюда, и отдать в руки лекарям, а самим с зарей снова встать в строй.

Таймас-батыр, весь черный от гнева и горя, поник головой, не смел даже глянуть в глаза своим джигитам. Словно он и был повинен в этом смертоубийстве, в коварстве колченогого царя. Старый воин решил приказа не выполнять и остатки башкирского войска повернуть домой. Решил из благих побуждений и даже представить не мог, что ожидает оставшихся в живых воинов в пути. Перевязав раненых, они собрали раскиданных по степи мертвых своих соплеменников и предали их земле. И только после этого тронулись в путь.

Аргын все еще боролся со смертью. Полежит немного молодой батыр, а потом упрямо рвется встать, но только всколыхнется — изо рта пенится кровь. И наконец на рассвете жесткое его лицо сквозь муку озарила улыбка. «Посади меня лицом к Урал-тау»,— сказал он джигиту, который был возле него. Одна-единственная слеза скатилась по щеке. «Сыночки...» — сказал он еле слышно, вспомнив маленьких своих детей. Это было его последним словом.

Как ни ослабли джигиты, как ни ломило усталые, натруженные саблей и палицей тела, уснуть они не могли. У каждого кто-то погиб в сегодняшнем бою — старший или младший брат, близкий родич или задушевный друг. А их самих, живых, что ждет? Откроет ли им эта страш-

ная битва дорогу к свободе? Избавит ли от гнета и унижения? И, как на грех, в час тяжких дум нет среди них Хабрау. Только они вышли из боя, сэсэн отправился искать Айсуака. Будь он здесь, звенела бы домбра и нашлись бы у него слова, что утешением легли бы на тоскливые души джигитов.

Таймас был ранен стрелой в ногу. Рану обернули паленой шкурой, перевязали, но боль не унялась. Старый батыр, морщась и стискивая зубы, то сунет ногу в стремя, то снова вытащит. Его боевой конь, за ночь отъевшийся и отдохнувший, только взяли путь в сторону своих кочевий, сразу заиграл мускулами груди и все норовил пуститься вскачь. Никак не поймет, что нельзя хозяину торопиться, должен идти вровень с поступью тех коней, которые несут на себе раненых.

Переваливая невысокие взгорья, спускаясь в низины и пересекая прорезанные вешними водами овражки, тянется к востоку грустный караван. Звякает порой железо, невольно застонет раненый, стукнет о камень копыто, и вновь ни единого звука.

Вот так медленно, безмолвно шел караван, как вдруг позади него возникли пять-шесть всадников. Вот они подъехали совсем близко, помаячили, вглядываясь в башкир, и поскакали прочь. Джигиты начали было стягиваться в кулак, но, увидев, что опасности нет, спокойно продолжили путь.

Впереди темнели очертания леса. «Доберемся туда и устроим отдых»,— подумал Таймас. Велел ускорить шаг. Но еще больше, чем об отдыхе, думал он о безопасности. Войдут в лес, скроются от чужого глаза, и станет покойнее на душе у Таймаса.

До леса оставалось еще с версту, как сзади раздались громкие крики, пронзительный свист и дробный раскат копыт. Целое войско с двух сторон шло на обхват отряда Таймаса. Джигиты остановились и начали стягиваться к своему военачальнику.

У батыра было всего триста джигитов, которые могли еще держать оружие в руках, но и они, рассадив раненых товарищей по двое на каждого коня, сами еле брели от усталости. К тому же колчаны были пусты, все стрелы они истратили во вчерашнем сражении.

Это были ногаи. Почему они здесь? Откуда они появились? Таймас, конечно, не знал, что после вчерашней битвы ногайский эмир вместе с тремя тысячами своих

оставшихся в живых разбойников бежал не к Итилю, а в башкирские степи.

Таймас подозвал двух джигитов, на чьих конях сидело только по одному раненому, велел ссадить их, а самим скакать без сна и отдыха к Богаре, сообщить, что ногаи вошли в башкирскую степь. Проводив гонцов долгим взглядом, повернулся к своему войску. Что делать? Бежать уже поздно, и сил, чтобы дать хороший бой на прощание, тоже мало. Бросить оружие и склонить голову перед врагом? И так смерть, и эдак погибель. Таймас махнул, чтобы опустили раненых на землю и садились на коней.

— Вот, братья, настал и наш черед,— сказал старый батыр.— Кто еще надеется остаться в живых, пусть воткнет саблю в землю и пешком идет к ногаям, может, и пощадят...

— Пустое толкуешь, Таймас-агай,— оборвал его один из воинов.

— Лучше смерть, чем ногаев молить! — зашумели вокруг.

— Да после вчерашнего хоть золотые горы им посули, о жалости не вспомнят.

— Приказывай, Таймас-батыр,— говорили джигиты, начиная горячить коней.

Те из раненых, кто еще мог стоять на ногах, с перевязанной ли рукой, с обмотанной ли окровавленным тряпьем головой и грудью, вытащили из ножен сабли и встали вокруг своих лежащих на траве товарищей.

Всадники разбились на два отряда и ринулись на врага, а раненые приглушенными голосами затянули боевую песню. Предсмертный речитатив летел над степью: «Черная туча закроет день, и, ночь озаряя, прорежет молния, ай-хай-хай! Скалы ломая, дробя, накатилась буря, ай-хай-хай! Прощай, родина моя, земля родимая!.. Не молния то блестит, не туча солнце закрыла, ай-хай-хай! Размахивая саблей, идет враг, стервятник-ворон крылом своим небо закрыл. Прощай, родина, прощай, любовь моя тонкостанная...»

Кровавый бой шел всего полчаса, воины Таймаса, уложив врагов, нашли свою смерть, и души их отлетели кречетами.

Из всех, кто сел на коня, в живых оставался только Таймас. Весь в крови, размахивая пудовой палицей, прокладывал он себе дорогу к раненым джигитам. До последнего своего вздоха будет он защищать их. С проло-

манными черепами, продавленной грудью один за другим валились из седел ногаи, а батыру смерти все не было. С криками: «Не убивать! Взять Таймаса живым!» — с десяток врагов пустили коней вскачь, стягиваясь все туже вокруг него. Но он свалил еще троих, прежде чем шею его захлестнул аркан. Задохнувшийся, он вылетел из седла.

Нет, не суждено ему остаться лежать в степи, найти покой рядом со своими джигитами. Муки и унижения, кровавые пытки ждут старого батыра. После вчерашнего разгрома, после гибели Кутлыяра, и ко всему этому уже сегодня потеряв чуть не полтысячи своих головорезов, ногайский эмир был готов на неслыханное зверство. Брызжа слюной, не в силах выговорить ни слова, он лишь прошипел злобно и показал пальцем: всех раненых башкир изрубить в куски.

Таймаса-батыра, волочившего раненую ногу, с вывернутыми назад руками поставили перед ногайским эмиром: вот, дескать, ты хотел, чтобы взяли его живым, мы и взяли. Эмир впился в него взглядом и долго молчал, все глотал что-то и не мог проглотить.

— Ну, нашел чего искал? — наконец, сглотнув, сказал он.

— Все равно больше твоего найти не смог,— кивнул Таймас туда, где только что отшумел бой.

— Пес бешеный! Изменник! — В руках эмира сверкнула сабля и острием уперлась в горло батыра.— Где Аргын?

— Поехал к отцу.

— Врет! — сказал сотник, зять Байгильде.— Я сам всадил в него стрелу. А стрела отравленная...

— Повезло ему. Попадись ко мне — так легко бы не сдох... Скажи-ка, Таймас, много ли войска у Богары? Где, в каком месте оно стоит? — Эмир дважды прокрутил в ладони рукоять сабли. Кривое лезвие описало в воздухе круг и замерло. По синеватой стали потекла кровь. В спину батыра уперлись копья.

— Добром отвечай, а не то!..— заорал сотник и поднял камчу.

Таймас молчал. «А не то?..— усмехнулся он про себя.— А что ты можешь со мной сделать?» Не застонать, не выдать боли... Взглядом прошелся по телам воинов, которые и сейчас еще, в смерти своей, сжимали оружие в руках. Он стиснул зубы. Нет, ни звука не услышат они от него...

— Последний раз спрашиваю: где Богара? Ответишь — все четыре стороны тебе кибла, ступай куда хочешь.

Понимает старый батыр: не для того хочет вызнать этот разбойник расположение башкирского воинства, чтобы напасть, для этого нет у него сил. О том думает, как бы скрыться от глаз Богары, воровски прошмыгнуть мимо него. Чует ногайский эмир, что за каждым кустом, за каждым взгорком караулит смерть. Нет, уж скорее Таймас сам себе язык откусит, чем укажет ему путь...

Крепче опершись на здоровую ногу, он откинулся назад, чтобы со всей силой удариться горлом об острие сабли... и не успел. Сабля, сверкнув в воздухе, вонзилась в землю у ног эмира. Таймас рухнул ничком.

— А-а, легкой смерти захотел?! — закричал эмир.— Нет, Таймас, так легко не избавишься, муки твои еще впереди! К хвосту коня привяжите эту собаку! Развяжется язык — и аркан развяжется.

Наскоро захоронив убитых, ногайское войско тронулось в путь. Эмир спешил скорее достичь Яика, перебраться в Дешти-Кипчак и уйти, затеряться, исчезнуть. Там, в летовавших на сотнях верст аулах, еще немало мужчин, которые могут сесть на коней. Эмир наберет новое войско. В крови затопит страну башкир, а уж с самого Богары, с этого зятя-изменника, живьем сдерет кожу!

Остатки разбитого тумена идут крадучись, хоронясь в лесочках, таясь за холмами, словно стая волков, что вышла на добычу. Дозорные, высланные вперед и в стороны, высматривают дорогу.

Но Таймас-батыр, которого на аркане потащили за лошадью, даже за этим воровским шагом поспевать не в силах. Стиснув зубы от боли в раненой ноге, сделал пять-шесть шагов, на миг только замешкался, как скрутивший его руки волосяной аркан натянулся, и он упал. С великими муками поднялся батыр на ноги, но сидевший в седле ногай ухмыльнулся и ударил лошадь камчой. Таймас рухнул опять.

После этого вставать он уже и не пытался. Он видел, что одного хотят ногаи — продлить его муки как можно дольше, чтобы раскаялся старый Таймас. Сотник, зять Байгильде, едет рядом, прорычит порою: «Ну, скажешь, где прячется Богара?» — и, свесившись с седла, ударит плетью волочащееся тело. Таймаса то вверх лицом перекинет, то спиной, в вытянутых руках со страшной болью расходятся суставы, мелкие камни, колючие кустарники

сначала терзали одежду, растерзав же, принялись рвать тело. И так же в клочья рвалось сознание. Он то приходил в себя, то снова уходил в забытье... Глаза застилала кровавая пелена — приоткроется на миг, мелькнет степь, кусочек неба, и снова тьма. Лишь, не смолкая, звенела нежная мелодия курая, но вскоре и она исчезла куда-то, гром ли быстрых копыт, звон ли домбры заглушил ее, и под эти звуки старый батыр почувствовал, что боль, терзавшая тело, отпустила его, и он полетел в черную бездну...

Но могучее, как у Алпамыши[1], изувеченное тело Таймаса-батыра и охваченная ненавистью изъязвленная душа его все еще не хотели поддаться смерти. Он был жив. И сквозь забытье он услышал чей-то голос:

— Эй, ты, рвань, очнись! Ну что? Ломил, артачился, как упрямый жеребец, свое гнул... На сильного оружие поднял. И что же получил?

Голос вроде бы знакомый, но кто это, батыр понять не мог. «Против зла я вышел. Страну свою защищал, которая стонала в муках...» — ответил он. Не знал, что летит он уже где-то между жизнью и смертью и нет у него голоса. А тот говорит и говорит свое. Только урывками слышно:

— Ну, что?.. На силу свою надеялся, со мной тягался. Звал же я тебя в свое войско — не пошел... Ты здесь останешься, будешь гнить, мясо твое стервятники расклюют, а Байгильде все так же будет в седле. Тьфу!

Вот, значит, кто... Байгильде. Да, было дело, в одно время он уговаривал Таймаса перейти к нему на службу, встать во главе его разбойной ватаги. Жить, мол, будешь в почете и сытости, какой ни отцы, ни деды, ни все родичи твои никогда не знали, в каждой баранте получать с ним, главой рода, равную долю. Вот чем завлекал батыра... Откуда же он вдруг появился здесь? Ведь он, Таймас, с ногаями дрался. А потом...

— Сдох,— сказал Байгильде. Пнул неподвижно лежавшего батыра в бок и влез на коня.

Последние дни Байгильде носился из кочевья в кочевье и подговаривал кипчаков вернуться к Яику. Во время этих разъездов он повстречался с ногаями и повел их нехожеными путями к Яику. Изувеченный, умирающий батыр больше ногаям был не нужен. Он не дышал,

[1] Алпамыша — сказочный богатырь.

не билась в жилах кровь. Посчитав мертвым, они бросили его на берегу маленькой речушки.

Байгильде решил, что не время сейчас ворошить с ногаями обиды, свое они получили, и надо их беду повернуть себе на пользу. Очень кстати, что сват-эмир смазывает пятки. Завернув по пути, Байгильде забрал прятавшихся в укромном месте жену, детей, многочисленную родню, заодно погнал и большинство сайканских аулов к Яику. Вот вернутся, встанут на летовку, и где уговорами, где угрозами, но заставит всех мужчин, которые еще могут держать оружие в руках, сесть на коней.

Ногаи готовы носить Байгильде на руках. Идут теперь через кара-кипчакские земли, страха не зная, вдали от цепких глаз Богары. И о пропитании думать не надо, сайканский сват сам все найдет. Эмир уже сейчас говорит: «В тот же день, как придушим Богару, тебя на его место посажу беем». И еще обещал, что свою дочь Зумрат вернет в отцовский дом, заново сыграет свадьбу и выдаст за нового бея замуж. Вот уж тогда он, бей башкирский, покажет ей, этой козе-щеголихе, уж она у него попрыгает...

19

От всего, что видел и что пережил, Хабрау был словно между сном и явью. Сколько парней на его глазах сложили головы и сколько остались изувеченными. Понимает сэсэн, война — это как страшный ураган, как моровая чума. Но и мор, и буря — это разгул жестоких сил природы. А смерть, убийства и потоки крови, что видел он,— в них повинны только сами люди. Какая нелепость, какое изуверство! Ради богатства, ради утоления чьей-то гордыни, чьей-то жажды славы и власти гибнут тысячи...

Гибель войска Аргына незаживающей раной легла на сердце Хабрау. Душа не находила места, он готов был отказаться от прежних, годами взлелеянных мечтаний. Если же, думал он, ради свободы нужно платить такую высокую цену, уж лучше живи, как жил, довольствуйся тем, что есть! Если ради свободы лучшие люди становятся прахом под копытами коней, как реки, выходящие из берегов, льются слезы их осиротевших отцов и матерей, их жен и детей — кому же остается радоваться такой свободе?

Хабрау, держа коня под уздцы, бредет меж воинов Хромого Тимура. Глухо тукают в пыльную землю копыта,

раздаются стоны раненых. К кому обращена их беспамятная, бессловесная мольба? Больше двух тысяч верст прошагали эти бедняги, и что же нашли они, отныне и на всю жизнь убогие и увечные? Не нужны им теперь ни горы добычи, ни чины-почести, одно только желание — добраться до отчей земли и рухнуть на родном пороге.

Все еще не утихла ярость, неровно бьется сжатое болью сердце, тело огнем горит, словно через миг рассыплется пеплом. Но внутренним оком он уже видит и понимает: велика разница между сарбазами Тимура и ратниками башкирских племен. И эти вот стонущие раненые, и те, кто нашли здесь свою смерть, в поход пошли подневольно, за беспощадного царя отдали свою жизнь или здоровье. Совсем другое— башкирские джигиты. Они ради свободы поднялись на битву, ради отчизны полегли на поле боя.

...Как ни тяжко было оставить умирающего Аргына, Хабрау понимал, что никто джигитам-заложникам, кроме него, не поможет. Хабрау прибился к одному из отрядов эмира и пошел обратно в лагерь. Он решил отыскать Нормурада. Сможет ли он спасти джигитов, нет ли — другой надежды у него не было.

Далеко, на многие версты, заняли степь тумены и тысячи, ждущие своей очереди идти в бой, караульные отряды, караваны обоза, палатки, к которым подтаскивали раненых... С криками во весь опор скачут взад-вперед гонцы. То и дело приходится спешно отходить в сторону, давая дорогу то конной тысяче, то пробежкой идущей пехоте. Найти в этой суматохе нужного человека все равно что отыскать иголку в стоге сена. К тому же угрюмые часовые останавливают на каждом шагу: кто такой, куда идет? Того и гляди, сочтут подозрительным и схватят. От шума, от пыли вконец измучился Хабрау. Изводила боль в ране на голове, билась в лад с ударами сердца. К счастью, смертельная стрела только поцарапала висок. Но все равно боль не дает покоя, сочится сквозь повязку кровь.

Весь день носился Хабрау по лагерю и нашел-таки Нормурада. Но друзьям даже поговорить не удалось. Пришла весть, что бой разгорелся с новой силой и войска Повелителя Вселенной начали крушить полчища Тохтамыша. Так что Нормураду тоже пора было идти туда, чтобы собственными глазами увидеть миг славы великого эмира и перенести ее на страницы будущей книги.

Выслушав просьбу Хабрау, Нормурад покивал в задумчивости, потом сказал:

— Подожди здесь,— и ушел.

Ходил он долго. У Хабрау уже все терпение вышло, он заметался было, не зная, что делать, куда теперь идти, но тут показался Нормурад. И не один. С ним был Айсуак.

Айсуак с плачем бросился в объятия Хабрау. А Нормурад поспешил рассказать, как обстоят дела.

Теперь, когда Богара мало ли, много ли, но войска дал и стало ясно, на чью сторону повернул он своих коней, эмир охраняющего ставку тумена решил, что надзор над заложниками можно ослабить, велел даже распределить их по разным сотням и отправить в бой. С четырьмя джигитами так и сделали. А про Айсуака, поручая его Нормураду, десятник караула сказал: «В этой суматохе кто кого будет искать? Забирай своего парня и подумай, как побыстрее отправить его отсюда». И даже обещал проводить через посты дозора.

Действительно, как только стемнело, они вышли. Десятник пять или шесть верст сопровождал Хабрау и Айсуака, незаметно провел мимо караулов, охранявших лагерь Железного царя.

— Ты не беспокойся,— сказал он Хабрау,— если останутся живы, и тех четверых тоже домой отправлю. Друг у тебя щедрый.

Значит, Нормурад выкупил Айсуака за деньги. Ради дружбы совершил он это, даже той кары, что может обрушиться на его голову, не испугался. «Эх, Нормурад, живи тысячу лет! Навеки не забыть мне твоей доброты». У йырау брызнули слезы из глаз.

Но отдаваться чувствам некогда. Нужно уходить подальше от лагеря. А пешком быстро не уйдешь. И оружия никакого нет. Нож, что у Хабрау на поясе, разве на то лишь и годится, что зайца освежевать. Саблю он оставил Таймасу-батыру, у того своя в бою разлетелась надвое. Нет, им от чужих глаз лучше держаться подальше.

Когда расставались, Таймас сказал сэсэну: «Если дороги разойдутся и меня не найдешь, иди к войскам Янбека». Теперь же, выйдя за цепь караулов, Хабрау понял, что, как бы они ни спешили, догнать Таймаса не смогут.

По расчетам Хабрау, сейчас Янбек должен был стоять на южном склоне хребта Бугульма, ближе к верхнему течению Ика. Расстояние больше ста верст. Пешему, если даже шагать от темна до темна, пути на три дня.

От радости, что оказались на свободе, два путника не чуяли ног, шли скорым шагом и лишь далеко за полночь остановились на отдых, а с зарей снова в путь.

О судьбе брата Айсуак еще не знал, и Хабрау с рассказом не торопился. Зачем такое горе причинять раньше времени? У Айсуака же от счастья, что спасся, в глазах стоят слезы, он рассказывает о том, что довелось ему пережить за этот месяц. Заложников стерегли день и ночь, забрали оружие и коней, заставили идти пешком. Когда войско переправилось через Яик и они увидели знакомые места, то решили бежать, однако стража стала стеречь их еще зорче.

— Нет, нет, Хабрау-агай, не друг нам этот колченогий царь! — говорит Айсуак с юношеским запалом и уверенностью.— Того и гляди, разобьет он Тохтамыша, а затем повернет на нас, уничтожит всех дочиста...

Хабрау молчит. Коварству Хромого Тимура он сам был свидетелем. Думы его — о погибших башкирских джигитах, умиравшем от тяжелой раны Аргыне. Хорошо бы, если на этом закончились беды, от которых кровью плачет страна.

У Айсуака свое.

— Эх, соскучился же, агай! — блестя глазами, говорит он.— Почему у людей нет крыльев? — Идет резво, чуть не вприпрыжку.

— По жене соскучился? — вяло улыбается Хабрау.

— По матери соскучился. По друзьям. И потом еще...

— Чего запнулся? Говори.

На шутливое замечание Хабрау Айсуак покраснел и опустил глаза. Уже немало прошли, когда он заговорил снова:

— Только никому не говори, сэсэн-агай, ладно?

И он рассказал, что уже больше года любит девушку по имени Айхылу и они договорились: если родители не дадут согласия, то вдвоем убегут или к бурзянам, или к тамьянам. Взяв Хабрау за руки, Айсуак сказал:

— Агай, женись на Қарасэс-енге! Сама красавица только о тебе и печалится. Ты не думай, я с ней ни разу не ночевал,— чем вогнал сэсэна в смущение и растерянность.

— Эх ты, глупый, кто же свою жену называет «енге»! Отродясь такого не было...— Он обнял Айсуака за плечи.— Об этом ли сейчас думать! Қоли живы-здоровы

останемся, заживем по своей воле, дел будет по горло,— повернул сэсэн разговор на другое.

— Дел по горло... Можно подумать, что любовь дело грешное! — Айсуак погрустнел, помолчал. Потом сказал: — Знаю, ту свою невесту не можешь забыть, которую убили киреи. Карасэс-енге рассказывала... Только я все равно не брошу Айхылу...

Хабрау, чтобы тот не увидел его навернувшихся слез, отвернулся в сторону. Простодушный юноша, сам того не зная, задел его вечную незаживающую рану.

Через три дня, на утро четвертого, беглецы почуяли, что вдруг потянуло кизячным дымом. Они перевалили через невысокий хребет, и перед ними открылась широкая долина. Вразброс стояли пестрые юрты какого-то аула, вокруг паслись стада.

Кипчакские роды, узнав, что полчища хана и эмира без задержки прошли на запад, стали возвращаться на свои земли. Этот аул, из рода гареев, был одним из них.

Радушно встретили гареи сэсэна, в его честь зарезали овцу. Каким бы усталым Хабрау ни был, но починил пробитую стрелой домбру и в знак уважения к старикам сыграл две-три мелодии. Только по окончании долгой трапезы, уже после полудня, посадили обоих путников на коней, надели сэсэну на голову лисью шапку и проводили в путь.

Может, Хабрау и не заторопился бы так, но услышал от аксакалов, что неподалеку отсюда, верстах в двенадцати, стали на ночевку сайканские кочевья, и разбудил Айсуака. Тот, придя сюда, даже толком не поел, куснул два раза и тут же, прямо в застолье, уснул крепким сном. У гареев Хабрау ничего не узнал о Янбеке, может, сайканы что-нибудь слышали?

То, что кипчаки раньше времени стали возвращаться в свои степи, встревожило сэсэна. Нужно было выждать, еще увидеть, чем разрешится война. Но когда он попытался уговорить аксакалов вернуться обратно в горы, те даже слушать его не стали. На все его горячие речи один ответ: чего там сидеть? Ждать, когда весь скот падет? Хабрау напомнил, как ногаи разграбили аулы Байгильде. И на это у них ответ готовый: то было тогда, а теперь, когда оба войска уже прошли, кто же их тронет?

Да, конечно, «теперь» не «тогда». Но самые сильные их храбрые джигиты ушли на войну, и наберется ли сейчас в каждом кочевье хотя бы с полсотни мужчин, способных взять в руки оружие и сесть на коня? Им же и

стада пасти, и аулы охранять. Набредет вдруг какая-нибудь нечисть, что рыщет по степи и живет разбоем, смогут ли аулы дать отпор, хватит ли сил?

Три аула сайканов, даже не раскладывая юрт, стали на ночлег кучкой, близко друг к другу. Уверившись в том, что в страну пришел мир, они вышли в обратный путь, на исконные свои пастбища на берегах Яика. О Янбеке ничего не знают, а вот Байгильде видели. Три дня тому назад он с двумястами воинами встал возле них на ночевку. Мало того что напились-наелись до отвала, так еще забрали с собой с полсотни овец, трех молодых лошадей на убой. «Богара продал нас Хромому Тимуру,— говорил Байгильде,— только о своем бействе думает, лучших наших джигитов на войну, на погибель отправил. Не слушайте Богару, ни войска ему, ни скота, ничего не давайте! Обратно к Яику откочевывайте!»

Как бы аксакалы ни уважали сэсэна, они предпочли, чтобы он скорей продолжил свой путь. Они боялись своего турэ, ибо все, что говорил им Хабрау, шло наперекор словам Байгильде. К тому же и сын бея с ним. Услышит глава рода, что сайканы приняли их, и учинит какую-нибудь подлость. Не приведи аллах заслужить его гнев! Вот что понял Хабрау из намеков и недомолвок стариков.

Да, такие вот подлые турэ, как Байгильде, и истерзали народ, из-за них истекает кровью разобщенная страна. Эх, увидеть бы его и бросить ему в лицо горячий, с пылу, с жару хлесткий кубаир! Да нет, этим его не проймешь. Может, только палица Богары и вогнала бы в его гнилую башку немного ума. Видно, он уже совсем переметнулся от башкир на сторону сватов-ногаев. Так что большая ему будет удача, если захватит сына бея, да и сэсэн, который не очень-то жаловал его в своих кубаирах, тоже лакомый кус. Так что не сарбазов Железного Хромца, не ногайских гончих собак, а нужно прежде всего бояться своих кипчаков, разбойников Байгильде. Во что бы то ни стало нужно Айсуака доставить живым и невредимым, отдать в руки отцу.

Турэ сайканский волком рыскал по степи, оттого и редко встречавшиеся кочевья двое путников старались объезжать стороной. Если же решались заглянуть, то сначала тщательно высматривали, нет ли там какого войска.

Под мерный ход коня Хабрау думает о будущем своей земли. По его мнению, прежде всего Богаре над-

лежит из пяти подвластных ему колен выбрать пять самых умных турэ и поставить их беями, а самому стать ханом. Потом собрать постоянное войско, на первый случай хотя бы десять тысяч. Верховным сардаром назначить Юлыша. Расставить по Яику надежную охрану. Государство, которое не торгует с соседями, не может иметь ни влияния, ни мощи. Значит, под сильной защитой отправить послов к булгарским мусульманам, черемисам, а того пуще — в русские княжества, выявить, какие есть возможности для торговли. Конечно, найдется дело и для Хабрау. Его мечта — как только Богара станет ханом, собрать со всего ханства смышленых ребятишек и открыть большое медресе, там он будет учить их письму, чтению и счетной грамоте. Наверняка среди них окажутся и такие, что полюбят домбру или курай, и к складному слову охочие найдутся. Этих нужно учить особо, прилаживать, как говорится, руку к домбре и кураю, будить певчую птицу, что, запертая, томится у них в груди.

Представил сэсэн вольные дни, когда люди всех племен и всех народов будут жить в дружбе и согласии, и лицо его прояснилось. И правда, в этом светлом мире, на груди этой широкой прекрасной степи жить бы да поживать детям человеческим в счастье и довольствии. Но хватит ли ума и сил у Богары? Сможет ли он взнуздать жестокость, переменчивую натуру, жадность таких, как Байгильде? Нельзя упускать случай из рук! Пришла пора скинуть гнет ногаев, уже сто пятьдесят лет пьющих башкирскую кровь! Надо держаться крепко, беречь единство. Иначе опять несчастный народ обманется в своих надеждах.

В душе у сэсэна, словно росток из семени, пробиваются строки нового кубаира. Возьмет в руки домбру — и вот-вот брызнет из струн неистовая мелодия. Но он должен сдерживаться, потому что эта широко раскинувшаяся притихшая степь нагоняет на душу темную тревогу. Эх, жизнь! Эх, белый свет! Уже и по своей земле человек должен красться тайком, словно какой-то вор...

И попробуй не остерегись. Время от времени слезает сэсэн с лошади, припадает чутким ухом к земле, и доносит она топот копыт и звон железа. Говорит ему земля: здесь-то у вас тихо, но весь остальной мир стронулся с места, пришел в движение. Но отчего же два путника до сих пор не могут найти следов Таймаса-батыра? И с войском Янбека никак не встретятся?

Наконец, на третий день после того, как покинули они временную стоянку сайкан, Хабрау с Айсуаком наткнулись на большой отряд, вставший на привал.

— Наши! — закричал Айсуак.— Наши! Наши! Вон, видишь, тот, что на камне сидит, Юлыш-агай...

— Хай, острые же у тебя глаза! — сказал Хабрау, ударил камчой коня и помчался к воинам, которые, разбредшись по низине, кормили лошадей.

Айсуак понесся следом.

Да, это было войско Юлыша. Соскочив на землю, Хабрау обнял его и поспешил рассказать обо всем, что случилось с ними.

— Эх, сэсэн, сэсэн!..— Юлыш горестно покачал головой.— Не успел я. Вот парни нашли и привезли Таймаса-батыра, при смерти лежит...

Он поведал о том, как остатки башкирского войска на обратном пути от речки Кондурчи повстречались с ногаями и полегли все до единого. Гонцы, которых отправил Таймас к Юлышу, только что с сотней воинов поскакали на место их последнего боя, чтобы всех погибших предать земле.

А еще из слабых, словно шелест травы, слов очнувшегося на миг Таймаса стало известно, что Байгильде стакнулся с ногаями и повел их тайными тропами к Яицкому броду.

— Быстрее! Нужно настичь их! — Хабрау, подавив рыдание, вцепился ему в плечо.

— Настигнем,— сказал Юлыш. По сомкнутым бровям, по темному застывшему лицу и ходившим по скулам каменным желвакам было видно, что он еле сдерживает себя, а так, от боли и гнева,— хоть в огонь, хоть в воду.— Будь спокоен, сэсэн, две тысячи моих воинов поскакали к Яику, ногаям наперерез. Как только вернется та сотня, и мы сядем на коней... Ступай к Таймасу, побудь с ним, я пока тут дам кое-какие распоряжения.

Таймас-батыр был весь, с головы до ног, замотан в белые повязки. Огромное богатырское тело словно бы стало маленьким, похожим на запеленутую куклу. Дыхания нет совсем, только по трепету ресниц видно, что он все еще силится жить.

«Эх, Таймас! Славный, не ведающий страха батыр! Ты для Хабрау был вместо отца. И жизнь твоя, как жизнь Кылыса-кашки, прошла в седле, от ратных тягот и мирской несправедливости поседела твоя голова. Теперь, когда в синем этом небе над отрогами Урала птица

свободы распростерла крылья, нельзя тебе умирать! Твой трезвый ум, бесстрашное сердце, львиная твоя мощь, воинский опыт нужны народу. Очнись, батыр!» Так Хабрау, сердцем сердцу, говорил с Таймасом. Он заклинал батыра жить — жить за тех отважных джигитов, которые остались лежать на берегах Кондурчи, жить ради той цели, которой не достигли раненые воины, что нашли свою смерть от рук коварных ногаев, ради неутоленной мести молодых батыров Аргына, Ильтугана, Арслана... Перед глазами сэсэна роятся всадники в черных масках, на черных конях. «Вставай,— говорил он Таймасу,— не отдадим родину этой черной нечисти!..»

Подошел джигит, сказал негромко:

— Сэсэн, тебя Юлыш-турэ зовет.

Он вздрогнул и поднялся с места.

— Приказ мой таков, сэсэн,— сказал Юлыш.— Таймаса-батыра к Богаре-бею повезешь ты...

Хабрау вздохнул, хотел решительно отказаться, но Юлыш на миг только поднял на него взгляд:

— Я не сказал «просьба», я сказал «приказ», сэсэн! Айсуака возьмешь с собой. Пятьдесят моих джигитов поедут с вами.

Спорить бесполезно, Хабрау понял сразу. Как бы ни бунтовала против отъезда душа, он невольно восхитился острым взором Юлыша, его мужественной осанкой. Подавив обиду, он согласился:

— Хорошо, сделаю, как велишь.

Юлыш крепко обнял его.

— Берегите батыра! — сказал он уже мягче.— Как приедешь домой, пусти по всей округе весть: кто поднимет Таймаса-батыра на ноги — тому десять лошадей из моего табуна... Прощай, сэсэн!

И еще один урок для Хабрау. На Таймаса, который прежде, случалось, пощипывал усергенов, Юлыш обиды не держит. Какая там обида! Всей душой горюет за сарышского батыра. Значит, кочевья, что привыкли жить в раздоре, щерились и смотрели друг на друга исподлобья, как волки, встают-таки на путь единения.

...Но ветер беды, что вот-вот поднимется и обрушится на башкирскую землю, уже назавтра, как они вышли в путь, коснулся лица сэсэна.

Когда отряд миновал поймы извилистых верховьев Демы и завернул к Ашкадару, ему встретились гонцы от минцев. Из их-то слов и потянуло на сэсэна тем недобрым знобящим ветерком.

Оказывается, Байгильде побывал и у минцев. И там говорил то же: Богара, дескать, продает страну; уговаривал Янбека-турэ перейти на свою сторону. Янбек шатнулся, но удержался, пока раздумывает. Однако триста его воинов ночью убежали из лагеря. Куда — неизвестно, возможно, что подлая эта душа Байгильде и сманил их. С такой вестью спешили гонцы к Богаре.

Будто палица обрушилась на голову Хабрау. Теперь уже Байгильде начал собирать свое войско! И пока Богара и Юлыш соберутся что-то предпринять, тот займет весь берег Яика.

Надо спешно что-то предпринять. Вздохами делу не поможешь. Хабрау отозвал в сторону гонцов Янбека и сказал им:

— Ваше донесение Богаре-бею я сам передам, а вы скачите назад. Скажите Янбеку-турэ, пусть тявканья этого Байгильде, пса продажного, не слушает. Пять тысяч Юлыша уже бросились вслед тем ногайским оскребкам, которые вы видели, уже нагоняют их. За день-два настигнут и разобьют. И главное, скажите Янбеку, пусть ведет свое войско к бею.

— Ну, сэсэн, ты прямо как сардар распоряжаешься, который всю жизнь на войне провел! — засмеялся было один из гонцов, что помоложе, но старший тут же оборвал его:

— Бестолочь, знай, что мелешь!.. Вижу, сэсэн, из-за этого Байгильде опять станем как осиный рой. Ты вот что скажи, верная ли у Богары цель? Не обманемся ли мы?

— Клянусь, узаман, у бея дорога прямая, помыслы чистые! И силу он собрал великую, сам знаешь — больше двадцати тысяч. Есть ли причины сомневаться? Доведи все это до Янбека-турэ!

Гонец, как по обычаю положено, попрощался с Хабрау в обнимку и сказал:

— Ни словечка твоего не оброню, сэсэн, и сам тоже на Янбека-турэ насяду. Так что знай, минцы не подведут!

Хабрау тут же отправил двоих сметливых джигитов навстречу Богаре. Скакать велел во весь опор и без остановки.

Медленно шагал их печальный караван. Везти раненого на лошади было нельзя. Привязали к древкам копий чепрак, поверх чепрака расстелили несколько зи-

лянов и на таких вот носилках понесли его. Тащили все поочередно, даже Хабрау с Айсуаком.

За последние несколько дней Айсуак как-то враз повзрослел. Узнав о смерти брата, он долго и безутешно плакал, ничего не ел, за два дня не сказал ни единого слова. На все расспросы — «да» или «нет». И все же потихонечку начал отходить. Веселый, озорной парень, во всем находил смешное, и коли смеялся, так уж смеялся во весь рот,— теперь все молчит и лишь порой задаст вдруг вопрос, на который Хабрау не знает, как ответить.

— Ты веришь в моего отца, Хабрау-агай? Сможет он удержать на своем плече страну?

— Почему же не верю? Верю, Айсуак, он...

— Подожди-ка, ты же нам говорил, что цари и ханы должны быть людьми образованными. А мой отец даже не знает, что буква «алиф» пишется как палочка.

— Об этом не беспокойся, Айсуак. Когда станем мы государством, то откроем множество медресе. И грамотных людей, таких, как ты, будет намного больше. Они и поведут все государственные дела.

По лицу видно, что ответом Айсуак не удовлетворен. Но он не спорит, думает. Значит, непростые эти вопросы, которые не дают покоя и его учителю, тревожат юношу. Хоть и молод, но понимает, какая опасность подстерегает страну. Не умом, так сердцем чует. Когда бы не так, разве сомневался в отце, славном, могучем Богаре-бее?

От дум о будущем у Хабрау у самого теснит сердце. Но самая большая тревога сейчас — зачем бей со всем войском ушел к излучине Акхыу? Ради чего? Решил от Хромого Тимура держаться подальше? Должен же он понять, что, коли уж ратники сели на коней, оставили дом и семью, значит, гнев через край льется, хотят скинуть власть Орды, за это готовы в огонь и в воду. И о том приходится помнить, что они на большую ли, на малую ли, но рассчитывают и на добычу. Таков обычай, идет он издревле, и глаза на это не закроешь.

Нет, не в горах бы прятаться Богаре, а скорее захватить берега Яика. Если же ногайские войска перейдут на другой берег — дальнейшее ясно. В Срединной степи ногайских и кыр-кипчакских аулов видимо-невидимо, и в каждом ауле — сотни юрт. Ногайский эмир снова наберет войско и ринется снова на Приуралье. Нужно опередить его!

И каждый миг нужно помнить о Байгильде. Соберет он своих сайканов, еще и соседние кипчакские роды, санкимов и гареев к себе перетянет, тогда он уже станет Богаре не по зубам. И вместо того чтобы схватиться с Ордой, башкирские роды примутся грызть и рвать друг друга. Эх, Богара, Богара! Не видишь ты разве, какая страшная буря идет на страну?..

Нельзя сказать, что Богара не чувствовал приближения бури, он чувствовал, но того именно мгновения, когда случай выскользнул из его рук, бей не заметил. Он опасался, что Хромой Тимур останется в этих местах надолго, и, ожидая набега его войск, свои тысячи держал в кулаке, всегда наготове, сдерживал сотников и тысячников, которые рвались в бой. Надеялся, что Орда будет разгромлена и битые ногаи очнутся не скоро. Однако Хромой Тимур, преследуя разгромленные Тохтамышевы полчища, пошел вниз по Итилю, а заворачивать к югу от Яика, в Срединную степь, чтобы добить ногаев, не стал. Значит, очень скоро ногайский тумен снова поднимется на ноги.

Другая ошибка бея — не позвал табынцев и юрматинцев. Сколько бы Юлыш ни втолковывал ему, Богара лишь отмахивался про себя: «Неймется ему, вот победим врага, высоко поднимутся наши слава и могущество, и никуда тогда табынцы-юрматинцы не денутся, явятся на поклон».

И даже побегу Байгильде из войска бей поначалу не придал значения. «Даже к лучшему,— подумал он,— а то крутился бы здесь, баламутил, нагонял своими кривотолками на воинов смуту и сомнения». А волка-то этого надо было держать на привязи.

Положение стало угрожающим. И нельзя было теперь сидеть да выжидать, гадать, куда повернут события. Поднял дубину — замаха мало, круши! Но слухи, один тревожнее другого, начали стягиваться, как грозовые тучи, и скоро затянули все небо. И самая страшная для бея весть — о гибели Аргына.

Началось брожение и в войске. Решетом мирской рот не закроешь. Молва о том, что Байгильде уводит сайканов к Яику, собирает силы против Богары, дошла до изнывающих от безделья воинов, пошли толки-пересуды, из сотни в сотню, из тысячи в тысячу.

Когда же прискакали гонцы от Таймаса-батыра и

принесли весть о том, что Хромой Тимур, можно сказать, нарочно отправил сотни Аргына на смерть и что ногайский эмир вырвался из западни, войска Богары превратились в растревоженный муравейник. То там, то здесь собирались воины в кружок и без стыда и смущения на все корки честили нерасторопного бея. Сотников и тысячников никто и слушать не хотел, только отмахивались от них.

Сам Богара уже три дня не показывался никому на глаза. Возле дверей юрты стоят часовые, и всякого, даже тех, кто приходит по делу, заворачивают обратно. Болен, дескать, бей. Только молодая жена то зайдет, то выйдет.

А бей, хотя не страдал никаким телесным недугом и мысли его не сбивались с верного пути, был болен. Болезнь сидела глубоко внутри, в смятенной душе Богары. Гибель Аргына убила все его желания и помыслы. К тому же неизвестно, жив ли, вернется ли Айсуак.

Троих сыновей вырастил бей, и, если хотя бы одного не сбережет, что же тогда ждет его? Кто будет ему опорой? Вот Зумрат говорит, что кое-кто из тысячников во всем винит его самого. А они? Они-то сами? Кто из них вызвался стать во главе двух тысяч, когда они уходили под руку Хромого Тимура? Где там захотеть, еще радовались исподтишка, что остались в стороне, не пошли в пекло. Разве поймут такие горе отца, потерявшего сына?

Зумрат все время возле него.

— Вставай, отец, такое ли время, чтобы сидеть сложа руки, от горя согнувшись? Такие отовсюду вести — голова кругом идет. Боюсь я. Вконец ведь развалится наше войско,— уговаривает она бея. Страшно ей, что отречется муж от заветной цели.

Точила-точила молодая бике и настояла на своем, бей принял своих тысячников.

Те вошли, расселись, на исходившее паром мясо с лапшой, на чаши с кумысом только взглянули мельком, но ни к чему не прикоснулись.

— Вот пришли, хотим узнать твои мысли, бей,— сказал один.

И тут же другой:

— Скажи, очнулся ли наконец? Или ждешь, когда ногаи раньше тебя очнутся, наберутся сил и опять набросятся на нас?

— Положение мое знаете. Сына я потерял...— сказал Богара и отер выступившие на глазах слезы.

— От судьбы не уйдешь бей-агай...— погладив усы, мягко заговорил широкоплечий горбоносый батыр Юлдыбай из племени тунгауров.— Горе твое велико, понимаем. Но это горе и нас никого не обошло. У одного сын, у второго брат, у третьего родич не вернулся. Вместе с Аргыном уходили они...

Но другие, человек десять, старые опытные воины, верная опора Богары, на такой мирный разговор были не согласны.

— Да ведь мертвому вслед не умрешь! Что же нам теперь, отдаться горю, оружие бросить? На, бери! Мы клятву тебе давали, только ты можешь снять ее с нас,— сказал один и, отстегнув саблю от пояса, протянул Богаре.

— Не только мы, ты тоже клятву давал! — заговорили остальные.

— Говори, бей, что будем делать? По домам разъедемся или все же против ногаев пойдем?

— Может, склоним головы перед сватом твоим Байгильде?

Юлдыбай, подняв руки, попытался унять шум.

— Ты это... не обижайся, бей. Прямого слова даже брат не полюбит, говорят. Вот что я скажу. Испытали мы, какова она, помощь хромого царя. Не дай аллах испытать еще. А ты думал, он затем и явился, чтобы тебя на престол посадить? Как бы не так! У него лишь свой расчет, так что нам сейчас нужно одно — быстрее захватить переправы на Яике.

Эти слова были подтверждением решения, к которому, хоть и с опозданием, но пришел и сам Богара.

— В войсках порядка нет,— сказал бей, уткнув взгляд в чашу с кумысом.

— Когда голова болит, всему телу покоя нет.

— Ты попробуй взнуздай войско, если оно лежит без дела!

Опять заговорили, опять было вскинулись тысячники, но острый взгляд бея и резко вскинутая рука осадили их.

— Все! Слышали! — сказал Богара и взглядом прошел по своим соратникам.— Готовьтесь в поход! Только придет весть от Юлыша, идем к Яику!

В этот же день бей объехал разбросанные верст на пятнадцать войска, произвел смотр их состояния. Затаив свое горе, он собирался с силами для предстоящих боев.

Но очень скоро Богара понял, что время упущено. Случай уже выскользнул из его рук, большие и сильные его ладони пусты...

20

Когда Хабрау добрался до излучины Акхыу, войско Богары уже поднялось и ушло оттуда, но бей оставил дозорных. Они должны были перейти в распоряжение Хабрау. А Таймаса-батыра надлежало перевезти к Иняку, где в глухом заповедном месте затаились аулы самого бея. Там правит Татлыбике, и вся надежда на нее. Сэсэн не сомневался, что заботливая байбисе, как никто другой, устроит уход за полуживым Таймасом.

Конечно, всей душой рвался сэсэн туда, где решалась судьба страны, но оставить Таймаса на чье-то попечение он не мог. Доставить батыра живым, отдать в руки Татлыбике и опытных целителей было делом его совести.

Две недели ни на шаг не отходил он от Таймаса, и днем в дороге, и ночью на отдыхе неотступно был у его изголовья. Своими руками снимал повязки и смазывал раны овечьим жиром, прикладывал целебные травы и подорожник, из ложки кормил мясным отваром. Другого лечения у него не было.

К концу пути старый батыр уже изредка приходил в сознание, стонал от мучительной боли, и Хабрау ускорил движение каравана.

Наконец, на пятнадцатый день пути, они добрели до берегов Иняка и отыскали временную стоянку сарышей. Хабрау с Айсуаком тут же проводили к Татлыбике.

Байбисе уже знала, что и сын ее Аргын, и ушедшие вместе с ним двести джигитов ее кочевья остались лежать на берегу далекой реки Кондурчи.

Затаив неизбывное свое горе, Татлыбике твердой рукой правила вместо ушедшего в поход мужа. И джигиты, что охраняют аулы и пасущиеся в низинах стада, и почтенные аксакалы только ей в глаза и смотрят. Она сняла нарядные одежды, дорогие украшения и ходит в коротком зиляне, отороченной мехом шапке, в легких сапогах. На поясе кинжал, в руке камча.

И еще удивило Хабрау то, что станом величавая, лицом строгая байбисе лишь на миг прижала Айсуака к груди и сказала:

— Неужели настал день, что я увидела тебя! Спасибо, Тенгри!.. Ну, иди, после поговорим. Ступай, сынок, не

томи жену! — и выпроводила его из юрты. А на попытки Хабрау утешить ее вздохнула только: — Я, сэсэн, матерь всего рода. Свое горе привыкла в себе держать. Твои слова нужнее вдовам и детям, отцам и матерям тех воинов, чьи души отлетели кречетами, сирым и убогим...

Вот и весь разговор. Поручила йырау заботам молоденького джигита и ушла.

Хабрау до полуночи сидел со стариками, рассказывал, что видел, поиграл на домбре. А утром, еще солнце не взошло, его позвали к Татлыбике.

— Хочу расспросить, что там в мире, что творится. Вчера недосуг было,— сказала байбисе. Когда же Хабрау спросил, как чувствует себя Таймас, скупо улыбнулась: — Таймас мне собственной души дороже. Он же дядя мой, самый близкий. Не тревожься, он у лекарей, в заботливых руках.

Пока Хабрау рассказывал обо всем, что случилось со дня битвы на реке Кондурче и до сегодняшнего дня, Татлыбике сидела, сложив руки на груди, отвердев лицом, бледная, молчаливая и неподвижная. Конечно, Хабрау старался говорить не о своих горьких раздумьях, а о храбрости и стойкости джигитов, о том, что наконец-то страна вышла на путь единства.

Терпеливо дослушала его слова байбисе и сказала со вздохом:

— Эх, сэсэн! Ты-то свое говоришь, а я другое слышу. Половина войска Янбека бежала в свои кочевья, другая половина присоединилась к Байгильде. И сам Янбек будто бы тоже с ним.

— Не может быть! — сказал Хабрау, побелев как полотно.— Я же видел гонцов Янбека, растолковал им все и отправил обратно к Янбеку.

— И про это знаю. Ты не думай, мои люди день и ночь по стране скачут. Сведения надежные.

Хабрау только и смог, что удивленно посмотреть на нее.

— Так ведь это, погоди-ка, байбисе... Тот гонец, почтенный с виду человек, сказал: «Минцы не подведут»...

— Сказать-то сказал, да подвели минцы, из нашего счета они выпали. К тому же мы и своих войск еще тысячу потеряли. Сайканских конников. Сегодня ночью ушли...

— Они-то куда делись? — вскинулся Хабрау. Он смотрел на байбисе, и все большей мукой наполнялись его глаза.

— Куда им деться? Туда же, к этому предателю Байгильде бежали, к своему турэ...

— Эх, ошибку сделал бей, ошибку! Не сидеть и выжидать ему нужно было, не томить воинов в безделье, а пойти и закрыть броды и переправы через Яик...

— Поздно уже говорить об этом. Теперь о будущем думать надо. Я к минскому бею гонцов отправила. Прошу, чтобы собрал новое войско, а на место Янбека другого турэ поставил, поустойчивей и понадежнее... — сказала Татлыбике и перешла к делам кочевья.

Оказывается, старики донимают ее, зудят без устали: «Тесно здесь, пасти стада негде. Чем жаться в горах, лучше скорее в степь». В каждом ее слове была горечь. Разговор опять перешел на ее мужа.

— Сам видишь, любит бей сомневаться и выжидать. Из-за этого, пытаясь одурачить других, остается одураченным сам. Потом... как это сказать... слишком уж мягок, человечен. Нельзя так! У большого турэ и кулак должен быть большой и крепкий.

— А справедливость?

— Суд камчи — вот какая нужна справедливость! Из-за этой его справедливости вон что Байгильде вытворяет! Нет, Хабрау, хочешь над тысячами править — о жалости забудь.

Хабрау опустил голову. Все правда... Ради единства воинов, не только воинов — ради единства всей страны сколько ночей провел он без сна, сколько принял горя! Все его думы, вдохновенные песни, разговоры с воинами были об одном — о том, чтобы объединить разрозненные роды, собрать под одной рукой.

— Отчего же так? Куда бы я ни приходил, песни мои, каждое мое слово, что идет из сердца, встречали с радостью. Турэ, знаменитые батыры со слезами на глазах клялись, что до самой смерти будут вместе... — говорил он тихо, будто разговаривал сам с собой.— Значит, уши слышали, но души не услышали...

— Сынок, Хабрау, скажу, не обижайся... Когда бы все в мире по словам сэсэнов шло — спасли бы в давние годы Акман и Суяргул страну от ханов. Они ли со злыми ногаями не бились? В одной руке сабля была, в другой домбра. А какой выпал конец... — Татлыбике, словно утешая ребенка, погладила сэсэна по спине.

— Строгий суд, суровый приговор,— сказал Хабрау, не поднимая головы.

— Не так ты понял мои слова, вот и обижаешься.

Мне ли не знать, какая боль жжет тебя? И сама в том же огне горю. Не одного, а двух моих сыновей погубила Орда. Лучшие джигиты моего кочевья сложили головы на чужбине... И сейчас только было настал удобный случай и страна моя начала стягиваться в один клубок, как опять все запуталось и размоталось. Нет, Хабрау, мои слова — не приговор. Глупость, жадность, слабость турэ губят нас. Только это и сказала... Если бы песня сэсэна да слилась со звоном сабли!

— Я не оставил войска, не сбежал, байбисе. Такой был приказ Юлыша-турэ: Таймаса-агая доставить к тебе живым...

— За это спасибо. К десяти лошадям, о которых говорил Юлыш, сама бы от себя еще десять добавила... — сказала Татлыбике, незаметно вытирая глаза.— А ты, как и раньше, все такой же чувствительный, сразу обижаешься... Я ведь не сказала, что ты сбежал. Нет, и за сына Айсуака, и за Таймаса-агая я до конца своей жизни перед тобой в долгу.

— Ладно, долги потом будем считать. Я сегодня вечером уеду, байбисе. Вели дать мне с собой еще одного коня и оружие. Хорошо бы еще в товарищи какого-нибудь джигита.

— Согласна,— сказала байбисе. Ее лицо, все в той же неувядаемой красоте, притушенной сейчас строгостью, на короткий миг осветила улыбка.— Умоляю тебя, сэсэн, будь с беем, не бросай его. Теперь, когда потерял Аргына, нет у него никого, кому он мог бы открыться, излить душу. Зумрат еще молода. Не та жена, чтобы вместе с мужем тянуть постромки... — Она замолчала, словно бы задумалась: говорить или нет? — Послушай, сэсэн... — нерешительно сказала она.— Знаешь ты такого парня, Толкебай зовут?..

— Знаю, байбисе, зачем спрашиваешь?

— Так просто... Я через гонца передала Богаре, чтобы он этого джигита послал сюда. Если Толкебай все еще там болтается, скажи, пусть сейчас же отошлют ко мне.

— Он же десятник. Охраняет молодую бике.

— То-то, что охраняет! — отрезала байбисе Татлыбике, лицо ее вновь потемнело.— Жена гуляет — мужу позор, турэ гуляет — в стране раздор...

Хабрау не понял, с чего она вдруг вспыхнула.

— Хорошо, передам. Прощай, байбисе,— сказал он и потянулся к ременной ручке двери.

— Не торопись, я еще не все сказала.— Татлыбике

рукоятью камчи показала, чтобы он вернулся.— Оказывается, Карасэс-то лишь о тебе и говорит, имя твое с языка не сходит. Вижу, понимаю, на восемь лет Айсуак моложе ее, не может она его за мужа принять. И тот, дурачок, называет ее «енге». Разве что теперь иначе будет...— то ли усмехнулась, то ли вздохнула байбисе.

— А мне какое дело? — сказал Хабрау, покраснев.

— И я про то же, сэсэн. Любят ли они друг друга, нет ли, но выше обычая не прыгнешь! Намекни ей, пусть не обнадеживается. Если она сейчас, когда Богара должен сесть на ханство, опозорит его дом — не прощу, отдам на суд аксакалов. Так ей и вдолби!

Хабрау молчит. Нет на нем вины, но чувствует себя так, будто изобличили его в каком-то грехе. И в то же время затлел в душе гнев: какое у Татлыбике право так с ним разговаривать? Но сэсэн, хотя страха не ведает и слово свое с языка обратно глотать не привык, не в силах заговорить. В суровых, но справедливых речах байбисе нашел он утешение своей душе, снова поднялся в нем задор, но последние ее слова опять спутали все его мысли.

Но Хабрау понял, что Татлыбике мечется, сама не знает, что ей делать, одного хочет — спасти этих двух несчастных, стоящих на краю пропасти, Карасэс и Айсуака. Понять-то понял, но с языка слетело другое:

— Сами виноваты! Тогда еще нужно было вернуть Карасэс в отцовский дом.

— Эх, когда бы не этот проклятый обычай! — Внезапно смягчившись, Татлыбике заглянула Хабрау в глаза.— И все же поговори с ней...

Хабрау же решил поговорить не с Карасэс, а с Айсуаком, пристыдить его малость.

Айсуак со своими сверстниками сидел на берегу. Они с шумом, с криками спорили о чем-то. Хабрау подозвал его к себе, но не успел заговорить, тот сам выложил свою обиду:

— Опять, значит, в дорогу? А я что должен делать? Вон ребята говорят, наш, мол, черед настал. Кому семнадцать, кому шестнадцать, а мне уже девятнадцатый пошел... Уговори маму, пусть нам оружие даст. Тебя, наверное, послушает.

— Оружие, может, и даст, я скажу,— ответил Хабрау, не очень-то веря своим словам.— Но нельзя вам уходить отсюда. Кто тогда будет охранять аулы и все эти стада?

— Уж кого хватает, так это стражей. Сидим, в камнях

прячемся, а там воины, не щадя жизни, бьются. И мы бы лишними не были.

— Эх, Айсуак! Придет черед, и вы из этой горькой чаши отопьете, не торопись... Был у меня к тебе разговор, да, видно, в другой раз. Қоли суждено будет нам свидеться, тогда все как есть на середку выложим,— вздохнул Хабрау. Разве удержишь птицу, которая взлететь собралась, крылья уже расправила? Хочешь парня убедить в чем, говори осторожно, мягко, по шерстке поглаживая. Потому сказал только: — Мать не обижай, душа у нее сейчас огнем горит,— и пошел собираться в дорогу.

День клонится к вечеру. Тени от скал, от лиственного леса на склоне горы, упавшие в низину, на глазах вытягиваются и темнеют. Разгоняя дневной жар, из конца в конец долины проходит свежий ветер. Вся округа притихла, словно замерла перед божьим взором.

Одинокий всадник с луком и колчаном за спиной едет по заросшему лесом склону горы. Трусит он волчьей тропой, на неслышной рысце, и двое всадников, едущие открытой долиной внизу, не замечают его. Одинокий же всадник прислушивается к топоту копыт, звону железа, стуку камней внизу и не отрывает от тех взгляда. Верстах в шести впереди дорога вместе с течением Иняка повернет направо, и всадник решает, что там, на перекрестке, и выйдет к тем двоим.

Вернее, надо бы сказать, не «всадник», а «всадница». Так как это была Қарасэс. Қогда она услышала, что вернулся Хабрау, то заметалась, не знала куда себя деть. И вчера вечером, и сегодня все следила за ним издалека. Пришла вместе с другими женщинами, когда народ собрался возле белой юрты, слушать слово сэсэна, его звучную домбру, но подойти, заговорить не посмела.

Айсуак же лишь заглянул для приличия, сказал дватри слова и ушел, вернулся только под утро.

Қарасэс и Айсуак по безмолвному уговору мужем и женой друг другу не были. Хотя посмотреть, так все тихо-мирно. Живут в одной юрте, едят вместе за одной скатертью, свары не слышно, размолвок не видать. Нет, если бы не встретила Қарасэс Хабрау, не отдала бы ему всю нежность своей души, так, верно, сегодняшнего удела, странного и безысходного, себе не выбрала, а зажила с Айсуаком, судьбой своей и участью, как по обычаю положено, как издревле заведено. Қак знать, может, свык-

лись бы, слюбились, а уж когда забегали бы возле них дети, и всякое-разное забылось. Вон в какого статного парня вытянулся Айсуак.

Но Қарасэс, на свое несчастье, полюбила Хабрау, и никого другого душа не замечала.

Она видела, что муж ее любит девушку по имени Айхылу, знала, что они встречаются тайком, слышала, как Айсуак разговаривает во сне, зовет свою любимую, но это не задевало ее гордости. Қарасэс даже радовалась про себя: если муж любит другую, значит, на свою жену претензий у него нет, и на том спасибо.

Нынче весной приезжал брат Қарасэс. Қогда остались наедине, он учинил ей строгий допрос, очень гневался: «Говорят, вы с зятем Айсуаком мужем и женой не живете, верно это? Нос воротит или на стороне вынюхивает? Қоли правда, придушу этого щенка!» Қарасэс сказала: «Пустое говорят. Смотри, скажешь ему, и все нам только разладишь». Брат вроде бы уехал успокоенный. Сейчас он тоже в походе. Может, жив, а может, и на белом свете его уже нет...

Лесная тропинка пошла вниз, повернула к берегу Иняка, и вскоре Қарасэс выехала навстречу двоим путникам. Один из них был Хабрау, другой — джигит по имени Табылдык, его дали сэсэну в спутники.

Табылдык, не узнав всадника, в один миг выдернул из колчана стрелу, наложил ее на тетиву и натянул лук.

— Стой! — крикнул он.

Но Хабрау облик всадника показался чем-то знакомым. Он положил руку на плечо Табылдыка:

— Не стреляй! — И тут, хотя Қарасэс была в большой шапке Айсуака, узнал ее.

Қарасэс, переведя лошадь на шаг, подъехала к ним и спрыгнула на землю.

— Отойди в сторону, отважный джигит,— сказала она Табылдыку.— Есть у меня тайное слово, только сэсэну могу сказать его.

Увидев Қарасэс в малахае, с луком и колчаном за спиной, Хабрау застыл в изумлении. Не зная, что и сказать, смущенно засмеялся:

— А я смотрю, что за разбойник? Нагнала же ты страху! — И кивнул своему спутнику: отойди, мол.

— Не удивляйся, сэсэн. Чем, думаю, тайком за тобой красться, вместе ехать веселей. Тягот я вам не доставлю. И еды у меня полный куржун, и Звездочка моя двух таких, как твой конь, стоит,— решительно сказала Қарасэс.

— Так ведь... это... погоди-ка... — с запинкой проговорил Хабрау.— Ты же знаешь, куда я еду. Здесь не до шуток.— И нехотя слез с коня.

— Я и не шучу! — горячо заговорила она.— Вы же в войско к моему свекру едете, ведь так? Ты видел, знаешь, каково мне здесь оставаться. А там хоть какую, да принесу пользу. Стряпать буду для воинов, стирать. А если суждено мне и там свою смерть найду, кто по мне заплачет?

Немножко затянула свою речь Қарасэс — Хабрау успел прийти в себя.

— Глупая ты женщина! Разве мало горя выпало Татлыбике? — сказал он, дав голосу как можно больше строгости.— Теперь ты уже хочешь ударить лежачего? Вот мое слово: заворачивай коня и скачи обратно!

— Нет у меня обратной дороги, все пути закрыты... Верно говоришь, я глупая женщина. Была бы поумней, разве жила бы столько лет пустой надеждой?.. Эх, Хабрау! Эх, сэсэн! Сердца в тебе, наверно, нет, глаза твои, наверно, ослепли! Будь человек зряч, будь у него сердце, разве не увидел бы, не почувствовал, по ком я истерзалась вся? Даже если от других людей, из чужих уст услышу твое имя, твои песни, душа моя натягивается и звенит, как струны твоей домбры...

— Подожди-ка, Қарасэс... — начал было Хабрау, но Қарасэс и не заметила его порыва, свое причитала:

— По тебе иссохлась, по тебе слезы лью. Не думай, я все понимаю: зачем я нужна вольному сэсэну, вечному страннику? Но душа-то, она не понимает, рвется к тебе... Не бойся, камнем на твоей шее не повисну. Увижу порой издалека, буду изредка слышать твой голос, я и согласна.

— Так у тебя муж есть, вам никах[1] читали. Перед ним-то не совестно?

— Совестно? — И Қарасэс кивнула в сторону аула.— А у них где совесть? Пять лет будто в кандалах, руки-ноги скованы, из аула выйти не могу, за каждым шагом моим следят. Я не про Айсуака, на него обиды нет, что ни скажу, он и согласен. Но ведь и он уже парнем стал, девушку встретил, может, суженую свою... А я все как беспамятная кукушка, полый высохший тростник... Ну скажи, какой радостью живу я в доме мужа? Қакими надеждами? — И она, уткнувшись головой ему в грудь, расплакалась.

[1] Никах — свадебная молитва.

Горячая, сбивчивая речь Қарасэс растрогала сэсэна. Гладя ее по плечу, он мягко увещевал ее:

— Искать же будут, следом же бросятся. Уже ночь скоро... Возвращайся, Қарасэс, ладно? — Он уже раскаялся в своей резкости.

— Кому искать-то? Куда я уехала, одна лишь вдова Аргына знает, только завтра скажет.— И как-то по-детски махнула рукой.— Мы тогда уже совсе-ем далеко будем.— И, решив, что дело улажено, вставила ногу в стремя.

А Хабрау закрыл глаза и покачал головой.

— Ай, не знаю, не знаю... — сказал он и вдруг понял, что ближе этой горестной женщины нет у него в жизни никого.

Словно теплая волна прошла в груди, глаза наполнились слезами. Даже острый испытывающий взгляд Татлыбике, вдруг возникший перед глазами, такой взгляд — любого примнет, не мог уже удержать его. Напротив, словно добавил его чувству задора. Скажет Қарасэс еще слово, и не найдет Хабрау что возразить. Может, это и есть судьба?

Он застыл в изумлении от такой неожиданной и сильной перемены в себе. И перемена эта, казалось, захватила не только душу, но и все вокруг. Лошади отчего-то запрядали ушами, фыркают, беспокойно бьют копытами землю, потому, видно, и Қарасэс никак не может залезть на свою Звездочку.

Что-то со свистом пролетело возле самого уха, но Хабрау даже не шевельнулся. Перед большим событием, перед решающим поворотом своей судьбы стоит он сейчас — хочет вдуматься в него, вчувствоваться полнее. До всего иного и дела нет.

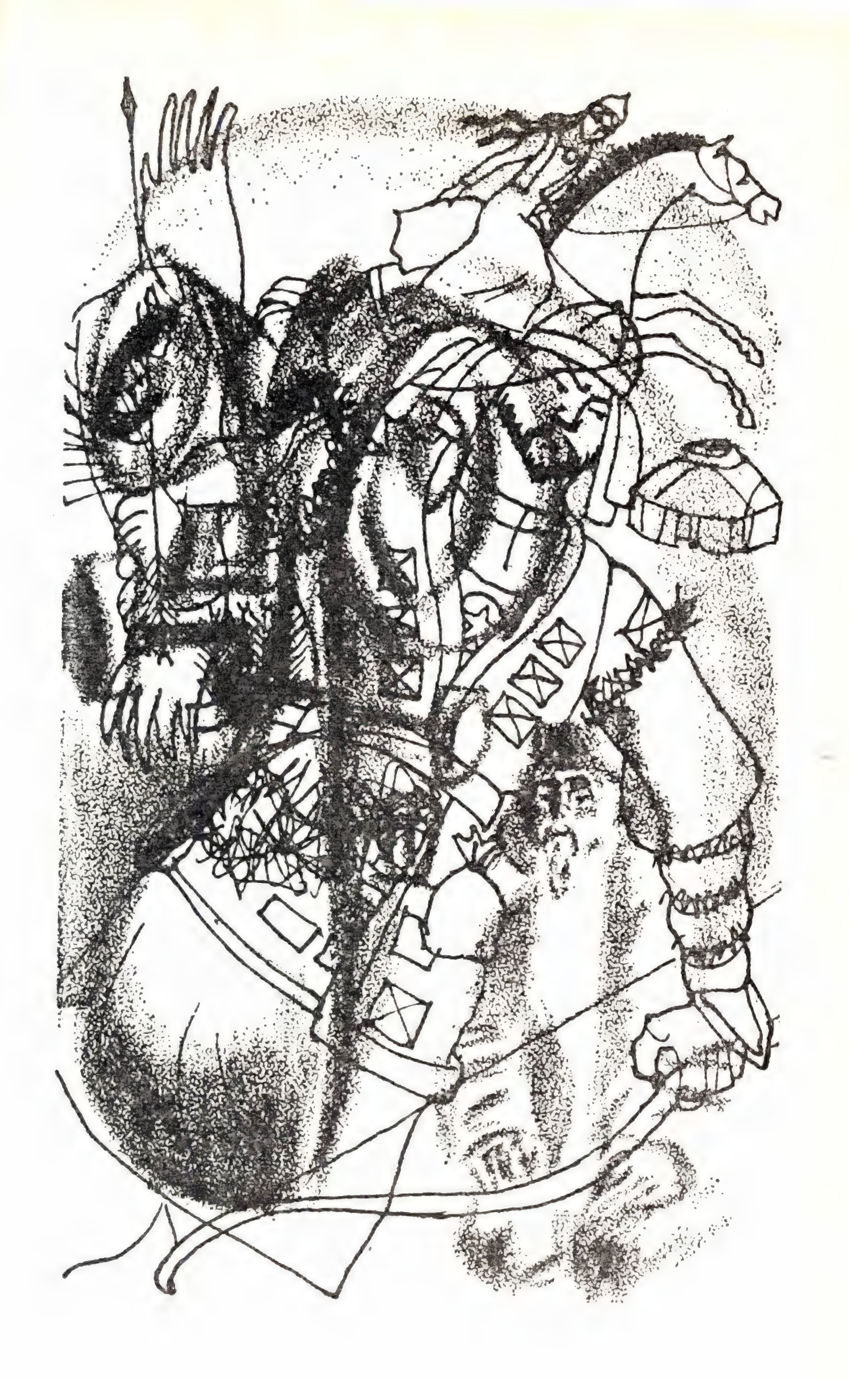
Только почему вдруг Табылдык, таща коней в поводу, бежит к ним? И кричит:

— Чего стоите? Скорей на коней! Бегите!

Только тут Хабрау заметил, что из леса со свистом летят стрелы и всадники в черных личинах скачут прямо на них. Вздрогнул Хабрау, словно обрызнули его холодной водой, очнулся и выхватил из колчана стрелу. Қарасэс прижалась к нему.

— Скачи в аул! — крикнул он ей.

Но Қарасэс только мотнула головой, оттолкнула его к лошади и, прикрывая собой, стала доставать лук. Всадники остановились и стали разъезжаться, идя на обхват трех путников. Табылдык, размахивая саблей, набросил-



ся на двоих, которые уже было совсем близко подъехали к сэсэну. Вышиб одного из седла, но другой, большой и сильный, сплеча рубанул его.

— Домой, говорю! — опять крикнул Хабрау.— Скачи домой, поднимай джигитов!

Ни он, ни она не заметили подкравшегося сзади всадника.

— А тебя здесь оставить? — зло сверкнула Карасэс глазами, и тут же торжествующая улыбка осветила лицо: ее стрела вонзилась прямо в черную личину одного из разбойников.— Ага, попало?

И в это мгновение что-то сверкнуло над головой сэсэна. Мигом раньше, чем сам Хабрау, поняла Карасэс — метнулась словно рысь, обняла, закрыла его. Сабля врубилась в ее шапку, сшибла с головы и, отскочив, полоснула сэсэна в плечо. Хабрау и Карасэс так, обнявшись, и упали под копыта коня.

Хабрау, вцепившись здоровой рукой в стремя, пытается встать. Всхрапывают кони, грызут удила, поднимаются на дыбы. Пять или шесть всадников кружат вокруг сэсэна. У всех на лицах черные тряпки с прорезью для глаз.

Один из них вдруг закричал:

— Дурачье! Это же Хабрау-сэсэн! А где Айсуак? Баба же это, а не Айсуак!.. Вот вам, вот вам, дармоеды! — И он принялся хлестать их камчой.

Кто они такие, в черных личинах, зачем ищут Айсуака, а если найдут, что сделают,— ничего Хабрау понять не в силах. Рядом, вся в крови, лежит Карасэс: с запрокинутого лица сходит выражение боли, и оно разглаживается в спокойной улыбке. Что это — предсмертное удивление? Или не может поверить тому, что, когда пришло к ней счастье, которого она ждала много лет, к которому так рвалась сердцем, все и кончилось?.. Карасэс, Карасэс, светлая несчастная душа...

Но вот голос стал удаляться:

— Ничего ихнего не касайтесь! И лошади пусть остаются!.. Посягнуть на сэсэна — как руки не отсохнут!

Хабрау вскочил. От боли трясет все тело, муть наплывает на глаза. Нащупал рассыпавшиеся стрелы, взял одну, вставил в лук.

— Вот вам!.. Вот вам, грязные разбойники!

Но стрела отлетела шагов на десять и упала бессильно на траву. А черные эти привидения уже достигли лесной опушки. Вот еще раз колыхнулись перед взором и исчезли. Зажав рану, Хабрау упал на землю. Снова перед

глазами закружили черные личины и, наползая, разрастаясь, закрыли весь белый свет.

— Энжеташ...— прошептал он и потерял сознание.

Путь свой, оборванный нелепой кровавой стычкой, он смог продолжить только через десять дней. Крови он потерял много, но рана не была опасной. Карасэс отбила его от смерти, которая вилась за ним, чтобы проводить в чертоги Тенгри, и сама ушла с ней.

Первые три ночи Хабрау то и дело терял сознание, бредил черными всадниками. Мечется, хочет встать, рвется куда-то. «Вот они, вот! Стреляйте, стреляй!» — кричит он. Но кто-то мягко гладит его по лицу, и он успокаивается: «Энжеташ... Карасэс...— И снова: — Таймас-агай! Аргын! Глядите, у Тохтамыша знамя упало! Вперед!»

Пролежав трое суток в беспамятстве, он внезапно пришел в себя. Но был еще слаб. Не то что встать, руки поднять не может. Рана горит, дергает ее частой болью, в лад кровотоку. Но того сильнее исходит болью душа. Садится рядом Татлыбике, смотрит в его изможденное лицо, в тоскливые глаза и качает головой:

— Эх, сэсэн! Есть ли милосердие в этом мире? Или нет его? И неужто мало тех, кого до времени приняла могила? Теперь еще и Карасэс... И скажи, разве такой ты человек, чтобы вот так, безоглядно, в бои-сражения кидаться с головой?

Хабрау молчит. В смерти Карасэс он винит только себя. А насчет боев-сражений, так тут Татлыбике противоречит сама себе. Ее же слова: у певцов Акмана и Суяргула в одной руке была домбра, а в другой сабля. Но нет у Хабрау сил, чтобы спорить с ней. Хорошо хоть, щадя душу Хабрау, байбисе не корит его тем, что Карасэс сбежала-то из-за него, и на этом спасибо. А если зайдет разговор об этом, что он сможет сказать? Ответ у него есть, но никому он его не скажет, если бы и открылся — наверное, не поняли бы...

Все это, по твердому его убеждению, случилось по воле самого Тенгри: на миг короткий Хабрау позабыл Энжеташ и посмотрел на другую — и небо осудило его. И теперь, душой и телом слившись воедино, Энжеташ и Карасэс стали вечной жгучей болью сэсэна. Как людям объяснишь это? Выходит, одно и то же чувство в одном случае Тенгри одобряет, а в другом за него же карает. А что живые на то и живые, чтобы метаться, искать и страдать,— до этого всевышнему и дела нет. Что ему раз-

битые мечты, пустые надежды? По нему, так только мертвые хороши в его прекрасных чертогах.

— Береги Айсуака, байбисе,— сказал Хабрау, стараясь отрешиться от невеселых этих дум.— Всадники, что напали на нас, в тот день его поминали. Не к добру это.

— Знаю, йырау, знаю... О своем побеге Карасэс одной только вдове Аргына сказала, клятву с нее взяла, что все лишь назавтра откроет. Но эта, не знаю, как и назвать, бедняжка ли, неряшка ли, разве такая женщина она, чтобы секрет в себе удержать? А тут еще и свое горе вконец извело. Часу не вытерпела, ко мне прибежала. Я тут же послала двадцать джигитов в погоню. Пятеро Карасэс и Табылдыка, уже мертвых, да и тебя самого привезли в аул, остальные бросились обшаривать леса и горы и вышли на след этих разбойников. Одного поймали.

— Кто же они такие? — приподнялся Хабрау с постели.

— Лежи, лежи, рано тебе еще вставать... Этот, как начала я его спрашивать, кто он и откуда, уперся, ничего говорить не хочет. Но жизнь дорога, как припугнула пыткой...

— Что ты с ним сделала?! — опять вскинулся сэсэн.

Татлыбике насупила брови:

— Что, жалко стало? Эх, сэсэн, вас-то разве пожалели эти разбойники? Жив он, жив. Вот на ноги встанешь, увидишь. Я его в колодки забила. Чую — и тут рука Байгильде, его псы заступили вам дорогу. Эмир-то ногайский за жизнь упыря своего — сына Кутлыяра —велел принести голову Айсуака... Нет, не жалеть надо, Хабрау, твердым нужно быть и еще беспощадней, чем твой враг! Не жить нам без этой ненависти! — сказала Татлыбике, взмахнув камчой.— Мало было этим армаям бесценных жизней моих Аргына и Таргына, решили единственного наследника лишить Богару...

Байгильде, опять он, Байгильде... Да неужто на всей башкирской земле нет управы на него?

— Из войска какие вести?

— О том, что Юлыш разбил ногаев, ты уже, наверное, слышал. Но сам эмир с полутысячей разбойников успел уйти на тот берег. Не удалось нашим поймать его.

— А Байгильде?

— Этот пес продажный тоже куда-то скрылся. Силы у него немалые, тот, что сейчас у меня в колодках сидит, говорит, что две тысячи всадников. А тут еще часть Тимурова войска повернула на север, юрматинцы поднялись

и бежали от него к излучине Сулмана. Видишь, сэсэн, не прибавила я тебе радости... Прольется еще кровь, море крови прольется еще...

Хабрау без сил откинулся обратно на подушку. Как он может тут из-за пустячной раны отлеживаться на мягких перинах! Его место в боевом строю. Нужно поехать образумить минского турэ Янбека и тех сайканских джигитов, что поддались подлым уговорам Байгильде и встали на путь измены.

Хабрау каждый день пил кумыс, мясную шурпу с курутом и ел мясо. Вернулся свет в глаза, посвежело лицо. Рана от сабли на плече почти уже затянулась.

Как только хватило сил подняться на коня, он сразу, несмотря на тошноту, на боль в плече, отправился к Таймасу-батыру. Его прятали в горах, неподалеку от аула. Порою он приходил в себя и сразу начинал просить пить. Уход заботливой травницы-знахарки, которая ни на шаг не отходила от него, ее лекарственные травы, барсучий жир, снадобья, изготовленные из змеиного яда, вырвали его из когтей смерти. «До осенних холодов вылечу»,— обрадовала она Хабрау.

Но пока что Таймас лежит в беспамятстве, не то что узнать человека, даже голоса его не слышит, много еще вынесет мук, прежде чем встанет на ноги, сможет взять в руки оружие. Но посветлело на душе у Хабрау. Не допустил Тенгри смерти батыра. Придет время, и поскачет он во весь опор на врага, еще скрестит с ним саблю! Скоро и согнутая стопятидесятилетним ярмом страна распрямится, вздохнет всей грудью. Вставай, батыр, вставай скорее! Твое здоровье, твоя мощь — это сила страны.

И сэсэн снова выходит в путь. На этот раз Татлыбике хотела дать ему пять-шесть провожатых, но Хабрау наотрез отказался.

— Неужто мало мне смерти Табылдыка? — сказал он и решил ехать один.

Айсуак, сделав вид, что не замечает встревоженных взглядов матери, вызвался с двадцатью своими товарищами проводить сэсэна.

Когда наступил миг прощания, Айсуак молча, без единого слова, крепко обнял его, ткнулся головой ему в плечо и вздохнул.

Понимает Хабрау: душа у Айсуака гордая, и горя своего, и раскаяния, и чувства вины, что несет неповинно, выдавать не хочет. С этими же чувствами выходит в дорогу и сам Хабрау.

Друзья Айсуака — юноши лет шестнадцати-семнадцати, уже с темным пушком на губе. Живые, бойкие, они Айсуаку, которого считают своим командиром, только в глаза и смотрят, ловят каждое его слово. Еще года два-три, и они тоже встанут на защиту своей земли.

— Прощайте, джигиты! — сказал Хабрау.

Они же, поднимая коней на дыбы, объехали вокруг него и, крикнув:

— Счастливого пути, агай! — помчались домой.

И снова Хабрау в дороге, и снова гнет его плечи тяжкая ноша, снова в сердце боль и надежда. Но оглянулся он назад, посмотрел вслед мчавшимся с кликами и свистом юношам, и по лицу прошла скупая улыбка. Почти все они приходили к нему за грамотой, и всех он учил чтению и письму. Разум у них ясный, открытый. А у некоторых, как у птенца певчей птицы, у которого уже прорезывается голос и нескладное чириканье вдруг складывается в чистую трель, выявлялись задатки к пению и музыке. Не погибнут ли зернышки, что были посеяны в их души? Кто знает, может, в будущем книгу судеб башкирской земли будут писать не только сабля и копье, но начертает свои страницы, а то и целые главы перо науки и просвещения?

Сегодня Хабрау вышел в дорогу пораньше. Он слышал, что в дне пути отсюда, в среднем течении Иняка, Хромой Тимур поставил какому-то из своих сардаров большую гробницу. Сэсэн решил, что до вечера доберется туда, переночует в оставленном Богарой сторожевом отряде, а с зарею отправится дальше.

Удивительна природа в горах. Над хребтами Урала светит поднявшееся на две длины копья солнце, а впереди, над степью, сгущается огромная, в полнеба, черная туча, сверкнет порою молния. Куда, в какую сторону покатится этот ураган?

А здесь пока тихо. Дивный миг, когда горы и леса только что очнулись от сна. Журчание воды, трели птиц вторят перестуку копыт двух бегущих иноходью коней — и все эти звуки сливаются в одну мелодию. И в душе у сэсэна, вытесняя муть и горечь, взмывает быстрая мелодия, рождается песня.

О чем эта песня? Вон вдоль леса идет овечье стадо, пастухи с криками, помахивая длинными палками, гонят его. И так всю жизнь — весной направлять этот живой поток на яйляу, зимой — на тебеневку, укрывать от дождя и непогоды, охранять от разного зверья. Об этом песня

сэсэна. Еще — о величии и красоте Урала, о его суровой судьбе.

Гордые сказания давних лет вливаются в строки его песни. Мысленным взором Хабрау видит, как по горным склонам и широкой степи несется могучая конница. На помощь суровому к башкирам булгарскому царю, против меднолобого Субудая спешат ратники Урала. И в самом первом ряду на длинном, в пять аршин, древке бьется главный стяг объединенного башкирского войска. То там, то здесь в этом стремительном потоке трепещут знамена разных племен. На каждом — кожаные узоры: или дерзкий ястреб, или крутолобый волк, или орел-белогорлик... Смерть спесивому Субудаю!

Вдохновенная песня Хабрау вновь оживит уроки истории, и сегодняшним батырам, чьи сердца грызет еще сомнение, вернет надежду, даст рукам силу и сердцу задор. К единству зовет эта песня:

Уголек — живое время
Через вечность вдаль течет.
Часто сталкиваясь лбами,
Семь чудесных льдин влечет.
По течению до цели
Доберутся ли они?
Ветер тучи разгоняет,
Он пронзителен, силен.
Гром гремит, не видно молний —
Это край, что разобщен.
Семь коней без толку ржут,
Рвут друг друга и грызут.
Кто разнимет их теперь?
Иль их растерзает зверь?
Состраданья зверь не знает,
Норовит за глотку он.
Эти семь коней строптивых —
Наши семь степных племен.

Как бурная стремнина течет мелодия, шумит перекатами и, разбиваясь, взлетает брызгами. И, словно идя тяжкими излуками судьбы, сливаясь с громом копыт, пронзительным свистом, боевыми кличами, высвечивает она яростные, издревле идущие языческие чувства...

А тучи сгущаются, клубятся, наползают друг на друга и уже закрывают небосклон. Знает Хабрау, дорога, которую он выбрал, будет нелегкой. Грозные бури ждут его впереди, горечь новых утрат, крушение и надежда. Но остановиться он не может. Только в борьбе с этой бурей утешится его исходящее кровью сердце.

В одной руке домбра, в другой сабля будет у сэсэна...

СВАДЬБА

Вдовам братьев моих,
погибших на войне, посвящаю

1

Никто не удивился, когда за три километра до аула Алтынсес спрыгнула с телеги и пошла пешком — так наработались, намахались за день на покосе, что не до удивления было. Да и странности Алтынсес уже стали привычными. Ну пошла и пошла. Не бог весть какой случай, чтобы со всех сторон обмеривать. Одна только женщина, махнув рукой, будто отгоняя муху, проворчала: «Сорок прямых—одна упрямая». Но слово словечко тянет. Ворчанье это просыпалось, словно холодные брызги на засыпающего.

— Не болтай... Ведь живьем в огне горит.

— Горит... У нее одной горе, что ли?

— Бедному и ветер супротив. Вон косу сломала.

Алтынсес будто и не слышала ничего, остановилась, подождала, когда проедут подводы. Две скрипучие телеги проползли мимо, две изнуренные лошаденки с трудом удерживали их, чтобы не раскатились под уклон. Она закинула сломанную косу на плечо и исчезла в тени высокого прямого осинника.

Разговор на телегах, коли раз взболтнули, затих и отстоялся не сразу. Женщины постарше — то ли горести Алтынсес, то ли свои собственные вспомнили — повздыхали молча. А кое-кто и заскорузлым пальцем возле виска покрутил: что, мол, с нее возьмешь?

— Не дай бог, заблудится,— сказала одна.— И что ее в самые сумерки в лес понесло?

Смуглая, похожая на цыганку девушка Кадрия сморщила носик:

— Осталась небось, чтобы в Казаяке искупаться. Она же у нас ой какая стыдливая, стесняется тело свое показывать.

— Только что трещала: «Ах, Алтынсес, ах, подружка», а теперь что же? Сразу нехороша стала?

Носик высокомерно повернулся к задку телеги, откуда донесся упрек.

— Ой, глядите-ка, у Сагиды, оказывается, язык есть! В дела молодых лезет! — сказала Кадрия и, достав откуда-то из-за пазухи круглое зеркальце с ладошку величиной, начала разглаживать пальцем брови, искоса поглядывая на однорукого, с жестким лицом бригадира Сынтимера.

— Подумаешь — молодая! А я что, старая? Осенью двадцать пять будет. Чем это я в убытке?

— В прибытке! Куда троих сопливых денешь? Коли так пойдет — до десяти скоро догонишь. Ты же их как пельмени лепишь.

— Слава богу, не ветром надуло,— скромно потупилась Сагида.— Все трое — законные, с мужем нажиты. Мы не из тех, кто по чужим аулам бегает, бабку повитуху ищет.

Кадрия закусила губу и с видом полного безразличия стала оглядывать окрашенные закатом облака.

— О аллах! Нашли о чем судачить! — сказала женщина, первой пожалевшая Алтынсес.— Не скажут: как бы чего не случилось в лесу на ночь глядя,— нет, грехи друг друга на безмене взвешивают.

— Алтынсес, кажется, и плавать толком не умеет,— сказала Сагида.

— Пошла бы следом, коли жалко! — это опять Кадрия.

Худые от недоедания, уставшие за день мальчишки ехали до этого молча и вполуха прислушивались к вялой перебранке женщин. Но слова Кадрии будто разбудили их.

— Пошли, ребята,— сказал один.— Посмотрим из-за кустов, как наша енге[1] купается!

И они, словно горох из прорвавшегося мешка, ссыпались на дорогу.

Молчавший до этого Сынтимер вырвал у подростка-возницы кнут из рук и показал навострившимся было уже мальчишкам:

— А вот это видали?

Угроза подействовала. Тихонько пересмеиваясь, те влезли обратно в телегу. Один все же не утерпел, поддел бригадира:

---

[1] Енге — жена старшего брата, дяди, а также старшего вообще по отношению к говорящему.

— Тогда сам бы ее проводил. Ты к нашей енге даже близко подойти никому не даешь.

— Ага,— поддакнул другой.— Петух прямо, что цыплят стережет.

Кое-кто из женщин, отвернувшись, прыснул в ладонь. Кадрия, не отрывая глаз от неба, усмехнулась. Сынтимер насупил брови и единственной рукой ловко скрутил цигарку, так же ловко чиркнул спичкой о коробок, прикурил, и огромный клуб дыма потянулся следом за телегой. Потом шлепнул ладонью по узкой с выпирающими лопатками спине возницы: погоняй.

На задней телеге с визгом растянули гармошку. Еще сильнее пыхнула цигарка Сынтимера. Не замечая многозначительных усмешек женщин, он вглядывался в темнозеленый в полосах вечернего тумана сумрак леса. Кто-то, следуя за гармонью, хриплым голосом повел песню. Сначала песня билась, как птенец, рвалась и не могла взлететь, моталась из стороны в сторону, но окрепла, набрала силу и полетела к алеющему гребню гор. Над всеми голосами поднялся голос Кадрии:

От болезней есть лекарство,
от тоски лекарства нет...

Песня догнала идущую в полутьме леса Алтынсес и подтолкнула ее в спину. «От тоски лекарства нет... лекарства нет...» — шепотом повторяла она, всхлипывая. По глухой траве, не замечая, как ветки хлещут по обожженным на солнце рукам, продиралась она сквозь чащу. Лес поредел, заблестело вечернее небо, и Алтынсес вышла на крутой берег, где стремительное течение Казаяка ударялось о скалу — место, которое называлось Змеиным лежбищем.

Нет, вовсе не собиралась Алтынсес купаться. Если бы собиралась, нашла бы место поудобней, попривычней, к аулу поближе. Да и там вошла бы в воду по пояс, только бы остудила утомленное долгой, от зари до зари, косьбой гибкое тело и торопливо выскочила на берег, скорей натянула платье.

Алтынсес с детства боялась воды. Еще маленькой была, еще и на воде не умела держаться, затянуло ее однажды в омут, и она чуть не утонула. Куда там это гиблое место — Змеиное лежбище! Она и в мелководье-то, где одна малышня плещется, редко когда заходила — и то, если уговорят или вконец задразнят подруги. К то-

му же свекровь сегодня утром сказала: «Может, пораньше вернешься — к вечеру баню истоплю».

Иное привело сюда Алтынсес. Это сумрачное место, где редкий след человеческий затоптан зверьем, знало тайну Алтынсес. Когда сердце тоской точится, она, ища успокоения, приходит на Змеиное лежбище. Придет и в жалобах на горькую судьбу выплачет тоску. Посветлеет немного на душе, и надежда вроде бы подновится.

И сейчас она, подойдя к большой одинокой березе, окруженной у подножия молодой порослью, крепко зажмурилась и уткнулась лбом в шершавую кору. Рыдание, которое целый день толкалось, задавленное в груди, вырвалось наружу.

Пропал Хайбулла. Жизнь его, как звезда, что восходит на рассвете, вспыхнула и погасла. Справил скорую скудную свадьбу, ввел Алтынсес невесткой в дом и уехал; через пятнадцать дней пришло письмо — одно-единственное. Все. С тех пор ни весточки от Хайбуллы. Есть ли он на этом свете? Жив ли? Или четыре года уже... Даже это неведомо.

...Было, вот как и сейчас, начало сенокоса, когда вернулся раненый Хайбулла из госпиталя. Леса с головой в птичий гомон зарылись, травы на лугах словно на опаре поднимались. Но не было мужчин, чтобы со звоном отбили косы и вышли на эти луга, не было, как прежде, до войны, праздничной суматохи сенокосной поры. Просто на женщин, стариков и подростков надвигалась еще одна тяжелая страда.

Два дня высидел Хайбулла дома, больше не выдержал. Ни причитаний матери, старой Мастуры, ни раны своей, все еще ноющей, он не послушался. Снял из-под амбарной застрехи старую косу и пошел на луга.

В то лето Алтынсес, как и ее подруги, девчонки шестнадцати-семнадцати лет, косить пошла впервые. Во главе десяти девушек, поневоле взявших на себя эту мужскую работу, поставили Хайбуллу.

Под ливнем мальчишеских насмешек он каждой подогнал косу по руке, отбил, показал, как надо держать ее и вести над землей. Ставил впереди себя то одну, то другую девушку и, ухватив косу в четыре руки, учил взмаху, показывал, как нужно шагать — пóтом изошел, но толку было мало. В первый день вдесятером того не накосили, чего и один бы накосил.

«Эх, покосить бы самому вдосталь!» — вздыхал Хайбулла, но виду не подавал. Посмеивался только: «Легче стригунка к оглоблям приучить, чем вас к косе». Изо всех сил старались девушки, ретиво, вкривь и вкось, вразнобой махали косами — жалкое зрелище!

«Вот сын своего отца! Терпения-то на троих у тебя!» — сказал старый Салях. Дед сейчас ходил в бригадирах: больше некому было. От его похвал у Хайбуллы еще рвения прибавилось. А терпения, видать, и впрямь хватало: дня через три девушки махали косами уже вполне сносно и высокую, по пояс, густую траву скашивали чисто, почти без огрехов.

Из всех девушек Хайбулла как-то сразу выделил Алтынсес. То и дело подходил к ней: или косу направит, или заново — в который уже раз! — покажет, как вести ее. А может, это просто казалось Алтынсес? Ведь Хайбулла — примечала с легким унынием она — точно так же приветлив, внимателен ко всем девушкам. Чуть где заминка, он смахнет пот со лба и уже тут как тут: лезвие наведет, ручку подгонит или переставит, пошутит, подбодрит. Нет, никого не выделял Хайбулла. И все же... Алтынсес невольно считала, сколько раз окликнул ее Хайбулла, сколько раз оказался рядом. И получалось: чаще!

Она изо всех сил отгоняла эти мысли, головой даже мотала, чтобы вытряхнуть прочь этот счет из головы — все впустую. Терялась, наука впрок не шла. То на ровном месте коса в землю воткнется, то идет вроде бы ровно, широко, но вдруг вильнет вбок и так запутается в густой траве, что и не вытянешь. А тут еще Хайбулла сзади наступает, поддразнивает:

— Эй, Алтынсес, пятки срежу!

Крепилась, крепилась Алтынсес и наконец, когда коса опять запуталась в густой траве, не выдержала, отшвырнула ее и, нагнув голову, чтобы не видели слез, бросилась в лес. Хорошо, что день уже клонился к вечеру и пора было домой. Хайбулла глядел, глядел ей вслед и, закинув обе косы, ее и свою, на плечо, пошел за Алтынсес.

Уже тогда взволновало что-то парня или только пожалел нескладеху? Если вдруг проснулась птица души, встряхнулась, ударила крыльями — просто так, беспричинно, от молодости,— отчего же он не приметил Кадрию, которая все «Хайбулла» да «Хайбулла», крутилась возле него? Высоко, видать, ставил себя джигит, если

даже на такую красавицу и певунью душа не оглянулась.

— Не печалься, Алтынсес, еще два дня, и на покосе равных тебе не будет! — крикнул он, издали увидев ее, сидящую на земле, на затененном краю леса.

У Алтынсес сразу на душе стало легко. Но чем ближе становилась освещенная закатным солнцем улыбка Хайбуллы, тем почему-то тревожнее становилось на душе Алтынсес. Она поднялась с земли и не спеша, но и не сдерживая шага, пошла... Дошла до обрыва над Казаяком и, как измотавшийся, остывший стригунок, остановилась. Хайбулла не окликнул, не подошел к ней, повесил обе косы на ветку березы и встал над обрывом поодаль.

Солнце уже зашло за край горизонта, и печальный багрянец покрыл всю землю. Над головой в высоком, быстро гаснущем небе мерцали последние лучи, внизу о подножье скалы билась вода.

— Эх, нет земли лучше нашей! — воскликнул вдруг Хайбулла.

Алтынсес вздрогнула. Быстро повернулась и пристально, словно впервые увидела, посмотрела на Хайбуллу. Брови изогнуты, сузившийся взгляд прям и не дрогнет, как у птицы, привыкшей смотреть против ветра. И весь он сейчас был словно беркут, готовый ринуться с высоты.

В испуге отвернулась, хотела броситься прочь, но от томительной слабости все мышцы обмякли. Что-то хотела сказать — губы помертвели. Только сердце колотится, словно птица в клетке, даже шум воды заглушает.

То ли понял ее состояние Хайбулла, то ли нет,— взобрался на зеленоватую скалу и крикнул:

— Э-ге-ге-ге-эй! — Голос его вспорол недвижный воздух, полетел, вспугивая эхо.

И с этим возгласом улетело смятение Алтынсес. Вот солдат, думала она, украдкой поглядывая на Хайбуллу, раненный, медалью награжден, а ведет себя ну как мальчишка! И ямочки на щеках, когда улыбается, и искорки в глазах, и все повадки — все знакомое, все от того недавнего мальчишки. Но задумается вдруг, и глубокая складка прорежется меж широких бровей, сумрачная тень ложится на лицо. Совсем взрослый, совсем чужой человек. Какая тревога мучает его, какая грусть тускнит глаза?

Семнадцать лет было Алтынсес, не могла она дога-

даться, что, если человек хоть раз встретится со смертью лицом к лицу, сумрак оседает в глубину его души, и стоит толкнуться душе — сумрак этот, словно ил, всплывает в глазах.

Вот и сейчас Хайбулла, будто рассердившись на себя за свою выходку, помрачнел, насупился и, не отрываясь, стал смотреть на реку. Словно взял и перешагнул через какую-то невидимую межу. А там, за этой межой...

Вдруг Алтынсес сорвала с головы платок и, мотнув головой, разметала отливающие золотом волосы. Так тряхнула, словно хотела стряхнуть с себя какие-то неотвязные мысли. И, неожиданно для самой себя, приставила две ладони ко рту и крикнула:

— Ҡас-ка-лак!

Постояла, послушала немного и крикнула снова, что было сил, протяжно, словно позвала:

— Ҡас-ка-ла-ак!

Лес и горы, каждый хребет по-своему, ответили:

«Ла-ак!.. а-ак!..»

Алтынсес то ли смехом зашлась, то ли от испуга ойкнула, согнулась пополам и опустилась на траву. Хайбулла рассмеялся и подошел к ней. «Ҡаскалак» — Беглец — так его прозвали в детстве. За то, что заскучает, бывало, и удерет с уроков поиграть на улице. Не забыла, выходит, Алтынсес, как дразнили его еще тогда, в недалекие, но уже полузабытые годы.

— А сама-то, сама кто?

Алтынсес с трудом удержала всхлип, прошептала:

— А я канарейка.

— Нет, совсем тебе не идет. Ты — Алтынсес[1].

— «Алтынсес» да «Алтынсес»,— словно бы недовольно зашептала она.— У меня имя есть. Ма-ли-ка. Забыл? А теперь вслед за тобой и весь аул так кличет.

— Но если ты и впрямь золотоволосая!

Истинная правда: не только в своем доме, у отца-матери, не только во всей родне-породе,— во всем Куштиряке она была одна такая — златовласая. И сейчас помнит, когда была маленькой Маликой, ребятня дразнила ее Ҡанарейкой и медноголовой, а кумушки-соседушки, посмеиваясь вполрта, иной раз одаривали Фаризу, мать Малики, непонятной прибауткой про какого-то проезжего молодца. Но вот исполнилось семнадцать, и назло нужде и голоду, которые принесла война, расцвела Ма-

---

[1] Алтынсес — златовласка.

лика и стала Алтынсес. Теперь ни усмешек, ни насмешек — разом сдуло. Наоборот, посмотрят на ее непривычную красоту женщины и разве только покачают головой. Но сама Малика среди своих подружек черноволосых, с глазами черными, точно спелая черемуха, особенно рядом с Кадрией, чувствовала себя Золушкой. Вот почему, когда Хайбулла и при людях, и наедине называл ее Алтынсес, робкая обида толкалась в груди: опять дразнится. А сейчас увидела: нет, не смеется, даже ласково будто...

— Все дразнишься...

— Нет, я правда... Я в жизни такой красивой не видел, как ты, Алтынсес...— и залился румянцем, опустил голову. Больше ни слова не сказал, все недосказанное носком сапога в землю начал вбивать.

— Знаем мы вас, парней...— от собственной глупости Алтынсес чуть не задохнулась, но языка сдержать не смогла, обида в голосе и задор, которого минуту назад и в помине не было: — Каждой встречной небось так говоришь...

Хайбулла сел рядом с ней. Движения осторожны, несмелы. И даже сел — чуть-чуть земли касается.

— Совсем нет... почему не веришь...— Голос вдруг охрип.— Ни одной девушке...— Осторожно, кончиками пальцев коснулся распустившейся косы. Хоть и волоса не шевельнул, Алтынсес вздрогнула, рванулась вскочить, но горячая ладонь удержала за плечо, она громко всхлипнула и, уткнувшись головой ему в грудь, заплакала...

— Не плачь, не надо, Алтынсес... Хлебом клянусь, ни на одну девушку не глянул даже. Ни разу...

Эх ты, глупый! Разве потому плачет Алтынсес? Если бы и глянул... На то и глаза — чтобы смотреть. Ты не глядел, так на тебя заглядывались. Вот еще печаль! Малика и сама за работой нет-нет да и посматривала на тебя. Просто так, из любопытства. И Кадрия, и другие девушки, наверное, так же.

Это правда, что-то чуяла в последние дни Алтынсес, чего-то ждала все, без всякой причины охватывало ее смятение. Вот сегодня утром заупрямилась вдруг и, пока мать не заругалась, не хотела ехать на луг. А теперь слезы ливнем льет... оттого... что полюбила, что вся жизнь и весь мир разом изменились. Раньше она была сама своя, как ветер степной летела, куда знала, куда хотела. А теперь душой и телом — только к нему... И лететь боится, и с привязи рвется.

Хайбулла, напуганный ее плачем, в своей несуществующей вине начал оправдываться. Мучается, нужных слов найти не может:

— Валлахи-биллахи... никто мне не нужен, кроме тебя, Алтынсес!.. Только ты... ради бога, не плачь...

Алтынсес, не вытирая слез, посмотрела на Хайбуллу, и сквозь дождик глянуло солнце. Такой большой, такой сильный парень и так растерялся... Обиду, и так наполовину притворную, смыло. Счастливая, она приникла к нему.

Стало темно. В высоком ясном небе зажглись пять-шесть первых звездочек. Подул холодный ветер, раздул их поярче. Парень с девушкой все так же сидели не шевелясь, мир обнял их, а они обняли друг друга. Зажигались и зажигались новые звезды. Когда запылало все небо, ветер утих. Наконец Алтынсес подала голос:

— Что же теперь-то?

— Что? — Хайбулла вскочил, за руку поднял ее с травы.— Домой пойдем?

— Да, да... поздно уже... А потом, когда домой придем? Завтра? И еще потом?

Но джигит так далеко еще не заглядывал. Его завтра — через три недели. Непочатые три недели! Он уже был солдатом и время мерял по часам, по минутам. А три недели, целую жизнь, и делить-то не хотелось. Он тихонько притянул к себе Алтынсес. Но она, вдруг застеснявшись, легким движением отвернулась от его руки, отряхнула платок, повязалась. Белый платок укрыл ее золотую голову, как белый туман укрывает луну, лежащую на воде.

— Ты уедешь, я останусь...— сказала она и пошла по тропке.

— Уеду... так вернусь же!

— Боюсь, Хайбулла... агай. Уедешь и забудешь. Что потом делать буду?

— И я боюсь. На такую красивую девушку — кто не заглядится? Сама же сказала: знаем мы вас, парней!

Загрустившая было Алтынсес расхохоталась. Хайбулла крепко обнял ее и принялся целовать в глаза, в лицо, в волосы.

С этого вечера каждый раз, возвращаясь с лугов, они шли сюда. С утра косят, потом сгребают сено, скирдуют — к исходу дня умучаются, ноги не держат. Но придут к этой одинокой березе, сядут у подножия, и сходит усталость, как шелест с листьев. Солнце зайдет, опустит-

ся тьма... и вот уже кончается короткая летняя ночь. Первые крики петухов долетают до Змеиного лежбища. И все равно, столько слов еще остаются невысказанными,— сколько звезд на небе, сколько листьев на березе...

В Куштиряке народ приметливый. Особенно женщины. Эти сразу учуяли, куда дело повернулось, и прямиком на скорую свадьбу истолковали. Да и мудрено было не заметить. В черное время, когда народ кровавым потом исходил, любовь эта была — словно солнце в разрывах туч.

Люди постарше то ли с горечью, то ли с удивлением головой покачивают, а кто помоложе, открыто улыбаются, подмигнут даже: держитесь, дескать, не поддавайтесь! Впрочем, любви и суда нет. А кто на любовь искоса смотрит, так у того самого — глаз косой и душа узка.

— Счастливая ты,— говорят Алтынсес подружки.— А Хайбулла-то, Хайбулла! Всем взял — и ростом, и нравом, сам осанистый, сам покладистый. Вот тебе и Хабеш!

— А сама-то Малика! То ли по земле ходит, то ли по небу плывет.

— Досадно, подружки,— вступает в разговор Кадрия.— Только этот Хабеш вернулся, сказала себе: «Я не я, коли не завлеку». Завлекала-завлекала, веретеном вокруг него вертелась, хоть бы раз посмотрел. От тебя глаз оторвать не мог,— в голосе ее проскальзывает обида.

— Ладно, ладно! — смеются девушки.— Ишь завидущие глаза!

— Ничего, и наши суженые вернутся...

— Смотри, прознает твой Гали, сразу отставка!

Одна девушка даже пропела:

Тает снег, тает снег,
Тает снег, журчит вода,
У разлучницы-подружки
В животе бурчит она.

— Боюсь только, за околицу выйдет и забудет тебя твой Хабеш. Поминай как звали. Он же Каскалак,— не сдается Кадрия. Но, увидев, что Алтынсес враз сникла, торопливо добавляет: — Ну, ну, уже губы надула. Пошутила я. Не бойся, у таких слово крепко.

Алтынсес молчит, улыбается. Но сквозь улыбку пробивается тревога. Не знают подружки ее печалей, не догадываются. Любовь Хайбуллы — такое счастье, и умом

не охватить. Нет, понять это невозможно: как это, жил человек, о тебе и думать-то не думал — и вдруг родней отца-матери стал. А следом беда: все ближе день, наступит он — и уедет Хайбулла. День этот, как беда неминучая, уже в глазах стоит. Смотрит она и всем телом, сердцем даже напрягается, день тот отодвинуть хочет. Нет, не в ее силе, не в ее воле. Другая сила, другая воля держит сейчас судьбу человека в своих руках.

А тут еще мать Алтынсес любовь дочери приняла как неожиданную напасть. Не сердилась вроде и не ругалась, только вздыхала глубоко, будто печень огнем прожигало: «Эх, дочка, дочка, что же делать-то будем? Добро, если как ветер мимолетный — ударил в окошко и пролетел дальше... Может, уедет он, и забудешь его, дитятко?» А дочь обнимает ее и, как солнце в облаке, то плачет, то смеется: «Нет, нет, мама, не забуду... вовеки...» А про себя думает: «А может, и не уедет. Вот не пройдет комиссию, и оставят его дома. Ведь нога и не зажила еще до конца».

«Побереги нас, аллах»,— вздыхает Фариза и гладит дочь по волосам. А потом за мужа, который в трудармии надрывается, за сына, который на краю гибели ходит и так редко пишет письма, и за Хайбуллу, которого невольно ставит в душе рядом с ними, в долгих молитвах просит всевышнего.

А считанные дни шли один за другим.

Покончили с сенокосом, начали готовиться к жатве. Хайбулла и тут не остался в стороне. Две жатки-лобогрейки, которые кое-как удалось отремонтировать, помог отладить, обучил мальчишек работать на них. Целый день хлопочет в кузнице, а вечером идет на берег Казаяка.

Алтынсес уже там, его дожидается. И обижается каждый раз: «Ты меня к вечному ожиданию, наверное, приучить хочешь, всегда опаздываешь»,— и, вспомнив слова Кадрии, обвиняет его: и ветреный он, и равнодушный, и давно уже разлюбил. А Хайбулла слушает ее и даже улыбки не гасит. Повторит в тысячный раз слова клятвы, и посветлеет лицо Алтынсес. А потом обнимутся, сядут мечтать о будущей безоблачной жизни, о счастливых днях.

Чем ближе подходил день прощания, тем чаще заговаривал об этом Хайбулла. В один из вечеров он вдруг сказал:

— Алтынсес, вернемся сегодня пораньше. Мне с твоей матерью поговорить надо.

Алтынсес тут же вспомнила о слезах и вздохах матери, которая только и мечтает, как бы Хайбуллу от дочери отвадить.

— О чем ты с ней будешь говорить? Она и так ругается: перед всем, говорит, аулом чуть не под руку ходите. Смотри, попадет тебе.

— Если не пойду, еще больше попадет,— улыбнулся Хайбулла.

— Да что за нужда-то? Скажи — передам.

— Если ты согласна — буду тебя в жены просить,— сказал серьезно Хайбулла.— Возьмемся за руки и встанем перед ней...

От страха Алтынсес зажмурилась даже. Сколько она ни упиралась: и восемнадцати еще нет ей, и мать уже стара, а сестренка с братишкой малы, за ними уход нужен — Хайбулла стоял на своем. Впрочем, спорила она только из жалости к матери. Если Хайбулла уже все решил, чего ей-то сомневаться, чего тревожиться? Все равно ей жизни без Хайбуллы нет. Одна жизнь, общая на двоих. Каждый вздох пополам.

Подумала так, и разлука стала казаться не такой страшной. Не на одну ее свалилось это горе. Как говорится: что люди — то и она. Будет работать, себя не щадя, зубы стиснет — ждать будет. Ведь как в песне поется: «А недолгую разлуку перетерпим, дорогой». А мама поплачет да утешится, поперек счастья дочери не встанет.

И все же, когда подошли к дому и она протянула руку к двери, от страха подогнулись ноги.

— Нет, Хайбулла, не могу. Поговори сам...— и без сил опустилась на крыльцо.

Фариза на солдатское «салям» кивнула коротко и пошла, пошла честить его. Какое замужество? В куклы ей еще играть, а не замуж идти! Да и сама любовь в такое время не любовь — наказание божие, грех один.

Только Хайбулла рот откроет: «Погоди-ка, енге...» — Фариза пуще расходится. Джигит уже ругал себя, что не ко времени явился, пятиться к двери начал, Фариза вдруг заплакала навзрыд:

— О создатель! То ли еще увижу! И отца-то дома нет! Ну что ты ей голову дуришь? Глупая еще у нее голова. Парню смех, а на девке грех. Тебе что, собрался — и нет тебя. Каскалак...— Алтынсес на крыльце вздрогну-

ла.— А Малика здесь останется. Кому она нужна будет, с такой-то славой?

Наконец, по всему, настала его очередь говорить, и Хайбулла быстренько снова перешагнул порог.

— Ну, уеду! Так не навек же! Да и война уже обратно покатила. Вот так, енге... Малика согласна, решили мы до отъезда свадьбу сыграть.

— Вот-вот! Только свадьбы и не хватало при нашей-то сытости: рот раскроем — потроха насквозь видать,— снова, будто даже с радости, вскинулась Фариза.

— Ну, не свадьбу... так женитьбу... по закону, по обычаю.

— По закону, по обычаю! По какому еще закону, если ей восемнадцати нет? Да кто вас поженит? И-и, алла-а! Бедное, бедное дитя, отец где-то в чужих краях мучается-надрывается, брат, как молодой лев, на фронте дерется, некому защитить, некому заступиться. Ничего, не заносись, и они, как ясное солнышко, вернутся домой!..

Так и гнула свое. А Хайбулла — свое, пять раз порог туда-сюда перешагивал. Сидевшая на крыльце Алтынсес рада была бы в щель между досками шмыгнуть. Когда Фариза отрезала: «Иди, подумай, потом оба каяться будете»,— и выпроводила Хайбуллу, Алтынсес даже рада была, что тем все и кончилось.

Но когда Фариза накормила детишек, уложила их спать, пришла старуха Мастура, мать Хайбуллы. Малика юркнула за перегородку.

Запел самовар. Запах смородиновых листьев, заваренных вместо чая, донесся до забившейся за перегородку Малики. Один из двух кусков сахара, которые пуще глаза берегла, Фариза расколола пополам и положила перед гостьей.

— Я потому на ночь глядя, всех собак переполошив, пришла...— начала было Мастура, но Фариза перебила ее:

— Знаем. Дом без хозяина, за чем руку не протянешь, того и нет, куда ни глянь — нужда и разор. Какая уж тут свадьба?

— И не говори, Фариза! Чтоб подавился этот проклятый Гитлер, другого и не пожелаешь...

— И еще... Как рядом со своими сиротами моей Малике место найдешь?

Мастура, видно, решила, что окольным путем лучше подъедешь.

— И-и, вот еще забота! Пусть тогда невестка, пока Хайбулла не вернется, с тобой живет, коли согласна,— и, подобрав с колена угол большого головного платка, прикрыла улыбку.

— Еще чего! Только людей смешить! Если уж невестку содержать не в силах, нечего было и затевать,— Фариза со стуком поставила самовар на стол, со звоном, чуть не побила, выставила чашки.

Мастура молча переждала, когда Фариза успокоится. Самовар закипел, хозяйка маленько остыла, и только тогда вслед за струйкой из чайника зажурчала мягкая речь:

— Я ведь так только сказала. Слава творцу, не хуже других живем, и корова есть, и картошка, видать, уродится хорошая нынче. Детям свое, невестке свое — в долю друг другу не войдут. На этот свет каждый со своей долей-участью приходит... А какие они умные да ласковые, Зайтуна и Нажия! Прослышали уже где-то, прибегают радостные и спрашивают: «Бабушка, а правда, что Малика-апай с нами будет жить?»

Нажия и Зайтуна — русские девочки, на самом деле Надя и Зоя. По шесть лет им всего. Алтынсес хорошо помнила, как в сорок первом году, черной осенью, еще до снега, приехали беженцы с разоренного запада, семей десять. Было студено, летали первые снежинки. Изможденных от холода и голода женщин и детей куштиряковцы разобрали по домам. Мать Нади сама в пути подобрала сиротку Зоечку. Мастура взяла их к себе, ухаживала, как за родными. Но мать Нади так и не оправилась, ко всем пережитым мучениям заболела воспалением легких и умерла. Девочки остались на руках у старухи. Дети подросли, стали своими в ауле, бойко лопочут по-башкирски, за Мастурой, как гусята за гусыней, по пятам ходят: «бабушка» да «бабушка».

«Нет, нет, какая еще доля! — подумала Алтынсес.— Да если бы и вошли, такие-то крошки! Пусть язык у меня отсохнет, если слово недоброе им скажу».

Мать и будущая свекровь некоторое время беседовали молча, без слов, самим чаепитием: хозяйка хлебнет отрывисто, в сердцах, а гостья тоненько, протяжно, умиротворяюще, хозяйка дунет в блюдце — горячий чай через край плеснет, гостья дует мягко, долго. Незаметно для себя и Фариза стала прихлебывать тише и дуть мягче.

— Коли сын любит — значит, и мне дочь,— наконец

гостья, крутнув веретено разговора, потянула нить дальше.

— Только и слышу: любовь да любовь. Для любви ли время, енге? — вздохнула Фариза и покачала головой.

У Мастуры и на это готов ответ:

— Любовью судьба заправляет, Фариза. Разор ли, раздор ли — все нипочем, ни на что не смотрит, никого не спросит. Да хоть нас самих взять...

— Мы — одно, они — другое.

— Почему — другое? Аршин всегда аршин — и утром, и вечером, и в будний день, и в святую пятницу. Всяк — если душой не увечный — сердечной мукой переболеть должен.

— Ох, время, время! — опять вздохнула Фариза. То ли о сегодняшнем сказала, то ли юность свою вспомнила. Кажется, даже всплакнула тихонько.

— В сердце юность, в голове дурость. С Гарифуллой покойным мы вот в такое же лихолетье сошлись. Как раз в год, когда прошлая германская началась,— сказала задумчиво Мастура. Беседа, кажется, выбралась из запутанного, размочаленного клубка, потянулась ровно, без узелков.— Отец мой, бедняга, род Гарифуллы равным нашему роду никак признавать не хотел. А тут Исмай посватался, вот за него, говорит, и отдам. Уперся и стоит на своем. А я — на своем. На что мне его богатство, его старшей жене вечной соперницей быть? А Гарифулла — честный, добрый, хоть и бедный, нам ровня. Плачу сама в три ручья. Исмаю вторая жена нужна, чтобы все его богатство видели, из одного чванства.

— Исмай-то ведь и украсть тебя пытался,— вставила Фариза.

— Было. Средь бела дня сгреб в охапку и потащил в кусты. Я кричу, отбиваюсь, от собственного визга оглохла,— засмеялась Мастура.— Ладно, Гарифулла поблизости оказался — там коней русского бая в табун сгоняли. Услышал мои крики и нагнал Исмая. В ауле так и говорили: «Мастура из волчьей пасти выпала». А я вскорости за Гарифуллу вышла. Только в тот же год его в солдаты забрали. Исмай постарался. Четыре года, как Гарифулла сам говорил, в окопах вшей кормил. Потом гражданская, с белыми воевал. Да что рассказывать, ты не из чужого аула, все на твоих глазах прошло. Только через десять лет после свадьбы сынок-то у нас родился. А как сын вырос, на ноги встал, так и не увидел отец... Когда на смертной перине лежал, сказал мне, никогда не

забуду: «Встретишь хорошего человека — выходи, вдовой не майся. Только сына выучи, в люди выведи». Хорошего человека!.. Хорошие-то, может, и есть, да кого после него душа примет? Пятнадцать лет уже прошло, а все не верится... Лежу ночами и жду: вот-вот в окно постучится.

Мирно гудевший самовар потух. Женщины, сдерживая рыдания, беззвучно поплакали.

— Да что я все о себе да о себе? — очнулась Мастура.— А вы сами? Тоже ведь не смотрели, что мор и голод. В том страшном двадцать первом поженились с Гайнисламом. Когда ты из дома ушла, в чьем вы чулане прятались? Забыла? А все она — любовь!

— Что ты, что ты, енге, разве такое забывается? И доброты твоей век не забуду. Будто вчера все было. И-и, алла, где теперь отца-то нашего горемычного носит?.. Бедняжка, горяч и норовист, а ведь ни меня, ни детей пальцем не тронул, слова худого не сказал.

Гостья рассмеялась:

— Э-э, Фариза, что-то помнится, раза два он тебя все же ременным чересседельником приласкал. А кто мир и согласие меж вами налаживал? Опять я! Ладно еще, нрав у тебя хороший. Терпела, на люди не несла, в себе таила.

— Смолоду ревнив был, отец-то наш, через край прямо. С пустяка искры летели,— Фариза перешла на шепот.— Малике уже лет семь-восемь было, как-то прибежала с улицы вся зареванная: оказывается, детвора ее «канарейкой» дразнит, а кто-то злой да языкастый еще и поддел: ни в мать, ни в отца, дескать, неведомо чья... Весь день до вечера мрачней тучи ходил мой Гайнислам, только я в хлев корову подоить вышла, он тут как тут, с чересседельником в руках...

— Место, которого муж коснулся, говорят, и в аду не ожгется,— рассмеялась Мастура.

— Пусть хоть насмерть прибьет, только бы домой вернулся,— прикрыв рот, усмехнулась и Фариза.— Нрав-то от бога, что тут поделаешь? Обидчив! А уж как узнает, что дочь без него выдали,— что будет! И думать боюсь.

— И зря боишься. Как жизнь примнет, и мужчины мягкими становятся.

— Нашего не скоро обомнешь. Было в шесть — будет и в шестьдесят. Сын вырос, в солдаты ушел, еще трое на руках остались, пятьдесят мне скоро уже — нет, не угомонится, в каждом письме грозит.

— Письмо!.. Бумага все стерпит. Вот увидишь, совсем другим вернется, будто подменили, глазам не поверишь. Хоть Хайбуллу моего взять. Весь колючий был, ласки не терпел, погладить нельзя было, руку занозишь. А вернулся, на шаг не отходит, все «мама» да «мама», жеребеночек мой!

— Вот не знаю...— хихикнула Фариза.— Посмотреть, так Хайбулла возле нашего плетня только и вьется. Малику мою «Алтынсес» прозвал, теперь ее по имени и не зовет никто, даже братишка с сестренкой: «Алтынсес-апай да Алтынсес-апай...» Я к тому только, что на тебя-то у Хайбуллы и времени, наверное, не остается,— сказала Фариза без упрека, но с каплей мстительного удовольствия. В оплату, видать, за слишком долгую память о чересседельнике.

Алтынсес, затаив дыхание, зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Спасибо, стерпела Мастура, молча проглотила обидные материнскому сердцу слова, повернула разговор на укатанную колею.

— Что поделаешь, Фариза-килен, потому и говорится: думы матери — в сыне, сына — в чистом поле. Сами такие были... Ладно, возблагодарим создателя нашего за пищу... Одно скажу: за невесткой лучше, чем за родной дочерью, смотреть буду, уж не такая я старая, об собственные ноги не спотыкаюсь еще. Не первый день меня знаешь, уж какая ни есть Мастура, а душа многих вместит. И ты не одинокая останешься, дочка рядом подрастает, и сын. Нафисе-то пятнадцать, поди, скоро? Вот я и говорю... Так и будем, покуда мужики наши не вернутся, вместе тянуть...

Не зря про Мастуру говорили: «Криво бьет, да прямо попадает». Еще раз доказала миру свое редкое свойство. За неделю до отъезда Хайбуллы сосватали Алтынсес. И по закону, по обычаю справили свадьбу.

* * *

Удивительная это была свадьба.

Ясный солнечный день. В лесу, почти привалившемуся к аулу, суматошно пели птицы, молодых поздравляли. То в одном, то в другом конце куштиряковских улиц серебряные колокольчики звенят, солнечные блики от гармоней вдоль улиц, словно стрижи, летают. Молодежь со смехом, с песнями стекается к воротам дома невесты. Вконец замороченные свадебными хлопотами женщины, подоткнув подолы, взад-вперед носятся, словно им под ноги горячие

угли рассыпали. Работы всем хватает. Одна кумыс сбивает, другая салму нарезает, третья воду носит. Мужчины уже слегка навеселе. У ребятишек от радости макушка неба касается.

Алтынсес отогнула трепещущую, как птица на ветру, занавеску, выглянула на улицу, и от сладостного страха навернулись слезы. Две самые близкие, самые задушевные подружки запели грустную незнакомую мелодию и начали наряжать и прихорашивать ее.

Вот они надели на запястья Алтынсес золотые и серебряные сдвоенные браслеты, повесили нагрудник с изумрудами, нацепили в уши яхонтовые сережки и подвели к высокому, от пола до потолка, зеркалу. Привстала Алтынсес на носки, заглянула в зеркало и чуть не вскрикнула от восторга. Брови вразлет, лицо светлое, грустное, золотая коса огнем горит, до пояса сбежала: и знакомая девушка, и совсем чужая. Длинное, белое как снег платье, унизанный жемчугом пояс — кэмэр, маленький камзол, серебряными монистами расшитый,— что там русалка из сказки! А когда мать вздохнула: «Заветное, от той поры, когда сама замуж выходила», со дна сундука достала кашмау — жемчуга и кораллы по темно-синему бархату — и надела на голову дочери,— всему Куштиряку Алтынсес показалась неземным созданием, кого не видели, о ком не ведали.

На улице голоса гармони, курая становились все громче. Казалось, весь мир — один большой праздник. Вдруг у ворот раздались крики: «Хайт! Хайт!» — и фырканье коней, бьющих копытом землю. Народ с шумом расступился, дал дорогу трем тарантасам. Мать Алтынсес — от горя и от радости разом — ударилась в слезы, тут же полились причитания девушек и молодых снох-невестушек.

Две подружки под руки вывели невесту. Когда Алтынсес — «Ох, упаду!» — подошла к застеленному шелковым одеялом тарантасу, Хайбулла в белой вышитой рубахе, с летящими по ветру черными кудрями подхватил ее на руки, словно перышко. Щеголь-кучер того только и ждал, момента ловил, вскрикнул: «Эй, тулпары мои!» — и то ли успел щелкнуть вожжами, то ли нет, легкий рессорный тарантас сорвался с места. Заглушая прощальные возгласы, застучали копыта, зазвенели бубенцы. Алтынсес крепко зажмурилась и прижалась к широкой груди Хайбуллы.

Сначала кони, вздымая пыль, бежали рысью, а потом свист кучера подстегнул их, и они расстелились в галопе. Когда выехали с их улицы и покатили к казаякскому мо-

сту, к ним пристали еще несколько тарантасов, битком набитых молодежью.

Из сельсовета вернулись к воротам дома Хайбуллы, когда багровое солнце уже спряталось за горбатые отроги. Тарантас въехал во двор и не остановился еще, как выбежали три сношки-молодушки, подхватили Алтынсес и опустили, нет, не на землю, на высоко взбитую подушку. Отовсюду слышалось: «Счастливой ногой вступай, невестка, с благом-изобилием!» То ли касалась земли Алтынсес, то ли проплыла над гусиной травкой, покрывшей двор,— очнуться не успела, ввели в темный чулан, заперли дверь и закинули щеколду. Закрыв лицо ладонями, Алтынсес упала на высокую гору пуховиков.

Вот так Алтынсес-Малика стала женой. Хотя... не совсем так. А по правде говоря, все было по-другому.

Эту свадьбу Алтынсес выдумала уже потом. Взамен первой, настоящей. От тоски по тем удивительным дням, когда их с Хайбуллой только что связала судьба, и они, делясь сокровенным, мечтали о будущем. И оттого еще, что эту будущую жизнь Алтынсес даже потом упрямо, как и прежде, истолковывала только на счастье. Как иссохшаяся от зноя земля жаждет дождя, так и она истосковавшейся душой, истомившимся телом ждала счастья.

Тихая это была свадьба. Будто в праздник поминки подмешались. И гомон негромок, и песни все больше грустные да протяжные, и стол небогат. Где раскидывающие с удил хлопья горячей пены аргамаки; где озорные дружки жениха; где крепкие, прямые, будто плечом край мира держат, весомо шагающие, солидно покашливающие дядья и старшие братья; где, словно бабочки вокруг невесты порхающие, бойкие, языкастые сношки-хлопотушки? Впрочем, сношки-то и были. На короткую только минуту выпряглись они из тяжелой, полной невзгод телеги, которую изо дня в день тянули уже два года. Но и языкастые снохи стояли безмолвно, прижав к губам край головных платков. И то ли жалость была в их глазах, то ли укоризна... Даже птицы не пели — отпели свое, был уже конец июля.

Скромный был свадебный наряд Алтынсес. Браслеты, о которых она мечтала, хоть и не золотые, конечно, и не в изумрудах-яхонтах, мать давно уже на нужды фронта отдала. Была Алтынсес в простеньком платье, из маминого

перешитом, и золотом блестела только долгая ее коса. Но от радости и страха глаза еще больше, еще ярче стали, и брови еще круче, припухлые губы еще свежей...

За невестой Хайбулла пришел пешком. Шагнул в избу, поднял глаза и от восторга слова сказать не может. Бестолковый, даже того в толк не взял, что Фариза здесь. Так и застыл — одна нога дома, другая за порогом. Смотрел и смотрел...

Шумного застолья тоже не было. И обычая не уважили, три дня в доме невесты и три дня в доме жениха, родня с родней перемешавшись, не гуляли. Позвали по пять-шесть человек с каждой стороны — вот и весь стол.

В светлые сумерки собрались гости в доме старухи Мастуры. Отведали солдатки мутной базарной самогонки и затянули песню. Не озорные, через край бьющие частушки и не гордые, величавые, как сам Урал-отец, напевы — песни тянулись тоскливые, ожидальные. Только жениху и невесте до этой тоски и дела, кажется, не было. Прямо, плечом к плечу, не смея даже взглянуть друг на друга, сидели они, полные своим чувством, и смотрели на край стола. Что поделаешь: какое время, таковы и песни.

— Эх, будем пить и гулять,
Козьи катышки пинать!..—

завопил вдруг одноглазый кургузый мужичок, заместитель председателя Тахау. Весь красный от усердия, он допел озорную частушку до конца и замолк. Никто его не поддержал.

— Уф! И ведь тоже мужиком себя считает,— вздохнула одна из женщин.— И все теперь у таких в руках.

С какого-то края застолья донесся всхлип. Фариза вскочила.

— Да что же это такое?! — хлопнула она ладонью по столу.— Вы на свадьбу пришли или к покойнику собрались? Тьфу! Говорила я тебе, сватья, давай, сказала, соберем подружек Малики, попьем чаю, того на пока и хватит. Вот и смотри, к чему твое упрямство привело. Мы что, слезливые мунажаты [1] слушать собрались?

— А что, в пляс пуститься, юбками трясти? В четырех углах четыре сиротки сидят — голы, босы, накормить нечем,— сказала одна из женщин. Налила полстакана самогонки и махом, по-мужски, выпила.

---

[1] Мунажат — жалобная песня-речитатив.

Другая тут же заверещала:

Эх, плывет, плывет лодчонка,
Тянет, тянет светлый след.
Пишет письма мне мальчонка,
Самого все нет и нет.

Следом за ней и остальные, кто в лес, кто по дрова.

— Твой хоть письма пишет, а наши и строчки не напишут больше,— сказала худая, с увядшим почерневшим лицом женщина и, подбоченясь, вышла на середину.— Давай, Сагида, сыпь свои частушки дальше.— Сдернула с головы платок и, размахивая им, пошла выбивать дробь.

Эх, будем пить и гулять,
Козьи катышки пинать!..—

снова, тупо и весело блестя единственным глазом, заерзал было на лавке Тахау, но старик Салях придержал его за плечо.

— Ты чего меня прижимаешь, ты, что ли, здесь хозяин? — окрысился кривой, но тут рука его нащупала стоявший со стороны незрячего глаза стакан, и вдруг тоска охватила его, он всхлипнул: — Эх, Идрис, эх, Муртаза!

— А что... Муртаза? — спросила молоденькая женщина. Видать, крепко выпила, взгляд мутный, голова то и дело на грудь клонится.

Старик Салях, все примечавший, поспешно встал, снял засаленную тюбетейку, снова надел, реденькую бородку пригладил. Видно, собрался что-то сказать. Он подождал, пока уляжется шум.

— Вот, дорогие гости...— неожиданно тонким голосом выкрикнул он. Все застолье смотрело на него.— Стаканы полные? Хорошо. Поднимем же в честь того, что два молодых сердца в одно слились! — Подбоченился, закинул голову и выпил стакан до дна. Когда отзвучали поздравительные возгласы, он, глядя на молодых, добавил тихо: — Не будь войны, были бы мужчины дома, мы такую бы свадьбу сыграли — горы заплясали бы! А сейчас — не обессудьте!.. Однако, ямагат [1], жизнь одолеть даже войне не под силу. И пример — вот эти двое, что перед нами сидят. Есть на свете любовь — значит, живем. Живем!

— Что с Муртазой? — перебила старика та, молоденькая, хмельная.— Два месяца уж писем нет... Чего молчите?

---

[1] Ямагат — в смысле: люди добрые.

Сагида села к ней, заправила под платок растрепавшиеся волосы, отерла лицо, глаза.

— Не пей больше, Ханифа,— отодвинула стакан на середину стола.

Старик постоял, потупившись, потом снова посмотрел на молодых:

— Малика, дочка, на наших глазах ты выросла и расцвела, словно цветок полевой. Но в самую пору, когда вам гнездо вить, род множить, одна остаешься... Батыру твоему туда, на поле боя, надо, чтобы и землю свою, и гнездо ваше защитить. Но вот что хочу сказать: отец твой, брат, два льва, молодой и старый, и любимый твой муж вернутся с войны — и соберемся мы снова, всем аулом, и сыграем большую свадьбу, по советским законам и башкирским обычаям...

Алтынсес посмотрела на старика, обвела взглядом стол. Нет, ее свадьба — сейчас, она счастлива, и другой свадьбы ей не нужно.

Вторую свадьбу она стала придумывать уже потом и придумывала не оттого, что мучила убогость первой, а потому, что эта вторая, сказочная свадьба, говорила она себе, будет тогда, когда вернется Хайбулла.

— Так что не обессудьте, что не веселы, рады бы повеселиться, да время невеселое...

— Да! — мрачно поддакнул Тахау.— Тут война, а тут... свадьба! Ночь напролет гулять готовы. Домой пора, домой, домой! И-эх, Идрис, и-эх...

— Когда к себе созовешь, тогда и разгонять будешь! — вскипела Фариза.

— Ешьте, пейте, дорогие гости,—засуетилась Мастура, пытаясь перевести разговор на другое. А сама, видно, что-то чует, чего-то ждет. Глаза то на Саляха, то на Тахау так и бегают, а правую руку, словно от удара заслониться хочет, к груди подняла.

Салях странным взглядом посмотрел на захмелевшую Ханифу и повел подбородком на дверь, давая знать Сагиде, чтобы она увела ее. Женщины молча ждали. «Ой, мама!» — все поняла и всхлипнула Сагида, быстро прикрыла рот платком и, подхватив под бок отяжелевшую подругу, повела ее к двери.

— И-эх, Идрис, и-эх, Муртаза! — простонал Тахау, уронив голову на стол.

— Да, ямагат...— сказал Салях и хотел было добавить «садитесь, люди». Весть была такая, которую только тогда можно сказать человеку, когда тот на что-нибудь

присядет и будет готов слушать. Но все и так сидели — свадьба же, застолье... — Да, ямагат,— повторил он, подбородок его задрожал.— Черная весть сегодня пришла... про Идриса и Муртазу.

Ту минуту навсегда запомнила Алтынсес.

Долгая была тишина. Сидели двумя рядами, опустив глаза, смотрели в стол. Тлела керосиновая лампа, тускло мерцали медные монеты на нагрудниках старух и медаль на гимнастерке Хайбуллы. Только стучали старые ходики на стене и суетился маятник, бросая блики на застолье. Время споткнулось и побежало дальше. Но время Идриса и Муртазы остановилось навсегда.

Вот такая была свадьба у Алтынсес. Свадьба с тризной.

Только гости разошлись, она взяла Хайбуллу за руку и повела на берег Казаяка.

О чем думал в тот вечер Хайбулла? До этого он курил редко, когда мать не видела, а теперь доставал одну папиросу за другой. Затянется глубоко несколько раз и уже снова в карман лезет. И молчит. Словно нет рядом молодой жены.

В груди Алтынсес будто море до краев дошло, через край плещется. А жизнь, в которую вступает,— словно черное, еще дымом точащееся пожарище. И душа ее бьется, словно бабочка, между огнем и водой мечется.

Так шли долго. Хайбулла хотел обнять ее, но Алтынсес погладила его руку и сняла с плеча.

Хайбулла растерялся:

— Ты что? Ты ведь теперь жена мне. Моя жена...

Во влажном свете луны, стряхивая с травы росу, они шли и шли. Алтынсес спереди, Хайбулла чуть сзади. Алтынсес то и дело поглядывала на луну, на Айхылу, лунную девушку, которая там несла полные ведра на коромысле, Хайбулла шел, опустив голову, смотрел на тень Алтынсес на траве, сверкающей от луны и росы, и все о чем-то думал.

Вдруг Алтынсес повернулась и бросилась к нему, уткнулась в грудь.

— Ой, милый...

— Ты чего? Чего испугалась? — крепко обнял ее Хайбулла.

Алтынсес молча ткнула пальцем вверх. На сиявшую, как серебряное блюдо, луну наползало быстрое облако.

— Нашла чего бояться! — Хайбулла приподнял ее и

начал целовать, смеясь и приговаривая: — Трусишка! Зайчишка-трусишка!

Они стояли посреди померкшего луга. Алтынсес закрыла глаза. Сильные объятия держали ее над землей, и она качалась, летела, летела куда-то. А долго? Минуту, пять минут, десять?.. Одну бы минуту вернуть, одну!

Когда она открыла глаза, луна уже вылущилась из облака и снова сияла на весь свой майдан. Малика поспешно выскользнула из рук мужа и встала на землю. Встала и удивленно огляделась — они стояли у ворот дома Хайбуллы.

— Поздно уже...— сказал Хайбулла.— Ночь на исходе.

Алтынсес сжалась, будто от холода, и, обхватив плечи руками, прислонилась к воротам спиной. С трудом уговорил ее Хайбулла войти в дом. Алтынсес словно закрылась изнутри на все щеколды. Так, не размыкая рук на плечах, прошла она через двор, темные сени, вошла в залитую луной избу и дрожа подошла к кровати.

— Мама! Мы пришли! — сказал Хайбулла. Алтынсес прикрыла ему рот ладонью:

— Не кричи! Разбудишь.

Но было тихо. Хайбулла обошел всю избу.

— Никого. Мы одни,— голос его дрогнул.

— Все равно не шуми! — рассердилась Алтынсес. И откинула протянутую руку мужа.

До сих пор не понимает Алтынсес, что творилось с ней в тот вечер. Боялась? Боялась того тайного, заветного, что должно быть только между мужем и женой, того, что теперь войдет в ее жизнь? Наверное, и это. И другой был страх, еще страшнее. Оттого, что на ее счастливую и большую, как луна, свадьбу черным облаком легло людское горе. Но как бы ни было, лишь когда вздох ее смешался с горячим дыханием Хайбуллы, отхлынуло отчуждение.

Проснувшись, она увидела, что лежит на руке Хайбуллы, распустившиеся косы наполовину закрыли его лицо. Она прильнула всем телом к нему, в одну ночь ставшему таким близким, дороже собственной души, и боялась шевельнуться. Шелохнется — и проснется Хайбулла, и оборвется сладкий сон. Вот так поменялась жизнь, разом и вся.

Ясно на душе, все страхи ушли в осадок, но порой толкнется что-то в груди, взметнутся они, замутят радость и снова осядут. Вот ведь: и постель — другая, и тиканье

часов — другое, и птичий гомон во дворе — другой, во всем какая-то грусть. Почему же? Ведь по любви и согласию вошла в этот дом...

Казалось, только на то мгновение тогда, в то утро, и проснулась она. Оставшиеся дни снова пошли будто во сне.

...Увез Хайбуллу поезд, из глаз пропал, а она не верила, что уже все, осталась одна. И когда на перроне стояла, вслед смотрела, и когда назад двенадцать километров шла, все ждала чего-то еще. Озиралась по сторонам, будто удивлялась чему-то, назад оглядывалась. Все казалось, что вот из тени молодого березняка или на пологом склоне красноватых холмов покажется Хайбулла. Никого. Над головой густели, наливаясь по краям багровым пламенем, стягивались черные тяжелые облака. Тихо. Пусто. Душа, словно полая тростинка на ветру, тянула и тянула тоскливую песню, безымянную, бесконечную...

Так, без дум, без чувств шагала Алтынсес и то и дело оглядывалась назад. Никак не могла поверить, что в огромном открытом мире под накатом разворотившей все небо бури она теперь одна. Неделимая доля души, муж Хайбулла — почему он должен был уехать? Зачем сошлись, коли нужно было расстаться? Вот и нет Хайбуллы. Теперь и солнце потускнело, и земля померкла, и гроза, что нагоняла сзади, страшна.

До аула оставалось километра два. Алтынсес шла опустив голову, но вдруг, почуяв что-то, медленно обернулась и круто стала. На далеком повороте, почти сливаясь с дорогой, темнела какая-то точка. Она приближалась, росла и превратилась в фигуру солдата. Алтынсес стояла, смотрела, шевельнуться не могла, руки-ноги словно заговором каким сковало. Ни обратно броситься, ни дальше своей дорогой побрести.

А он все приближался. Уже были видны выцветшая гимнастерка, серая шинель, свернутая хомутом, через плечо перекинутая, и, кажется, небольшая котомка за спиной. Блеснули медали на груди.

Что-то холодное коснулось сердца Алтынсес. «Нет, нет! Не надо!» — повторяла она про себя, а сама всем телом рвалась туда, к солдату. Это ошибка. Страшная ошибка!

Так, в ознобе и жару, она стояла-стояла, вдруг лопнули путы, державшие ее на месте, и, всхлипнув: «Хайбулла!» — Алтынсес бросилась навстречу путнику.

Она бежала и, чем ближе, тем яснее видела, что это не Хайбулла. Но остановиться уже не могла. Бежала, пустой надежде, глупой радости своей назло бежала. Платок слетел с головы, косы, как две золотые молнии, в спину подстегивали.

Задохнувшись, прижав руки к груди, стала она перед солдатом. Остановился и он. Снял пилотку, вытер вспотевший лоб, шею. Смотрел, будто узнавал и не узнавал, потом взглянул на косы и спросил неуверенно:

— Уж не Малика ли ты, Гайнислама-агая дочка? — И улыбнулся.— Не узнать тебя.

— Ох, Сынтимер-агай! Думала — Хайбулла...— она все еще не могла перевести дыхания.

— Вот оно что! Хайбуллу, значит, ждешь? — усмехнулся Сынтимер.

— Он уехал, Сынтимер-агай. Месяц пробыл и уехал. Сегодня... Только проводила.

— Э-э, красавица! Только проводила — скоро не жди.

Алтынсес понемногу пришла в себя. И впрямь — ведь только-только, три часа назад сел он в поезд. А военный эшелон — это тебе не куштиряковская телега: где захотел, там и слез.

Нет, Алтынсес, бесконечным часам тоски-ожидания только начат счет. Глухие ночи со слезами одиночества, дни, которые принесут надежду и обманут,— все впереди.

Но странно, убедилась, что это не Хайбулла, и смирилось сердце: все так, все взаправду — уехал муж, надолго, далеко, и она одна. А какая еще правда может быть в эту недобрую пору? Он и должен был уехать. Жестоко это, несправедливо, но правда. Оказывается, как бы ни любила Алтынсес, каким бы пустым и темным теперь, в одиночестве, не стал для нее белый свет,— душа-то исподволь, тайком, готовилась к разлуке. Алтынсес поняла это и успокоилась. Приветливо улыбнувшись, она протянула руку:

— Уф, Сынтимер-агай, и напугал ты меня! Я тоже хороша, вместо того чтобы о здоровье спросить... На побывку или насовсем?

Сынтимер кивнул на заправленный за ремень пустой рукав.

От неожиданности Алтынсес зажмурилась даже. Не знала, что сказать. Любое слово будет невпопад. И жалко и страшно. Вспомнила, как весной сорок первого, в год, когда началась война, она впервые начала ходить к

реке на вечерние игры, где под заливистую гармонь Сынтимера плясали девушки,— и не удержалась, ткнулась головой солдату в грудь. Но слез не было. Душа полна, как эти тяжелые облака, а глаза сухие.

— Пустяки,— сказал Сынтимер дрогнувшим голосом.— Голова цела...

Ну что за люди эти солдаты! Хайбулла на раненую ногу ни разу не пожаловался, еще и не зажила толком, уехал на фронт, а этот улыбается даже. Господи, и откуда сила, терпение? Ведь не сказочные богатыри, свои куштряковские мальчишки, три года назад еще босиком бегали.

— Ну, красавица, какие в ауле новости? Рассказывай!

— Аул... Все на месте, сено убрали, заскирдовали. В жизни косу в руки не брала, пришлось. Хайбулла научил... Видишь, рожь поспела, скоро жать пойдем... Аул-то на месте...

Покуда она отрывисто, бессвязно рассказывала, Сынтимер одной рукой, уже привычно, скрутил самокрутку.

— Как говорится, кто пришел, а кто уехал?

Алтынсес рассказала о четырех увечных, которые вернулись в прошлом и нынешнем году. А когда стала перечислять тех, на кого черная бумага пришла, Сынтимер помрачнел, глубокие морщины прорезали лоб.

Потом шли молча. Сынтимер курил, Алтынсес нет-нет да посматривала с испугом на пустой рукав. А когда прошли мост через реку Кызбаткан, приток Казаяка, и над холмами показались верхушки берез, что растут на куштряковском кладбище, Сынтимер вдруг сошел с дороги и сел на поросший травой край ржаного поля.

— Я, пожалуй, отдохну маленько...

— Вон какая буря идет, агай.

— Пустяки. Я свое отбоялся,— хоть и бодро сказал, усмехнулся даже, но по тому, как дрожала в зубах самокрутка и повлажнели глаза, Алтынсес поняла, что он волнуется.

— Тогда я, значит, за суюнсе[1] побежала,— сказала Алтынсес и тут же опустила голову, от собственных слов стало неловко.

— Как хочешь...

Судя по всему, он тут же забыл, что рядом есть кто-то еще. Потушил окурок и принялся сворачивать новую ци-

---

[1] Суюнсе — хорошая весть и подарок за нее.

гарку. Алтынсес поняла, что торчит она здесь, как третий конец бревна, и зашагала к аулу.

Когда она подошла к дому Сынтимера, из открытого окна донеслось пиликанье гармошки. Кто-то, наверное братишка или сестренка Сынтимера, пытался выжать мелодию. Гармонь, споткнувшись, замолкла, послышался надрывный кашель их матери, невнятное бормотание. Бабушка Мархаба тяжко болела, еще зимой, когда возила солому на ферму, простудилась,— с тех пор лежит, теперь, наверное, и не поднимется. А двое близнецов, мальчик и девочка,— еще маленькие, ровесники Нафисы, сестренки Алтынсес. Только благодаря отцу, старику Саляху, еще тлели угли в этом очаге. Одна у них надежда, и такая далекая — Сынтимер. Еще не знают, что он вернулся. Бедный солдат — и горе, и радость нес он своим близким, и так утомила его эта ноша, последнего холма не перевалил, сел у обочины.

Алтынсес сделала шага три к открытому окну, но вдруг отступила и побежала обратно. Только добежав до своих ворот, вспомнила, что теперь у нее другой дом, и опять повернула обратно.

Все были дома. На столе гудит самовар, свекровь с матерью пьют чай. В углу малыши увлеченно играют в куклы. И даже Хайбулла дома. Только он не за столом, а со стены из рамы смотрит на Алтынсес и улыбается. Вот сейчас соскочит на пол, скажет: «Алтынсес!» — и схватит ее в объятия.

И, вправду, лицо Хайбуллы начало расти на глазах, подступать все ближе и ближе. Алтынсес протянула руки и шагнула к нему. Мастура встревоженно приподнялась со стула. Фариза тоже почуяла что-то неладное:

— Лица на тебе нет, доченька. Иди-ка приляг, потом горячего чаю попьешь,— засуетилась она и тоже вышла из-за стола.

Блеснула молния, от грохота вздрогнули стекла, и с шумом обрушился ливень. Тьма наполнила избу. Снова блеснула молния, залила все пепельным светом. Целый день держалась Алтынсес, а тут упала лицом в подушку и дала волю слезам.

Еще с сенокосом не развязались, а на склонах холмов, обращенных к солнцу, поспела рожь. Весь аул, все, кто на ногах, вышли в поле. Остались, как говорится, только ползающие и ковыляющие — самые малые и самые старые.

Август был на исходе. Дожди изводили целую неделю,

так, чередой шли и шли один за другим. Но вдруг разом прояснилось, наступили сухие и жаркие дни. Солнце еще из-за горы не выкатилось, а уже начинает припекать, и земля качается в струях марева. Спелые, ждущие серпа нивы, луга в высокой отаве паром исходят. Зной сушит горло, кружит голову. Лениво подует в полдень недолгий ветерок, но и от него никакого облегчения.

Однако время у лета ушло. Как бы ни примолодилась природа после дождей, но той силы и нежности, что в июне, уже нет. Перед рассветом потянет с севера холодком, выбелит траву утренник. И дрогнет сердце, когда в могучих кронах, только вчера еще стоявших горделиво, заметишь поникшие желтые сережки. И в ночных часах своя печаль. По-особому ярко сияют звезды; вдруг то одна, то другая отрывается от неба и, растревожив душу, улетает в глубь мироздания; только длинный стремительный росчерк мелькает в полных, готовых выйти из берегов водах Казаяка.

А людям, которым с весенней бесхлебицы до осеннего изобилия немного дотянуть осталось, в пору жатвы было особенно трудно. Поспели в лесу орехи да ягоды, до срока начали ворошить молодую картошку, но людям, от зари до зари гнувшим спину на жатве, не этим бы пробавляться. Работнику хлеб нужен. А его забирает государство. До изнеможения, до кругов перед глазами жни, потом вяжи снопы, потом обмолоти, провей чистое, как янтарь, зерно, своими руками засыпь его в мешки и вези на станцию. И спеши, спеши, спеши — фронт ждет, фронт требует!

Как ни бились колхозные умельцы, починить удалось только две жатки. Ладно, худо-бедно, еще две жатки, может, и наладили бы. Но, как говорил старик Салях, «тягловая сила» где? Лучших коней еще в сорок первом в башкирскую дивизию отдали. А недавно и из оставшегося косяка отобрали тех, которые на что-то еще годились, и отправили на станцию Алкино, где формировался новый полк. Пришлось из клетей, из-под застрех доставать серпы.

Алтынсес, как и любая деревенская девушка, серпом немного управлялась. Полынь там, лебеду, забившие зады огорода, жала, молодую траву для гусей и уток. Но на большую колхозную жатву нынче вышла впервые.

В первый день Алтынсес с бедой и муками еле-еле до пятидесяти снопов дотянула, но через неделю вязала уже по сто пятьдесят. И то было хорошо, что самые неве-

селые думы могла задавить эта работа. Намаявшись днем, и ночами не просыпалась, тоской не изводилась. Нет, иногда просыпалась — внезапно, будто подброшенная. И, затаив дыхание, слушала. Ей казалось, что кто-то скребется в стекло, осторожно ходит под окнами. Никого. Спит в своем углу свекровь, спят Надя с Зоей. Ни в доме, ни во дворе ни звука. На улице — тишина. Взлает где-то сквозь сон собака, и снова все молчит. Умаявшись на страде, сладким сном спят куштиряковцы. Алтынсес тоже полежит немного, послушает эту праведную тишину, раскинет истомленные руки и заснет.

Она и в разлуке жила своей любовью. Встреча с Хайбуллой, вечера на берегу Казаяка, его признание, свадьба, скорая и невеселая — опомниться не успела, накатило и отхлынуло. Осталась только любовь. И поначалу, после того плача в грозу, которым смыло отчаяние, она не чувствовала одиночества и тоски. Но прошла неделя, от мужа, который обещал писать с дороги каждый день, не пришло ни весточки, она встревожилась. Неужто позабыл уже Хайбулла? Мало ли какие могут быть встречи, особенно в пути? Вдруг попалась там какая-нибудь красавица, и все, Алтынсес, жди-дожидайся... Что делать, куда пойти молодой брошенной жене?

Придет домой Алтынсес, смотрит на свекровь, а старуха молчит, знает, чего невестка ждет, а утешить нечем.

Дни шли, и с каждым днем убывало терпение Алтынсес. В обед, а если жали поблизости от аула, и посреди работы, найдя предлог, прибегала домой.

Свекровь ворчала:

— Опять прибежала... Хоть бы отдохнула заодно со всеми.— Глаза невестки наполнялись слезами, других слов ждала. Старуха отводила взгляд, и голос, хоть медом не точился, но становился мягче.— Нет ничего, дочка... Дорога ведь, наперед не угадаешь. В битком набитом вагоне где там письма писать, рад будешь, если куда голову приткнешь. Коли придет письмо, разве усижу я дома, сама прибегу...

Мастура и сама боль в печенке затаила, только виду не подает. А у Фаризы своя привычка — она все примеры приводит:

— Ты брата вспомни. Уехал — через три месяца только пришло письмо. А отец?

— Они — другое...

— Это почему еще — «другое»? Сейчас все судьбы —

одних четок зернышки. Вот увидишь, и письмо придет от зятя, а там, глядишь, и сам с братом твоим и отцом вместе домой заявится.

...Алтынсес отерла лоб, посмотрела в сторону аула. Сегодня утром свекровь сказала: «Эх, дочка, коли с ног свалюсь, так на четвереньках доползу, лишь бы письмо пришло». Нет, не видно старухи. За полдень уже, почта давно была. Выходит, и сегодня нет.

Она взвалила на плечо тяжелый сноп, отнесла, уложила его в копну и пошла напиться к стоявшей под одиноким осокорем бочке. Только поднесла к потрескавшимся губам кружку, как услышала:

— Эй, Алтынсес, посмотри, кажется, твоя свекровь идет!

Не помнит, как швырнула кружку и со всех ног понеслась навстречу свекрови. Бежит, а сердце в грудь колотится, вперед нее прибежать хочет. Не было другой нужды, которая в палящую жару выгнала бы старуху в поле. И думать об этом нельзя! Только одно! Письмо несет!

Шагавшая по стерне Мастура, завидев невестку, прижала руку к груди и опустилась на землю. Алтынсес же ничего не видела, бежала и бежала. Ни уцепившегося за ногу вьюнка, ни того, что фартук с развязавшимися тесемками взлетает и бьет по лицу, ничего не замечала.

Вот она добежала и встала перед свекровью. По лицу то ли пот течет, то ли слезы, толчками вздымается грудь, в широко раскрытых глазах и страх, и надежда. Одно слово Мастуры, один только жест — и она или в огонь рухнет, или в небо взлетит. Но свекровь только растирала ладонью грудь и улыбалась виновато, тоже одышку унять не могла.

Тут Алтынсес увидела в ее руках белый треугольник, налетела коршуном и вырвала его без всякого почтения. Задохнулась, даже развернуть письмо не было сил. Весь стыд забыла, и к груди прижимала, и нежно гладила, и к пылающему лицу прикладывала, плакала и смеялась. Мастура немножко успокоилась, отдышалась, вытерла глаза.

— Ну, читай же, дочка!

Алтынсес словно очнулась, села на стерню рядом со свекровью, развернула мокрый от слез треугольный листок и одним взглядом охватила все письмо.

— Как мало написал-то...— вздохнула она.

Мастура знала и арабское письмо, и латинские буквы разбирала, а вот к новому русскому алфавиту, введенному перед самой войной,— стара уже, опоздала. Она взяла письмо в руки, так и эдак повертела.

— Времени, видать, не было, у жеребеночка моего...— сказала она, возвращая письмо.— Слава аллаху, жив-здоров. Вот увидишь, обглядится маленько и все обстоятельно напишет.

Да, Хайбулла и сам так написал: «Только случай выпадет, напишу длинно и обо всем». Нет, не забыл любимый! Любит, тоскует! Весь мир просветлел. Золотые лучи залили высокое бледно-голубое небо. Звенел прозрачный воздух, словно в ясный август жаворонки, давно уже отпевшие, снова тряхнули своими бубенцами. Во всю ширь поля растянулся сытный запах сжатой ржи.

Алтынсес, не в силах спрятать улыбку, шагала по жнивью, о свекрови на радостях совсем забыла. Старуха, поджав губы, склонила голову к плечу и посмотрела ей вслед, потом вздохнула с легкой обидой, поднялась с трудом и пошла к аулу. Ступала медленно, вид усталый, но затененное платком лицо светилось.

А невестка спрятала письмо на груди, подошла к стене густой и высокой, как казаяковский камыш, ржи и с каким-то веселым неистовством начала жать. Ухватисто заберет она левой рукой твердые золотые стебли, сведет в пучок, и тут же сверкнет острый серп и слизнет его. Еще треск рвущихся стеблей не затих, а новый пучок уже сам бежит в горсть. Поле перед ней, словно подмытое водой, на глазах убывает, охапки ржи, которые скоро станут тугими снопами, растут и растут.

На вечернем счете бригадир Сынтимер (сразу после возвращения его поставили на место отца — старика Саляха) объявил, что сегодня Алтынсес связала двести пятьдесят снопов. Женщины обступили ее, начали хвалить и поздравлять.

— Быть не может. Наверное, Сынтимер приписал,— не поверила Кадрия.

Женщины тут же начали кричать на нее. Но Кадрию смутить не просто. Двум девушкам пришлось заново пересчитать снопы.

— Все верно, двести пятьдесят ровно!

Кадрия как ни в чем не бывало обняла подружку:

— Надо же! А я жала, спины не разгибала — еле-еле двести. С чего это ты так разошлась?

Алтынсес ничего не сказала, засмеялась тихонько и, просунув руку под фартук, погладила письмо на груди.

— Она не как ты, жнет серпом, а не языком,— поддела Кадрию одна из женщин.

— Ой, вы на эту немочь взгляните только! Она, видите ли, сто двадцать связала! Тут люди разговаривают, а она туда же, со своим словом лезет!

— Ну-ну-ну! Будет вам! Опять базар...— вмешался Сынтимер.

Полная своей радостью, Алтынсес отошла и села в сторонке. Связанные ею снопы, похвалы женщин, их споры, быстрая горячая перепалка — все это, лишь коснувшись, скользило по краешку ее сознания. От голода и жажды кружилась голова, в руках все косточки ныли — хоть и чувствовала, но до рассудка все это не доходило.

К ней подошла Фариза.

— Ты что сидишь, случилось что-нибудь?

Дочь кивнула, чтобы та нагнулась, и, к удивлению матери, поцеловала ее в пыльную, в разводах от пота щеку.

— Что с тобой, ты чего такая? — все больше удивляясь, спросила Фариза.

— От Хайбуллы письмо пришло, мама!.. — прошептала Алтынсес.

— Когда принесли? И молчит ведь, будто перстень во рту прячет! То-то говорили, что сватья приходила! Вот счастье-то! Слышали?! — крикнула Фариза. Она резко, будто молодая, вбежала в круг женщин.— Слышали? От зятя письмо пришло!

Женщины поспешили к Алтынсес.

— Вот радость-то!

— То-то у меня с самого утра правое веко дергалось — было, значит, к чему.

— Понятно! Она с письмом возле сердца жала,— не удержалась, поддела Кадрия.— Потому такую кучу снопов и накатала.

Пришло кому-то письмо с фронта — значит, оно всему аулу пришло. Читают все, в любом слове какой-то намек видят, скрытый смысл ищут: разгадай его, и сразу станет ясно, как же на самом деле т а м обстоят дела. Такой у женщин Куштиряка заведен обычай. Долгими ли зимними вечерами на посиделках, летом ли в поле в короткие минуты отдыха — разговор о письмах зайдет непременно. Письмо, которое бог весть сколько раз читано, слушают с неотрывным вниманием. Там, где солдат немного чувства подпустил, растрогаются, всхлипывать начнут, поплачут

немного; там же, где, наоборот, смешное что-нибудь, смеются до слез. Если в конце письма солдат песню приписал, и говорить нечего, тут же заучат наизусть. А какая-нибудь песенница побойчей, вроде Кадрии, подберет мотив и споет с ужимками — так бы, дескать, спел сам отправитель письма.

— Ну-ка, Алтынсес, прочти письмо Хайбуллы! — сказала Сагида, обняв ее за плечи.

Женщины, забыв об усталости, о домашних заботах, уселись в кружок. Алтынсес сидела, опустив глаза, не знала, что и сказать: письмо-то было написано ей одной. Люблю, тоскую — вот и все слова. Кому другому показать или вслух прочитать — со стыда сгоришь. Даже когда она его одна читала — лицо жаром горело.

В половину страницы письмо. Она уже знала его наизусть. «Свет очей моих, Алтынсес! — писал любимый.— Только сейчас, когда расстались, я до конца понял, как люблю тебя. Так люблю, что жить без тебя не могу. Во сне и наяву только о тебе и думаю. Эх, сколько слов я тебе так и не сказал!

Мама, Зоя, Надя на твою заботу остались. Живите дружно. Обещал писать прямо с дороги, да не вышло. А почему, объясню потом. Только этой ночью добрался наконец до фронта, разыскал свою часть. Очень некогда. Если долго не будет писем, не тревожьтесь. Только случай выпадет, напишу длинно и обо всем. За меня не бойся, будь терпелива, милая моя Алтынсес. Земля разверзнется, весь мир в огне будет — вернусь все равно, жди. Сто, нет, тысячу раз целую...»

Фаризе не понравилось, что дочь сидит молча, прикусив губу.

— Ну-ка не томи людей. Не такие уж секреты, наверное,— сказала она строго.

— Так ведь... никаких новостей... пишет, что жив-здоров, больше ничего,— пробормотала Алтынсес.

— И даже «люблю, скучаю» не пишет? — насмешливо оттопырив губу, сказала Кадрия.— Вот оно: слишком яркое — скоро слиняет. Уже не до тебя ему.

— Придержи язык-то! Может, кроме «люблю», и слов других нет,— вступилась одна из женщин.

Алтынсес только пуще вспыхнула.

— Вот это и есть самое дорогое. Читай! — напирала Сагида.

Алтынсес вдруг вскочила и без оглядки припустила к аулу.

Женщины переглянулись. Одни поморщились, будто полынь на язык попала, другие удивленно покачали головой. Оживление погасло, только сейчас, кажется, заметили, что солнце зашло за двугорбый хребет. Сразу вспомнили, что дома сорок дел недоделано, дети без присмотра, корова недоена. Снова почувствовали усталость, голод и, потухшие, злые, потянулись домой.

Вот так Алтынсес обидела односельчан. Обычай, который многим в тяжелую пору утешением был, нарушила. Испугалась, что слова любви, предназначенные только ей, по чужим ушам разлетятся.

Слов нет, это ее право. Хайбулла — ее, только ее. В каждом слове письма — тайный смысл, понятный одной ей. Не для чужих глаз и не для чужих ушей. Ну и что ж, что война? Это еще не значит, что душу наизнанку носить.

Все так. Но у женщин своя мера и своя правда. Им любая весточка, пришедшая за тысячи верст, с поля боя, дорога. С какой бы оглядкой, взвешивая каждое слово, ни писал солдат, в ауле его письмо прочитают по-своему. Любой намек за кончик ухватят и размотают; точка станет запятой, запятая многоточием. Поначалу особое внимание на то, что солдат про еду-питье пишет, потом — в каком настроении он писал, бодром или не очень. Когда письмо отправлено, сколько шло, нет ли знакомого названия — большой реки или известного города,— все давало новые сведения о положении на фронте. Письмо с письмом сопоставляли, с разных сторон сравнивали, до самой сути пытались дойти и угадать, как пойдут дела дальше.

А нет таких вестей, тоже не беда. Письму, в котором о чувствах, о любви-тоске говорится, особая цена. Кому бы ни было адресовано оно — любого коснется, каждую душу оживит. Не зря старик Салях говорит: «Есть на свете любовь — значит, живем!» Вот почему такие письма слушали, как слушают хорошую книгу, каждая слышала в них голос любимого человека. Была в этих словах стосковавшимся — отрада, изверившимся — опора, неверным — урок и упрек.

Слишком юной была Алтынсес, не поняла, отвергла просьбу подруг-солдаток. Спрятала на груди письмо любимого, свое счастье от чужих глаз захоронила. Испугалась, что, если поделиться радостью, самой останется меньше. И не знала, что письмо это было первым и последним.

В ауле и радость и горе были общими, всем делились. Алтынсес же, без памяти от счастья, держалась в стороне, раньше других приходила на поле, позже всех уходила. Окликнут — откликнется, нет — сама не заговорит, работает, головы не поднимает. Одним душа полна: жив Хайбулла, любит ее, тоскует! А что ей нужно еще? Скоро новое письмо получит. Вести с фронта хорошие, война к концу идет. Недолго осталось ей ожиданием томиться.

На неприветливые лица женщин, на их обиду Алтынсес не обращала внимания. Даже Фариза такого поведения дочери не одобрила. Да и Мастура, кажется, прослышала что-то, раньше все «невестушка» да «невестушка», возле нее суетилась, а тут вроде отдалилась как-то. И вот что удивительно — свекровь с невесткой, словно по уговору, о Хайбулле не говорили. Будто опасалась каждая, что поделится своими чувствами, и весь жар их остынет, словами изойдет.

В эти дни еще одно письмо пришло в Куштиряк. Черное письмо. Гали, жених Кадрии, погиб под городом Дорогобужем.

Услышав эту страшную весть, Алтынсес прибежала к подруге.

Кадрия жила вдвоем с хворой, тугой на ухо матерью. Отец ее умер от воспаления легких два года назад, перед самой войной. С тех пор все хозяйство на плечах Кадрии. И в колхозе работает, и за скотиной ходит, и за больной матерью ухаживает сама. Но всем бедам назло, она не жаловалась, не унывала, всякая работа в руках горела. Мало того, выросла разбитной и на язык острой, никому спуску не давала. Фариза все усмехалась: «Ее не задирай, а задрался — удирай». Смуглолицая, с черными бровями вразлет, статью стройная, как косуля,— вот какой была Кадрия, лучшая к тому же песенница аула.

Были уже сумерки. Алтынсес осторожно отворила дверь и вошла в маленькую, не больше баньки, избу Кадрии. Возле печи, уткнувшись лицом в ладони, всхлипывая, сидела мать Кадрии, Халима-апай, на хике[1], раскинувшись, лежала полуголая Кадрия.

— Ой, мамочки! — Алтынсес подбежала к подруге и, давясь слезами, начала гладить ее по спине, по волосам. Ища лампу, оглядела избу. На столе возле окна мерца-

[1] Хике — низкие нары.

ла зеленоватая бутылка, рядом — стакан с чем-то мутным, налитым до половины.

Кадрия застонала. Подняла голову, сказала что-то, но слов нельзя было разобрать. Она была пьяна.

— Разве она меня послушает? — всхлипнула Халима-апай.— Пришла в обед с письмом, посидела молча, сходила куда-то и эту отраву принесла. «Не пей»,— говорю. «Водка, говорит, горе глушит. Глядишь, и поможет». Вот и выпила. Как она там? От нее, от этой проклятой водки, говорят, и сгореть можно...

В самом деле, Кадрия вся так и горела, лицо даже во тьме кумачом пылало, руки-ноги вялые, будто бескостные. Что делать? Чем помочь? Алтынсес вскочила, постояла, озираясь по сторонам, перво-наперво бутылку со стаканом смахнула в открытое окошко, потом, приговаривая: «Сейчас... сейчас...», сунула Кадрии под голову подушку, сдернула что-то с гвоздя и набросила на нее. «Быстрей... быстрей...» — торопила она себя.

Ступенек не коснувшись, слетела с крыльца. Что делать, куда бежать, еще не знала. На миг приостановилась у ворот и опрометью бросилась к матери.

Фариза, только что вернувшаяся с поля, хлопотала с ужином возле казана. Алтынсес, захлебываясь слезами, рассказала про Кадрию.

— И что теперь?

— Умрет же! Сгорит!

Фариза сдернула передник, на ходу сменила головной платок, велела детям садиться есть и зашагала следом за дочерью.

Кадрия лежала без памяти. В изголовье, покачиваясь как в молитве, сидела мать. В избе душно, тихо, мертво. Только за печкой — то ли кошка, то ли мышка — шуршало что-то. Во дворе надрывно мычала недоеная корова, кудахтали на насесте куры, отчего-то никак не могли успокоиться.

Фариза оттеснила старуху, заглянула Кадрии в лицо. Пошла к печи, принесла ковш воды.

— Иди подои корову, надо молока вскипятить,— сказала она Алтынсес, а пока начала отпаивать Кадрию водой.

Кадрию начало рвать. Алтынсес схватила ведро и выбежала во двор.

Когда она вернулась, в избе горела коптилка. Кадрия немного пришла в себя. Но дрожит, вздыхает пре-

рывисто, взгляд мутный, от света отворачивается. Фариза убавила фитилек.

— И, алла! И все сват Тахаутдин, он ее научил. Если бы не научил, разве дошла бы дочка до такого...— опять запричитала Халима.

— Тоже сказала! Что он, силком ей в рот лил, что ли? — прокричала Фариза на ухо старухе.

— Не знаешь ты его, Фариза! Он ведь дочке шагу ступить не дает, «сватьюшка» да «сватьюшка», так и вьется, так и вьется, чтоб второй глаз из глазницы вылетел у проклятого.

Тем временем Алтынсес развела огонь в очаге.

— Когда вскипит,— сказала Фариза,— остуди немного и давай по чашке каждые полчаса. Отпираться будет, не слушай, силком вливай, без этого человеком не станет. Сватье скажу, что ты здесь.

Она вышла, и Халима-апай заговорила снова:

— Когда в прошлом году Кадрия по налогам работала, этот кривой Тахау в сельсовете сидел. Придет и говорит: «Нас, говорит, в район вызывают». А эта молода, ума нет, что скажет? «Дело казенное, коли вызывают, надо ехать». А возвращается поздно. Один раз, другой... в третий раз я уже не вытерпела: «Какое такое, говорю, казенное дело ночь-заполночь?» Она смеется, а от самой — астагафирулла! — водкой пахнет. Что делать? Покрутилась-покрутилась, как овца в вертячке, побежала к этому псу кривому, поприжать его хотела. Куда там! «У меня, говорит, семья, дети есть, я человек с положением, и чтобы я, говорит, с твоей дочерью водку распивал?» Выгнал, еще и пригрозил вслед: «Смотри, говорит, как бы за оскорбление советского служащего отвечать не пришлось, сейчас война, законы строгие». Чего только не делала — и плакала, и грозила,— перетащила все-таки Кадрию на колхозную работу. А Тахау нам тут же лишнюю скотину приписал и налог повысил. Три раза пришлось в район сходить, еле к концу года разобрались, по-старому оставили. Вот с тех пор и злобится. Теперь, когда з а м п р и д стал, все в его руках. А сам увидит дочку — кривой глаз маслом блестит, с языка не слова, мед капает. Некому дочку мою защитить... а теперь уже и совсем некому.

Рассказ старухи удивил Алтынсес. Ведь надо же, в одном ауле живут, подругами считаются, закадычными даже, но об этом случае с Кадрией она ничего не знала.

Посмотреть, так этот Тахау на плохого человека вроде и не похож. Встретится где, обязательно рассмешит. «Здравствуй, сноха-свояченица-сватья!» — говорит. Так он ее стал называть после свадьбы. Недавно, как на жатву вышли, сели передохнуть, подошел Тахау к женщинам, о житье-бытье поговорил, Алтынсес особо выделил: «Как жнется, как живется, сноха-свояченица-сватья?» Женщины засмеялись: «Как это — и сноха, и свояченица, и сватья, все враз?» Тахау полушутя-полусерьезно объяснил: «Моя законная супруга — племянница Фаризы-апай, дочь ее дяди, не родного, правда, а так, другой конец ухвата. Выходит, Алтынсес моей благоверной приходится сестрой. А мне кем? Свояченицей! Это — первое. Во-вторых, другая дочь того же дяди, родни по ухвату, за моим дядей, мельником Миннигали, замужем. С этой стороны мы с Алтынсес — сват и сватья». «Выходит,— поддела Кадрия,— ты своего дядю Миннигали «дядя свояк» зовешь?» Женщины покатились со смеху. А Тахау начал вытягивать еще одну нитку из запутанного клубка своей родни-породы: «А Мастура-апай, мать Хайбуллы, из какого рода? Из нашего. Ее дед и мой дед единородные, так сказать, братья, у них матери только были разные, а отец один — знаменитый тогда кураист Губайдулла, «коротышка Губай», как говорит шэжере[1]. Выходит, Мастура-апай мне троюродная сестра, а Хайбулла племянник. А как вышла Алтынсес за него, стала еще ко всему прочему и моей снохой».

Вот такое запутанное шэжере. А в общем-то, есть ли на свете Тахау, ее сват-дядя-зять, нет ли его — Алтынсес было все равно. Она, почитай, с ним ни по какому делу и не сталкивалась. Если была какая нужда в правлении — сначала мать, потом свекровь сами шли, Алтынсес не пускали.

«Вот так дядя-сват-зятек!» — ахнула Алтынсес. Есть же люди, даже в это тяжкое время своего паскудства не оставляют! Неужели на такого пакостника управы никакой нет?

Кажется, молоко помогло, Кадрия немного успокоилась. Скрестив руки, обняла себя за плечи, съежилась, совсем маленькой стала. Заснула и, кажется, видит сон. Вздохнет с легким стоном, то улыбнется, то сморщится жалобно. Сидя на хике, заснула и Халима-апай, забилась в угол, спит тихонечко. Опять стало слышно, как

---

[1] Шэжере — родовые и родословные записи у башкир.

шуршит кто-то за печкой. Прошуршит, и снова глубокая тишина.

Алтынсес осторожно встала, задула коптившую лампу, поправила на Кадрии одеяло. Уже пора, свекровь, наверное, тревожится, не спит. Вдруг из темноты раздался совершенно трезвый голос Кадрии:

— Уходишь?

Алтынсес вздрогнула.

— Нет, нет, подружка! — Она шагнула к хике и обняла ее.— Хочешь, до утра побуду с тобой? — Гладила, гладила по голове, на ощупь отводила рассыпавшиеся волосы с лица и не могла удержать слез, беззвучно плакала.

— Не плачь, чего там...— Кадрия села.— Нет счастья с утра — не будет к вечеру, а нет с вечера — так и ждать нечего, это про меня сказано. Может, только Гали понял бы, каково мне. Если бы вернулся. Какой он был добрый!..— Голос прервался, она уняла дрожь и закончила: — Чтобы такое счастье — и мне...

— Ложись, тебе отдохнуть надо, помолчи, ладно? — Алтынсес уложила ее, но та снова села.

— Хоть бы заплакать... Не могу,— вздохнула Кадрия.— Да чего там! Бог моих слез не примет, тоже в грех запишет.

Вовсе удивилась Алтынсес. Но странные эти слова объяснила остатками хмеля. Почему ее слезы — грех? Надо уложить ее, успокоить.

— Ты чего со мной как с дитем малым? Не бойся, в волосы не вцеплюсь. Протрезвела, только голова трещит.

— Отдохни, с утра на работу...

— На работу... Это счастье у нас с утра до вечера... опять, как лошади, в хомут... Там бутылка на столе, плесни в стакан немножко.

— Я бутылку в окно выбросила,— испугалась Алтынсес.

— Ну и ладно,— сказала Кадрия. И вдруг рассмеялась, коротко и сухо.— Да... не эта бы водка! Она довела. Она одна!.. Ты ребенок еще. Замуж вышла, а все ребенок. Ничего про подругу не знаешь. Не ухаживать, а дубьем охаживать...— Усмехнулась: — Убить бы надо.— Она потянула носом, и Алтынсес поняла, что Кадрия плачет.

— Хватит, хватит, успокойся, увидишь, все уладится. Вот кончится война...

— А мне какая радость? Разве что Гали оживет? Оживет, вернется и мне в лицо плюнет.

— Замолчи! Ты что городишь! — Алтынсес в отчаянии зажала ей рот.— Сама на себя напраслину возводишь.

Вдруг показалось ей, что сидит она на самом краю пропасти, и ноги сами собой подобрались, она прижалась к Кадрии. Чуть эта бездна не утянула ее. Бывало, и падала, но только не наяву, во сне. Летит-летит и, не долетев, проснется. От страха и восторга даже всплакнет немного. От страха, что чуть не разбилась, от восторга, что летела.

Но в этот раз пробуждения не будет. Телом цела останется, а вот сердцем... Стой, Кадрия, молчи! Алтынсес на шалый твой нрав, на злой язык не смотрит, любит тебя. Твои песни, озорные, как воды Казаяка, нежные, как уральские рассветы, измученная душа словно живительное зелье пьет. Алтынсес верит в твою чистоту, в твою верность. Не говори. Ничего не говори. Пусть все останется как было! Так молила про себя Алтынсес, а сама, затаив дыхание, ждала, что же скажет Кадрия. Было тихо и жутко, даже тот, за печкой, перестал шуршать.

— Не напраслина...— Голос шел словно откуда-то из подполья. Или это мерещится только? Во тьме-тьмущей зажмурилась Алтынсес, уткнулась в колени Кадрии. Не видеть, не слышать ничего! — Не напраслина...— повторила Кадрия. Опять замолчала.— По правде говоря, даже не тело свое, которое этот кривой испоганил, я сейчас жалею... Нет, ты не поймешь. Одной даже ночки я с Гали не провела — вот что жалко. Честная, дескать, чистая девушка. Такая и была. Бедняга, даже грудей моих не коснулся, не позволила. Одно утешение — ничего теперь не узнает.

— Нет, нет, врешь, врешь, все врешь!.. Врешь ты все, меня удивить, напугать хочешь! — закричала Алтынсес. Сначала в лицо, в глаза, в волосы, что во тьме попадалось, целовала, потом повалила и стала колотить кулаками по спине. Обессилев, упала лицом на нары.

Завозилась, завздыхала в углу проснувшаяся старуха. Она, видно, тугим своим ухом что-то все же расслышала. Кадрия поднялась, села рядом с Алтынсес, заговорила равнодушно:

— С утра до вечера работаешь, а руки у тебя мягкие. Говорю же, ремнем меня нужно... Как случилось это, одно время думала: вернется Гали, и я свое полу-

чу — или простит, или казнит, хоть убьет, пусть. А теперь мне ни прощения, ни кары не будет. Так все в душе и останется, буду заминать, заминать...

«Хорошо, что лампа не горит,— подумала Алтынсес,— хоть и страшно, но не так стыдно. И ей и мне... А горел бы свет, она, может, и не сказала ничего».

— Ладно, подружка, ступай. Свекровь, наверное, как на углях сидит. Узнает, что у меня была,— не похвалит. Прознала, видать, откуда-то старая. При встрече смотрит, будто пристыдить хочет. Глаза бы пожалела, нашла чем Кадрию пронять — взглядом!

Когда измученная Алтынсес тихо вошла в дом, свекровь действительно еще даже не ложилась.

— Не ругайся, мама, очень плохо было Кадрии,— начала она, но свекровь не дала ей договорить:

— О аллах, неужто похожа я на свекровь-истязательницу, которая белого-черного не видит? Ты не побежала бы, так я бы сама послала. Ну хоть пришла в себя немного? Аллах наш всемогущий, бывают же несчастные, но эта... А все тот кривой пес, чтоб земля его проглотила. Был бы он мужчина, так немного хоть подумал бы, что и она — чье-то дитя единственное, наперед бы подумал. Нет, вожделение-то — что собака беспутная, не уймешь — так все дворы обшныряет. Ложись, дочка, извелась вся, лица на тебе нет.

Шепча про себя слова благодарности свекрови, Алтынсес легла в постель, закрыла глаза и изо всех сил постаралась заснуть. Но до самого рассвета хоть на полчаса задремать так и не удалось. Душа, растравленная несчастьями Кадрии, казалось, никогда не успокоится.

Прошел месяц, как уехал Хайбулла. Потом еще неделя. Даже с того дня, как пришло долгожданное письмо, уже три недели миновало. Алтынсес писала через день; одно не дойдет, думала, дойдет другое. Письма выходили длинные, аульские известия, сердечные излияния перемежались песнями. Но ответа все не было.

Маялась, не знала она, куда себя девать, и наконец решилась, по адресу Хайбуллы написала командиру части. Если ранен или перевели куда-то, товарищи должны знать. Человек не иголка.

После несчастья с Кадрией свекровь оттаяла к невестке, теперь они вечерами перед сном лежали и разговаривали подолгу. Частенько приходила Фариза, все, что видела-слышала, капельки не расплескав, приносила сватье и дочери.

С сумерками огня не зажигали, начинали ложиться. Мастура, ласково похлопав по спине, укладывала Надю с Зоей, ложилась сама, и начинался долгий вечерний разговор. О чем бы ни заговаривали, беседа сворачивала на войну. Светлые сумерки в густые переходили, темнели окна, сами собой затихали вечерние голоса на улице. В такие вечера Мастура становилась особенно словоохотливой, иной раз только перебьет себя, скажет:

— Ой, сватья, совсем я тебя заговорила, тебе же с рассветом на работу, пошла бы домой, вздремнула.

Фариза не спешила.

— Эх, сватьюшка, сватья! — вздыхала она.— Да разве уснешь! Ни от отца, ни от сына писем нет. Чего только в голову не лезет. Спаси аллах и помилуй!.. Ладно, хоть ты есть. Поговорим вот так, и на душе легче.

Мастура только рада. Вздыхая, говорила:

— Придут письма, непременно придут.— Алтынсес чувствовала, что слова эти больше обращены к ней.— Очень уж дальняя дорога, всякое может с письмом случиться. Война ведь. А дела у наших, похоже, хорошо идут. Слава создателю, с сорок первым годом не сравнишь. Вон и Смолен-город уже взяли...

Алтынсес молчит. Зоя с Надей поворочались-поворочались и заснули. Спят, хоть буря избу приподнимет, не проснутся. А в избе уже совсем темно. Стекла на окнах — то ли от луны, то ли от близкой звезды — синевато мерцают. Мастура с Фаризой прервут на миг свои сетования, будто к чему-то прислушиваются, и снова тянется беседа. Хоть разговор большей частью о том, что обеим давно известно, в голосе воодушевление, слушают с интересом.

И у Алтынсес от этой простой старушечьей беседы легче становится на душе. А почему, она поняла позже: сколько бы мать и свекровь ни сетовали, они говорили о жизни, о лучшем в ней, подбадривали друг друга. Смерть, болезни, нужду и голод старались обходить. Словно боялись: помянут напасть, и она — накликали! — тут же и заявится.

Но время такое, что горе по головам ходит. После черной вести о Гали получили другую весть: и пугающую и странную. Хайбулла пропал без вести.

Алтынсес и раньше слышала, что бывает такое: человек пропадает без вести. Но ведь правду говорят: на чей подол уголек упал, той и гореть — до сердца не доходило. «Пропал без вести» — какая страшная тайна, каким

холодным ужасом тянет из двух расщелин меж этих трех слов... Есть увечье — возвращаются без рук, без ног, обожженные, сердце обрывается. Есть смерть — можно закрыть глаза, остановится сердце,— но представить это можно. А как понять: «пропал без вести», как представить? Есть человек и нет человека? Мертв? Похоронной нет, известной могилы нет. Живой? Так среди живых нет, из счета выпал. Ведь даже камешек в воду уронишь, и тот хоть недолгий, но оставит след. А тут — солдат, крепкий телом, здоровый душой, джигит — и три только слова, и ни звука больше, ни следа. Нет, нет, не может быть, не должно быть!

Да, да, все, наверное, по-другому. Хайбулла жив, только попал в такое место, откуда ни письма, ни весточки прислать нельзя. Так тоже бывает, Алтынсес слышала. Подождать немного, и все разъяснится. Терпеть надо, терпеть, терпеть. И ждать, ждать. Вот так уговорит, успокоит себя, как вдруг приходит зловещая догадка: Хайбулла жив... жив, но нет рук... или ног... или ослеп... и не хочет, чтобы мать и жена знали об этом, не хочет быть при них калекой. Вот, вот в чем дело! Как бессмысленно, как глупо, обидно — из-за увечья от своих близких, от любимой отказаться! Неужели не знает, что жена будет на руках его таскать, глазами его станет, костылями!

В страхе, сомнениях и надежде Алтынсес начала бой против своей судьбы. Сначала пошла в райвоенкомат и попросила написать новое письмо командиру части. Потом, расспросив сведущих людей, послала ходатайство в Москву. Не поверила, что муж пропал бесследно. И ясный разум, и истосковавшаяся душа были несогласны с этим.

Как волны Казаяка, бежали друг другу вдогонку дни, недели. Вестей от Хайбуллы не было. Тайком от всех Алтынсес написала ему еще несколько писем. Но и они остались без ответа.

* * *

Не зря говорят: все лето — один вздох. В конце августа пошли сплошные дожди, но с началом сентября они перестали. С тоскливым криком потянулись на юг стаи птиц. В остывшем воздухе вдруг проносился ветер, гнал вдоль улиц шары перекати-поля, подхватывал палую листву, перья-опадыши и, завихрившись, уносил их в небо.

Старуха Мастура, заслонившись ладонью от тусклого солнца, долго смотрит в небо и тихо вздыхает. В ушах звенят тонким звоном клики пролетавших стай — вот-вот оборвется струна. Тревожится душа, чует что-то. А память уносит к таким же вот дням, с печальным солнцем и печальным ветром.

В такой же вот день Мастура, еще утром не чуявшая земли под ногами от счастья, вечером стала вдовой. Был двадцать восьмой год. Горячее, суматошное время, в Куштиряке начали создавать колхоз.

Прищурив глаза, смотрит Мастура в конец улицы, откуда ветер несет клубки перекати-поля, и будто видит тарантас с запряженной в него серой кобылой. Двое с двух сторон ведут ее под уздцы. За тарантасом тяжело шагает человек десять мужчин. Все ближе подходит это странное шествие, и все явственней и ближе знакомое звяканье и поскрипывание. Так звякал и скрипел тарантас, на котором ездил Гарифулла.

Сколько мытарств перенесла Мастура с того дня, когда кто-то убил ее мужа! Все вынесла. Достойным джигитом вырастила Хайбуллу. Не сдалась Мастура, все выдержала, исполнила волю мужа. Но одного его слова не послушалась: «Встретишь хорошего человека — не бейся с бедой в одиночку». Так с последним вздохом сказал Гарифулла. Но нет, не хотела, чтобы кто-то даже в мыслях заслонил Гарифуллу.

А тот звон то затихнет, то снова поднимется — в небе птичьи клинья тянутся, а в памяти — тоскливые годы. Но поддаваться этой тоске нельзя. Перед невесткой, перед Зоей и Надей она должна быть всегда твердой, всегда спокойной. И не только домочадцы, даже соседи смотрят на нее, будто надежду в ней ищут. Она, старуха Мастура, им, солдатским женам и матерям, опора и утешение; всяк ждет от нее теплого слова, доброго предсказания.

Никто ее не обязывал, но она и сама не заметила, как эта обязанность легла на ее плечи. Вот и сейчас, вспомнив о чем-то, она перебежала улицу и вошла в дом к Ханифе.

С того дня как Ханифа узнала о смерти мужа Муртазы, она повредилась в рассудке. Вдруг за работой или посреди мирной беседы возьмет и расхохочется. Или такое понесет, всякой женщиной таимое,— теперь уже бабы от хохота валятся. А прояснится рассудок — молчит часами, думает и думает, пока не зайдется плачем.

Вчера и сегодня было просветление, и для Ханифы белый свет был как узкий колодец — билась и не знала, как вырваться. Мастура заходила утром, уговаривала пойти на работу — та будто и не слышала. А сейчас, распустив блестящие, как ласточкины крылья, волосы, Ханифа сидела на краю хике возле самовара и блаженно улыбалась.

— Ну иди же, иди, Муртаза, сам говорил, что косы мне заплетешь, а сам... Жду тебя, жду, жду, жду...— говорила она, глядясь в тусклый бок самовара.

«Опять началось. Бедная, бедная, может, так-то и легче тебе...» — думала Мастура, обнимая ее.

— Муртазу не видела? — спросила Ханифа. Мастура даже своей лежащей на ее голове ладонью ощутила, как мысли ее вдруг прыгнули и побежали совсем в другую сторону.— Алое платье свое, любимое свое, найти не могу. Вечером в кино, думала, пойду.— Она хихикнула.— Из Янгызкаина парни придут — как же без алого платья...

— Найдется, доченька, найдется. И алое найдется, и белое... Приляг пока.

— Тогда ладно. Вот косы только заплету,— напевая что-то веселое, Ханифа расчесывала тяжелые длинные волосы. Начала заплетать, но и до половины не заплела, распустила снова.— Ты чего здесь сидишь? Иди, иди, ступай,— сказала она Мастуре. Толкнула ее. Вскочила и отбежала к порогу.— Сейчас Муртаза придет, а она сидит, как сова, высматривает, подкарауливает...

Еле-еле, после долгих уговоров, успокоила ее Мастура и вышла во двор, подоила корову, загнала в хлев гусей. «Эх, несчастная, несчастная, зачем тебе корова?» — подумала она. Как старались Муртаза и Ханифа, от темна до темна работали, дом построили, скотом обзавелись. Золотые руки были у Муртазы. Днем с шумом-треском трактор водил, а вечерами — тук да тук — дом строил. Кому теперь нужен этот высокий дом, большое подворье? Детей у них нет, и сама Ханифа теперь что дитя малое.

Вместо того чтобы идти домой и окунуться в собственные хлопоты, Мастура села на крыльце и недоуменно оглядела двор. Неужели и это трудом и потом нажитое добро пойдет прахом, разлетится по ветру? Ханифе — в часы просветления — многие советовали вернуться в родной аул, в отцовский дом, но она и слышать не хотела. Приходя в себя, снова разжигала свой вдовий очаг.

Но надолго ли ее хватит? Лето кончилось — одной без глазу, без ухода, как жить в пустом доме? Отправить обратно в ее аул, так теперь она и в родном доме не приживется. Отрезанный ломоть обратно не приставишь. Делать нечего, придется Мастуре приходить ночевать сюда. Кто знает, может, и оправится со временем. Горе перегорит, потом, глядишь, и пару себе найдет. Только бы эту беду пережила...

В эти дни Куштиряк надрывался на гумне. Но саму рожь люди только тогда и видели, когда она тяжелым потоком текла из веялки. Тут же засыпали ее в большие и малые со всего аула собранные мешки, грузили в телеги и провожали на станцию. До щепотки, до зернышка — все фронту, все на мельницу войны!

Уже ночью, в черной пыли, пошатываясь от голода, возвращалась Алтынсес домой и с порога смотрела в руки свекрови. Та молчала. Сказала бы, да пустые руки вперед сказали. Даже девочки затихали и прятали от Алтынсес глаза. Нет письма. И те, которые Алтынсес написала, заблудились где-то. «Ждать. Стиснуть зубы и ждать».

Сегодня то же самое. Алтынсес умылась, переоделась, неохотно поела и легла.

— Мама, разбуди завтра пораньше. Хлеб на станцию возить нарядили.

— Кроме тебя, и людей уже нет? — недовольно сказала свекровь.

— Не все ли равно? Везде — работа.

— Как это все равно? Мешки-то эти нагружай, выгружай... Их и мужик, если «бисмилла» не скажет, не поднимет. А тут...— она всмотрелась ей в лицо,— кажись, невестка, не всю ржаную пыль ты с лица отмыла, ржавчина осталась... Если что, не дай бог.

Этих слов ее Алтынсес не поняла. А свекровь не решилась, не досказала. Смущать ли невестку не захотела, пустой надеждой ли обмануть побоялась — сдержалась, больше не настаивала. Потом каялась, как еще каялась, голову о камень готова была расшибить, да поздно. На дыбы подняться, все вверх дном перевернуть надо было, она же ни слова больше не сказала. Ох, знать бы, знать, где упадешь, не солому, перину бы подстелила!

Алтынсес с Кадрией на одной подводе возили хлеб на станцию. Работа ли затянула, неунывающий ли характер подружки так действовал — Алтынсес вроде бы

немного успокоилась, не так уже терзалась. Ко всему привыкает человек, даже к неутешному горю и то привыкает. И как бы то ни было, похоронки на Хайбуллу нет, может, жив он, только письма написать не может. Видя, что невестка понемногу приходит в себя, начала успокаиваться и свекровь. С утра до вечера крутилась то у себя дома, то у Ханифы. Успевала и в лес по последние летние дары сходить. Возьмет с собой Зою с Надей, соседская детвора пристанет, так и катятся к лесу, как наседка с цыплятами.

За этими всеми хлопотами она как-то меньше стала думать о невестке. Нет, она по-прежнему с нее глаз не спускала. И утром провожая, и вечером встречая, пытливо оглядывала ее. Но никаких перемен не находила и успокоилась. Чего прежде времени будоражить, беду бедой посыпать? То ли правда, то ли нет, только напугаешь зря. Но вдруг да сбудутся надежды старой Мастуры? Вот обе и нашли бы утешение. Нет, кажется, зря надеялась старая, все попусту. А может, и лучше, что попусту. Не такое время, чтобы семью множить. То ли есть Хайбулла, то ли его нет...

В эти самые дни, когда ходила она, полная сомнениями, случилось одно происшествие. И тоже, как на грех, отвлекло Мастуру от Алтынсес, притупило всегдашнее ее чутье.

Старуха разливала по широкой доске размятое калиновое месиво — готовила пастилу. Скрипнула калитка, кто-то покашлял негромко. Это был старик Салях.

— Как живешь, сноха? — сказал он, и Мастура так и замерла. Салях просто так, среди бела дня, в разгар работы не зайдет. Аллах милосердный...

Скрывая страх, она приняла привет. Поправила платок, показала на толстое бревно перед домом.

— Рассиживаться некогда,— сказал Салях, пробежав взглядом по двору.— Их-хи, сноха, навес над погребом совсем обветшал, и дверь у хлева перекосилась, еле держится. С поставками развяжемся маленько — приду поправлю.

Мастура не ответила. Затаив дыхание ждала, когда старик перейдет к делу. Наконец, сглотнув комок в горле, проговорила:

— Сейчас айран принесу, выпей, что-то совсем ты осунулся,— она шагнула к дому, но Салях остановил ее:

— Не хлопочи, только что обоз отправили, домой заглянул, попил чаю... Пораньше нужно было зайти, да не

решался все. Утром я Исмая проведать заходил. Плох, дня два протянет, не больше... Тебя просил зайти, слово есть, говорит. Душа не лежала просьбу-то его передавать. Подумал-подумал и решил: хорошо ли, плохо ли, а волю человека, если он на смертную перину лег, исполнить надо. Пойдешь или нет — это уже твое дело.

Мастура задумалась. Сначала она от страха помертвела — не черная ли весть от Хайбуллы? Поняла, успокоилась. Но и в странной просьбе Исмая было что-то тревожное.

Тридцать лет назад оборвалась между ними тонкая, чуть было не захлестнувшая ее петлей нить. Жили в одной деревне, но во всю жизнь ни Исмай ее порога ни разу не переступил, ни Мастура не знала, в какую сторону открывается дверь в доме Исмая. Сколько же лет ему сейчас?

— Да... Пойдешь или нет — воля твоя. Просьбу я передал, там уж сама смотри. А прийти я должен был,— повторил Салях. Добавил, словно бы оправдываясь: — Ровесник ведь, росли вместе. Японскую вместе прошли. Покуда Исмай не разбогател и не перешел на хутор, у одного бая батрачили.

«Салях на два года старше Гарифуллы,— вспомнила Мастура.— Выходит, Исмаю пятьдесят девять». Задумавшись, она не заметила, как ушел Салях. Снова принялась за пастилу, но мысли ее были далеко.

В ту пору Исмай, промышлявший прасольством, перебрался на хутор, возвел дом, каменные лабазы, не жил — от богатства шалел. А Гарифулла с матерью ютился в лачужке, окна которой были затянуты бычьим пузырем. Ни скота, ни птицы, гнул спину на русского бая. Потому и не хотел отец Мастуры свою дочь отдавать за него. «Мы бедны, а он — нищий. Ни кола ни двора — всласть ты с ним поживешь, нечего сказать! Чем тебе Исмагил не по душе? Живет в достатке, ловкий, хваткий, устами птицу поймает»,— казалось, видно, отцу: если с богатством обсватается, так и его оно, это богатство, обогреет.

Целый год приходили сваты от Исмая, но уходили ни с чем. В мечтах Мастуры был другой. На тайном свидании дали они с Гарифуллой друг другу слово. Была она по тому времени грамотная, уже к жизни приглядывалась и что-то начинала понимать в ней, и птица любви уже свила в сердце гнездо. Об одном мечтала Мастура — о счастливой жизни с Гарифуллой. «Захочешь за

Исмая отдать, тайком за Гарифуллу выйду»,— пригрозила она отцу, и тот наконец смирился. Даже в приданое дал одного ягненка и будущего теленка от пестрой коровы обещал.

И еще одно помнит Мастура. В те самые дни, когда добилась наконец отцовского согласия и уже готовилась войти невесткой в дом Гарифуллы, пошла она по какому-то делу в соседний аул, и на мосту через Казаяк стал перед ней Исмай в красивом городском пиджаке, на голове, по моде татарских баев, высокая черная тюбетейка; сам серого в яблоках иноходца под уздцы держит, узоры на седле, медные бляшки на подпруге огнем горят, глаза слепят. Весь вид Исмая — подбородок с подгузочком, сытое круглое лицо, важная осанка, манера согнутым пальцем проводить по усам, солидное покашливание — все говорило о том, что в свои силы он верит крепко.

— Погоди, красавица, не спеши, всего два слова скажу,— усмехнулся Исмай, заступив ей дорогу.

— Своей жене скажешь,— ответила Мастура, отшагнув в сторону. Но Исмай вцепился ей в руку.

— Не брыкайся... Не пойму, чего ты от своего счастья отворачиваешься? Не упрямься, выходи за меня. Пылинке на тебя сесть не дам.

— Пусти, бесстыдник! Закричу! — Мастура попыталась вырваться.— Раздуло от спеси — на дорогу вылез. Подавись своим богатством!

— *Канишна*, соперницы боишься! Хочешь, я ей, Гильминисе, сегодня же трижды «талак»[1] скажу? Эх, Мастура, нет мне жизни без тебя.

— Пусти, по-хорошему говорю!

Исмай закинув поводья на голову коню, обхватил Мастуру, рывком согнул ее в поясе и оторвал от земли. Мастура и опомниться не успела, как он, жадно целуя, понес ее в кусты.

Мастура истошно закричала, начала вырываться, вытащила одну руку, другую и начала молотить по круглому закинутому лицу. Но откуда тоненькой девушке взять силы против дюжего мужика. Последняя надежда — на помощь звать, плакать, о пощаде молить. Исмай, не обращая внимания на ее крики и слезы, словно медведь, с треском топча кусты, ломился в чащу.

---

[1] По шариату мужу, чтобы развестись с женой, было достаточно сказать ей три раза слово «талак» — развод (*арабск.*).

Мастура дергалась, билась, как птица в силках, криком исходила, спасения не было. Вдруг донесся крик: «Мастура! Мастура!» — из-за деревьев выметнулся Гарифулла.

Яростно, страшно, до изнеможения дрались Гарифулла с Исмагилом. Байская и батрацкая одежда одинаковыми лохмотьями повисла, оба в крови, в грязи, в подтеках, живого места нет. Мастура с плачем кидалась между ними, но каждый раз, снова сцепившись в клубок, они отбрасывали ее прочь. Наконец, зажав ладонью нос, из которого хлестала кровь, Исмай присел на корточки: «Хватит, Гариф.... На сей раз твоя взяла... Но запомни, рвань, пощады от меня не будет»,— прохрипел он. Гарифулла, выругавшись, пнул его и, волоча Мастуру за руку, спотыкаясь о корни, поскальзываясь, зашагал вниз по склону, к воде.

Исмай не забыл этого. И грязные про них слухи распускал, и двух своих прихлебателей неделю поил, уговаривал их подкараулить и избить соперника, но помешать счастью Гарифуллы и Мастуры так и не смог. Ходил, черным огнем горел, щеки себе изнутри изгрыз — ничего не помогало. Помогло другое. Только началась война, Исмай добился, что Гарифуллу одним из первых записали в рекруты.

После революции несколько лет Исмая не было, пропадал где-то. Вернулся в двадцать пятом или двадцать шестом и как-то очень быстро снова встал на ноги. Засевал для отвода глаз два-три гектара пшеницы и осенью в окрестных аулах скупал хлеб по дешевке, а по весне, когда цены на хлеб поднимались, возил муку в город. Посмотреть — все чисто: наемным трудом не пользуется, а если к паре своих лошадей еще две-три подводы подзаймет, так возчикам платит исправно, в дороге их кормит и поит, мало того, и чаем-сахаром, гостинцем мелким одарит.

Но и на этот раз просчитался Исмай, не обманул властей. Только началась коллективизация, сразу же раскулачили. И снова пропал — на семь или восемь лет.

Года за два до войны опять появился Исмай. На то, видать, и родина — человеку дом, а зверю логово. Вернулся один-одинешенек. Жена, по слухам, померла на чужбине, дети выросли и разбрелись кто куда. Говорили, что вернулся Исмай и так сказал: «Стар я теперь, устал скитаться, хочу на родине помереть. Если дадите место, построю дом, доживу как-нибудь...» Подумали

аульские власти и решили: какой от него, волка беззубого, вред, пусть живет.

Вот и жил-доживал. Началась война, ушли мужчины, пришлось и ему на работу выходить — немного в конюшне, немного на току. Жил наособицу, людским горем не горевал, радостями не радовался. Мастуру, которую когда-то при каждой встрече с ненавистью жег глазами, потом — когда по второму разу разбогател — провожал улыбками да шуточками, теперь и вовсе не замечал. Писем с фронта не ждал, сводок не слушал, даже в разговоры не вступал. Вся война, все, чем жили люди, шло где-то стороной от него. Поглядывал лишь молча, как из месяца в месяц надрывались люди и истощалось хозяйство. Однажды сказал Исмай даже с каким-то будто сожалением: «Ждал я когда-то, что вот-вот вы свои колхозы начнете растаскивать. А теперь и растаскивать нечего...» А в последний год занемог и уже совсем из своей избушки не выходил.

Вот все это и перебирала в памяти Мастура, хмуро уставившись в доску с разлитой калиной. Странно, какое у Исмая, который всем, как бельмо, застил божий свет, дело к ней, к Мастуре, жене «коммуна-Гарифа». Нет, хоть и тяжкий это грех, не пойдет она, не сможет. После того как привезли на тарантасе умирающего Гарифуллу, долго вели следствие, установили, что участвовать в убийстве Исмай не мог, был тогда в Уфе. Но все равно он из той же нечисти, что и те, неустановленные убийцы.

Так, растравливая себя, Мастура твердо решила отказать в последней воле умирающему. Но странное любопытство не переставало скрестись в груди. «Его грязь ко мне не пристанет. Может, что важное...» — думала она.

Мастура вошла в избу, сама не заметила, как открыла старый сундук, достала белое платье, которое надевала только в особо важных случаях. Это был первый подарок Хайбуллы. Окончил сын семилетку, начал работать в колхозе, тогда и привез из города. Уже собралась было переодеться, но передумала и с надменным лицом положила платье обратно в сундук. «Этому чучелу и так сойдет». Она отряхнула свое старенькое платье, поправила платок и вышла на улицу.

Так, нехотя, дошла до Исмаевой избушки. Постояла в нерешительности, думала уже обратно повернуть, но давешнее любопытство толкнуло ее к крыльцу.

Только отворила дверь, тяжелый, затхлый, словно из погреба, воздух ударил в лицо.

— Входи, Маштура,— донеслось откуда-то, словно из подпечья,— бедный Ишмагил, умру, говорит, и не увижу больше Маштуру, уж так боитша, так боитша. Придет, придет, говорю, как не прийти, коли пожвал.

Прикрыв углом платка беззубый рот, к ней подошла крошечная безобразная старуха. Говорили, что какая-то дальняя родственница за Исмаем ухаживает. Эта, видать.

— Иди, иди, апай, побудь на улице,— слабым голосом сказал Исмай.

Только теперь Мастура увидела вытянувшегося во всю длину хике хозяина. Взглянула — и сердце сжалось, ноги подкосились, она опустилась на низкую, косо сбитую скамейку возле печи. Все враждебные мысли, которыми растравляла себя дома и по дороге, разлетелись.

Лицо серое, морщинистое, как убитый заморозками лист лопуха; потухшие, глубоко провалившиеся глаза, руки, высохшие, немощные, лежат поверх одеяла и себя удержать не могут. Все говорит о том, что свои самые большие торги — с жизнью — Исмай завершил, счет подвел и собрался в последнюю дорогу.

Лишь по слабому подрагиванию бороды было видно, что вот со смертью только не сговорился, торгуется еще. И это — всю жизнь гонявшийся за богатством, сильный, ненасытный, неугомонный, весь аул в кулаке державший Исмай... Оплывшая, погасшая свеча. Живой мертвец.

Долгое время оба молчали. Исмай сквозь потолок устремил взгляд на дорогу, по которой скоро уйдет. Мастура, охваченная жалостью, думала, как пуста бывает порой даже бурная, исходящая силами жизнь и как безжалостна судьба!

Наконец Исмай вздохнул:

— Спасибо... пришла. Глаза не видят... только тени вижу... узнавать не узнаю. Хоть голос твой услышу.— Сказал так, будто говорил с близким человеком, и это всколыхнуло в ней прежнюю враждебность.

— Что тебе в моем голосе?

— А этого, Мастура, не то что ты, я и сам не знаю. Видать, душа напоследок чудит. Не сердись... Я о другом...

Мастура, прикусив губу, во рту зажала готовое вырваться неласковое слово о его душе. Встать бы да уйти, но слова «я о другом» удержали ее.

— Удивилась, наверное, когда позвал,— продолжал

Исмай, опять передохнув, прокашлялся.— Да и не пришла бы — не обиделся. Выпала судьба за грех молодости... Разными дорогами пошли. Глубокая яма разделила нас. Ты на одном берегу, я на другом.

— Свою дорогу ты сам выбрал, никто не заставлял.

— Так... Я ведь тоже не байский сынок, да вон как дело обернулось. Судьба-то человека у него на лбу написана. Не думай, не каюсь. Пожил и я в свое время, так пожил — земля дрожала. Есть что вспомнить, чем утешиться в смертный час... Но уж и отомстить вы отомстили! Гнали, как волка загоняют, били и трясли. Да, жизнь что мах колеса — то в грязь, то в небеса. Верно... Но все равно на судьбу не жалуюсь.

— Даже сейчас: «не обижаюсь», «не каюсь»!

Гневное замечание Мастуры осталось без ответа. Исмай свое торопился сказать.

— О детях только горюю,— сморщенное лицо растянула и разгладила боль.— Вот где судьба не одарила... Старший сын спился, совсем беспутный, гниет теперь где-то в тюрьме. До тридцати дожил, ни дома, ни семьи... Дочка за комиссара замуж вышла. Как война началась, муж на фронт ушел, и она вместе с ним медсестрой. Мне не пишет, может, и в живых уже нет... Все помыслы, все надежды были в младшем, последыше. Этот вконец опозорил. Перед всем миром через газету от меня отрекся. Я, говорит, за его грехи не отвечаю. Будь он проклят! В комсомол вступил, на инженера выучился. Грамота есть, а совести нет, от родного отца отрекся!.. Вот так, Мастура, ваша правда сверху оказалась. Все у меня отобрали. Да мне не богатства жаль. Душу вы из меня вынули, в грязь втоптали... Остался я теперь как одинокая кукушка. Сухостой...

Исмай вздохнул, о чем-то задумался, замолчал. От долгой речи у него пересохло в горле, он закашлялся.

— Может, воды тебе подать?

Исмай молча повернул к ней лицо. Мастура зачерпнула из ведра, стоявшего здесь же на полу, поднесла ковшик к темному провалу рта. Исмай глотнул три раза, струйка воды пробежала по подбородку, по шее и ушла в вырез рубахи. Мастура подняла было край фартука, чтобы вытереть, но тут же спрятала руки за спину. Исмай отвел лицом ковш. Она села обратно к печи и незаметно вытерла руки о фартук.

— Вот уж не чаял, Мастура, что из твоих рук доведется испить,— усмехнулся Исмай.

Опять помолчали.

— Не за тем я тебя позвал, чтобы жалобы мои слушала. Другое мне надобно сказать тебе... То, что в могилу с собой взять не могу... Когда Гарифуллу убили, вы и на меня грешили, знаю. В молодые годы Гарифулла отнял тебя у меня. Если бы не он тогда... Подумали, что я в отместку убил. Клянусь, еще раз клянусь — нет тут моей вины. Хотя... может, и есть, но крови на руках нет...

Мастура с силой зажмурилась и прижалась к печи. Горе, которое все годы носила в себе, но так, оказывается, и не выстудила, снова обожгло нутро. И крикнуть не может, горло болит, словно горячий уголек в нем застрял. Косая скамейка под ней накренилась и поползла куда-то. Исмай ничего не заметил. Как стоячая, зацветшая вода у запруды, подмыв гать, подхватит вдруг тину, ряску и донный ил и устремляется в проем, так потекла его исповедь. Слова его бились в ушах Мастуры, но до сознания не доходили, расплывались в спертом воздухе, нагоняя все большую духоту.

— Да, на моих руках крови нет... Но те, убийцы, были в моих руках... Никому не дал кончика клубка, зажал в кулаке. Все равно, подумал, Гарифуллу не оживишь, и спрятал концы... Вот как все было... Когда Садрий с дружками решили Гарифа убить и меня позвали, я сказал: «Нет, этим мир не перевернешь. Бросьте, не то в милицию сообщу». Садрий говорит: «Коли забыл, как тебя в дугу согнули, так про Мастуру вспомни. Кто честь твою в грязь втоптал? Кто на берегу Казаяка тебя в собственной крови умыл?» — «Нет, говорю, нет у меня зла за былую дурость мстить». Куда там! Самого прижали. «Гляди, говорят, если что, и на тебя дубовый кистенек найдется». Испугался. Может, не так уж и испугался, как...— Он помолчал.— Гарифулла... Сама знаешь, особо любить мне его было не за что. Махнул рукой: все судом божьим, как он решит. А Садрий с дружками после того разбрелись кто куда, век свой как ни в чем не бывало доживают где-то...

Наконец разошлась тьма в глазах Мастуры, вернулись силы. Потерла лоб, оглядела низкие черные стены и быстро поднялась с места. Что же это она? Дома дел невпроворот, на половине брошены — а она здесь сидит. Расстеленную пастилу прожорливые воробьи, наверное, уже всю исклевали. Зайтуна с Нажией голодные сидят. И Ханифа, как бы с ней чего не случилось.

Она уже взялась за дверную ручку, но хрипящий голос Исмая остановил ее:

— Совесть как подстреленная птица мечется! Скажи что-нибудь. Простишь?

— Зачем тебе мое прощение? Ты же людского суда никогда не слушался. Да и божьего...

— Всю жизнь на тебя молился. Из сердца не уходила...

— Богатству ты, Исмагил, молился. Оно тебе весь свет застило. Алчность свою, будто коня, оседлал.

— Слаб человек перед страстью, Мастура. Все прошло, хлеб свой доел, воду испил, тот глоток, что ты подала, последним был... Прости.

Закусив край платка, чтобы не разрыдаться, Мастура, не оглянувшись, вышла на крыльцо. В ясном высоком небе летел журавлиный клин. Из-за двери донесся надрывный кашель Исмая. Повернулась Мастура, протянула руку к двери, чтобы зайти сказать: «Прощаю». Не дотянулась рука, упала. Жалость, гнев, сознание, что и собственная жизнь прожита, согнули Мастуру в плаче.

2

Алтынсес и Кадрия с зарей выезжали из аула, к обеду возвращались и снова нагружали подводы. За день полагалось сделать две ездки. Нужда сноровке научила, вдвоем закидывали тяжеленные мешки на подводу, на крутых подъемах девичьими плечами подпирали телегу, помогали обессилевшим лошадям.

Порой что-то находило на Кадрию, видать, грызло горе внутри — затягивала долгую, тоскливую, как эта дорога, песню. Но тут же стряхивала черную печаль, как постылый черный платок, весело пересказывала сплетни, хохотала, тормошила подругу, изо всех сил старалась развеселить.

А однажды, когда возвращались из района, заговорила вдруг:

— Нет, не пойму я, что ты за человек! — начала она, раздосадованная, что Алтынсес сидит и смотрит безучастно на грядок телеги.— Не поговоришь даже, печалью не поделишься. Совсем иссохнешь иль вовсе, как Ханифа, свихнешься. Мы вот хоть изредка на посиделки собираемся, душу отводим. Зову, зову тебя, а ты как курица — чуть стемнело, и на шесток.

— Устаю, подружка,— сказала Алтынсес. Больше говорить не стала, снова задумалась.

— Два раза молодой не будешь. А война — так и не жить, значит? Отчего же не повеселиться, коли случай выпадет? Убудет тебя, что ли, если на люди выйдешь? Или семеро по лавкам плачут? Может, Мастуры-свекровушки боишься?

Алтынсес так посмотрела, взглядом бы проткнула, и слезла с телеги. На подъеме даже пустую телегу лошади тащили с трудом.

— Сегодня у Сагиды собираемся,— Кадрия спрыгнула следом.— Если надумаешь, загляну по пути. Свекрови расписку оставлю.

— Нет, нет! Свекровь говорила, баню сегодня затопит.

— Опять за свое... А Сынтимер, бедняга, глаз с тебя не сводит.

— Не болтай! — сказала Алтынсес, едва не плача от обиды и негодования.

— Не болтала бы, подружка, да сердце горит. На днях взяла и сказала ему: «Брось, говорю, Сынтимер, не там ищешь. Ты Алтынсес не пара. Лучше Кадрии — ищи не найдешь». Ну, куда там! Отпирается, еще на меня как кот на курицу спину выгнул. «Об одном только и думаешь»,— говорит. Еще и кривым попрекнул. «Было, да прошло,— говорю.— Пусть на оба глаза ослепну, если на кого другого взгляну».— «Эх, Кадрия, Кадрия, говорит, ты же девушка, стыд и честь надо бы знать»,— вразумлять меня принялся, бестолочь. «Видишь, говорит, время-то какое?» Плевала я на его наставления! Пусть, думаю, сам со стыда лопнет. «Сынтимер-агай, говорю, тебе на фронте только ведь руку оторвало, да? Больше ничего? А чего же ты, как телок муэдзина, такой благонравный ходишь?» Покраснел мой джигит, что пятнадцатилетний мальчишка, махнул рукой и поспешил прочь.

— Дура ты, дура! — рассердилась Алтынсес.

— Конечно, дура. Откуда я знала, что он, солдат, два года воевал, а девок боится? Говорю же: и теленок — теленок, и он— телок. С тех пор, только меня завидит, за полверсты обходит. Оба глаза в тебя упер.

Алтынсес остановилась, попыталась собраться с мыслями. Как же это? Выходит, Кадрия считает ее одинокой? Вдовой ее считает? Наверное, уже весь аул так думает, а эта, душа бесхитростная, то повторяет, что женщины между собой давно решили. Значит... Нет, нет, жив Хайбулла! Жив! А Сынтимер... Смотри-ка, вот ведь какой

оказался... двуличный. Когда-то у Хайбуллы в закадычных друзьях был, за ним как на привязи ходил. А теперь маленький только перебой с письмами случился, и живому человеку, другу своему, уже могилу роет. Какое у него право на Алтынсес! Ведь знает, чья она жена!

А легкая, переменчивая душа Кадрии на другом уже ветру трепещет.

— Реет ласточка-касатка, черны крылья, грудь бела,— тоскливо запела она. Взгляд, пробившись сквозь слезы, устремился к далекой гряде. Сейчас рванется Кадрия ладным, живым телом, оторвется от земли и полетит туда по ниточке взора.

Песня все плачет, горьким туманом поднимается к небу. А заботы Алтынсес на земле. Странный рассказ Кадрии покоя не дает.

Вспомнила Алтынсес, как в день, когда проводила Хайбуллу, повстречала Сынтимера. Он сказал тогда: «Только проводила — скоро назад не жди». Алтынсес вздрогнула. Почему он так сказал? Почему именно тогда вернулся, в тот день, через час, как уехал Хайбулла? Мало других дней? Вон сколько дней раньше было и сколько потом! Нет, в тот самый день явился! А теперь насчет нее, Алтынсес, что-то задумал. Но упрекнуть его не в чем: не то что заговорить о чем-то таком, даже взгляда пристального на нее не бросил. И чтобы выпивал или там с женщинами путался — такого тоже не слыхать. Спокойный, сдержанный парень. Откуда Кадрия все это взяла? А расспрашивать неудобно. И без ответа оставлять нельзя, бог знает что подумает Кадрия.

Она уже хотела прервать песню и выяснить все до конца, как сзади послышался стук тарантаса, кто-то пронзительно свистнул. Едва они успели отскочить на обочину, в оплетку их телеги мордой уткнулась лошадь.

— Здравствуйте, красавицы! — Тахау спрыгнул с тарантаса и пошел рядом с ними, веселым глазом заглядывая снизу подружкам в лицо.— Привет, Кадруш! Как живешь, сноха-свояченица-сватья?

Алтынсес отвернулась.

— Не подкатывайся, бочка с суслом! — отступила в сторону Кадрия.

Тахау расхохотался, подошел к Алтынсес и, моргнув единственным глазом, мол, дело есть, придержал ее за рукав.

— Ну, сноха-свояченица-сватья, не очень устаешь?

Ты, как зимний цветок на подоконнике, день от дня все краше становишься. И-эх, на чью удачу так цветешь?

— Известно, на чью. Я мужняя жена,— резко сказала Алтынсес.

— Ну-ну, слова не скажи — взвилась!

— Убери руки! Не то...

— Ай-хай, сердитая какая! Ты хоть послушай сначала, что человек скажет. Плохо сейчас без друзей, время такое. Вот здесь, в этом портфеле, бумага есть. В ней сказано: двадцать пять человек в лес на работу отправить.— Тахау закашлялся, и Алтынсес почувствовала запах перегара.— Понятливой будешь — возьмешь и останешься в ауле. Дело за тобой.

— Как люди, так и я,— еще не понимая, сказала Алтынсес, прибавила шагу и хотела сесть на телегу рядом с Кадрией, но Тахау снова удержал за рукав.

— Подожди же, подожди, не брыкайся. Лесоповал — не чай с медом, сноха-свояченица-сватья... Как стемнеет, к сестре моей, Фатиме-апай, загляни.

— Я там ничего не потеряла.

— Там тебя один человек будет ждать.

— Кто это?

— Я.

Алтынсес встала как вкопанная, ознобом и жаром омыло все тело. Онемев, она смотрела в выжидающий, злоприветливый взгляд Тахау.

— Посидим часок-другой, поболтаем...

— Вот ка-ак... дядя-сват-зятек...— сдерживая ярость, прошептала Алтынсес.— И Хайбуллы, значит, не боишься?

— Эх, война, война! Где лежит теперь Хайбулла? И где все наши ребята? Какие ведь богатыри были. Жди не жди, уже не вернутся. Жить надо, жить, переболит, перегорит...

— Хайбулла жив! — крикнула Алтынсес, стиснув рукоять кнута.

— Дай бог. Только прождешь, пронадеешься, зазря молодость уйдет... Постой, постой!.. Ты что? С ума...

Алтынсес всей силой, со всей накопившейся злостью толкнула его в грудь. Тахау упал навзничь. Кожаная шапка откатилась в одну сторону, портфель отлетел в другую. Алтынсес, плача от стыда, от ярости, пошла хлестать его кнутом!

— Вот тебе, вот тебе! Дядя... сват... зятек... Это дяде!.. Это свату! Это зятьку! За Хайбуллу! За Кадрию! За ме-

ня! Вот тебе от снохи! Вот тебе от свояченицы! И от сватьи... получи!

Спрыгнув с отъехавшей телеги, подбежала Кадрия.

— Хай, подружка, тысячи жизней тебе! Так его! Еще за подружку подбавь! Ишь извивается, как змея под вилами! Не все такие дуры, как Кадрия!

Тахау отполз, встал на корточки, нащупал портфель и, спотыкаясь, потрусил вдогонку тарантасу. Шапку Кадрия с хохотом швырнула ему вслед. Алтынсес отошла, села на кочку возле обочины, обеими руками стиснула голову. Ее вырвало. Тахау, перемешивая угрозы с матом, завернул на лесную дорогу и, нахлестывая лошадь, исчез.

Вот так сор на мусор пришелся, напасть на беду. Нет, Алтынсес кривого не боялась. Тот лишь свое получил, заслуженное. И то не сполна. Другое тревожило ее: Сынтимер.

До сих пор Алтынсес, помня, что он друг и ровесник Хайбуллы, уважала его и доверяла ему. И Сынтимер, застенчивый, немногословный, при встречах длинных разговоров не затевал, спрашивал только, не нужна ли помощь. Нет, никакой особой помощи семье друга он не оказывал, да Алтынсес и не позволила бы. Если же нужно было во дворе или в хлеву подбить, подправить чего, забор починить, что женщинам было не с руки, прежде Сынтимера без всякого зова появлялся его отец Салях. Но Алтынсес помнила: есть этот сдержанный, тихий парень и в трудную минуту он поможет.

А сейчас? Кто он, друг или враг? Теперь Алтынсес и в самый трудный час нельзя искать в нем поддержки. Нужно быть настороже и близко к себе не подпускать. Стыдно... И обидно. Выходит, порой и любовь бывает обидной для человека... Может, пустого наболтала Кадрия? В досаде, что Сынтимер взбалмошных ее чувств не принял, решила подружку испытать: может, отсюда к джигиту уже ниточку протянули?

Как бы ни храбрилась Алтынсес, но и Тахау со счетов не сбросишь. Он уже ославил двух-трех неподатливых солдаток, отплатил за неуступчивость. Он и Алтынсес не пожалеет. Ославит, да как еще ославит. Кадрию, как яблочко наливное, вон до чего довел, проклятый.

Если бы в это тяжкое время пришло письмо от Хайбуллы! Хоть крошечное, с ладошку величиной. Гора бы с плеч свалилась. Нет, блуждает где-то ее радость, ее надежда. Эх, Каскалак, Каскалак!

Уже подмерзло, в воздухе закружились редкие хлопья снега. И в это безвременье женщин, числом двадцать пять, в том числе и Алтынсес, назначили на лесозаготовки.

Последние дни Алтынсес отчего-то недомогала, то и дело ее подташнивало. Но никому, ни матери, ни свекрови, она ничего не сказала. Не такое время, чтобы свою хворь на чужие плечи перекладывать. У каждой своих забот полно. Мастура меж двух домов клубком каталась. Фариза, несмотря на свои почти пятьдесят, от темна до темна на току хлопотала, а то и ночную смену прихватывала. По всякой колхозной нужде носилась: посмотришь, будто не одна, а четыре Фаризы по аулу снуют. Словно назло бедам и лишениям, работала до изнеможения. А бед хватало, даже с избытком. Сын воюет, старый муж солдатскую лямку тянет. Тут еще от дочкиной тоски сердце изныло. И Кадрии Алтынсес ничего не сказала. Нрав ее известен, чего доброго, в глаза разбранит: от работы увильнуть хочешь! Или того хуже — заохает, затрещит, ласкать, обхаживать начнет. Что будет, то будет, промолчала Алтынсес.

Женщинам, которые должны были ехать в лес, отдыха дали всего два дня. Алтынсес постирала, вымылась и, приготовив все в дорогу, собралась проведать мать и сестренку с братишкой. Только начала одеваться, как ее вырвало. Хорошо, хоть девочек не было дома. От головной боли и ломоты во всем теле Алтынсес захотела прилечь.

Мастура насторожилась: веретеном вертевшаяся невестка среди бела дня вдруг пошла и легла на хике. Подошла, увидела, что та задремала, и успокоилась. Но уже вечер наступил, Зоя с Надей пришли домой, завозились, зашумели, а Алтынсес все не вставала. И лишь когда невестка начала что-то бормотать и постанывать, Мастура, жалея сон, легонько похлопала ее по спине.

— Уж не надорвалась ли ты, дочка? — потрогала лоб.— Господи, простудилась! Голова огнем горит!

— Сейчас встану,— сказала Алтынсес, приподнялась, и весь дом закружился у нее перед глазами.

Свекровь поспешно села на край хике. Шершавой ладонью погладила по лбу, по щеке. Кровь отхлынула с обветренного, обожженного солнцем лица Алтынсес, и старуха с испугом увидела ма́тежные пятна. Она медленно опустила ладонь и положила на живот Алтынсес.

Алтынсес уже немного пришла в себя. Застеснявшись свекровьей руки, она шаль, которой укрывалась, подтяну-

ла к подбородку. Старуха же озабоченно ощупала ее живот.

— Ничего у меня не болит, я встану...

— «Встану, встану...» Глупая! Не мутит тебя? Не вырвало? А как у тебя... с той стороны?

— Не знаю, уже три месяца ничего нет...

— Так я и думала! Ай, дурная, ай глупая старуха! Правда, господи, правда!

— Что — правда?

— Ай, бестолковая старуха! И ты тоже, дочка... Молчишь ведь, ничего не говоришь. В тягости ты — вот что! И как только ты эти проклятые мешки во́рочала? Ой, алла! Нажия, Зайтуна, сбегайте, сватью позовите. Лежи, сношенька, полежи, полежи...

Эта внезапная суетливость показалась Алтынсес забавной. В последние дни старуха все молчала, ходила сама не своя, глаз от земли не поднимала, будто потеряла что-то. А тут вспыхнула, ожила — ходит быстро, легко, на чердак слазила, достала душистых трав, разожгла очаг, поставила самовар, накалила сковородку, высыпала мелко нарезанное говяжье сало, и зашипели, поджариваясь в собственной вытопке, румяные шкварки.

А что же с ней-то... с ней самой? Правда, Алтынсес, когда в бане мылась, заметила, что пополнела немного в талии, но такое и на ум не пришло. А вдруг права свекровь? Странно как-то и боязно. Но ведь сама Алтынсес ничего не чувствует. Утомлена, в сон тянет — так это от усталости. Тошнит... чего не бывает, приболела малость. Может, простудилась. На дню по пять раз и в пот вгонит, и прознобит. Полно, завтра в лес ехать, а она разлеглась, стыд надо знать.

— Лежи! — прикрикнула Мастура, когда невестка попыталась встать. А саму так и носит от стола к печке, от печки в чулан. На длинный развевающийся подол уже два раза котенок бросился. Лицо старушки, словно цветок, раскрылось, даже морщины разгладились, глаза светятся. Пробегая, то подушку под головой у невестки поправит, то одеяло подоткнет.— Не раскрывайся, не раскрывайся, дочка, не дай бог, простудишься. Это надо же, до такого часа, и ничего не заметить...

Несмотря на легкий страх, Алтынсес с любопытством следила за этой суетой. Тело ее, казалось, навечно продрогшее под осенними дождями и пронзительным ветром, отходило, отходило, наполнялось блаженным теплом. Затянул свою песню самовар. Запах душистых трав щекочет

ноздри, душу ласкает — это запах цветов, которые собирал для нее Хайбулла, когда возвращались с покоса... Далеко остались те вечера, наяву их уже нет. Будут ли еще... Не может быть, чтобы упавшей звездой, отшумевшей водой прошло ее счастье, нет...

Только Мастура накрыла стол к чаепитию, как в избу ветром влетела Фариза.

— Аллах милостивый! Вот радость нечаянная! — Села, встала, к дочери подбежала, отошла, со сватьей пошепталась. Будто небывалая для нее новость — женщина в тягости. Сама ведь четверых родила, четверых вырастила. Но руки трясутся, радостная оторопь вышла на лицо, на ресницах слезы дрожат.

— Уж не говори, сватья, и какая ведь радость. Узнал бы Хайбулла, от счастья макушка неба коснулась бы, у жеребеночка моего! — подхватила Мастура.— Ты только подумай, сватьюшка, ни ты, ни я ничего не заметили. Ты только на нее посмотри — в таком положении целый месяц подводы гоняла!

Фариза, не обращая внимания на недовольные охи-ахи Алтынсес, с боку на бок так и эдак перевернула, погладила ее, приласкала.

— Иншалла! [1] — сказала она, отойдя от дочери.— Тело у дочки что твоя репка, ни синяков, ни ушибов, живот на месте. Только... ничего я что-то не нащупала.

— Сказала! Три месяца всего. Еще бы нащупала.— Мастура усмехнулась.— Ты на мою невестку не греши.

— Ладно, ладно, дай бог, чтобы все хорошо было.— И Фариза рассмеялась.— Вот найдет дочка себе подружку величиной с сосновую шишку!

Довольная, что есть с кем поделиться неожиданной радостью, Мастура вздохнула и села к самовару разливать чай.

— Подружка, говоришь... Дай бог рядом с отцом и матерью расти и радоваться. А если родится такой беркутенок, как мой Хайбулла, тоже лишним не будет. Отцу помощник, матери опора,— улыбнулась Мастура. Подставила табуретку к хике, принесла со стола еду, начала потчевать Алтынсес: — Ешь, невестушка, досыта ешь, тебе сейчас впроголодь ходить нельзя. И ты, сватья, не стесняйся, ешь. Нажия, Зайтуна, идите сюда! Что вы там притихли? Чего не доиграли — завтра доиграете.

---

[1] Иншалла — слава богу.

Зоя и Надя, перешептываясь, подошли к Алтынсес. Надя подтолкнула Зою.

— Невестушка! — оглядевшись по сторонам, тихо сказала Зоя.

— Что, маленькая золовка?

Но Зоя не успела сказать, Надя вышла вперед и, прижавшись к Алтынсес, сказала сама:

— Мы с Зоей за ним смотреть будем.

— За кем — за ним? — обняла их Алтынсес.

— Ну за ним... за маленьким. В прошлом году Шамсикамар-апай с базара вот такую,— она пальчиками показала какую,— сестренку Файрузе привезла. Файруза теперь за ней смотрит, молочком поит, соску из тряпки дает. Нам сестренку не дает, уроните, говорит.

— А нашего, значит, и уронить можно? — спросила Мастура, пряча улыбку.

— Ну, вострушки, уже дознались! В доме, где дети, вор не спрячется, говорят,— сказала Фариза.

— Не уроним! Что мы, меньше Файрузы, что ли? — поджала губы Надя.

— Ладно уж, пошутила я. Будете, будете смотреть. Дай бог, вместе играть, вместе расти,— сказала старая Мастура, вытирая глаза кончиком платка.

Под сдержанно радостную беседу свекрови, матери и самовара, легко дыша от целебных трав, Атлынсес уснула.

* * *

Наутро женщин, назначенных на работу в лес, позвали в правление. Алтынсес, наконец-то выспавшаяся, проснулась свежей. Не тошнит, как вчера, тело не болит. Зря, выходит, свекровь с матерью всполошились. Она быстро встала, умылась, попила чаю и начала одеваться.

— Ты куда собралась? — спросила свекровь.— В лес не поедешь, и не думай. И другой работы в колхозе хватает.

— Мама, я не поеду, так и другие начнут причины искать.

— Ничего! Такую причину не скоро заимеют, все мужья на фронте. Чтоб и рта больше не раскрыла, не пущу!

Мастура, не слушая больше невестки, оделась и пошла объясняться сама. Но и четверти часа не прошло, прибежали за Алтынсес.

Когда она вошла в правление, женщины уже разошлись, только свекровь молча сидела в углу, а Тахау расхаживал от стола к порогу и назидательно говорил:

— Ты давай, Мастура-апай, не очень. Знаешь, сколько фронту леса требуется? Не знаешь? Политически не вникла, а шум поднимаешь.

— Ты жизнь повидал, Тахаутдин, детей вырастил, должен понять ее состояние,— вставила слово Мастура.

— Понимаю или нет, не ваше дело,— о стол опереться ему было высоко, упер руку в бок.— Двадцать пять человек назначено. Двадцать пять. Кто докажет, что сноха твоя беременна? Справка есть? Молчишь. Нет бумаги, значит, вранье, если даже правда.

— И здесь работы хватит...

— Баста! — хлопнул Тахау ладонью по столу.— Я вместо твоей невестки не поеду. Председатель болеет, вся ответственность на мне. Завтра же и поедешь,— сказал он, отыскав глазом Алтынсес.

Старуха, видно, поняла, что уговорами тут не возьмешь. Она встала, выпрямилась, оттеснила невестку, словно прикрывая ее, и, вскинув голову, сказала негромко:

— Кто тебе дал право так обращаться с семьей солдата?

— Мама...— Алтынсес потянула ее за рукав, но старуха и не шелохнулась.

— Мы тоже законы знаем! — шагнула она к Тахау.

Тахау быстро моргнул несколько раз.

— Сядь! Вон туда сядь, подальше! — показал он пальцем и издевательски протянул: — Семья солдата!.. А где он, твой солдат? Ты знаешь, что это такое: пропал без вести?

Мастура удивленно посмотрела на него и села на скамейку, точно туда, куда указывал палец Тахау. Алтынсес подбежала к внезапно обессилевшей свекрови и обняла ее. Круглыми от страха глазами она смотрела то на свекольно-багрового Тахау, то на белое как известка лицо свекрови.

— Вот так, гражданка... ну, скажем, апай... плохо ты законы знаешь. Не слышала, так услышь: пропал без вести — это что угодно может значить. Бывает, солдат и сам... по своей воле... к врагу... — он не успел договорить, Мастура вскочила.

— Ах ты упырь кривой! Я тебе второй бесстыжий глаз выбью! — схватила со стола большую каменную чернильницу и что было сил запустила в ненавистное лицо.

Не отскочи Тахау, тут бы и всему конец. Огромная, ук-

рашенная двумя ребристыми минаретами чернильница врезалась в стену, прямо в плакат, на котором фашист направлял штык в грудь женщины с ребенком, и порвала вражине морду.

Алтынсес обеими руками вцепилась свекрови в локоть, потащила к двери. Дверь открылась сама, на пороге стоял Салях, то ли по делу пришел, то ли прибежал на крики. А Алтынсес проволокла старуху мимо него и чуть не на руках снесла с крыльца.

Мастура молча, смотря перед собой, шагала по улице. Алтынсес плакала. От стыда, от унижения, от слов Тахау, что не замолкали в ушах, посмотреть по сторонам не могла. Лечь бы и умереть.

Вошла в дом и повалилась на хике. То плакала, то вскакивала от нестерпимого жара в теле и металась по избе. К полудню Мастура, кажется, пришла в себя. Выбралась из своего закутка возле печи и села рядом с невесткой.

— Слезами добра не наплачешь, дочка. Иди к Сынтимеру, попроси лошадь, езжай в район, покажись доктору. Без справки этому псу кривому глотку не заткнешь.

Слух о стычке в правлении уже разлетелся по аулу. Вся в черной пыли прибежала с тока Фариза. Следом примчалась Кадрия, попеняла Мастуре, что промахнулась, поздравила с тем, что один фашист, хоть и с плаката, на счету у нее уже есть. Все трое начали уговаривать Алтынсес ехать в район. Она же как лежала ничком, так и не пошевелилась. Долго лежала, потом встала, не спеша оделась, Кадрию, тоже потянувшуюся к своей стеганке, взглядом посадила обратно на хике, вышла из дома и побрела на берег Казаяка.

Берег тих, пуст, безлюден. Лес гол, черен, высок. Ни птичьего пересвиста, ни шума ветвей, даже мышь в кустах не прошуршит. Только темная холодная вода мчится куда-то, уносит мысли. Упавшие в воду листья покрутятся, покрутятся, и — у судьбы не выкрутишься — захватит их стремнина, собьет вместе, как птичий клин, и отправит в подневольное странствие. И уходят, уходят вниз по Казаяку клочья прекрасного лета.

И ту, их с Хайбуллой, березу не узнать. Голые ветви — словно простертые к небу руки. На вершине сиротливое гнездо какой-то птицы, давно улетевшей на юг, покачивается — точь-в-точь шапка утонувшего человека колышется на воде.

Алтынсес вплотную подошла к стволу и сказала: «Эй, Хайбулла, где же ты ходишь? Почему весточки нет...» И только сказала, кто-то мягкой ладонью провел по глазам. Алтынсес закрыла руками лицо и села на кочку.

«Не плачь, родная. Вот увидишь, я вернусь. Наш сын у тебя под сердцем, береги его».

«Сберегу... Но почему ты мучаешь меня, почему не напишешь? Нет моих сил больше... Про тебя страшное говорят».

«Ни слову не верь. Верь только мне, Алтынсес. Я жив. И буду жив, покуда будет жива твоя любовь».

Она не успела ответить, со стороны аула донеслось:

— А-па-ай!

Алтынсес вздрогнула и встала. От досады чуть опять не расплакалась. Но все равно что-то случилось с ней. От недавней безысходности и следа не осталось, неведомую тяжесть, от которой клонилась голова и ныло тело, кто-то снял с нее. Она поняла, кто снял: Хайбулла. И Алтынсес, блестя глазами, начала спускаться к берегу.

— Э-ге-гей! Я здесь!

И тут же из-за деревьев показалась Нафиса, ее сестренка.

— Уф, апай! — Нафиса с разбега обняла ее.— Пойдем быстрее домой. Дедушка Салях тебя ищет, на лошади приехал.

— ...скользок, не ухватишься. «Я, говорит, для фронта стараюсь и по закону прав: справки нет»,— поймала Алтынсес конец разговора.

Старик Салях расхаживал из угла в угол, мать и свекровь, обняв Зою и Надю, сидели на хике, Кадрия растапливала печку.

— И чего он к нам прицепился? Был бы совсем чужой, а то вроде бы как родня,— вздохнула Фариза.

— С трех сторон даже,— повернула раскрасневшееся лицо Кадрия.

— Что с человеком власть делает! — вздохнул дед Салях.— А ведь какой до войны приветливый, услужливый был. И народ его жалел, с налогами он не очень жал, мог подождать.

— Но за уступку тянул водку с должника! — сказала Фариза.— Дома шестеро, их кормить надо, а выпить хочется.

— Нет, все же он другой был,— сказал старик.— С детства, как гусенок в чужой стае, всегда заклеванный

ходил. Ростом мал, силенок нет — ни пахать, ни косить, да еще глаз один... Как дразнили его, как шпыняли, кроме «пса кривого», другого слова не слышал. А он только моргает единственным глазом, от обидчика взгляд оторвать не может.

— Зато зубы у него красивые были, прямо куском льда сверкали,— вдруг засмеялась Фариза.— Он еще мальчишкой был, а мы уже девушки на выданье, скажем, бывало: «Тахау, дай зубы на вечер, на свидание сходить» — так глянет: действительно, взял бы и дал, если бы можно было.

— Жениться очень хотел,— подала голос Мастура.— И долго не мог, все жаловался мне: «Вот, тетушка, никто за меня идти не хочет, боятся, что дети кривые пойдут».

— А как женился, тут же шестерых и слепил: вот, дескать, получите, все двуглазые,— сказала, вставая с корточек, Кадрия.— Вас послушать, так беднее кривого и человека нет.

— Это все власть, дочка,— опять вздохнул дед Салях.— Сама подумай, он и не злой, но всю жизнь на побегушках был, а тут привык за два года: сходи да подай. В таких руках власть всего страшнее, всех калечит: и того, кто наверху, и того, кто внизу.

— Власть! Моя бы власть, я бы ему и второй глаз вот этой головешкой выткнула. Пожалели, нашли кого!

Помолчали.

Салях подождал, пока Алтынсес разденется, потом сел за стол. Всем своим видом он сейчас походил на старого заезженного коня: втащил тяжелую кладь в гору и встал, вконец утомленный, не веря, что одолел все же кручу.

Старик помолчал немного, расправил поникшие плечи, поднял голову:

— В правлении я договорился, тебя учетчицей на току оставляют. Только, доченька, закон есть закон. Лошадь запряжена, поезжай в район, покажись врачу, еще сегодня успеешь.

Мать, словно наперед зная, какой будет ответ, торопливо добавила:

— Да, да, дочка, без этого кривой и слушать не захочет.

— Нет, как люди, так и я,— ответила Алтынсес, поджав губы. После разговора с Хайбуллой прошел страх, и она почувствовала, как прибыли в ней силы. К тому же было стыдно суматохи, поднявшейся из-за нее, будто у

людей других забот нет. Завтра она вместе со всеми уедет в лес. А там будь что будет. У Тахау одолжаться, еще чего не хватало!

Видя, что ни уговоры, ни упреки не помогают, старик встал.

— Подождите-ка, не шумите!

— Эх, свойственник... — начала было Мастура, но он оборвал ее:

— Ладно, как русские говорят: бог не выдаст, свинья не съест.

— Ой, аллах, какие страсти! — охнула Фариза.

— Это значит: обойдется,— пояснил Салях. Он пошел к двери, но на пороге остановился и посмотрел на Алтынсес.— Коли решила, будь по-твоему, но помни: возьми работу полегче — сучья рубить, ветки собирать. Бригадиру я сам скажу. Матри, девушка!

Утром, в глухие сумерки Алтынсес пошла в правление, где собирались уезжающие в лес. Свекровь осталась стоять у ворот. Слова, какие хотела сказать, видно, все высказала. Опустив голову, прошептала только: «Береги себя, дочка».

* * *

Уже третий год, как началась война, каждой осенью колхоз, отрывая от своих работ, отправлял двадцать — тридцать человек на лесозаготовки. Как вырастали, доходили до призывного возраста и уходили на фронт парни, так с каждой осенью приходил срок и для лесозаготовок. Не отменить и не отложить. А колхоз со своими-то работами управиться не мог. Во-первых, поджимал план сдачи хлеба государству, во-вторых, нужно было подготовить фермы к зиме, в-третьих, завезти корма, в-четвертых, в-пятых, в-десятых... А людей нет. Нет! Лошадей, телеги, упряжь — каждое на пять раздели, все равно не хватит. А тут еще четыре подводы в лес — вынь да положь. Удивительно, откуда только Куштиряк находил людей? Лошадей, подводы, которых у себя-то не было? Находил!.. И хлеб вовремя сдавал, и план по лесозаготовкам, хоть и с опозданием, каждый год выполнял.

Не было лошадей, так женщины сами впрягались и волокли бревна к большаку; нет подвод для зерна — а заплечные мешки на что? — засыпь зерном и шагай в район: получай, страна, поставки, трепещи, проклятый фриц! Все вынесли, все вытерпели куштиряковские женщины и

даже шутили при этом. А шутили, чтоб лишний раз не заплакать.

Алтынсес послушалась совета и ходила на легкую работу. Женщины, обступив, как муравьи, бревна, катили их по кустам, с криком «Хау-ал-ле-ле!» затаскивали комлем на телеги: Алтынсес же и близко не подпускали.

Могучая сосна, примяв молодую поросль, со вздохом падала на землю, и Алтынсес принималась за дело. Обрубала сучья, ровняла вершину, относила в сторону ветви. Поначалу она не соглашалась на такую работу. «Что я, малый ребенок, что ли?» — обижалась она. То за пилу бралась, то за бревно с комля хваталась. Но подруги гнали ее да еще ругались: «Иди лучше ветки собирай. Шагу ступить нельзя, чтоб не споткнуться, так и ногу сломать недолго». Алтынсес казалось, что она всем в обузу. И, памятуя, что по работе и ложка, за стол садилась последней, за куском не тянулась, из-за стола вставала первой. Но глаз Кадрии приметлив. «Дура! Тебе сейчас за двоих есть надо!» — и наполняла ее миску похлебкой или картошкой до краев, а свою дневную норму, двести граммов хлеба, такого, что сожми в горсти, и сто граммов меж пальцев вытечет, делила на двоих.

С утренних сумерек до вечерней зари Алтынсес махала топором, таскала тяжелые ветки, к ночи с ног валилась, но заснуть не могла долго. Железная печь в маленькой землянке докрасна раскалена, последний воздух выжигает. Душно, жарко невыносимо. Но женщины, разметав усталые руки, без памяти спят. Все тихо. Только порой кто-то глубоко, со всхлипом, вздохнет, кто-то измученно застонет сквозь сон, и снова тихо. Только Алтынсес томится без сна. Опять перед глазами колышется маета прошедшего дня. Вспоминаются невеселые деревенские дела. Страшные слова Тахау звенят в ушах, и оседает перед глазами, падает, долго падает и все никак не опустится на лавку подкошенная этими словами свекровь. Ей, матери, особенно тяжело. А тут еще и домашние хлопоты, и несчастная Ханифа на руках. Может, зря Алтынсес заупрямилась и поехала в лес? Осталась бы в ауле, была бы подмогой свекрови. Какой же толк от невестки, если даже в таких тяготах бросила? Вернется Хайбулла, что Алтынсес ему ответит?

Вот так, днем в работе, ночью в думах, то в надежде, то в отчаянии прошли три недели. Женщины, соскучившиеся по дому, по детям, радуясь скорому отъезду, работали горячо. То в одном конце делянки, то в другом

слышится смех. Заглушая звонкий визг пяти-шести пил, перестук топоров, разносится песня Кадрии:

Твой конь сквозь пули пролетит стрелой,
А я не засыпаю до рассвета.
Исходит сердце по тебе тоской,—
Как долго нет ни писем, ни привета!

И слова, и мелодия новые, незнакомые. Может, в чужом ауле услышала, может, по обыкновению, сама придумала. Печальная песня, но будит не тоску, а надежду. Если заметит Кадрия чье-то угрюмое лицо, так на это у нее веселые припевки готовы. А то — байка, да такая, что женщины, будто бы в смущении, начинают закрываться краем шали, но почему-то рот закрывают, а не уши. Нет, нет, смущены женщины, сердятся, не подобает им такое слушать, фыркают, на Кадрию руками машут, но отчего-то блестят глаза, и улыбка — сгонишь ее, а она снова из-под шали выплывает.

Алтынсес украдкой наблюдала за подругой, восхищалась ею и даже завидовала. Сколько горя вынесла, каких только злых слов не наслышалась! Откуда только силы берутся? Почему она, Алтынсес, не такая?

Удивительно. Вот люди перед глазами, у каждого свой нрав, свои желания, а судьба — одна. И этот лес. Все деревья вместе — величественны, красивы. Но вот пришли, свалили самые прямые, самые высокие, и у оставшихся деревьев открылись невидимые раньше изъяны: одно кривовато, у другого все ветви на южной стороне, а с северной — голый ствол, в третьем дупло светится...

Были, наверное, и женщины, что от дела увиливали, работали кое-как, но таких Алтынсес не запомнила. Потому что там, на лесозаготовках, все были вместе, оттого и казались — одна к одной.

В эти три недели Алтынсес словно заново разглядела своих односельчан. Во время жатвы или когда хлеб возили на элеватор, она была сама с собой. Сколько снопов свяжешь, сколько ездок сделаешь — за себя ты только сама отвечаешь. А тут совсем другое. Работа одной связана со старанием другой. Свалят подруги дерево, а ты его не очистишь быстро от сучьев, не уберешь в сторону ветки, провозишься больше чем нужно,— значит, те, кто должен это бревно вытащить на большак, будут стоят и ждать. Так и дневную норму не выработаешь. А нет нормы — и с едой туго. К тому же на большаке, подставив промозглому ветру спины, стоят и ждут возчики, те, кто

увезет эти бревна дальше. У них тоже норма жесткая. Начинается свара, попреки. У голодного злости вдвое, тут уже и кнуты подняты, и родичи до пятого колена помянуты. Здесь до твоей хвори-устатка дела нет, умри, а свое сделай.

Исхудала Алтынсес, лицо осунулось, скулы вылезли, но держалась. «Напрасно мама и свекровь боялись. Вот и еще один день прошел. Зато и перед людьми не стыдно»,— подбадривала она себя.

Однажды утром Алтынсес, как обычно, встала раньше всех, вышла из землянки и, прижав руку к горлу, в изумлении застыла.

Она не узнала мира. Вчерашнего мира уже не было!

И стебли жесткой сухой травы, и кочки, и ямы, и слипшиеся листья на сырой земле, все осталось под белым-белым снегом. Солнце еще не взошло, но лес был наполнен светом. Раздвигая черные деревья, тянулись серебристо-голубые лучи.

Это зима пришла, и пришла, чтобы не уходить. Тихо. И удивительно тепло. Нет холодного, до костей пробирающего ветра, нет нудного, душу знобящего дождя. И словно краешек светлого дня, над горным увалом поднимается заря.

Ни страха, ни обид. Все хорошо, скоро пройдут горестные дни. Хайбулла жив, Алтынсес жива, а под сердцем у нее— новая жизнь, день ото дня все настойчивее стучится, дает о себе знать.

Так, боясь пошевелиться, она стояла долго. Вдруг очнулась, присела на корточки, взяла в руки мягкий снег и сбила в комок. Прокатила по снегу, получился ком величиной с малахай. Алтынсес красными, как гусиные лапки, руками подняла его и вбежала в землянку.

Женщины только встали, кто одевался, кто умывался.

— Болотный гриб, что ли, притащила? Брось, он же вонючий,— поморщилась одна.

— Болотный гриб, да? Болотный гриб? — Алтынсес положила ей ком на голое плечо, та взвизгнула:

— О-ей! Снег!

— Снег! Снег! — Женщины с криком, с визгом, прямо так, неодетые, выбежали из землянки.

Пошла кутерьма! На шум из другой землянки выглянули подростки. Весь сон сразу слетел, они тут же затеяли игру в снежки.

Пожилая женщина поглядела на радостную суматоху и укоризненно покачала головой.

— Эх, дуры, дуры... Чему радуются? Зиме! Дров нет, одеть-обуть нечего...

— И не говори! — подхватила другая.— Не знаешь, где охапку сена достать! А лишишься коровы,— что с детишками... — не успела договорить, в спину — хлоп! — стукнулся крепкий снежок. Нахмурившись, она открыла уже рот, чтобы отчитать озорника, как две девушки с хохотом закружили ее, повалили. Одна, задыхаясь от смеха, пыталась напихать ей снега за пазуху, другая терла снегом лицо.

— Не горюй, тетка, скоро войне конец! Что душе угодно, все будет. В меду и масле будешь купаться! — кричал мальчишка в рваной рубахе, горстями бросая на них снег.

Тетка с трудом выбралась из кучи, отряхнулась, помолодому звонко рассмеялась и пошла валить всех без разбору.

Не скоро кончилась бы эта возня, гик и порсканье, если бы повариха не крикнула:

— Хватит вам! Чай стынет!

Задор Алтынсес не угасал весь день. Сделает свою работу и, не слушая ворчанья подруг, то пилу за кого-нибудь тянет, то вместе с другими волочит бревно.

— Никак Хайбуш нынче ночью приснился? — смеялась Кадрия. Следом и другие:

— Уж точно! Видишь, как разошлась!

— Расскажи-ка сон, Алтынсес!

— Эх, и сладко небось целовал Хайбулла!

Алтынсес, как в другой бы раз, краснеть и смущаться не стала, смеялась вместе с подружками, для потехи и сон выдумала. А сама все норовила подсобить, подтолкнуть бревно. Но женщины по неуловимому движению подбородка Кадрии наваливались дружно, и ствол шага на два уходил вперед. Алтынсес даже напрячься не успевала.

Стемнело. Пробили в рельс. Облегченно вздохнув, женщины пошли к землянкам.

Тут, ведя запряженную лошадь под уздцы, подошел паренек.

— Так и оставим, что ли?— сказал он, подводя передок телеги к комлю сосны, которую Алтынсес только что очистила от сучьев. Пять-шесть девушек вернулись и обступили дерево. Алтынсес, обрубив вершину, поспешила к комлю. Вот они с гиканьем, самих себя подгоняя, подняли сосну. Еще немножечко, еще вершок, и бревно ляжет на передок телеги.

Последнее, что помнит Алтынсес,— тонкий голос подростка: «Раз, два — взяли!» — схватившись обеими руками за живот, она повалилась в снег...

Очнулась только ночью. Простонала, открыла глаза. В изголовье, от ее стона готовый погаснуть, трепыхался огонек коптилки. Все тело горит, и горло — будто изнутри подпаленное, и живот, весь живот — полон живых углей. В слабом свете коптилки землянка то вправо валится, то влево. Рядом, накинув телогрейку на плечи, сидя дремлет Кадрия. Словно на качелях, то туда качнется она, то сюда, говорит что-то, но слов не разобрать. Боится, наверное, людей разбудить, тихо говорит, потому и не слышно. Долгая тягучая боль прошла по животу, будто иглой ткнули. Не иглой, нет, длинной вязальной спицей! Алтынсес, вскрикнув, приподнялась. Кадрия обняла ее и, плача, прижала к нарам.

— Лежи, нельзя шевелиться...

Боль отошла, Алтынсес прошептала:

— Не надо, подружка, не плачь... Что со мной? Захворала... Простыла, наверно.

— Захворала, захворала, простыла... Домой вернемся, баню истопим, пропаришься, и все как рукой снимет.

Утром ее завернули в старые одеяла, положили в устланные еловыми лапами сани и отправили в аул. Поехала с ней надежная, рассудительная Сагида, эта в случае чего не растеряется.

Алтынсес, хоть и сама, без чужой помощи, поднялась на крыльцо, была плоха. Вошла в дом и, не дойдя до кровати, опустилась на лавку. Спросила у подбежавшей свекрови:

— А письма нет? — и снова потеряла сознание.

Сколько она проболела, Алтынсес не знала, она потеряла счет дням. Понемногу боль со всего тела снова собралась там, откуда разошлась,— в животе. Потом и оттуда отсосалась. И осталась пустота. Алтынсес чувствовала, как он, этот комок пустоты, начинал шевелиться, полз наверх и, пройдя рядом с сердцем, подбирался к горлу.

Все остальное проходило мимо ее безучастного сознания. Полозья ли провизжат по снегу, шаги ли проскрипят под окнами, возится ли в чулане по хозяйству свекровь,— она не воспринимала этих звуков. Только попытается звук на нитку сознания нанизать, понять его причину — и снова уходит в дремоту.

Что это за болезнь? Не мерзнет, не дрожит Алтынсес. И голова не болит. Но вдруг уйдут все силы, пустое тело

оставят, и горит оно в иссушающем зное. Гаснет тусклое мерцание перед глазами, и тот комок снова трется в горле.

«И не говори, сватьюшка. Да хоть ружье бы наставили — не надо было отпускать...»

«Воистину беда беду родит... Скорей бы уж выздоровела, на ноги поднялась. Вернется зять живой-здоровый, и, даст бог, затяжелеет она снова...»

«Аминь. Да будет так. От поганых слов этого кривого совсем я тогда растерялась, не смогла невестку защитить. На мне грех, на мне...»

«Нет, сватья, нет, начнешь вину искать, так и оглобля виновата, и лошадь. Больно уж упрямилась дочка. Вот и вышло: на свою голову».

Будто сквозь дрему слышала Алтынсес горькую беседу матери со свекровью, только клочками. Но она поняла: вот ее болезнь. Три недели в лесу принесли ей одну радость — тот первый снег. И одно горе — она не будет матерью.

3

Прошел еще год.

Невзгоды военных лет, голод и холод Алтынсес мало запомнила. Она говорила: «Как люди — так и я». В еде была неприхотлива, о нарядах и не думала, жила, довольствовалась малым. Все заботы были только о свекрови, о Наде с Зоей — маленьких золовках. Со всем управлялась. А с едой концы с концами сводила свекровь. Беспокойная старуха собирала ягоды, орехи, сушила пастилу, пять-шесть гусей откармливала. Но самая ее страда была на огороде. Не разгибая спины, окучивала картошку, если стояла засуха, ведрами таскала воду и поливала.

Люди хоть и надрывались на тяжелой работе, но были у них и радости и горе. У одной Алтынсес ничего не было. Ни весны, ни лета, ни осени, ни радости, ни страданий. Потому что с того крика «Раз, два — взяли!» и до зимы, после которой пришла победа, время для нее остановилось. Была только работа, работа, работа. И было долгое, беспросветное и неиссякаемое ожидание. Оно застилало все и не менялось, переходя из дня в ночь, из ночи в день, шло через все времена года.

Но вдруг очнулась Алтынсес и увидела: опять зима...

Была середина февраля сорок пятого года. Тихий солнечный день. Далекие отроги, распадки, ущелья, огром-

ные поля — все в ослепительном блеске, все уснуло под ярким солнцем. Сначала целую неделю крутила метель, затем потеплело, все убралось инеем, и снова ударили морозы, загнали людей в избы, зверье в норы.

По дороге через нанесенные бураном сугробы тащатся двое саней. В сугробах полозья стонут, визжат надрывно, а выехав на накат, скользят легко, скрипят с удовольствием. Только этот скрип и еще пофыркивание лошадей нарушают стылую тишину.

На передних санях — старик Салях, на задних — Алтынсес и Кадрия. Старик закутался в тулуп, сжался и стал похож на большую черную птицу. Задумался о чем-то своем, о далеком путешествии. Опечаленно смотрит по сторонам: суждено ли ему вновь увидеть края, где родился и вырос, дорогую землю предков. Сможет ли достойно выполнить почетное дело, которое доверил ему ямагат. Наверное, об этом думает. Вчера на колхозном собрании он примерно так и сказал.

Когда по случаю двадцать седьмой годовщины Красной Армии решили послать на фронт делегацию от района, куштиряковцы выбрали старика Саляха. Аул все силы приложил, быстро собрал подарки, гостинцы. Их-то сейчас и везут на двух санях. Посланцы — пять человек во главе с секретарем райкома — вечером сядут в поезд и отправятся в дальнюю дорогу.

Алтынсес и Кадрия тоже молчат. На подъемах или заносах, где снег еще не слежался, сани подталкивают, лошадке помогают, а как пойдет ровная, укатанная дорога, снова залезают на тюки. Неизвестно, о чем думает Кадрия, а у Алтынсес все мысли — о дальней дороге, в которую вышел дед Салях, на полях войны. Вдруг сбудется, как она загадывала, и повстречает старик Хайбуллу или хотя бы услышит о нем какую-то весточку? Эта мысль уже три дня не давала ей покоя. Прошедшую ночь она совсем не спала, написала Хайбулле длиннющее письмо. Старик без лишних рассуждений сунул письмо в нагрудный карман: отчего, мол, не повстречать, все может быть. Алтынсес как наяву видела: вот старик наконец разыскал Хайбуллу, приветы-пожелания передал, все новости рассказал и потом уже достал из кармана и отдал ему письмо от любимой жены. Одно тревожило: как бы старик не потерял письмо! При прощании надо будет еще раз напомнить. Пусть получше, отдельно положит, не дай бог, начнет другие бумаги вытаскивать, письмо за них зацепится и выпадет.

Проехали через лес, заградой вставший на пути недавнего бурана. Укатанная дорога пошла под уклон, лошади, пофыркивая, побежали рысцой, и через полчаса показались первые дома райцентра.

Сани разгрузили, подарки занесли в предоставленный делегации вагон. Настала пора прощаться.

— Носы не вешайте,— сказал старик Салях, похлопав Алтынсес и Кадрию по спине.— Помните, вы — куштирякские девчата!

— Смотри, дедушка, мои подарки самому храброму, самому красивому парню отдай. Там в узелочке и письмо есть, одна русская знакомая из района написала. И пусть без задержки отвечает солдат! И про меня скажи: красивая, дескать, работящая, язык острый, за словом в карман не лезет, хотя нет, про язык не говори! — наказала Кадрия.

Хоть и шутит, говорит весело, напористо, но в бедовых глазах уже загорелась новая надежда. Разве не бывает, что влюбляются по письмам? И не как-нибудь — на всю жизнь.

— Что там письмо! Я тебе этого джигита самого привезу! — обещал старик. Потом повернулся к Алтынсес.— Ну, дочка, будь здорова! — обеими руками попрощался с ней.— Смотри за свекровью, золовок своих не обижай... Я так. Душа у тебя ласковая. Еще сказать бы надо... Ладно, когда вернусь. Не такой разговор, чтобы вот так, на ходу. А за письмо не бойся, не потеряю, отдам... постараюсь.

Так отправился под старость Салях в далекое путешествие. Уехал и остался там, на удивление Куштиряку и всем окрестным аулам, до конца войны.

Сначала думали, случилось что-то со стариком, только спутники скрывают, правды не говорят. Сынтимер поехал к ним, дотошно обо всем расспросил. Но к кому бы ни ходил, ответ был один: «Салях-агай все наши охи-вздохи и слушать не стал, на своем уперся. Я, говорит, здесь нужней». Оказывается, в дивизии, куда приехали посланцы Башкирии, в артиллерийском полку за конями должного ухода нет, артиллеристы, все больше парни городские, по лошадиной части знатоки не великие. Ни одному офицеру от старика проходу не стало, до генерала дошел: «Оставьте меня, говорит, и до нового наступления я ваших лошадей, которые пушки тянут, акбузатами[1] сделаю». И добился ведь своего, оставили на батарее! Вот так говорили те, кто ездил со стариком на фронт.

[1] Акбузат — сказочный конь.

Верить не верить? — ломали голову куштиряковцы. Ровесники Саляха, почтенные аксакалы, загордились даже: и наша копейка еще в ходу! «Надо будет, мы и сами!..» — важно покашливая, говорили они. Были и такие, что ворчали: умом тронулся, не иначе. Как же, без него, дурня старого, у страны солдат не нашлось бы!

Тахау на этот раз принял сторону аксакалов. «Я честно скажу,— говорил он женщинам в правлении,— молодец старик Салях, хоть он мне и не родственник! Я бы и сам пошел, да глаза нет. Хоть бы правый был, а то левый только — целиться неловко». На что ему ответили: «Знаем, куда тебе целиться ловко! Туда ты и без обоих глаз не промахнешься!»

Сами женщины еще не знали, что и думать. То, жалея старика, вздыхали горестно, то жалели себя: «Душой аула был Салях-агай, а теперь и голову негде приклонить».

А вот Алтынсес этой новости нарадоваться не могла. Теперь у деда Саляха времени поискать Хайбуллу будет достаточно. Все расспросит, разузнает. Это не то что из аула то одному, то другому командиру письма писать. На письмо можно ответить, можно и не ответить. А там, на фронте, все рядом: когда прямо в глаза спросишь — и ответ другой. И тот генерал, до которого старик дошел, тоже, наверное, без помощи не оставит...

Пока куштиряковцы ломали голову, от старика пришло письмо. «Народ плюнет — озеро будет» — так начиналось обращенное не столько к семье, сколько ко всему аулу письмо. Действительно, слушать его сбежалась чуть не половина Куштиряка. Письмо было написано арабскими буквами, и, покуда бегали за старухой Мастурой, о нем узнали все.

«Дорогая семья, дети мои и почтенные односельчане от мала до велика, всем вам посылаю горячий фронтовой привет,— писал старик.— Народ плюнет — озеро будет. Подумал я, что и от меня будет какая-никакая польза, и пришел к решению остаться здесь, за что не обессудьте.

Командиры вначале и слушать не хотели. «Мы врага, дед, и без твоей помощи гоним. Езжай домой, хлеб расти, сиротам помогай, дома тоже людей не хватает» — так, намеком, пристыдить вроде хотели, от тяжелой, мол, работы сбежал. Сами знаете, работа в колхозе не из легких, вместе все пережили. Но Салях от работы никогда не бегал, это тоже, наверное, известно. Дело тут в другом, дорогие мои односельчане, которые слушают сейчас мое

письмо. На фронт уехать я задумал давно, только случая не было. Старый конь услышит шум скачек — покой теряет. А я, вам известно, в гражданскую с Буденным всю Россию прошел. Душа не выдержала. К тому же в части, куда мы подарки привезли, за конями ухода нет. Кое-какой уход, конечно, есть, но разве она лошадиный язык понимает, молодежь эта...»

Такие письма, как это, в ауле уважали. Длинное, вдоволь начитаешься, вдоволь наслушаешься: обо всем, о солдатской жизни, о фронтовом быте, о разных случаях рассказано подробно. Название сел, фамилии командиров помладше тоже попадаются. И хоть бы слово вычеркнули. Старик даже о скором наступлении, о том, какое оно будет большое, порассуждал.

Были там и слова, которые, как показалось Алтынсес, старик написал именно ей: «Немного осталось, и наши батыры, что четыре года проливали кровь в боях с проклятым врагом, вернутся с победой домой. Этот день близок. Не подкачайте и вы. Будьте стойки, терпеливы». Про Хайбуллу старик пока ничего не написал. Но Алтынсес радостно повторяла про себя: «Этот день близок. Этот день близок...» Так написал не какой-нибудь мальчишка-новобранец, а жизнь проживший, всему цену знающий, и своему слову тоже, старый солдат. Каждое слово — правда. Пусть нет вестей от Хайбуллы, только бы война кончилась, и он найдется. А насчет терпения — у Алтынсес его достаточно, у людей занимать не будет.

Скоро пришло еще одно письмо — написанное по-русски. Это был ответ на послание Кадрии. Солдат по имени Сергей писал: «Дорогая Кадрия, подарок я твой получил, большое спасибо. Если ты написала серьезно, без шутки, я хочу переписываться с тобой. Скоро и война кончится, если позволишь, я приеду к тебе в аул, потому что у меня никого нет». В письмо была вложена и фотокарточка.

— Видала, каких парней может подцепить твоя подружка? — сказала Кадрия, весело закружив Алтынсес. Села, долго и тщательно изучала фотографию, потом приуныла.— Не знаю, что и делать. Очень уж симпатичный парень, и скромный, видать. Ладно, если поймет... — она не договорила.— Или уж не стоит мне отвечать?

— По-моему, надо сделать так... — подумав, начала было Алтынсес, но Кадрия перебила ее:

— Ладно, ладно, и спросить нельзя, тут же с советом лезут! Завтра же в район пойду, пусть Вера еще письмо напишет. Так и так, скажу, на предложение согласна, бу-

дем переписываться. Если не передумаешь — милости просим, приезжай. А чего бояться? Пусть приедет, посмотрит. Понравлюсь — так... понравлюсь. А нет — на шее гирей не повисну.

— Как же вы с ним разговаривать будете? — улыбнулась Алтынсес.— Ты ведь тоже, вроде меня, по-русски не очень...

— Выучусь,— отмахнулась Кадрия.— Медвежонка и то какому-нибудь ремеслу выучить можно. Из-за этого, что ли, от судьбы отворачиваться?

— И то правда,— согласилась Алтынсес.— Только бы война кончилась...

Но война еще не кончилась, и беды куштиряковцев тоже еще не кончились.

В мартовский акман-токман[1] среди белого дня пропала Ханифа.

...Утром Мастура привела Ханифу к себе, напоила чаем, потом в поднимающемся буране за руку отвела обратно домой. Уходя, строго-настрого приказала из дома никуда не выходить.

— Слышала, Ханифа?

Кивнула.

— Поняла?

И опять поняла. Сейчас у Ханифы было прояснение — что скажешь, все понимала. Но была замкнута и вида людского не выносила. Потому, наверное, и Мастура, особенно не беспокоясь, оставила ее без присмотра.

Убирая со стола, старуха посмотрела в окно и вздохнула:

— Как ведь крутит, как крутит, от такого кружения и здоровая голова с ума сойдет.

Звякнуло окно от порыва ветра, старуха чуть не выронила блюдце. Словно почуяв что-то, она быстро оделась и почти на ощупь перебежала дорогу. Поднялась на крыльцо — боже милостивый! — дверь распахнута настежь. Вбежала в дом — пусто! Позвякивает от ветра посуда на полке, снега вершка на два намело.

— О аллах! — Старуха бросилась на улицу.

Задыхаясь от кашля, пробралась сквозь липкий слепящий снег, к одним соседям стукнулась, к другим — Ханифу никто не видел. Пока две-три женщины чуть не

[1] Акман-токман — последний весенний буран.

ползком обошли ближайшие дома, оповестили народ, прошло еще с полчаса.

А буран еще только расходился. Словно решил и без того утопшие в сугробах дома завалить с крышей и на месте аула насыпать один большой сугроб.

Двое суток люди, перекликаясь в буране, искали Ханифу, всю округу исходили, под всеми плетнями, заборами, скирдами в поле, во всех хлевах, амбарах, овинах посмотрели, все колки, овражки, лощины обшарили, во все колодцы даже заглянули — Ханифы нигде не было. Будто взял ее буран, разнес на тьмы и тьмы снежинок и развеял на весь мир. Потом растаяла она со снегом, ушла в землю. И не было никогда Ханифы.

Долго потом стоял большой заколоченный дом посреди аула, наконец разобрали его и вывезли, осталась груда кирпича, быстро поросшая крапивой и коноплей. Потом сомкнулись два огорода — соседей Ханифы справа и соседей Ханифы слева,— и межа прошла там, где стоял когда-то высокий счастливый дом Муртазы и «Ханифы, потерявшейся в буран».

Не успели проводить эту беду, как небольшой Куштиряк получил сразу четыре похоронки. На фронте началось весеннее наступление, и в Карпатах погиб брат Алтынсес — Хайдар, а под Будапештом — сразу трое куштиряковских парней. И вместе с тоскливыми завываниями акман-токмана потянулись над аулом рыдания и стоны женщин.

К концу марта метели улеглись, внезапно прояснилось. По ночам еще прихватывал морозец, но днем уже гуляли теплые ветры. Звенела капель, сугробы на припеке оседали, вершины их подтаивали, темнели, а ночью их прошивало ледяное кружево.

Пришел апрель. Неделю, не шелохнувшись, висело над аулом серовато-белое небо, и вдруг обрушилось дождем пополам со снегом. На глазах сходили сугробы, шире и шире расползались черные проталины.

Были дни — ни для саней, ни для телеги. Из Куштиряка в район на совещание вызвали четырех передовых колхозниц. Пошли Сагида, Кадрия и Алтынсес. Фариза осталась дома, еще не могла отойти после смерти Хайдара. Возглавил делегацию Тахау. По обыкновению женщины шли пешком, Тахау, как лицо руководящее,— верхом, а во время совещания сидел в президиуме.

На совещании выступил с докладом недавно избранный секретарем райкома товарищ Сулейманов. Алтынсес

без всякого интереса, почти не слушая, о чем он говорит, смотрела на бледное отечное лицо секретаря, потом вдруг подумала, что о нем-то, наверное, и рассказывал ей Хайбулла. Они, два земляка, тогда, в сорок третьем, вместе лежали в госпитале в Свердловске, сдружились, и Сулейманов, комиссованный вчистую, даже около недели ждал, когда выпишут Хайбуллу, чтобы вместе ехать домой.

Алтынсес, не сдержав волнения, стала быстро смотреть по сторонам, будто приглашала: вот, смотрите, человек, с которым дружил Хайбулла! Но все и без того во все глаза смотрели на Сулейманова.

— Да, дорогие товарищи, дела неважные,— говорил, заканчивая свой доклад, Сулейманов.— Семена не вывезены, подвод нет, сеялок нет, лошадей тоже нет... В общем, десять у меня пальцев, начну загибать, все десять загнуть придется — нет, нет и нет. Но сеять-то надо. Посевная, товарищи,— та же военная кампания. Мы должны напрячь все силы и победить. Покуда мы свой долг исполняли достойно и теперь задачу, поставленную перед нами партией и товарищем Сталиным, тоже выполним с честью.— Дальше он назвал имена передовых колхозников района, и к своему великому удивлению Алтынсес услышала: — Хочу особо отметить куштиряковских женщин: Кутлугаллямову Фаризу, Кильдебаеву Сагиду, Аитбаеву Малику, Фазлытдинову Кадрию. От имени родины райком партии объявляет им благодарность.

Алтынсес растерянно смотрела на Кадрию и Сагиду: не ослышалась ли? Но они точно так же посмотрели на нее. Все захлопали.

— Ну-ка, пусть встанут, народу покажутся! — крикнул какой-то мужчина.

— Верно, поглядим на них!

— Фариза-апай! Сагида! Малика! Кадрия! Придется встать, коли народ просит,— улыбнулся Сулейманов. «Смотри-ка, всех по именам запомнил!».

Кадрия ткнула подружку в бок, Сагида показала подбородком: встаем. Все три встали. Зал захлопал еще громче.

Вот так они, три молоденькие женщины,— с темными от ветра, дождя и солнца лицами, не шибко высокие ростом, одетые в лучшие свои до белых швов застиранные платья — стояли потупившись, будто виноватые в чем-то.

Даже Кадрия, которая никого не стеснялась и уже с пяти лет за словом в карман не лезла, и та глазами в пол уткнулась.

Дядя, который первым захотел на них посмотреть, с некоторым даже разочарованием протянул:

— Я думал, женщины — так женщины. Они же дети еще!

— Это золото! А золото большими кусками редко бывает,— ответили ему.

Народ весело зашумел, заведенный порядок был нарушен. Сулейманов с трудом установил тишину. Но и конец его доклада, и выступления представителей колхозов, которые один за другим со своими жалобами и планами выходили на трибуну, Алтынсес, можно сказать, и не слышала. Она все еще не пришла в себя от удивления. Ну что она такого сделала, чтобы на таком большом собрании перед всем районом поднять ее вот так, до небес? Правильно, ни от какой работы не отказывалась, сил не жалела — косила, жала, мешки с зерном чуть не в райцентр на горбу таскала и на лесоповале была. А кто не жал, не косил, мешки не таскал, бревна не катал?

Но все равно приятно. Алтынсес тут же захотелось домой — поделиться радостью, как-то сразу заскучала по матери. Как пришла похоронка на Хайдара, Фариза, быстрая, напористая, в руках все горело,— пожелтела, почернела, враз постарела. Не ест, не пьет. Может, теперь хоть немного обрадуется, подумала Алтынсес, все-таки ее, Кутлугаллямову Фаризу, перед всем районом лучшей назвали. Хотя вряд ли этим утешишь. Разве что не за себя, так, глядишь, за дочь порадуется.

Совещание закончилось только после полудня. Алтынсес поспешно вышла на крыльцо и стала дожидаться подруг. Подошел Тахау.

— Поздравляю, поздравляю, сноха-свояченица-сватья! — сказал он, протягивая руку.

— Поздравишь, когда мой конь на байге первым придет,— сказала Алтынсес и отвернулась. Бывают же люди: даже от их похвалы, как от тухлого жира, с души воротит.

Но для Тахау враждебность Алтынсес — что вот этот сучок в настиле крыльца.

— Что там байга! Сам Сулейманов, хозяин района, вон как тебя вознес. Меня бы так похвалили...

— Без того известно, какой ты молодец.

— Не забываешь, а? Зря ты зло на меня держишь. Сама знаешь, я— слуга закона. Я не своевольничаю, кого на какую работу назначить, куда послать — все по закону.

Алтынсес зажмурилась, снова шевельнулся тот комок

пустоты, пополз к сердцу. Стараясь не подать виду, она сказала:

— Ну и не оправдывайся тогда,— и повернулась, чтобы пойти поторопить Кадрию с Сагидой.

— Ты, сватья, и то не забудь: райком-то на наши сводки опирается,— дружелюбно прищурив глаз, заступил он ей дорогу.

— Уйди! — она уже готова была оттолкнуть его, но кто-то взял ее сзади за локоть:

— Здравствуй, красавица! Ты ведь Аитбаева, кажется?

Алтынсес отскочила в испуге. Обернулась — это был Сулейманов. Она покраснела от смущения:

— Извините, агай...

— Прославленная ударница— и такая трусиха.

— Какая уж там ударница... — Алтынсес смутилась еще больше.— У нас в Куштиряке и получше есть...

— Ну, ну, скромница!..— мелко, сахарно рассмеялся Тахау, внимательным глазом смотря в лицо секретарю райкома. Сулейманов тоже посмотрел на него, и Тахау тихо отошел.

— Да, куштиряковцы не подвели,— улыбнулся Сулейманов.— Я ведь что хотел спросить у тебя, красавица. Ты случайно Хайбулле Аитбаеву не родственница?

— Жена,— вспыхнула от радости Алтынсес.

— Как жена? — удивился Сулейманов.— Ведь он... неженатый был.

— Был,— улыбнулась Алтынсес,— да женился. Женатый стал.

— Вот ка-ак! — расплылся секретарь.— Поздравляю! Что же он так, обещал с фронта написать, а сам ни... — Он осекся и испуганно посмотрел на Алтынсес, но, увидев, что она с той же улыбкой в глазах смотрит на него, докончил: — ни одного письма не написал.

— Я сама только одно получила.

— Только одно? С тех пор?

— Да, как уехал в июле позапрошлого года, прислал одно письмо и пропал,— Алтынсес уже не улыбалась.

— Как — пропал?

— Он, Сулейманов-агай, «без вести пропал». Куда я только не писала! Отовсюду: пропал без вести — и весь ответ. Как это — вот так взял и пропал человек?

Сулейманов прикусил губу. Быстрая тень тревоги и какого-то сомнения пробежала по лицу. Он помолчал, вздохнул:

— Эх, Малика, на войне чего только не бывает! Но ты не отчаивайся, надежды не теряй! Вот увидишь, возьмет и объявится негаданно-нежданно... Пособие хоть получаешь?

— Откуда? Сказал тут один: «Пропавшему без вести солдату веры нет», и свекровь сама хлопотать не стала и мне запретила. Как люди живут, так и мы, говорит, проживем. Да что там пособие! Хоть бы весточку, что жив!

— Да, да...— Алтынсес увидела вдруг, какое у него усталое, болезненное лицо.— Вот что, Малика, я на днях в Куштиряк заеду, поговорим, посоветуемся. А до тех пор, может, здесь что разузнаю насчет пособия. Ну, до свидания!

Алтынсес не заметила перемены в его настроении, была благодарна за слова: «Надежды не теряй. Возьмет и объявится негаданно-нежданно». Она так задумалась, что не сразу заметила стоящих рядом Кадрию и Сагиду.

— Ты как девица, которая с парнем во сне целовалась,— проснулась, а очнуться никак не можешь. Подружка, тебе говорю!

— А парень-то какой! — сказал, подойдя, Тахау.— Тебе бы так: лицом к лицу с самим секретарем райкома целых полчаса беседовать — тоже не сразу бы очнулась!

— Да ну? Неужто правда, подружка? Ты посмотри на эту тихоню, мы там с яктыкульцами сплетнями по мелочи торгуем, а она... Ну, что Сулейманов говорит? Красавица, говорит, голос серебряный, волос золотой? Почву небось прощупывает?

— Совсем спятила! — набросилась на нее Сагида.— Бессовестная! Голодной курице просо снится. Он же секретарь райкома!

— А что, у секретаря райкома души нет? Эх, обидно! Прошел давеча мимо, хоть бы слово сказал. Нет, ее искал! Ну что за подружка, всех парней у меня отбила, и этого уже успела! Ну, что он еще сказал? — снова затормошила Алтынсес Кадрия.

— Так, про посевную, про жизнь,— сказала Алтынсес.

Тахау и тут без слова не остался:

— Про посевную не знаю, но оба чуть не всплакнули.

— А тебя кто спрашивает? Ходишь, бабьи толки слушаешь. О аллах всемогущий, и этого ты создал мужчиной?

Тахау было встопорщился, но, поняв, что сейчас все внимание Кадрии перейдет на него, а этого при таком стечении народа ему вовсе не хотелось, укоризненно кряк-

нул и пошел к мужикам. Они, кто однорукий, кто с костылем, сидели и курили неподалеку.

— Может, о Хайбулле слово зашло? — спросила Сагида.

— Зашло... Надежды, говорит, не теряй, глядишь — и объявится. Утешал.

— Эх, кто бы меня утешил! Я, когда по налогам работала, а он уполномоченным был, несколько раз с ним сама заговаривала, нет, непонятливый какой-то.

— Кадрия! — Сагида была возмущена до глубины души.— У тебя что, и капли стыда не осталось? Всех на короткий аршин меряешь! А Сергея своего куда денешь?

Но Кадрия только посмеивалась:

— Хватит перстень во рту держать! Кривой верно говорит, не только о посевной толковали. Свидания не назначил?

— Тьфу, бесстыжая!

Алтынсес, занятая своими мыслями, продолжала:

— Вот так и сказал: «Надежды не теряй. Увидишь, вернется негаданно-нежданно». Да... как узнал, что пособие не получаем, рассердился вроде.

Кадрия вмиг посерьезнела, схватила ее за локоть:

— Слушай, подружка, он что-то знает! Потому так и допытывается. Кому же тогда и знать, если не секретарю райкома! Эх, не я была, уж я бы все вызнала!

— Постеснялась я.

— Нашла чего стесняться! Запомни мои слова: скоро что-нибудь да узнаем. Точно! Сердце чует.

— Дай-то бог! — вздохнула Сагида.

Права Кадрия, надо было и самой порасспросить. Алтынсес расстроилась чуть не до слез, потом стала успокаивать себя: сказал же, на днях заедет в Куштиряк. Вот тогда она его обо всем расспросит. Настроение снова поднялось.

И у всех троих было легко на душе. Они шли по краю раскисшей дороги и говорили о том, что скоро война кончится, вернутся домой мужчины, и измученные непосильной работой, голодом, нуждой, а более того — тоской ожиданием, слезами, столько раз со стоном вздыхавшие женщины наконец-то вздохнут еще раз — с облегчением.

— Эх, уж я знаю, как заживу! — Сагида расстегнула телогрейку и, раскинув руки, потянулась.— Забуду обо всех заботах, ткнусь мужу под крыло и понежусь годика два.— И сказала, чего от праведной Сагиды услышать не ожидали: — Устала, забывать начала, что женщина я...

— Твой Самирхан раньше всех вернется, вот увидишь. Только в госпиталь попал, теперь, наверное, уже на фронт не пошлют.

— Ох, Кадрия, и не знаю, вспомню — от страха холодею. Шутка ли — третье ранение! И даже куда ранило, не написал. Как терпит, бедный! Бывало, палец занозит, чуть не плачет. Только бы не ополовинила его эта война!

— Не горюй, и другой половины хватит. Еще вспомнишь, что ты женщина,— засмеялась Кадрия.

— Уйди, бесстыдница! — снова загорелась гневом Сагида.— Разве я об этом?! Ополовиненный говорят про того, кто половиной души живет. Вон Сынтимера возьми, какой гармонист был, а остался без руки, глаз от земли не поднимает.

— Хоть бы оставшейся рукой обнял, была бы рада. Нет, подружку выслеживает, словно сокол тетерку. Хорош ополовиненный!

— Что за вздор ты, Кадрия, плетешь! — сердито сказала Алтынсес и, разводя сапогами снежную жижу, прибавила шагу. Хотелось быстрее прийти домой, обрадовать мать и свекровь. Потому, хоть и слушала разговор, шла не оглядываясь.

Пока они брели так, то радуясь, то печалясь, дорога чем ближе к аулу, тем становилась хуже. Снег стал рыхлым, крупитчатым, самую колею залило, во впадинах, покрыв дорогу, разлились лужи. На взгорья, где уже дымилась черная земля, слетелись стаи грачей и с воплями делили что-то.

Сагида опять заговорила о том, о чем болело сердце:

— Нет, я уж так говорю... какую ни есть, только бы привез душу. Господи, на руках носить буду!

— Каждая так думает, Сагида. Я ведь тоже вначале с Сережей в шутку переписывалась. А теперь ночью от страха просыпаюсь,— сказала Кадрия, как-то сразу присмирев.— Хоть бы скорей фронтовики вернулись, кое-кто хвост поджал бы,— сказала она, показав назад, на подъезжающего верхом Тахау.

— И не говори, он бы и солнышку взойти не дал, будь руки подлинней. Куда ни пойдешь, его слово — закон.

Тут, легок на помине, сзади подъехал и сам Тахау. Женщины прикинулись, что не заметили его. Кадрия продолжала:

— В президиуме сидит — Тахау, нами как куклами играет — тоже Тахау.

— А уж это, Кадрия, от нас самих зависит.

— Зависит! Ладно, у тебя есть кому заступиться, а что таким, как я, одиноким, делать? Нужда прижмет, к нему идешь, в колхозе он хозяин.

— И Миннибай-агай совсем плох, два дня ходит, три дня лежит, за сердце держится,— сказала Сагида.— Только название, что председатель.

— Этому псу и на руку. Вон — жена больная, дескать, ни одного дня на работу не вышла. Больная! По лицу щелкни — кровь брызнет.

— Еще подавится...

Они подошли к мосту через речушку Кызбаткан, приток Казаяка. Вода поднялась уже выше наката, быстрые струи омывали накренившиеся перила.

— Я бы сама, не дожидаясь, своими руками удавила его, ни суда, ни тюрьмы не побоялась бы, мать жалко,— спускаясь к воде, сказала Кадрия.

Тут ехавший сзади Тахау махнул плеткой и, взбурлив воду, как мельничное колесо, с шумом и свистом проскакал по еле держащемуся мосту на ту сторону. Или побоялся, что замешкается и будет поздно, останется на этом берегу, или спутницам назло: вот так, дескать, коли языка своего унять не можете, посмотрим, как без Тахау переправитесь.

— У этого пса, наверное, даже потроха черные! — чуть не плача, сказала Сагида.— Не мог нас перевезти.

— У собаки и повадки собачьи,— сказала Кадрия, подтыкая платье.

Не слушая уговоров подруг, вошла в воду и стала выискивать места, где помельче. Палкой потыкать — вроде и не глубоко, а шагнешь — ноги в рыхлый снег под водой проваливаются. Сагида и Алтынсес тоже вошли в воду, походили вдоль берега и решили искать брод в другом месте. У безоглядной Кадрии оба сапога были полны воды.

— Раз так — мне теперь море по колено! — и она размашисто зашагала к мосту.

— Не останавливайся, беги! Быстрей беги! Домой! — закричала Сагида, но Кадрия повернула обратно.

— Тут вроде надежней. Айда, Сагида, сначала тебя перенесу, ты ведь у нас мать двоих детей,— сказал она. Сагида в ужасе замахала руками.— Хватит спорить. Мерзну.— Взвалила ее, как мешок, на спину и, пошатываясь, побрела к мосту, который все больше и больше уходил в воду.

«Уф, только бы не упали!» — молила Алтынсес. Нет, не упали. Тяжело дыша, Кадрия опустила подругу на высокий берег и, верная своей привычке, с ходу сочинила и спела частушку:

На гнедом ли, вороном
Умчат нашу Сагиду.
Кто-то ходит под окном —
Несет радость иль беду.

Перетащив и Алтынсес, Кадрия быстро выжала подол, сняла шерстяные носки, сунула их в карман. Алтынсес сорвала с головы шаль, Сагида — платок, и они обмотали ей ноги.

— Как бы не заболеть тебе,— сказала Алтынсес, тормоша подругу.

— Я не ханская дочка, чтобы от такого пустяка заболеть!

До аула оставалось с полкилометра, когда в околичные ворота, стелясь большим наметом, вылетел всадник. Это был Сынтимер на лошади Тахау.

— Ну и нагнали вы страху! — Он осадил коня и спрыгнул с седла.— Тахау говорит: «Мост через Кызбаткан залило, еле спасся». Про вас спросил, хоть бы глазом моргнул: «Бабы, говорит, что кошки, живучи, ничего им не будет, как-нибудь извернутся». Шмякнул его с седла наземь и к вам поскакал.

— За то, что шмякнул,— молодец! Только опоздал, бригадир. Как Тахау сказал, мы, как кошки, живучи, извернулись. Живы-здоровы, любую выбирай,— с издевкой сказала Кадрия.

— Да... я всегда опаздываю. Ладно, коли так... — Он вскочил на лошадь, но не обратно в аул поскакал, а поехал, теперь уже медленно, туда, куда только что торопился, к мосту через Кызбаткан.

4

Чуть затеплились сумерки, когда Алтынсес проснулась и тихо простонала от ноющей боли в плечах и руках — вчера весь день таскали мешки с семенной пшеницей. Она повернулась на другой бок и не успела подосадовать, что рано проснулась,— заснула опять.

Бывает, что человека всю жизнь преследует какой-то сон: один в ужасе спасается от диких зверей, другой в черном поту карабкается на вершину горы, третий тушит

пожар, четвертый изведется весь, ищет что-то и не может найти...

Девочкой Алтынсес, замирая от страха и счастья, летала. В залитом лучами бескрайнем небе плыла тихая музыка. И она вместе с музыкой, плача радостными слезами, летала из конца в конец этого дивного неба. Потом этот сон перестал приходить, забылся, повадились другие, непонятные, смутные, в обрывках, словно моток спутанных ниток. Но когда Алтынсес только-только вошла в девичество, полюбила Хайбуллу, стала душой исходить по нему, пропали и эти... В тяжелую, но чуткую, как настороженный чеглок, дрему стал приходить странный сон.

...Детский голосок закричал: «Свадьба идет! Свадьба идет!» И Алтынсес, бросив с плеча коромысло с ведрами, понеслась вдоль Казаяка к броду, чтобы перебежать на ту сторону. А с того берега какой-то парень кричит что-то, Алтынсес зовет, но голоса не слышно, да еще руками размахивает, раскидывает их: плыви, дескать, вот так, вот так... И Алтынсес, забыв про страх и про то, что не умеет плавать, прыгнула в самый омут. Казаяк, бурля водоворотами, понес ее, потянул на дно, где мерцают черные водоросли и тусклые рыбы. Бьется Алтынсес, отчаянно рвется из воды. А парень на берегу — Хайбулла. Зовет, руками машет, но с места не двигается. Пошел бы навстречу — ноги по колено в землю ушли. Виновато улыбаясь, он показывает на них... Близок уже берег, но силы на исходе. Тяжелое платье, пудовые сапоги гирями тянут ко дну. Эх, еще бы один-два рывка! За камыш бы уцепилась, за ветви нависшей ветлы и выползла бы на берег...

Но что это? Вместо Хайбуллы на берегу — Сынтимер...

А берег, вот он, рукой подать...

Обратно рванулась Алтынсес, но сил уже нет. И вода остановилась, вверх поднимается и ее, бессильно раскинувшуюся, поднимает вверх.

К худу ли, к добру ли — она и в этот раз не досмотрела сна.

От страха ли, от криков ли на улице, от ветра ли, который стучал калиткой,— она вздрогнула и открыла глаза. Тело колотила дрожь, сердце билось, готовое выскочить из груди. Что за сон — придет, измучит, отойдет, придет и мучает снова... В который уже раз!

Едва, еще не очнувшись, подумала: «Не дай бог, наяву такое...» — распахнулась дверь и вбежала свекровь.

— Невестка, доченька! Дочка! — задохнулась, схва-

тилась за горло.— Проснись же! Не время спать! — Сама плачет, сама смеется, платок с головы до пола повис. Дверь настежь, куры набежали — ничего не видит старуха. Проглотила застрявший в горле комок и, подбежав к Алтынсес, обняла.— Доченька, неужели не слышишь, что на улице... Вставай! Война кончилась!

— Мама!!! Откуда... Кто сказал?

Она отбросила одеяло, спрыгнула и, оторвав свекровь от пола, закружила ее по избе. Зоя и Надя проснулись, сели, смотрят недоуменно. Алтынсес посадила Мастуру отдышаться и бросилась к девочкам, обняла, то одну целует, то другую:

— Маленькие мои! Красавицы мои! Война кончилась, война кончилась.

Девочки высвободились из ее объятий и, разметав кур по избе, выбежали на улицу. Следом, на ходу натянув платье, бросилась и Алтынсес, старая Мастура, даже забыв выгнать бессовестных кур, тоже поспешила за ними.

Горе в одиночку, радость — на миру. Счастливая весть промчалась по аулу, словно вихрь, распахнула двери, окна, вынесла всех на улицу.

Мальчишки, постарше — верхом на коне, помладше — верхом на палке, с кликами: «Суюнсе! Суюнсе! Война кончилась! Война кончилась! Победа! Победа!» — носились по улицам. Женщины, от девочек-подростков до глубоких старух, позабыв о заботах и хлопотах, мелких и крупных обидах и дрязгах, обнимаются, одна смеется, другая плачет. Кто-то растянул гармошку, кто-то играет на курае. То там, то здесь раздаются бойкие припевки и, словно казаякские буруны, проходят по толпе; кто умеет, кто не умеет — все пускаются в пляс. Мужчины уже спроворили, промочили горло, один костылем стучит, другой пустым рукавом машет.

Празднество не стояло на месте, оно медленно шло по улицам, подвигаясь к сельсовету.

Вдруг все стихло. Два подростка вынесли из сельсовета красное полотнище — его разрезали и сшили из сукна, которым застилали стол президиума. Четыре долгих года горело оно на поздних куштиряковских собраниях; от голода, от усталости, от этого пылающего в свете керосиновой лампы пятна у женщин плыли круги перед глазами, а председатель сельсовета, тревожный, будоражащий, говорил: помните, сейчас, вон там, война! «Эх,— сказал он,— режь, не жалко, теперь и сукна, и всего бу-

дет вдоволь!» Ребята подняли и развернули полотнище над дверью. Белой известкой было написано: «Победа! Слава Красной Армии!» — больше не уместилось, хотелось написать покрупнее. Все узнали его, это красное сукно. И оттого, что слова эти сказало то самое, еще вчера столь грозное сукно,— глазами, телом, измученной памятью ощутили: Победа!

— Ой, мама-а! — закричала и забилась в рыданиях одна женщина. К ней присоединилась вторая и третья. Другие стали обнимать, успокаивать их. Одну даже чуть не на руках вынесли из толпы и посадили под плетень. Воздух дрогнул от нескольких разом рванувшихся гармоней. Снова зазвучали песни, толпа раздалась, и в кругу под звонкое жужжание курая начались танцы. Праздник закипел снова. Лишь старухи начали расходиться по домам, нужно было залить воду в казан, затопить печь. По всему аулу задымили трубы. Доставали из погреба заветный, туго сбитый колобочек масла, горшочек со сметаной, из амбарного подволока спускали четверть вяленого гуся.

Вместе с людьми праздновала и природа. Солнце, перевалив за полдень, купает землю в тепле, поднятые шумом на улицах, мечутся в ясном небе всполошенные птицы, щипля молодую траву на первом выпасе, ржут кони, по холмам, задрав хвосты, носятся телята.

Алтынсес вместе с подругами пела до хрипоты, плясала, покуда не стали подкашиваться ноги. Если даже эта страшная бесконечная война кончилась, то почему же ее бедам не должен прийти конец? Придет, непременно придет конец и ее тоске. И народ ликует, и природа, казалось, никогда еще не была так прекрасна, как сегодня. Солнце в небе, белогрудые ласточки над головой, деревья, с легким треском выпускающие листья из почек,— все обещало счастье, обновляло надежду.

Не знала Алтынсес, что мучениям ее не кончен счет, впереди и бессонные ночи, и горькие слезы. Но сегодня вместе со всем Куштиряком гуляла и она. Двухлетнее молчание мужа, смерть родного брата и многих близких, собственные страдания хоть и не забылись, но на этот один день отошли в сторону. Она не замечала сожалеюще-удрученных взглядов, а когда Фариза вызвала ее из круга танцующих и, глянув с укором, всхлипнула: «Отчего ж ты, дочка, так-то веселишься? Ведь наша с тобой радость — мед с полынью», сказала только: «Не плачь, мама! Вот увидишь, скоро отец домой заявится, а за ним

следом и твой зять»,— и снова устремилась в круг, к выбивавшей дробь Кадрии.

Этот подъем в ауле царил еще дней пятнадцать. И Алтынсес, куда бы ни шла, какую бы работу ни делала, будто на крыльях летела. Прострекочет ли сорока, сидя на плетне, упадет ли на пол заткнутая за жердину подушка, свекровь ли, накрывая к чаю, по ошибке поставит лишнюю чашку на стол — все истолковывала на хорошее, все это было знаком, что скоро вернется Хайбулла.

Прошел месяц. В аул начали возвращаться солдаты. Вернулся из трудармии Гайнислам, отец Алтынсес, следом Самирхан, муж Сагиды, потом сразу три фронтовика, а потом, сверкая медалью, объявился старик Салях.

Каждого полсвета прошедшего солдата приходили повидать со всего аула. Собирались в сумерки. С одной стороны, днем все были на колхозной работе, с другой — надо же и усталому, из дальней Европы пришедшему солдату обнять, приласкать родных, хоть немного наглядеться на них, гостинцы раздать, в бане попариться.

Войдя в дом, куда залетела птица счастья, или здоровались почтительно, обеими руками, или обнимались, расспрашивали о житье-бытье. Вначале справлялись о здоровье фронтовика, цел-здоров ли, если нет — не очень ли донимают раны, потом рассказывали о себе, о доме, о семье, родственниках и соседях, о последних новостях аула. Потом слово солдату: об орденах и медалях, где и за что наградило командование, о ранах и увечьях, где и как наградила судьба. И наконец кто-нибудь из женщин, ждущих сына или мужа, но их свиданию еще не настал черед, осторожно спрашивал: «А с нашими встретиться не довелось?» Разговор, само собой, переходил на то, каким огромным был фронт, и как далеко, за тысячи километров друг от друга, лежали страны, которые освобождал наш солдат. «Эх-хе, свойственница (или сноха), там не то что человека — целую армию не знаешь, где искать!» Уходить не спешили. Европейского гостинца —сигарет с золотым обрезом — и на пару часов не хватало, в распахнутое окно тянулся дым крепкого, как корень девясила, самосада с районного базара.

Не успеет солдат обвыкнуться с аулом, как приезжает другой. Были и такие, что еще не оправились от ран. Тогда старухи несли только им ведомые целебные травы, женщины забегали к жене раненого с катыком, молоком или яйцами, на отказы хозяйки говорили: «Разбогате-

ешь — рассчитаешься», мужчины приходили, починяли ограду, строения, заготавливали сено и дрова.

В день, когда вернулся старик Салях, Алтынсес была на дорожных работах. Услышав радостную весть, она воткнула лопату в кучу песка и хотела бежать в аул, но одна из женщин кивнула на щебень возле дороги:

— А это кто разбросает, если все в аул побежим? Уже вечер скоро, успеешь.

Домой пошли после захода солнца. Алтынсес наскоро перекусила и поспешила к старику Саляху. Двор был полон народа. Наверное, чтобы не тревожить больную старуху, поговорить решили здесь. Главный разговор, кажется, еще не начался, люди подходили к стоявшему на крыльце старику, почтительно здоровались, расспрашивали о здоровье. Пройти через весь двор у всех на глазах Алтынсес не решилась, подошла к женщинам, которые пришли раньше и вынесли из дома скамью. Потеснились, дали ей место.

Пока еще подходил народ, она украдкой рассматривала старика. Его сухое лицо на солнце и ветру стало темным, как медь. Мало того, острую козлиную бородку сбрил, оставил только усы подковой. Широкий ремень, новая гимнастерка, пилотка чуть набекрень, живость движений — старик помолодел лет на десять.

Вот уже все пришли, все поздоровались, сам хозяин тоже сел на крыльцо, и один из стариков сказал:

— Ай-хай, годок, шустрый ты оказался! В наши с тобой лета воевать — шутка ли!

Раздались голоса:

— Шутка не шутка, а без него-то никак не могли закончить.

— Хитер старик, уловил момент, лежачего небось каждый добьет.

— Чепуху городишь, сам маршал Жуков лично ему письмо прислал: помогай, старик, не свалить нам Гитлера без тебя.

— А что? И свалил Гитлера — медали-то зря не дают.

Старик сидел, слушал и только посмеивался из-под усов. Когда все стихли, он достал из кармана трубку, не спеша набил ее и щелкнул сделанной из гильзы зажигалкой.

— Эй, ровесник, ты же лет десять как бросил курить! Снова задымил, что ли? — удивился тот старик, который все восхищался тем, какой Салях шустрый.

— Пришлось закурить... Тут один из вас Жукова помянул. Из-за него-то и закурил.

Народ зашевелился, заерзал, усаживаясь поудобней.

— Да, с этого все началось. Прошли мы Польшу, вошли в Германию, дороги там хорошие, и всю артиллерию перецепили к машинам — так что все, полная отставка моим иноходцам! Вызвал меня комбат и говорит: «Всех лошадей полка отправляем в тыл. На тебя возлагается задача: в целости доставить в такой-то пункт. Сдай — и обратно. Будут с тобой еще двое с других батарей. Ты — старший».— «Есть, товарищ капитан! Разрешите вопрос. Сдам я коней, а как вас потом разыщу?» Смеется: «С самого Урала прибыл, не потерялся, здесь тоже не пропадешь, не иголка».

Приказ есть приказ, встали с зарей и погнали косяк, чуть не сто коней, обратно в Польшу. Капитан велел идти просеками, на большие дороги не выходить — там войска идут, чтоб у них под ногами не путаться. В первый день прошли километров сорок. Ребята мои — русские, с поляками объясниться могут, едем, дорогу спрашиваем. Я и сам, когда с Буденным под Варшавой был, кое-что попольски знал, только забыл... В лесу переночевали, утром дальше пошли. Скорее бы сдать лошадей и обратно. Наши к самому Берлину уже подошли, обидно, если опоздаем.

Как я прикинул, к вечеру должны быть на месте. Но прикинул, выходит, по домашнему счету. Дома версты считаешь, а в дороге — ямы. Вышли мы к большой реке, напротив того места, где нам лошадей сдавать,— и глазам своим не поверили. От деревянного моста, по которому я столько ездил с фуражом, только черные сваи торчат. Стоим, затылки чешем. Вброд перейти и думать нечего, полая вода только в берега возвращается. Не то что лошадей вплавь пустить, на лодке плыть страшно. Уже темнеть начало. Пришлось заночевать здесь. Утром верстах в шести повыше нашли мост, большой, каменный, но подойти и не думай: танки, «катюши», машины с войсками и боеприпасами идут и идут.

Что делать? Подумал, подумал и говорю: «Сделаем так. Подгоним лошадей к мосту, а выйдет момент — и галопом на ту сторону погоним».

Ждем. Лошади плотным косяком стоят, ребята поели, сидят сонные, носом клюют. И не заругаешься, редко солдату сна вдоволь перепадает, вот он и подбирает, где можно, крохами.

Было уже за полдень. Колонна все шла и шла на закат и вдруг оборвалась. Только санбатовский фургон проскочит или мотоцикл. Побежал я к часовому у моста. С сержантом я еще утром договорился, но все равно разрешение нужно. «Черт с тобой, гони своих чесоточных!» Только он рукой махнул, мы и погнали табун, кнутами щелкаем, свистим. Но лошадь на войне больше всего мостов не любит. Где их косит, так это там. Бедные лошади... у них этот страх уже в крови. Мы орем, надрываемся, кнутами хлещем, а лошади сбились в кучу, дрожат, будто волка почуяли, топочут возле моста, а на мост не идут. Тут еще сержант перепугался и весь, какой у русских есть мат, на наши головы вылил.

Только мы с трудом загнали передних лошадей на мост, показался немецкий самолет. Пролетел над нами, тень прошла, мы головы вжали, потом развернулся и пошел из пулемета бить, бомбы бросать. Хорошо, тот парень, что впереди, бойкий оказался, рванул на своей лошади на тот берег, и весь табун с ржанием понесся следом.

Не до самолета! Какой там самолет! Знай коней нахлестываем. Ведь не пять-шесть голов — вся тягловая сила полка! Голова табуна уже на том берегу, а хвост еще на этом. Тут упала бомба и снесла боковину моста. Сам проезд целый остался, а вот коней двадцать встали и стоят, страх все четыре ноги путами стянул. Половина уже на том берегу — во все стороны разбегаются, а эти с моста ни шагу.

В это самое время с той стороны въехали на мост два мотоцикла. За ними — четыре машины. Солдат на мотоцикле автоматом машет: «Что за цирк! Освободи мост!» А я от злости сам на него ору: «Дай дорогу!» Начали друг друга крыть, сразу до дедов-прадедов дошли. Еще и тот сержант мне в стремя вцепился, чуть не плачет: «Гони обратно! Начальство какое-то! Полетят наши головы!» Раз так вышло, у меня самого упрямства хватит. Головы оторвут или прямо здесь на мосту застрелят — все равно, знай плетью машу. Две лошади от давки в воду свалились. Остальные, видать, поняли, что другого пути нет,— кинулись вперед. Солдат на мотоцикле, который на меня орал, еле в сторону успел отпрыгнуть, мотоцикл у него перевернулся, второй на ограду моста вскарабкался. «Не оглядывайся, скачи!» — крикнул я напарнику, тут кто-то схватил мою лошадь под уздцы и стащил меня с седла.

Смотрю, молодой такой полковник, за шиворот сгреб, съесть меня готов: «Кто такой? Документы!»

Слушатели затаив дыхание смотрели на старика Саляха, кто-то хлопнул себя по бедру:

— Ну, влип старик!

На него тут же зашикали. Старик воспользовался заминкой и набил трубку.

— А потом... дальше? — заторопили его, недовольные задержкой.

— Дальше? Дальше душа в пятки ушла. Гляжу, за теми четырьмя еще с десяток машин показалось. За то, что движению войск помешал, могут и расстрелять. Очень просто. И никому не пожалуешься. Не успел я даже красноармейскую книжку и документы на лошадей достать, полковник обернулся к стоявшему рядом лейтенанту и рявкнул: «Арестовать!» Но тут вышел из машины еще один и сказал: «Отставить!» Два солдата уже схватили было меня с двух сторон, но сразу, будто змея их ужалила, отдернули руки и отскочили. Меня холодный пот прошиб: какой-то очень большой начальник. «Виноват, говорю, товарищ генерал». А он усмехнулся строго и поправил: «Маршал».

— Ух ты! — крикнули оттуда, где сидели мальчишки.— Сам Жуков, что ли?

— Сам. Я его не сразу, но узнал. В газетах портрет видел.

— Ну, врет старик! Жуков! И глазом не моргнет! — рассмеялся кто-то.

— Ты вот что скажи,— крикнул другой,— я три года на передовой был, а не то что Жукова или другого какого маршала, и генерала-то раза два всего видел.

— Эй, не шумите-ка! У вас так было, а у Саляха-агая этак вышло.

Старик, будто и не слышал, сунул трубку в карман гимнастерки и стал рассказывать дальше.

— Нет, бушевать не стал, расспросил, в чем дело. Я уже очнулся, что и как — все толком объяснил. Маршал постоял, подумал и... достал из кармана золотой портсигар.

Старик помолчал, и все молчали, каждый вдруг увидел этот портсигар перед собой.

— Большой портсигар, красивый.

Гул всплеснулся над ночным двором:

— Я же говорю: врет старик!

— Ай-хай, а не ошибаешься, Саляхетдин-агай? Боль-

но нравом зол да крут, говорят про маршала Жукова,— засомневался еще один фронтовик.

— Говорю же —заливает!

Старик, кажется, немного обиделся.

— Что я, у Жукова воевал и Жукова не знаю? — строго сказал он.— Крут! Много вы понимаете.

— Не слушай ты их, рассказывай! — сказала одна женщина.

— Рассказывать, говоришь... А на чем я остановился?

— Маршал портсигар открыл.

— Да, щелкнул портсигаром и мне протягивает: закури. А я стою ни жив ни мертв, где уж сказать, что не курю! Рука онемела, а сам не знаю, шутит или нет. Он увидел это и говорит: «Бери, бери». Ну, пронесло, думаю, протянул руку и сам не заметил, как брякнул: «Спасибо, товарищ маршал! Раз такое дело, возьму две». Те, кто вокруг стоял, как от полыни поморщились, один даже тихонько сказал: «Вот нахал». Маршал улыбнулся: «Про запас? Что, не выдают табаку?» Не успел я ответить, а он: «Лейтенант, пачку папирос солдату!» — «Спасибо, говорю, не надо, я вторую для товарища взял». Но лейтенант, малый проворный, улыбается во весь рот, пачку мне сует. Закурил я от зажигалки маршала, он тоже закурил. Покурили, он и говорит: «Ладно, прощай, старик. Больше у маршала на дороге не вставай, время сейчас горячее. А за службу спасибо». Вот так. Машины покатили дальше, а я так и остался с открытым ртом.

— Афарин, ровесник! С самим Жуковым разговаривал, а? — восхитились старики.

Фронтовики только посмеивались. Уж они-то о многом могли спросить старика: куда потом делся самолет, неужели такой важный мост не охраняли зенитки, и чего это маршал в самую бомбежку въехал на мост, и на каком языке они с маршалом так свободно разговаривали — на русском или на башкирском?

— С тех пор и куришь?

— А как же, подарок маршала, небось не выбросишь. Правда, пачку мы с ребятами еще до вечера искурили. И перешли на махорку.

— А кони-то, кони? Что с ними стало?

— Собрали их снова, даже одна из тех лошадей приплыла, другая, видать, расшиблась, и сдали, куда было приказано. А там! Тысячи голов! В эшелоны грузят и домой отправляют — колхозам.

— Эх, нам бы хоть пять-шесть! — мечтательно сказал мальчишеский голос.

— Нам вряд ли, сынок. По Украине и Белоруссии один пепел летает. Там поднимать нужно.

Женщины завздыхали:

— Сколько же еще будут тянуться эти муки?

— Неужто и теперь не заживем по-человечески?

— Нелегко будет, опять терпеть придется. Ничего, сношеньки, главное сделали,— сказал старик Салях, достал из кармана сигареты, раздал мужчинам.— Покурите, может, понравится. Немецкие.

— Не из Берлина, случаем?

— Оттуда, можно сказать. Мне не по нутру — больно пресные.

Мечтавший о лошадях мальчишка вскочил:

— Ты и в Берлине был, дедушка? Большой он? С Уфу, наверное?

— Вот еще, куда конь с копытом... — Кто-то из мужчин, дернув за штаны, посадил его на траву.— Тут взрослые разговаривают... — и закашлялся.— Тьфу, к горлу липнет!

Мальчишка не сдавался.

— Интересно же! Прошлой осенью лес туда возили — ох и большая Уфа, удивился я!..

— Если удивился — поставь рядом еще десять таких, как Уфа, вот и будет Берлин.

— Ну-у... Неужто и Москвы больше?

— Нет, больше Москвы на свете города нет, но и Берлин, пожалуй, немногим уступит. Огромный! На машине едешь-едешь, а конца-краю не видать, устанешь даже. Правда, разрушен здорово, мало что уцелело.

— Впору им,— отрезал из темноты женский голос.

— Верно! И весь ихний народ надо было с земли стереть — за их зверство и за наши муки! — поддержала другая женщина.

— Не народ, сноха, фашизм виноват. А народ...

— А эта армия, которая у нас один пепел оставила,— не народ? Рано ты их жалеть начал, дед!

— Конечно, народ тоже виноват,— сказал Салях.— Поддались немцы угару, рабоче-крестьянское сознание замутилось, потеряли голову, дали дорогу этому псу, Гитлеру. Теперь рабочие и крестьяне там покрепче думать будут: кому верить, кому нет. Кто обжегся на молоке, дует на воду.

Но женщин эти доводы не убедили:

— Пусть теперь хоть на собственный язык дуют, нам от этого не легче. Мертвых не воротишь...

— Ишь когда опомнились! А если бы взяли верх? Они бы нам показали рабоче-крестьянскую...

— Эх, мой бы суд, я бы знала, что с этими извергами делать!

— И всегда вот так, зла не держим! — в сердцах сказала одна.— Сам же воевал, Салях-агай, Германию прошел, а такое говоришь!

Проблема была сложная, и старик спорить не стал.

— Поживем — увидим.

Было уже поздно. Вернее, уже перевалило на раннее утро. Прошла по аулу вторая перекличка петухов. Подул прохладный ветерок. Народ и не думал расходиться. Разговор перешел на деревенскую жизнь, на ближние заботы. Люди, позабыв, зачем они сюда собрались, начали вспоминать пережитые тяготы, пытались угадать, какая жизнь пойдет теперь. Начнут ли выдавать на трудодни хлеб? Появятся ли в магазине чай, сахар, товары? Скостят ли хоть немного налоги, поставки мяса, масла?

Разговор, в точности как воды Казаяка, то плавно, спокойно тек, то, кипя на перекатах, переходил в горячий спор. Все — и старые и молодые (только мальчишки уже спали, про налоги было неинтересно) — забыли о том, что с рассветом выходить на работу, и часов для сна уже не оставалось. Все бы сидели и сидели, если бы старик Салях не сказал наконец:

— Ладно, ямагат, всего враз не перерешим. Надо и для правительства работы оставить.

— А про медаль-то и не рассказал! — вспомнил один из парней.

— Это в другой раз...

— Да, да,— сказали старики.— Поздно уже. И батыру отдых нужен.

Люди встали, растолкали детей и, переговариваясь, пошли по темным улицам.

Никто так не досадовал, как Алтынсес, что ночь была коротка и что оборвался разговор. И рассказ старика, и споры односельчан, их воспоминания о пережитом, рассуждения о будущем она слушала в нетерпеливом ожидании. Но до самого главного разговор так и не дошел. Помня, наверное, что рядом с больным о болезнях не говорят, о тех, кто погиб и от кого давно уже нет вестей, не сказали ни слова. Удивительно, три месяца провоевал дед Салях и неужели ни одного земляка не встретил?

Ведь Хайбулла не единственный, кто без вести пропал. Если не в Куштиряке, то в соседних аулах есть, Алтынсес слышала. Почему же о них-то не зашел разговор? Может, что-нибудь говорили до нее? Стала вспоминать, и сразу показалось, что и старик и односельчане все время прятали от нее глаза, и женщины, когда она подошла к ним, как-то очень быстро потеснились на скамейке.

Поэтому, когда утром свекровь сказала:

— Отпросись сегодня пораньше, Саляхетдина пригласим на чай,— вяло ответила:

— А чего меня ждать? Посидите, поговорите вдвоем...

— Ты что, дочка? Вчера, как услышала, что он приехал, не поела даже толком, туда побежала. Что с тобой?

— Ничего. Думала, посидите, поговорите вдвоем...— Алтынсес опустила голову.

— У меня секретов от тебя нет. Хоть и без особых яств, свату со сватьей тоже скажу. Хочешь, Кадрию пригласи.

Кадрия тоже вчера приходила к старику и тоже осталась недовольна его рассказом: «Только байки и знает, старый черт», так что возможность поговорить со стариком в тесном кругу пришлась ей по душе.

— Эх, подружки, так, видать, в пустой тоске иссохну вся. С последнего письма Сергея уже месяц прошел, седьмого мая написал. С тех пор ни слова. Может, мертв, а может, жив, да пятки смазал.

— Наверное, случая не было, человек же военный.

— Случай! Война была, каждую неделю писал, а теперь случая нет? Может, дед что знает...

Алтынсес знала, что сердце Кадрии под спудом-то всегда, словно угли, синим жаром тлеет — только ветра ждет, чтобы вспыхнуть живым огнем. На этот раз ветер прилетел издалека. Если бы встретились, судьбами сошлись, как бы хорошо было!

Бывает же так: познакомятся по письмам, полюбят и живут потом счастливо. Недавно в кино даже про это показывали. Интересно там вышло! Получила девушка телеграмму, от волнения пить-есть перестала, две ночи на вокзале ночевала. И чего бы ей дома не сидеть, все было бы хорошо, нет, не выдержала, встречать побежала. Ну и, конечно, разминулись. Девушка на вокзале среди тысячи военных разыскивает парня, а тот слез с поезда и прямиком пошел домой к девушке, которую ни разу в жизни не видел: с сыном профессора — он тоже возле девушки увивался — сцепился. И пошла путаница! Солдат

обиделся, пошел брать билет домой, девушка узнала, как было дело, за ним следом поспешила. Конец известен: встречаются, объясняются. Без этого и кино не бывает.

А у них, у Кадрии с Сергеем, как сложится? Как в кино — с легкой путаницей, или как в жизни — с нелегкими испытаниями?

Конечно, своими опасениями Алтынсес делиться не стала, смирив сердце, ждала часа, когда пойдут домой. И Кадрия молчала, не разгибая спины, махала лопатой.

Когда они вошли в дом, гости, распарясь, уже пили чай. Перед чаем, видно, и кое-что другое было. С краешка пустая бутылка стояла, щеки деда Саляха и Гайнислама, отца Алтынсес, так и пылали. Алтынсес и Кадрия по обычаю, протянув обе руки, поздоровались с возвратившимся издалека гостем, расспросили о здоровье, и разговор, начатый без них, потянулся дальше, только смех мужчин и потчевания Мастуры ненадолго прерывали его. О том, что волновало подружек, мужчины не заговаривали, а самим вот так, посреди застолья открыть рот и спросить, было совестно.

У Кадрии упало настроение, посидела она молча, смотря в свою чашку, потом встала и сказала:

— Мать, наверное, заждалась...

Старик Салях вздохнул облегченно, а когда она вышла из-за стола, заметно оживился.

— Ну, прямо сказка, и только... — продолжил он, доставая трубку, свой рассказ.— Зашли мы к Берлину с юга, взяли Потсдам...

Кадрия остановилась на пороге и повернулась к нему:

— Ты прости, дедушка... Со вчерашнего вечера все только сказки и рассказываешь, а о земляках ни слова. Что, никого не встречал?

— Кадрия! — вскрикнула Алтынсес.

— Что, разве там, на войне, одна забава только? А послушать тебя — только смех да потеха, смех да потеха,— зло улыбаясь, Кадрия ждала ответа.

За столом все, онемев, опустили чашки в блюдца, перевели взгляд с Кадрии на старика. Тот сидел, будто поперхнулся горячим чаем, даже слезы навернулись.

— Ладно, о других не говорю. Может, и не встречал. А вот посмотри мне в глаза,— она подошла к столу,— и правду скажи, не ври: где сейчас Сергей Ветров? И не говори, что такого не встречал. Ты мой подарок ему передал.

— Ты что это, Кадрия, прямо за лицо хватаешь чело-

века? С чего он тебе врать должен? — возмутилась Фариза, но Кадрия только отмахнулась от нее, локтем отвела руку пытавшейся обнять ее Алтынсес.

— Хочешь курить, так кури, окно открыто,— с другой стороны пришла Мастура на помощь старику.

Тот и сам, кажется, немного собрался с духом. Но глаз не поднял, начал набивать трубку. Руки, жесткие, темные, как птичьи лапы, вздрагивали.

— Эх, Кадрия, больно уж нрав у тебя... безоглядный! — нарушила неловкую тишину Мастура. Она решила, что Салях сильно обиделся.

— Подожди-ка, сватья, как наш старшина говорил: ослабь напор. Саляхетдин-агай сам скажет,— вставил слово Гайнислам. Тоже по-своему мир установить попытался.

Наконец старик поднял глаза на Кадрию и взглядом показал на скамью возле стены:

— Сядь, дочка.

Кадрия пошла и села прямо под портретом Хайбуллы. Алтынсес почуяла неладное, хотела крикнуть: «Не садись там!», но только подняла край платка и прикрыла рот. Мастура и Фариза следом сделали то же самое.

— Почему не знаю? Знаю... Ему я и дал твой подарок, как ты просила тогда: самому храброму, самому красивому. И самому доброму.

— Ты что его расхваливаешь, как неживого? — откинув голову к стене, Кадрия попыталась улыбнуться, но пепельно-бледное лицо не улыбалось, только съежилось.— Умер он?

— Чтоб с языка ветром сдуло! — быстро сказала заклинание Фариза.

— Подожди... Кадрия... ты... война ведь,— и старик опять замолчал.

Каждый выбрал себе взглядом половицу и не отрывал от нее глаз. Алтынсес не дышала, чтоб не расплакаться. Кадрия бесчувственным голосом самой себе сказала:

— И этого убили... Ну вот, Кадрия, больше твое солнце не взойдет, под луной будешь греться.

Салях резко встал, дошел до двери, вернулся, сел.

— Что делать? — оглядел он всех.— Нельзя ведь не говорить, да сказать надо... А я клятву дал.

Гайнислам, поняв, что дело не совсем так, как они подумали, сказал:

— Ничего, агай, плюнь через плечо и скажи заклятье три раза... Кажись, не так все страшно?

Кадрия откинулась от стены, кривая улыбка, будто она прислушивалась к чему-то, но расслышать не могла, появилась на лице. Но старик молчал.

— Вестника не карают,— подбодрил его Гайнислам.

— Я не кары, я другого боюсь...— Он встал из-за стола и сел рядом с Кадрией.— В беду он попал, дочка. Уже война кончилась, уже домой собирались, вот что обидно.

— Да жив он или нет? Какая беда?

Старик обнял Кадрию за плечи.

— Только домой собирались... На немецкую мину наступил Сергей. Фашист, что змея, голову размозжишь, а все ужалить пытается.

— Не тяни ты жилы, старый черт! Жив? Мертв?

Мастура и Фариза с укором покачали головой.

— Жив. Только обе ноги ему отняли, заражение крови могло быть.

— О-ох!..

Тишина была долгая, мучительная.

Нарушила ее Кадрия:

— Пойду домой.— Она встала, прошла осторожными шагами и уперлась в стену рядом с дверью, начала нащупывать рукой. Мастура взяла ее за локоть и подвела к двери.

Алтынсес пошла было следом, но Фариза удержала ее:

— Не ходи, этому горю не поможешь.

Долго сидели молча. Мастура заново вскипятила самовар, разлила чай, но он так и остыл в чашках.

— Сколько народу подорвалось на этих запрятанных минах. Мы их «суপ্রизами» звали...— рассказывал Салях.— Сергей в доме, который под его расчет отвели, обход делал. Там пол из мелких дощечек был, так эти гады разобрали пол, мину положили и ковром прикрыли. Только Сергей на ковер наступил...— Он помолчал.— А ведь как у них все ладно шло! Каждую неделю письма приходили. «Вот домой поедем, и прямо в ваш аул, к Кадрии подамся. Может, и не прогонит...» — говорил бедняга. Вот и подался! Потому и писать перестал. И мне наказал: мол, если Кадрия начнет допытываться, скажи, что убили — и дело с концом.

— Раз обеих ног нет... Ведь она его и в глаза не видела. Поплачет, погорюет и утешится,— хотела по-своему закончить разговор Фариза. Но тут неожиданно вскинулся Гайнислам:

— Вот и верь племени этому бабьему! — Гневно оглядел стол, кивнул на жену.— Я ведь тоже, считай, без лег-

ких, половиной человека пришел. Из притворства, значит, со мной живешь? Терпишь только?

— Ты что, ты что, отец? — растерялась Фариза, но тут же пришла в себя и набросилась на мужа.— Сравнил! Мы четверых вырастили, состарились, можно сказать... А они? Может, Кадрия тоже четверых вырастить хочет? Дурень старый!

— Нет, ты мне прямо скажи: если человек инвалидом стал, так, значит, ему полная отставка? Безногому Сергею теперь, выходит, и места на земле нет? Ну, бабы-ы!..

— А кто так сказал? Найдет еще себе пару. Я ведь про Кадрию говорю. В верности не клялась, не жених, не муж. Заведомо зная...

— Да погодите вы! Разве в Кадрии только дело! Там еще Сергей есть. А он тихий да гордый. И упрямый... Он ведь с Кадрией, можно сказать, уже распрощался.

— Отец с матерью есть у него? — спросила Мастура.

— Нет. В детдоме рос. Никого нет.

Алтынсес тихонько вышла из избы. Зря она осталась, надо было сразу выйти следом за Кадрией. Нельзя ее оставлять одну. С горя бог знает что наделать может. Вон, когда похоронка на Гали пришла...

Кадрии дома не было, по словам матери, она ушла в райцентр.

Утром по пути на работу Алтынсес снова заглянула к ним — Кадрия не возвращалась. Встревоженная, она пошла на Кызбаткан. Вчера сказали, чтобы они с утра вышли на починку старого моста.

Пришла, а там на бревне сидит Кадрия. Наверное, только сейчас из района вернулась, остальных дожидается, все равно уже домой сходить не успеет. Осунулась, вид измученный. Она хмуро посмотрела на Алтынсес, уловила ее вопросительный взгляд и отвернулась. Помолчала и, не поворачивая головы, сказала:

— Письмо продиктовала,— она потрогала кофточку, видать, письма коснулась за пазухой.— Хочешь, наверное, знать, о чем. Вижу, хочешь. Спросила бы, да боишься, что ругаться буду. Что встала, будто скалку проглотила? Садись, все равно мы вдвоем этот мост не починим, пусть все соберутся. Написала, что я все у старика выпытала, все знаю. И чтоб не сомневался, я — на всю жизнь его.

— Кадрия, милая! — Алтынсес подбежала к ней и опустилась на корточки. Кадрия повернула к ней лицо, она плакала. С того вечера, как пришла похоронка на Гали, это были первые ее слезы. Но и тогда Алтынсес ее слез не

видела, только слышала из темноты. Крепко зажмурившись, Кадрия досуха выжала слезы из глаз и сказала ровным голосом:

— Судьба, наверное. Все равно я уже другого полюбить не смогу... Устала, подружка, как Сагида говорит, хочу женой себя почувствовать. Двое-трое из ребят, что вернулись, вьются около, словно осы... Известно, что им надо. А Сергей... по письмам даже видно, что душа у него золотая. Как получу ответ — сразу к нему поеду.

— Ой, подружка!.. — с восхищением, жалостью и гордостью прошептала Алтынсес и несмело обняла ее.

Кадрия же только глубоко, устало вздохнула:

— Теперь душа изболится, пока письма дождусь.

* * *

И верно, дни шли за днями, тянулись недели, месяц целиком прошел, и другой полностью... а вестей не было. Никому. Ни Кадрии, ни ей, Алтынсес. Отложив свои печали, Алтынсес старалась утешить подругу. То ли ее успокаивала, уговаривала терпеть, то ли себя подбадривала.

Поначалу Кадрия ходила молчаливая, задумчивая, но долгие потрясения были не по ней, и она быстро стала приходить в себя. На работе ли, на вечерних ли играх снова зазвучали ее грустные песни и быстрые припевки, громкий смех, снова проснулся в ней бес, все чаще она с парнями словом стала перебрасываться, да не словом-двумя, а целыми пригоршнями, или с кем-то взглядом за взгляд зацепится.

Одернуть, пристыдить ее Алтынсес духу не набралась, только сокрушалась и ругала про себя: «Эх, глупая ты, глупая! Себя в руках держать не можешь, так зачем было писать бедному солдату? Горя у него мало? Потосковал бы, помучился, да ведь от судьбы не уйдешь, смирился бы потихоньку. Безногий — но голова цела, душа на месте. Растревожила калеку, обнадежила и забыла все, веселишься». Так думала Алтынсес, корила подругу за ветреность и бессердечие. Не знала она, как лежала Кадрия ночи напролет и думала, думала, думала, а чуть заснет — так не сном, а тяжелым бредом. Будь Алтынсес постарше, она поняла бы, что только видимая эта беспечность, словно поплавок, держала ее на холодной глади тоски, только неунывчивый нрав не давал пасть духом; и не было у Кадрии иных средств тягаться с жизнью, чтобы хоть как-то прикрыться от ударов, которые один за другим наносила ей судьба.

Алтынсес в обиде на подругу начала сторониться ее, и та набиваться не стала, сама не заговаривала. Совсем как дети, иначе и не скажешь: одной только девятнадцать исполнилось, другой — двадцать. Самая бы пора и горя не знать, петь-веселиться и мечтать о счастье...

И вот на исходе третьего месяца от Сергея пришло письмо. Алтынсес, может, и не узнала бы об этом — они с подругой тогда ходили, как говорила Фариза, «нахохлившись»,— но Кадрия, простая душа, встретила, когда она шла за водой, и обняла с налета. Поставив ведра, принялись читать письмо.

Оказывается, Сергея перевели на родину, к новой операции готовят. Он писал, чтоб она забыла о нем, «я тебя уже давно забыл, однако письмо твое такой круг сделало, через Потсдам пришло, что решил ответить». Но обратный адрес есть. Значит, надеется парень, немножечко, а надеется. Впрочем, нет, сам же пишет: «Адреса не шлю». Он на конверте чужой рукой приписан. Странно...

Ошиблась Алтынсес. Та самая Кадрия, о которой она думала: «Растревожила калеку, обнадежила и забыла все, веселится»,— эта самая Кадрия, получив письмо, сразу стала собираться в дорогу.

— Эх, подружка, он там весь, наверное, истерзался, а я здесь руки на груди сложу и сидеть буду? Только виду не подает, а так, наверное, глаз от окна не отрывает. Поеду! Отпустят его — ждите обоих!

— Подожди, не горячись, про этот Углич никто и слыхом не слыхивал, край света! Доехать — никакого состояния не хватит,— пыталась хоть немного охладить ее Алтынсес. Но нрав Кадрии известен, чем больше уговоров, тем больше наперекор.

— Сказала! Это мы на краю света живем! Я по карте нашла: возле самой Москвы этот Углич. Мне бы только билет достать и на поезд сесть — куда хочешь довезет. А деньги... есть у меня две овечки, их продам, если не хватит, ты дашь, разбогатеем с Сергеем — сразу отдадим.

Узнав, в какое путешествие отправляется Кадрия, куштиряковцы заткнули рот двум-трем сплетницам и понесли ей кто пяток яиц, кто кусок вяленого мяса, кто катыш корота, кто топленого масла маленький горшочек. У кого и того не было, те обещали за матерью и хозяйством присмотреть, мужчины — помочь с дровами.

Через неделю Кадрия отправилась в путь.

* * *

Алтынсес поехала вместе с Кадрией на станцию, посадила ее в поезд и потеряла покой. В том, что жива-здорова до Углича доберется, она не сомневалась — бойкая, не пропадет. О другом думала. Как ее, приехавшую нежданно-негаданно, встретит Сергей? Согласится ли поехать в неведомый башкирский аул? Как пройдет, а может, уже прошла эта новая операция? И сама Кадрия, когда увидит парня — не одноногого даже, а совсем безногого,— и не в думах, не в строках письма, а наяву, перед глазами, что она-то переживет? Не отшатнется, не передумает ли? Может, зря вся эта поездка?

А тут еще на днях Тахау душу разбередил. Власть его кончилась, опять он был тот, довоенный, приветливый, услужливый Тахау, о котором вспоминал когда-то старик Салях. Посмотреть, как он рассыпает улыбки, подбежит, поздоровается, совсем не тот надутый пузырь, ошалевший от власти лягушонок. Тахау, от которого бабы кровавыми слезами плакали. Его раза два поколотили крепко, но избили втихомолку, тот, кто бил, тоже, видать, своего позора на белый свет выносить не хотел. Один раз вечером на току без сознания нашли, другой раз из района возвращался — лошадь сама привезла. Он же, отлежавшись, ходил опять бойко, кричал «салям!». Народ приглядывался, при виде кого он нахмурится или хотя бы глаз опустит, но Тахау со всеми был приветлив, может, с обидчиком-то еще с большим радушием здоровался. И что ты будешь делать, уже понемногу начали жалеть маленького кривого многодетного Тахау. Только Кадрия из-за тела своего, им опоганенного, и Алтынсес из-за того комочка пустоты в низу живота, который так и не рассосался, ненавидели его.

— Айт, сноха-свояченица-сватья! — крикнул Тахау при встрече, а в пьяном глазу такая неиссякаемая радость блестела, что Алтынсес зубами скрипнула.— Вот подруга-то твоя, а? Небось даже ты от нее такого не ждала, а? Вот герой! Молодец, молодец! Только... — он подмигнул ей, то есть просто закрыл глаз, и все, какое уж тут подмигивание, коли другого глаза нет.— Только и здесь могла найти! И здесь ведь без рук и ног есть, даже без глаза попадаются. И сама бы утешила, и ее бы утешили...

Вот дрянь! У пакостника и медовый язык дегтем мажется.

И Мастура, свекровь... Когда Кадрию провожали, больше всех хлопотала, всех щедрей была, а теперь, стоило Алтынсес вспомнить о подруге, сразу поджимала гу-

бы и переводила разговор на другое. Обдумала и теперь не одобряет Кадрию? Или сомнения свои прячет?

В эти дни Алтынсес стала чаще забегать в отцовский дом или старалась со стариком Саляхом увидеться, поговорить. Эти хоть дум своих не прячут.

— Видали, какие девчата бывают! — говорил Гайнислам.— Горячее сердце-то оказалось у этой Кадрии! И что увечный парень, и что в глаза его не видела — ни с чем не посчиталась, поднялась и поехала.

— Слишком яркое быстро линяет,— с сомнением говорила Фариза.

— Если бы линяло,— слиняло сразу, как о беде узнала.

— Не знаю, отец. Он и веры не нашей. Он русский, она башкирка. Душой сойдутся ли?

— Ты, темнота! — Гайнислам, обозлившись, встал, прошелся по избе.— При чем тут национальность? Ты моих товарищей возьми, вместе же их письма читали: что русский, что башкир, что татарин, что грузин — какие ребята!

— У товарищей так... А у парня с девушкой и по-другому бывает.

— Как у парня с девушкой бывает, это, конечно, тебе лучше знать! — взбеленился Гайнислам.

Алтынсес, поняв, на что намекает отец, вспыхнула и опустила голову.

— Дурак старый! — сказала презрительно Фариза.— До седин дожил...

Молчание было недолгим. Гайнислам попытался склеить горшок, по которому сам же и хватил вгорячах:

— Ты... того... не сердись, мать, я так это... Я же знаю, что нет за тобой... Кхм!.. Лучше бы нам о том подумать...— И, найдя о чем сейчас лучше подумать, сразу оживился: — Коли впрямь Кадрия с парнем заявится — что делать будем? Свадьбу надо играть.

— Только бы приехали! — сказала Алтынсес.— У свекрови и у матери тоже в ларях можно поскрести.

— Да, да, не поглядим, что время голодное,— сказала Фариза.— Все по обычаю сделаем. А там,— всхлипнула она,— и зятюшка вернется!..

Алтынсес закрыла лицо ладонями и уткнулась ей в грудь. Гайнислам потоптался рядом и вышел на улицу, утешать он был не мастер. И Фариза была не мастерица, но теплая ее ладонь гладила по волосам, по плечам, и Алтынсес успокоилась.

Старик Салях говорил при встрече:

— Не сдержал я клятвы, а совесть чиста. Сама подумай, не понял бы я, какое сердце у Кадрии, соврал бы, что умер Сергей, какой бы грех на душу взял. А теперь... Вот увидишь, не будет пары счастливей их.

— А вдруг Сергей не согласится? Зачем, дескать, я тебе, такой калека, как-нибудь сам проживу. Он и в письме так написал.

— Эх, дочка, а что бы ты на его месте написала? Шутка ли!.. Но я так думаю: коли девушка все бросила и приехала, ему уже деваться некуда. Тут сразу видно — любовь! А ты не томись, десять ли дней пройдет, пятнадцать ли, и приедет твоя подружка вместе с женихом, вот увидишь.

Не обернулась Кадрия за пятнадцать дней. Вернулась только через месяц.

В тот день Алтынсес, возвращаясь с работы, по обыкновению завернула к родителям — вдруг от Хайбуллы весточка? Гайнислам теперь разносил письма, другая работа была уже не по силам. Знала Алтынсес: будь письмо, отец под землей бы ее разыскал, а все же ног удержать не могла, каждый вечер сами несли сюда.

Отец во дворе распрягал лошадь. Он кивком поздоровался с дочерью и снова занялся хомутом. Сам с упряжью возится, а сам исподтишка на Алтынсес поглядывает, ждет, когда она уйдет.

— Отец... — окликнула его Алтынсес.

Гайнислам собрал упряжь и понес под навес.

— Подружку твою привез,— бросил он через плечо.

Разъезжаясь ногами по осенней слякоти, побежала Алтынсес по темной улице. Даже встретив деда Саляха, не остановилась, не поздоровалась, крикнула только: «Кадрия приехала!» И не оглянулась, когда старик повернулся и спешно заковылял следом за ней.

Распахнув дверь, влетела в избу. Кадрия еще даже не разделась, только шаль опустила на плечи.

— Подружка! — бросилась к ней Алтынсес.

— Садись, с ног свалишь,— сказала Кадрия, уклонившись от ее объятий.

Алтынсес потормошила ее немного и обежала взглядом маленькую избу с тусклой коптилкой на припечье.

— Ну, показывай своего Сергея! Где прячешь?

— В погребе! — зло сказала Кадрия.— Ты что на дыбы встала, овод тебя укусил? Сядь!

— А правда... где? — уже тихо, растерянно повторила Алтынсес.

— Не выпала ему дорога, подруга...

— А потом... приедет?

Кадрия не ответила. Выпустила фитиль из коптилки, надела трубу на самовар, кивнула матери, чтобы села за стол, выложила гостинцы с дороги. Алтынсес с колотящимся сердцем ждала, когда она заговорит.

Тут опять распахнулась дверь, и раздался бодрый голос старика Саляха: «Здравствуйте!», за ним вбежала Фариза, потом еще три девушки одна за другой. Каждая шумно здоровалась, окидывала всех взглядом и, сразу притихнув, старалась отойти подальше в угол. Кадрия, все так же одетая, сидела возле стола, маленькая кучка гостинцев лежала рядом. Потом она подняла глаза на старика, нагнулась, достала что-то из мешка, какие-то ремни, и протянула ему. Старик принял обеими руками, поднес их к глазам. Это была уздечка. Борода старика затряслась, по щекам побежали слезы.

— Кадрия! — вскрикнула Алтынсес.— Не молчи! Скажи что-нибудь!

— А что говорить? — бесстрастно сказала Кадрия.— Умер Сережа. Операции не вынес.

Женщины ойкнули и согнулись в плаче. Долго никто не мог сказать ни слова. Наконец старик нарушил молчание:

— Я, когда уезжал, Сергею так сказал: «Ты, Сергей, парень молодой, сильный, ты еще эту жизнь взнуздаешь и оседлаешь. Держись в седле. Вот тебе уздечка».

Он встал, положил уздечку на край стола рядом с гостинцами и вышел.

Женщины, оставшись одни, заплакали навзрыд.

5

...И прошло еще два года. И стало уже четыре года, как уехал Хайбулла.

Но в смерть его Алтынсес так и не поверила. И впредь не поверит, будет ждать. Она знает: есть люди, их уже погибшими считали, давно в мыслях схоронили, а они вдруг приходят домой. В Куштиряке таких, правда, нет, но в других аулах есть, ей рассказывали. Одни в госпиталях маялись, не чаяли, что выживут, другие в партизанах были или в плену страдали и потом не сразу домой

попали... И с Хайбуллой что-то такое случилось, потому до сих пор весточки подать не может.

Духом не падала Алтынсес. Тех, кто давал ей несуразные советы вроде того, что надо бы и о будущей жизни подумать, она с полуслова обрывала. Зная, что Хайбулла приедет неожиданно, в бане держала наготове сухие дрова, березовые веники, на чердаке висел вяленый гусь, в чулане хранились пастила, корот, в сундуке — чай, сахар, бутылка водки. А недавно даже костюм купила, совсем, можно сказать, новый. Из-за этого костюма и случилась у нее размолвка со свекровью. Но, чтобы посуда не брякнула, так не бывает. Хотя дело и не в этом. Очень уж странный вышел разговор.

Постарела Мастура, прежней живости и половины нет. Пока шла война, не только сама держалась, но и всем женщинам аула опорой была. А потом — и прошел-то год всего, прошлый-нынешний,— и сдала разом.

Пока Надя с Зоей дома, она ходила, что-то делала, но уходили они в школу, работа валилась из рук, кусок в горло не шел. Замирала и часами смотрела в одну точку. Порой, забывшись, тихонечко тянула какую-то старинную, всеми забытую песню. И так надрывно, так тоскливо тянула, кажется, голову себе о камень разбей, а все в ушах это мычанье не утихнет.

Алтынсес хоть и давно уже примечала это, но, занятая работой, не находила случая поговорить с ней. Да и что она могла сказать, в чем наставить человека, втрое себя старше, да еще собственную свекровь? Если бы старуха сама не заговорила, так и ходила бы Алтынсес, переживала про себя.

В этом году Куштиряк собрался выращивать свеклу — ни дедам-прадедам, ни им самим не ведомый земляной плод. Начали завозить из района семена. Алтынсес вставала с сумерками, запрягала пару лошадей и вместе с другими возчиками отправлялась в райцентр. Ехать недалеко. Посуху бы да в ясный день — четыре часа в оба конца. Правда, в весеннюю распутицу счет с этим расчетом не сходится. Дорога в безвременье, между санями и телегой, и без того невесела, а тут еще упряжь порвется, оглобля выскочит, телега в грязи застрянет. Но Алтынсес любила эти поездки. Сядет на мешки, едет себе, всякие досужие сплетни и пустые советы в уши не лезут, клубок своих дум вольно разматывает...

В день, когда состоялся разговор со свекровью, Алтынсес выехала в хорошем настроении. Ночной морозец

затянул лужи ледком, земля подмерзла, до обеда не развезет — сведи лошадь с черной размешанной, а сейчас блестящей смерзшимися комьями дороги на обочину и гони по прошлогодней стерне. Быстро приехала в райцентр, сунула сновавшим во дворе склада мужикам рублишко на табак, те враз загрузили ей мешки. Потом поехала на квартиру, где обычно останавливались куштиряковцы, распрягла лошадей, засыпала овса, который пуще глаза берегла, два совка. Овес съели — дала сена. Вот теперь можно было, как с вечера задумала, пойти на базар. У Алтынсес было немного денег, масло и яйца продала, скопила, и свекровь, чтобы приоделась невестка, дала кое-что из своих сбережений.

Мимо рядов с молоком, маслом, грудами мяса — один его кусок, на раз сварить, стоил дороже всех ее денег в кармане — Алтынсес прошла, только глаз скосив. Прошла в дальний угол базара — туда, где был «толчок». «Машхар» [1], о котором говорят старухи и о котором написано в Коране,— этот самый толчок и есть. Женщины всех возрастов, подростки, мужчины в полувоенной одежде, кто с пустым рукавом, кто на деревянной ноге — весь этот муравейник кружится, из стороны в сторону качается. Продают, продают, продают, и хоть бы кто-нибудь что-нибудь купил. Кричат, свой товар нахваливают, шум, крик, тянут, толкают. Гармонь надрывается, жалобную песню поют. Дядька-инвалид, надсадив горло, сипит:

— Спички, спички, спички, кому спички-и?

Ему вторят два женских голоса — один визгливый, другой басовитый, хриплый:

— И-иголки! И-иголки! Мыло! Астраханское мыло!

— Ш-шелковые ленты! Кр-раски!

Чего душа ни пожелает — все на толчке есть. Молоденький солдат продает привезенный из Германии аккордеон; по-городскому одетая, накрашенная, с тонкими, выщипанными бровями женщина ловким движением заворачивает рукав и подмигивает: «Не желаете?», от запястья до локтя — трофейные ручные часы всяких марок. Натянув один поверх другого несколько пиджаков и пальто, обливаясь потом, вразвалку ходит дядька, приглянется ему кто, подойдет и распахнет свои сорок одежек: выбирай. Запах нафталина расходится далеко во-

---

[1] Машхар — судный день.

круг. Два парня зажали что-то под мышкой и, быстро, озираясь, спешат, будто огонь у них за полу зацепился.

В стороне, возле забора, с гроздьями лаптей, с желто-белыми мотками вожжей, веревок на шее, разложив деревянные лопаты, грабли, выточенные из цельного дерева большие и малые кадки, топорища, плоские широкие веяла и прочую хозяйственную утварь, развернул торговлю деревенский люд.

Поодаль — грустные старухи в толстых шалях, хмурые старики. Тут стоят старые патефоны, примусы, настенные часы, чугунки, кастрюли, мелкая посуда, разная другая рухлядь — последняя память разоренных очагов.

Алтынсес продралась через толпу, из сил выбилась, к тому же потеряла рукавицу и две пуговицы с телогрейки оторвали. Но это не расстроило ее, наоборот, только настроение поднялось. Кто-то дернул ее за рукав, оглянулась — старуха с иссохшим, темным лицом, что-то бормоча, протягивала ей туфли на высоком каблуке. Еле поняла:

— Иди сюда, иди, детка, такое упускать грех... бери, задаром отдаю.

Алтынсес представила себя на этих высоких каблуках и расхохоталась. Старуха поняла, что с этой каши не сваришь, проворчала:

— Вот бестолковая,— и пошла прочь.

Настроение поднялось еще больше. Робость, которая была поначалу, совсем прошла. Рядилась упорно, долго и купила по сходной цене два почти новых платьица и две шерстяные шапочки для Зои и Нади, большой «французский» платок — свекрови. О себе же только подумала. Красивые платья, блестящие резиновые сапожки попадаться-то попадаются, но куда в них Алтынсес пойдет? Ничего, обута, одета. Два платья на смену имеются, плюшевый жакет, не новый уже, но вид еще есть, кожаные сапоги. Пока и это сойдет, а потом вернется Хайбулла, справит все новое.

Что надо, все купила и базар посмотрела, пора запрягать лошадей и трогаться домой.

Алтынсес уже повернулась, чтобы уйти, но, заметив, как три вороватого вида мужика притиснули к забору по-городскому одетую женщину со светлым печальным лицом и что-то требуют от нее, остановилась.

— Вот упрямая баба! — грубым голосом говорил один.— Полторы тыщи! Не стыдно тебе? Костюм весь залежалый, из погреба, что ли, достала?

— Шабаш! Бери восемьсот и радуйся, барышница! — другой тут же вцепился в новый зеленовато-голубой костюм, висевший у женщины на руке.

Та, чуть не плача, тянула к себе, а вороватый мужик — к себе.

— Вы что делаете?! — закричала Алтынсес.— Отпустите! Не то милицию позову!

Все трое быстро юркнули в толпу. Женщина, не поднимая головы, завернула костюм в белую тряпицу и пошла к воротам.

— Ну-ка, покажи товар,— сказала Алтынсес, догнав ее.

Женщина быстро вытерла слезы и как-то неожиданно тепло улыбнулась.

— Для мужа присматриваешь? Хранила как память о Зарифе, да вот дети... каково им без катыка и молока? Хотела продать... Уф, один стыд чего стоит! — она покачала головой.

Алтынсес взяла костюм и осмотрела, с руки на руку переложила и в восхищенье сказала:

— Ой, красота какая! — И вздохнула: — Моему Хайбулле в самый бы раз...

— Так возьми.

— У меня денег таких нет, апай.

Другая бы: нет, мол, денег и не морочь голову,— повернулась и пошла. А эта улыбнулась только и стала участливо расспрашивать. Слово за слово, завязалась беседа. Алтынсес забыла про смущение, рассказала о своей жизни.

— Верно, верно, сестренка,— сказала женщина.— Хоть и без вести пропал, надежду терять нельзя, все равно вернется, нежданно-негаданно вернется.

Женщина рассказала, что она учительница и что директор в их школе тоже ушел на фронт и три года от него писем не было, а он недавно взял да вернулся, живой-здоровый.

— Ой, неужто правда? — вскрикнула от радости Алтынсес.

Скорей домой! Надо об этом свекрови и матери рассказать! Она сунула костюм обратно в руки женщине, повернулась и пошла.

— Погоди, погоди, куда ты понеслась? — женщина догнала ее уже за воротами базара.

— Подруги там, дожидаются...— нетерпеливо сказала Алтынсес.

— Подожди немного,— пряча улыбку, она тщательно завернула костюм и, словно прикинула на вес, подержала на ладони.— Я тебе и дешевле продам. Бери, бери, все равно никаких денег больше чем на неделю не хватит — такая теперь дороговизна,— и сунула сверток ей под мышку.— В сорок первом на май справили, ни разу даже не надел Зариф. В конце апреля забрали на сборы, и с тех пор... В августе похоронка пришла.

Было видно, что со своим горем она уже свыклась. Голос печален, но глаза сухие, лицо и руки спокойны.

— Ох, апай! — Алтынсес обняла ее.— Может, кто и твою цену даст. Не хочу я у твоих детей кусок изо рта вырывать. Не надо!

— Пустое. Ты лучше имя свое и аул скажи, вдруг дорога выпадет.

Познакомились. Учительницу зовут Алмабика, фамилия — Тагирова, адрес свой сказала — улица Коммунаров, пятый дом. Услышав имя Алтынсес, она улыбнулась:

— Какое у тебя имя красивое, никогда такого не слышала!

— Имя-то у меня Малика, но я его уже забывать стала. Как назвал Хайбулла, так и все теперь: Алтынсес да Алтынсес.

— Любимый, да не найдет, как свою милую назвать! — вздохнула Алмабика. Наверное, вспомнила что-то, лицо ее посветлело. Но тут же улыбка погасла, и она заторопила Алтынсес.— Ладно, ты на работе, иди, от подруг отстанешь.

Алтынсес и не поблагодарила толком, побежала на квартиру.

Поначалу душа была не на месте: с чужого плеча костюм! Да еще без копейки денег осталась, но зато вернется Хайбулла, и сразу есть что надеть. И все сомнения разлетелись. Но больше всего радовалась она рассказу Алмабики о том директоре.

Придя домой, она перво-наперво расцеловала маленьких золовок, потом дала подарки. Зоя с Надей тут же надели новые платьица и шапочки и умчались из дома, к соседям и подругам, а прежде всего к бабушке Фаризе и Нафисе — похвастаться-покрасоваться, получить гостинец за обновку. Алтынсес накинула на свекровь «французский» платок и после того, как старуха поохорашивалась перед зеркалом, достала костюм.

— Это Хайбулле! — улыбнулась она. Хотела расска-

зать о случае с директором школы, как Мастура сдернула платок с головы и вышла на другую половину. И до самой ночи не проронила ни слова. Взгляд опущен, бесцветными губами жует; сказать бы «сердится» — да нет, не сердится, сказать бы «в замешательстве» — печальна как-то. Алтынсес оставила ее в покое, нрав свекрови хорошо знала: коли замкнулась — допытываться бесполезно, жди, когда сама заговорит. И вправду, только невестка улеглась, Мастура присела к ней на кровать. Алтынсес хотела сесть, но та удержала ее:

— Лежи!

Долго молчала. О чем-то думала, склонив голову на плечо, будто к шорохам в своей душе прислушивалась. И Алтынсес молчала, с тревогой ждала, что же скажет свекровь.

Наконец старуха заговорила:

— Эх, дочка, нет чтобы о себе подумать, костюм этот взяла...— В усталом голосе и мягкий укор, и слабая похвала. Чтобы узнать, чего же больше, Алтынсес без всякого выражения сказала:

— Вернется — готовая одежда...

— Был бы цел-невредим, одежда нашлась бы...

— Чем искать...

— Если бы вернуться должен был... столько бы не пропадал,— круто повернула разговор свекровь.— Ты ли не ждала? Ждала... Цветущие годы твои зазря проходят.

Алтынсес, откинув лоскутное одеяло, попыталась сесть. Высохшая рука удержала ее. Они немного потолкались так, и Алтынсес спрыгнула на пол. Слова, слезы, которые в ожидании, молча, копила весь день, подступили к горлу.

— Ты... что ты говоришь!..

Свекровь и взгляда не подняла, когда невестка, дрожа как в лихорадке, заметалась по дому. Так же, склонив голову на плечо, она продолжала:

— Я мать, невестушка. Больше твоего сердце надрывается. На твоих глазах волосы мои поседели, как ковыль стали... Четыре года каждая в своем углу ночами слезы льем. Иссякли мои слезы, сердце иссохлось. Значит, правда: от судьбы не уйдешь.

Алтынсес, не помня себя, схватила свекровь за плечи и затрясла ее:

— Что ты говоришь! Он живой, живой! Не знаешь, где он, что с ним, а завела упокойную!

Мастура только подняла глаза и снова опустила. Ал-

тынсес без сил села на пол и уткнулась лбом в край кровати. Свекровь провела рукой по сверкающим, как соломенное свясло, волосам:

— Сама вдова, и вдовьи муки знаю... За троих ты, дочка, работала, не спала, недоедала, дом в чистоте держала, себя в строгости, была скромна, почтительна. Кроме спасибо, ничего не скажу... Теперь время тебе самой любить и радоваться. Век свой возле меня не просидишь. Мне уже помирать пора, а у тебя вся жизнь впереди. Обиды у меня нет, благословляю: возвращайся к отцу и матери. Пройдет время, успокоишься, утешишься. Одна не живи, вдова — полова, найди себе пару...

— Жив Хайбулла! Я его здесь ждать буду! — со страхом чувствуя, как тяжелое холодное сомнение затопляет все внутри, и пытаясь выплеснуть его, она твердила: — Жив, жив, жив...

Но свекровь будто ничего не слышала. Видно, слова свои она вынашивала давно и теперь, уверенная в своей правоте, лишь сообщала твердое, принятое за годы решение.

— Люди поймут, не осудят. Имя твое незапятнано, помыслы чисты. Честь свою берегла, несла достойно, а честь — ноша нелегкая.

— О какой ноше говоришь, мама! Разве я вьюк несла, кем-то навьюченный? Разве я Хайбуллу по приказу жду? Этой надежды даже ты меня лишить не можешь, нет у тебя права.

— Эх, дочка! Какое может быть право у матери? У нее только и есть — долг да обязанность.

— Тогда не гони,— Алтынсес, давясь слезами, положила голову ей на колени. Свекровь сняла с себя шаль, укрыла ее. Алтынсес плакала и все не могла выплакать обиды.— Куда мне идти, что делать? Все мои радости, все надежды — здесь, возле твоего очага. Или ты забыла все... все, что мы вместе пережили за четыре года?

— Очаг...— повторила Мастура.— А кого он согреет, очаг, в котором пламени на полвершка? У такого огня не греться, на такой огонь только смотреть и печалиться хорошо. Одной печали человеку мало, доченька. В груди у женщины неувядаемый цветок живет, ему другое тепло нужно.

— Надежда его согреет.

— Согреет, если не напрасная. А твоя надежда от слез солона... Постой, постой, знаю, что скажешь... Другое время настало, невестушка, а то, которое свело нас,

уже прошло. Вместе тянули воз судьбы, спасибо, дальше потяну одна.

— Никуда я не уйду, мой дом здесь,— сказала Алтынсес. Сказала твердо, уверенно — так ей показалось. Но где-то в уголке души шевельнулось сомнение. А может, неспроста говорит все это свекровь? Может, узнала что-то? И значит, доводы у нее крепкие... А что у Алтынсес, что у нее-то есть? Любовь и вера — вот и все ее доводы.

А старуха гладила ее по голове и говорила свое:

— Коли встретишь хорошего человека, опять тот цветок оживет. Совсем ты молодая... Есть джигиты — за тебя в огонь и воду пойдут.

— Ох, мама! — Алтынсес закрыла лицо ладонями.

— Не стыдись, нечего стыдиться. Какой листик на ветру не колыхнется? Откуда знать, может, там твоя судьба?

— Нет, нет!

— Ложись-ка, вон как замерзла,— Мастура вдруг оживилась, уложила ее, как малого ребенка по спине похлопала, накрыла одеялом, подоткнула.— Больше ничего не скажу. Думай сама.

А невестке есть о чем подумать. Свекровь ведь не тех джигитов помянула, что, блестя глазами, пестрые слова рассыпают, случайной поживы ищут. Такие раза два обожглись и теперь Алтынсес далеко обходят. Она Сынтимера вспомнила.

Эх, Сынтимер, Сынтимер, разве мало тебе девушек в ауле?

Четыре года уже, как вернулся он с фронта, и до сих пор ни к кому сердцем не привязался, четыре года по улыбке Алтынсес, хотя бы одной, томится... Оба они надеждой живут, но каждый — своей. Жалеет его Алтынсес, уважает, если что — горой за него встанет, но того чувства, которого ждет Сынтимер, нет и не придет оно к ней никогда. Сынтимер и сам это знает, но тоже ждет, на какое-то чудо надеется.

В прошлом году на Майский праздник Алтынсес крепко на него обиделась. И было за что...

Вечером в клубе состоялось собрание, а потом концерт. Алтынсес отчего-то растревожилась и, как только молодежь начала расставлять скамейки вдоль стен, поспешила домой. Выйдя в темноту, она поначалу ничего не видела, осторожно прошла по крыльцу, и тут кто-то схватил ее за руку. Пахнуло водкой. У Алтынсес мурашки пробежали по телу — она узнала Сынтимера.

От стыда, от обиды, не зная, что делать, она сильно толкнула его. А он, под смех куривших у крыльца мужиков, под взглядами возвращавшихся домой женщин и детворы, опять ухватил ее за локоть. Алтынсес никогда не видела Сынтимера пьяным и не слышала, чтобы он пил. Наоборот, в ауле его хвалили за трезвость. Потому она, удивленная, испуганная, опять стала вырываться. Из темноты подали совет: «Смелее, Сынтимер! Баба — что лошадь норовистая, узду крепкую любит». Парень совсем расхрабрился, заговорил горячо: «Эх, Малика, Малика! Веришь, при всем народе говорю: больше жизни люблю тебя... выходи за меня. Хайбулла твой...» Алтынсес резко отшатнулась, и, не удержавшись, Сынтимер вытянулся во весь рост и скатился с крыльца. Все вокруг — и когда только набежать успели! — рассмеялись. Тот же голос сказал: «Эх, брат, такую бабу рукой, из пары одной, и не обротаешь. Тут полная пара нужна»,— но сразу оборвался. Видать, по губам получил советчик.

Алтынсес уже отбежала немного, но остановилась и вернулась обратно. Сынтимер лежал лицом вниз, не шевелился. Смех все не умолкал, еще бы, такую потеху и за деньги не увидишь!

Алтынсес присела на корточки, нащупала фуражку, надела на него, потянула за рукав: «Вставай, Сынтимер-агай, вставай, пойдем домой». Он поднял голову, сел: «А? Это ты, Малика?» Наверное, во всем ауле только он и Фариза называли ее прежним именем. «Ты это?» — повторил он. Потом вдруг уткнулся лбом в плечо Алтынсес и всхлипнул, но тут же тряхнул головой, встал тяжело и, пошатываясь, пошел по улице. Уже порядком отойдя, громко, срывающимся голосом запел:

Чем сжигать в тоске-печали,
Лучше брось меня в огонь...

Алтынсес бегом догнала его, взяла под руку и довела до самых ворот.

После этого Сынтимер долго никому не показывался на глаза. И только через неделю, потемневший, исхудавший лицом, стал появляться на людях. И без того-то скупой на слова, он совсем замкнулся, нелюдимым стал. Женщины пошушукались было: «Сынтимер Алтынсес сватает, и, кажись, дело слажено»,— но вскоре и этот досужий слух затих. Сплетня, что огонь, все новых происшествий требует, иначе затухнет. Но Сынтимер больше оказий не подбрасывал. Бледный, худой, волоча взгляд по

земле, ходил своей дорогой. Алтынсес — своей. Самый вид его на какое-то время был подсыпкой пересудам, но тоже набил оскомину, замолчали совсем. Пришлось досужим куштиряковским языкам что-нибудь другое для обмолота искать.

Кадрия попробовала выведать у подружки, что к чему, но поняв, что ничего-то и не было, усмехнулась: «Значит-таки, на мою долю он выпал». Год после Углича на лице у нее даже тусклая улыбка не шевельнулась, только сейчас начала отходить.

...Проплыла эта усмешка подруги в ее утомленном тяжелым разговором со свекровью сознании, и Алтынсес уснула.

А Мастура при каждом удобном случае твердила свое. Видать, все уже у ней обдумано, взвешено. И в той жизни, которую ей осталось прожить, на Хайбуллу и Алтынсес расчета не держит. Потому решение твердо, суждения безоговорочны.

Алтынсес же затаила в душе обиду: «Эх, свекровь, свекровь, думаешь, для добра стараешься, а сама последней опоры лишаешь!»

Фариза тоже в последнее время в дом к сватье зачастила. Она, как Мастура, обиняком не ведет, говорит прямо: «Если тебе Сынтимер не подходит, выбирай другого. А по мне, так лучше и не надо, хоть и однорукий, а за четыре руки работящий, добрый, нравом спокойный, за тебя душу отдать готов. Только вот табак курит...» И тоже дочкиной души не понимает, все к повседневным заботам сводит. Ее винить трудно, тоже настрадалась. Сын, первенец, самый любимый, за два месяца до конца войны погиб на Карпатах, муж вернулся наполовину калека, никакая работа не по силам, даже почту разносить не смог, оставил, целыми днями, кашляя надсадно, возится во дворе. Ладно, хоть есть Нафиса. Она, как и Алтынсес, и зимой, и летом в работе, любое дело с руки — и сена накосить, и дров заготовить. Одна отрада, на нее только и смотрят отец с матерью. Младшему сыну еще двенадцать и ростом мал, на послевоенных хлебах не шибко растет.

Как и говорила когда-то Мастура, Гайнислам сильно изменился: утихомирился, покладистым стал. И не только потому, что легкими маялся — весь нрав другой, ничего от ревнивого Гайнислама не осталось. Раньше говорили: «Это какой Гайнислам? Их в Куштиряке трое».— «А тот, ревнивый». Теперь же со всеми мягок, с женой на каждом шагу советуется: «А что, мать, если вот это так

сделаем, а вот это — так?», а заспорит жена, он уже согласен: «Ладно, Фариза, я и сам так думал».

Оттого ли, что и сам страдал, оттого ли, что в войну всякого пережил, под старость Гайнислам к людям, к чужой беде понятлив стал. И дочку лучше, чем жена и сватья, понимал. По-своему заботился, входил в ее печали. «Хайбулла смалу смышленый был. На отца похож, смелый, решительный. Этот все одолеет и домой вернется. Такие люди не пропадают»,— ободрял он дочь. По присказке «тебе, сын, говорю, а ты, сноха, слушай» слова эти, кажется, больше были предназначены Фаризе. И жена к этому же склоняться начинала. Зайдет среди женщин разговор о Хайбулле, у нее мужнины слова наготове, еще и от себя подбавит: «От Фаризы родилась дочка, от Фаризы! Весь род у нас такой: коли полюбила, так уж навек. Вот и ждет. Что она, в девках засиделась, чтобы мужа искать? И зять Хайбулла каждый раз в белой рубашке снится, и все время смеется! Вернется, непременно вернется!»

Но Фариза — она Фариза и есть. Посидит вечерок со сватьей, опустошат самовар, и она уже ее песню поет. Сначала точит мужа, а потом при случае и за дочку берется.

Она-то хоть «при случае», а свекровь все время рядом, настойчива, одно твердит: «Эх, дочка, дочка, день и ночь до изнеможения работала, никакие лишения тебя не обошли. Не тот изведал, кто жил, тот изведал, кто пережил. Так что пора тебе лишениям своим закрыть счет».

Пусть так, пусть поверит Алтынсес, что не вернется Хайбулла, и уйдет из этого дома. А если тогда-то и начнутся настоящие лишения? Полюбит ли кого-нибудь, сможет ли? Пусть заведет она семью, пусть. Но ведь Хайбулла-то все равно вернется. Он вернется, а у нее — семья! Нет! Уж если столько мучилась — будет терпеть и дальше. Вернется муж и закроет счет. А она при свекрови будет, там, где ее оставил Хайбулла.

В этом году ей исполнится двадцать один год.

И свекровь, и мать говорят: тебе свою семью строить надо. Семейная жизнь... Алтынсес и узнать не успела, что это такое. Словно и не замуж вышла, а от родной матери к матери-свекрови перешла. Семейная жизнь, да безмужняя. И материнское счастье улыбнулось скупо, как низкое зимнее солнце, и закатилось. Порой она свое тело кураем-сухостоем ощущает — все соки в тоску, на ветер ушли, уже не женщина. Полый курай на ветру. Спит,

бодрствует — гудит в ней, как в курае, тонко гудит, горько. Опадет, затихнет этот гул, но только случись какая самая маленькая беда — снова ползет, ползет, поднимается, расширяется, так гудит, что кажется: и его, это гудение, как свекровино мычанье, уже другим слышно.

Вот это гудение и согнало сегодня Алтынсес с телеги, и она со сломанной косой пошла сюда, на Змеиное лежбище. Шелест одинокой березы, тайной наперсницы, заглушил его, а потом он совсем стих.

6

...Так, оцепенев, долго стояла Алтынсес. Потом открыла глаза, нежно погладила ствол, мягко отвела молодые побеги. «Малика. Хайбулла» — два имени были глубоко вырезаны на стволе. Тамга любви. Пропал Хайбулла. Мета осталась.

Четыре года ни весточки от Хайбуллы. Есть ли он на этом свете? Жив ли хоть? Или четыре года уже... Даже это неведомо. Ждет Алтынсес. А когда совсем уже невмоготу, приходит к этой березе. Рядышком два имени, тесно друг к другу прижались, нет между ними четырех лет. Только чуть заплыли буквы. Потому что живет береза. Тело, говорят, заплывчиво, а память забывчива. Алтынсес же и телом, и памятью помнит Хайбуллу.

Она подняла голову и огляделась. Все было так же, как в прошлом году, и в позапрошлом, и четыре года назад, когда приходила сюда с Хайбуллой. Как в ту далекую пору, когда Алтынсес была не Алтынсес, а Маликой, как в тот вечер, когда Хайбулла впервые погладил ее по волосам.

Солнце зашло за отроги и печальный багрянец покрыл всю землю. Внизу, у подножия скалы, билась вода. Все так же. Для бескрайнего мира четыре года — один вздох. И для нее тоже. И она прожила, как один вздох. Только вздох тяжелый, много в него вместилось горя и страданий.

Все как тогда. И береза такая же, только одна ветка высохла. И даже, усмехнулась она, косу сломала так же, как четыре года назад. А косу эту в первый раз отбил для нее Хайбулла. Такой уже не найдешь.

Но в район все равно пойти надо, теперь и повод есть — коса. Там она пойдет к учительнице Алмабике, поговорит с ней, уж в этот раз подробно расспросит о том директоре. Может, и с ним самим удастся поговорить.

С тех пор как познакомились весной на базаре, она с Алмабикой больше не встречалась. Начался сев, потом прополка, а там уже и сенокос. Раза два только послала через Кадрию немного картошки, масла, корота, получала от нее приветы. Но повидаться, поговорить никак не удавалось. Алтынсес казалось, что именно у этой женщины с таким приветливым именем и таким же приветливым, как яблоко, лицом, и к тому же учительницы, есть какие-то слова, которые по-особому утешат ее, и она знает что-то такое, какую-то правду, которая укрепит ее надежду.

...Утром свекровь помогла собраться в дорогу. Зная, что невестка зайдет к Алмабике, с вечера сварила и вывесила отжиматься свежий творог, из последней чашки заветной белой муки приготовила баурсак, положила в кружку масла, завернула в старый платок два десятка яиц, твердые, словно осколки камня, куски корота, два листа сухой пастилы,— смородиновой и рябиновой — все это уложила и увязала в скатерть.

Алтынсес без всяких происшествий еще до полудня пришла в райцентр. Впрочем, одно маленькое происшествие было.

Выйдя из аула, она, чтобы сократить хоть немного путь, пошла через кусты, по тропкам, вытоптанным бродившей здесь скотиной. День тихий, светлый. Пахнут цветы, с куста на куст, трепеща крылышками, перелетают мелкие птицы, от ног то ящерица юркнет, то, распустив огненные крылья, отпрыгнет похожий на маленького дракона кузнечик, то важно отползет жук.

Быстро шагала Алтынсес. Вдруг услышала в кустах жалобный верезг, звякнуло железо, затрещали ветки. Она остановилась, прислушалась. Снова лязг, и снова треск ветвей. Подавив страх, она развела кусты рукой, заглянула, и сердце зашлось. Под молодой ольхой, весь в крови, бился в капкане заяц. Дернет перебитую зубьями лапку, проверещит жалобно и замолкнет. Кто-то занялся таким вот промыслом в скудное время, кому-то пропитание этот заяц. Но Алтынсес об этом не думала. Чуть не плача от жалости, она осторожно подошла к зайцу. Тот заметался, задергался отчаянно, звеня цепью, потащил капкан в сторону. Алтынсес подняла с земли сук и, приговаривая: «Постой, постой, дурачок... спасу тебя, выпущу, пока никого нет... Ну, не дергайся, ладно?» начала разжимать челюсти капкана. Пальцы, рукава выпачкала в крови. Заяц то ли от ужаса, то ли поняв,

что человек хочет помочь ему, совсем затих. Даже когда она освободила ему лапку, какое-то время сидел неподвижно. Потом, прихрамывая, наискось, запрыгал в кусты, ветки качнулись, и он исчез.

Алтынсес, растревоженная, пошла дальше. Придя в райцентр, она заглянула в два-три магазина, обошла весь базар, но косы, разумеется, не нашла. Так уж заведено, ищешь вещь — ее-то и нет. Сынтимер вчера сказал: «Ладно, в случае чего, мою возьмешь». Пусть что угодно болтают, вечером же зайдет и возьмет у него косу. Хватит об этом думать, надо идти к Алмабике, улица Коммунаров, пятый дом. Может, повезет и с тем директором встретиться.

Низкий длинный дом, похожий на барак, глянул на нее неприветливыми окнами, и Алтынсес в недобром предчувствии замедлила шаг.

В конце коридора, откуда вместе с угаром от гудящих примусов тянуло запахом пригоревшего лука и паленой шерсти, то ли бранились, то ли галдели просто так четыре женщины. Алтынсес с опаской подошла к ним. Поначалу на ее вопрос об Алмабике женщины, занятые своим разговором, не обратили внимания. Кричат, смеются, руками машут, кому-то косточки перемывают. Наконец высокая рыхлая женщина, прервав раскатистый смех, ткнула пальцем в одну из дверей. Другая, запахивая руками халат на груди, кланяясь, дурашливо залюбезничала:

— Милости просим, красавица, проходи, скоро и угощение готово будет. Коли взаправду плачешь — из бельма слезы побегут. И животворненькой капли две найдется...

Алтынсес готова была броситься к выходу, но тут на шум вышла сама Алмабика.

— Хы, с нами и знаться не желают! — сказала женщина.— Ладно, нам больше достанется.

Алмабика, не ввязываясь в разговор, сразу ввела гостью к себе.

— Опять выпили. Ты не сердись на них. Несчастные, вот и бывает, с горя...

Пока Алтынсес развязывала скатерть и раскладывала гостинцы, Алмабика поставила самовар, накрыла на стол.

— Апай, как бы этого директора повидать? — сказала Алтынсес, когда сели за стол.

— Какого директора?

— Ну... директора школы. Вы же рассказывали — который столько лет пропадал, а нынче вернулся, помните?

— А-а, этого... Его сейчас нет, в город уехал, по школьным делам,— с запинкой ответила Алмабика.— Не повезло тебе, в другой раз повидаешь.— Чтобы скрыть растерянность, она сходила за перегородку, помешала в кастрюле.

Беседа потекла дальше. Алмабика все улыбалась, расспрашивала о новостях, потчевала чаем. Словно не замечая, что гостья молчит, только отвечает коротко «да» или «нет», рассказывала, что обоих сыновей проводила в пионерский лагерь, а сама, как вышла в отпуск, вместе с остальными учителями ремонтирует школу.

Алтынсес сидела и не могла одолеть внезапного отчуждения, уже понимала, что слов, за которыми приехала, не будет. Потому, слушая сквозь свои думы рассказ Алмабики, укоряла себя, что ходит, только людям хлопот доставляет. Тут еще звякнула ложка, и звук этот будто по спине ударил, напомнил лязг капкана. Перед глазами косо, как-то заваливаясь, прыгнул заяц, и качнулись кусты.

— На той неделе Кадрия заходила. Мой привет, наверное, передала? — спросила Алмабика. Алтынсес кивнула.— О тебе рассказывала. Не знаю, уместен ли будет мой совет...

Алтынсес настороженно посмотрела на нее. Что еще наговорила эта Кадрия? Словечка даже за зубами удержать не может. Наверное, рассказала о том, что свекровь уговаривает ее вернуться в отцовский дом. О чем еще могла рассказать? Впрочем, напрасно злится Алтынсес. Она ведь и сама совета хотела просить, за этим пришла.

— Что же делать, всю жизнь одна не проживешь,— осторожно сказала Алмабика. Гостья молчала, и она заговорила смелей.— Трудно такой, как я: двое детей, не один даже. А у тебя самая пора, и человек есть, который за тебя в огонь пойдет. Не обижайся, милая, говорю, что думаю.

Вначале, поддавшись ее уговорам, Алтынсес согласилась остаться ночевать. Но чем ближе день клонился к вечеру, тем отчего-то тревожнее становилось на душе. Сама не заметила, как начала собираться домой. На удивленный вопрос хозяйки сказала:

— Спасибо, апай. В следующий раз, как только посвободней буду...

— Воля твоя. Думала, поговорим с тобой всласть,

ночь напролет. Свекрови привет передай. Вот, чем уж богаты, эти две пачки чая возьми, к чаю изюма немножко, подруга из Узбекистана прислала.

Она проводила гостью до самого большака.

Алтынсес подавленно молчала. Глупо: шла, чтобы о настояниях свекрови поговорить, посоветоваться, а когда Алмабика сама начала разговор, почувствовала неприязнь. Нет, другого она совета ждала. Думала, что хоть здесь пошатнувшейся надежде опору найдет.

— Апай,— сказала она,— может, вы о том директоре просто так сказали?

— Как это — просто так?

— Может, нет его вовсе? Так, для моего утешения выдумали?

— Вот уж нет! Правда вернулся. И снова директором работает.

Алмабика замолчала и стала смотреть на заходящее солнце. Но вряд ли что видела, в глазах стояли слезы. Шла, разговаривала спокойно и вдруг встала в растерянности, с горькой обидой на лице. Алтынсес виновато обняла ее.

— Все война, все она мутит,— помолчав, сказала Алмабика.— Не хотела я рассказывать, да разве скроешь... Да, вернулся, весело, радостно зажили, будто заново свадьбу справили, в любви и согласье. Я про директора говорю. Галляма-агая, и его жену Асию... А теперь на глазах все рушится... Асия-то уже и не ждала его. Ведь три года малой даже весточки не было! Не выдержала одиночества, с другим сошлась. Того-то давно уже нет, и след простыл...

И опять перед глазами Алтынсес косо скакнул заяц и качнулись кусты. Ну куда он поскакал? Нет, не выживет...

Каждое слово из рассказа Алмабики тяжелой каплей падало в ее переполненное сердце. Еще раз, еще... и вот-вот тоска перельется через край.

— Нет, не может быть...— еле шевельнула губами Алтынсес.

— Осудить просто,— сказала Алмабика.— Но человека и понять нужно. Да, понять... Я Асию не оправдываю, губы не кусай. Вы, молодые, сплеча рубите. А тут все не просто. Когда Галлям пропал без вести, куда только она не писала, даже в Москву поехала. Там сказали: погиб твой муж. Что делать, как жить? Поплакала-поплакала и смирилась. Вернулся Галлям, ничего не сказала,

хотела скрыть свою невольную вину. Да ведь к чужому рту сито не подставишь, услужили, открыли Галляму глаза.

— Не надо, апай...— сказала Алтынсес, вся изнутри сжавшись. А мысли вдруг пошли куда-то не туда: смотри-ка ты, совсем уже вечер, завтра чуть свет опять на сенокос, давно уже дома надо быть, о косе похлопотать, а она, будто и забот никаких, стоит, разговаривает. Она быстро и сухо попрощалась, чем немало удивила Алмабику, и поспешила в аул.

Коса-то косой, но в душе Алтынсес крепло неожиданное решение. Оно было твердым и острым, оно кололо в груди, как длинный осколок косы, но Алтынсес только растравливала боль, в этой-то злорадной боли и находя долгожданное успокоение.

Четыре года назад на этой же дороге встретила она Сынтимера. «Только проводила — скоро домой не жди»,— сказал тогда Сынтимер. Раньше она часто вспоминала это и злилась на него: накликал. Он-то в чем виноват? А теперь и коса, которую пуще глаза берегла, коса Хайбуллы, сломалась. Теперь ее не починишь.

Когда она подошла к мосту через Кызбаткан, было уже темно. Немного над землей, во впадине между пологими холмами горели тусклые огни Куштиряка. Алтынсес перебежала мост и, только шагнула на берег, услышала, что рядом фыркнула лошадь. Перед ней, держа коня под уздцы, стоял Сынтимер. Огонек самокрутки слабо освещал его лицо.

— Привязал к столбу возле правления, а он оборвал поводья и убежал...— кивнул Сынтимер на коня.— Еле поймал.

У Алтынсес пересохло в горле, она переложила узелок в левую руку, потом снова в правую взяла. Вместо того чтобы, как положено, когда встречаешь мужчину, опустить глаза и быстро пройти мимо, почему-то стояла и не двигалась. Сынтимер помолчал и снова заговорил о коне:

— Норов у него такой, не любит, чтобы привязывали. Брось поводья на луку седла, он и будет стоять. А я забыл.

— Не нашла я косу,— перебила его Алтынсес.

Сынтимер тут же забыл про коня.

— Сказал же, возьми мою. Я ее как надо отбил. Старинная коса, не чета нынешним.

— Ни в магазине нет, ни на базаре,— и она взяла у него повод из руки.— Меня ждешь?

Сынтимер глубоко затянулся самокруткой, потом еще раз и, бросив окурок, придавил каблуком.

— Знаю, сердишься,— вздохнул он.— Может, и я на твоем месте...

— Нет, Сынтимер-агай, за что я буду сердиться? Просто...

— Что просто?

— Полон аул девушек. Чем я лучше их?

— Нет мне жизни без тебя. Не смотри, что без руки: никому в обиду не дам. Эх, Малика, Малика! — он поймал ее руку.— Верь мне!

Алтынсес не возмутилась, руки не вырвала, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала...

— Прошлой ночью Хайбуллу во сне видела,— такими словами встретила ее свекровь.— Сено косил, жеребеночек мой, в точности как сватья рассказывала — в белой рубашке, а сам все смеется. Странно, за эту неделю второй раз вижу. Сказала бы, что к дальней дороге, да никому, кроме меня, в дальнюю дорогу еще не пора...

Алтынсес долго лежала с открытыми глазами. Последнюю ночь проводит она в доме, в который четыре года назад привела ее любовь. Подушка под головой, тонкое одеяло, которым она укрывалась четыре года, еще вчера, когда ложилась, хранили неостывающее тепло Хайбуллы. А теперь — все чужое. Будто не родное гнездовье, а случайное пристанище: встанешь утром, скажешь спасибо хозяевам и отправишься дальше своим путем — ты их позабудешь, они тебя.

Мастура тоже не спала. Ходила, выходила, словно искала что-то. Когда появлялось в белесом свете луны ее суровое лицо, Алтынсес испуганно зажмуривалась. Вдруг свекровь подойдет и о чем-нибудь заговорит! Но старуха только метнет взгляд в угол, где лежит невестка, и снова опустит глаза. Или не замечает, что та не спит, или замечает, но не хочет донимать расспросами.

А душа Алтынсес — река, вернувшаяся в берега, очаг, в котором пламя в пепел ушло. Нет обид и нет надежд. И новая жизнь, которая начнется с утра, не радовала ее и не страшила. Да, ради нее Сынтимер в огонь готов войти. Пусть. Женщины Куштиряка шум поднимут. Пусть. Пошумят и перестанут. Одного хочется — чтоб душа унялась. Устала она, одного просит — покоя. А жгучую саднящую надежду нужно затоптать, затоптать так,

чтобы пепел только разлетелся, чтобы даже искры малой не осталось. Она и малая жжется, насквозь проест.

Алтынсес задремала только на рассвете, пугливо и ненадолго. Даже забыться не успела, проснулась и чуть не закричала в отчаянье — тот, давно уже знакомый сон!

— Ох, детка, что с тобой? Так кричала... Сон не выпускал? На другой бок повернись,— погладила ее по плечу Мастура. Было уже светло.— Спи, спи, сегодня вряд ли на покос пойдете. И стадо сегодня не вышло. Вон как льет.

По стеклу бежали струи дождя, гнулись под напором ливня ветки росшего под окошком молодого вяза. В открытую дверь врывался свежий воздух, и было слышно, как шумит на перекате Казаяк.

— Спи, рано еще,— повторила Мастура и вернулась к казану, под которым уже трещали щепки.

Днем Алтынсес долго сидела у окна. Она не могла решить, к кому, в чей дом должен пойти свататься Сынтимер? К отцу и матери, которые уже один раз выдали ее замуж, или к свекрови, из дома которой он возьмет ее в свой дом? Хоть то хорошо, что идет дождь, что все сидят по домам, и еще какое-то время можно вот так помолчать...

Но слух у аула чуткий. Новость, которую Сынтимер сообщил родителям, несмотря на дождь, услышал весь Куштиряк. Фариза, не зная, радоваться или горевать, весь день не находила места, бегала по избе, и дверь открывала, и в окно глядела, не идет ли дочь. Ближе к вечеру и дождь перестал, а Алтынсес все не было. Больше Фариза не выдержала, надела мужнины сапоги и побежала в дом сватьи. С ней увязалась Нафиса.

Недоенная корова, мыча дурным голосом, уже выламывала плетеные ворота хлева.

Фариза вбежала на крыльцо, осторожно заглянула в дом, Мастура сидела в сенях, словно мать-гусыня под крыльями держала, обняв двух девочек. Фариза не знала, как заговорить со сватьей, но тут опять замычала корова.

— О господи! — сказала Фариза и, схватив ведро, бросилась доить, только дочери рукой махнула: нет, дескать, Алтынсес.

— Я знаю, где она! — крикнула Нафиса и побежала на берег Казаяка.

Но до одинокой березы не дошла, на полпути встретила Алтынсес.

— Апай, это правда? — спросила она, шагая рядом с сестрой. Алтынсес не ответила.— Аул как улей гудит.

— Сердишься? — Алтынсес услышала в словах сестренки укор.— Что ты изводишь меня! — сказала она с болью.— Черное дело, что ли, совершила твоя сестра?

— Эх, апай! — заплакала Нафиса.— Если уж ты так, что же с остальных-то спрашивать? Дед Салях в Яктыкуль за водкой поехал, наказал одну овцу в стадо не выпускать. Я помню, он говорил на твоей свадьбе: после войны тебе новую свадьбу справим, я все помню! Вот и делает свадьбу, обрадовался, старый черт! — со злостью сказала Нафиса и снова залилась слезами, причитая по-детски.— Что же это такое? А? Даже подождать не могли, когда дождь кончится!

— Дождь ли, вёдро ли — коли на роду написано...

— Написано? Кто написал? Эх, сестра! Сейчас же пойди и скажи, что пошутила только, останови суматоху!

Алтынсес медленно покачала головой:

— Нет, Нафиса, поздно. Я Сынтимеру слово дала... Я теперь его — и душой, и телом...

Нафиса остановилась, долго смотрела на сестру, потом схватила ее за плечи и стала трясти, что было сил, повторяя: «Ты... ты... ты...» Алтынсес молчала.

Возле ворот дома Мастуры дожидался Сынтимер. Нафиса при виде его повернулась и побежала прочь.

— Надо к твоим сходить,— сказал Сынтимер.

— А?..— Алтынсес кивнула на дом.

— «У нее, говорит, отец с матерью есть, к ним идите. А я, говорит, только рада, благословляю». Заплакала.

Они шли по улице, и хоть быстро сгущались сырые сумерки, казалось им, что из каждого окошка смотрят на них любопытные глаза.

Фариза сделала вид, что не заметила их, шмыгнула в хлев. Нафиса сидела на крыльце и даже не подвинулась, пришлось обойти ее. Гайнислам был в избе один, младший брат бегал где-то.

— Вот, пришли... отец...— с запинкой сказала Алтынсес.— Мама, наверное, говорила.

— Слышали...— сказал Гайнислам, садясь на край хике. Их садиться не пригласил, наоборот, нахмурив брови, сказал: — Ждал. Надо бы нам, дочка, с тобой вдвоем поговорить.

Сынтимер на него посмотрел, потом на невесту и начал сворачивать самокрутку. Видя, что он выходить не торопится, Алтынсес легонько подтолкнула его.

— Завтра дочь из-под родной кровли улетит, новую жизнь начнет, ничего удивительного, если отец хочет поговорить с ней,— сказал Гайнислам, не дожидаясь, когда жених закроет за собой дверь.

Алтынсес присела к столу напротив отца.

Со двора донесся голос Фаризы:

— Ох, не выношу я этого табачного дыма! О аллах! То ли еще увижу!

Алтынсес поднялась было с места, но отец погладил ее по руке: сиди.

— Наверное, за благословением пришла? Не знаю, как теперь, то ли есть такой обычай, то ли нет его. Нынче все сами знают,— сказал он, глядя в сторону.— Я не про тебя, я так говорю. Не малый ребенок, все обдумала, все, наверное, взвесила. И не скажу, что зятя не ждала... Ждала. И Сынтимер — парень смирный, работящий. Но вот зятя Хайбуллу... сможешь ли забыть? Вот что нас с матерью тревожит. Известия о его смерти нет. А в округе слышно, то один вернулся, то другой. Может, жив...

— А если живой человек четыре года ни письма, ни весточки не шлет — это как?

— Да я уж так говорю. О тебе думаю, к добру ли, успокоится ли душа? Воля твоя, мы не против.

— Спасибо, отец.

— Но, как хочешь, дочка, не лежит у меня душа,— после долгого молчания сказал Гайнислам.— Весь день не по себе. Мать тоже места не находит... Вот поговорил с тобой, вроде полегче стало. Ладно, этого можно и не слушать, такие уж мы к старости ворчливые и скрипучие становимся.

Во дворе послышался шум.

— Здесь подружка? — кричала Кадрия странным рвущимся голосом.— Полная тебе отставка, Сынтимер-агай! Говорю же, лучше Кадрии не найдешь! Как ни крути, к этому идут твои дела!

Распахнулась дверь, и влетела Кадрия, следом вошла Нафиса, потом Фариза с ведром в руке, в сенях, не решаясь войти, топтался Сынтимер.

— Телеграмма! — закричала Кадрия, махая маленьким, с ладошку, листком бумаги.— С почты в сельсовет передали по телефону! Сама записала. Ой, поверить не могу, как в сказке! Сама, своей рукой записала!

— Телеграмма? Какая телеграмма? Кому? — вся бледная, Фариза быстро села, сложила руки на коленях.

Кадрия же, будто и не видя страданий Фаризы, молящего взгляда побледневшей, как полотно, Алтынсес, захлебываясь продолжала:

— Сегодня там матушка Сарбиямал дежурит, оказывается. Бегу мимо сельсовета, кричит, иди, говорит, просят телеграмму записать. Вот...— она с изумлением оглядела избу.— Сама, своими руками записала! Сто лет вспоминать буду. Ой, подружка-а!

— Ты что людей мучаешь, трещотка! От кого телеграмма? Кому? — вышла из терпения Фариза.

— Ха-ха! Пляши, подружка! Пусть горы рухнут, пусть реки вспять потекут! Хайбулла твой возвращается! Вот, слушайте! «Такой-то район, такая-то деревня. Получить Аитбаевой Малике. Не позже двадцатого буду дома. Отправитель Аитбаев Хайбулла». Из города Магадана.

— Дай-ка сюда! — Гайнислам вырвал бумагу из цепких рук Кадрии.

— О, господи! — сказала Фариза и бросилась к мужу.

С грохотом упало что-то в сенях.

Алтынсес встала, с бледного лица вся жизнь отхлынула, качнулась и начала оседать на пол. Кадрия обняла ее и посадила на хике.

Запыхавшись, вбежали пять-шесть девушек. За ними повалили женщины, старики, потом пришли мужчины.

Телеграмма переходила из рук в руки. Все верно. От Хайбуллы. Прямо самой Алтынсес.

— А почему она оттуда пришла? Магадан-то вроде бы на востоке,— сказала Сагида.

— В этом, люди, что-то есть. В сорок пятом ребят, которые в плену были, туда отправляли.

— Да-а, вот почему так долго пропадал Хайбулла. В плену, значит, был,— внесли ясность мужчины.

— Нет, я всегда говорил, что зять все беды одолеет! Что живой он! Его так просто не возьмешь! Эх!.. Слышь, мать, налей-ка нам этого самого! Дочка! — но глянул на Алтынсес и только махнул рукой.— Сагида, Кадрия, несите чашки, стаканы.

— Нафиса, дочка, сбегай к сватье, приведи сюда! Может, и не слышала еще! Уф, хлеба немного оставалось, не упомню, где...— Фариза, без памяти расталкивала людей, носилась по избе, то в чулан выйдет, то за перегородку кинется.

К тому времени, когда Алтынсес снова начала разли-

чать голоса, понимать, о чем говорят люди, в избе осталось только четверо-пятеро мужиков. Нет, Сагида еще здесь, ждет, когда Самирхан домой пойдет, и Кадрия возле печки хлопочет, Фаризе помогает.

— Вот жизнь, а? — рассуждал Тахау.— На день только опоздай телеграмма, и гуляли бы мы у старика Саляха. Куда теперь Сынтимер купленную водку денет? И зарезанную овцу? Да, обжег парень губы, и поделом, на чужой кусок не льстись!

Кадрия вскинулась возле печки.

— Спас аллах от греха! — сказала Фариза.

— Зять Хайбулла из нашего рода, и сноха-свояченица-сватья из нашего, с другого только конца. А таким рохлям, как Сынтимер, в нашем роду не место.

— Забыл, как рохля тебя с седла наземь шмякнул? — не выдержала Кадрия.

— Как заговорили про эту свадьбу,— Тахау сделал вид, что не услышал,— валлахи, ушам своим не поверил!

— Поверишь, когда Хайбулла приедет. За все свои подлости ответишь. Еще людей судить берется, чучело!

— Да бросьте вы! В такой святой час скандал затеваете. Ешьте-пейте! — сказал Гайнислам, разливая по стаканам кислушку. Все, и Тахау первым, поддержали его.

Но Кадрия не сдавалась:

— Вот так у нас всегда. Точно дети, показали игрушку — и просохли слезы, пришла радость — и все зло позабыли.

Речь зашла о таких, как Хайбулла, горемычных, которые годами весточки о себе подать не могли. Гайнислам радостно потчевал неожиданных гостей.

— Только жить начала, а сколько бед натерпелась,— говорил он, поглядывая на дочь.— Ладно, все миновало. Как наш старшина говорил: было, да быльем поросло, это поговорка такая у русских. Дай, аллах, дочке с зятем теперь весь век рядышком жить-ворковать!

— Пусть будет так,— сказали мужики, чокаясь стаканами.

— Ну, теперь тут своим ходом пойдет,— сказала Фариза, снова становясь деловитой и озабоченной.— Пойдем, дочка, там, наверное, сватья от радости не знает, что делать. Нафису послали за ней, что-то нет их. Услышал, услышал аллах мои ночные слезы и ежедневные молитвы!

Кадрия вышла вместе с ними. Алтынсес побрела следом за матерью.

Все пять окон Хайбуллы и Алтынсес — да, теперь опять ее дома — горели так ярко, что свет их отдался у нее болью в голове.

Видать, на радостях старуха запалила лампу-тридцатилинейку, которую не зажигала с начала войны. После победы Мастура залила в нее керосин, но повисела она с полгода незажженная, и убрали ее. А теперь наконец-то зажгли.

Проходили тени по занавескам, доносился смех. И здесь соседи сбежались на радостную весть.

— Голова болит, я постою немного,— сказала Алтынсес, остановившись у калитки.

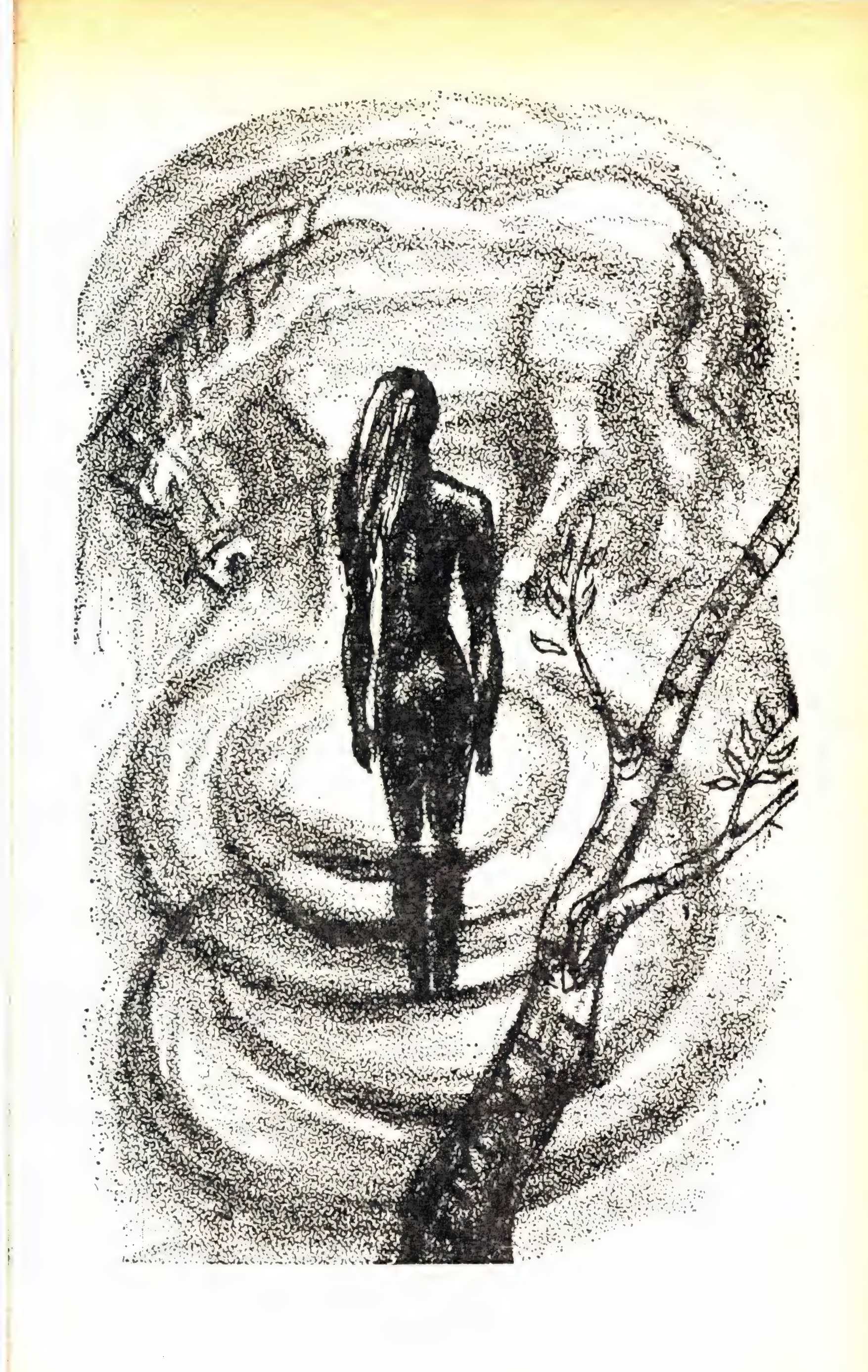
— Не простынь, сыро после дождя,— сказала Фариза и вошла в дом.

Алтынсес послушала, как заплакали, запричитали радостно мать с свекровью, как начали в два голоса говорить что-то, и пошла на берег Казаяка.

Темное небо, умытое ливнем, сияло яркими крупными звездами. Дышится легко. Квакают лягушки, опять дождь обещают. Фыркают поблизости лошади. Заглушая голоса ночи, шумит вода. Нет Казаяку ни отдыха, ни передышки.

Алтынсес долго стояла на берегу, смотрела, как вода ворошила звезды на перекате. Вдруг что-то толкнулось ей в плечо, и теплое дыхание обволокло лицо. Алтынсес быстро обернулась, рядом стояла рыжая кобылица, которую она всегда запрягала. Видать, паслась здесь со своим жеребенком. Узнали и следом пришли! На беду, ничего в кармане у Алтынсес не было. А какое до этого дело Рыжухе? Тоненько, ласково проржала и губами подергала за рукав, корочку хлеба просит. Нечем угостить, так по шее погладь, гриву расчеши, я и на это согласна. Тут раздалось серебристое ржание, кобыла отозвалась. Токая копытами по камням, из темноты выступил голенастый жеребенок. Кобыла, забыв об Алтынсес, начала играть с ним.

Алтынсес побрела дальше. Она дошла до Змеиного лежбища и остановилась. Над головой, наверху обрыва стояла одинокая береза, но Алтынсес почему-то боялась поднять голову и посмотреть на нее. «Прости, Хайбулла. Не держи обиду, милый. Ты жив. Не напрасны были мои ожидания, моя любовь, моя тоска. Ради тебя, твоей лю-



бовью жила. Потому и терпела. Но терпения не хватило. Устала...»

Она уже по колени вошла в воду, как одна струя, отмотавшаяся от туго сплетенного течения, подползла к берегу и захлестнулась вокруг нее. Она сразу вспомнила, что не умеет плавать, и бросилась обратно.

Опять заржал жеребенок, будто серебро просыпал на прибрежные камни. И снова, простучав копытами, подбежал к ней. Алтынсес обняла его рукой, и они вместе вошли в воду. Жеребенок прикрывал ее от течения. «Нет, и не в Сынтимере дело. Родник моей души иссяк. Не в радость будет твоя любовь. И тело мое ты с другим поделил. Нет у меня сил объяснить тебе это. И зачем тебе понимать, родной? Нет, Хайбулла, нет, любимый, не суждено, не обновить нам нашей свадьбы. Видишь, черная туча наползает на небо? Звезды гаснут. Вот моя дорога, я пойду...»

Жеребенок стал вырываться, закинул голову, в страхе заржал, потому что вода все сильнее толкала его в бок. С берега тревожно подала голос Рыжуха. Алтынсес вошла уже по грудь. Все, теперь не страшно. Она отпустила жеребенка. «Иди, милый, спасибо».

Жеребенок вышел на берег, заржал, и теперь уже страха в его оклике не было, звенела радость, по воде она докатилась до Алтынсес. И вместе с ней голоса. Да, да, кто-то кричит, зовет: «Алтынсес! Алтынсес!»

«Буду не позже двадцатого...» Сегодня двенадцатое. Двенадцатое июля. Как раз четыре года...

«Алтынсес! Алтынсес!» — все зовут и зовут голоса. Они все ближе и ближе. Ответила бы, но струя уже у подбородка вьется, плещущую холодную воду страшно глотнуть. А тут еще заспорили из-за Алтынсес омут с перекатом, каждый к себе тянет. Один на мягкую черную траву донных лугов зовет, другой — в звездный сад.

Вдруг кто-то совсем рядом вскрикнул:

— Вот она! О господи, тонет!

Это Кадрия...

Опять прозвенело тонкое ржанье, что-то с шумом упало в воду, и весь мир наполнился грохотом.

Длинный растянувшийся след дошел до порогов, на миг потушил звездную россыпь и исчез в белой полосе бурлящей воды.

КУШТИРЯК

Если уважаемому читателю почудятся в этой книге знакомые лица или события, пусть посчитает это случайностью, которую допустил по своей неосторожности... автор.

1

Куштиряк, Куштиряк... Чем, каким волшебством очаровал ты детей своих, что стали они мечтателями и фантазерами, навечно влюбленными в тебя? Сказал бы, что заворожил ты их чудодейственными свойствами вод твоих, но ведь всей округе известно, какую оскомину вызывает вода Казаяка, стоит только хлебнуть из нее глоток. Похвалил бы красоту здешних мест, но нет вокруг ни подпирающих небо гор, ни дремучих лесов, где нашли бы приют звери и птицы. Единственная зацепка глазу — невысокая Разбойничья гора да с каждым годом убывающие лоскутки мелколесья по ее склонам.

Да, на первый взгляд, скромна и скудна здешняя природа. Но скажите, где еще есть подобное приволье с такими ясными далями? Хоть на коне весь день скачи, хоть на машине мчись — нет куштирякским просторам конца и края. А высота неба, а свежесть воздуха? Расправишь грудь, вздохнешь поглубже, и тело нальется силой, сердце наполнится задором, а воображению откроются невидимые взору мосты, соединяющие землю с небом, сегодняшнее с вечностью,— лети, сын человеческий!

Странное дело, удивительное дело! Скудна и незаманчива эта природа, но автор, который живет сейчас от нее в таком далеке, что и птице не долететь, в мечтах своих всегда в Куштиряке, там, где вырос, где мальчишкой бегал и кувыркался на мягких прибрежных лугах. Чем больше лет проходит, тем чаще и сильнее тянет его туда, на те берега: иди вернись, свей опять на старом месте новое гнездо. Ведь даже люди, когда-то совсем Куштиряку чужие (такие, как, скажем, учитель Шамилов, бухгалтер Фатхутдин Фатхутдинович или зоотехник Алтынгужин), живут здесь, пришиты крепко к этим местам, как медные пуговицы на куртке пожарного. Почему

же автор должен изнывать и маяться в таком далеке! Вернуться, непременно вернуться!

Вот, скажем, молодой Гата, односельчанин автора, из города городов, из самой Одессы, где он, по многозначительным намекам самого парня, как сыр в масле катался,— не вытерпел, домой вернулся. Потянула душа, вырвала с корнем из южного города и унесла обратно на берега Казаяка, к подножию Разбойничьей горы. Правда, был для этого повод. Но повод — он повод и есть, не причина. А причина одна: длинные вожжи у Куштиряка и крепкие. Или вот Карам Журавль, почтенный муж куштирякский. В какой ведь дали десять лет прожил, но и его захлестнула сердечная вожжа, вытянула на родину.

Мужчину мужчиной делает родина, в ней начало начал и сила человека. В достойном месте и люди живут достойно, друг к другу тянутся. А единство жителей Куштиряка, судьбы которых переплетены туго, как нити дорогого паласа, известно повсюду. И также известны их трудолюбие, хваткость, чутье ко всему новому, о чем сама история свидетельствует. Кто, еще когда революция только-только начиналась, поднялся разом и разгромил кичливо стоявшую на той стороне Казаяка барскую усадьбу? Народ Куштиряка. Где был организован первый в этих краях колхоз? В Куштиряке.

Конечно, как на солнце есть пятна, так и в Куштиряке случаются всякие раздоры да ссоры, да и пережитки прошлого еще не выполоты до конца. Но они, как выражается один мой друг-критик, *не портят общей картины.* Так что, если по совести, без придирок —ни зубу, ни глазу зацепки не найдешь. Твердый орешек Куштиряк, чистый кристалл.

Заметим также, что хотя аул делится на три части, то есть Урманбаевы тянут в свою сторону, Сыртлановы — в свою, а третьи стоят в стороне и смотрят, кто кого перетянет, но это совсем не нарушает того единства, о котором говорилось выше. Потому что в нужный момент все крупные и мелкие разногласия отбрасываются прочь, и Куштиряк встает дружно как один человек.

Раздоры же случаются оттого, что с давних пор живет здесь какой-то бес-баламут. По имени его называть боязно, еще услышит и явится, вот народ и кличет его уклончиво и угодливо — Зульпикей. Но бес этот все равно проказит. То на пустом месте скандал взвихрит, то

солидного вроде человека с пути истинного начнет сбивать. Правда, если ему под хорошее настроение подвернешься, может ненароком и доброе дело сделать. Но все равно он из суетного, зловредного племени подстрекателей.

Надо сказать, что еще ни один человек не видел Зульпикея. Где он днюет-ночует (в гнезде или норе); вида-фигуры, жестов-походки его никто не знает. Он не ест, не пьет, сна и отдыха ему не нужно. Как известно, у всякой нечисти, у каждой кикиморы или домового есть свои обязанности. Какая же у этого должность? Ответить на это трудно. Но ни одно смутное дело без него не обходится. Читатель сам увидит: если в нашем правдивом повествовании начнет твориться что-то непонятное и неладное, обстоятельства вдруг запутаются, то это дело мохнатых ручонок Зульпикея. Заметим также, что он любит крутиться возле женщин, особенно неутомим весной, а в других аулах, кроме Куштиряка, не живет и жить не может.

Продолжим хвалу Куштиряку. Мало что работящий, люд здесь веселый и прямодушный. Надо — из мухи слона сделает, надо — верблюда сквозь игольное ушко протащит. Оттого, вероятно, соседние аулы и винят Куштиряк в спеси, в своенравии, в заносчивости и высокомерии, не говоря уже о доброй дюжине других подобных грехов. Услышат слово «Куштиряк» — сразу губы надуют: «Знаем, знаем ваш Куштиряк, нашли о ком... У них и лапти с корыто, и утки с гуся...» Но причина всем наветам одна — зависть. Дескать: «Как же так? На одной земле стоим, даже колхоз у нас один, одним воздухом дышим, через сколько аулов все тот же Казаяк проходит, а вся слава Куштиряку! И автор этот туда же... Только и знает, Куштиряк свой нахваливает. Понятно, каждый кулик... своя рубашка...» Ревнивым соседям ответ наш один: «Эх, друзья! Глядя на гору — горой не станешь! Коли стержень земли, ось вселенной, через Куштиряк проходит — стало быть, так назначено. Нельзя было по-другому! И земля на этой оси вертится исправно, покуда еще никто не жаловался».

Коли уж дело дошло до этих распрей, то, прежде чем перейти к основным событиям, мы обязаны хотя бы в общих чертах описать географическое положение Куштиряка и его славную историю.

В укромной низине, там, где Казаяк широкой излучиной обтекает россыпь холмов, лежит Куштиряк. С ка-

кой стороны ни подойди, покуда в самую околицу не упрешься, его и не увидишь. А вот взять, к примеру, соседний Яктыкуль или Ерекле, так те сидят на верхушке холма, издалека сверкают, выхваляются: «Вот он, дескать, я!» Ну, кто скромен и тих, а кто заносчив и спесив?

Да, притаился Куштиряк в низине, прикрытой со всех сторон холмами. Оттого и возникает вопрос: уж не потому ли он даже на карты не попал? И впрямь: ищи не ищи, а ни на одной карте Куштиряка нет!

Причину этой несправедливости можно объяснить по-всякому. Во-первых, те, кто рисует карты, возможно, приехали в весеннее половодье или в осеннюю непролазную грязь и не смогли переправиться через излучину Казаяка. Во-вторых, у кого нрав самый злокозненный и зловредный? Ясно, у соседа. Вот и соседние аулы могли сказать этим... как их?.. картографам, что дальше, мол, не ходите, дальше и вовсе аулов нет. С них станется!

Разумеется, из-за одного этого Куштиряк себя в никудышных не числит, но тяжесть той давней обиды до сих пор лежит камнем на душе. Почему через Куштиряк не проходит железная дорога? Почему даже эта идущая на Калту дорога, именуемая «саше» (шоссе), обходит его тремя километрами стороной? Все оттого, что Куштиряк в карты не попал. Кто же будет прокладывать дорогу к месту, которого и на картах нет? Позабыли. Пренебрегли. В расчет не взяли. Оттого Куштиряк и в литературу не вошел.

Исходя из этого, нелишне будет уточнить, где же, собственно, находится этот славный аул. Вдруг какой-нибудь неугомонный читатель, а то и писатель решит: чем десять раз услышать, лучше один раз увидеть,— и соберется в путешествие. Так что объяснение наше будет весьма кстати.

Такие великие аулы, как Кляш, Канлы Туркай, или только что упомянутый Калта[1] читателю, вероятно, известны. Скажем, собрался некто из Канлы в Калта. Его дорога обязательно проляжет через Кляш. (Ибо если в древности все дороги вели в Рим, то сегодня Кляш вроде этого самого Рима. Куда ни пойдешь — в Кляш попадешь.) Так вот, минуешь Кляш, оставишь в стороне такие незначительные деревни, как Сафаргали или там

---

[1] Кляш — родной аул Мустая Карима; Канлы Туркай, Калта, Колгына — соответственно родные аулы писателей Хакима Гиляжева, Баязита Бикбая, Нугмана Мусина.

Бишмалай, отмахаешь верст сорок — и подъедешь к развилке. Из двух дорог одна — поуже, но укатанная — уходит в сторону Колгына, в лесные чащобы, вторая — пошире и поухабистей — вьется меж холмов и в степь, в Калту уводит. Куштиряк от этой ухабистой на три версты в стороне лежит.

Куштиряк — хоть и есть норов, да сам не город — аул. Стало быть, хлеб растит, скот разводит, мед собирает, масло сбивает, всяк труд свой пóтом поливает да кумысом запивает. Хотя один куштиряковец, по прозвищу Зариф Проворный, и умничал тут на днях: городской люд, дескать, сытней живет, чем тот, кто хлеб растит, однако и здесь особых нехваток не наблюдается. Белые калачи в куштирякский магазин из райцентра каждую неделю — пожалуйста! С чаем-сахаром перебоя нет, раза два даже колбаса была. А что касается разных горячительных напитков, то тут районные торговые организации работу ведут с точным расчетом: водки отпускают ровно столько, сколько аул может выпить. Ни бутылкой больше. И аул меру знает: сколько пришлют, столько и выпивает. Ни бутылкой меньше.

Пусть соседний Яктыкуль и горячится иной раз: «Знаем мы эту куштирякскую меру! Они для полного счета еще самогон гонят!» — но автор решил этого щекотливого вопроса не касаться. Улик-то нет. План по сдаче сахарной свеклы из года в год выполняется и перевыполняется, а чтобы кого-нибудь на краже этого чудного плода поймали — такого не слыхать. Соседи, правда, болтают про одну бабку по прозвищу Старушка Трешка, что, дескать, стиральную машину для какого-то промысла приспособила. Но кто это видел? И далась им та старушка — пережиток прошлого!

Что же касается славного имени «Куштиряк» — Сдвоенный Тополь,— соседей хлебом не корми, дай только язык об этот тополь почесать. Каких только небылиц, пятнающих куштирякскую честь, не выдумали! Не сдвоенный, мол, тополь, а сдвоенная спесь. Во всем, мол, ауле... и т. п. и т. д. А, дескать, туда же — Куштиряк!

Ладно, что без толку спорить? Остается одно — обратиться к науке. Она живо этим прохво... соседям нашим рот заткнет.

По мнению уважаемого представителя науки учителя начальных классов товарища Шамилова, еще в древности, когда наши предки, отказавшись от кочевой жизни, перешли на оседлую и, поселившись на этой земле,

основали здесь аул, тополь был! Огромный раскидистый тополь. Но — не сдвоенный. Один как перст. И приводит Шамилов слова некоего знаменитого ботаника (и здесь история может пожать ботанике руку): «Дерево это любит расти в одиночку». Вот так вот. С учеными не поспоришь.

Но, как известно, остановившийся на полпути ученый приносит вреда вдвое больше, чем тихо-мирно дремлющий в кресле. Уж если такая голова, как Шамилов, говорил подобную несуразицу, то что же ждать от соседей, которые с наукой отнюдь не на короткой ноге? Яктыкульцы уже и вовсе намутили и набаламутили: «Откуда тополь! Шайтан его воткнул, что ли? Может быть, и торчал какой-нибудь кривой вяз!» Дескать, мы все по чести, по справедливости: дерево, может, и было, не спорим, да только не тополь. Но где же логика? Коли вяз, так и аул бы звался Карамалы — Вязовый!

Такие вот дела. И все оттого, что, как читатель уже догадался, во всем ауле не то что сдвоенного — даже кривого, тощенького тополенка нет. Но ведь был же он! По рассказам аксакалов, когда после революции аул начал разрастаться, народ размножаться, место, где рос тополь, отдали некоему, как в Куштиряке говорят, безлошадно-безтулупному бедняку, а конкретно говоря — отцу Фаткуллы Кудрявого. Но далее мнения стариков тоже расходятся. Одни утверждают, что тополь свалили, а на том месте поставили баню. Другие, тополя и вовсе не поминая, сразу переходят к бане. Вывод: там, где рос тополь, теперь стоит баня, и хотя, стоял ли тополь, точно неизвестно, но баня стоит. (Славное, уточним в скобках, сооружение! И в событиях, о которых мы расскажем, оно еще займет подобающее ему место.)

Как видим, и половинчатое утверждение Шамилова, и расшатанная память стариков четкого ответа дать не смогли. Остается искать свидетельства более прочные, чем человеческая память. И они есть!

Оказывается, от покойного дедушки только что упомянутого Фаткуллы Кудрявого осталась в наследство одна ученая книга, именуемая «Афтияк»[1]. Книга и сама по себе памятник прошлой культуры, а уж сведения, которые, ничего не упуская, записывал на ее широких полях тогдашний неведомый грамотей,— истинное сокровище.

---

[1] «Афтияк» — одна из примитивных книг для чтения.

Кто в пору ржи родился, а кто вопреки обычаю в самые морозы; в каком году какая девушка стала жертвой казаякского дракона (утонула то есть); когда и сколько парней ушло на царскую службу; страшный ливень, лютая сверх меры зима, голод, большая помочь, свадьба,— минуя все эти важные исторические события, запечатленные рукой дотошного летописца, прямиком проследуем к нужному нам месту.

«История достославного аула нашего...» — такими находящимися в полном соответствии с канонами науки словами начинается эта летопись. И далее: «...именуемого Кушти...» (На этом месте автор, подобно своему другу-критику, вынужден хлопнуть в ладоши и воскликнуть: «Эврика!»)

Правда, в самом нужном месте, на второй половине слова — то ли чай разлили, то ли чья-то горючая слеза соленой жемчужиной капнула,— чернила смыты. Обстоятельство, которое у охотника выискивать в чужом глазу соринку может вызвать подозрение. То есть: Куштиряк ли оно, Куштирмэ [1] ли, а может, и вовсе Куштирмэн [2]? Эту сторону дела доверим историкам. Ибо только им с помощью догадок и фантазии под силу неясное сделать ясным, а чего не было — сущим. Изрек же некто: «Олень рогами, мудрец — словами...» Кто, значит, чем силен.

Итак, мы установили: если первая половина славного имени есть «Куш» — «два», сдвоенный, то вторая половина начинается со слога «ти»... Где тут указание на единичность, на вяз или на какое другое никчемное дерево? Где? Нет его! Ни намека! Даже слабой тени от неясного намека не падает на это слово! Наоборот, ясная и неоспоримая правда открывается нам, слепит наш пытливый взор. Истина, которая хрустальными, как бы сказали поэты, цепями соединяет прошлое с днем сегодняшним, истина, которая утверждает имя аула,— что там имя! — славу аула, высокую суть его! И не только почтенные ученые-лингвисты нашего университета, не только те, кто сидел с автором на одной студенческой скамье и учил в молодости разные мудреные языки вроде старославянского или латыни и, скребя в затылке, докапывался, откуда и как появились на свет тот или иной звук и буква, но даже самый нерадивый ученик

[1] Куштирмэ — спаренная юрта.
[2] Куштирмэн — спаренная мельница.

Шамилова невольно сощурит глаза от яркого света этой истины.

Вот так-то, милые соседи. С наукой спорить — что против ветра плевать. Зря упорствуете: собственный плевок на вас же и повиснет. Например, называете вы свой аул Яктыкуль — Светлое Озеро. Ничего замахнулись! А ведь всей калтинской дороге известно, что воды у вас и курице горла прополоскать не хватит. А коли озера и в помине нет, как установить — светлое оно или черное? Сложно, конечно. Совет мой таков: коли привяжется кто, защищайтесь наукой. Хорошо поискать — у вас тоже или «Афтияк», или «Иман шарты»[1], или еще какой другой научный трактат отыщется.

Впрочем, что нам до вас? Хоть Светлым Океаном назовитесь, коль невтерпеж. Валяйте, у Куштиряка душа широкая. К тому же в последнее время нам с соседями спорить недосуг — у самих дела запутались.

Все началось с двух вроде бы меж собой не связанных, а на самом деле нанизанных на одну нить событий. Но чтобы распутать эту нить и вытянуть в плавную линию повествования, автор, следуя совету своего друга-критика, вынужден отступить несколько назад.

...В самом разгаре была кампания по сохранению памятников старины.

Когда из района пришла соответствующая бумага, аульное начальство со значением покряхтело, покашляло, наморщив лбы, подумало да решило: придет другая разъяснительная бумага, тогда и посмотрим,— и с тем снова окунулось в пучину повседневных хлопот и забот. Оно и понятно: сколько бы начальство вместе с активом голову ни ломало — памятников старины, которые требовалось сохранять, не нашлось. Говоря словами главного бухгалтера колхоза Фатхутдина Фатхутдиновича, было полное наличие отсутствия.

Однако не стоит забывать, что за аул Куштиряк. Как это так: все кругом только и знают, что памятники охраняют, а нам, значит, не по чину? Нет! Разве перевелись в Куштиряке мужи, что непознаваемое распознают, непонятное — разъяснят? И чего не было — найдут? Нет,

[1] «Иман шарты» — свод первоначальных проповедей ислама (примитивнейший из учебников).

не перевелись! И один из них, учитель Шамилов, крякнул с досадой: «Эх вы!» — и, выйдя с заседания актива, сразу принялся за дело. Можете не сомневаться: Зульпикей — тут как тут, подсоблять ему бросился.

Бумагу, пришедшую из района, Шамилов изучил досконально. Но еще два дня, нахмурив брови, задумчиво насвистывая, обходил все концы аула, оглядывал и прикидывал, как полководец перед боем. Куштиряк, затаив дыхание, ждал его решения.

Надо сказать, хотя уже тридцать лет прошло, как, окончив училище, приехал Шамилов в этот аул, но пылкие мечты своей юности не растерял до сих пор. Человек образованный, уважаемый и с общественной жилкой — здесь он чувствовал себя представителем науки, послом передовой культуры. Изо дня в день раскрывал куштирякцам глаза. Поначалу он громил лженауки: вейсманизм, морганизм, кибернетику, потом отстаивал кукурузу; с кукурузным початком наперевес бросался в бой, отвоевывая для нее новые и новые угодья. Когда же выяснилось, что те лженауки вовсе не лженауки, а как раз науки, а кукурузу, наоборот, со многих постов сняли,— Шамилов в пламенных речах воздал должное каждому: первых вознес до небес, от второй лишь зернышки полетели — так разнес. За тридцать лет сколько председателей сменилось и забылось, сколько собраний — и каждое жизнь аула в новое русло направляло — отшумело и тоже забылось, неродившееся родилось, юные созрели, зрелые состарились, незацветшее отцвело... А Шамилов все на своем бессменном посту — на страже культуры!

Каждый человек одежду себе по чину и должности выбирает. Это читатель знает хорошо. По десяткам наших, как и подобает, толстенных романов известно, что бригадир, например, или ветеринар ходят в замусоленном старом костюме, в измятой заскорузлой кепке или плохонькой шляпе. Одежда же отрицательного героя зависит от его характера и социальной опасности. В одном случае напоминает павлиньи перья, в другом — шкуру только что вылезшего из логова хищника. Но Шамилов — человек особенный. Он — Шамилов! Одет он в зеленоватый френч, какие носили ответственные работники послевоенного времени, и такого же цвета брюки, заправленные в хромовые сапоги,— этим Шамилов хотел подчеркнуть свой твердый характер. Соломенная же, желтая, как цветок подсолнуха, шляпа давала по-

нять, что человек он умственного труда, привержен к науке, но с некоторой наклонностью к поэзии.

Да, два дня Шамилов ходил в раздумье. По хитрому прищуру глаз и таинственной усмешке, по тому, как он, сняв соломенную шляпу, гладил бледную, выглядывающую из поредевших волос макушку и снова решительно надевал свой знаменитый головной убор, чувствовалось: в этой голове, как лист в почке, набухала идея. И действительно, в итоге раздумий свежим трилистником выглянул на свет план из трех пунктов. Он был аккуратно переписан набело, особо важные места подчеркнуты красным карандашом, а слова «булыжный очаг», «брюшина» и «сознание» — двумя чертами.

В основе этого славного документа лежала мысль: «А что мы, хуже других, что ли?» Впрочем, об этом и говорить лишне. Шамилов теперь уже куштиряковец, и Куштиряк для него — что в перстне глазок.

По плану полагалось: во-первых, как материальный памятник проклятого прошлого и в назидание молодому поколению поставить лачугу с окном, затянутым бычьим пузырем, в углу — булыжный очаг; во-вторых, тоже в сугубо политических целях, поднять стоявшую в руинах мечеть, восстановить минарет, чтобы издалека было видно: вот где затуманивали сознание бедного темного люда; в-третьих, для того чтобы содержание соответствовало форме, посадить на прежнее место одну пару тополей — чем и заткнуть завистливым соседям рот. (Уточняем: к тому времени, когда был поднят вопрос с историческими памятниками, Шамилов от своей теории одинокого тополя уже отрекся.)

Уму непостижимо! Актив первые два пункта этого стройного плана взял за основу, но в корне изменил, извратил и вынес по ним совершенно противоположные решения.

Напрасно Шамилов взывал к активу, отстаивая чистоту своего замысла: «Да постойте же, послушайте! Я прошлым летом, когда в Латвии отдыхал, своими глазами видел: не то что одну избушку — целую старинную деревушку поставили, вроде как музей. А что касается мечети, так и в Латвию ездить не нужно. В соседнее Елизаветино загляните! Церковь, там до этого склад картошки был, заново чинят, реставрируют, красят! А мы что, хуже других, что ли?» (Из этого можно сделать вывод, что елизаветинский-то Шамилов нашего расторопней оказался.)

Актив же, наоборот, решил, что эту мечеть, которая стоит и свет застит, весь вид улицы портит, нужно было убрать давным-давно, и посему: в течение трех дней снести мечеть совсем, а на ее месте разбить садик, посадить деревья, огородить решеткой и поставить памятник в честь погибших воинов.

Лачужка с окном из брюшины и булыжным очагом также была отвергнута. Кто-то вспомнил, что посреди сверкающего зелеными и красными крышами нарядного Куштиряка еще стоят две избушки, покрытые серой полусгнившей соломой, а живут в них матери погибших на войне солдат.

«Стыдно, товарищи,— добавил тот, кто вспомнил эти две избушки.— Они все равно что две дерюжные заплатки на прекрасном башпромовском костюме. Вот тебе и слава аула, вот тебе форма и содержание!» Актив промямлил что-то, покраснел и уставился в пол. Но тут же воспрял, в короткой схватке одолел сопротивление главбуха Фатхутдина Фатхутдиновича и вынес второе решение: упомянутые домишки отремонтировать за счет колхоза, крыши покрыть железом.

Как раз шла подготовка к празднованию великой Победы, и в скором времени первые два пункта шамиловского плана, хоть и в измененном виде, были претворены в жизнь. Но, как видим, Куштиряк и здесь остался Куштиряком — план принял, но все сделал по-своему, с вывертом. Ну что ж, как говорили древние, афарин[1]! С этим все.

А вот с третьим пунктом...

Уважаемый читатель, вероятно, уже уяснил, по какому принципу строится сие повествование. Автор, ставя официальные документы превыше всего, считает необходимым выяснить подоплеку каждого события, докопаться до исторических его причин. Как говорит мой друг-критик, прежде чем разбить губами зеркало воды, загляни в исток родника, из которого собирался пить.

И потому, прежде чем перейти к третьему пункту шамиловского плана, необходимо обрисовать еще одну черту куштирякского характера.

Любят здесь углы срезать. Непонятно? Так и знал. Чтобы понять, надо хотя бы года два пожить в Куштиряке. К сожалению, большинство населения земного

---

[1] Афарин — возглас одобрения.

шара лишено этого счастья и удовольствия, и потому все разъяснения автор берет на себя.

Дело обстоит так. Скажем, собрался некто на ферму. Посему он, пеший ли, конный ли, верхом или на мотоцикле, выехав из аула, должен по гладкой дороге объехать пологий холм. Должен?! Куштиряковец никогда никому не должен. Это, может, в других аулах должны, ибо живут там по старой присказке: хоть в объезд, да проторено. В Куштиряке другой закон. Для куштиряковца каждый изгиб дороги — что аркан на шею. Как, мол, так? Ферма (казаякский мост, Круглое озеро) — вон она где, отсюда видно, прямо передо мной, а я должен в обход шагать (ехать, скакать)? Напрямик! И куштиряковец, присвистнув лошади, или мотоциклу, или самому себе, жмет напрямую. Выигрыш — хоть полкилометра, хоть пять минут,— все выигрыш, он мой, не отдам, себе возьму. Забор ли, пашня ли, озером ли раскинувшаяся дождевая лужа, завалы снега ли зимой — стар и млад прямиком валит, свою тропу торит. А самая бестолочь даже спелой нивы не пожалеет. По хозяйскому примеру и коровы, и козы, и овцы, куда бы копыта ни направили, тоже напрямик норовят — угол срезать. (Поговорка «Коли скот повадками не в хозяина — не его скот» из Куштиряка пошла. Ясно как день.)

Откуда, когда, от кого такой обычай идет — так и не выяснено. Но, скажем, когда громили вышеупомянутую барскую усадьбу, люди, то ли забыв, что есть мост, то ли нарочно пренебрегши им, срезали угол всем скопом, в Казаяк бросились и ринулись вплавь. Торопился народ. Проклятому прошлому отомстить спешил. Пример второй. Когда пришла пора создавать колхозы, в таких аулах, как Ерекле, Яктыкуль, началось: день ли, ночь ли — то сход, то собрание, спорят, кричат, ругаются до хрипоты, все прикидывают, как лучше за дело приняться, удобные пути к коллективизации найти. А Куштиряк где ухватил, там и ломает. Собрал в три дня всех лошадей, коров, коз да овец и прочую малопочтенную живность вроде курицы и свалил в одну кучу — вот он, колхоз! Учитесь! Потом-то, конечно, горшок, по которому в горячке головокружения от успехов саданули, пришлось самим же и чинить, но, как известно, дорог первый шаг.

Что же касается дня сегодняшнего, достаточно бросить взгляд на земли вокруг аула, оставшиеся под выпас. А не поленитесь и поднимитесь на Разбойничью гору — еще более широкая карта человеческих устремле-

ний откроется перед вами в наглядности. Протянувшиеся вдоль и поперек, пересекая друг друга, тропинки напоминают непостижимые пути рассыпанных во вселенной звезд. Недаром поэт так и сказал: «Пути судьбы людской — путям звезд подобны».

Вот теперь, совершив путешествие в глубь истории и мироздания, в самый раз вернуться к третьему пункту шамиловского плана.

Мы уже говорили, что на том месте, где согласно плану полагалось высадить тополь, стояла баня. С того самого дня, как поставили ее сюда, идет беспощадная борьба. И сколько стоит баня, столько тянется схватка Куштиряка сначала с отцом Фаткуллы Кудрявого, а потом и с ним самим. Как это и бывает в позиционной войне, то одна сторона берет верх, то другая, но до сих пор окончательной победы не одержал никто. И повод, и причина в одном: сколько бы куштирякский народ ни срезал углы, сколько бы ни выпрямлял дорогу — баня все на своем месте.

Баню, а пуще того картофельный огород хозяин, то есть Фаткулла Кудрявый, укреплял, как военную твердыню: и плетнем, и забором огораживал, а в самый разгар боев даже колючую проволоку — это важнейшее изобретение двадцатого века — натягивал. Но и трех дней не проходило — часть фортификаций рушилась, и в обороне открывалась зияющая брешь. Потому что именно здесь пролег переулок, по которому куштирякцы ходят к Казаяку. Тут-то, ясно, без козней Зульпикея не обходится. Всем известно, что он только и знает, что возле бань и старых лачужек крутиться. Забьется в щель, сидит, высматривает и похихикивает. Так что конец этого клубка в его мохнатых лапках.

Письменные жалобы Фаткуллы Кудрявого на своих односельчан еще один, наряду с почтительно упомянутым выше «Афтияком», неоценимый документальный источник для наших исторических изысканий. К сожалению, мы лишены возможности привести образцы этих поражающих силой чувства и крепостью стиля творений. Секретарь сельсовета Самат сказал: «Читать, агай [1], читай, но только никому ни слова. Тайна!» — чем и остудил автора. Не обессудь, уважаемый читатель, выболтать тайну, изменить слову — в Куштиряке первый из смертных грехов.

[1] Агай — обращение к старшему брату и вообще к старшему по возрасту мужчине.

В те дни, когда Шамилов засучив рукава взялся претворять третий пункт своего плана в жизнь, к Фаткулле Кудрявому и близко нельзя было подойти. Словно бурный казаякский перекат кипели в нем ярость и жажда мести — в укреплениях, которые он без сна и отдыха возводил целую неделю, опять кто-то пробил брешь.

Тем временем и Шамилов разворачивал наступление. Пригласив с собой от каждого лагеря по одному представителю посолидней (от Урманбаевых — бывшего председателя колхоза Зарифа Проворного, от Сыртлановых — секретаря сельсовета Самата), направился на поле боя. Хозяина они нашли возле прославленного бастиона — старой бани.

— Здравствуй, почтенный,— приветствовал Шамилов стоявшего по пояс в канаве Фаткуллу Кудрявого.— Роешь? Дело, никак, до окопа дошло?

— Пороешь, коли припрет,— сказал Кудрявый, бросив ему на френч лопату сырой глины.

— Выйди-ка, ровесник. И батыру отдых нужен,— поспешил на помощь предводителю Зариф Проворный.

Самат промолчал. Сразу видно, в бой не рвется. Наоборот, покраснел и отступил назад. Знать, не своей охотой пришел, бывшего учителя своего ослушаться не посмел.

— Разговор есть, агай, в самый раз перекурить,— сказал Шамилов, отряхиваясь. Хоть сам он не курил, папиросы всегда носил в кармане. Он хорошо знал, что в некоторых случаях табак — лучшая отмычка к сердцу собеседника.

Хозяин, среднего роста, худой, с маленьким, пуговкой, носом, в большом лисьем малахае, что-то бормоча, чихая и кашляя, вылез наверх. Сев на бревно, начал щепкой соскребывать глину с подошвы сапога.

— Похоже, большое дело затеял. Бог в помощь,— сказал Зариф Проворный, кивнув на канаву.

Шамилов просверлил его взглядом, но промолчал. И хозяин с ответом не спешил, взор его уперся в канаву, а рука тем временем тянулась в папиросную коробку Шамилова.

— Да-а,— сказали парламентеры, глянув на канаву и потом друг на друга.

Ров в три шага шириной, перерезав, словно змею, ведущую к Казаяку тропу, одним концом уперся в баню — владения Зульпикея, другим — в соседский высокий забор.

— Такие дела, агай...— начал Шамилов.— Человек ты справедливый, поймешь... Не баня это, а копье, наставленное в грудь общества.

— Да, да, прямо на дорогу вылезла, где весь аул ходит,— поддакнул Зариф Проворный предводителю.

Хозяин снял малахай, погладил гладкую, как тыква, блестящую макушку и, сунув в глину, потушил папиросу. Снова нахлобучил малахай, встал и упер руки в бока.

— А Советская власть где? — Взгляд его сначала Шамилова ожег и от него, словно горящая искра, перелетел на растерянного Самата.— Вы глаза не отводите, вы мне прямо скажите, где Советская власть? На месте или нет? Самат! Чего молчишь?

— Так ведь... Подожди-ка, уважаемый,— поднял руку Шамилов,— ты уж так сразу в политику не ударяйся.

— Не подожду! Кто мне эту землю дал? То есть отцу моему покойному? Власть дала, за которую мы кровь проливали. Вот если эта наша законная власть потребует — пожалуйста, забирайте! Хоть с домом забирайте, не жалко. Ты, Зариф, три года в председателях ходил, законы знаешь. Советская власть заведомо человека грабить не позволит! — И он со злостью воткнул лопату в кучу глины.

Зариф Проворный при таком обороте дела опешил, вжал голову в плечи. А Самат, совсем уже багровый, начал рыться у себя в карманах. По всему видать, к вопросу с такой политической подоплекой общественность не была готова. И оба растерянно уставились на предводителя. Его слова ждут. Верят ему. Надеются. Уж он-то найдет выход. Он — деятель науки, вдохновитель этого большого дела, их идейный вождь. Лицо и шея у него пошли пятнами, красными, как та глина, в которую он уперся обеими ногами. Чувствовалось, как, раскаляя его изнутри, разгоралась в нем речь, которая через минуту вырвется первым язычком. Проворный вскинул голову, а Самат, кажется, нашел, что искал,— с белым как полотно лицом начал разглядывать карандаш.

— Та-ак,— протянул предводитель, и тонкая струйка жара спалила лица слушателей,— так-так...

Соратники — один восторженно, другой настороженно — смотрели ему в рот.

— Вот, значит, как ты ставишь вопрос...

— Подожди-ка, Шамилов-агай...— дрогнувшим голосом сказал Самат.

Договорить он не успел. Фаткулла, стоявший величе-

ственно, как памятник исторической укоризны, вдруг завопил:

— Ух, чтоб тебя!..— вырвал из кучи глины лопату и отважно махнул через траншею. Махнуть-то махнул, но то ли ширины преграды не рассчитал, то ли затекшие суставы за порывом его не поспели — бухнулся в яму.

Общественность бросилась к канаве.

— Ой, спина, ой, рука! — стонал и причитал хозяин. Попытался встать — не вышло. По одну сторону лопата лежит, по другую — малахай. К гладкой лысине сырая глина прилипла, редкая бороденка кверху торчит — миру грозится.— Убился, покалечился!

Зариф Проворный по краю забегал. Самат, забыв прежнюю робость, вниз спустился, взял хозяина под мышки, попытался поднять. Шамилов на корточки присел, руку подает.

Наконец с охами и вздохами вытянули Фаткуллу наверх. Самат положил рядом лопату и нахлобучил ему на лысину малахай. Хозяин, всхлипнув два раза, но тут же растолкав хлопотавшую возле него общественность, вскочил, снова схватил лопату. Самата, который все допытывался: «Руки-ноги целы?», отмахнул в сторону и, меча из глазенок искры, держа лопату наперевес, как в штыковой атаке, снова ринулся вперед. Но, видно, убоялся новой напасти, замер на самом краю. Окаменел: умереть умру, но и шагу не уступлю.

Так вот оно что! Пегая корова, собственность Фаткуллы Кудрявого, чесавшая до этого свой пестрый бок о колышек плетня, получила свое удовольствие и теперь с хрустом ломала остатки плетня, подцепив единственным рогом, разбрасывала его по сторонам. Бес взыграл. (Влияние Зульпикея на животных требует отдельного исследования.) Только корова таким беспардонным способом проложила себе дорогу и влезла в картошку, как показался Капрал, бурый бугай с колхозной фермы.

Отчего ему дали такую кличку — автору неведомо. Но если в старой армии чины давали по стати и гонору, то нашему бугаю мог бы выйти чин повыше, ротмистр, скажем, или поручик. Этот, чуть меньше слона, бычина, всех заборов корчеватель, всей фермы истязатель, то и дело приходил в ярость, носился с налитыми кровью глазами, чего только не вытворял: или «Жигули» чьи-нибудь опрокинет, или, наводя ужас на детвору, гонит ее по улице, или какого-нибудь бычка помоложе искалечит.

Капрал легонько оттер в сторону застывшую перед неожиданным препятствием пегую корову и подошел к краю траншеи. Прыгнет, сомнет Кудрявого с его лопатой и пойдет дальше. Вот он прокатил свои огромные, с чайные блюдца, глазищи вдоль траншеи, пропахал копытом землю и заревел. Даже пестрая корова от этого истошного рева припала на задние ноги. Зариф Проворный сорвался с места и, оглядываясь на бегу, в полную прыть своего прозвища понесся по переулку — будто и не солидный мужчина под шестьдесят. Самат, от греха, дескать, подальше, с треском ломая широкие, с тазик величиной, листья лопуха, продрался через крапиву и взлетел на забор. Отчего он Капрала не любит, мы узнаем позже.

Шамилов вцепился в грязный рукав Фаткуллы Кудрявого и, словно зверек, завороженный взглядом змеи, застыл, тих и недвижим, не в силах оторваться от налитых кровью бычьих глаз. Надумай Капрал махнуть через траншею, их обоих — и хозяина, и общественного деятеля — ждала одна страшная участь. С тем бы и святое начинание, вероятно, нашло свой безвременный конец.

Но тут чувствительная пеструшка кончиком рога почесала быка под ребрышком и, сама же застеснявшись своей выходки, попятилась назад. Бугай дрогнул высокой холкой, фыркнул так, что в глине осталась блестящая лунка, и, не перейдя Рубикона, поплелся вслед за комолой жеманницей.

Хозяин и учитель одним широким жестом, словно по команде «раз!», вытерли пот со лба и без сил, словно по команде «два!», рухнули на бревно.

— Уф! — сказал учитель.

— Уф! — сказал хозяин и зашелся в кашле.— Дай-ка папиросу,— проговорил он. Из-за дрожи в руках долго не мог прикурить и, наконец, выпустив огромный, с тарантасный кузов, клуб дыма, вздохнул: — Отвел аллах беду. Не то пришиб бы я его лопатой. Потом попробуй расплатись за такого бугая. Волос на голове не хватит.

— Их еще отрастить надо! — хихикнул Зариф Проворный. И тоже уселся на бревно. Увидев, что опасность миновала, он снова вернулся к исполнению своих обязанностей.

Тем временем Шамилов тоже собрался с духом и решил дать случившемуся научную оценку:

— Слыхал я, что даже самые лютые твари прямого взгляда не выдерживают. Чистая, оказывается, правда. Чем я пристальней смотрю, тем он ниже голову клонит и назад пятится, я смотрю — он пятится, я смотрю — он пятится...

— И день пятится, товарищ Шамилов,— усмехнулся из-под усов Зариф Проворный.— Пока совсем до ночи не допятился, надо бы разговор закончить.

Потирая опухшие от крапивы руки, подошел Самат и сел четвертым в ряд.

— И то верно,— морщась, сказал он.— Коли нет, так и спорить нечего. Будто другого им места не найдется.

— Кому? — насторожился Фаткулла.

— Тополям.

— Каким?

Пришлось объяснить. Пока Шамилов говорил, хозяин слушал, иной раз даже поддакивал: «хы», «так-так»,— степенно дымил папиросой.

— Вот так, уважаемый, честь Куштиряка в твоих руках. На месте бани пара тополей сажается, проулок, понятно, выпрямляется, баня вглубь переносится...

— Переносится, говоришь, а? А если не перенесется? — взвился вдруг хозяин.

Следом вскочил и Зариф Проворный:

— Так ведь баня твоя прямо на дорогу выперлась! Сколько я тебе твердил, когда председателем был. Ведь только из-за упрямства своего в яму, которую другим рыл, свалился! Чуть дух не испустил!

— Вот, значит, как...— сказал Фаткулла Кудрявый, притягивая к себе лопату.— Свалился ли, нет ли, а пользу от канавы сами видели... Вот что, приятели, убирайтесь-ка вы подобру-поздорову. Не то Алгыра с цепи спущу. Ступайте, ступайте! — И он, наставив острый штык лопаты, начал теснить Шамилова и Зарифа Проворного к тропинке. Самат, не дожидаясь приглашения, сдал позиции сам.

— Не по своей воле... от общества наказ... ты уж прости, агай...— бормотал он, весьма довольный, что тем, кажется, дело и кончилось.

— Ты, Фатки, чуди, да в меру! — крикнул Зариф Проворный, уворачиваясь от лопаты.— И на тебя управа найдется! — Медленно отступая по тропинке, он принялся бранить Самата: — Размазня! Знаем, чего ты перед ним маслишься. В зятья набиваешься. Не рассчиты-

вай! У нас тоже парни растут. Не тебе чета! Пошли, товарищ Шамилов! Ровесник мой какой твердолобый — если что по-людски сделает, потом изжогой мается. Ничего, придет наш день!

— Непотребным делом занимаетесь! — сказал Фаткулла Кудрявый и плюнул вслед уходящим послам.— Эх, товарищ Шамилов, товарищ Шамилов! Достойный вроде бы человек, а на такую ерунду время тратишь. Лучше бы своим делом занялся...

Шамилов хорошо расслышал последние его слова. Красный от обиды, шагал он по улице. «Ладно, пусть пока по-твоему будет, но не забудь, Фаткулла Кудрявый, до самой смерти запомни! — говорил он про себя.— Твои слова навеки на твоей совести останутся!..»

В правление он заходить не стал. Пришел домой и растянулся на стоящей в саду кровати. Жене, которая позвала пить чай, только рукой махнул — не до тебя, дескать. Ни солнечных лучей, которые, пробиваясь сквозь листву, слепили ему глаза, ни голодного поросячьего визга, доносившегося из хлева, он не замечал. Он думал и думал. Язвительное замечание Фаткуллы Кудрявого из головы не шло...

Вот так и остался тогда невыполненным третий пункт шамиловского плана. Сколько ни вызывали Фаткуллу на заседания правления, как ни ругали, ни уговаривали — не сумели уломать. Он стоял на своем: из фундамента, дедами-прадедами заложенного, ни камня не сдвину, земли своей ни вершка не отдам. Видя, что дело не выгорело, актив махнул рукой. Пара тополей так и осталась непосаженной. Не повезло и самому Фаткулле Кудрявому. Пестрая корова, охотница углы срезать, после того как отыграла свадьбу с Капралом, в праздных своих шатаниях все-таки угодила в ту самую канаву и сломала ногу.

Слова Фаткуллы Кудрявого: «Лучше бы своим делом занимался!» — крепко запали Шамилову в душу. Но обидой своей он не поделился ни с кем. А обида вот в чем: наших шельм послушать, так куштирякская ребятня должного образования не получает, и когда, закончив четвертый класс, переходит в яктыкульскую среднюю школу, поначалу отстает по успеваемости, да и потом наверстывает с трудом. А виноват — Шамилов. Даст ученикам задание, а сам или в правлении торчит,

или по хозяйству возится. Вот вам еще одно куштирякское «чересчур» в наглядности. Как же так? Сам Шамилов, столп просвещения, представитель науки в Куштиряке,— и детям нужного образования не дает? В том, что не вышел из Куштиряка генерал, или знаменитый футболист, или, на худой конец, какой-нибудь ученый, винить учителя — все равно что лисе назло всех кур передавить. И потом, свои аульские заслуженные люди чем хуже? Впрочем, не будем торопиться, о них слово впереди.

Нет, Шамилов от своего плана не отказался. Он верил: рано или поздно поумнеет Фаткулла Кудрявый и склонит голову, сдастся. Потому как опытный полководец то возобновлял военные действия, то сворачивал их, то бросался в атаку, то отходил для перегруппировки сил. Куштиряк следил за этим поединком отнюдь не равнодушно, а всячески подбрасывал в пламя сухого хвороста.

В это беспокойное время и вернулся автор в родной Куштиряк.

2

Съездил Гата Матрос в Каратау и потерял покой. Непонятно! Все вышло удачно, порученное он исполнил, а на душе муторно.

«Гата Матрос? Это еще кто такой?» — спросит недоуменно читатель. И недоумение его вполне понятно. Куштиряк не то что море — даже река поприличней, вроде Агидели, не омывает. А нет моря, значит, и матроса быть не должно. Откуда ему взяться? Так, вероятно, рассудит нетерпеливый читатель.

Делать нечего, придется опять, как учит мой друг-критик, пуститься в историческое отступление. По всем законам науки. Автор хоть и куштиряковец, но понимает: не тот здесь случай, чтобы углы срезать,— слишком серьезный разговор. Закон есть закон. Автора же воспитали в уважении к нему, пусть даже закон только научный.

Итак, мы уперлись... то есть повествование наше подошло к Гате. А вернее, подошло ко второму событию, о котором упоминалось выше. Ибо Гата-то Гата, но почему Матрос? Как злословили некоторые (а если указать пальцем — по наветам лагеря Сыртлановых), оснований носить это высокое имя у него нет никаких. Пользуясь

историческим лексиконом: *налицо узурпация.* Дескать, Гата не то что по палубам бороздящих океаны могучих кораблей не расхаживал, но даже в лодчонке с кривым веслом не сидел ни разу. Он плавать не умеет, потому даже в тазу воды боится! Видали, с какой стороны гвозданугь примериваются?

Только из этого грубого поклепа, как ворованный гвоздь из кармана, торчит то самое куштирякское «чересчур». Предстоящие события покажут, что такие слова, как «страх» и «боязнь», к Гате не пристают. Нрав же Куштиряка известен: клеится не клеится — плюнет и прилепит. Но автор считает, что слова, задевающие чужую честь, лучше держать за зубами, а еще лучше — сглотнуть обратно. Пожалуй, этим похвальным свойством он обязан тому, что уже много лет живет на стороне. Он теперь не может, подобно землякам, идти напролом, резать углы, а возле подбородка весы держит, чтоб каждое слово взвесить. Да-да, катящийся камень сам огладится..

Не поймешь этот Куштиряк! С одной стороны, Гата, дескать, плавать не умеет, а с другой — сам его Матросом прозвал. Есть тут, по-куштирякски говоря, *логика*? А дело в том, что в Куштиряке каждый человек, достойный упоминания, с хорошим ли, с плохим ли вошел он в историю, получает свое прозвище. Мало того — все прозвища наоборот. Некрасивого — красивым, трусливого — батыром, злого добрым сделают. И что вышеупомянутый Зариф оттого Проворный, что больше любит лясы точить, чем работать, и за столом не промах, а у Фаткуллы Кудрявого голова гладкая, как репа, читатель, наверное, уже понял.

Но прозвища нельзя путать с встречающимися не только в Куштиряке, но и в соседних аулах созвучными эпохе именами, такими, как Спутник, КамАЗ, Нива, Генетика, Фреза. Там — язвительный намек, здесь — возросшая политическая сознательность. Один из таких сознательных, а именно Зариф Проворный, назвал своего сына Стаханом. Во-первых, дань уважения славному шахтеру, во-вторых, Куштиряку в отместку за то, что его, отца, лодырем считает. Стахан, сын Проворного! Звучит? Но Стахан, старший брат Гаты,— как говорится, из рода — порода, из корня — листок,— всеми повадками похож на отца. Чем старше становится, тем больше пальцы у него к себе загибаются. Он шофер и от шоферства своего имеет хороший навар. Если верить

долгому аульскому языку, даже кузов его машины с двойным дном. Ай-хай, может, правды здесь столько же, сколько на тыкве кудрей?..

Вернемся к нашим прозвищам. Коли они здесь наоборот, читатель может подумать, что никакой Гата не Матрос, и в каком-нибудь ауле не наоборот его прозвали бы, скажем, Землеройкой. И все не так. Вопрос это сложный. Сколько автор ни бился, сколько ни допытывался у самого Гаты — тайну его прозвища раскрыть не смог! Чем больше напирал автор, тем больше замыкался в себе Гата. Он только расстегивал замасленную, лоснящуюся, как шамиловские сапоги, стеганку (как в Куштиряке говорят — «куфайку») и поглаживал облегающую грудь тельняшку. Вот и весь ответ.

Попутно скажем, эту лоснящуюся куфайку Гата надевает только тогда, когда ремонтирует, моет и чистит машину. Но когда он за баранкой — в дорогу ли выехал, возле правления ли ждет,— летом на нем изысканный голубой бархатный пиджак, зимой — черный дубленый полушубок. На голове тоже по сезону: или синяя высокая фуражка с медным кочаном капусты (Гата говорит — «краб»), или кожаная, как те сапоги, шапка.

Молчит Гата. Но по тому, как он порой снимает фуражку с кочаном, гладит наголо постриженную голову и задумчиво улыбается, можно понять: «Эх, чего только не пережила эта головушка!» или: «Чего спрашивать-то? Все на виду!» Значит, прозвище Матрос ему нравится, за издевку не принимает? Исходя из этого, можно прийти к выводу, что и Фаткулла Кудрявый, и Зариф Проворный на односельчан тоже зла не держат.

Хоть Гата и отмолчался, но автор, опираясь на дополнительные данные и косвенные свидетельства, кропотливо изучил его жизненный путь. Долгие исследования показали, что жизнь — штука сложная, что судьбы человеческие, как и куштирякские дороги, ухабисты, а слава и признание сами собой не приходят.

Только подрос, только стал понимать, что к чему, как говорится, запахи различать, Гата решил, что назло односельчанам, прозвавшим его отца Проворным, покажет себя в деле и добьется славы, да такой, что весь Куштиряк язык прикусит.

Но ему сразу не повезло. Пошел в уборочную на комбайне помощником и угодил пальцем меж шестеренок — и зубчики-то разве что с гусиные зубки, а палец — напрочь. Так и не суждено было ему стать в буду-

щем знаменитым летчиком или, на худой конец, пехотным командиром, потому что на первой же комиссии его от воинской службы освободили.

Будь что будет, решил он, сяду на трактор, но тут уже другая комиссия — отец с матерью — встала наперекор. «Вот яктыкульцы,— причитала мать,— из года в год в институты поступают. Учись, агрономом или учителем вернешься. Чем ты хуже других?» И первый его учитель Шамилов, который сам когда-то за руку вывел его на тернистый путь знаний, посоветовал учиться дальше. «Аттестат у меня никудышный, агай!» — сомневался шакирд. «Крепись, мырза [1], экзамен — лотерея,— напутствовал учитель.— Попадется легкий вопрос, и троечникам, вроде тебя, «добро пожаловать», а отличникам — «вассалям»! Сам изведал». А что изведал — «добро пожаловать» или «вассалям» — не уточнил.

Вот так Гата, за три года до нынешних событий с грехом пополам закончивший школу, стал абитуриентом. Человек, которого только уговоры матери и учителя вытолкнули на зыбкую тропу науки, разумеется, поскользнулся на первом же экзамене. Но поднялся, отряхнулся и сделал вывод: чем пять лет жизни впустую тратить, он к великой своей цели отправится сейчас же! Напрямую! Срезая углы! Он — куштиряковец!

Сказанное слово — выпущенная стрела. Гата забрал документы и с таким же, как сам, срезавшимся на первом же экзамене непоседливым тугодумом отправился в город Одессу. Как говорится, уговорщик и за море заведет. Позови тот парень к другому морю, поехал бы. Это в открытую дверь дорога одна, а от закрытой — на все три стороны. Мать с отцом в нем покуда не нуждаются — живут-громыхают. Черное море так Черное море, Одесса так Одесса. Поехал Гата. Про злополучный экзамен вскоре забыл, но осталась привычка: если разозлит его кто, посмотрит исподлобья, по-куштирякски, издевательски, и скажет: «Эх, ты, абитуриент!»

Больше он испытывать судьбу не стал. Ясно, учеба не для него. Нужно искать другие пути к заветной цели. Сначала целую неделю слонялся, незнакомый город осматривал, купил у одного матроса порядком уже надеванный кожаный пиджак и фуражку с кочаном (с крабом). Находился, насмотрелся, наслушался советов бывалых людей и, опустошив с их помощью карманы,

[1] Мырза — обращение к младшему.

пошел в порт грузить те самые могучие суда, которые ходят в дальние страны, за синий океан.

Два года жизни Гаты в Одессе — сами по себе целая история. Но автор решил в эту историю не углубляться, ограничиться общим обзором. Во-первых, повествуя о похождениях Гаты, нельзя обойти (тут угол не срежешь) и саму достославную Одессу и красоту, нрав ее жителей — а это одна из самых освещенных тем в нашей литературе. Во-вторых, надо же и с самим героем хоть немножко считаться. Гата не любит, когда напоминают об Одессе. Ничего не поделаешь, придется лишить читателя возможности ознакомиться со множеством различных и весьма небезынтересных событий. Скажем только: много чего пережил Гата в Одессе, были даже любовные приключения, о которых теперь остается только сожалеть... Но герой наш, как и подобает истинному куштирякскому джигиту, терпением и упорством одолел все невзгоды.

Может, и поныне пребывал бы Гата на чужбине... да соскучился.

«Эх, Куштиряк!..» — воскликнем мы в этом месте нашего повествования, как воскликнули в самом начале его. Эх, Куштиряк, где бы ни странствовали, в каком бы благополучии ни жили дети твои, но приходит день, и заворачивают они свои оглобли к твоим околичным воротам. Нет, против силы куштирякского притяжения не устоит никто!

Но, как уже говорилось выше, была еще одна причина, по которой Гата, словно красное солнышко, подкатился к родной околице. Если тоска по родине («Ностальгия!» — воздел бы перстом друг-критик) была здесь коренником, то пристяжной впряглась неуемность человеческой судьбы, и они-то завернули Гату снова к Куштиряку.

И вновь ты, проницательный мой читатель, угадал, к чему дело клонится. Вот именно: о чем бы ни зашел разговор, все равно к женскому полу приведет. А без того и беседа не беседа, ни душе радости, ни языку сладости. Вот так-то. Сказать по секрету, тот парень, который сманил нашего героя в Одессу, даром что тугодум, а вдруг взял и женился на девушке, да именно на той, по которой страдал Гата. Тугодум-то, кажется, и сам от себя такого не ожидал. А что Гата? Впервые в жизни узнал он такие чувства, как обида, боль и жалость к себе.

А повод? Повод — судьбы поводок. Им стало письмо. Это и был повод-поводок. Оно тронуло в путь коренника

с пристяжной, которые уже били копытами, но с места покуда не сходили.

Исстрадавшийся-истосковавшийся джигит получил из Куштиряка письмо. Взял он его, покрутил в руках, прочел без интереса и сунул в тумбочку. Но было в этом письме свое «однако» — мина замедленного действия. И взорвалась она часа через два после полуночи. Лежавший без сна Гата нащупал письмо и, чтобы не разбудить соседей по комнате, вышел в коридор общежития. Анонимное это письмо доказывает, что в способности делать из мухи слона, протаскивать верблюда через игольное ушко Куштиряк с самой Одессой может состязаться на равных.

Дескать, «покуда ты там, не покладая рук, затянув пояс, засучив рукава, льешь свой трудовой пот, отдаешь все силы такой ответственной политической работе, как укрепление торговых связей с соседними государствами, тут уже сгущаются черные тучи несправедливости. Возле твоей Танхылыу, словно ястреб вокруг добычи, кружится новый колхозный зоотехник...». Кстати, уточним, у того злокозненного сплетника оснований заявлять «твоя Танхылыу» не было никаких. Но, как говорится, дурное дело благословения не ждет. Сразу видно — козни Зульпикея!

Вспомнил, видно, плут, писавший письмо, что Гата, когда еще жил в ауле, поглядывал иной раз на дочку Фаткуллы Кудрявого, и решил: клюнет так клюнет, а не клюнет так нет. Забросил крючок и дернул за леску.

Приди это письмо в другое время, может, все вышло бы по-другому. Посмеялся бы Гата, сунул письмо в тумбочку и из дум вон. По правде говоря, есть Танхылыу, нет Танхылыу, его тогда не очень-то волновало. Но крючок с наживкой шлепнулся перед носом Гаты, когда у него все мысли и чувства были вразброд. Письмо-то, надо полагать, от имени всего аула, коли даже подписи нет. «Твоя Танхылыу...» «Твоя». Одним этим словом весь аул закрепляет за ним право на девушку. Для джигита, шуток не больно-то понимающего, этого оказалось достаточно.

Невесть откуда залетевший чужак к куштирякской девушке пристает! И к кому? К самой Танхылыу. К моей Танхылыу!

Гата начал вспоминать: вот один раз Танхылыу заговорила с ним, в другой раз улыбнулась, посмотрела прямо... «Нет, без ветра и листок не шевельнется,— ре-

шил джигит,— вот что у Танхылыу на душе-то было... А я, мямля, абитуриент, хожу тут! Так и счастье свое упустить можно...»

К чему эти переживания привели — уже известно. В каком виде-обличье заявился Гата в Куштиряк, читатель тоже знает. Только добавим: под носом у Гаты на одесский манер усики подковкой, из-под фуражки — длинные волосы до плеч, хоть косы заплетай. Кроме подарков, которые он привез близким и родне, есть, говорят, заветный дар и для Танхылыу, но это покуда хранится в тайне.

Но и самого Гату в ауле ждал «гостинец» — прозвище Матрос. Прилепили тут же, как говорят в Одессе, не отходя от кассы. И пошло. Наш Гата — на весь Куштиряк один-единственный, так что в случае чего и без прозвища понятно, о ком идет речь, другого Гаты-то нет. Но вот вам разговор двух куштирякцев:

— Слышал, Гата-то...

— Какой Гата?

— Ну этот, этого сын...

— Гаты всякие бывают. Ты, сват, учись излагать ясно. Гата Гате рознь.

— М-м... Ну этот, у него еще это...

— Так-так-так, надо подумать, какой же это может быть Гата?

— Матрос! Вот какой Гата!

— Так бы и сразу сказал, браток... А то «этот», «этого сын», «у него еще это»... Я уж подумал, ты про уфимского кураиста Гату Сулейманова что слышал.

Но у Гаты Матроса свои заботы. Во-первых, надо на работу устроиться, и такую, чтоб накопленному жизненному опыту соответствовала. Во-вторых, решить вопрос с Танхылыу.

Хотя к наукам Гата (еще раз уточним: Гата Матрос) особенного расположения и не выказывал, но к железкам всяким, машинам тянулся с детства. А в Одессе, быстро разобравшись в таких затейливых механизмах, как автокар, подъемный кран и т. д., он стал вечерами ходить на специальные курсы и выучился на шофера. О том, что в Куштиряке это самая нужная профессия, и говорить нечего: машин полный гараж. И старший его брат Стахан, который, женившись, хозяйствовал теперь отдельно и весьма разжился, тоже советовал не спешить, приглядеть работу повыгодней и поавторитетней. Гата и сам так считал. А покуда следил, как развиваются события в

ауле, прощупывал, какими силами располагает Алтынгужин, приглядывался к характеру Танхылыу.

За годы странствий Гаты Танхылыу успела закончить десятилетку и уже два года работала на колхозной ферме дояркой. И уже два года ходила в передовиках. Так что она — фигура, достойная встать в центре разворачивающихся событий.

Читатель уже, наверное, заметил свет, пробивающийся в этом месте сквозь наши блеклые строчки,— это свет красоты Танхылыу, свет, который разгоняет ночную темь и лишает джигитов сна. Стройность ли стана, бровей ли разлет, маленькие ли, с наперсток, розовые губы, лукавая ли улыбка, нежно-обидчивый ли нрав, огромная ли слава, словно с неба свалившаяся...

Уф! Здесь автор должен положить перо и передохнуть.

Нет, такая совершенная во всех отношениях девушка могла родиться и расцвести только в Куштиряке. Автор с полным чувством ответственности заявляет это, в чем и подписывается: «АВТОР». А Самат, я думаю, с радостью поставит сельсоветскую печать.

Если собрание какое — место Танхылыу на самом верху, в красном углу, то есть в президиуме; если слет районного актива, о других и речи нет — посылают ее, Танхылыу. Тут обычай Куштиряка известен: поднимать так поднимать. Оно и понятно, на полусогнутых руках и держать тяжелей.

А все началось вот с чего. Два года назад, когда девушки, закончив школу, собрались ехать в город, председатель и парторг принялись уговаривать их остаться в ауле. Переглянулись девушки и сказали: «Как Танхылыу, так и мы».

А как же Танхылыу? Помыслы Танхылыу давно известны. К кипучей городской жизни тянулась ее душа. Чем она хуже тех девушек, которые окончат кое-как восьмилетку, уедут в город, устроятся кто на завод, кто на стройку и в выходные, в пух и прах разодетые, связками колбас и кренделей увешанные, приезжают домой. И отец, Фаткулла Кудрявый, подбадривал ее: «Мы с твоей матерью-покойницей всю жизнь в своем углу просидели, света белого не видели. Иди, дочка, в большой жизни свое счастье ищи». Собрала Танхылыу документы и начала готовиться в дорогу.

Из совета, который Фаткулла Кудрявый дал своей дочери, видно, что поговорку про синицу и журавля он

не слыхал. Если слыхал, то не понял. Разве стал бы человек дочке своей единственной, кровиночке, такой совет давать: уезжай из аула. И откуда — из самого Куштиряка! Не иначе как всякое соображение отбило. А ведь почтенный, жизнь проживший, уважаемый в ауле человек, как теперь говорят — ветеран. Хоть бы о том подумал, что один-одинешенек остается. Еще, видишь ли, узоры всякие языком плетет: «Чему ты здесь выучишься, да на кого в будущей жизни обопрешься?» Намекает на то, что дочери достойный жених здесь не найдется.

Колхозные руководители, почуяв, чем все это пахнет, решили: хоть как, а девушку удержать. Выпусти ее — и остальные девушки следом брызнут врассыпную. Вот потому однажды вечером, в сумерки, когда затихли улицы, вызвали Танхылыу в правление. Известно, что первый разговор не дал никаких результатов. Лишь после вмешательства Шамилова капризная девушка начала соглашаться. Кажется, чтобы прийти к соглашению, колхозному руководству пришлось взять на себя немалые обязательства. Но выяснится это потом, а пока — терпение.

Как видите, когда вернулся Гата, Танхылыу в Куштиряке — что родинка на щеке — была на виду. Еще немного, полагал народ, и завфермой станет. Но уже сейчас член правления колхоза, в сельсовете в активистках ходит. Скоро, видать, еще выше взлетит.

А что касается зоотехника Алтынгужина, то он — молодой специалист, с высшим образованием, в колхозе долгожданный гость. Еще четырех месяцев не прошло, как начал работать в колхозе, но благодаря своим знаниям, трудолюбию и обходительности пришелся Куштиряку по душе, стал для него своим. К тому же чернокудрый парень, высокий и красивый, сразу стал центром колхозной молодежи. Вечерами парней мотоцикл водить учит, с мальчишками в футбол гоняет, а занепогодится — шахматам обучает, каждую неделю в клубе лекцию читает, концерты организует. Надо и то сказать: хоть и человек он городской, за дело взялся ухватисто, грязи и запахов разных не боится. Даже с Капралом, который весь аул держит в страхе, прямо кум и сват. Страшный, как гифрит, бычина за зоотехником, как ласковый телок, ходит. И доярок теперь не узнать. Чтобы на работу опоздать или там в район без спросу уехать — о таких грешках, можно сказать, уже забыли. Халаты у девушек снега белей, молочные фляги, ведра, доильные аппараты блестят! Прически у них теперь — не хуже, чем у артисток,

что из города с концертами приезжают. Возле яйляу[1] шум и песни не умолкают. У парней уже обычаем стало: едут куда — непременно угол срежут и на ферму заглянут. Придут и удивляются: смотри-ка ты, девушки-то, которых прежде и не замечали, оказывается, не то что в ауле — во всем районе самые красивые, самые работящие, самые острые на язык. (Хотя последнему достоинству особенно радоваться не стоило бы, утверждает автор, как человек уже малость поживший.)

Теперь сметливый читатель может мысленно поставить Алтынгужина на одну чашу весов, Гату Матроса — на другую и прикинуть, какая сторона перетянет. Вероятно, найдутся и такие, что скажут: «Ну, коли так пошли дела, все ясно, можешь дальше не рассказывать».

Заявление весьма опрометчивое. Потому что автор еще и сам не знает, какие предстоят события и какие переживания выпадут нашим героям, ибо он не сочиняет, не выдумывает, а пишет лишь то, что видел и слышал сам,— с жизнью, взявшись за руку, в ногу шагает. Посеешь коноплю — пожнешь рубашку, говорит народ. То есть советует быть терпеливым, не торопиться. Не будем спешить и мы, подождем.

Конечно, поединок с Алтынгужином предстоит нелегкий. Но и Гата — парень не из завалящих. И у него, как сказал бы друг-критик, *духовный багаж имеется,* есть что на чашу весов положить. Пока Алтынгужин чах над книгами, Гата жизненный опыт сколачивал, ума набирался. Парень он работящий, мастер на все руки, в житейских и семейных вопросах свое серьезное мнение имеет. Еще раз подумал Гата и решил окончательно: «Жених Танхылыу нужен только такой, как я». «Через все преграды — вперед!» — вот кредо жизни Гаты. Сначала, разумеется, нужно показать такую работу, чтоб люди удивились, головой закачали. Потом — мощным мотоциклом «Иж-Планета» обзавестись, да не простым, а с коляской. Вот тогда и начнется поединок.

Когда Гата пришел в правление, председатель с парторгом были заняты тем, что молча ходили по комнате и гоняли желваки по скулам. Известно, пора горячая. Самая жатва. Случись где задержка — и готово, упустил золотые погожие часочки. Природа, которая их по скупому счету выдает, тут же обратно в мошну ссыпает.

---

[1] Яйляу — летовка (летняя стоянка кочевья, ныне — фермы).

Видимо, и в эту минуту председатель с парторгом искали выход из очередного щекотливого положения.

Щеголевато одетого Гату Матроса они встретили прохладно. Председатель, поморщившись, вскинул подбородком: есть дело — говори, дескать, и уходи, не до тебя тут. Гата молча выложил на стол удостоверение шофера, по-нашему говоря, права. Председатель взял книжечку в руки, хмуро покрутил в руках и вдруг весь просветлел:

— Уже неделя, как вернулся! Чего, спрашивается, ходил молчал! Так ты самый нужный нам джигит. Ты только посмотри! — И председатель с удостоверением в вытянутой руке подбежал к стоявшему возле окна Исмагилову.

— Мечтал слепой об одном хоть глазе, а тут — сразу оба! — сказал парторг, потирая руки.— Машин — завались, а водителей не хватает. Давай сегодня же, сейчас же принимайся! Хлеб на элеватор возить будешь.

Видите, как дело обернулось? Что ни говори, а с завалященькими так разговаривать не будут. Ну, коли так, еще поборемся!

Руководители тут же сунули ему в руки какую положено бумагу и, наказав к шести утра вместе с машиной быть на току, отправили в гараж.

Здесь в повествование вступает еще одна прославленная личность. Хоть со временем у нас туговато, придется задержаться и познакомиться с ней поближе.

Есть такое умное изречение: «Сухая ложка рот дерет». Гата, видно, забыл о нем. А вот завгар Карам Журавль его ни на минуту из памяти не выпускает. И даже всю свою ответственную должность исполняет на философской основе данной житейской премудрости. Пришел шофер к нему с сухой ложкой, ни запчастей такому не видать, ни выгодной путевки.

Когда Гата заявился в гараж, Карам Журавль лежал, вытянувшись на скамье, и переживал один из самых тяжелых моментов своей беспокойной жизни. Голова трещит — вот-вот расколется, суставы ломит, все нутро огнем горит. Гата покашлял, почтительно поздоровался. Из-под края кепки, наполовину закрывавшей лицо, глянул один глаз. Завгар с коротким клекотом сглотнул какой-то комок в горле и спросил:

— Магазин открыт?

— Не заметил, агай... Может, и открылся,— сказал Гата с запинкой. Дел у него в магазине не было, и он впрямь не посмотрел.

— Живьем режешь, браток! Поди-ка узнай. Хоть красненького принеси.

— Я на работу пришел, Карам-агай. Вот...— Гата протянул бумагу с печатью.

— Ых! — мучительно простонал Карам Журавль, но вдруг, чуть не повалив скамью, вскочил на ноги и вырвал бумагу у парня из рук — словно не направление на работу, а ключ от райских ворот или фарман-указ об отмене смертной казни.— На работу? Так бы сразу и сказал! На работу, а? Эх, зятек! Ну, зятек! Беги быстрей, зятек, быстрей беги! Кто же без бутылки работу начинает?

Гата Матрос мир повидал, разбирается, что к чему. Он прикинул, как это скажется на его будущей жизни, если он своими руками избавит Карама Журавля от мук, и направился за лекарством — даже углы срезать не пришлось, дорогу от гаража до магазина проложили прямую, как от чистилища до райских ворот. А мы, пока он ходит, познакомимся с завгаром поближе.

Гадать, откуда у Карама его прозвище, нужды нет, оно ему от отцов-дедов по наследству досталось. У Куштиряка не отвертишься: отец твой Журавль — значит, и ты Журавль. И пока более подходящего прозвища не схлопочешь, довольствуйся унаследованным. Возьмем, к примеру, того же Гату. Не прозвали бы его Матросом — так и ходил бы Гатой Проворным, в честь отца.

Карам Журавль, как и Гата,— один из тех, кто поискал счастья на стороне и, не устояв перед силой притяжения Куштиряка, вернулся обратно. Работал он на ташкентской стороне, механиком на самом большом заводе. Уважали его, пылинки сдували, но после смерти благоверной супруги он так по Куштиряку заскучал, что не выдержал, собрался и с десятилетним сыном вернулся домой. Живет он теперь с матерью, которая тянула без него свои дни одна-одинешенька, раздувала сиротливый очаг.

Руки у Карама золотые. За что ни возьмется — все сделает. Сложные ли механизмы, мотор ли какой разобрать — для него, по собственному его выражению, что щенка подковать. Потому и колхозные руководители делают ему скидку и дружбы его с бутылкой словно бы не замечают. Правда, время от времени парторг берет Ка-

рама в тиски и проводит воспитательную работу: уговаривает найти вдову... эдак из себя, скажем, подобротней, и наладить новую жизнь — обстиран, дескать, будешь, обмыт, накормлен. Но Карам на все эти уговоры лишь качает головой: «Пусто брюхо, да не зудят в ухо!» Не подумайте, что Карам живет впроголодь. Смысл сих слов лежит глубже и... в чем-то выше обыденного их значения. Это девиз свободной личности. Еще он говорит: «После сорока жениться, новую семью заводить — все равно, зятек, что списанную машину ремонтировать. Да и как своего ребенка, яблочко налитое, в чужие руки отдашь?»

Карам — человек мечты. Дороги, по которым ходит, работа, которую делает,— на земле, а думы — в небе. Поднимет слегка настроение, выйдет вечером на крыльцо и долго смотрит на блестящий мир далеких звезд. Даже трубку вроде телескопа соорудил. По примеру отца сын тоже в небо смотрит, настраивает телескоп и объясняет приятелям звездную карту.

Но любовь Карама к небу на этом не кончается. Самая большая его мечта — изобрести... то есть построить (изобрести-то он ее уже изобрел) такую машину, чтобы можно было на ней на ближние расстояния летать, на рыбалку, скажем, или в район за запчастями, или за этим... если в Куштиряке перебой случится. Неоценимая это машина, особенно по осеннему и весеннему бездорожью. Самой машины пока нет, но имя уже придумано. Карам ее мотолетом назвал. Куштиряк, не зная, верить или не верить, пока молчит, следит исподтишка. Хоть и посмеиваются: «На то и Журавль, чтоб крыльями махать»,— но как-то не очень уверенно. Журавль — он и есть Журавль, тут не угадаешь — возьмет и построит свой мотолет, вот тогда и прикусишь язык. Кое-какие слухи о том, что инструменты, материалы и оборудование он уже собрал, до автора тоже дошли. Вот выйдет, мол, из затянувшегося на добрую недельку веселья и примется за работу...

Еще несколько штрихов. Карам, как покойный его отец и давно уже покойный дед, под стать своему прозвищу, человек — длинный и узкоплечий. Лицо исчерчено мелкими морщинками. И нужно довести до сведения читателя, что одежда его, как и положено его ремеслу, источает все благоухания гаража. Есть также у него любимое словечко, каждого без различия он называет «зятек».

Когда Гата вернулся, Карам Журавль сидел на старом баллоне и, подперев руками голову, дремал. Казалось, хоть каменный дождь пойдет, с места не сдвинется. Но только блеснула бутылка — он, будто сквозь опущенные веки углядел, махнул полами широкого пиджака, словно крыльями, и взлетел с места. Еще три взмаха — бутылка открыта, откуда-то появились два захватанных мазутными пальцами граненых стакана, и в них с бульканьем полилось вино. Торжественный свет озарил темное, грустное дотоле лицо Карама.

— Эх-ма, зятек!.. Два странника, мир повидавшие, из двух, говорят, зернышек кашу сварят. Истинная правда! — сказал Карам, обласкав взглядом стаканы.— Ну, за встречу!

— Не пью я...— пробормотал Гата.

— Не пьешь? Как это не пьешь? Совсем, что ли? Странно... Ну, коли так, воля ваша...

От великого удивления он покачал головой, в один дых опустошил полный стакан и ткнулся носом в рукав. Помутневшими глазами он с минуту смотрел на Гату, потом, словно ища что-то, спотыкающимся взглядом обежал гараж. Наконец вытянул из рукава вмиг почерневший от мазута нос и глубоко вздохнул, лицо пошло красными пятнами.

— Эх, ты, жизнь — один секунд, одна копейка! Сегодня есть человек, а завтра — вассалям! — сказал он, весело поблескивая глазами, словно сама эта истина доставляла ему удовольствие.— «Сколько прожито — не измерено, сколько жизни осталось — измерь...» Говоришь, работать пришел? Ладно, седлай иноходца. Такому красивому парню старая машина не к лицу. Садись, брат, вот на этот новый «ГАЗ»! Не только спасибо скажешь — молиться на меня будешь, зятек!

Гата быстро завел машину и вывел ее во двор. Стал проверять ее, отлаживать. Из гаража доносились хриплые песни Журавля. Попоет немного и вдруг остановится, спросит удивленно: «Не пьешь, говоришь?.. Ну, ладно тогда...» — и снова затянет песню: «Где б ни был ты, куда бы ни поехал, друг нужен, чтобы выбежал навстречу и привязал коня...» Словно урок дает Гате, уму-разуму учит. Но и в этом Карам песней не ограничился, вышел к Гате, который возился с машиной, присел на корточки и завел обстоятельную беседу. Словно и не тот человек, который недавно чуть ли не при смерти лежал. Взгляд твердый, внушительный, движения степенны, даже в

плечах пошире стал. Посидел он, посмотрел, как парень подтягивает, подкручивает, где надо, и сказал:

— Я сразу вижу, кто с техникой на «ты». На дух чую. Ладно, пользуйся. Сам бы гонял, да только вот... Что насчет меня — так я человек душевный, добра не забываю. Но также надеюсь, что и другие не забудут. Нет, браток, ты не подумай, мне ничего не надо. Глянул приветливо — мне и хорошо. Вот и все мои потребности. Однако не думай, совсем, мол, Карам пропащий, так себе, завалященький... Это только в газетах про нас пишут: простые, мол, люди. А если посмотреть в общем... Вот, к примеру, куштирякский люд возьмем. Каждый сам по себе загадка. Тайна, зять! Кромешная тайна! Есть хорошие, попадаются и плохие. Суетятся, за наживой гоняются — наперегонки, кто кого обгонит. Вон хоть на Юламана посмотри... Не думают люди о том, что впереди ждет, о смерти хотя бы — одним днем живут. А причина? Причина, брат, что много нужды видел народ, голодал, холодал... Вот и хочет за прежнее возместить.

Гата молчал. До такой глубокой философии годами не дорос. И той закваски, что забродила в голове Карама, тоже нет. Однако изредка вставлял в беседу «хы» и «вон как» — давал понять, что к разговору этому он не безразличен.

Наконец Карам вздохнул:

— Эх, жизнь! — махнул рукой и пошел в гараж.

Так начался трудовой путь нашего героя в колхозе. Сначала он зерно в райцентр на элеватор возил, по два-три рейса в день делал. Сошла страда, на доски, шифер, кирпич и прочие стройматериалы перешел, а то приладит в кузове скамейки и развозит девчат по работам — тоже нескучно, эти каждый ухаб своим визгом обсыпят.

Через месяц на деньги, что скопил в Одессе, купил мотоцикл «Иж», о каком мечтал. Тем временем водитель председательского уазика ушел в армию, и на его место посадили Гату. Он сразу взметнулся над другими шоферами, как тонкое деревце над мелкой порослью. Потому что шофер председателя, конечно, еще не сам председатель, но близкий ему человек — советчик, наперсник, иной раз и застольник. Что кум королю — что председателю шофер. Нужно — ответственное его поручение выполнит, нужно — и за хозяина что-то решит.

Шофер грузовика остановится возле правления, сделает дело и торопится уехать. Разве что самые решительные заглянут к девушкам в бухгалтерию, поболтают ма-

лость. Но и там оба глаза в окне. Заметит кто из начальства — пиши пропало.

У председательского шофера положение иное. Входит он в правление, ступая твердо, по-хозяйски, со встречными только словом перекинется, и то свысока; если же изволит беседовать, то говорит, отставив ногу, и все сапожком постукивает — с пятки на носок и с носка на пятку. Когда же свободен, хочет — книжечку читает, хочет — с одним из самых уважаемых людей Куштиряка с главным бухгалтером Фатхутдином Фатхутдиновичем на разные международные темы беседует. Если же председатель с поручением к кому-нибудь пошлет, то шофер, приехав на место, сам начать разговор не торопится, ждет, когда там поздороваются почтительно, о житье-бытье расспросят. Если же вдруг еще с распоряжением не согласны, то он — неприступная скала.

Впрочем, не Гатой это заведено. Автор путем наблюдений и набитых шишек, говоря словами друга-критика — *эмпирическим путем,* пришел к выводу: в случае какой нужды к самому начальнику обращаться не торопись, сначала шофера за леску подергай, к нему ключ найди. Он все объяснит: когда и как удобнее начать разговор, а потом, во время беседы, когда нужно ответить, а когда, по этикету, лучше промолчать, какие черты начальника исподволь, ненавязчиво похвалить, а о каких отчеканить прямо в глаза и на том стоять до конца.

Некоторые читатели полагают, что резоннее начать с секретарши. Сие ошибочно. Во-первых, секретарша сидит под дверью и лишь то выполняет, что скажут. Во-вторых (и это особенно важно), она выслушает, кивнет, а отвечать ей не положено. Где уж там сесть с начальством рядком и поговорить ладком о погоде, о проклятых наших дорогах, обсудить, у кого машина новая, черная, а у кого старая и, как положено начальству помельче, серо-желтая. И где уж там прикурить от одной спички и задуматься... вроде бы и мысли у каждого свои, а все что-то общее. Нет, все это причитается только шоферу. Правда, это право Гата завоевал не без потерь.

Во-первых, прежде чем усесться за руль уазика, он поругался с братом. По твердой уверенности Стахана, хочешь жить припеваючи — работай на грузовике.

Во-вторых, не голову, правда, но волосы пришлось положить на плаху. В первый же день глянул председатель на прическу Гаты, сложил два пальца ножницами и сказал: «Не пойдет, браток, придется укоротить». А так

как Гата был готов ради председателя пройти огонь, воду, медные трубы и расческины зубы, то махнул рукой и не то что укоротил прическу — махнул все «под нуль».

Когда же председатель хлопнул себя по бедрам и, всхлипывая: «Ай-хай... совсем оказывается... шуток не понимает!.. Я же... только укоротить... велел!» — зашелся от смеха, Гата обиделся, но виду не подал. Не засмеялся, не улыбнулся даже, ответил с достоинством: «Была бы голова, а волосы отрастут». Безудержный, с взвизгиванием хохот председателя тоже оценил по-своему. «Руководящий товарищ, и такой легкий характер... Не к лицу»,— решил он. И на своего председателя стал смотреть свысока.

Возможно, читатель уже представил себе председателя... этаким дядей в годах, в усталой шляпе, с мятым соломенным лицом, то он... Тьфу, рука уже сама привычно пишет! То есть в мятой соломенной шляпе и с усталым лицом. В общем, ошибетесь. Председателю куштирякского колхоза Кутлыбаеву и тридцати еще нет. Костюм на нем новый, коричневый, аккуратный, на ногах сверкающие кожаные сапоги, тоже новые, на голове темно-зеленая кепка с маленьким козырьком — говорят, мечта поэтов. И потертого парусинового портфеля он под мышкой не носит. Увидит кто его впервые, обознается — учитель, подумает, или представитель из района. Такое уж сейчас время — грамотных, культурных председателей.

Впрочем, отвлеклись. Разговор-то идет о Гате. Как видим, общественное положение его никак не ниже, чем у зоотехника. Шутка ли, двух месяцев не прошло, как вернулся, а с видными людьми Куштиряка в один ряд встал. Частенько председатель сам садится за баранку и отправляется по полям да по фермам. Тогда наш джигит свободен, может одеться пофасонистей и, оседлав мотоцикл, погонять по Куштиряку, себя показать.

Еще Гата привез из Одессы японский магнитофон. Не то что в окрестных аулах — в райцентре такого нет. Принесет вечером в клуб — у молодежи свет белый с копеечку становится, все забудут. Из аппарата, сотрясая Куштиряк, рвется оглушительная чужая музыка — мертвый вскочит. То барабаны гремят, то гортанные вопли раздаются. И молодежь, которая только что чинно-мирно, благовоспитанно беседуя между собой, стояла у стенки, вдруг ни с того ни с сего начинает дергаться в судорогах, руки-ноги в такт музыке ходуном ходят. До

черного пота, до изнеможения крутятся, плечами дергают, разметав волосы, изгибаются, словно змеи.

Если же в клубе окажется и Алтынгужин, Гата ему назло ставит музыку погромче, чтоб крику и визгу было побольше. А сам в распахнутом бархатном пиджаке, в меднокочанной фуражке набекрень отплясывает браво, с издевкой поглядывая на зоотехника. Гляди, какие в нашем Куштиряке парни есть! И впрямь, если бы не Гата, откуда бы деревенской молодежи постичь это современное искусство?

Вспомнит автор свою куштирякскую юность, послевоенные годы и вздохнет невольно. Куда уж там до нынешней музыки, до танцев этих, которым обучает Гата! Возьмется, бывало, молодежь за руки, встанет в круг и ходит не спеша, на мотив «Эннэ-гизер-геннэ-гизер-геннэйем!» или «Золотая радиатор, золотая карбюратор, золотой магнето!» — частушки поет. А парень или девушка, что посредине стоит, выбивает дробь, подходит к тому или к той в хороводе, кто душе милей, вытягивает его или ее на середину и давай отплясывать вдвоем! Вот это и называлось народными играми. Или кураист с гармонистом тянут на пару «Карабая», «Эпипу» или «Барыню», а пляшут все по очереди. Один натопчется — другую вызывает, другая — третьего — но, что важно, кого попало не приглашает, а ту девушку (или парня), к которой сердце льнет, зародившееся чувство перед ней выплясывает. Да, иное время, иные пляски, иная тряска. Посмотрит кто на нынешние вечерние развлечения куштирякской молодежи и увидит, насколько все же выросла культурная жизнь аула.

В один из вечеров Алтынгужин, прищурив глаза, долго следил за танцующими, наконец не выдержал, схватил Гату, ошалело колотившего ногами в пол, за рукав. Но не успел и слова сказать, как одна из дергавшихся, словно в трясучке, девушек крутнулась на месте и рухнула на пол. В пыли и грохоте ее даже не заметили. Алтынгужин, отпустив Гату, бросился в круг и, не найдя другого способа, пронзительно свистнул. Кто-то взвизгнул, кто-то побежал и выключил музыку. С полминуты еще стоял топот, и, наконец, молодежь, отирая пот со лба, остановилась и начала приходить в себя. А девушка лежит, словно рыба, выброшенная на берег, то откроет рот, то закроет, растрепанные волосы по полу рассыпались, глаза сквозь затылок в пол смотрят.

— Эх вы...— сказал Алтынгужин, нарушив неловкую

тишину, поднял девушку и посадил на стул.— Воды принесите!

После этого происшествия Алтынгужин привез из города целый чемодан пластинок и стал проводить танцевальные вечера по-своему. Но, удивительное дело, к музыке видного композитора Бахтина молодежь почему-то не проявила интереса. Им магнитофон Гаты подавай. Современная музыка нужна. Такая, чтоб отплясывать так отплясывать! После долгих споров решили: один вечер танцевать под магнитофон, другой — под Бахтина.

Как видим, хоть Гата и не победил, но лопатками к земле прижат не был. «Один — один»,— сказал он, вспомнив хоккейный матч славного «Салавата Юлаева» с командой ЦСКА. Но борьба только начиналась. Впереди были новые испытания.

Насчет Танхылыу он не сомневался и поначалу был беспечен. Зачем суетиться? Не огонь же за подол зацепился. Авторитет и без того день ото дня растет, укрепляется. Сам Куштиряк считает, что Танхылыу — девушка Гаты. И действовать нужно с расчетом, соблюдая достоинство. Не торопиться, не заговаривать с ней, истомить девушку. Вот тогда она сама, как спелое яблочко, в ладошку — тюк!

Гата впряг извилины в работу и начал строить планы, как оставить Алтынгужина с носом. И в это затишье один случай, словно гром с ясного неба, оглушил Гату.

После осенних дождей стояла сухая и ясная погода, природа ждала блаженного зимнего покоя. Однажды к вечеру Гата Матрос, поставив машину в гараж, пешком возвращался домой, как вдруг со стороны фермы с оглушительным треском вынесся мотоцикл. Гата еле успел отскочить в сторону. Только и заметил, что за рулем был Алтынгужин, позади сидела Танхылыу. Гата как стоял, так и застыл на месте. Головой помотал, проморгался — уж не мерещится ли? — на след мотоцикла посмотрел, затем себя всего оглядел. Наконец, очнувшись, сказал со злостью:

— Тьфу, абитуриент! — и ткнул кулаком в ладонь.

Кого он так обидно обозвал — Алтынгужина или себя самого,— осталось неизвестным. По догадке автора, и к пронырливости зоотехника, и к ротозейству Гаты наклейка эта подходила одинаково.

Все нутро парня занялось огнем. Выходит, письмо-то было написано не зря... А Танхылыу-то! Нет, ты только посмотри! Уже шелковым алтынгужинским языком уле-

стилась! Эх, ты, простота куштирякская, того не знаешь, какие муки ожидают тебя впереди! И ведь кого на кого променяла! Нет, не бывать этому! Сегодня же повидаться с Танхылыу и все объяснить, раскрыть ей глаза!

Весь вечер, не находя себе места, носился взад-вперед Гата, каких только отчаянных планов не строил. Но в дело из них не годился ни один. Стоп, надо поглубже задуматься. Не заноситься. Надо еще раз доказать свое превосходство над зоотехником. Как можно скорей, иначе...

Наутро председатель с парторгом сели в уазик, приказали Гате отдыхать, а сами укатили в район. Гата пришел домой, натянул поверх бархатного пиджака кожаную куртку, сдвинул набекрень фуражку с медной капустой и выкатил сверкающий под осенним солнцем мотоцикл на улицу. На вопрос матери, куда это он собрался, только рукой махнул. Всем своим видом он напоминал собравшегося на опасную травлю охотника.

Только стремени коснулся, мотоцикл яростно затарахтел. Разгоняя гусиные выводки, Гата дал круг по главной улице и, оставляя позади клубы перьев и пуха, устремился к ферме. Понятно, дороги не выбирал, через выгон напрямик помчался.

Ты посмотри, как вовремя подоспел! Доброе дело добром и начинается. Только Гата подъехал к воротам фермы, как оттуда, словно яблочко по блюдечку, выкатилась Танхылыу. Видно, уже закончила утреннюю дойку.

— Как дела, Гата-агай? С чем пожаловал? — И улыбается, да еще приветливо так.

Выше мы уже говорили, что такие никчемные чувства, как страх, растерянность, Гате неизвестны. Он куштиряковец, значит, из тех, которые где ухватят, там и ломают. К тому же и педагогической каши из котелка Шамилова в свое время поел. Но тут глянул на девушку — стоит она, улыбается, от солнца щурится,— да так и обмяк.

— А... так просто... погода больно хорошая... председатель в район уехал...— что на язык подвернулось, то и пробормотал он.

— Ладно, прощай тогда,— сказала Танхылыу и, помахивая зажатым в руке белым халатом, зашагала к аулу. Махнет еще раза два халатом, словно птица, бьющая крылом, взлетит и скроется из глаз!

В это время со стороны аула донесся треск мотоцикла. Вспомнив, зачем приехал, Гата ругнул себя: «Эх,

абитуриент! Эх, разиня!» — и подбавил газу своему подрагивающему от нетерпения рысаку.

— Давай садись! —сказал он, нагнав Танхылыу.

— Вот спасибо, вчера в клубе пятки натерла, до сих пор болят,— сказала она и, загадочно улыбнувшись, села на стоящий поперек дороги мотоцикл.

Сердце у Гаты пуще «Ижа» ярится, руки дрожат. «Стой!» — сказал себе джигит, пытаясь взнуздать расходившиеся чувства. Танхылыу, все с той же улыбкой, уселась поудобней и аккуратно натянула на себя накидку от коляски. Мотоцикл, словно ретивый конь, рванулся вперед. Они уже подъезжали к околице, когда навстречу им выехал Алтынгужин. При виде их он остановил мотоцикл. Гата с надменным видом, подобно древним римским легионерам, подняв правую руку на уровень плеча, приветствовал его, усмехнулся из-под усов и прибавил газу.

— Останови! — крикнула Танхылыу, легонько шлепнув его по куртке.— Поворачивай! — Но видя, что Гата поворачивать и не думает, принялась дубасить его кулаком по спине.

Поняв наконец, чего от него требуют, Гата повернул обратно. Короткую, всего-то на минутку, радость, чувство гордости и превосходства мигом сдуло. Увидев, что Алтынгужин не один, что сзади него сидит какой-то бородач, он немного успокоился. Но все же обида на Танхылыу, словно горячий огонек, упала на сердце. «Смотри, как дерется! — подумал он.— Увидела зоотехника, так меня уже и знать не хочет!»

— Как дела, друг Гата? Не обессудь, отвези Танхылыу обратно на ферму. У этого товарища к дояркам дело есть,— сказал Алтынгужин.— Потом, если не к спеху, обратно отвезешь.

Эх, Гата, Гата Матрос! Вот чьи приказания осталось тебе исполнять! А Танхылыу молчит, сидит посмеивается. На вопросительный взгляд Гаты кивнула только и бровями показала на ферму.

— Подождать, что ли? — спросил Гата, когда она сошла с коляски.

— Еще спрашивает! Разве ты не за мной приезжал?

— Я... Это...

Танхылыу погрозила покрасневшему Гате пальцем и зашагала к воротам.

Прошло ли, нет ли полчаса — из ворот с шумом и смехом высыпали доярки. Танхылыу спокойно, по-хозяйски подошла и села в коляску.

— Спасибо, нашел время, подождал,— сказала она.— Для нашей районной газеты фотографировались. Бородач-то — корреспондент, я его сразу узнала.

Хоть она и приветливо говорила, настроение у Гаты уже пропало. Где уж там, как было задумано, вдвоем раза два из конца в конец по аулу прокатиться! Молча подвез к воротам Фаткуллы Кудрявого и стал ждать, когда Танхылыу вылезет из коляски. Та тоже — будто на такси приехала, не поговорила даже, головкой кивнула, ручкой махнула и пошла домой.

Только собрался Гата повернуть ручку газа, как из-за ворот послышались оханья-аханья и, полусогнутый, держась за поясницу, вышел отец Танхылыу — Фаткулла Кудрявый.

— Как поживаешь, Гата-сынок, здоров ли? — прокряхтел он.— Коли не очень торопишься, потерпи еще чуток. Обычай известен: чего у себя нет, у людей займешь... Просьба у меня к тебе есть.

Гата навострил уши. Он заглушил мотор и уставился Фаткулле Кудрявому в рот. Просьба у почтенного старика оказалась такая: сестра его, которая в Каратау в магазине работает, передала через людей: так, мол, и так, что просил, все приготовила, приезжай немедля, забирай. Только у самого Фаткуллы поясница стронулась, не то что в Каратау ехать — до ворот еле доплелся.

— Ых-хым! Мне — что! Враз туда и обратно,— не задумываясь, сказал Гата.

— Хай, сын своего отца! Спасибо, браток. На, коли так, деньги приготовлены. Ровно двести рублей. Только тут загвоздка есть...— старик перешел на шепот,— чтоб Танхылыу не узнала.

Что там купили, почему от Танхылыу в секрете, Гата спрашивать не стал, взвизгнули колеса по гальке — и он уже в пути. Между Куштиряком и Каратау — двенадцать километров. Как раз к обеду и вернется.

Эх, человек ты, человечек! Немного же нужно, чтобы поднялось у тебя настроение и душа расправила крылья. Вот ведь как все складно получилось! Гата от радости затянул самую задорную из магнитофонных мелодий. Захочет бог дать — сам на дорогу вынесет. Просьбу отца выполнил, значит, и к дочери подход будет легче найти. Усмехнувшись из-под усов, Гата представил, как кое-кто останется с носом, и от нетерпения издал клич:

— Эхе-хе-ей!

Клич-то он издал — дело нехитрое. Но, получив у продавщицы нужные товары, Гата встревоженно щелкнул языком. Чтобы понять причину этой внезапной тревоги, придется и нам заглянуть в большую картонную коробку, бережно уложенную в коляску мотоцикла.

Впрочем, не мешает взглянуть сначала на саму продавщицу. Что ни говори — сестра Фаткуллы Кудрявого, тетка Танхылыу. А следовательно? Вот именно. Коли дела на лад пойдут, и Гате — будущая тетушка. Такими серьезными вещами, как родство и свойство, пренебрегать нельзя. В Куштиряке этого не любят.

Хотя полное имя у продавщицы Гильмениса, все ее зовут просто Нисой. Уже лет пятнадцать как она уехала из Куштиряка. Вышла замуж в Каратау, потом отчего-то развелась и живет теперь одна, но, как слышно, хозяйствует не хуже, чем другая замужняя. Тут удивляться нечему, давно известно: куштиряковец нигде не пропадет. И Ниса не пропала, хоть образования всего пять или шесть классов.

Вот она сморщила маленький, как у брата, носик, сощурила глаза, таинственно погрозила Гате пальцем и громко рассмеялась. И не скажешь, что этой добротной кругленькой женщине уже под сорок, ужимки словно у сношки-молодушки. Насмеявшись вдоволь, она понизила голос:

— Ты, голубчик Гата, брату все это передай, когда Танхылыу дома не будет. Хорошо, если и в Куштиряке ничего не узнают. Ты уж не выдай, ладно? — И она положила в коробку дорогой мужской костюм, белое подвенечное платье и белые туфли на высоком каблуке.

Что за наваждение? Размер у Фаткуллы сорок восьмой, ростом, хоть на цыпочки встанет, выше второго не вышел. Этот же костюм пятьдесят второго размера, да еще четвертый рост. Значит, не ему обнова. Кому тогда? Это — первая загадка. Во-вторых, ни о какой свадьбе ни словечка, ни намека даже не слышно. Кого же Фаткулла Кудрявый собирается выдавать замуж? Разумеется, Танхылыу. Значит... Значит, покуда Гата Матрос искал брода, кто-то уже мост навел. Кто же этот проворный джигит? Алтынгужин? Но почему и отец Танхылыу, и тетка держат все в секрете, даже от нее самой? Странно...

Читатель, наверное, уже понял, что в обратный путь Гата вышел с пасмурной душой, и в груди его не магнитофонные песни звучали, а тянулись родимые старинные

куштирякские напевы. И день потускнел, и дорога плоха, и мотоцикл, до этого исправно гудевший, вдруг зачихал, закашлял, словно простуженный,— словом, сор на мусор, тьфу! А тут еще ребятня, возвращавшаяся из яктыкульской школы, травя душу, закричала:

— Дядя Гата Матрос, посади! Гата Матрос, дяденька, прокати! — и припустила следом.

«Нет, так не годится,— твердо сказал себе Гата,— так дело не пойдет. Если не сегодня, так завтра же надо встретиться с Танхылыу и поставить вопрос ребром». Это твердое решение дало силы Гате, и он не стал ронять своего достоинства и расспрашивать Фаткуллу о тайном смысле привезенных из Каратау подарков. «Терпение! — старался обуздать свои разгоряченные чувства джигит.— Сначала подуй...»

Вот и автор, видя, как все осложнилось, решил, что в таком деле срезать углы неуместно, и повторил вслед за своим героем: «Сначала подуй, потом пей». И слова, готовые сорваться с кончика пера на бумагу, со вздохом стряхнул обратно в чернильницу. Разумеется, читатель выкажет недовольство и потребует: «Ты же куштиряковец — режь напрямую!» Действительно, о какой свадьбе печется Фаткулла Кудрявый?

А баня? Как решилась ее судьба? О ком печали Танхылыу? А Алтынгужин? Почему такой смирный ходит, коготков даже не покажет? И т. д. и т. п. Все вопросы неотложные, и все ждут немедленного ответа. Но автор хорошо усвоил уроки своего друга-критика и тоже считает, что ответы здесь нужно искать глубже, заходить издалека.

Нет нужды объяснять уважаемому читателю, что жизнь — дело сложное, и все в ней рядом ходит, все перемешано — горе с радостью, правда с ложью, смех со слезами, мед с желчью. Возьмем для примера судьбу занимающего в нашем повествовании достойное место уважаемого Фаткуллы Кудрявого. Тут тоже всего намешано. Но если столь почтенный, мягкий, покладистый человек вцепился в старую баньку, и не столько в баньку, сколько в две сажени земли, и оттого уже столько лет разговаривает с односельчанами через плечо, значит, тут дело не в сквалыжничестве и не в дурном характере. Тут надо искать причину поважней. Это, пожалуй, поймут даже те из моих сокарандашников, которые написали одну повесть и три рассказа, тем себе и славу снискали. Итак, стараясь отделить истину от выдумки, рас-

скажем о том, какое место Фаткулла Кудрявый занимает в истории Куштиряка.

Прямо скажем, прозвище Кудрявый, данное Фаткулле,— наследие проклятого прошлого. Всем известно, прежде Куштиряк страдал от голода, нищеты, невежества и всяких повальных болезней. Особенно мучились дети. (Конечно, Фаткулла родился на второй год революции, но ведь народ не сразу по-новому жить начал. Борьба-то за светлое будущее еще только разгоралась.) Маленькому Фаткулле и года не было, когда он заболел чесоткой. Противную эту болезнь запустили. Она расползалась по телу все больше и больше. Так понемногу добралась и до головы. И заговаривали ее, и кропили — пользы никакой. К семи годам голова мальчика превратилась в мокрый струп.

Отец Фаткуллы,— человек удалой, в семнадцатом году барские усадьбы разорял,— выгнал из дома старушку, знаменитую знахарку, и повез сына к врачу в Каратау. И двух месяцев не прошло, Фаткулла выздоровел... и стал Кудрявым. Блестящая, как зеркало, плешь осталась на всю жизнь.

Просто так над увечьем, над физическим недугом Куштиряк смеяться бы не стал и прозвища такого не придумал. Но какой-то плут пустил, говорят, выдумку, и на правду-то непохожую, но ей поверили.

Никто якобы Фаткуллу врачу не показывал, все было иначе. Когда мальчики вконец задразнили его паршой и не стали брать в игру — заразишь, дескать,— заплакал бедный ребенок и пошел к ветеринару.

— Агай,— подавив стыд, сказал якобы Фаткулла,— неужто нет лекарства этой башке?

Задумался ветеринар. И тут все мысли замутил ему Зульпикей.

— Есть,— сказал ветеринар, додумав свою думу.— Смажь сию башку куриным дерьмом. Только смотри, парень, три дня, три ночи тюбетейку не снимай. И все как рукой снимет. Струп засохнет, отпадет, и на его месте черные кудри вырастут.

Верно, как рукой сняло — и струп, и остатки редкими кустиками торчавших волос. И открылась миру лысина, свет которой не меркнет уже полвека. Как тут человека назвать? Или Кудрявым, или Дерьмовой башкой, больше никак. Подумал Куштиряк и решил, что Кудрявый — милосерднее.

Какая из двух версий истинная, какая ложная — ав-

тору неведомо. Доподлинно известно одно: покойной своей жене Фаткулла кур держать не разрешал, а налог по яйцам платил тем, что покупал на рынке.

Данных, касающихся тополя, ни в одной из этих версий еще нет. Тут надо обратиться уже к юности Фаткуллы, к его военным годам. Дадим слово ему самому. Что-нибудь да выяснится.

— ...Вот так, автор-браток,— продолжил рассказ Фаткулла Кудрявый с того места, откуда ему было удобней.— Хоть ты сызмалу в чужие края подался, но нравы-обычаи Куштиряка знаешь. И хорошее знаешь, и плохое. Сколько бы Яктыкуль ни цеплялся к нам, Куштиряк — он есть Куштиряк. Началась война, из ста семидесяти дворов аула сто человек сразу ушли на фронт. А до майских дней сорок пятого года к ним еще пятьдесят джигитов, которые вошли в солдатский возраст, прибавилось. Сколько всего получается? Сто пятьдесят? Из них восемьдесят два там и головы сложили, из вернувшихся половина — инвалиды...

«Эх, Куштиряк, Куштиряк! — вздохнул про себя и автор, печаль и восхищение смешались в этом вздохе.— И нужду, и голод, и непосильные страдания — все ты видел, все вытерпел. И все одолел, живешь, вперед шагаешь...»

— Что ж, и я не остался в стороне,— потянул хозяин нить беседы дальше.— Когда началась война, один из братьев в армии на действительной службе был, так прямо в огонь и шагнул, второго в сорок втором забрали. Оба не вернулись... Сам я при отце с матерью единственным кормильцем оставался до сорок третьего. Но пришел день, настал мой час...

— Да-а, похоже, досталось тебе...

Эта ненавязчивая реплика автора добавила рассказчику вдохновения.

— Было, брат, все было,— сказал он, жадно затянувшись своей махоркой.— Показал нам тогда фашист, чего прежде не видали... Летом сорок третьего под Харьковом вот сюда осколок ударил,— задрав рубашку, показал на правом боку шрам с ладонь величиной.— Ну, парень, скажу я тебе, маленький овраг, а перейти не можем. Днем немец головы поднять не дает, ночью немного продвинемся, так он на рассвете обратно нас отжимает. Как говорится, нищему и ветер супротив — то печет нещадно, то дождь льет, до костей пробирает. Гладкая, как вот эта (тут автор невольно бросил взгляд на его голову)

ладонь, степь. Ты не думай, я снайпером был.— И он, прищурив глазки, сморщил свою унаследованную от дедов и прадедов пуговку и, довольный, разгладил усы.— Одна только загвоздка — где укрыться, чтобы пострелять? Говорю же, голая степь. Тогда лейтенант посылает меня к огромному тополю. В ясный день все немецкие мины и снаряды там падают, гроза начнется — все молнии по тополю бьют прямой наводкой. Потому что тополь этот и для фашистов, и для молний единственный ориентир, будь он неладен!..

— Видать, не из самых умных командиров был тот лейтенант, коли понапрасну солдат в пекло гонял,— вставил слово автор. Дескать, какова она, война, тоже понимает.

— Так-то оно так, но и его винить трудно, полмесяца, как на фронте, неопытный... Не скрою, братишка, я молнии с малых лет боюсь. Почему, спросишь, так скажу: в двадцать шестом году, в тополь («Тополь!» — вздрогнул автор), что возле нашего дома стоял, ударила молния, огонь на крышу перекинулся. Дотла мы в тот год погорели... Большая эта глупость — возле дома большие деревья сажать.

«Так-так-так-та-ак!» — сказал про себя автор. Вот оно! Говорил же, Фаткулла Кудрявый из-за чепухи скандала не поднимет, с миром тяжбу не заведет. Не такой он человек, чтобы достоинство свое ронять. Но прерывать рассказ нельзя. Сделал автор зарубку насчет этого важного исторического довода и, выражая неподдельный интерес к фронтовым похождениям хозяина, сказал:

— А дальше, агай, а дальше?

— А что дальше? Стоит тополь, ни перед немецкой, ни перед небесной артиллерией не гнется. В один день немец особенно взбесился. Тут гроза гремит, ливень льет, а он из пушек лупит по нашим позициям. С грохотом снаряды рвутся, с треском молнии разрываются — ураган, судный день! Вдруг — то ли от снаряда, то ли от молнии — огромная ветка переломилась и полетела вниз. Еле увернулся. И тут шагах в пятнадцати так грохнуло, что выросла копна огня. То ли молния, то ли снаряд. Подняло меня, бросило головой об тополь, и все... темно и пусто. Голову-то каска сберегла, есть, выходит, счастье. Но вот три ребра осколок переломал — что твой спичечный коробок, только хрустнули. Значит, снаряд это был. Ну, брат, и помучила рана! Пять месяцев про-

валялся в госпитале, еле выкарабкался. Но знать себя дает поныне. Чуть занепогодится, кашель душит...

Увлекательный рассказ Фаткуллы Кудрявого придется здесь прервать. Это не значит, что больше ему слова не дадут. Наоборот. Теперь автор сам будет кружить возле него, как пчела вокруг цветочка.

Из предыдущих событий читатель, верно, сделал вывод, что Фаткулла Кудрявый — человек весьма трудолюбивый. Но тут всего понемногу — и черного есть, и белого. Потому что он человек, то есть живая душа, или, как говорит друг-критик, *субъект, индивидуум.* А индивидуум же можно сравнить только с воробьиным яйцом — оба пестрые.

Но и читателя за то, что он поспешил с выводом, винить не приходится. Тут будет справедливей, если мы более увесистый конец палки опустим на тех ученых-литературоведов, которые выводят каноны литературы, основываясь на тех выдающихся книгах отдельных наших писателей, в которых судьбы человеческие — прямы, как путь летящей стрелы, а герои же — одни светлые, как молоко, и чистые, как вода, а другие — черны и плохо пахнут, ибо вываляны в дегте и в том, чем Фаткулла Кудрявый в детстве мазал голову. По этим канонам у положительного героя не должно быть и малого недостатка, а уж если у отрицательного героя хорошую черточку, маленькую-маленькую, бледненькую-бледненькую, заметят — беги, спасайся! Эта черточка для наших ученых мужей — словно красная тряпка для Капрала. Но автор — человек покладистый, в бой с ученостью не лезет, душевное согласие для него прежде всего. «Афарин, успехов в работе!» — говорит он, а историческое исследование вашего покорного слуги расшатывать основы вашей науки и не тщится. Цель у него скромная: к славе Куштиряка еще немного славы прибавить, только и всего.

Да, рассказ Фаткуллы придется прервать и взять нить повествования снова в свои руки. На Фаткуллу надежды нет, по извечной своей скромности самые важные о себе сведения он может опустить.

По понятной читателю причине Фаткулла в молодости был особенно стеснительным, а уж девушек, которым только дай над чем-нибудь посмеяться, боялся даже больше, чем молнии,— оттого и проходил до тридцати пяти холостым. Но жизнь свое берет! И на тридцать шес-

том году жизни полюбилась ему овдовевшая совсем юной, а теперь уже не юная, одинокая солдатка.

Хоть и плакала Фатима-енге[1], слезы на сажень расплескивала: «О господи, не вернулся мой суженый,— знать, выпало мне с тыквой этой кудрявой дни свои доживать!» — против сердца пошла, но потом привыкла. Пригрелись муж с женой друг к другу, думами делиться начали, хорошо зажили. Хоть и порядком ждать заставило, родилось и дитя. Стареющие родители с Танхылыу пылинки сдували. Злоязычные соседки посмеивались, что они под дочкин кубыз друг друга стараются переплясать. Теперь же, когда благоверная его оставила сей мир, дела у Фаткуллы будто бы совсем плохи. Как старику, которому под шестьдесят, общий язык найти с двадцатилетней девушкой? А характер у Танхылыу — ай-хай! Она даже колхозное начальство под свой норов подогнала...

Кто сказал, тот и прав. Людскую молву ситом не просеешь. Хочется им говорить, ну и пусть говорят, а мы свое продолжим.

В один, как говорится, прекрасный день (на самом деле ночью) по всей Нижней улице словно гром прогрохотал. Выглянул народ, что за поздняя гроза, но гром больше не повторился. Только услышали рев отъезжающих машин. Утром смотрят, в конце улицы бревна свалены — звонкая, желтая, как медовые соты, лиственница. Кто строится? Чьи молодые решили отделиться, своим домом зажить? Машин и след простыл, спросить не у кого, хозяин молчит, не объявляется. Головы ломать не стали. Чей бы ни был, дело хорошее, жить да радоваться. Тем временем и плотники прибыли. Работа закипела, за неделю встал сруб. Вот тут-то Куштиряк присел от удивления и хлопнул себя по бедрам: «Здорово живешь?!»

Автор тоже вынужден повторить это восклицание, выражающее крайнюю степень удивления. Новый, словно намазанный топленым маслом, сверкающий под осенним солнышком сруб оказался не чей-нибудь, а передовой доярки Танхылыу. И дом-то — чуть не с колхозный клуб, крыша не двухскатная, а шатровая, в четыре ската, окна еще шире городских вытаращились.

Пошли по аулу пересуды! «Что за невидаль, вся семья — отец и дочка, дом у них — на всю жизнь хватит. Не собирается же Танхылыу одна отделяться, это не в обы-

[1] Енге — сноха, обращение к старшей по возрасту женщине.

чае. Да, брат, здорово живешь! Отродясь такого не было». Так рассуждали мужчины. Лишний раз выказали свою консервативность. Женщины — народ более решительный, то, что «отродясь такого не было», или, как говорит мой друг-критик, *отсутствие прецедента* их не смутило. У них на каждый случай мерка новая. Это лишь с мужчинами — из сил выбьешься, пока побелевшие пальцы расцепишь, чтобы старый аршин вырвать из рук. «Подумаешь, отродясь не было! — чуть не взвизгнули самые передовые из наших кумушек.— Не было, так будет! Танхылыу — передовая доярка, в колхозе на виду. Вот и щелкнет кое-кого из тонкошеих парней по носу!» Другие не удержались и тут же съязвили: «Боится, что без жениха останется, с ее-то характером! А так прямо в новый дом за ручку введет. Тут и на нрав ее глаза закроешь». А третьи прямиком на скорую свадьбу истолковали. Первым в список женихов внесли Алтынгужина, потом Самата, следом еще трех-четырех парней. Но Гата Матрос почему-то в этот список не попал.

А Танхылыу? А отец ее, Фаткулла Кудрявый? Они-то здесь, в ауле, под боком живут. Чем из пустого в порожнее переливать, пойти бы и спросить! Но Фаткулла, если кто-нибудь начнет издалека подъезжать, посмотрит исподлобья и отрежет: «Что, других забот у тебя нет?» Сам же вечерами упорно углубляет траншею возле бани и укрепляет заграждения. А к Танхылыу и близко не подступись! Только фыркнет разве, а то и вовсе промолчит, будто перстень во рту прячет. И чем больше она молчит и фыркает, тем больше входят в азарт куштирякские женщины. И чем туже затягивается загадочный узелок, тем сильнее они впиваются в него зубами.

А дом растет себе. Вот уже и крышу покрыли. И оконные проемы досками заколотили. Остальные дела, выходит, оставили до весны.

Однажды вечером во дворе Фаткуллы Кудрявого со скрипом открылась калитка и перед хозяином, который закладывал скотине сено, предстал Шамилов. «Опять, видно, тополем забредил»,— подумал Фаткулла Кудрявый. Хоть гость не ко времени — хозяин лицом не просветлел, но, закончив с делами, пригласил его в дом.

Танхылыу еще не вернулась с фермы. Можно было поговорить с глазу на глаз.

Сели. Хозяин молчал. По куштирякскому обычаю ждал, чтобы гость заговорил первым. Шамилов оглядел

стены, прокашлялся негромко, достал из кармана пачку папирос и положил на стол. Видя, что он никак не решится, Фаткулла был вынужден взять уздечку в свои руки.

— Как со здоровьем, как настроение, товарищ Шамилов? — сломал он неловкую тишину.

— Диалектика! — ответил Шамилов, озабоченно разведя руками. Настроение было неважное, только что в правлении услышал кое-что весьма неприятное по своему адресу.

— А?

— Жизнь, говорю, сложная, Фаткулла-агай. И доброе, и недоброе — чуть не в обнимку ходят...— И вдруг сразу, опять же по-куштирякски, резанул напрямик: — Я говорю, теперь и спору конец, а?

— Какому спору?

— Новый дом же возводите. Значит...

— Это дом Танхылыу, товарищ Шамилов.

— Вот тебе нá! Не будет же незамужняя девушка от родителя отделяться! Чему люди не поверят, того людям и не рассказывай, завещали нам древние. Не чувствуется, чтоб замуж собралась...

— В таких делах молодежь сама решает, наших советов не слушает,— сказал хозяин и, почуяв, что, кажется, заехал дальше положенного, свернул разговор на другую колею.— Давай хоть по чашке чая выпьем, что ли... Танхылыу с минуты на минуту ждал, не идет что-то. Корова там захворала, с ней, наверное, осталась...— И он зашагал на кухню. Но хихиканье Шамилова остановило его на половине пути.

— Ну и хитер же ты, агай! — отсмеявшись, сказал учитель.— У тебя топор просят, а ты лопату суешь. Так и будете, отец с дочкой, в два дома жить, в две трубы дымить?

— Эх, товарищ Шамилов, товарищ Шамилов! Грамотный же ты человек! А в политике даже с наше, с крестьянское, не разбираешься. Суетишься, хлопочешь, все без толку. Сколько лет голову морочишь. Возьми и посади тополь — вон, любой пустырь твой. Если совсем уж невмочь. А по-моему, нужды в нем — истертый грош.

Шамилов встал с места, скрипя блестящими сапогами, прошелся по комнате. Обида густым румянцем выступила на лице.

— Кто в политике разбирается, а кто нет — тут про-

веряющие и без тебя найдутся,— сказал он. Еще раз прошелся до порога и обратно. Подавив обиду, он взял хозяина за рукав, пригнулся к нему и, оглядевшись по сторонам, зашептал: — За кого выходит Танхылыу? Почему от народа скрываете?

Фаткулла Кудрявый чуть усмехнулся и, высвободив локоть, ушел на кухню за самоваром.

Учитель, с трудом сдержав раздражение, подошел к большому зеркалу, висевшему в углу. Изможденное лицо с поседевшими висками, с морщинистым лбом глянуло на него.

— Эх!..— вздохнул Шамилов.

Время неумолимо, жизнь проходит... жалко и обидно.

С печальной миной он было уже повернул обратно, но тут его взгляд упал на стоявший под зеркалом маленький столик. Древесный жучок бессчетными мелкими дырочками испестрил его весь. И Шамилов снова взодхнул:

— Эх!

С самоваром в руках вошел Фаткулла.

— Попусту голову не ломай,— продолжил он разговор.— Про Танхылыу говорю. За кого бы ни вышла, тебя приглашением на свадьбу не обойдет. Ты же первый ее учитель.

А Шамилов как-то сразу остыл к своим высоким мечтам. Он-то с чего так усердствует? Неужто, кроме дочки Фаткуллы и этого несбыточного тополя, нет у него других забот? Эта старая плешивая лиса, по всему видать, не поддастся. Ведь только глянуть на него, на сморщенный носик, на хитрющие глазки, на усмешечку эту — сразу видать, сколько в нем лукавства и вероломства. Все, как мелом на доске, написано. Еще притворяется, прихворнул, дескать.

— Наверное, испортится погода. («Как ведь ахает, как поясницу трет — будто все взаправду»,— думал про себя Шамилов.) В груди колет, левую ногу свело, так и ноет. («Ишь насупился, как на кровного врага смотрит».) Пей, чего не пьешь? («Рычит, будто последний кусок изо рта вырывают».)

Шамилов вскочил, потоптался на месте и потянулся к дверной ручке.

— Не обессудь, Фаткулла-агай. Некогда мне чаи распивать,— сказал он и вышел. Как ни крепился, не смог удержаться, дверью хлопнул громче положенного.

Видали? Если за ученым человеком, который самые запутанные научные клубки привык распутывать, так хлопнула дверь, что же другим-то остается?

Шамилов не столько на хитрые хозяйские увертки обиделся, сколько на то старое зеркало, которое отняло у него последнюю решимость. «Твоя правда, Асылбике! — думал он, вспоминая то, о чем на каждом шагу твердила ему жена.— Что есть, тому и радуйся, живи спокойно. Уж куда лучше! Нет, Куштиряк добра не понимает!»

Но только вышел на улицу и холодный ветер ударил ему в лицо, он вздрогнул и остановился. «Эх, Шамилов, Шамилов, уж если ты перед такой малой преградой спасовал, что же от других-то ждать!» — со стыдом подумал он. Нет, еще рано сдаваться, рано складывать оружие. Весь аул с нетерпением ждет его победы, торжества истины и справедливости. Мало ли трудностей одолел Шамилов на своем веку! А тут? При виде древесного жучка, крохотной дырки, просверленной им, опустились руки бойца.

И он в приливе новой отваги вскинул голову. Чтобы вечер не пропал даром, решил сейчас же, хоть уже и поздно, поговорить с самой Танхылыу. Он уже завернул в проулок, к дороге на ферму, как послышался треск мотоцикла и сноп света ослепил глаза. Учитель невольно вскинул руку.

Мотоцикл остановился. Это был Гата Матрос.

— Ну, брат, идут дела? — спросил учитель.

— Одни идут, другие стоят,— хмуро ответил Гата.

— Есть у меня к тебе одно дело. Может, говорю, отведешь домой своего... этого... — кивнул он на мотоцикл,— и ко мне заглянешь?

Гате было не до чужих бед. И без того душа горела, будто живых углей наглотался. Поехал на ферму за Танхылыу, но вернуться пришлось порожняком. Капризная девчонка надула губы и завернула его обратно: «Сегодня мы все вместе домой пойдем, аргамаку своему отдых дай».

— Устал, агай,— притворно вздохнул Гата,— весь день за баранкой. Председатель сказал, что с рассветом в Ерекле поедем. Хоть бы немножно вздремнуть...

— Воля твоя... А то ведь я от Фаткуллы-агая шел. Ну... некогда так некогда, извини.

Услышав имя Фаткуллы, Гата насторожился. «Тьфу, абитуриент! Разиня!» — выругался он про себя и поспе-

шил завязать узелочек на оборвавшейся было ниточке беседы.

— А впрочем, ладно! Что мы, сна этого не спали, что ли? — сказал он, давая понять, что ради своего учителя готов на любые жертвы.— Я готов, агай! — И Гата поспешно вдел ногу в стремя мотоцикла.

Опустив голову, задумчиво зашагал Шамилов к дому. Обида на скрытность и неучтивость Фаткуллы Кудрявого все еще не улеглась. «Чувство благодарности в людях редко пробуждается,— с горечью подытожил он.— Когда его дочка, словно пчелой ужаленная, места себе не находила, из аула собралась уехать, кто ее удержал? Если б не я — где, в каких краях ходила бы сегодня Танхылыу? И слава, что на ее долю выпала, кому бы досталась? Фаткулла добра не понимает...»

Но все же неожиданная встреча с Гатой несколько подняла настроение. Вот с кем он душу отведет. Что ни говори, человек в ауле на виду. Случись какая нужда по школе, Шамилов идет к Гате, а тот, хоть и любит поломаться, все доводит до сведения председателя. Что и говорить, свой человек, шамиловский ученик! От Гаты мысли перешли к собственным сыновьям. «Эх!» —вздохнул Шамилов в третий раз за вечер.

Два сына у него. Закончили школу: старший — десятилетку, младший — восьмилетку, отслужили в армии и теперь живут в городе. И в ауле не остались, и дальше учиться — кишка тонка. Уж как отец, который сам дальше педучилища не ушел, бился с ними, уж как уговаривал! Нет, так один за другим и уехали в город на нефтеперерабатывающий завод. Оба теперь в передовиках ходят. Но все равно Шамилов сыновьями недоволен. Хоть и говорит на людях: «Мои ребята — рабочий класс!» — политическую базу подводит, но про себя переживает. И досадно. Хоть бы один из двоих был рядом! Теперь вся надежда на дочку, семиклассницу Киньябике. Может, хоть она поступит в институт, достигнет заветной цели, которой он не достиг.

Впрочем, надо сказать, что эти невеселые думы редко гостят в видавшей виды голове Шамилова. Нет у него на это ни времени, ни желания. Во-первых, школа на плечах. Во-вторых, по его твердому убеждению, за всю культурную жизнь в Куштиряке в ответе тоже он. И в третьих... эх-хе-хе... есть у Шамилова еще одна обязанность, одна мысль о которой вгоняет в краску.

И все они, сыновья его! В каждый приезд одно талдычили: «Люди как люди, на машинах разъезжают, одни мы — на своих двоих. Давай, отец, машину купим!» Примчались в один выходной, запыхавшиеся, глаза горят, будто гонится за ними кто, и поставили вопрос ребром, по-куштирякски: «Чем мы хуже других! Нельзя без машины, выручай!» — уперлись, как два пробующих молодые рожки барана. Будто отец здесь сам деньги печатает. Откуда у учителя начальной школы такие деньги? На этот отцовский довод старший сын выставил план, который они с младшим братом еще в городе разработали. «Свиней откормим и продадим!» — вот ведь что заявил балбес городской.

Понятно, все хлопоты легли на плечи родителей. Сначала-то у сыновей нос торчком, хвост трубой: за корм, дескать, сами будем платить,— но очень скоро поджали хвостики. Пришлось Шамилову весь уход и весь расход взять на себя.

Один стыд чего стоит, от него-то уже никакими деньгами не откупишься, думал Шамилов, шагая по улице. Нет, он — человек сознательный, не то что некоторые, от проклятых пережитков свободен, «нечистого» животного не боится, возиться с ним за срам не считает. Дело в другом. Авторитет, который он создавал годами, был под угрозой.

И давеча в правлении кое-что обидное услышал — тоже из-за поросят. Заместитель председателя без спора выписал полтора центнера ржаной мякины. Выписать-то выписал, но не удержался, пристегнул к слову: «Сам учитель, а занялся ерундой, за Юламаном увязался, достоинство свое роняешь».

Вспомнил Шамилов и от стыда пинком открыл ворота. Звеня цепью, с лаем выбежал Сарбай. Мало того — поросята завизжали. «Тьфу, вот скоты, и ночью жрать подавай!» — выругался хозяин, опускаясь на лавку возле дома.

— Чай поставь, гость будет,— сказал он вышедшей на шум жене и снова невесело задумался.

Теперь он размышлял о Фаткулле Кудрявом и Танхылыу. Ни рев коровы в хлеву, ни блеяние овец, ни визг этих ненасытных— ничего не могло отвлечь его от дум. Хоть как, но должен он распутать клубок — под угрозой была честь Куштиряка.

Если Кудрявый и Танхылыу переедут в новый дом, то за хозяина, который на их прежнем месте поселится,

нужно взяться сейчас же, клочок для тополей захватить сразу. Говорят, человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево. А здесь речь идет не о простом дереве. Сей тополь — памятнику равен.

План такой: во-первых, любая мелочь, связанная с тополем, должна быть в центре внимания; во-вторых, нужно направлять события, то есть взять вожжи в свои руки.

Учитель еще не знал, чем тут может помочь Гата. Но чуял: этот парень в стороне от грядущих событий не останется. Вон и сам уже прилетел. Шамилов с почтением ввел его в дом.

Разговор, который состоялся между учителем и учеником, автор относит к разряду выдающихся исторических событий. Посему, чтобы исключить хотя бы тень жизненной неправды, ему следовало бы обратиться к самой прекрасной и высокой разновидности искусства — к бессмертной драме. Но вспомнил он, как написал когда-то одну пьесу и тем самым выставил себя на посмешище,— и от измены золушке-прозе удержался, одолел соблазн. А если бы не одолел соблазна и дело дошло-таки до драмы — голову бы не ломал и назвал это произведение в произведении так: «Ночной разговор» — или нет: «Единство поколений». Нет же, нет! «Гата выходит на ристалище». Вот как! И по примеру некоторых драматургов, фамилии которых оканчиваются на -баев, дал бы глубокомысленную ремарку: «Действие происходит в наши дни». И о том бы сообщил, что кроме главных героев участвует и благоверная Шамилова — Асылбике (лет 50-ти). Автор, разумеется, не дерзнул бы потревожить сладкий сон столь почтенной ханум, но, коли она не спит, почему же не воспользоваться случаем — все равно ей, покуда ночь на утро не перевалит, придется раза три-четыре выйти к этим прожорливым «тупорылым» (как она называет поросят) и дать корм.

Итак, «Ночной разговор» решили мы изложить прозой. Чтобы никто не мог сказать: дескать, автор к чужому куску руку тянет, хлеб отнимает.

— Давай, браток, не стесняйся, вот сюда, в красный угол, проходи,— сказал Шамилов и похлопал гостя по плечу.

Гата оглядел комнату и оттопырил губу: ничего, мол, особенного, дом как дом.

— Видела раза два, как ты верхом на своей трещал-

ке носишься,— сказала Асылбике.— Гляди, как вымахал! Садитесь, чай стынет. Я пойду этих тупорылых наведаю...

Шамилов прошелся от застолья к порогу и обратно. По тому, как тер виски, было видно, что он даже собственные печали позабыл, о том лишь думает, как ученика от такой напасти выручить.

— Ба-ба, что с вами? Один туда-сюда носится, другой унылый сидит, словно топор в воду упустил,— с порога сказала Асылбике.— Ты бы сел, отец. Чай совсем остыл. Про тупорылых этих говорю, не по дням, а по часам растут, не сглазить бы.

— Оставь-ка ты их! — перебил ее хозяин.— Тут дела поважней, чем эти прорвы. Ты это... иди ложись, чай я и сам хорошо разливаю.

Асылбике спорить не стала:

— Ладно, ладно, отец,— и, отчего-то подмигнув Гате, ушла во внутреннюю половину.

— Так-так,— сказал Шамилов и, подперев щеку, испытующе посмотрел на бывшего своего шакирда.— Ротозейство! Мое ротозейство! Вот бестолковый! Не учуял. А я-то думаю: парень жизнь повидал, что к чему разбирается, и вдруг «ГАЗ» оставил, на председательскую машину пересел! Там на две руки одна работа, а тут — ни сна, ни отдыха, и все по чужой указке. У Кутлыбаева-то по струнке ходят. Крутой. Такие были волосы — наголо обрил.

— Пустяк,— хмуро сказал Гата.— Кутлыбаев-агай хоть и молодой еще, но человек что надо. Строгий, конечно. Но я с ним в любую погоду в открытое море, на любой посудине...

— Полностью согласен. На председателя нам повезло, как он за дело взялся, колхоз богатеть начал,— с растерянным лицом на полуслове подхватил Шамилов. Боясь, как бы слова, вылетевшие невпопад, не дошли до Кутлыбаева, добавил веско: — Ты меня извини, браток, я так скажу: я нашего председателя за отца родного почитаю.

Помолчали. Шамилов решил зайти с другого боку.

— В ауле-то уже обвыкся, по Одессе не скучаешь? — спросил Шамилов, подвигая чашку к гостю.

— Ых-хым...— сказал Гата. По ответу было видно, что краткий жест он ставит выше любого красноречия.

— И мне так показалось. Пусть там из серебряной тучи золотой дождик льет, а на родине лучше. Где тот

край, чтобы с Куштиряком сравниться? А вот мои сыновья не поняли, уехали, недотепы... Что вернулся, за ответственную работу взялся — похвально. А как насчет женитьбы? Не намереваешься?

От куштирякской манеры учителя резать напрямик по лицу Матроса пробежал румянец. Но оставить вопрос без ответа было неудобно. И вместо давешнего «ыххым» сказал: «Эх-хем»,— помягче.

— Полностью согласен. Пора, давно пора. Чаю, чаю изволь. А может... и рюмочку, того, пригубим?

Гата Матрос поднял ладони к плечам:

— Пас!

Лицо Шамилова просветлело, даже мысли, весь вечер не дававшие покоя, позабылись.

— Молодец, брат, одобряю, с полным удовольствием подписываюсь! — И с этими словами, взяв стакан, он подошел к застекленному шкафу, налил из графина чего-то красного и махом выпил.— Душа не на месте.

Тут и у Гаты язык развязался:

— Если из-за этого пить, то мне с моей душой впору по этому зелью вплавь пуститься.

Шамилов поднял брови:

— Ты-то чем маешься? Живешь, как птица в небе, как рыба в воде.

— Эх, агай,— сказал Гата, вскочив с места.— На рыбу невод есть, на птицу силки! Душа горит!

— И тебя подцепили? Ну-ка сядь. Такое горе, а ты от своего учителя таишься. Эх, Гата, Гата! Кто тебя первым буквам научил, глаза открыл, в широкий мир вывел? Нет чтобы взять сразу и посередке выложить!

— И не говори, агай! — махнул рукой Гата.

— Совсем голову заморочил этот Фаткулла,— сказал он, вспомнив, что лишь при этом имени Гата принял приглашение.— Ходит, слова из него не вытянешь.

— Ых-хым.

— Вот именно. Ты мне вот что скажи: коли ты в новый дом переезжаешь, старый дом тебе да место старой бани зачем? Вы с Танхылыу в клубе всегда вместе, ничего не говорила?

— Эх, агай!..— Гата Матрос опустил голову. И такое было на лице страдание — любой, даже не такой проницательный, как Шамилов, с одного взгляда все понял бы.

— Так-так,— сказал Шамилов, потирая ладони. Еще раз прошелся по комнате. Довольство, исходившее от

его лица, сошлось с унынием Гаты — свет и тьма.— Понятно, шайтан его забери!.. Эх, знать бы раньше, я бы этого упрямого Фаткуллу под гнилой корень топором подрубил!

— Какой корень? Каким топором? — Взглядом, в котором сквозь уныние пробилось удивление, Гата посмотрел на своего наставника.

— Он бы у меня на горячей сковородке попрыгал! — все больше распалялся Шамилов, лицо его пошло красными пятнами.

Дверь во внутреннюю половину приоткрылась, и показалась голова Асылбике. Она спросила робко:

— Отец, чего расшумелся? Ругаетесь, что ли?

— Спи! — отмахнулся он от нее, как от мухи, но все же прикрыл дверь и заговорил потише: — Давай, браток, выкладывай все как есть. Тут мы с тобой заодно. Как русские говорят: дружно не грузно, врозь — хоть брось. Кто тебе поможет, если не я?

— Не знаю даже...— но все же Гата подтянулся и в глазах блеснула надежда.

— Не знает, а? Тут, брат, как в бою: чем стрелять, лучше лежать... Нет, ошибка, то есть наоборот: чем лежать, лучше стрелять. Вот так! Случая упускать нельзя. Не то живо какой-нибудь добычливый охотник найдется.

— Похоже, нашелся уже...

— Не может быть! — И Шамилов плюхнулся на стул.— Чей такой глаз приметливый?

Вместо ответа Гата Матрос в каком-то сомнении посмотрел на своего учителя и достал из кармана синего бархатного пиджака сложенную вчетверо бумагу. В раздумье, показывать или не показывать, покрутил ее в руке, развернул, снова сложил. Наконец, одолев сомнения, положил бумагу на стол. Шамилов, словно коршун, хватающий цыпленка, подцепил ее.

— Да-а,— протянул он, прочитав известное нам письмо, которое из самой Одессы привело Гату домой, помолчал и, словно прислушиваясь к начавшей проклевываться мысли, спросил у самого себя: — Ну?.. Так-так...

Гата Матрос, почуяв в голосе наставника отзвук надежды, тоже сказал:

— Ых-хым. (Согласен, значит.)

Нужно сказать, что женился Шамилов еще лет тридцать назад, о любви и прочих необузданных чувствах давно позабыл. Потому и страдания Гаты казались ему

страницами из какого-нибудь очередного романа Нугушева: то ли правда, то ли бред, то ли верить, то ли нет.

По его разумению, такому парню, как Гата, зря бы голову не ломать, взять и жениться на дочке кого-нибудь посостоятельней. А там — Танхылыу ли, Айхылыу ли — какая разница? Впрочем, мысль эту Шамилов сразу же отмел. Тут, брат, душа. А коли душа, говорят, запросит, так и змеиного мяса съешь. Главное, все в Фаткуллу Кудрявого упирается. Хозяин еще раз обошел комнату, остановился, насколько нужно было, возле застекленного шкафа и снова сел на место.

— Алтынгужин здесь ни при чем. А если и при чем — не страшно. Почему, спросишь? А потому, что есть у него один большой недостаток — он замминистра сын, стало быть, в ауле не задержится.

— Да неужто? — вырвалось у Гаты.— Это, агай... извините... налейте мне этого... вашего... рюмочку.

Шамилов, глядя, как воспрял Гата, словно упорхнувший из-под ножа петух, с усмешкой покачал головой:

— Водки не жалко, но коли не пьешь, так уж и не пей.— Видно, вспомнил, что как-никак, а на страже педагогики стоит.— Я про Алтынгужина говорю. Отработает два года и смоется в город. Еще неизвестно, чью там дочку ему отец с матерью приглядели. Ты мне вот что скажи: если отец переезжать не собирается, то зачем Танхылыу ханский дворец возводит? Мало того, пока сруб не подняли, все в тайне держали, тьма кромешная. Вот о чем подумать надо.

Гата снова приуныл, помолчал, наморщив лоб, и сказал, перейдя на шепот:

— Обещайте в секрете держать, я вам что-то скажу.

Тут дверь в соседнюю комнату чуть слышно скрипнула, но два застольника этого не заметили.

— Эх, браток, коли такое недоверие, нечего было и приходить. Словно первый раз меня видишь! Нет, нет, коли не веришь, то не говори! — сказал с обидой Шамилов.

Но ученик в ответ только: «Ых-хым»,— вот так, дескать, от своего не отступлюсь.

Так что пришлось Шамилову сказать:

— Смех, конечно, да ладно, воля твоя. Ну, клянусь... валлахи-биллахи.

Обезопасившись таким образом, Гата подробно рассказал, как он по поручению Фаткуллы Кудрявого ездил в Каратау.

С той встречи с Капралом не было, пожалуй, события, которое бы так потрясло Шамилова. Он вставал, садился, то правый висок чесал, то левый тер, переставил свой стул к печке, сел на другой. Опять вскочил, оконные занавески поплотнее запахнул. Обида на лице сменилась досадой. Наконец он обрел дар речи.

— Вот пройдоха! Вот молчун! — чуть не плача, сказал он.— В тихом омуте черти водятся, это точно! Ты только глянь на этого Фаткуллу, ты только подумай, а! Молчком-молчком, а под корень режет! И ты хорош! Нет чтобы сразу прийти и рассказать... Нет, посажу я его на раскаленную сковородку! Коли так, и я разиней не буду.— Шамилов раскрыл ладошку и быстро сжал ее в кулак.— Вот он где у меня теперь.

— Вы это, агай... вы уж не...

— Пятьдесят второй, рост четвертый, говоришь? Как раз твой размер. И Алтынгужину впору будет. Нет, браток, мы этого так не оставим. С утра — на разведку. Ловко это у нас вышло, что мы нынче на улице встретились. А то ходим и не чуем, откуда ветер дует.

Понятно, Шамилов самую трудную часть дела взял на себя, а Матросу дал такое задание: если не каждый вечер, то хотя бы раза четыре в неделю, пока позволяет погода, катать Танхылыу на мотоцикле и тоже попытаться узнать, что к чему.

4

Шамилов избрал куштирякскую тактику — пошел, срезая углы. Сколько ведь на Фаткуллу Кудрявого времени зря потеряно! Сказал себе: «Закинул крючок — так закидывай сразу на щуку, а то и на сома»,—и решил с мелкой рыбешкой не возиться, начать сразу с председателя. Хотя на следующий день намерения выпустить куштирякскую мелкоту в светлый мир во всеоружии передовых достижений современной науки были так же тверды, как и всегда, Шамилов с самого утра не отрывал глаз от окон. Прошло два урока, а на третьем к правлению колхоза подлетел уазик, вернувшийся откуда-то председатель поднялся на крыльцо. Шамилов велел четвертому классу писать изложение, второму классу задал задачу — крепкую, зубы сломаешь — и поспешил в правление.

— Здоров, браток,— кинул он обтиравшему машину Гате Матросу. Видать, в обхождении с начальством Ша-

милов придерживался тех же правил, что и автор.— Как настроение у хозяина? Хорошее?

— Плохое. В Яктыкуле были. Бригадир куда-то в гости уехал, а строители, которые ферму строят, на работу не вышли.

— С просьбой, значит, идти бесполезно?

— Какая ведь просьба. Только с Яктыкуля не начинайте. Очень рассердился. Яктыкульцы, говорит, одно знают: председатель, дескать, наш, яктыкульский, потачки ждут. Парторга туда послал.

Получив нужные сведения, Шамилов вошел в правление. Потер виски, энергично откашлялся. По всему видать, за дело он взялся решительно. Впрочем, и без этого уточнения, наверное, читатель уже почувствовал, что Шамилов не из тех, кто останавливается на полпути, и в советах, при какой просьбе откуда заходить и как разговор вести, он не нуждается. Опыта у него с лихвой. Достаточно вспомнить, как он вел переговоры с Фаткуллой Кудрявым. А что сейчас Гату расспрашивал — так это по обычаю положено.

Говоривший по телефону Кутлыбаев кивнул, показал на стул. Учитель с намеком отогнул рукав, посмотрел на часы: времени, видишь, в обрез, хорошо бы покороче. Но председатель на это не обратил внимания, продолжал говорить, мешая башкирский с русским, требовал от кого-то стройматериалы — пока снег не выпал, ему не одну, а две фермы отремонтировать нужно. Шамилов в невольном восхищении, как председатель ставит вопрос ребром, упрямо гнет свое, чуть не забыл, зачем он сюда пришел.

Впрочем, дела особого у Шамилова не было — так, прощупать председателя, выяснить его отношение к событиям, назревающим в семье Фаткуллы Кудрявого. Если же разговор пойдет как нужно, то и в вопросе с тополем перетянуть Кутлыбаева на свою сторону.

Конечно, нельзя сказать, что о заботах Шамилова он ничего не знает,— знает, и давно уже. Но своего твердого председательского мнения еще не высказал. Или шутками отделается, или подбодрит мимоходом: «Давай, давай, агай, не поддавайся». Но нельзя же «давай, давай» считать официальной директивой. А Шамилову позиция нужна, официальная поддержка.

— Ты уж на завтра это не откладывай, товарищ Камалов, сегодня же вызови Шайхетдинова и вынь из него душу. Без этого он и не почешется... Да, да. С рассве-

том четыре машины отправлю, вернутся порожними — извини, придется на бюро поставить... Слушаю, слушаю... Вот спасибо! — Кутлыбаев то вдруг распалялся, то, кивая согласно, умерял голос.

Шамилов смотрел на него и думал: «Гляди, как он с секретарем райкома разговаривает, как напирает на него, даже на «ты» с ним. Впрочем, и Камалов только года на четыре старше его. Вот времена пошли! Председатель-то молодой, а уже кругом мастер — что на руки, что на язык».

Действительно, поработал Кутлыбаев после сельскохозяйственного института два года агрономом, и семь аулов выбрали его своим председателем. Выбрали, правда, с оглядкой, очень уж молод. Но скоро шесть аулов убедились в том, что седьмому, Яктыкулю, было известно давно: этот, только родился, уже все знал. Даже гордый Куштиряк принял яктыкульского парня своим.

— Извините, агай, заставил ждать. Ну, как здоровье? — сказал Кутлыбаев, вставая из-за стола. Выше среднего роста, плечистый, крепкий парень, председатель большого колхоза подошел к Шамилову, словно ученик, вызванный к доске.

— Да так, по-стариковски.— Учитель кивнул на телефон.— Ай-хай, круто вопрос ставишь, молодец!

— Так ведь уперся этот Шайхетдинов, забрал стройматериалы, которые нам выделили, и не хочет отдавать. Разозлишься тут или нет? Ну, с этим ладно. Не сердитесь, агай, со временем туго. Давайте выкладывайте просьбу. Что-нибудь для школы нужно? — Кутлыбаев открыл дверь и крикнул Гате Матросу, читавшему в зале книгу: — Заводи мотор, к дояркам поедем!

Еще и дверь не успел закрыть, как взревел мотор и в кабинете зазвенели стекла.

— Просьба... Да не просьба, браток,— заспешил Шамилов,— общественность волнуется, надо бы ясность внести. Ты сам подумай, дочка новый дом ставит, а отец старое подворье укрепляет, за старую баню цепляется. Вот что непонятно.

Кутлыбаев от двери вернулся к столу, от прежнего не остыл, а тут еще больше нахмурился. Шамилов, поняв, что слова его попали в цель, решил ковать железо, пока горячо.

— Вот именно, товарищ Кутлыбаев! Фаткуллу этого давно пора укротить! А кто это сделает, если не хозяин, то есть ты? Только посмотри на них: тайна на тай-

не! За кого Танхылыу выходит — даже тут загадка. Народ за черных баранов держат.

— Да, да... тут много всего, что нужно выяснить,— вздохнул Кутлыбаев. Сказал и вдруг, хлопнув ладонью по столу, расхохотался: — Тайна, говоришь, на тайне? А Куштиряк такого не любит! Так? Ему ведь все на серебряной тарелке подай. Да, Шамилов-агай? Давай так сделаем... ты пока ходи себе тихо, будто ничего не случилось. Согласен? А если кто допытываться будет, ты знай себе подмигивай и поддразнивай. Забавно? А мы тем временем развяжем узелок.

— Может, и забавно... да как же я подмигивать да поддразнивать буду, если и сам ничего не знаю? Нет, ты давай выкладывай!

— Знал бы — выложил. Я ведь тоже в твоем положении. Вместе и разведаем. Ты, значит, своим путем, а я — своим. Давай руку.

Всю усталость, все огорчения с Кутлыбаева словно сдуло, сейчас он походил на мальчишку-сорванца, задумавшего какую-то проказу. Хоть Шамилову это свойское «вместе и выведаем» польстило, но сомнение в душе не рассеялось. «Знает, что-то знает Кутлыбаев! — подумал он.— Меня, старого лиса, зачем-то одурачить вздумал». Но только рот открыл, председатель, ступая так, что прогнулись половицы, вышел из кабинета. Когда Шамилов выбежал на крыльцо, уазик уж мчался в сторону фермы.

Уазик-то мчится, однако сам Кутлыбаев отнюдь на ферму не рвется. Если бы можно было, он эту поездку отложил бы еще на несколько дней. Но сегодня парторг Исмагилов резко выговорил ему: «Хватит! Пора эту игру в прятки прекратить!» Пришлось поехать.

Уже неделя, как на ферме сыр-бор разгорелся — доярки бузят. А занялся пожар оттого, что семь коров, купленных для обновления поголовья, сначала хотели раздать дояркам, но потом раздумали и прикрепили к одной Танхылыу. Исмагилов был против, но Кутлыбаев категорическому требованию — то есть фырканью и гневным взглядам — передовой доярки противостоять не смог. «Не дадите мне челябинских коров — уйду»,— заявила она. И упрямство Танхылыу решило дело. Придется теперь чинить разбитый впопыхах горшок — раздать коров.

Дело было щекотливое.

Отберешь коров — нрав Танхылыу известен: возьмет и уйдет с фермы. А кто виноват? Председатель да парторг. Районное начальство спуску не даст. «Передовая доярка, у всех на виду, а вы к ней подхода не нашли! Сами виноваты, что у вас молодежь из аула бежит!» — напустится Камалов. Танхылыу-то в районе на особом счету.

А не выполни требования остальных доярок — поди знай, что они выкинут! Шустрые и решительные. Справедливость у них — превыше всего. Того не знают, что справедливость — она тоже о двух концах. Вот сговорятся и не выйдут на работу хотя бы на полдня — света белого не взвидишь. От этих вострушек только и жди. «Скандал будет!» — так ведь и заявили!

Да, какой палец ни укусишь — все больно. И девушки правы, и Танхылыу задевать рискованно. И есть тут еще одно... Но это уже такое дело, что мимоходом о нем не расскажешь. Тут уместно вспомнить совет друга-критика и не валить в одну телегу все подряд...

Когда Кутлыбаев вошел в комнату отдыха при ферме, доярки, закончив утренние работы, беседовали с Исмагиловым. Здесь же сидел и зоотехник. Тепло, светло. Из приемника льется тихая музыка. Ни шума, ни скандала.

Но это была тревожная тишина перед бурей. Там тоже подует поначалу, словно нехотя, прохладный ветерок, деревья лениво качнут ветками. Разломав гладь воды, пробежит мелкая рябь. И снова тихо. Но уже как-то незаметно затянуло воздух тусклым занавесом, и на солнце, которое только что ярким светом заливало весь мир, наползло черное облако. Ветер усиливается, гнет деревья, разную живность гонит в укрытие. И вдруг вся природа гневно встает на дыбы, с треском лопается небо, и с шумом-громом, полыхая молниями, рушится на землю ливень...

Только Кутлыбаев поздоровался и присел на пустой стул с краю, как одна из девушек, по имени Диляфруз, метнув на него взгляд, вскочила с места. «Начинается!» — испуганно подумал Кутлыбаев. Пересохло в горле. Он взглядом обвел комнату. Графин с водой стоял на подоконнике. Но пройти к нему Кутлыбаев не решился. Чтобы подбодрить себя, улыбнулся и сказал внезапно осипшим голосом:

— Ну-ка, послушаем твои песни, красавица!

— Вы все в шутку не превращайте, ничего тут смеш-

ного нет! — сказала девушка, пригладив красивые, вздымающиеся, как туркменская шапка, волосы.— «Песни», видите ли! Вот что, товарищ Кутлыбаев, я на ферме комсорг, и довести до вас требования девушек поручено мне.

Тишина. Муха пролетит, и ту слышно. Кутлыбаев, опустив взгляд, покашлял незаметно, оглядел девушек. В другое время из любого пустяка потеху устроят, сейчас сидят — брови нахмурены, губы сжаты, видно, решили: назад — ни шагу.

Только тут Кутлыбаев заметил, что самой Танхылыу нет. Но не успел порадоваться этому, как распахнулась дверь и уверенным хозяйским шагом, с усмешкой на лице вошла Танхылыу. Комсорг подбородком указала на стул и снова повернулась к председателю:

— В социалистическом соревновании все должно быть по справедливости. И товарищ Кутлыбаев, и Исмагилов-агай об этом хорошо знают. Мы тоже думаем, что соревноваться можно лишь тогда, когда условия у всех одинаковые.

Девушки одобрительно зашумели.

— Это разве соревнование — все лучшие коровы у Танхылыу!

— И корма получше — тоже ей!

— Подождите, дайте досказать! — еле успокоила подруг Диляфруз.— Да, покуда мы молчали. Если кто-то должен быть в передовиках — пусть будет Танхылыу, сказали мы. Хваткая, работящая, и дело организовать может, и товарищей подбодрит, за нее краснеть не придется. Вместе и подняли...

— Ой, немощь,— вскочила Танхылыу — ты, значит, меня подняла? Меня, безрукую, пожалела!..

— Сядь, не вскакивай. Никто тебя не хает... Да, за Танхылыу следом пришли мы на ферму. Если бы не она, может, разъехались бы кто куда. И руководители дело правильно поняли,— она бросила взгляд на председателя и парторга,— было организовано молодежное звено. Шли и боялись, потом научились работать, самим приятно. Только... от похвал наша Танхылыу зазнаваться начала, славы не потянула. Ну, разве это дело: нам — одни условия, ей — другие. Словно калека она, или лодырь, или неумеха какая-то. Не знаю, каково Танхылыу, а нам стыдно. За нее стыдно. Короче, челябинских коров раздайте всем. Это — первое. А второе — пусть еще скотников дадут.

Снова поднялся шум. Кутлыбаев, покраснев, исподлобья поглядывал на доярок. «Вот тебе и скандал!» Посмотрел на парторга: нет чтобы встать, разъяснить политическую сторону проблемы, прекратить эту неразбериху — сидит, улыбается криво, словно с этой девичьей перепалкой согласен, на председателя и не смотрит. Алтынгужин и тот на стороне доярок:

— Танхылыу — чуть что, хоть маленькое замечание, сразу пугает: «Уйду». А мы все терпим. Сколько же можно?

Нет, здесь вожжи туго надо держать. Кутлыбаев уже с места начал вставать, как Исмагилов поднял руку и прекратил шум. Председатель обратно сел на место. Разумеется, ни он, ни другие не знали, что в комнате уже крутится Зульпикей. Оттого, видно, парторг и сказал, не мудрствуя:

— Тут, на мой взгляд, и спорить не о чем. Требования девушек справедливы. Но, мне кажется, нужно и то учесть, что, пока не испытали новых коров, не распознали все их повадки, лучше бы их вместе держать.

А Зульпикей знай свое.

— Уже слышали! Коли не доверяете — ищите себе другую доярку,— перебила парторга одна из девушек.

— И то правда! Как моя бабушка говорит: хозяйкино добро — серебро, а медный грош — прислуге хорош.

— Танхылыу — хозяйка, мы — прислуга.

— К ее коровам особый человек приставлен, а мы и корма таскаем, и навоз выгребаем — все сами! Мало того, каждую неделю в район едет, а ее работа на нас остается. Разве это порядок?

— Хотя бы транспортер поставили, навоз отгребать! Я такие в совхозе видела. Вот где удобство!

— И не говори, о техническом прогрессе твердить мастера, а где он, прогресс?

— Понятно, Танхылыу этот прогресс не нужен. У нее дела и так хорошо идут.

Девушки говорили, перебивая друг друга, гвалт стоял, как на птичьем дворе. Озабоченный Исмагилов делал какие-то пометки в записной книжке.

— Ну, а теперь саму Танхылыу послушаем,— сказал он, попытавшись взять ход разговора в свои руки.

— Нечего уже слушать,— выпалила Танхылыу и вдруг заплакала навзрыд. Стащила с себя халат и швырнула в угол. Никто и слова сказать не успел, подбежала к порогу, распахнула дверь.— Думаете, работу

не найду? К ферме вашей подол не примерз. Все разбирайте! И прежних моих коров раздайте,— она взглядом ожгла Кутлыбаева,— и новых, челябинских!

Хлопнула дверь, звякнули стекла в окнах. «Ах!» — вскрикнули девушки.

И доярки, и начальство сидели с такими кислыми минами — словно полыни отведали.

Читатель, конечно, отметил про себя, что к этому моменту нашего повествования дверью хлопнули уже во второй раз. (Первый раз дверь грохнула в конце разговора Шамилова с Фаткуллой Кудрявым.) Объяснить это куштирякскими нравами было бы неверно. Здесь виноваты, во-первых, Зульпикей, большой мастер делать из ничего скандал, во-вторых, сам автор, который старательно следует опыту своих наставников. (Как известно, только в произведении начнут сгущаться события, как сразу гром, стук, грохот, лязг и громыхание заполняют все вокруг. По правде говоря, самому автору милее всего тишина. Но, как бы там ни было, пренебрегать уроками мастерства он не привык. Нравится не нравится, а приходится шуму нагонять. Хотя из личного своего опыта автор знает, что самое трудное — снова открыть дверь, которую сам же перед этим с треском захлопнул.)

Вот и Шамилову с Танхылыу нелегко будет снова открыть дверь, которой они хлопнули чересчур громко. Но... ничего не поделаешь. «Годы жизни — четки из ошибок»,— сказал один древний мудрец.

Все эти дела на ферме и недостойная (а точнее говоря — просто грубая) выходка Танхылыу вывели председателя из себя. Он покраснел, побледнел, разъяренным львом прошелся по комнате и, осыпав Алтынгужина и доярок искрами из глаз, вылетел на улицу.

Парторг же, хотя и у него настроение скисло, виду не подал, попытался установить мир.

— Если Танхылыу не выйдет, раздай пока ее коров девушкам, там видно будет,— сказал он, положив руку Алтынгужину на плечо. Он задумался, сощурив глаза, потер подбородок — видно, прикидывал, как бы эти неприятности обернуть на пользу делу — собственно, в этом и состояла его беспокойная работа.

— Бровь подправили, да сковырнули глаз,— сказала Диляфруз. Остальные уныло повесили носы.

Алтынгужин провел рукой по волосам.

— Ладно, как русские говорят, снявши голову, по

волосам не плачут,— успокоил он доярок.— А критику никто не любит.

— Ай-хай, как бы из-за этой критики Танхылыу не проморгать...— усмехнулась одна из девушек. То ли дала понять, что Танхылыу может уйти с фермы, то ли на его личные дела намекнула. Доярки, как и весь Куштиряк, не сомневались — между этими двумя что-то есть.

— Вы же первые крик подняли,— сказал нечувствительный к намекам Алтынгужин.

— Чем с нами препираться, иди и поговори с Танхылыу, не то возьмет и уедет в город или в совхоз, у нее это просто.

— И правда... Если она не выйдет, я тоже не приду,— со слезами сказала одна доярка.

Две-три мягкосердечные:

— И я не приду.

— И я...

— Детсад! — поморщился Алтынгужин.

Исмагилов молча смотрел на это жалкое зрелище, потом сказал:

— Разговор с Танхылыу на меня оставьте. Согласны? Так и решим. Весь колхоз, даже весь район на вас смотрит, на вас надеется. Смотрите, девушки, не подкачайте, надои падать не должны. А Танхылыу, коли ум есть, поймет.

Не поняла. Ни в тот день, ни назавтра Танхылыу на работу не вышла. Куштиряк стал ждать, как пойдут события дальше. Понятно, что и всякого тумана-догадок, как и положено в таких случаях, нагнало немало. Одни говорили, что Танхылыу к свадьбе готовится, оттого на работу не выходит. «Какая свадьба? Еще и жених не назначен!» — возражали другие. Вскоре над всеми слухами взял верх зловредный слушок о том, что новый дом она продает и собирается переехать в совхоз.

В чье сердце этот слушок вонзился оперенной стрелой — проницательный читатель, конечно, уже догадался. Гата Матрос сна лишился, Шамилов стал искать пути к двери, которой сам же и хлопнул. Но Фаткулла словно язык проглотил, а Танхылыу на людях не показывалась. К дому и близко не подойдешь, хозяин лютого Алгыра спустил с цепи. Прознали как-то, что Исмагилов вызывал Танхылыу в правление, но о чем был разговор и чем кончился, осталось тайной.

Впрочем, подоспели и другие события, которые отвлекли внимание аула. «Жизнь сложна»,— сказал поэт.

Она, как воды Казаяка, то бурлит, водоворотами кипит, то, выйдя на приволье, раскинется широко, течет плавно. Не грех бы автору следовать этим канонам, с таким же многообразием строить свое повествование. Потому переходим к описанию некоторых событий, которые увели интерес аула несколько в сторону.

5

Надеюсь, читатель еще не забыл, что живет в Куштиряке такой человек — Карам Журавль. С ним, с этим чудаковатым человеком, и связаны события, о которых мы сейчас расскажем.

Беспокойная жизнь Карама, если взять упрощенно, делится на два периода. Первый — его жизнь до отъезда в Среднюю Азию, второй — после возвращения оттуда. Автор считает, что пять-шесть лет, проведенных Карамом на чужбине, можно опустить. Во-первых, нет достоверных сведений, во-вторых, сомнительно, чтобы где-нибудь еще, кроме Куштиряка, случались события, достойные внимания читателя.

В конце первого периода, в годы председательства Зарифа Проворного, Карам, ненадолго избавившись от прозвища Журавль, походил Нефтяником. В то время он еще не был начальником гаража, работал на тракторе.

Случилось это в ту пору, когда кукурузу называли «королевой полей» и писали с большой буквы. Народ, хоть и душой изнывал, видя, как все меньше и меньше становятся поля пшеницы, все же работал, надеялся. Карам тоже от односельчан не отставал, но, сколько ни бился, посевная площадь, отведенная ему, была похожа на спину линяющего жеребенка. Вопреки всем лекциям Шамилова кукуруза не росла. А пусто поле — и ложка у хлебороба пуста.

Промаялся Карам два года и впал в тоску: «Как же так, зятек, день-ночь надрываешься, а все труды на ветер? Ни себе, ни людям, и государству убыток, и самим разор».

Мало того, и лето в тот год шло засушливое. Из редких зерен, что после галок да ворон уцелели, вышел лист в веретено длиной, да так и засох. Черный от горя, от неясного будущего, вконец измотанный упреками жены Магипарваз, выпил Карам с приятелем пол-литра на двоих и пошел на Казаяк купаться. Долго лежал на бе-

регу. Взгляд по быстрым сверкающим волнам скользит, а думы, словно выискивающий добычу ястреб, над Куштиряком кружат. И чем дольше он думает, тем шире ястребиные круги, тем дальше от аула забирают они. Вот тогда и решил Карам бросить родное становище и там, на чужбине, искать свое счастье.

Разумеется, такое большое дело глава семейства решить один не может. Муж — голова, жена — шея. Но, как чувствует Карам, сдвинуть жену будет трудно — обеими пятками упрется в родной порог. Однажды он уже заговорил об этом словно бы в шутку. Но Магипарваз живо вбила ему кляп в рот: «Коли человек в своем уме, разве из Куштиряка — самого Куштиряка! — уедет?!»

«Эхма!» — сказал Карам и вспомнил вдруг, как Магипарваз разошлась сегодня за утренним чаем. А повод: накануне хозяин потерял куфайку, в которой работал на тракторе.

«Вот женщины! Что за народ! — крякнул Карам.— Старая, драная куфайка, в грязи, масле, а они шум поднимают! Ведь уже договорились, что в этом году новую купим!» Тоже богатство — старая телогрейка! Одно плохо, в карманах все тракторные ключи были. Так этого Магипарваз не понимает, ей куфайку жалко. Свое зудит, опять, говорит, пьяный был, вот и потерял. «Достаток сдружит — нужда рассорит»,— сущая правда.

В такие минуты только за ниточку потянуть — обида за обидой так и полезут одна за другой. Все больше распалялся Карам. Думал, думал и понял, что теперь уже он ни дня прожить в ауле не сможет. Потом думы успокоились, перешли на хлопоты далекого путешествия, которое предстояло Караму.

Неподалеку от Ташкента, в городе Беговат, живет Мирхайдар, односельчанин Карама, друг детства. Приехал прошлым летом, раздразнил Карама, заложил закваску в его беспокойную душу: так рассказывал о тамошней жизни, которая немногим райской хуже, что у обоих, и у рассказчика, и у слушателя, во рту пересохло. «Поехали со мной! Такого умельца с распахнутыми объятиями встретят!» Однако тогда Карам решиться на такое еще не мог.

Хотя он знал, что легче океан переплыть, чем убедить в чем-то Магипарваз, все же, не теряя времени, начал прикидывать, что предстоит сделать. Корову и последние две овцы живьем ли продать, на мясо ли пус-

тить — денег на проезд должно хватить, картошку, уже посаженную, хоть за полцены отдать; кур, гусей, чашки-ложки и прочую домашнюю утварь старушке матери оставить. Самое сложное — дом с надворными постройками. По нынешним временам на них хозяина вряд ли найдешь. Ладно, ближе к сроку будет видно.

Так Журавль и решил: придет домой, уломает Магипарваз, сядет, другу Мирхайдару напишет письмо. На душе стало легче.

Так уж человек устроен, совсем вроде придавлен бедой, но придет к какому-то решению — вспыхивает в душе надежда, и дремавшие до этого силы рвутся наружу.

Карам даже забыл, что хотел еще раз окунуться, смыть прилипший к телу песок, начал поспешно одеваться. Застегивая рубашку, он посмотрел на реку, взгляд пробежал за манящей в дорогу быстрой волной, остановился под ивой, стоящей по пояс в воде, скользнул дальше.

Мурлыча под нос любимую свою песню: «Где бы ни был ты, куда бы ни поехал, друг нужен, чтобы выбежал навстречу и привязал коня»,— он сделал шага три в сторону переулка Фаткуллы Кудрявого и вдруг встал как вкопанный. Брови поползли вверх, удивление на лице сменилось любопытством. И он, словно охотник в ловчем азарте, приседая, тихо ступая длинными ногами, подошел к иве. На лбу, на носу выступил крупный, с горошину, пот. Бес-баламут — его проделки!

Все планы, которыми он только что горел, вылетели из головы. Он опустился на корточки и уставился в водоворот, лениво крутившийся под ивой. Да так и замер. На поверхности воды расплывались сине-зеленые масляные пятна. Неслышно крутится водоворот, с бульканьем выходят на поверхность новые кольца и тоже вступают в хоровод. Что это? Верить своим глазам... или не верить? Конечно, верить! Нефть же это! Нефть! Что же еще может быть? И думать нечего, нефть сочится!

Карам сглотнул несколько раз, украдкой, как вор, посмотрел по сторонам. От внутреннего жара насквозь прошиб пот, застучало сердце. «Постой!» — сказал он себе и встал с корточек. Распрямился, развернул плечи и торжественным взглядом обвел округу.

— Эх, Куштиряк ты мой! — сказал он и распахнул объятия.

И было отчего торжествовать. Километрах в двадца-

ти пяти — тридцати отсюда, около завалящей деревеньки Казай, уже два года как добывают нефть. А возле Куштиряка даже искать не стали. Дескать, по карте недр не видно, чтобы здесь была нефть. Не видно, а? Понятно, коли искать не умеешь, так и не видно. А это что, вот эти синие и зеленые кольца? То-то.

Он снова нагнулся, сунул палец в воду, подцепил масляное пятно, поднес к глазам, рассмотрел, понюхал так, будто астраханское мыло нюхал,— в носу засвистело. Высунув язык, попробовал на вкус. «Точно! Ну, брат Карам, теперь живем, еще как живем! Эх, зятек, выходит, и на наши ворота птица счастья села!»

Сдерживая нетерпение, важно шагал Карам, на приветствия редких встречных отвечал коротким кивком, словом, достоинства своего не ронял.

Войдя в правление, Карам, хмыкнув, миновал дверь общего отдела и прошел прямо в кабинет главного бухгалтера.

— Можно ли? — сказал он и положил руку на телефон.

Обычно Фатхутдин Фатхутдинович к своему телефону никого и близко не подпускает. «Будь любезен, позвони из общего отдела, уж пожалуйста, душа моя»,— говорит он с мягкой улыбкой. Но взглянул сейчас на торжественный вид Карама, на таинственную усмешку и понял: дело серьезное.

— Изволь, сердце мое! — сказал он почтительно.

— Коммутатор? — сказал Карам в трубку. В голосе послышался металлический звон, присущий руководящим лицам.— Ну-ка дай райсовет, красавица. Секретаря... Да, да, срочно. Срочно!..

Пока он так искал нужный номер, Фатхутдин Фатхутдинович снял рабочие очки, надел уличные, сложил руки на животе и воззрился на Карама.

— Здравствуйте, здравствуйте,— сказал Карам.— Товарищ Ишбулдин? Очень хорошо... Из Куштиряка это. Вы там имя и фамилию мою сразу запишите. Нет, нет, без карандаша и забыть можно. Урманбаев Карам буду я. Записали? Имя тоже пишите — Карам. Не то у нас пол-аула Урманбаевых. Д-да, Карам. Народ еще Карамом Журавлем называет. Дело? Есть дело, товарищ секретарь. Я нефть нашел, вот какое дело. Да, нефть. Из земли сочится. Человека пришлите. Медлить нельзя! В Казай? Зачем в Казай?.. Так, понял, сами, значит, сообщите... Так-так... Вы не забудьте, фамилию им мою

скажите... Қак, даже этого не понимаете? Живо набегут такие, что к чужой славе примазаться захотят, так-то, зятек!.. Знаю, что не шурин я вам. Это так, к слову говорится... А? Ладно, понял, зя... Уф-ф! — Қарам, красный, как свекла, будто вконец утомленный тяжелой работой, пошел и плюхнулся на диван.

Фатхутдин Фатхутдинович, потирая ручонками, выпятив кругленькое пузо, подкатился к нему.

— Послушай-ка, это, как тебя, браток, что за чудеса? Қакая нефть? Где?

— Сначала подуй, потом пей, говорили древние. Поспешишь, людей насмешишь. Приедут инженеры, все выяснится,— надменно сказал Қарам и встал с места.

Главный бухгалтер подкатился прямо к нему под ноги и, задрав голову, посмотрел на него, будто разглядывал на вершине высокого дерева воронье гнездо.

— Это как же так получается, браток? Я к тебе со всем уважением, по телефону говорить разрешаю, а ты передо мной, как кот, спину выгибаешь. Если своему зятьку два слова скажешь, язык у тебя не отсохнет, ласточка моя.

Нужно отметить, что и голос и манеры у Фатхутдина Фатхутдиновича мягкие, обходительные. Приди к нему с любой просьбой (если только она не касается телефона), он никогда не скажет «нет». Сложит губы в наперсточек: «Это можно, душа моя» или «Эх, ласточка, разве есть дело, чтоб нам не по плечу?» — обнадежит и выпроводит. Правда, потом Фатхутдин Фатхутдинович из обещанного и половины не выполнит. Но это другой разговор. Қак известно, даже отказ, но с улыбкой сердце греет. Вот и думаешь, уходя от Фатхутдина Фатхутдиновича: «Чем получить, чего хочется, лучше того не потерять, что есть».

Қарам, вспомнив кое-какие повадки главного бухгалтера, решительно обошел его, но вдруг что-то пришло на ум — с порога вернулся обратно.

— Ладно, будь по-твоему... Все говорили, нет, мол, в Қуштиряке нефти, а я нашел! Так-то, зятек! Где, пока не скажу. Завтра из казайской конторы комиссия приедет. Вместе пойдем и покажем. Понял? Смотри, пока ни звука!

Фатхутдин Фатхутдинович, что совсем ему было не свойственно, полоснул ребром ладони себя по горлу и издал звук, похожий на «кых». Дескать, хоть режь — тайны не выдаст. Қарам шлепнул его по круглому плечу:

— А то, говорю, агай, может, и бутылку поставишь? В счет моей будущей премии? Магазин открыт, мигом сбегаю.

Главный бухгалтер рассыпался мелким смехом и пухлым, похожим на детскую соску пальчиком помахал перед носом Қарама. Затем подумал немного, запер дверь и, открыв большой железный сундук, выставил на стол бутылку, в которой коньяка было почти наполовину.

— Тебе, выходит, было суждено,— сказал Фатхутдин Фатхутдинович, разливая коньяк в два стакана. Полный стакан протянул виновнику неожиданного торжества Қараму Журавлю, другой, где было налито с палец — не пухлый главбуховский пальчик, а тощий карамовский,— взял себе. Придав лицу плутоватое выражение, прошептал: — У-р-ра-а!

Покончив с делами в правлении, Қарам взял в руки прут и пошел на берег Қазаяка и с видом человека, который ищет пропавшего теленка, весь вечер ходил вдоль воды. Искоса поглядывая, раза два прошел там, где выходила нефть. Пятна на воде разошлись еще шире прежнего. И никого поблизости нет. Выходит, об открытии, сделанном Қарамом, еще никто не прознал. От-лич-но!

Он весь утонул в мечтах. Вспомнил, как два года назад шумел народ, когда казайский пастух наткнулся на нефтяную лужу. Даже песню потом передавали по радио — специально по заказу того пастуха. Газету откроешь, радио включишь, из двух слов одно — «Қазай». Никудышненький аул, весь свой век на ноги встать не мог — а как сразу в цене-достоинстве поднялся! Теперь и Қуштиряк такая же слава ждет.

Вот она, жизнь, вот как все выворачивает. Сегодня: «Қуштиряк? Қакой Қуштиряк? И не слышали о нем. И на карте такого аула нет...» А завтра? Пройдет день, ну, два, и имя Қуштиряка прогремит на весь Башкортостан. Может, и до Москвы докатится. Қоли так дела пошли, то и ваш дядя Қарам, он, того... знать надо, как с ним теперь говорить. Наверное, и премию отвалят богато. Нет, Қарам эти деньги туда-сюда не распетушит. Перво-наперво телевизор купит, потом мотоцикл. Магипарваз — пальто с лисьим воротником... «Эй, гляньте-ка, гляньте, чья это жена по улице идет? Одно пальто на ней — и то целое состояние!» — «Қак это — «чья жена»? Қарама Урманбаева жена! Молода, хороша!» — «Да-а, дерево листья красят, человека — одежда...»

Представил Карам Журавль будущие пересуды куштирякских сношек и рассмеялся. До слез в глазах, до колик в животе хохотал. Все невзгоды позабылись, дышать стало легко и вольготно.

В последнее время от колхозных неурядиц, от нехваток ночами напролет не спал Карам, думал, маялся. А в эту ночь, только голова подушки коснулась, он, словно дитя, без печали и забот ушел в сладкий сон.

Утром Карам даже чай пить не стал, отмахнувшись от стенаний еще не знающей своего счастья жены, побежал в правление. Мужчины, стоявшие у крыльца, окружили его.

— Ну, что за человек! Такую новость от народа скрыл! — сказал один.

— Так не пойдет, друг Карам. Придется тебе магарыч поставить. Общество ждет,— вцепился ему в локоть другой.

— Коли тебе мясо, так нам кости-потроха положены,— проворчал третий.

Карам опешил. Откуда прознали? Фатхутдин Фатхутдинович человек скрытный, у этого не выскочит, и так, где десять слов бы надо, одно еле-еле сквозь зубы выцедит. Выходит, когда говорил по телефону, девушки на коммутаторе слушали.

Но что-либо выяснить Караму не дали. Двое, подхватив под руки с двух сторон, третий, подталкивая в спину, поволокли его в магазин. Еще двое для надежности пошли сзади. Известно, что в Карамовом кармане и слепой копейки нет. Еле девушку-продавщицу уговорили, взяли две бутылки в счет ожидаемого.

Когда они покончили с этим делом и вышли на улицу, возле правления остановился газик. А вскоре на крыльцо выкатился Фатхутдин Фатхутдинович и замахал Караму руками.

Из казайской конторы бурения прибыла не комиссия, как ожидал Карам, а только один человек, молоденький техник. Выслушав сбивчивое сообщение Карама, он подумал, оттопырив губы, сказал:

— Вообще-то, агай, сомнительно, чтобы здесь была нефть. Понимаешь? Нет здесь нефти! Не должно быть! Но проверить сигнал — наша обязанность. Товарищ... как вас там,— парень заглянул в записную книжку,— Урманбаев Карам. Пойдемте посмотрим предположительное место.

У Қарама упало настроение. Где поздравительные речи? Где народное ликование? Но вида не подал, усмехнулся, разгладил усы и сказал любезно:

— Я, браток, сам механизатор, нефть различаю.— «Уж с твое-то понимаю»,— хотел добавить он, но удержался. Это он напоследок оставит. Или, может, и вовсе ничего не скажет. Победитель должен быть великодушным.

Қ тому же и председатель колхоза Зариф Проворный вступился за него:

— Ты погоди, браток, ты, того... Не такой аул Куштиряк, чтобы собственную нефть не родить. Проверь, найди!

Новость облетела весь аул, и люди, побросав работу, сбежались к правлению. Сабантуй прямо! Қакая уж тут работа, увязавшись за Қарамом и молодым техником, все пошли на берег Қазаяка. Только Фатхутдин Фатхутдинович почему-то никуда не пошел. Может, побоялся даже на минуту отойти от своего ответственного поста, а может, из-за всегдашней своей скромности не захотел греть руки на костре чужой славы.

Народ гудел. Мечты, догадки, одна другой заманчивей, кружили головы.

— Қоли так, и у нас новые дома построят! Не хуже, чем в Қазае!

— А как же! И ванна, и это... другое — прямо в доме!

— В рабочий класс перейдем. Валлахи, сегодня же запишусь!

— А женщины что будут делать? А нам работа найдется? — забеспокоилась одна.

Ее тут же успокоили:

— Всем найдется. Мы ведь городом будем, не деревней. А в городе, где одному положено — десять работают.

— В городе, известно, работаешь не работаешь, а калачи ешь.

— И не говори, если уж этот Қазай в люди выбился...

Дойдя до берега Қазаяка, Қарам остановился. Расставил пошире ноги, выпятил грудь и важно ткнул пальцем в водоворот.

— Не понимаю,— сказал парень-нефтяник.

— А ты, зятек, подойди поближе да глаза открой пошире! — сказал Қарам, слегка подтолкнув его вперед. На этот раз не удержался, грубовато вышло.

Паренек послушно присел на корточки у воды, макнул пальцем в масляные пятна, понюхал.

— Чепуха какая-то! — пробормотал он и повернулся, чтоб уйти. Карам схватил его за локоть.

— Как это чепуха? Ты сначала проверь! Откуда идет, какие запасы...

— Вот что, дядя... Вообще-то, надо бы на тебя штраф наложить за то, что по твоей милости машину напрасно гоняли, да уж ладно... Не нефть это, понимаешь? Старое масло!

— А откуда... масло идет? — внезапно осипшим голосом сказал Карам. Все выпитое моментально улетучилось из него. Лицо побелело как полотно.

Толпа, которая уже подсчитала все будущие блага, разделилась надвое. Крики полетели над гладью Казаяка.

— Эх, живьем зарезал этот парень! — сказал один.

— Мы сами дураки, Журавлю поверили. Разве нефть так выходит? — сплюнул другой и добавил слово, которое в книгах не пишется.

— Нет, мы не согласны! Коли приехал, пусть проверит! Пусть ищет!

— А если не нефть, что за масло? Не видите, без остановки идет!

— Верно! Раскопать надо! — сказал Зариф Проворный.— На пороге великой славы стоим — и вдруг такая лень. Поразительно!

Парень-нефтяник, не зная, смеяться или сердиться, развел руками и сказал:

— Будь по-вашему...

Да и что скажет, когда народ охватил его плотным кольцом и начал подталкивать к воде?

Карам оживился.

— Эй, ребята, сбегайте-ка, лопату, багор принесите! — закричал он, размахивая руками. Стянул рубашку и прямо в сапогах и брюках нырнул в воду. Но раннее это купание ничего не дало. Найти под водой предполагаемый нефтяной источник у Карама не хватило дыхания.

Желающих искупаться больше не нашлось. Тем временем прибыл и багор. Один из давешних собутыльников Карама принялся ковырять дно.

— Вот увидите, расчистим родник, нефть так и хлынет,— сказал он, подмигивая трясущемуся от озноба Караму.

Народ, затаив дыхание, следил за багром. Вода все мутнела, водоворот переливался радужными пятнами,

масло то прибывало, то убывало, но ударить долгожданным фонтаном не спешило. Багор переходил из рук в руки, сторонники Қарама несколько притомились.

— Разве так нефть ищут? — хлопая себя по бедрам, смеялся молоденький техник, но на него не обращали внимания.

Люди, потеряв всякую надежду, начали уже расходиться, когда парень, ворошивший багром, вдруг закричал:

— Ур-ра! Сома поймал! — и, подцепив, выбросил на берег что-то черное.

Тут же все обступили «сома».

— Что это?!

Действительно, что? Кто-то поддел его на палку и поднял. Из «сома» со звоном посыпались какие-то железки. Один из трактористов по имени Юламан Нашадавит поднял одну и изумился:

— Гляди-ка, мой плужный ключ! Қарам, смотри, тот самый, двенадцатый, который ты у меня позавчера брал!

Кто-то пронзительно свистнул, кто-то сплюнул:

— Вот Журавль!

Қарам, который прыгал, пытаясь вытряхнуть попавшую в ухо воду, так и застыл на одной ноге. Сейчас он и впрямь был похож на журавля. Так, на одной ноге, подскакал к находке и, вглядевшись, сказал:

— Эх, зятек, да ведь это собственная моя куфайка... Магипарваз уже полтора дня пилит, что потерял ее. Чудеса! — Он поднял телогрейку, покрутил, оглядел со всех сторон.— Қак она в реку попала?

— Вот, агай, это и есть открытое тобою месторождение,— сказал паренек из Қазая.— Хорошенько выжать, бочка масла набежит.

— Эх, зарезал! — сказал Зариф Проворный и ринулся прочь. Видно, вспомнил, что руководящему лицу от таких глупых недоразумений положено держаться подальше.

Паренек раздвинул толпу и зашагал к аулу. Умоляющего взгляда Қарама, устремленного в спину ему, он уже не видел. Қарам с несчастным видом развел руками и оглядел односельчан. Потом посмотрел на телогрейку, она лежала беспомощная, жалкая, и он носком сапога осторожно перевернул ее подкладкой вниз.

— Ну и ну! — сказала, фыркнув от смеха, какая-то женщина.

Еще одна рассмеялась, и еще. И скоро, сотрясая берег Казаяка, хохотала вся толпа. У Карама, еле сдерживавшего слезы, заходил кадык... раз сглотнул, другой сглотнул, махнул руками и тоже захохотал — хохот из горла, слезы из глаз.

Наконец берег опустел, вся суматоха перешла в аул. Только Карам остался сидеть возле своей куфайки, как милиционер возле утопленника. Это и был утопленник — утопшие его надежды. Долго он ломал голову, как телогрейка могла очутиться в Казаяке, но так и не понял. Загадка загадкой и осталась.

До вечера сидел Карам, слушая шум воды. «Удивительно,— думал он,— нет у реки ни лошади в упряжке, ни мощного мотора, а она вся в движении, ни на минуту не остановится. Еще одно чудо природы... И мир на поток похож. И люди от того вон мусора, что плывет, крутясь в водоворотах, ничем не отличаются. Только родился от матери, подцепила тебя быстрина и понесла, и понесла. Здесь течение несет, а там судьба...»

Когда Карам устало поднялся на ноги, он уже был готов отдаться течению жизни. Вытащил ключи, рассовал их по карманам, постоял с минуту возле телогрейки, потом кивнул ей на прощанье и зашагал к дому.

Этим кивком он простился с опостылевшей аульской жизнью. За полмесяца он распродал все что мог, покончил со всеми связанными с отъездом хлопотами, расплатился с продавщицей за две бутылки водки и, наотрез отказавшись от почетного прозвища Нефтяник, отправился в дальние края, к своему другу Мирхайдару. На этом первый период беспокойной жизни Карама Журавля завершился.

Мы уже говорили выше, что события, связанные с «куфаечным месторождением», как их назвали в Куштиряке, отшумели пятнадцать лет назад. Хороша была жизнь в городе Беговат, но старел понемногу Карам и все сильней становилась тоска по Куштиряку. А когда супруга его Магипарваз оставила этот мир, чувство потери стало совсем невыносимым. И Карам еще раз отдался стремнине жизни. Разметал гнездо, которое свил там, и вернулся в родной аул. На сегодняшний день уже три года как на должности начальника гаража. И ремонтная мастерская под его началом.

Но прежде чем от истории перейти к современности и рассказать еще об одном событии, связанном с Карамом, автор считает необходимым описать свою недавнюю

встречу с ним. Вот и мой друг-критик говорит: «Чем десять раз услышать, лучше один раз увидеть».

Размышляя о будущей судьбе тополя, о запутанных отношениях Танхылыу и Гаты, автор не спеша шел по улице, как чей-то оклик: «Как дела, кустым?» [1] — остановил его. Оказывается, Карам.

— Здравствуй, здравствуй, друг Карам! Только какой я тебе кустым? Ты же года на четыре младше меня,— удивился автор.

— Разве дело в годах, зятек! — махнул на это рукой Карам и повернул разговор на другое: — Уже месяц, как ты вернулся, и хотя бы разок заглянул. Как-никак земляки.

— Времени все как-то... дела всякие...

— Это верно,— сказал Карам, открывая калитку,— только ведь и с народом общаться — твой святой долг. Скажем, начальник гаража Урманбаев Карам, как он живет, о чем мечтает? Как жизнь понимает? Ты не думай, может, и у нас умное слово вылетит.

Пока мать готовила чай, Карам продолжал свою речь:

— Ты людей не слушай, кустым. Вот, дескать, Карам — выпивоха, дом свой разорил, на чужбину подался и там не ужился. Ерунда! Твой дядя Карам и работу ломил, и гулять любил. Мы людей не хуже.— И он, словно предлагая осмотреть дом, раскинул руки.— А насчет выпивки, так уже пятнадцать дней не до нее. Выгорит дело, которое затеял, и в рот больше не возьму.

— Зарекался дятел клюв свой пожалеть... — донесся из-за перегородки слабый голосок.

— Слышишь! Мать-старушка и та не верит. Ничего, еще увидит Куштиряк!

Карам встал, взял из наваленной возле двери кучи один за другим несколько железок, какие-то инструменты, покрутил их в руках, любовно погладил и осторожно положил обратно.

— Эх, если получится!.. Знаний маловато. Кое для каких вычислений высшая математика нужна, а мои данные — семь классов. Ладно, все равно до конца доведу, язви его!..

Автор ждал, что Карам объяснит, зачем ему нужна высшая математика, но тот опять перескочил на другое:

— Вот ты книги пишешь. То есть, как у нас говорят,

---

[1] Кустым — обращение к младшему по возрасту мужчине.

автор. Народ уму-разуму учишь, мудрости наставляешь. Ты мне вот что скажи: разве все мои жизненные похождения не годятся в книгу? Ты зря Қарама стороной обходишь. Сейчас, я слышал, возле Фаткуллы Кудрявого крутишься, с дочкой его Танхылыу, с Гатой Матросом какие-то дела завертел. Может, так и нужно, не сомневаюсь. Однако того, что я видел, они и четверти не видели. Вот и прикинь.

— С прикидкой и ходим, такое уж время, друг Қарам...

— Эх, жизнь! — воскликнул Қарам. Помолчал задумчиво, головой покачал.— Сложная она вещь, жизнь. Белого-черного, доброго-худого, всего вдоволь. И каждое, и черное, и белое, и доброе, и худое, само по себе — тайна... Вот скажи мне, зачем узбеки тюбетейки носят? Не знаешь. А в этом своя премудрость есть. Голову, а пуще головы — мозги от жары спасают. Потому что ташкентской жары не то что мозги — камень не выдержит. Или вот возьми птицу и возьми человека. Человек тайну атома открыл, в космос корабли посылает, а все сидит, к месту своему прилип. Птица же — или в Индостан улетает, или в долину Казаяка возвращается, гнездо вьет. Смотря по сезону. Знает, когда тепло будет, а когда холодно...

— Человек для тепла печь ставит, дрова заготовляет, а птица...— хотел мягко уточнить автор, но Қарам лишь с укоризной посмотрел на него.

— В этом ли премудрость... Иной раз ночь напролет не сплю, все думаю. Живешь, живешь, а загадок, какие жизнь задает, из тысячи и одной не разгадаешь — так и помрешь. Вот что обидно, зятек! А ты — печка, дрова... Я вчера учителя математики из Яктыкуля кое о чем расспросил. Думал, у кого грамота выше, тот, может, и знает больше. Счет, подсчеты всякие он как орехи щелкает — это верно. Кое-какую пользу я тут получил. Но как на мировые проблемы перешли — с моим сыном вровень. Почему, спрашиваю, плуг плугом назвали, грабли — граблями? Дескать, вот тебе для начала попроще вопрос. Он тоже так считает. Пустяками, говорит, себе голову забиваешь, на то и вещь, чтобы ее как-нибудь назвали. Заважничал сам, даже пальцем у виска покрутил. А по правде говоря, на этот вопрос не то что он — я и сам ответить не могу... Ну тогда, говорю, скажи мне, мырза, как ты бесконечность Вселенной себе представляешь? Он даже в лице переменился.

«Ты,— говорит,— это брось, не думай об этом. Когда,— говорит,— я в университете учился, студенты философского факультета частенько на этом самом вопросе с катушек соскакивали».— «С каких таких катушек?» — «С таких. Двое на этом с ума сошли». Вот ведь как... Наверное, тому ученому, по имени Амбарцумян, придется письмо написать, посоветоваться, вот только с делами развяжусь маленько.

По ходу разговора Карам то и дело бросал озабоченный взгляд на кучу возле дверей. Когда же автор осторожно полюбопытствовал, что же там такое, хозяин только усмехнулся:

— Если время есть, приходи завтра после обеда на Разбойничью гору. Может, что интересное увидишь,— и встал с места.

Пришлось и автору поблагодарить за чай и удалиться, потому что Карам, забыв о госте, которого сам же и зазвал, задумался.

Продолжая рассказ, еще раз напомним, что Карам — мастер на все руки. Латать, клепать, ковать, паять — все умеет, что хочешь починит. В комбайне ли что наладить, к тракторному плугу, к сеялке ли дополнительную деталь приделать — все может. Тут уж Карам — сам инженер, сам профессор. А у колхоза в его золотых руках каждый день нужда.

Не знаю, где как, а в Куштиряке из всех забот могут до смерти замучить — две. Первая — дорога, вторая — запчасти. О дороге речь пойдет впереди, а здесь, коли уж помянули, расскажем о запчастях.

Что такое запчасти? Разумеется, если вопрос поставить именно так, на него ответит даже куштирякская детвора. Ответить-то ответит, но лишь теоретически, ибо практически запчасти эти многие и в глаза не видели. Запчасти — вроде нашего Зульпикея, все о них знают, все слышали, а вот собственными глазами увидеть... По свидетельству стариков, слово это вошло в молитвы колхозных руководителей еще в тридцатые годы. У таких удивительных машин, как молотилка, косилка, лобогрейка (надо понимать, лоб которая греет), то серп сломается, то шатун полетит, то цепь оборвется — и уже доносятся из правления мольбы-стенания: «Запчасти, запчасти!..» И даже сейчас, когда в космос корабли запускаем (интересно, как там у них на космодроме, тоже с запчастями мучаются?), различным комбайнам, сеялкам, культиваторам, стогометалкам, таким мощным ма-

шинам, как самосвалы и тракторы, не хватает одного — запчастей. Да где же они? Какими заклинаниями вызвать их? В том-то и дело, уважаемый читатель! Есть, оказывается, некто скупой и себе на уме. Зовут его «Сельхозтехника», вот у него-то запчасти и в руках. И никакими заклинаниями, никакими уговорами «Сельхозтехнику» не уломаешь. Куштирякский люд с ним лично не знаком. А в наше время без знакомства не только запчасти, сапог жене не купишь.

Автор советовал куштирякскому начальству открыть завод по производству запчастей. Тем более что сейчас поощряются народные промыслы. И будут наряду с дымковской игрушкой и хохломской росписью еще и куштирякские запчасти. Но это предложение руководство приняло без особого восторга. «Эх, автор-агай, автор-агай,— сказал Кутлыбаев,— что же это за запчасти, если они — только понадобились, уже под рукой? Сразу в цене упадут. Выпрашивать, из-под земли доставать надо — тогда это запчасти. Достал — целый праздник! А ты нас праздника лишить хочешь!» — чем и доказал нерентабельность подобного предприятия.

Тут у Кутлыбаева свой расчет, иначе от такого выгодного дела так легко бы не отмахнулся. Он на Карама надеется. Конечно, завод или «Сельхозтехнику» Карам заменить не может, но в самых трудных случаях колхоз свой он выручает.

Цена Карама и в повседневной жизни аула высока. Если машина или мотоцикл сломается, мясорубка, сепаратор, насос, что воду из колодца качает, испортятся — не только куштирякцы, из всех окрестных аулов к нему на поклон идут. Впрочем, хоть и говорится «на поклон», кланяться он не заставляет. И за выгодой не гонится, цена известная. Даже если ничего не дадут — не обидится, потому что разобрать неподвластный простому человеческому уму механизм, отладить и снова собрать — само по себе для него удовольствие. На это он не жалеет ни сил, ни времени.

Говорят, в прошлую зиму, когда особенно много развелось волков, Карам нескольким охотникам сделал сани с мотором. И по самому глубокому снегу, где ни пеший, ни конный не пройдет, охотник на санях настигал самого быстрого, самого сильного волка. За десять дней во всей куштирякской округе от волков, которые так досаждали фермам, и следов не осталось.

Впрочем, эти увлечения не всегда добром кончаются.

Еще до отъезда в Узбекистан, когда в ауле не было электричества, Карам решил построить ветряной двигатель и дать Куштиряку свет. Ветряк он поставил, но и трех дней не прошло, погорел Карам. Погорел не только в том смысле, что были неприятности,— настоящий пожар случился. В Карамово сооружение, стоявшее у него в огороде, ударила молния. Еле дом от огня спасли. Сейчас, говорят, заперся в сарае и новую машину строит. Что на сей раз выдумал, никому не говорит. Тех, кто ходит и вынюхивает, от ворот заворачивает: «Придет день — узнаешь».

Назавтра автор, решив, что эту новую машину и собирается испытывать Карам, поспешил на Разбойничью гору. Но, как ни спешил, все равно опоздал. Он еще только подходил к подножию, а на вершине, окружив *что-то,* уже толпилось человек двадцать. Чем выше поднимался автор по склону, тем выше поднималось и его удивление. На плоской вершине — не более пятидесяти шагов вдоль и столько же поперек — стояло диковинное сооружение. На первый взгляд оно смахивало и на большую неуклюжую птицу, и на маленький самолетик, а если приглядеться, то напоминало гигантскую стрекозу. Что это? Уж не мотолет ли? Он самый, мотолет и есть!

Народ безмолвствует. Только изредка одни языком восхищенно цокают, другие с издевкой головой качают. Первые — Урманбаевы, вторые — Сыртлановы. Сторонники Карама и противники. Для самого же Карама зрителей словно и вовсе нет. То свою стрекозу спереди и сзади обойдет, то ей под брюхо подлезет, что-то подкрутит, что-то подправит. Даже пот, с носа капающий, некогда смахнуть.

Наконец предстартовые хлопоты позади. Карам влез в мотолет и сел на изготовленное из старого стула сиденье. Объяснил помощникам, кому за что браться и что делать. Те встали по своим местам. Мотор затрещал. Карам махнул рукой. Ждавшие этого мгновения парни издали боевой клич:

— Хау-але-ле! — и покатили стрекозу к краю вершины.

Сверкают спицы, все быстрей и быстрей крутятся колеса, снятые с детского велосипеда, лодочный мотор трещит так, что уши глохнут. Мчится мотолет, все ближе и ближе к краю, где обрывается площадка.

А вот и край! С криком «хап» помощники с силой толкнули мотолет, и он, словно птенец, который еще только учится летать, переваливаясь с крыла на крыло, оторвался от земли.

Мощное «ура» огласило окрестности. Пять секунд прошло? Десять? Мотолет вдруг накренился на одно крыло и, словно норовистый жеребец, вскидывая то задом, то передом, покатился по склону, прокладывая темный мокрый след в заиндевелой траве.

Когда Урманбаевы с воплями подбежали к месту катастрофы, перед их взором предстала такая картина: лежит вдребезги разбитый мотолет, два колеса все еще вниз по склону катятся, медленно вертится пропеллер, задевает за какую-то железку, и жалобный скрежет напоминает писк раненой птицы.

Услышав крики, Карам открыл глаза:

— Уф-ф, это... это в мой сарай заприте... чтобы ничего не пропало,— и снова закрыл глаза.

Его осторожно вытащили из-под обломков, снесли к подножию горы и уложили в коляску мотоцикла. Разумеется, невеселые эти хлопоты легли на плечи Урманбаевых. Сыртлановы, криво улыбаясь, шагали следом.

Как потом узнали, нога у Карама была вывихнута, рука сломана, а синяки, ссадины, царапины, большие и малые, не в счет. И хотя состояние пострадавшего было не таким уж тяжелым, его отправили в Каратау в больницу. Известно также, что, когда накладывали на него заплатки, он терпел, лишь изредка короткий стон вырывался сквозь стиснутые зубы: «Эх, в хвосте ошибка... слишком легкий получился хвост... Нет, я все равно полечу...» Не знаю, как кто, но автор эти слова ставит вровень с мужественным возгласом средневекового ученого: «А все-таки она вертится!»

6

В этом месте своего повествования, чувствуя свою вину перед терпеливым читателем, автор просит у него прощения. За что? За то, что, уйдя от основных событий в сторону, уделил излишнее внимание полной приключений и невзгод жизни Карама. Открытие нефти, испытание мотолета — они-то какое отношение имеют к Танхылыу и Гате?

Действительно, на первый взгляд никакого. Но лишь

на первый! Если же всмотреться внимательней, тонкая внутренняя связь проглядывается и здесь.

Дело в том, что, как сказал один наш драматург, «на дорогу, по которой прошел один, может ступить и другой». Разумеется, нельзя понимать это буквально. Оттого, что Карам полетел, Гата и Фаткулла-агай сегодня же за мотолет не примутся. Старая история: чем чужие слова как попугай повторять, гораздо полезнее почерпнуть из них урок. Хорошо бы это запомнить и нашим поэтам. У них ведь как? Один сказал, другой тут же подхватил, следом и третий, наперебой кричат: «Надоела городская суматоха, уезжаю, уезжаю в свой аул!» Не захочешь, да испугаешься.

Но Куштиряк попусту не пугает. Задумал — сделает, замахнулся — бьет. И нет у него такой привычки — чужим ужимкам подражать, на каждое «хайт» поддакивать «тайт». Урок здесь несколько по-другому понимают. Доказательства? Пожалуйста. Смелый шаг Карама Гате отваги прибавил, упрямство Шамилова удвоил. А что касается Фаткуллы Кудрявого, увидел он воочию, что нет таких дел, которые были бы сыну человеческому не по силам, и с новым усердием принялся укреплять банные фортификации. Короче, Куштиряк не спешит заглатывать любую мудрость, как ерш наживку,— всю и до конца. Нет, он идет дорогой творческого освоения.

Кстати, о дорогах. Доселе у автора не было возможности описать куштирякские дороги подробней. «Кажется, здесь по небу ходят»,— может подумать читатель. Увы, покуда по земле. Доказательств тому, кроме здравого смысла, два. Во-первых, куштирякский обычай срезать углы. В небе-то углов нет. Во-вторых, поговорка про дороги: «Пошел по гости — лег на погосте»,— в том смысле, что при таких дорогах лучше сидеть дома, ибо дорожные заботы — смертные муки. Всем известно, что родилась она тоже в Куштиряке.

Как раз в эти дни, когда Танхылыу ушла с фермы, а Карам летал на мотолете, вдруг подморозило. Близкая зима весть подала. Хорошо мостит мороз, да ненадолго. Только куштирякские женщины сняли резиновые сапоги, как вновь потеплело и развезло. Землю, и без того вдрызг раскисшую, проливной дождь превратил в жидкую кашу.

Если сравним улицы Куштиряка с пахотой, то впечатляющей картины действительности мы не передадим и наполовину. Куда там! Взгорки — будто с десяток

танков прошло — гусеницами и колесами вдоль и поперек искорежены, на ломти изрезаны, а в низинах озерами разлились глинистая жижа и грязная вода. Попал в эту трясину — все, считай, на полпути к тому самому погосту. Пеший сапоги с ноги оставит, телега или машина — по ступицу сядет. Даже «Иж» знаменитого тракториста Юламана Наша-давит здесь не пройдет. А ведь у него не простой мотор — форсированный, на три лошадиные силы мощней.

Если все же пробрался по улице и с тысячей бед вышел к околице — опять недоумение. По дороге идти или, не ломая традиции, по пахоте напрямик? Дело в том, что в трех километрах от аула пролегла прекрасная большая дорога — от Қазая до Қаратау и дальше на Қалту. Та самая, которую куштирякцы называют «саше». Три километра, рукой подать, но чтобы добраться до нее — ай-хай! Вот бы где Қарамов мотолет пригодился. Но Қарам лежит в больнице, мотолет — в сарае. Обоим ремонт нужен.

Қак назло, в эту самую пору автор решил на попутной машине съездить по своим делам в Қаратау. Туда-то он добрался, выехал с утра, когда еще то, что мороз намостил, держалось. А вот обратная дорога превратилась, по выражению друга-критика, *в неразрешимую проблему.*

Машина, которая с веселым гудением мчалась по шоссе, спустившись на куштирякскую дорогу, прошла с трудом, вразвалку — сейчас упаду, сейчас утону — метров двести и встала. Қак раз посередине огромной лужи. Сколько шофер (Стахан — брат Гаты), перекосив лицо, ни дергал за рычаги, какими только иностранными словами ни уговаривал мотор, машина с места не сдвинулась, наоборот, словно муха, попавшая в мед, чем больше дергалась, тем глубже вязла.

— Шабаш, агай! — сказал шофер, выключив мотор.— Пойду пешком, за трактором, а ты сиди пока.

— Нет, нет, ты машины не бросай. Я сам!

Так сказал автор. Нет чтобы сначала свои возможности взвесить, прикинуть, есть ли за душой, кроме пустой отваги, что-нибудь еще. На это ума не хватило, поспешил. Подумал, видно, пусть и от него хоть малая польза будет. Стахан спорить не стал, тут же согласился. Взвалил автора на спину, вынес на бугорок и, вернувшись, закрылся в кабине. На хмуром лице проскользнула быстрая плутоватая улыбка.

Дождь все лил и лил. Светлый щегольской плащ автора в минуту промок насквозь, хоть выжимай, обе штанины по колено выпачкались в грязи, смотреть страшно. Но передумывать было поздно. Ведь он тоже куштиряковец, и автор храбро ринулся вперед. Три раза на своем пути поскользнулся, два раза упал в лужу на четвереньки, в глине извозился по самые уши и потерял подметку с одного ботинка. И вот в таком виде он вошел в правление. Народ, собравшийся там, расхохотался, как на пьесе Асанбекова.

Самому автору было не до смеха. Еле подавив злость, он предложил заместителю председателя быстрей послать трактор и выручить застрявшую в грязи машину. Но этим он только показал, насколько еще плохо знает жизнь. Заместитель, не дослушав его речи, вдруг ни с того ни с сего вспылил:

— Откуда я возьму тебе трактор? Восемь машин по разным дорогам застряли! Тракторы, которые на ходу, их вытаскивают! Остальные без запчастей стоят! Ты думаешь, андреевская казна у меня тут?

Что такое андреевская казна, автор не знал. А как с запчастями — знают все.

— Ладно, попробую поговорить с парторгом,— сказал он и направился было к дверям, но тут вошел сам Исмагилов.

Откинул парторг промокший капюшон брезентового плаща, хмуро оглядел собравшихся. Оказывается, он поехал на ферму в соседний аул, но был вынужден бросить машину на полпути и вернуться обратно. Так что ему самому трактор нужен.

И в этот самый момент на столе зазвенел похожий на гармонь с тридцатью клавишами телефон.

— Я Кутлыбаев! Я Кутлыбаев! — загремело из него.— Говорю из Ерекле! К сведению всех бригад, ферм, гаража и правления. Куштиряк, Яктыкуль, гараж! Вы слышите?

— Яктыкуль слушает... Степановка... Куштирякская ферма... — пришли ответы.

— Сводку погоды, наверное, слышали,— продолжал Кутлыбаев.— Дождь завтра не кончится, не ждите. Дня через три подморозит, не раньше. Чтоб ни одна машина никуда не выходила. А те, что в пути застряли, в гараж оттащите. Куштиряку: пусть члены правления вечером к шести соберутся. Где Исмагилов, не видели?

— Я в правлении. Члены парткома пусть тоже к шести придут,— сказал парторг.

— Хорошо. Радиоузел работает? Сложившуюся обстановку доведите до народа. За технику отвечает заместитель, обращайтесь к нему. Все.

В аппарате что-то щелкнуло, в комнате установилась озабоченно-торжественная тишина, какая бывает перед большой военной операцией. Автор, забыв о выпавших на его голову (а пуще того — на ноги) мытарствах, уставился на тридцатиклавишный телефон. Смотрел-смотрел и невольно прищелкнул языком: да-а, по-современному живет аул! И подумал: «Когда такая техника есть, о дорогах ли печаль!»

Этот восторг и отвлек автора от скользких дорожных рассуждений о том, как будут вытаскивать застрявшие машины, сколько из них побилось-покалечилось, во что влетят ремонт и праздники, связанные с поисками запчастей. К тому же и вечернее совместное заседание партбюро и правления колхоза вдохновило его. Ведь именно на этом историческом заседании наконец было твердо решено: дороги надо починить! Председатель загорелся, решил, по своей молодости, уже с завтрашнего утра приступить к делу. Но вспомнил, что, для того чтобы прокладывать дороги, нужны дороги — а их-то и нет. Значит, придется все отложить до лета.

Хвала и слава мужам аула! Разве десятки тех решений, что принимались каждый год, это решения? Вот с этого заседания и начнется перелом. С нового решения! Когда между аулами, между правлением, бригадами и фермами селекторная связь звенит, когда в хозяйстве сотни машин, механизмов гудят, когда на улицах, стирая разницу между днем и ночью, электричество сияет... можно немного потерпеть, подождать, и, как сказал поэт, «авось дороги нам исправят». Правда, сказал он это в главе, которую потом сжег. Уж не из-за этих ли самых слов и пришлось сжечь?..

Ничего, не на этот год, так на будущий, не на будущий, так... Впрочем, скоро снова подморозило, замелькали белые мухи. А выпал снег — какая в дороге нужда? По куштирякской привычке кто где ступил, там и дорога. А до весны еще долгая, долгая зима...

Читатель уже знает, что в тот день, когда состоялось упомянутое выше заседание, Кутлыбаев ездил в Ерекле. Как он оттуда возвращался, тоже особого интереса не представляет. Председатель, точно так же как парторг и

автор, бросил уазик в трех километрах от Куштиряка и в правление пришел пешком. Довольный Гата Матрос остался в засевшей по самое брюхо машине ждать трактора.

Довольный? Да. Распутица, которую сейчас проклинали семьдесят семь аулов, оказалась на руку одному человеку — ему, Гате Матросу. Дело в том, что в Ерекле на улице он заметил Танхылыу. Видно, приехала по каким-то своим делам. Наш джигит рассудил так: «Приезд с отъездом парой ходят. Не только прощаться — не миновать и возвращаться. Вот и Танхылыу скоро домой отправится, темноты ждать не будет. Это — одно. А вовторых, трактор, который вышлет Кутлыбаев, часа через два придет, не раньше. Стало быть...»

Да, час свидания, которого с таким нетерпением ждал Гата, был уже близок. Он нашел лужу почище, помыл сапоги, оглядел себя с ног до головы (голову, разумеется, он оглядеть не мог, но тут помогло зеркало), фуражку с кочаном сдвинул набок еще красивей обычного. После этого взял упавшую с чьей-то подводы доску и положил ее мостком от кочки посуше до подножки уазика. Не угадаешь, может, Танхылыу предпочтет вести разговор в кабине.

Говорят, страсть горами двигает. Гате до гор дела нет, пусть стоят. От дороги оторваться не мог, в оба глаза смотрел. Немного времени прошло, и на шоссе показалась темная фигурка, подошла к перекрестку и с высокой насыпи спустилась на куштирякскую дорогу. И чем ближе подходила она, тем выше поднималось настроение Гаты.

Одиноким путником была, конечно, Танхылыу. Она еще подойти не успела, как осмелевший в последнее время Гата крикнул ей со смехом:

— Айда садись, тебя поджидаю!

— Один тоскуешь? Посижу маленько, коли так,— сказала Танхылыу со странной, как у заговорщика, улыбкой.— Эти резиновые сапоги еле таскаю... — проворчала она, влезая в машину.

Гата решил начать издалека:

— Совсем куда-то пропала. И в клуб не ходишь...

— Уж будто!.. Никто и не заметит, есть я там, нет ли меня, кому я нужна?

— Есть кому! — сказал Гата и, покраснев от собственной храбрости, уставился на показатель бензина — бак был полный.

— Кому же это?

— Эх, Танхылыу, еще спрашиваешь!.. Ради тебя я эту самую Одессу бросил. Камни ворочать готов! — ответил Гата. И чтоб доказать силу своих чувств, сказал словами влюбленного героя из толстого романа Казакбаева — роман этот он проглотил за два дня: — Океан переплыву — только прикажи! — И схватил девушку за локоть: — Прикажи!

Танхылыу пожала плечами, освободила руку и с той же загадочной улыбкой посмотрела на спидометр — стрелка стояла на нуле.

— И камней не ворочай, и океан не переплывай — вытащи эту машину.

— Ых-хым! — сказал Гата. Его будто холодной водой окатили. И горячие слова, что на языке висели, вмиг остыли.— Шутишь?

— Нет, не шучу! Что мне, пешком ходить, когда у тебя машина есть?

— Ну, скоро трактор придет...

— Когда трактор придет, зачем мне твоя машина? Ну, ладно, как хочешь...— И Танхылыу потянулась к ручке двери.

— Подожди! — вскрикнул Гата. Он вспомнил Карама. Вот с кого надо брать пример! В эту минуту наш джигит был похож на рыболова, тянущего к берегу трепыхающегося на крючке сома — ах, сорвется, ах, ускользнет! — Садись за руль! Справишься?

Танхылыу надменно дернула подбородком: еще спрашиваешь.

Какие только беды не валятся на лихую шоферскую голову! Машина сломается, застрянет или вдруг — вот уж где не ждал! — на автоинспектора нарвешься. Все это дело обычное. Напасти, крупные и мелкие, не обходили и Гату. Всяко бывало. Как уж говорили, дорожные заботы — смертные муки. Но в такое положение, как сегодня, Гата еще не попадал. Ни достоинство его, ни одежда, что на нем, да и силенки — не трактор же он — не позволяли ему взяться за это дело. Даже инструмента никакого, кроме лопаты, нет. А Танхылыу, похоже, от своих слов не отступится, наоборот, поддразнивает: «Ну, покажи, какой ты джигит».

Нужда сено есть научит, говорит народ. Автору кажется, что не будет большой стилистической натяжкой, если мы это мудрое слово переиначим по-современному: увязшей машине любовь крылья приставит. Гата, крас-

ный от негодования, вышел из машины, встал на краю лужи, огляделся по сторонам и увидел одинокую кучу щебня. (Видно, насыпали ее когда-то с благими намерениями починить эту самую дорогу. Благие намерения — единственный материал, с которым у наших дорожников не бывает перебоев. Ими-то они и мостят куштирякские дороги.)

— Полундра! — закричал Гата. Он хотел сказать то же самое, что и тот старик, который с криком «Эврика!» выскочил из ванны.

Один вздох — и весь щебень перешел под колеса уазика, доска, исполнявшая службу мостика, легла туда же. Гата показал Танхылыу, как включить мотор, куда направить машину, и с криком «Давай!» навалился на уазик сзади. Гудит натужно мотор, щедрая жижа веером летит из-под колес. Пот пополам с грязью течет по лицу Гаты. Но машина — ни на пядь. Жужжит на месте, как шмель в патоке, только рябь от нее по лужам.

А для Танхылыу из ничего — потеха. Высунулась из кабины, смеется, подначивает:

— Хау-але-ле! Еще немного! Еще!

Минут через пятнадцать, вдруг каким-то чудом, видно услышав отчаянную мольбу джигита, машина вздрогнула, дернулась и поползла из лужи.

— Давай газу! Газу давай! Правей бери, правей! — орал Гата.

Наконец машина вышла на твердое место. Мотор остановился. Танхылыу выпрыгнула из кабины. Встала, глянула на Гату, вымазанного в грязи по самую макушку, даже краб заляпан ошметком глины, и расхохоталась.

Ей — смех, Гате — слезы. Синий бархатный пиджак был синим бархатным, теперь ни цвета, ни материала различить нельзя. На хромовые сапоги столько налипло грязи — и ноги не поднять. Даже капитанская фуражка сплющилась и обвисла, как неудавшийся блин. Сначала Гата ошеломленно посмотрел на себя, потом на Танхылыу, которая, закатываясь от смеха, вытирала слезы, махнул рукой и начал чиститься. От чрезмерной натуги, с которой он толкал машину, закололо в груди.

Поняла Танхылыу его состояние или нет — но унять хохота не могла. Только когда машина тронулась, она, стыдясь своего неуместного веселья, сказала примирительно:

— Не думала, что ты такой решительный. Упрямей даже, чем я.

— Ых-хым,— сказал Гата, еле удерживаясь, чтобы не застонать от боли в груди.

— Говорили: «С Гатой не шути, он шуток не понимает». Значит, правда.

— Шутила или нет — воля твоя исполнена,— вяло усмехнулся Гата. И вдруг, то ли на нее разозлившись, то ли на себя, а может, и на кого-то третьего, сказал: — Эх, абитуриент!

— Ладно уж, не обижайся,— сжала его за локоть Танхылыу.

Машина валилась с боку на бок, тащилась понемногу. Танхылыу то придвигалась к Гате, то отодвигалась. Парень молчал. Увидев выходящий из Куштиряка трактор, спохватился и решил продолжить прерванный разговор:

— Говорят, уезжаешь из аула. Зачем же дом тогда строишь?

Танхылыу ничего не сказала, лишь сморщилась, свела брови. То ли не ожидала от Гаты такого вопроса, то ли какая-то досада царапнулась в ней.

— Эх, Гата, Гата,— вздохнула она и покачала головой.

Но Гата уже закусил удила. Вспомнил наставления своего учителя.

— А что Алтынгужин говорит? — срезал угол.

— Он здесь при чем?

— Так ведь... он за тобой ухаживает.

Танхылыу фыркнула от смеха. Опять, видно, между ними Зульпикей затесался.

— Вот не знала... А куда же тебя денем? — И взяла его под руку. Мало того, звонко поцеловала в щеку.— Заворачивай к правлению! Пусть увидят нас вместе, пусть кое-кого сердечная изжога помучает!

Уазик повалился было на бок, но выпрямился и, расплескивая грязь до самых заборов, помчался к правлению. Прохожие, сообразно полу, одни — с проклятиями на бестолковую голову шофера, другие — злобно матерясь, отскакивали в сторону. Гате и горя мало. То ли по земле ехал, то ли по небу летел. Машина еще и остановиться не успела, как Танхылыу выпрыгнула из нее и весело поприветствовала стоявших возле правления женщин. Те сделали вид, что не слышали, отвернулись и, перейдя на бурный шепот, заговорили о чем-то. Но Танхылыу на это ровным счетом наплевать. И поздоровалась-то — будто в гусиный выводок камнем запустила.

Уже ступив на крыльцо, она повернула обратно.

— Ладно, попозже зайду. Поедем, Гата, работа не убежит, а у отца, наверное, чай уже на столе! — И так, чтобы хорошо было видно женщинам, у которых и без того уже по четыре глаза, прильнула к парню.

У того макушка неба коснулась, даже рука дернулась, чтобы фуражку придержать. На крыльцо вышел Кутлыбаев, крикнул что-то, Гата даже слушать не стал, погнал машину к воротам Фаткуллы Кудрявого. Понимает ли, что Танхылыу только забавляется, нет ли — ему все равно хорошо. Все равно в закуточке души сидит надежда, слабенькая надежда, с воробьишку, прежде она у себя в гнездышке неоперившаяся томилась, а теперь крыльями забила, из груди на волю вырваться хочет. Эх, жизнь! Эх, любовь! Недавний стыд, унижение, даже боль в груди и колотье в боку — все забылось. На всей земле их только двое — он да Танхылыу. А землю на своей оси вертит любовь. И колеса уазика, послушные ее же законам, рассекают грязь.

— Эх, Танхылыу! — сказал Гата охрипшим от волнения голосом.— Я еще так тебя помчу — как птицу по небу!

— Ба! Конечно, помчишь. Должность твоя такая. Ты ведь эту машину оставить не думаешь?..

На обычную лукавую ее улыбку Гата не обратил внимания, а если бы и обратил — ничего не понял. Любовь слепа. Несмотря на раскисшую дорогу, он лихо развернул уазик и чуть ли не впритык поставил к зеленым воротам Фаткуллы Кудрявого.

Если вы решите, что все эти события не зацепились за острые, как сучки, глаза куштирякских кумушек, то крепко ошибетесь. Только ли зацепились! Пошли по аулу разные догадки, подозрения, дескать и якобы. Одна шустрая клялась даже: «Чтоб меня земля живьем сглотнула — сама своими глазами видела: уже на ночь глядя, посадил ее Гата Матрос в машину и повез куда-то!» Другая, оказывается, их уже на рассвете возле правления видела, третья — в соседнем ауле. «Привалило Зарифу Проворному — прямо в готовый дом отделит сына!» — подхватил и кое-кто из мужиков, не из самых обстоятельных, слетевшую с женского языка новость.

Слухи эти разносили те, у кого не было здесь личного интереса, и сторонники Гаты. У первых нет сына, чтоб женить, а если есть — давно женат, уже малыша на колене качает. Эти без опаски и без корысти в свое

удовольствие языки чешут. Вторые же надеются первую куштирякскую красавицу к себе перетянуть, в свой лагерь взять снохой, и эти слухи — вода на их мельницу.

Но есть у Гаты и противники. Юламан и Бибисара, родители Самата, а за ними и все Сыртлановы, подпоясавшись, засучив рукава, разом, дружно поднялись в бой за девушку.

Сам Юламан и есть главный из Сыртлановых. Издав клич «Наша давит!», навалился он на свой конец безмена. А лагерь Гаты — Урманбаевы. И вот эти две фамилии, два лагеря сошлись лицом к лицу из-за Танхылыу.

Автор считает необходимым пояснить, что он имеет в виду, говоря «два лагеря», дабы читатель не усмотрел в этом какого-нибудь намека на что-то.

Начнем с того, что в Куштиряке около двухсот хозяйств, из них тридцать — Сыртлановы, тридцать — Урманбаевы (остальные фамилии мелкие — по три-четыре хозяйства). Так что каждой из этих фамилий по силам выступить на историческую арену и занять видное место в жизни аула. Но, как учили древние, в один казан две бараньи головы не лезут. (Хотя уже из наставления видно, что сами древние меры не знали: была, значит, такая манера — сразу две головы в казан втискивать. Теперь такого нет. Кто же баранов в казан по два закладывает? Впрочем, вопрос этот... м-м, такой... углубляться не будем. И друг-критик уже хмурит брови: «Нашел о чем, тоже невидаль — баран. Зато древние таких мудреных вещей, как телевизор, электробритва, «Запорожец», и на зуб не пробовали!»)

Да, сколько уже лет идет эта междоусобица Сыртлановых и Урманбаевых — то в открытом бою сходятся, то исподтишка, как говорится, подкусывают. Как автор слышал, распря эта идет еще с той поры, когда Куштиряк сам по себе был отдельным колхозом. И были две бригады. И основой, стержнем одной бригады были Сыртлановы, другой — Урманбаевы. Известно, если бригад две, то между ними возникает соперничество: кто больше накосил, кто быстрее с жатвой управился, чьи поля лучший урожай дают, у кого техника (а прежде — кони) в лучшем состоянии и т. п. и т. д.

Разумеется, соперничество этим не ограничивается, переходит в житейские дела. Скажем, лошадь чьей бригады на байге пришла первой или чей батыр на майдане взял над всеми верх, конек чьей крыши выше да у кого

ворота красивей, на какой стороне свадьба с большим размахом прошла, сваты дольше гостили да приданого больше дали — все затравка для спора.

В послевоенные годы борьба эта немного затихла, соперники, набираясь сил, приглядывались друг к другу. Но только юная поросль вызрела, вошла в силу и готова была выйти на майдан — колхозы объединили, укрупнили, и две бригады Куштиряка слились в одну. Тут уж, известно, на официальное соревнование был вызван Яктыкуль. Но и собственное, свое, так сказать, дедовское, соперничество не утихло, наоборот, приспосабливаясь к новым условиям, то вспыхнет, то затаится, как угли под пеплом, жар копило.

Если на собрании обсуждается какой-то вопрос и Урманбаев скажет: так, мол, и так,— Сыртлановы сразу же дружно поднимаются в атаку. И пошла свара. Ибо тут уж Зульпикей расходится вовсю. Поставит Сыртланов новый дом, машину, скажем, купит или мотоцикл — Урманбаевы уже готовят ответ. То же самое купят, да еще больше, да еще красивее, да еще богаче. Только бы обогнать, только бы дальше прыгнуть. Вот и слышно с одной стороны: «А мы чем хуже!» — с другой: «Наша давит!»

Остальным — потеха! При каждом удобном случае подначивают соперников, стравливают, как петушков. Кто-то зловредный даже не поленился, всех детей до десяти лет в обеих фамилиях пересчитал. Удивительно: у Сыртлановых — сорок два и у Урманбаевых — ровно сорок два. Выходит, зная, что может зайти спор, кто-то заранее об этом подумал. Кто же на чертовых, иначе не скажешь, счетах щелкал? Уж ясно, не Фатхутдин Фатхутдинович. Зульпикей, вот кто! На то он и Зульпикей, на то и бес-баламут: вроде одно к другому подогнал, а ма-аленькую щелку для новой свары оставил. По второму-то подсчету оказалось, что если у Урманбаевых двадцать мальчиков и двадцать две девочки, то у Сыртлановых — двадцать два мальчика и двадцать девочек подрастают. Вот ведь как тонко подвел бес-баламут! Каждому ясно, чем меньше разница — тем больше споров, ибо спорщику кажется, что какую-то мелочь он и за горло возьмет. А против очевидного не попрешь. Как ни петушились Урманбаевы, но поняли, что тут их объехали, и промеж себя решили эту нечаянную ошибку срочно исправить. Как говорит Фатхутдин Фатхутдинович, *выравнять баланс*.

И вот посредине встала Танхылыу. Будучи посторонним, Шамилов и от этой тяжбы должен бы остаться в стороне, так как фамилия его не Сыртланов и не Урманбаев (а Шамилов). Но, как мы знаем, у него свой расчет, свой интерес. Услыхав, что птица счастья вот-вот сядет на плечо его ученика, он чуть не подпрыгнул от радости. «Если у парня дела на лад пошли,— подумал он,— значит, девушка в наших руках. Чтобы согнуть иву, достаточно за тонкую ветку ухватиться. Теперь и самого старика к земле пригнем. Даст место для тополя, никуда не денется». Но пусть на такую расчетливость учителя Гата не обижается, Шамилов — человек общественный, для всего аула старается. Впрочем, и Гата мелочиться не будет. Он — победитель, а победителя, как уже говорилось, украшает великодушие.

Сыртлановы на майдан выставили Самата. Нет, не подумайте, что Гата и Самат, как на сабантуе, сняли рубашки, охватили друг друга за пояс и, кряхтя, начали бороться. Слово «майдан» здесь взято в переносном смысле — ристалище. И еще, если Гата бросился в схватку, словно морская птица, которая ищет бури, как будто в бурях есть покой, то Самат вышел поневоле, против своей охоты. Только за неимением лучшего он стал знаменем Сыртлановых. Зная, что теленок — теленок и сынок — тоже телок, Юламан взял дело в свои руки. Фаткулле Кудрявому он всю печенку проел, пытаясь склонить его на сторону Сыртлановых. Даже в вопросе тополя и бани поддержку всего рода обещал. Его протянутую руку Фаткулла пожал, но поддержки не принял.

Сколько Юламан ни бился, ни суетился, Самат все еще был пеший, Гата — на коне. Урманбаевы торжествовали, Сыртлановы отдались безутешному горю, а Шамилов еще энергичней потирал руки.

Но не только учитель рассчитывал обернуть победу Гаты на пользу обществу. Решив, что у парня с Танхылыу уже, как говорят в Куштиряке, каша варится, Алтынгужин тоже надумал извлечь из этого кое-какую выгоду.

— Слушай, друг Гата,— подкараулив председательского шофера возле правления, сказал зоотехник.— Так ведь и упрямится Танхылыу, не выходит на работу.

Сначала Гата смерил его взглядом снизу вверх, потом сверху вниз — и так и эдак вроде одинаково — и лишь тогда сказал:

— А я здесь при чем? С самой и поговори!

Так сказал Гата. Скромненько сказал. Однако по ленивой улыбке, по голосу чувствовалось, что без него этой проблемы никак не решить. Конечно, Танхылыу он не хозяин, но помимо его воли девушка и шагу не ступит. Нужно и то сказать, что сомнения у Гаты насчет Алтынгужина до конца не рассеялись, холодность объяснялась еще и ревностью.

— Пять раз уже говорил! Даже слушать не хочет. А не идет она — и остальные готовы разбежаться.— Алтынгужин взял его за локоть, отвел в сторону и, перейдя на шепот, начал уговаривать: — Как друга прошу, помоги, пожалуйста. Она не ослушается тебя.

Гата нахмурил брови, подумал, прикинул — отсюда, кажется, и впрямь опасности нет — и подмигнул:

— Уговорил, скажу.

Какое у него влияние на Танхылыу — это вопрос особый. Но ходившие по аулу слухи требуют некоторых уточнений. Гата действительно возил Танхылыу на машине, но, во-первых, не ночью, а вечером, во-вторых, в уазике кроме парня с девушкой были еще парторг с председателем. А в-третьих, поехали не в таинственное «куда-то», а после долгих уговоров парторг с председателем уломали упрямицу съездить на ферму к дояркам. Цель: восстановить мир и согласие, вернуть Танхылыу на ферму. И на самой встрече Гата не был, ждал начальство в машине.

По правде говоря, после возвращения из Ерекле Гата ни разу даже не поговорил с ней наедине. И когда лишь на следующий день после поездки на ферму Танхылыу сама остановила на улице и заговорила с ним, парень вновь воспрял духом.

— Говорят, Кутлыбаев в Каратау на совещание едет. Нас не возьмет ли? — с явным кокетством сказала она.

— Кого это «нас»?

Танхылыу улыбнулась ехидно и погрозила пальцем:

— Нет, ты только посмотри, еще прикидывается! Забыл, с кем вчера в клубе весь вечер танцевал?

Гата задумался. С кем же он танцевал? Смотри-ка, на чем подцепить хочет! Да, с Дилей танцевал, ну и что?

— Ну, все никак не вспомнишь?

— Не знаю... С Диляфруз раза два станцевали. Только что тут...

Танхылыу этого и хватило. С таинственным видом она посмотрела по сторонам и зашептала:

— Ладно, оправданиями не мучайся. Только и слы-

шу от Диляфруз: «Гата, Гата, Гата!» Наверное, уже весь язык себе отбила: «Вот Гата, вот парень!» Она ко мне тайком раза два заходила. Сам знаешь, как с фермы ушла, девчата готовы изловить меня и съесть, потому Диля и ходит тайком. А как тебя хвалит! Так возносит, того и гляди, об небо шмякнет. А ты: «Не знаю... раза два станцевали...»

— Погоди-ка, Танхылыу, я ведь... ты ведь...

— Не погожу! Все вы, парни, такие, вскружите голову девушке, а потом хвост за спину и в кусты. Пойди поищи другую такую — сама красивая, сама работящая! Короче, вот что, Гата, коли меня за друга считаешь, скажи Кутлыбаеву! У меня и у Дили в Каратау дела есть.

— Так ведь автобус ходит,— упавшим голосом сказал Гата.

— Ну, как хочешь. Только смотри, как бы потом жалеть не пришлось. Диляфруз еще меня обидчивей.

И она повернулась уходить, Гата преградил ей путь.

— К половине второго к правлению приходите. Только ради тебя.

Что за напасть? Он ходит, по Танхылыу душой горит, и если не весь аул, то все Урманбаевы за него, а она ему свою подружку сватает. Треснуло зеркало его любви, светлые надежды разбиты, и планы, которые возводил он все эти дни, готовы рухнуть!.. Но если Танхылыу не любит, то зачем кокетничает, зачем завлекает его? Как над маленьким ребенком потешается. Где, с кем ее душа? И этот дом. Разве будет человек ни с того ни с сего строить дом? А свадебные подарки? Кому они? Хоть бы это узнать.

Потом мысли Гаты перешли на Диляфруз. Спокойная, сдержанная девушка, работящая. А красотой и Танхылыу не уступит. Нынче летом в Уфу ездила, поступила в сельскохозяйственный институт, на заочное отделение. Таких на весь Куштиряк — Танхылыу да она. Хоть с виду и мягкая, однако ловкая, хваткая и на язык острая. Но Диля — это Диля. Все же не Танхылыу...

Как только приехали в Каратау и машина встала во дворе дома, где обычно останавливались куштирякцы, Кутлыбаев сказал, что раньше чем через три часа не вернется, и отправился по своим делам. Следом за ним Танхылыу: «Я к тете, меня не ждите, завтра автобусом вернусь»,— и тоже исчезла. Гата проводил ее взглядом, взял тряпку и начал протирать стекла и фары уазика.

Только у Дили, видно, дела не очень спешные. Кру-

тится вокруг Гаты, все не уйдет никак. То короткое, подол сантиметров на десять выше колена, платье пригладит, то высоко, словно туркменская папаха, взбитые волосы поправит и трещит без умолку:

— А так идет? Гата-агай? Ты какие волосы любишь, длинные или короткие? Черные или светлые?

Ишь раскокетничалась. Всего-то на два года младше, а тоже — «агай», уважение показывает. То ли вправду, то ли понарошку.

Ответов Диля не ждет. Они ей не нужны. В том, что все ей к лицу, она и не сомневается. Наверное, перед тем как в дорогу выйти, полчаса перед зеркалом торчала, принаряживалась-прихорашивалась-причесывалась. А может, и целый час, кто знает. Когда в Одессе Гата заходил к одной знакомой девушке, всего-то в парк пригласить, и то, бывало, пока дождется, весь умается. А женская порода, в Одессе ли, в Куштиряке ли, везде одинакова.

Наконец терпение Дили иссякло:

— Ты что, на выставку свою машину готовишь? Корова так своего телка не вылизывает.

— Ступай, дела свои делай. Я-то тебе зачем?

— Зачем, говорит, и не постыдится ведь! Я же в культмаг приехала, магнитофон присмотреть. А вдруг присмотрю — кто потащит? Что, у тебя руки оборвутся, если поможешь? Подумаешь, с председателем он ездит! — Сердито поджав губы, девушка зашагала к воротам.

— Нет чтобы сразу так сказать...— пробормотал Гата и поплелся за ней.

В культмаге подходящего для Дили магнитофона не оказалось. Но это ее не расстроило.

— Похоже, спешных дел у тебя нет, давай в кино сходим,— сказала она и взяла парня под руку.

Но и там больше получаса не высидела, шепнула Гате на ухо:

— Веди в столовую, проголодалась.

Выйдя на улицу, она опять принялась трещать о своем. На то, как нехотя идет спутник, никакого внимания.

Наконец, когда сели в столовой, дошла очередь и Гате вставить слово. Вспомнив просьбу Алтынгужина, он решил сначала поговорить с Дилей,— уж, наверное, знает, какие у подруги планы.

— Уж если ты не знаешь, мне-то откуда знать,— ответила Диляфруз.— О работе ли думать, когда замуж собираешься.

— Ых-хым! — сказал Гата, резко отодвинув стояв-

шую перед ним тарелку на середину стола, даже суп плеснулся.

— Не горячись,— улыбка у Дили вышла лукавой и в то же время робкой. Она погладила Гату по руке. Лицо парня потемнело еще больше.— Эх, Гата, Гата! О женихе ли сейчас думать Танхылыу.

Разговор этот, околицей да намеками, Гату не успокоил. Наоборот, еще новые сомнения зародил. Хоть как, а надо отделаться от девчонки и повидать тетку Танхылыу.

— Ладно,— сухо сказал он,— если других дел нет, ступай на квартиру. А мне тут с одним человеком встретиться нужно.

Он уже довольно далеко отошел от столовой, как вдруг — тук-тук-тук — его нагнала Диля. «Ну, прямо смола!» — ругнулся он про себя. Она же, пропустив мимо внимания, как поморщился Гата, поспешила сказать свое. Вернее — ужалить.

— Не будь дураком, Гата-агай, по-дружески говорю, Танхылыу забавляется только, о тебе и не думает...

— А о ком? — Гата и сам не заметил, как вцепился ей в руку.

— Точно не знаю. Слухи ходят, что Самат к ней сватается... Отпусти руку!

Да, Стахан, брат Гаты, говорил, что подвыпивший Юламан хвастал в гараже перед мужиками: «Наша теперь Танхылыу! Разве есть в Куштиряке парень моему Самату под стать!» Стахан, тоже плут из куштиряковских, покричал маленько и предложил брату: «Сыртлановы расшумелись, шкуру неубитого зверя делят, а мы что же? Ходим, как телята. Давай возьмем и украдем Танхылыу! Девушку умыкнуть — за грех не считается». Но Гата отважные помыслы брата отверг, потому что от Самата опасности он не ждал, здесь душа была спокойна. Теперь же, увидев, что дело запутывается еще больше, во все глаза уставился на Диляфруз:

— Как это — сватается?

— А как сватаются? По обычаю. Сам он не то что словом перемолвиться — даже близко к Танхылыу подойти боится. Потому переговоры с дедушкой Фаткуллой ведут родители Самата. Точь-в-точь по старинке, как моя бабушка рассказывала.

Новость оглушила Гату. Порядком прошло времени, пока он осознал, что Диля ушла, а сам он сидит на скамейке возле чьих-то ворот. Вот она, жизнь,— мах колеса,

то в грязь, то в небеса. Из-за Танхылыу он Одессу, а вместе с Одессой хорошую работу бросил, вернулся домой, старанием, прилежанием своим с уважаемыми людьми в один ряд встал, и в работе спор, и на язык скор... Впрочем, нет, на слова-то он не мастер. Ну и что? Из слов дворца не выстроишь. Сила Гаты в технике, в борьбе за новую культуру. А Самат? Кто он такой, Самат? Кроме того, что в армию сходил, где он еще был? Какие далекие от Куштиряка земли повидал? Может, статью-силой своей, мастерством или геройством прославился? Сидит деньденьской в сельсовете, лицо, как шафран, пожелтело, в глазах света живого нет, уже, наверное, все бумаги в сельсовете съел. Нет, если уж родители девушку уговаривать взялись, тут дело не выйдет, как день ясно. С какой стороны ни возьми, Танхылыу ему не пара. Да он, наверное, и сам видит. До чего не дотянешься — и тянуться нечего.

Значит, кто-то другой. Но кто же? Сколько ни перебирал Гата парней, но равного себе так и не нашел. «Пустое говорит Диля. Свой аркан на мою шею пытается накинуть, хочет, чтоб я к Танхылыу остыл. А Танхылыу оттого такая задиристая, оттого все эти подковырки, что любовь свою боится выказать»,— успокоил он себя.

И Гата поспешил к универмагу. Там разгадка тайны. Тетка наверняка выведала, что у племянницы на душе. Гата вспомнил, как он растерялся в прошлый раз, когда приезжал за свадебными подарками, и ни о чем не спросил у Нисы. «Эх, абитуриент!» — вздохнул он.

Танхылыу в магазине не видать. Покончила, наверное, с делами и ушла. Тоже удача.

— А-а, здравствуй, земляк! — Завидев Гату, Ниса поспешила ему навстречу.— Как дома, отец с матерью как? А наши? Живы-здоровы?

— Здоровы,— буркнул Гата. «Та-ак!» — сказал он про себя, подобно своему учителю Шамилову, и навострил уши. Вот тебе и Танхылыу! Сама: «К тетке пойду»,— а сама, значит, куда-то еще отправилась. Если бы она уже побывала здесь, разве стала Ниса об их здоровье расспрашивать?

— Все ты мельком, все по работе, даже в гости тебя пригласить не могу,— изобразив на широком довольном лице огорчение, сказала Ниса.— Ладно, придет еще день... Спасибо, что навестил, тут у меня посылочка для Танхылыу.

— Опять, наверное, свадебный подарок.— «Что-то

слишком частыми стали эти посылки»,— отметил он про себя, но ничем себя не выдал, поулыбался даже немного, глазки сощурил.

— А ну их! И свадьба-то все не как у людей! Что в ауле-то говорят?

— Говорят, Танхылыу за сына Юламана Быстрого сватают...

— За Самата, что ли? — Ниса так расхохоталась, что сновавшие по залу покупатели с удивлением посмотрели на нее.— Ой, насмешил!.. Да разве он Танхылыу пара? Ты ей скажи, лучше парня, который уже есть, днем с огнем искать будет — не найдет. Самат, говоришь, а? Если бы у меня спросили... — Но тут Ниса оглянулась на зов молоденькой продавщицы, бросила Гате: — Я сейчас! — и ушла в комнату позади прилавка. Слова, готовые сорваться с языка, так на языке и остались.

Убил бы Гата эту продавщицу! Другого времени нет, чтобы в самый интересный момент встрять в разговор? На пожар, что ли? Впрочем, долго ждать не пришлось, с узелком в руке показалась Ниса. Но прерванный разговор снова связать — все равно что мотор на морозе разогревать.

— Тоже чтоб люди не заметили? — сказал Гата, кивнув на узелок.

— Нет, не секрет. В прошлый приезд Танхылыу деньги оставила, сумку просила купить. Привет от меня передай, ладно?

— На свадьбу-то приедешь, наверное?

— Прилетела бы! И чего тянут. Хоть бы Танхылыу наведалась, знает ведь, что нет у меня времени туда-сюда ездить.

Все ясно, сомнений нет. Ниса другого парня имеет в виду. Не Самата и не Гату. Кого-то другого любит Танхылыу, а с Гатой как кошка с мышкой играет. Но выдавать себя нельзя. У Нисы глаз приметливый. Стиснуть зубы и терпеть.

— А парня-то... и не видела разве? — Лицо у самого безразличное, можно сказать, даже каменное. Дескать, так просто спрашиваю, тебе сочувствую, мне-то все равно.

Но у Нисы, кажется, зубы не из редких, собственный-то язык поприжать умеет. Женщина острая, хваткая: как змея под землей ползет, и то услышит. Улыбнувшись, она погрозила Гате пальцем:

— Ах-хай, парень, много знать хочешь! Может, говорю, Танхылыу и тебе голову вскружила?

— Эх, апай! — И Гата, оставив ее в изумлении, ударяясь о встречных, выбежал на улицу. Выбежал и встал как вкопанный. «Эх, абитуриент!» — с ненавистью сказал он себе. Так и не сумел сдержаться, секрет, готовый уже развязаться, не развязал, бежал, как мальчишка. Обратно в магазин вернуться? Стыдно. Он ведь куштирякский джигит. Гордость прежде ума ходит.

Возвращаясь на квартиру, Гата попытался все увиденное и услышанное смотать в один клубок. Кто же этот парень? Ниса его до небес возносит. И Диляфруз его знает. А вот Гата не знает. Самата из списка можно сразу вычеркнуть. Его с Танхылыу и рядом-то поставить нельзя. Смех один. Алтынгужин? Вот кто всерьез встревожил Гату. Но, по словам Шамилова, не тот он человек, чтобы в ауле остаться. Ну кто же, кто? Кажется, если узнал бы — так и меньше жалел обо всем этом...

Завидев его, Танхылыу и Диляфруз, о чем-то со смехом спорившие на крыльце, оборвали разговор и ушли в дом, то ли дело вспомнили, то ли просто так. Танхылыу-то, вы только посмотрите! Говорила, что «завтра поедет», а уже в дорогу уложилась. Тетю проведать и в мыслях нет. Где же она до этого часу ходила?

Гата забросил узелок в машину и начал разогревать мотор. Вскоре заскрипели ворота и послышался резкий голос Кутлыбаева:

— Опаздываем, выводи машину!

До самого аула никто из спутников не обронил ни слова. Только когда машина стала возле правления, Гата сказал:

— Тетка твоя передала,— и протянул Танхылыу узелок.

Вечером того же дня, уже в глубокие сумерки, когда опустели и затихли улицы, когда Кутлыбаев ушел домой, парторг Исмагилов вызвал Танхылыу в правление.

То, что вот уже больше месяца передовая доярка дурит и не выходит на работу, успело вызвать недовольство и в народе, и среди районного начальства. Кутлыбаев неизвестно чего ждет, хоть и переживает про себя, но распутать или разрубить узел не спешит. Все сомневается, думает и парторга уговаривает, чтоб не спешил. Нет, слишком все это затянулось. На ферме Танхылыу и по шерстке гладили, и против шерстки, но пользы никакой. Теперь хотят вынести вопрос на комсомольское собрание. И вопрос этот, как чувствует парторг, может

быть поставлен весьма остро. Девушки теперь на уговорах да на выговорах не остановятся. «Из комсомола,— говорят,— надо выгонять!» У молодых известно: где ухватили, там и ломают. Разумеется, если дело так далеко зайдет, Исмагилова тоже по головке не погладят. Райком ему самому выговор вынесет. Нет, эта справедливая мера, хоть и неприятная, его не пугает. Парторгом Исмагилов уже шесть лет подряд, к выговорам и благодарностям привык. Другое обидно. Во-первых, мечта превратить комсомольско-молодежное звено в бригаду и тем укрепить ферму была под угрозой, потому что некоторые из разочаровавшихся девушек тоже начали поглядывать на городскую дорогу. Во-вторых, из-за недостаточной воспитательной работы у передовой доярки собственная личная жизнь на глазах рушится. Да и личная жизнь вот-вот прахом пойдет! И в смысле общественном такой узел затягивается, что не сразу и развяжешь.

Третьего дня Исмагилов с Кутлыбаевым были в райкоме. В конце разговора Камалов вспомнил Танхылыу, подробно все расспросил. А потом сказал, что если в следующий раз придут, а дело с места не сдвинется, то пусть каждый принесет с собой по куску мыла, он им так шею намылит, что...

Хорошо еще, ни в райкоме, ни на ферме не знают, за кого Танхылыу замуж собирается. А если узнают? Вдруг у заветной подружки Диляфруз терпения не хватит, возьмет и выложит под горячую руку. Вот тогда увидишь, чего прежде не видел!

И уже который месяц нет на ферме заведующего, временно руководит Алтынгужин. Но ведь не может зоотехник сидеть и одну только куштирякскую ферму сторожить. И овцы в Яктыкуле, и свиноферма в Ерекле, и лошадиное поголовье всех семи аулов — все они на Алтынгужине, у него других забот — с головой. Была у колхозного начальства такая прикидка: поставить Танхылыу заведующей фермой. Теперь же об этом и думать не приходится, как бы само начальство вместе с Танхылыу на расправу не потащили...

Так сидел и думал Исмагилов в ожидании Танхылыу и, подстегнув свою злость, решил держаться построже, говорить суше. Он нахмурил брови, положил кулак перед собой на стол и покосился на свое отражение в застекленном шкафу. Что ж, вид внушительный. Распахнулась дверь, и в комнату вошла Танхылыу.

— Входи, входи, красавица,— сказал Исмагилов.—

Добро пожаловать! — Кулак птицей взлетел с зеленого сукна, развернулся, словно крылья расправил, и теперь уже не кулак, а добрая мягкая ладонь в широком жесте обвела комнату.— Вот сюда, в красный угол садись!

Девушка поздоровалась кивком, потупилась смущенно и сказала:

— Вошла уже...— Потом, все так же опустив глаза, прошла к дивану, села на самый краешек. Посидев немного, расстегнула на пальто две пуговицы, спохватившись, бросила испуганный взгляд на парторга, от смущения голос сорвался, сказала шепотом: — Жарко...

— Сними пальто,— сказал Исмагилов.

Она послушно встала, сняла пальто, повесила на вешалку и снова села на краешек дивана.

Исмагилов посмотрел на ее легкую стройную фигуру, ладно обтянутую темно-зеленым с серебряными нитями платьем, и, усмехнувшись, покачал головой. «Да, уж коли есть, то есть,— подумал он,— бывают же красивые девушки!» Действительно, всем взяла Танхылыу. А сама-то — и не скажешь, что та самая упрямая девчонка, которая уже месяц как всех перебаламутила,— осторожно прошла, на краешек села, глаз от пола поднять не смеет — робка, послушна, целую комедию разыграла. И только смелые брови притворяться не хотят, подрагивают нетерпеливо, вот-вот и взлетят. Ну, как на такую кричать, как с ней быть строгим?

Исмагилов молчал. Все заготовленные заранее слова вдруг взяли и позабылись. Танхылыу смиренно посмотрела на него:

— Увещевать и наставлять вызвали, наверное, агай? Воспитательную работу проводить?

— В самую точку! — ответил парторг и, то ли на иронию в ее голосе обиделся, то ли на свою мягкотелость рассердился, сказал резко: — Ты больно не заносись!

Танхылыу бросила взгляд исподлобья и села на диван поглубже. Обида пополам с насмешкой скривила ее губы. Вот сейчас повернется ключик — и замкнется в себе. Тогда из нее и слова не вытянешь. Хоть соловьем заливайся, хоть накричи — все на ветер. Исмагилов это уже знает, испытал. Подосадовав на свою несдержанность, он прошелся по комнате, опять на себя в застекленном шкафу покосился — н-да-а... — потом на Танхылыу бросил взгляд. Сидит обреченно, ресницы в пол уткнула, стесняется, дескать. Трепещет даже. Хоть ты медовыми словами ее уговаривай, хоть ругай, на совесть напирая,— все при-

мет. А на самом деле словно ежик перед лисой, с какой стороны ни зайди, иголки выставила.

Исмагилов невольно рассмеялся. Танхылыу удивленно посмотрела на него, сжала плечи и, закрыв лицо ладонями, откинула голову на спинку дивана. Плачу, дескать. Но Исмагилов оставил это без внимания. Подошел к столу, взял в руки какую-то бумагу.

— Ну, что будем делать? — сказал он безучастным голосом.— Покуда мы старались, чтобы дело не зашло слишком далеко. И подруги терпеливо ждали...

— Челябинских коров верните-е...

— Об этом все. Коровы эти насчет молока хуже наших оказались. Оплошали мы. Придется, видно, на мясо сдать.

— Я сегодня в райкоме была,— всхлипнула она.— Камалов-агай сказал, что куштирякские руководители молодежь не ценят. «А что,— говорю,— если я в соседний совхоз перейду?» — еще раз всхлипнула. «Надо подумать»,— говорит. А вы бы что посоветовали, Исмагилов-агай? — короткое рыдание.

Беседу с Камаловым Танхылыу к своей выгоде несколько подправила. В райкоме она действительно была, но Камалов про совхоз вспомнил совсем по другому поводу, а Танхылыу сказал, чтобы попусту не дулась, не упрямилась, выходила на работу.

— За морем телушка — полушка...— сказал Исмагилов.— И потом... Ты слова Камалова на свой лад не выворачивай. Он мне по-другому рассказывал. Почему бы, говорит, куштирякцам совхозных доярок не вызвать на соревнование? Слышала про ихнюю Таню Журавлеву?

— Не только слышала, но и дома у нее была. На районных совещаниях всегда в президиуме рядом садимся. Уж она мне рассказывала! У них порядок совсем другой, если кто хорошо работает, с такого пылинки сдувают, не знают, куда посадить. А вы...

Да-а, занеслась Танхылыу, самомнение большое, особых для себя условий требует, славы, негаданно свалившейся на нее, не выдержала. Исмагилов с трудом подавил раздражение. Ведь что Камалов сказал? «Если такую девушку упустите, пеняйте на себя!» А когда он, Исмагилов, попытался про ее нрав рассказать, руками замахал. Все это, мол, оттого, что воспитательная работа поставлена плохо. С самого начала пошли неверным путем. Может, и так. Однако, когда в позапрошлом году девушек,

окончивших десятый класс, уговаривали идти на ферму, вопрос стоял по-другому. И обещаний, наверное, лишних надавали. А без этого разве уговорили бы Танхылыу?

Танхылыу же, словно услышав мысли Исмагилова, подошла к столу:

— А вы семь коров для меня пожалели. Сами рекорд требуете, а сами подходящих условий не создаете. Где же ваши обещания?

— В чем смысл рекорда? — сказал Исмагилов, досадуя на то, что не может разом оборвать этот спор.— В том, что условия у всех равные, но один вырвался вперед!

— А поначалу так не говорили!

— Поначалу!.. Ты думаешь, остальные девушки ничего не понимают? По справедливости, говорят, нужно. Правильно говорят! Вот подружку свою Диляфруз возьми. За один последний месяц — когда тебя не было, учти! — среди доярок района на третье место вышла.

— А при мне на четвертое бы вышла.

— А ведь ей никаких уступок не делали!

— Я тоже уступок не просила, сами обещали.

— Эх, Танхылыу, Танхылыу, в том-то и забота, чтобы условия, которые созданы тебе, создать каждой доярке! Кто будет это делать? И колхоз, и ферма — ваши, молодежи. Вы — хозяева аула! Сами за все в ответе. Иди к своим товарищам, поговори, объясни это! А потом возьмите и вызовите на соревнование Журавлеву. За нами тоже дело не станет, поможем.

Танхылыу, покусывая попавшийся в руки карандаш, задумалась: говорить, дескать, или нет? И потом:

— Челябинских коров не продавайте. Дайте мне их обратно.

— Я уже тебе сказал...

— Таня говорит, что они тоже тридцать голов купили, в первый год намучились, зато теперь только доить поспевай.

— Правление уже решение вынесло. Кутлыбаев тоже, на них, говорит, корма не напасешься...

— Вы мне этого Кутлыбаева не поминайте! — вдруг вспылила Танхылыу.— Из-за него все! Если бы тогда на ферме не мямлил, и девушки бы так не разбушевались. Как мой отец говорит, где видано, чтобы корова из оглобель прыгала?

— Ошибаешься, красавица, ой как ошибаешься! Поговорку: «Сорок прямых — одна упрямая» — забыла.

Нет, похоже, не поладят они сегодня: как зарядила свое, так и не остановится. Может, и впрямь поговорить с Кутлыбаевым? И в совхоз съездить. О челябинских коровах разузнать — тоже вреда не будет. Можно завтра же Алтынгужина послать. Придя к такому решению, Исмагилов немного успокоился.

— Ни за девушками, ни за Кутлыбаевым вины нет. Что же касается коров, попробую поговорить. А ты завтра же иди на ферму. Тихо-мирно месяца два поработай, а там видно будет. Потом, глядишь, и свадьбу сыграем.— Погрозил пальцем: — Не то возьмет парень и передумает.

— Ох, испугалась! Не он, так другой найдется. Вон отец Самата каждый вечер ходит, за сына меня сватает. Гата ради меня в огонь и в воду пойдет,— сказала Танхылыу и, вспомнив что-то, рассмеялась.

— Да я ведь в шутку только,— сказал Исмагилов, посмотрев на часы.— Ладно, пора по домам, время уже позднее. Итак, завтра выходишь на работу.

— Сначала с челябинскими коровами решите,— сказала Танхылыу с порога.— Без этого и ноги моей там не будет.

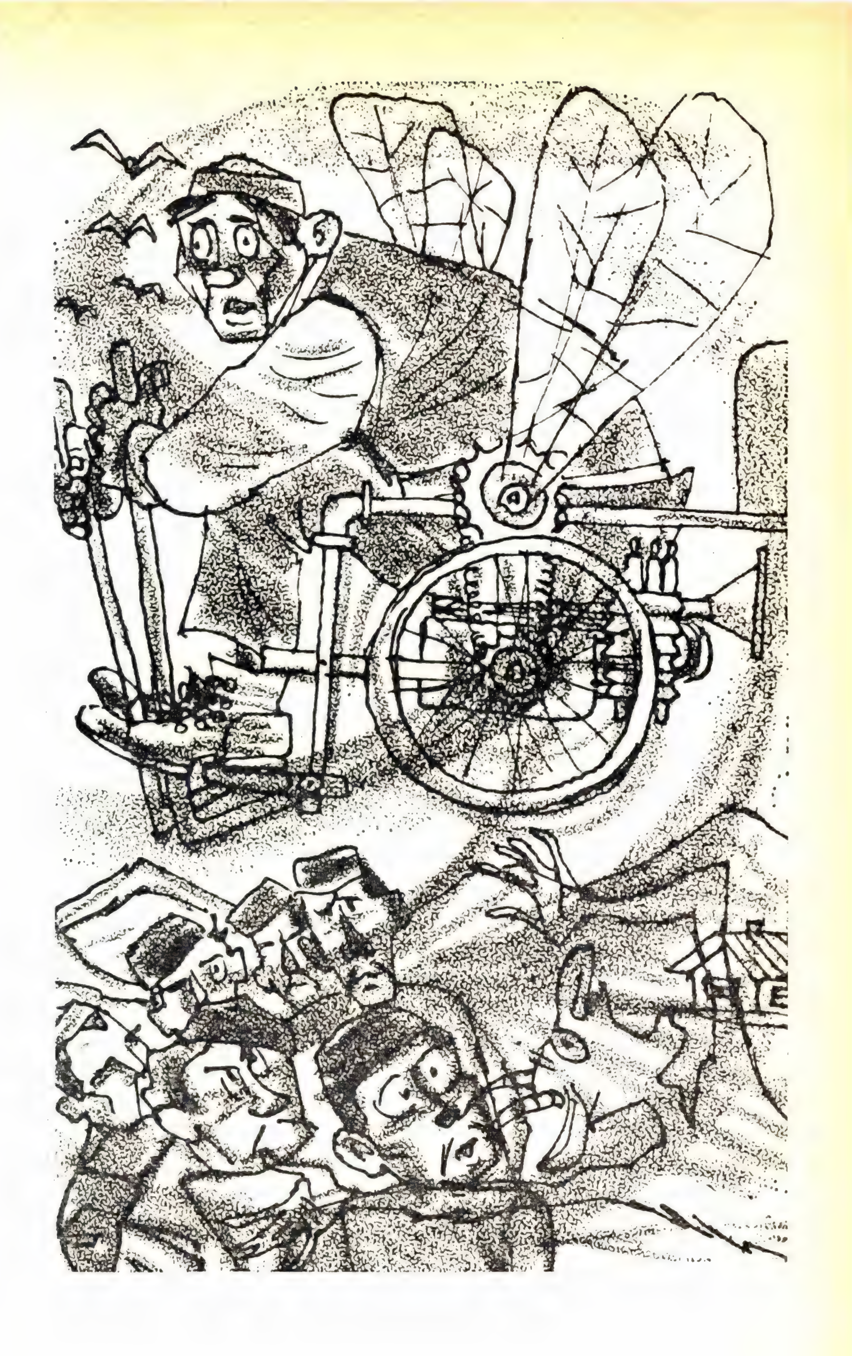
Дверь закрылась. Парторг принялся обзванивать бригады, искать Алтынгужина.

7

Не знаем, где как, а в Куштиряке из четырех времен года самое красивое каждое. Вот и сейчас, только что была осень, и вдруг за одну ночь пришла зима. Выпал первый снег, и весь мир посветлел.

В ясном небе ни облачка. Солнце уже знает, что даже этого слабого, покуда еще младенческого холода разогнать ему уже не по силам, особенно и не старается, скромно льет неяркий свет, поигрывая тусклыми блестками в крупицах молодого снега. По всему аулу прямыми столбами поднимаются дымы, расходятся вкусные запахи. Осенние работы закончены, амбары полны, спокойная пора, когда аул от работы переходит к отдыху. И пора свадьбы играть, друг у друга гоститься — это тоже теперь ждать не заставит.

Еще и обед не подошел, а по улицам и во все стороны от аула уже стрельнули прямые и частые, как нити паутины, тропинки. Можно подумать, что люди сидели, того и ждали, и только упала последняя снежинка —



бросились наперегонки прокладывать каждый свою дорогу. По тому, как много тропок протянулось к ферме и к берегу Казаяка, можно понять, какое важное значение имеют эти два направления. Если первое своими девушками-доярками тянет к себе парней, то второе блестящим, как зеркало, льдом — детвору.

И вдоль одной из этих тропок от фермы к аулу не спеша идет кто-то. Впрочем, сказать про него «кто-то» может только совсем чужой человек. Любой куштиряковец за версту посмотрит и скажет: «Гата». Потому что медный кочан на фуражке путника горит куда ярче присмиревшего зимнего солнышка.

И верно — Гата. Надеюсь, умудренный читатель понимает разницу между «идти вдоль тропы» и «идти по тропе»? Разница довольно большая. Такая же, как между «идти вдоль забора» и «идти по забору». Хоть сейчас у Гаты огонь полыхает в груди, но куштирякских обычаев он не нарушит. Вот и идет, скрипя молодым снегом, рядом с тропинкой, уже проложенной кем-то, свою тропу торит. Конечно, иной раз забудется, ступит в чужой след, но, заметив ошибку, пробормочет что-то под нос и снова зашагает по первопутку.

Эти ошибки Гате не в укор. Может человек порою забыться? Тем более что он с фермы идет. Сегодня Кутлыбаев уехал на уазике один, без шофера, и Гата, оставшийся без дела, в надежде увидеть Танхылыу отправился на ферму. Увидеть ее он увидел, но радости ему это не доставило.

Во-первых, Танхылыу была не в духе, на кого-то обиделась, на что-то разозлилась, даже на его «здравствуй» не ответила. Говорят, снова на работу выходить собралась, но пока не выходит, воюет все. Заявится вдруг на ферму, с девушками сцепится, Алтынгужина в пух и прах разнесет. А уж колхозному начальству весь костный мозг иссушила.

Во-вторых, Диляфруз зло ужалила: «Эх, Гата, нет, оказывается, в тебе джигитовской гордости!» Так и сказала.

И лишь Алтынгужин обрадовался ему.

— Вот, парень, очень ты кстати пришел,— закричал он и хлопнул Гату по плечу.— Я тут на пять частей готов разорваться!

Вот и пойми ты этих с фермы! Одни на тебя страшней Капрала смотрят, другие на руках готовы носить.

— У Диляфруз одна корова мучается, не отелится ни-

как, ни на минуту отойти нельзя. А сегодня литературный вечер. Писатели приезжают! Я их должен был встретить,— говорит зоотехник, а сам Гату в угол зажимает, наверное, чтобы не сбежал.

— Ых-хым! — сказал Гата, дескать, тоже не лыком шиты, о том, что в мире творится, наслышаны. Какое, однако, отношение к этому имеет он, Гата, и чему так радуется зоотехник, не понял.

Алтынгужин опять хлопнул его по плечу:

— Ты что, не видел? В четырех местах объявления развешаны. Сейчас писатели в Каратау, а с вечерним автобусом к нам приедут. Будь добр, встреть их, а?

Гата о приезде писателей знал. И объявления видел. Но как это он будет писателей встречать? Ведь это — писатели! В жизни он таким делом не занимался. Растерянно пожав плечами, Гата забормотал:

— Это... послушай-ка... а как это я их?..

Алтынгужин от просьбы перешел на приказ:

— Как хочешь! Аул покажи, в правление своди, к себе пригласи, чаем напои, но только чаем... до вечера нельзя! А там и председатель с парторгом вернутся, и я освобожусь. Ступай, ступай, друг Гата, возле правления будь!

Надо сказать, что дожил до этих своих лет Гата, а ни одного еще писателя не видел. Интересно, какие они из себя? Удивительно — сам человек, а сам писатель!

Автора, который, как говорится, из куштирякского корня произошел, вырос здесь и каждый год приезжает домой, Гата в счет не берет. По его понятиям, у писателя и внешность, и манеры, и речь должны быть другими. А этот? Все время меж нас крутится, ничем от нас не отличается, даже волосы по-куштирякски — помелом. Произведения его и в «Хэнэке» [1] не печатаются, и в школе их не проходят. А что в его книгах? Герои — обычные люди, события — которые уже были в Куштиряке, даже выдумать ничего сам не может. Нет, автор — он и есть автор, еще не писатель.

Так думал Гата. И чем дальше, тем большим становился его интерес к гостям. На время забыв даже о Танхылыу, он ускорил шаги.

Время у него, как у работника, облеченного ответственностью и полномочиями, рассчитано по минутам, подчинено жесткому председательскому графику. Самому

[1] «Хэнэк» — башкирский сатирический журнал.

немного подумать, для себя что-то сделать — некогда. Да ему и не хочется. От него что требуется? Быть исполнительным, что поручили — довести до конца. Скажет Кутлыбаев: «Иди в огонь!» — Гата шагнет в огонь, ни минуты раздумывать не станет.

Усердие, послушание ему прививали с детства. Это было первым требованием сначала отца с матерью, потом учителей. Один раз только качнулся он в сторону, уехал из аула, но чем это кончилось, читателю уже известно. Теперь начатое семьей и школой продолжает Кутлыбаев. Никогда голоса не повысит, а шофер все равно ему в рот смотрит.

Это свое качество Гата не замечает, и тем, что больше чужим умом живет, чем своим, не угнетается. И на Танхылыу за то, что вертит им как хочет, зла не держит. Если Шамилов или Фаткулла Кудрявый что прикажут — пожалуйста, конь, как говорится, у Гаты оседлан. Потому кроме любопытства к писателям его в аул торопило и усердие. По укоренившейся привычке он и поручение Алтынгужина принял без долгого сопротивления.

На автобусной стоянке неподалеку от правления куча детворы с криком и визгом играла в снежки. Два парня вешали над входом в клуб красный ситец с надписью: «Любимым писателям — горячий привет!»

— Эй, Матрос, иди-ка сюда, лестницу переставим! — крикнул один из парней, но Гата лишь носом шмыгнул и отвернулся.

Ничего удивительного. Отвернулся — значит, и послушанию Гаты есть предел. Да и кто он, этот парень, рядом с ним?

Вот уж и солнце за Разбойничью гору зашло, пали сумерки, народ потянулся в клуб, и в конце улицы показался автобус.

Сначала с тяжелыми узлами, с заплечными мешками вышли с десяток женщин, потом в дверях показались два молодых человека с портфелями в руках. Собравшийся на стоянке народ шумно захлопал в ладоши.

Гата с сомнением оглядел одетых весьма обычно гостей, но больше никто из автобуса не вышел, и тогда он бросился вперед. Перед этим он уже прошелся взглядом по собравшимся здесь односельчанам: более уважаемого, более достойного, чем он, тут не было. Выходит, гости и впрямь на нем. Раздвинув толпу, Гата встал перед ними.

— Добро пожаловать! — сказал он и пожал им ру-

ки. Потом показал кулак бесцеремонной детворе: — Ну-ка брысь! Медведя, что ли, увидели?

Один из гостей громко рассмеялся.

— Прямо в точку попал, матрос! — И кивнул на своего хмурого товарища.— Поэт Аюхан [1] — будьте знакомы.

— И вы в точку попали,— фыркнула одна из женщин,— он у нас и есть Матрос!

Толпа рассмеялась. Но Гата нахмурил брови, и смех тут же затих.

— А недостойный ваш слуга,— гость с улыбкой приложил руку к груди и подобающим образом склонил голову,— Қалканлы [2] будет. Да, поэт Қалканлы!

От любезности Қалканлы первоначальная стеснительность, напряженность, какая бывает при встрече с незнакомым человеком, сразу прошла. Толпа обступила поэтов, каждый старался пробиться поближе.

«Хоть с виду и такие, не очень... но писатель — он писатель и есть, уже по имени видать»,— подумал Гата. Уважения к гостям как-то сразу прибавилось, раскинув щедрое хозяйское объятие, он пригласил их в правление. Остальным только подбородком кивнул на клуб: туда, дескать, идите.

В правлении уже никого, кроме уборщицы, не было.

— Пока председатель с парторгом не вернулись, может, сходим чаю попьем? — сказал Гата, вспомнив совет Алтынгужина.

— Знаем мы ваш чай! — подмигнул ему Қалканлы.— Нет, Матрос, чаи всякие мы потом будем пить.

Больше и говорить стало не о чем. Аюхан, видать, вообще молчун. Задумался о чем-то, смотрит уныло в окно. Қалканлы, мыча под нос какую-то мелодию, что-то ищет в портфеле.

Гата растерялся. Где давешняя его смелость, где красноречие и подобающее Куштиряку гостеприимство где? Ни заговорить, ни сесть не смеет. Пошел к двери и стал с фуражкой в руках, как солдат, ждущий, когда его заметит начальство. Но тут, на его счастье, распахнулась дверь и в комнату вошли Исмагилов с Алтынгужином.

Қалканлы, бросив портфель, вскочил с дивана:

— Алтынгужин? Или только мерещится...

— Асфандияров! — шагнул к нему зоотехник.

---

[1] Аюхан — хан-медведь, медведюшка.

[2] Қалканлы — со щитом, щитоносец.

— Оказывается, вы знакомы,— сказал парторг.

— Только ли знакомы! Пять лет океан науки на одной скамье бороздили! — сказал Қалканлы, обнимая Алтынгужина.— Вот, значит, в каких ты краях заблудился!

Пока они — хлоп да хлоп — били друг друга по плечу, пока Қалканлы от умиления вытирал слезы, а Алтынгужин выспрашивал городские новости, Гата понуро, как человек, потерявший что-то очень нужное, тихо вышел из комнаты.

Он был ошеломлен. В первый раз в жизни увидел настоящего писателя, стоял с ним рядом, даже заговорил запросто, поверил, что даже имена у них не как у простых смертных, восхитился еще: да, мол, горшок с маслом по блеску видать! А на поверку поэт, который представился непривычным уху, но тревожным, загадочным именем «Қалканлы», на самом деле самый обыкновенный Асфандияров, даже языку произносить скучно. Разве может быть писатель с фамилией Асфандияров? Или напутал что-то зоотехник? Да нет, если бы напутал, тот бы поправил: «Я ведь не Асфандияров,— сказал бы,— я — Қалканлы!» Эх, Алтынгужин, Алтынгужин!..

Прав Гата. Свои Асфандияровы и в Куштиряке есть, и в других местах их полным-полно. Может быть рабочий по фамилии Асфандияров, колхозник, профессор, министр, но писатель — нет! Точно так же, как не может быть писателя по фамилии Мухаметрахимов, Мурзагалеев или там Ахметгареев... Ахметшин или Гареев — пожалуйста, но Ахметгареев, Асфандияров — нет!! И не должно быть. Так считает Гата. Хоть многого он и не знает, но благодаря сметке ухватил самый корень проблемы.

Признаться, такого же мнения придерживается и автор. Как ни крути, а «Қалканлы» и «Асфандияров» даже рядом поставить нельзя. Небо и земля. Вот и молодым писателям урок. Вступил в литературу — первым делом об имени побеспокойся.

Одни делают так: соберутся с духом, зажмурят глаза и — рубят свою фамилию пополам! (Так, говорят, в прежние времена палец себе рубили, чтобы в армию не идти.) Потом выбирают половину позвучней. Фатхутдинов становится Фатхи, Миражетдинов — Миражи, Бадрисламов — Бадри или Ислам.

Другие же по месту своего рождения становятся Акташлы, Қарамалы, Айский или Сайский.

Встречаются и такие таинственные имена, как этот Қалканлы или Тонак.

Один парень даже фамилию американской поэтессы (по имени Ассата) себе утянул.

А уж *-ов* и *-ев* от фамилии отстричь — дело заурядное, сплошь и рядом. Начинающий поэт у нас, прежде чем за ручку взяться, берется за ножницы.

На днях в Уфе автор встретил на улице знакомого молодого поэта и почтительно приветствовал его: «Жив-здоров ли, Заминов-кустым?» Тот остановился, посмотрел так, будто не сразу узнал, потом сказал с укоризной: «Замин я».— «Брось, Заминов же ты! И под стихотворением, которое в позапрошлом году было напечатано, так и стояло: «Заминов»,— упорствовал автор. Тогда поэт, задрав подбородок, сказал: «А почему Есенин себя Есениновым не назвал? И Сафин — не Сафинов!» — чем и заткнул неразумному автору рот. Какая польза творчеству от этих превращений, как говорит мой друг-критик, *трансформаций*, автор не знал, мог только догадываться.

Но потом, тщательно исследовав многие прозвища, псевдонимы, укороченные имена-фамилии, которые встречаются в литературном мире и в его окрестностях, он пришел к такому выводу: изменил имя или укоротил его — и талант сразу по-другому заиграл.

Теперь-то автор об этом с видом знатока рассуждает, но сам смолоду из-за своей нерасторопности эту возможность упустил. Взять бы ему и возвеличить свою речку, в которой мальчишкой, словно рыба, плавал, как утка, нырял,— назваться Казаякским! Или стать Куштирякским. Во-первых, тогда бы и Гата с таким пренебрежением не смотрел на него, его писательского достоинства не унижал. Во-вторых, словно чахлая березка в тени раскидистого дуба, под сенью своего прославленного однофамильца не потерялся бы. Все! Кайся, казнись — уже поздно, что есть, тем и довольствуйся. Вот и друг-критик, имея в виду славу однофамильца автора, говорит частенько: «Глядя на гору — горой не станешь».

Тьфу, заговорился! Со всеми этими поздними сожалениями автор и про гостей забыл. А они уже давно в клубе, на сцене сидят. Толк в поэзии Куштиряк знает. Складному слову (то, что арабы называют *кафия,* а друг-критик — *рифма*) цена здесь высокая. Так что народ на встречу с поэтами валом валил.

На радостях даже автору оказали снисхождение, пригласили в президиум, в один ряд с начальством и гостями посадили. Ни Аюхан, ни Калканлы его не знают, да и он видит их впервые. Когда же автор представился: «Та-

кой-то...» — Қалканлы рассеянно пожал ему руку: «Ты случайно не младший брат того самого однофамильца?..» — и снова повернулся к начальству.

Вечер начался. Первым выступил Исмагилов, объяснил, зачем нам нужна поэзия, рассказал биографии приехавших из Уфы поэтов. Одно ухо у автора парторга слушает, а другое — невольно туда навострилось, где Алтынгужин с Қалканлы о чем-то шепчутся.

— Поэму, которую на четвертом курсе начал, уже, наверное, дописал? Где напечатали? Мне что-то не попадалась, проглядел, может.

— Эх, брат! Не дали поэме ходу. В Союзе писателей обсуждение было, привязались: жизненного опыта не хватает да образа передового нашего современника нет. Дескать, в поэме страсть да разлука, любовь да тоска. Откуда им знать, что в основе всех великих поэм мировой литературы — любовь?! Один критик особенно цеплялся...

— Не критик такой-то, друг нашего автора?

— Он самый. Говорит, чтобы я у Йылбаева поучился. А я эту йылбаевскую поэму левой ногой напишу...

Автор в испуге перевел взгляд на Исмагилова. Тот как раз получил какую-то записку. Заглянув в нее, он сказал, что дальше вечер будет вести Алтынгужин (на что Шамилов обиженно поджал губы), и поспешно вышел из клуба.

Первым Алтынгужин дал слово Аюхану. Аюхан, немного смущаясь, вышел к краю сцены, почтительно поклонился залу. На усталом лице его чуть прочертилась улыбка; шрам, надвое рассекший правую бровь, побелел. Еще не затихли аплодисменты, как он заунывно, словно затянул мунажат[1], начал читать свои стихи. Сам тянет, а сам, будто железо кует, кулаком в кулак бьет. Но хотя движения решительные, глаза печальны, стихи грустны. Вот он размахнулся еще шире и в последний раз опустил свой молот на сердце слушателей: «Эх, по родной стороне стосковался. Только разве туда добе...жишь!» — на последнем слоге голос сорвался на хриплый шепот, и он замолчал.

Зал все еще боялся дышать. Имеющиеся носовые платки были уже в руках. И в этой тишине одна из женщин, то ли на грустное лицо поэта глядя, то ли под впечатлением стихотворения, сказала с жалостью:

---

[1] Мунажат — скорбные стихи, читаемые речитативом.

— Бедный, раз так стосковался, что ж на чужбине-то маешься!

Другая:

— О господи-и! — И заплакала.

Эта плачет, слез унять не может, а в зале шум.

— Эх! — крякают одни и от полноты чувств кто платком, кто рукавом вытирают глаза, другие руками машут, чужие крики пытаются перекричать, просят почитать еще. Алтынгужин колокольчиком трясет. Сам Аюхан поднял правую руку и, виновато улыбаясь, ждет.

Наконец все стихло. Аюхан стал читать дальше. Таких рвущих душу тем он больше не касался, читал стихи о передовиках полей, о девушках-строителях, потом о творчестве, о дружбе, о любви, да и кулаком уже не так храбро ковал. Но поэт уже успел приворожить зал. Тускловатым ровным голосом читает и читает, слушатели обо всем на свете забыли, в самых простых словах им большой смысл открывается, до сердца доходит...

Наконец поэт вытер вспотевший лоб и пошел на место. Раздались недовольные голоса:

— И что, уже все?

— Читай еще, у нас время есть!

— Конечно, за столько лет впервые приехали...

Но Аюхан лишь кланялся, зажав ладонью рот, словно вдруг заныли зубы, и показывал на Калканлы. То есть, мол, его черед.

Калканлы тоже уговаривать себя не заставил. Он вдруг откинул голову, расхохотался и, приглаживая на ходу пегие кудрявые волосы, вышел вперед. Хоть ростом пониже среднего, встал на краю сцены и принял позу Юлия Цезаря. Сдвинул брови, оглядел зал: «так-так» можно было прочитать в его взоре. (Автор, не в силах скрыть восхищения и зависти, воскликнул: «Вот, ай!» — потому что сам он, даже если надо всего-то на профсоюзном собрании зачитать справку, сразу краснеет, бледнеет и немеет. В общем, какой тут Юлий Цезарь — провалившийся на экзамене мальчишка!)

Калканлы еще раз оглядел зал и кашлянул раза два, настраивая голос на нужное звучание.

— Перед тем как выйти в дорогу, аксакалы нашей литературы дали мне такой совет,— задумчиво начал он.— «Если придется выступать, говори, стоя на одной ноге» — так наставлял меня руководитель. Вот так! — Калканлы, согнув в колене, поднял левую ногу.

Народ зашумел одобрительно, захлопал в ладоши. Понятно, и в этот раз женщины оказались расторопней:

— Вот потеха! — хлопнула себя по бедрам одна.

— Ах-ах, а зачем так велели? — закудахтала другая.

Вопрос был резонный. А в резонном деле и мужчины не остались в стороне. Каждый строил догадки, исходя из того, как понимает смысл странного поручения, возложенного на поэта.

— Ых-хым! — высказал свое мнение даже Гата Матрос.

В этот миг весь зал от президиума до самых последних рядов был в тенетах Зульпикея.

— Подождите, не торопитесь! — крикнул Калканлы, все так же стоя на одной ноге. Ни о маневрах Зульпикея, ни о нем самом он ничего не знал.— Дело, мои родные, вот в чем. Известно, что на одной ноге долго не простоишь. Значит, и говорить придется покороче: и сам не устанешь, и слушателям хорошо. Все понятно? Помня об этом, я решил вашего времени не отнимать, стихов не читать, а коротко ознакомить вас с моими творческими планами.

— Нет, нет, стихи читай, планов у нас у самих хватает! Что ни месяц — то план!

— Смотри-ка, и на стихи, значит, план есть, вроде как у нас на свеклу!

— Не может быть!

— Так сам же говорит,— спорили слушатели уже друг с другом.

Калканлы, не обращая внимания на шум, нарочно понизив голос, продолжал что-то говорить. Народ поневоле замолк.

— Зря шумите,— словно выговаривая малым детям, сказал Калканлы и покачал головой.— Сначала послушайте. Ведь мои планы именно вас-то и касаются.

Зал пошумел немного, проявил свое отношение к этому заявлению и снова уставился гостю в рот.

— Да, именно вас, и никого другого. Районное руководство сказало мне, что только в вашем колхозе я найду людей, достойных войти в мою поэму.

На этот раз шум не затихал долго.

— А районное начальство кого-нибудь поименно не назвало? — сверкая медалью, к сцене вышел Сыртланов Юламан, по прозвищу Наша-давит. По тому, как он важно погладил рыжие усы, было ясно, кого он сам лично назвал бы поименно.

— Назвали, нет ли, во всяком случае, не ты тот че-

ловек, который в поэму войдет,— оттирая его в сторону, сказал Зариф Проворный.

— Как это не я? Наша давит! Где другой такой тракторист, как Юламан! Может, себя в поэму хочешь? Или Стахана своего? Шиш тебе! Когда председателем был, ты уже попал в газету «Красный плуг». Мало тебя тогда взгрели?

— Со мной состязаться у тебя, как в Степановке говорят, кишка тонка,— не сдавался Проворный.— И Самат твой — тьфу!

— Верно, товарищ Калканлы! — ринулся к сцене еще один.— Если среди Сыртлановых и найдешь кого, так только для «Хэнэка». А для поэмы, товарищ поэт, Урманбаевых бери!

— Или Кутлыбаева возьми, молодой, а уже...

— Нет, начальство нельзя, им не разрешается!

— Стахана возьми, а не годится он — Гату!

— Юламана! Самата!

Такого бурного обсуждения своих творческих планов Калканлы не ожидал. Растерянно улыбаясь, он то оглядывался на Алтынгужина, то снова поворачивался к залу. Нога уже давала себя знать. А скандал все разрастался, уже и грешные словечки одно за другим выпархивать начали. Зульпикей бегал по залу и потирал руки. Еще немного, и до кулаков дойдет.

— Встань на две ноги,— сказал ему Аюхан, понимая, что теперь все внимание Калканлы уйдет в ногу и он ничего придумать не сможет.

— Погодите-ка, товарищи, не шумите! — опомнился увлеченно следивший за спором Алтынгужин и затряс колокольчиком.

Калканлы послушался разумного совета и с широкой застывшей улыбкой на лице, высоко поднимая колени, прошелся по сцене.

— Вы меня, кажется, немного — ха-ха! — неправильно поняли,— сказал он и, замолчав, подвигал затекшей ногой, точно так же, раздвигая рот и щеки, размял затекшую улыбку.— Давайте установим, что такое поэма? Проще, образно говоря,— многоквартирный дом. Там каждому — ха-ха! — место найдется. И товарищам с этой стороны и товарищам — с той.— Он уже, видно, разобрался в расстановке сил.— Но, друзья мои, данная моя поэма — в стадии завершения. Пустых квартир нет. Только одна девушка нужна. Молодая, красивая и — ха-ха! — работящая.

— Тогда, выходит, меня ищешь,— сказала, вскакивая с места, шустрая старушка Бадегульбану, известная в ауле как бабушка Бану или старушка Трешка. (Если укороченное Бану говорит о том, что обычай укорачивать имена присущ не только поэтам, то псевдоним Трешка указывает на место, которое она занимает в экономике аула. Дескать, приспособила стиральную машину под самогонный аппарат и гонит ее, родимую, недорого, по трешке бутылка. Машину, разумеется, приспособил Карам. За истинность этих сведений автор не ручается, ибо бабушку Бадегульбану и на улице встречал, и домой к ней заходил, но поговорить так и не смог. Старушка при виде человека в городской одежде сразу глохнет на оба уха.)

Вскочила старушка Трешка с места и, сверкая сплошь золотыми зубами, засмеялась. Калканлы в страхе попятился назад.

От дружного хохота в клубе зазвенели стекла. Особый восторг это вызвало у парней, сидевших на задних рядах: одни по-тарзаньи кричат, другие свистят, остальные, бесталанные, ногами топают.

Алтынгужин кричал — голос надсадил, руками махал, но никто на него и не смотрел. Шамилов грустно улыбался: слабое руководство. Старушка же Трешка сделала свое дело и, бормоча: «Коли я не приглянулась, ищите сами, у меня дома суп кипит...», расталкивая хохочущих слушателей, пошла к дверям. Эх, знать бы, какой там дома без нее «суп» кипит!

Если бы в дверь, которую толкнула Бану Трешка, не вошел Карам Журавль, неизвестно, чем бы все кончилось.

Но Карам не войти не мог. Какое только произведение ни возьмите, в самый затруднительный момент, в самой запутанной ситуации на сцене появляется он — спасительный Герой! Силу и авторитет его никакой мерой не измерить, ни на каких весах не взвесить. Он может находиться за тысячи и тысячи километров от места событий, может быть занят на самой высокой службе, может даже лежать больной — не имеет никакого значения, он придет и выручит. Два молодых любящих сердца страдают, соединиться не могут — Герой (в данном случае — умный начальник) с ласковой отеческой усмешкой поможет им найти свое счастье. Пять-шесть положительных персонажей из сил выбьются, одного злодея одолеть не могут — наш Герой двумя-тремя словами вгонит мерзавца в прах

или, на худой конец, приведет милицию. В отдельных произведениях, когда очень уж нужно, он даже из мертвых оживает и, перепоясавшись потуже, бросается на выручку...

Карам же всего-то немного покалечился и лежал не за тысячи верст, а в нашей районной больнице. Значит, и возвращение его после исцеления в родной аул вполне естественно. Во всяком случае, какие-то там телесные раны на больничной койке в стороне от такого исторического события его не удержали.

Итак, вошел Карам. Если не считать, что похудел и оттого стал еще долговязей, что голова белым бинтом обмотана, а левая рука в марлевой повязке лежит,— все тот же Карам. Вот он с деловым видом прошел вперед, отодвинул в сторону топтавшихся у сцены Сыртлановых (впрочем, Юламан и сам, смекнув что-то, поспешно отступил назад), поднялся и встал возле президиума.

При виде его зал прокричал «ура» и захлопал в ладоши. Карам поднял правую руку. И приветствие залу, и просьба унять шум — все в одном этом жесте. Калканлы отступил назад. Рядом с триумфатором, которого с таким почетом встретили земляки, о Цезаре он забыл.

— Если бы сын не прибежал, не сказал, так бы и остался дома, не увидел бы здешней потехи,— сказал Карам.

— Только ли потеха? Срам! — сказал первое свое слово за весь вечер Шамилов. Уж если бы вечер повел он, ни шума этого, ни скандала не было.

Карам положил шапку на стол, а наброшенный на плечи полушубок скинул на пустой стул. Полушубок он скинул не без умысла: на Караме был новый сине-зеленый с блестками костюм. (Такой костюм автор только на одном драматурге видел.)

— Ну и костюм у тебя! — прищелкнул кто-то языком.

— Где подцепил?

— Как говорится: коли на богатом — «носи на здоровье!», коли на бедняке — «кто дал?». Нет, зятек, костюм — это пустяк. Тряпье! Говорят, героя для поэмы выбираете, правда это? — спросил Карам, глядя почему-то на Шамилова.

— Может, друг Карам, героем рассчитываешь стать? — улыбнулся Юламан.

— А кого я хуже? За что, думаешь, костюм этот дяде твоему подарили? За мотолет, а того больше — за отвагу наградили. Значит, что получается? Ладно, пока оста-

вим... Нет, не знаете вы еще Карама. Даже собственный наш автор, всю страну объездил, мир повидал — и тот до конца не понимает. Я ему это в глаза говорю, за спиной шептаться привычки не имею. Пусть на прямое слово не обижается... Не понимает — и шабаш! Ведь того, что я повидал,— не то что в одну — в пять книг не уместишь.

— Погоди-ка, Карам-агай, для поэмы-то, оказывается, девушка нужна,— сказал Алтынгужин.

— Вот всегда так, только до нас очередь дойдет... Девушка, говоришь? Сразу бы так сказал! Нечего и голову ломать. Танхылыу! Почему, скажете? Потому что не Сыртланова она и не Урманбаева. И к тому же передовая доярка,— положил конец спору Карам.

— Ай-хай,— сказал кто-то,— а удобно ли? До сих пор упрямится, на работу не выходит.

Калканлы вскочил с места.

— Так это же и хорошо! — воскликнул он.— Значит, сложный, противоречивый образ. И конфликтная ситуация налицо,— чем и разрешил все сомнения.

Шамилов понял, что коли совсем в стороне остаться не удалось, то нельзя, чтобы собрание обошлось без его веского слова.

— Сегодня не вышла, так завтра выйдет. На пути к ферме океан не разлился,— сказал он.— Подумаем о другом. По-моему, о Танхылыу должны написать оба поэта. Социалистическое, так сказать, соревнование. Чья поэма лучше, интереснее получится, тому от имени колхоза премию дать.

— Ну и голова у тебя, товарищ Шамилов! Афарин! — сказал Карам, чем порядком умаслил учителя.

— Я согласен,— сказал Аюхан.

— Ладно, коли так, и я согласен. А ту свою поэму я потом допишу. Там философия очень глубокая, сложная. То ли войдет в нее деревенская жизнь, тот ли нет, не знаю...— сказал Калканлы.— Я новую поэму напишу, называться будет «Танхылыу»!

Все опять захлопали, зашумели одобрительно. Только девушки-доярки сидели молча, поджав губы и скрестив руки на груди.

Народ начал расходиться, и молодежь, с нетерпением ждавшая, когда освободится клуб, принялась сдвигать стулья, спеша освободить место для танцев. Сегодня была очередь магнитофона Гаты.

Пожалуй, громче всех тому, что вопрос с поэмой решился именно так, как предложили Карам и Шамилов,

хлопал Гата. Из одного зернышка каши не сваришь, с одним героем — поэмы не напишешь. Если же поэма про Танхылыу, значит, нужно показать и тех, кто рядом с ней. А начнешь тех, кто рядом, перечислять, то в самом начале (в крайнем случае — в середине) надо внести в список и Гату. Он и Калканлы за то, что он не Калканлы, а Асфандияров, уже простил, и пережитые по этому поводу горькие разочарования позабыл.

Если из двух поэтов хотя бы один в будущей поэме рядом с Танхылыу обрисует и его, Гату, тогда девушка сама поймет, что к чему. Книжное слово — это не деревенские пересуды... Эх и потанцует сегодня Гата!

Чувства же автора были гораздо сложней. С одной стороны, он радовался тому, что теперь Куштиряк войдет не только в прозу, но и в поэзию. Но с другой — огорчался, что люди и события, которые он собирался изобразить сам, могут ускользнуть из рук, стать добычей молодых поэтов с быстрыми карандашами. Что поделаешь, автор тоже человек. От таких дурных чувств, как зависть, ревность, желание опередить ближнего, он еще освободился не полностью.

Потому если для Гаты поездки из правления на ферму, с фермы в Яктыкуль или Ерекле, куда возил он поэтов, которые целых три или даже четыре дня изучали жизнь, были праздником, то для автора это неожиданное объединение интересов оказалось сущим бедствием.

Молчаливый Аюхан Гате не особенно понравился, но с Калканлы он постарался сдружиться, всякие малые и большие его просьбы бегом исполнял.

Однажды, когда они вдвоем возвращались из Ерекле, поэт сказал:

— Эх, жажда одолела, Матрос! Самовар чаю один бы опустошил и не охнул.

Гата тут же подхватил:

— У матери самовар всегда горячий стоит.

— А удобно ли?

— Ых-хым!.. Потом, наверное, хрустяшек, которые моя мама печет, не пробовал.

— Хрустяшки? А что это — хрустяшки? — В голосе Калканлы вспыхнул такой интерес, что Гата вместо ответа повернул уазик к своим воротам.

Автор должен заметить, что понятие «изучать жизнь» вбирает в себя очень многое. Действительно, разве может поэт, не изучивший даже хрустяшки, написать о Куштиряке поэму? Нет, не может! Почему, спросите? Потому что

хрустяшка — самая вкусная, самая любимая куштирякская еда, по-научному говоря — типическая черта этого аула. Попутно заметим: ни в Яктыкуле, ни в Ерекле этой изысканной снеди нет. (Узнать бы, есть ли она в Канлы или Кляшево?)

Будучи уроженцем этого аула, рассказ о том, как готовится, как печется хрустяшка, когда подается на стол или в каких случаях не подается, автор берет на себя.

Уже по названию видно, что основным свойством хрустяшки является то, что она хрустит. Чтобы добиться этого качества, мать Гаты замешивает тесто только на сливках и яйцах, воды не добавляет ни капли. Когда тесто подойдет, посредством инструмента, именуемого скалкой, раскатывает его в тонкие лепешки с блюдце величиной и кладет в кипящее на сковородке топленое масло. И чем тоньше раскатано тесто, тем тоньше зубчики выреза по краям, тем ласковей, тем нежней его хруст потом, когда грызешь эту хрустяшку и запиваешь чаем. Но пекут ее не каждый день. Когда просто гости, хрустяшка простая, а уж на свадебное застолье подается хрустяшка медовая: живите, дескать, молодые, то есть жених с невестой, в согласье-радости, в любви-сладости!..

Калканлы и тех хрустяшек отведал, и этих. Ибо, наведавшись к старушке Трешке (его одежда, видно, не смутила бабушку, или поручители у него были серьезные) и вкусив от жизни горечи, поэт должен был узнать и сладость ее. В поэтической службе, как и в любой другой работе, говоря словами Шамилова, диалектика впереди ходит.

Вот так в сложной культурной жизни Куштиряка произошло выдающееся событие. Родной аул автора сделал еще один шаг, чтобы войти в литературу.

А Гата сделал еще шаг к своей мечте. Выпытав, как и о ком напишет Калканлы, он отвез обоих поэтов в Каратау, посадил в поезд и помахал на прощание фуражкой с медным кочаном.

8

А с той, о ком собрались писать, с ней-то самой наши поэты встретились или нет? Во всяком случае, может сказать недоуменный читатель, автор говорит об этом весьма невнятно. Выходит, с хрустяшкой познакомились, а с будущей героиней — нет?

Отвечаем на вопрос.

Во-первых, Аюхан. Он, как и автор, придерживается того сермяжного правила, что писать лучше не о том, что слышал, а о том, что видел. На следующий же день Аюхан пошел к Танхылыу и проговорил с ней до самого вечера. Потом, накануне отъезда, встретился со своей будущей героиней еще раз. Вероятно, эти встречи, беседы живыми красками заиграют в поэме Аюхана, спешить не будем, подождем. Обычно, вернувшись из путешествия, писатель о землях, которые видел, о дорогах, которыми прошел, пишет книгу. Не книгу, так нечто, называемое «путевыми заметками». А не заметки, так хотя бы обо всем виденном друзьям за столом расскажет. Но, может, Аюхан и впрямь свое обещание выполнит? И руководители, которые послали его в командировку, от него произведения ждут. Потому что без произведения показать связь литературы с жизнью и отчет составить трудно.

Во-вторых, Калканлы. Являясь поэтом философского склада, он обязан был быть выше мелочей жизни, не видеть их, а если от какой-нибудь и не удастся отвернуться вовремя, сделать вид, что не заметил ее. Ему не какой-то определенный случай или вот этот, скажем, человек интересен — важен общий взгляд на мир. Белое и черное, горечь и сладость, добро и зло, их борьба, их неразрывность и противоположность — вот на каких струнах играет лира (по-куштирякски — кубыз) Калканлы. Так что сомнительно, чтобы в будущей поэме для Танхылыу нашлось место. Но, будьте уверены, поэма, как он уже сказал в клубе, будет называться: «Танхылыу». Так что можно сделать вывод: если поэт свою будущую героиню и в глаза не видел, то это даже к лучшему. Тут не содержание, тут, как говорил покойный дед Бурангул [1], *идея* важна.

Новая забота свалилась на автора. Не один даже, а сразу два поэта навострили перо на Куштиряк, так что придется поторопиться, хоть как, но выпустить это историческое повествование в свет первым. Непростое это дело — на куштирякском беспородном обогнать пару стоялых городских Пегасов. Но есть у автора в запасе козырь: эти-то городские наших дорог еще не знают!

Но и вопросов, на которые автор должен ответить в своем произведении, еще много: как будет разрешена

---

[1] Бурангул — Мухамметша Бурангул, драматург и сэсэн — поэт-импровизатор, народный певец.

проблема тополя? что предпримет Гата? что задумали его противники? Все это ждет ответа.

И вот, чтобы прояснить темные места, шире раскрыть жизненную правду, автор выводит на сцену персонажей, которых до этого его перо только порою и лишь на короткий миг вырывало из темноты.

Выше мы уже говорили о двух родах, занимающих видное место в общественной жизни аула,— о Сыртлановых и Урманбаевых. Но детального внимания Урманбаевым было уделено больше, а Сыртлановым — меньше. Это — одно. Во-вторых, и сам председатель колхоза Кутлыбаев упоминался мельком, по ходу рассказа. Такая ограниченность в охвате действительности не может не сказаться на художественных достоинствах произведения. К тому же и Кутлыбаев, и Сыртлановы могут иметь на проблему Танхылыу собственный взгляд. Это лишь куштирякским *нейтралам* (ругательство Шамилова) все равно: смотрят на зрелище, потешаются, а кто победит, им все равно.

Самый славный представитель Сыртлановых — Юламан Наша-давит. Если даже сказать вот так, с нажимом: «О, Юламан!» — и то не будет слишком. Передовой тракторист, награжден знаком «Победитель социалистического соревнования». Уже двадцать пять лет, срезая углы, он прокладывает достижениям технического прогресса дорогу в Куштиряк. Юламан — человек нетерпеливый, неуемный, из одной своей жизни две, а получится, и все три жизни выкроить пытается. Самое ценное для него — время; кумир, которому он молится,— быстрота, техника, движение. Не потому ли прозвище у него — Быстрый? Если так, то, видно, прозвище Куштиряк дает не только из чувства противоречия, иной раз пользуется и самой обыкновенной логикой.

Так как же он смотрит на проблему Танхылыу?

Разумеется, степенный отец семейства, у которого есть взрослый сын на выданье... то есть которого пора женить, и дочка тоже почти взрослая, еще один сын подрастает, не то что на красавицу, которая в ауле — что глазок в перстне,— он вообще на посторонних женщин заглядываться не должен. Нет, все его думы и помыслы о Самате, за него душой болеет. Одной мечтой живет — взять Танхылыу снохой. Гату и других парней, которые возле Танхылыу крутятся, зоркий глаз Юламана уже давно приметил. Окажись среди них хоть один Сыртланов — Юламан помогал бы ему, для него старался. Но там лишь Урман-

баев, да Абдразаков, да Исхаков, да два Байгильдина из двух фамилий, которые друг другу не родня. Отдать Танхылыу кому-то из них — это ж прямо топором под сыртлановский престиж! Допустит Юламан это — авторитет его, который в последнее время и без того пошатнулся, совсем рухнет.

Всех выгод женитьбы Самата на Танхылыу и не перечислишь. Во-первых, девушка, которая не только на весь район, но вот-вот и на всю республику станет известна, принесет в дом жениха счастье и удачу,— это ясно как день. И не угадаешь, вполне возможно, что на ближайших выборах ее в депутаты выберут. Вот уж тогда попробуйте укусите Юламана! Во-вторых, если к зарплате Самата, на которую и овцу не купишь, да еще двести — двести пятьдесят невесткиных — ничего, мы не надорвемся. К тому же в приданое за девушкой корова с теленком пойдет и две-три головы мелкого скота. В-третьих, в конце аула, чтобы жених и невеста в любви и радости, в труде и согласии, как соловьи распевая, как горлинки воркуя, жили-поживали и добра наживали, стоит дом. Юламан уже давно в своем воображении расставил там румынский гарнитур «Мария». Можно бы и японский, под названием «Микадо», но тот, пожалуй, не влезет.

Так думал Юламан. И о житейской стороне заботился, и о политической. То есть как придет к ним Танхылыу снохой, то, во-первых, житье-бытье старшего наследника на крепкий фундамент сядет, во-вторых, тогда и отцу от разной напраслины отбиться будет легче. Он тогда всяким извергам, любителям критиковать живо рот заткнет. И с кличем «Наша давит», который теперь стал родовым, снова ринется вперед. Вот почему в тот вечер, когда решили, что поэма будет о Танхылыу, он дальше спорить не стал. У Юламана так: задумал — сделал. Потому и Танхылыу он уже считал членом своей семьи.

Как мы уже говорили, Юламан из тех, кого отец с матерью родили, а технический прогресс поставил на ноги. С тех пор как он первый раз сел за руль трактора, какие только машины не прошли через его руки! Старые «ХТЗ» и «ДТ», две-три марки «Беларуси», «Т-40», мощный новый «К-700» — ни один его не миновал. Другие трактористы от закрепленных за ними тракторов по семь-восемь лет избавиться не могут, а Юламан что ни год, хоть с криком и руганью, садится на новый. Запчасти ли, грамота ли, премия ли — ему первому. Не дали бы, да нельзя.

Юламан — маяк Куштиряка. И на весеннем севе, и на вспашке зяби нет тракториста, который обогнал бы его. Потому он и первый, что все делает первым. В этом весь секрет.

Правда, бригадир и главный агроном порою цепляются к нему: «За рекордом гонишься, мелко пашешь, огрехи оставляешь». Но колхозное начальство старается дело до скандала не доводить, потому что сводки наверх давно отправлены, и Юламана в ряду с другими районными маяками уже с похвалой упоминают в газете «Красный плуг», на различных собраниях. Так что шуметь уже поздно. Огрехи Юламана, углы, срезанные им, латает другой тракторист. Разбор тоже откладывается на «после сева». А там, как говорится, был грех, да покрыл снег.

Тем временем подходит районный актив по итогам весеннего сева. На активе и Куштиряку теплые слова говорятся, и Юламана ласковое крыло славы мимоходом касается.

Передовому механизатору над такими мелочами, как расход горючего, поломка и ремонт машины, голову ломать не надо. Об этом начальство само расстарается, само похлопочет. Главная обязанность Юламана — рекорд, он славу Куштиряка перед всем районом должен отстаивать.

Так и шли дела. Но этой осенью во время вспашки зяби механизаторы поставили вопрос ребром, и в правление пошла жалоба на Юламана.

Однажды на рассвете Юламан, как обычно поставив трактор на скорость идущего в атаку танка, несся по полю, вдруг заметил в утреннем тумане трех-четырех человек. Один из них требовательно поднял руку. Юламан нажал на тормоз и, остановив трактор, спрыгнул на землю.

— Добро пожаловать! — сказал он.— Наша давит! Новый рекорд ночной пахоты может случиться, товарищ агроном.

Однако обычных поздравлений не услышал. Среди остановивших его людей Юламан увидел своего сменщика, молодого паренька.

— Что, не спится? Еще два часа до твоей смены? — удивленно сказал он.— Наша давит!

Парень промолчал. В свете фары встал Исмагилов.

— Вот так, товарищ Сыртланов. Комиссия качества,— парторг показал на стоявших позади товарищей.— Люди тебе знакомые. Главный агроном, Фатхутдин Фа-

тхутдинович, от комсомольской организации — твой сменщик, от ветеранов колхоза — Зариф-агай.

— Дня вам не хватает, ночью ходите,— проворчал Юламан. И прошептал на ухо сменщику: — Салага! Забыл, благодаря кому сытым ходишь!

Комиссия тут же принялась за работу, а паренек влез в кабину вместо Юламана. Исмагилов, махнув рукой, велел ему пахать дальше.

— Мне что, отдых дается? — Юламан с равнодушным видом достал папиросы, закурил и пустил дым в сторону главного агронома.

— Хочешь, пойдем с нами, посмотришь на свою работу. А не хочешь, домой иди,— сказал агроном, стараясь быть спокойным. Но не выдержал, заговорил быстро, дрожащим голосом: — Стыда, оказывается, у тебя нет, Юламан-агай! Разве может человек, коли в нем душа есть, так над землей измываться? Что же здесь, кроме сорняков, вырастет?

— Да, ласточка моя, сто раз уже предупреждали — никак человек не поймет. Колхоз тебя до небес вознес, а ты ему с неба в лицо плюешь,— не выдержал, тоже высказал свое мнение Фатхутдин Фатхутдинович.

Юламан было растерялся, но тут же перешел в наступление:

— Вы тут на меня напраслину не возводите! Как бы потом каяться не пришлось, прощения просить! Сыртланов вам не тот вон мокроносый, а медалью награжденный механизатор. Наша давит! Райком тоже по головке не погладит!

Но, сколько он ни шумел, ни кипятился, выводы комиссии правление утвердило единогласно. Вспаханные на недостаточную глубину десять гектаров и четыре гектара с огрехами перепахали за счет Юламана. И вдобавок ко всему его на год сослали на подсобные работы — перевели на трактор «Беларусь».

Он поехал с жалобой в райком. Камалов выслушал его и со словами: «Работай честно — слава сама тебя снова найдет. Не ходи и людей не смеши, товарищ Сыртланов»,— выпроводил его из кабинета.

«Нынешних так просто не проведешь, тут с головой действовать надо, подумав»,— решил Юламан. Видать, придется выправлять положение по-иному. И он с особенным рвением принялся обхаживать Фаткуллу Кудрявого. Ничего, зима долгая, что-нибудь да придумает Юламан.

Он — Наша давит, он — не пропащий человек, он еще себя покажет. Наша давит!

...Вот он и давит на газ своего «Москвича», жмет по шоссе из Каратау в Куштиряк. Он давит, а жена Бибисара молчит, поглядывает искоса, настроение мужа пытается угадать.

Съездили, на взгляд Бибисары, удачно. Директор магазина об опале Юламана, кажется, еще не слышал.

— Проходи, проходи, для передовых механизаторов импортная мебель поступила, плати деньги! — и ту «Марию» без звука выписал. Обещал завтра на своей же машине отправить в Куштиряк.

Но не угадаешь этого Юламана. То хмурится, кряхтит сердито, то чему-то улыбается. Лучше выждать, пусть сам первым заговорит. Вот уж тогда и Бибисара найдет что сказать.

«Москвич» Юламана, как и упомянутый мотоцикл, машина с хитростью. Хозяин усовершенствовал его, то ли радиатор поменял, то ли карбюратор, или, может, магнето, автор точно не знает, и там, где другие на семидесяти едут, он сто двадцать выжимает, а дорога позволит — и все сто пятьдесят. Машину не жалко, эта поломается, так передовой механизатор и новую купит.

Как говорится, по кадушке и крышка. Жена Бибисара, хоть телом солидна, движения, как и положено толстым людям, неторопливы, под стать мужу, спокойной езды не любит. Самая что ни на есть современная жена. Даже сквозь сон, если заснет ненароком, чувствует, когда «Москвич» сбавляет скорость, и тычет Юламана в правый бок.

Но в этот раз Бибисара быстрой ездой мужа была недовольна. Теперь бы осторожнее нужно ездить, беречь «Москвич», теперь, когда сняли из передовых, новые «Жигули», которых ждал Юламан, не скоро достанутся.

К тому же обдумать бы надо кое-что, обсудить, а на такой скорости даже Бибисара думать не решается. Конечно, если у мужа готов какой-то план, расторопная Бибисара все его доводы двумя-тремя словами разобьет и свой план выставит, но семейный совет есть семейный совет!

Словно услышав мысли жены, Юламан съехал с дороги, остановился на краю заснеженного поля. Выйдя из машины, пнул колесо, заглянул в мотор, что-то повернул, Бибисару, которая задом выбиралась из машины, шлепнул по положенному месту.

— Уйди, негодник, машин на дороге полно...— Бибисара, как бы, дескать, люди не видели, посмотрела по сторонам.

— Наша давит! — сказал Юламан, закинув голову, как добрая лошадь в галопе.— Со свадьбой надо бы поторопиться, девушка-то раскапризничалась, с начальством воюет. Значит, чувства вразброд. Лису ловят, когда в шальной горячке ходят.

— Ну и?..

— Вернемся, возьму Самата и пойду к Фаткулле.

— Нет, на этот раз я сама пойду. Потоптал ты дорогу к воротам Фаткуллы, и все впустую. Надо с самой Танхылыу поговорить. Не животина же она, чтоб ходить и приторговываться к ней! У сватовства свои обычаи, свой порядок. Ты лучше насчет сына побеспокойся. Не то, говорят, вчера дочку твоей Хатиры, коротышку Галиму, провожал. Дескать, назло Танхылыу, что не смотрит на него.

— Ноги ему переломаю, псу блудливому! — Сделав вид, что слова «твоей Хатиры» не слышал, Юламан схватил жену за богатый воротник.

— Уйди, упырь! Я-то чем виновата? — смахнула Бибисара руку мужа, но, поняв, что в таком важном разговоре мелкие обиды неуместны, начала мягко наставлять его: — Говори спокойно, ладно? Не горячись. Самат не мальчик, а человек при должности. Хоть и в голове блажь, да место уважь.

— Наша давит! — сказал Юламан, садясь в машину.— Надо Фатки с дочкой в гости позвать. Барана зарежу.

— Не придут ведь. Пришли бы — так я бы уж знала, как угостить. И с бараном подожди, коли свадебные хлопоты начнутся, ему тоже место найдется...

Но, как слышал автор, Фаткулла, сославшись на разболевшуюся старую рану, от приглашения Юламана отказался. Бибисара в тот же вечер встретилась и поговорила с Танхылыу. И вот что удивительно: девчонка-то, оказывается, на медовые слова тетушки Бибисары, изнывающей от желания быть ей свекровью, так сказала: «Эх, енге, стать бы твоей килен [1], никаких бы печалей не осталось! Только ведь Самат другую любит. Уж, видно, насильно мил не будешь...» — чем и оставила тетушку в пустом соблазне.

[1] Килен — сноха, обращение к младшей по возрасту женщине.

Отец с матерью, узнав, что все дело в Самате, вдвоем навалились на него. «Блудливый пес» долго упирался и только после слез Бибисары дрогнул и согласился поцарапаться в окошко души Танхылыу.

Читатель, уже разглядевший нрав Танхылыу, конечно, спешит узнать, где они встретились, о чем говорили и какой на его «царапанье» она дала ответ. Но у автора свой порядок, свой расчет. Вот он опять ушел от основной линии в сторону, свел Танхылыу еще с одним женихом, чем обрек Гату на новые страдания. Значит, и про Самата, которого в четыре руки вытолкнули на майдан, он должен рассказать подробнее. Может, и не стал бы особенно задерживаться, лишь коснулся бы слегка, как едва касается и отскакивает пущенный по воде плоский камень, но боится друга-критика. «А где тут психологическая мотивировка? Где история развития характера?» — вот какие плоские каменные вопросы пустит он, да не по воде, а прямо в голову автора.

Впрочем, что касается истории, автор и сам, как видно из того, что читатель уже прочитал, только и норовит, забыв о сегодняшнем, нырнуть в прошлое. Причина все та же: любовь к родному аулу. На самом деле, эти благородные черты, этот своеобразный характер, не с неба же они свалились, не за одну ночь расцвели. Оттачиваясь, обогащаясь, вбирая в себя черты времени, из поколения в поколение, от отца к сыну переходят они. И если не выявить их истоки, то как узнаешь, почему Фаткулла Кудрявый так поступает, а Юламан Наша-давит эдак? И почему, скажем, остальные не похожи на этих двух?

Нет, без истории нам и шагу ступить нельзя.

Вы уже, наверное, заметили, что Юламан печатное слово уважает. Конечно, это не значит, что он день и ночь не отрывает от книги глаз. Любимое его чтение — газета «Красный плуг», потому что там иной раз можно прочитать о трудовых достижениях Юламана Сыртланова.

Образование у него семь классов. Вполне достаточно, полагает Юламан. Разве дело в грамоте? Вон отец его, проучился после революции два года по новому алфавиту, и на том — вассалям! Когда же начались колхозы, он еще и усов не брил, а его сразу бригадиром выбрали. Такую подводит Юламан базу под свою точку зрения на образование. Еще и древнюю мудрость вспомнит: «Ты мулла, и я мулла, а кто же лошадям сено заложит?»

Отец его и впрямь работал на совесть, о своем личном хозяйстве думал поменьше, о колхозном — побольше.

Уважаемый человек был в Куштиряке, на виду и в почете. И был он среди тех ратников, которые первыми ушли на войну и полегли в первых же схватках.

Похлебал тогда маленький Юламан пустой военной похлебки, узнал, какие они, сиротские невзгоды. Чуть в дело стал годиться, все заботы по семье, по хозяйству принял на свои плечи, потому что мать все время болела, а братишка и две сестренки были совсем малы. Понятно, и после войны было не до учебы. С трудом закончив семь классов, прошел курсы трактористов, и еще в косяк парней не вышел, стригунком бегал, а уже стал трактористом. Юламан, как и отец-покойник, был старательным, его хвалили. Но и намучился он: трактор самому маленькому самый старый подсунули, запчастей нет, все время на ремонте, а на ремонте и зарплата — копейки, но и копейка — в семью. Одежда худая — холодно, а впроголодь — и того холодней. Вспомнит Юламан те годы, и от одного воспоминания озноб берет. Вот почему, когда женился и появились дети, он все силы положил на то, чтобы никакая непогода не коснулась семьи. Выучить старшего сына, дать ему образование, увидеть среди руководителей колхоза — стало его мечтой. Каждый ведь так: вместе со всем нажитым оставляет детям в наследство и ненажитое — несбывшиеся свои мечты.

Вот и спросишь поневоле: откуда же у Юламана упомянутые выше недостатки? Дед его, отец век свой пот лили, землю пахали, хлеб выращивали, по чести-совести жили. Да и сам он в молодости был механизатором работящим и добросовестным. Если по происхождению, по анкете судить — хоть сейчас же бери и направь куда-нибудь послом.

Сегодняшние повадки Юламана берут начало из тех лет, когда в сельском хозяйстве не центнер или тонна, а гектар шел впереди. Количество было, а качества — нет. К тому же, когда такие трактористы, как Карам Журавль, разочаровавшись в крестьянском труде, подались в сторону, Юламан никуда не уехал. Может, и уехал бы, да вся семья на нем. Стиснув зубы, терпел, почернел весь, щеки себе изнутри изгрыз, но работы не бросил. Вот тогда и начали его выдвигать вперед. Кто норму вспашки выполнил? Юламан Сыртланов. На чьем прицепе комбайн «Коммунар» хлеб со стольких-то гектаров вместо трех дней за два дня убрал? Юламана Сыртланова. Как уже говорилось, к центнеру внимания нет, лишь бы поле скорее опорожнить.

Но настал день, в сельском хозяйстве начался резкий поворот. Вперед начало выходить качество. Колхозы год от года крепнут, у хлебороба жизнь улучшается, механизаторы тоже поднимаются в цене. Юламан на виду, прославленный ветеран колхозного труда. Благодарности на него так и сыплются. Глядишь, и уступку то в одном сделают, то в другом. Вот тогда-то он, как разгулявшийся необъезженный жеребец, и проржал впервые: «Наша давит!»

Человек, с детства увидевший много нужды, наголодавшийся и нахолодавшийся, начал изо всех сил сгребать к себе добро, сколачивать хозяйство. Сначала разобрал старую, простоявшую добрых полвека избенку, поставил новый дом, надворные постройки подправил, мотоцикл купил. Налаживалась жизнь, прибывало и желаний, увеличивались расходы. Оттого и жадность проснулась, потянулась, расправила грудь. А проснулась — ей только подавай! Так просто не поспеешь, теперь и в работе, и в быту новые скорости нужны, быстрота и проворство! Объезды не признавать, рвать напрямую, срезать углы! И там успеть, и здесь поспеть.

Кажется, мы уже говорили, что Куштиряк придерживается того хорошего правила, что «муж — голова, жена — шея». В семейной конституции Юламана эта заповедь записана первой статьей. Впрочем, шее тоже частенько самой думать приходится. Жернова ежедневного быта вертит она, жена. Покупать, доставать и — «чем мы, дескать, хуже других» — такую вещь выискать, какой ни у кого нет,— все на Бибисаре.

Если вы увидите, как она, стремительно неся свой полный стан и, как пишет Зайнаб-апай, *ягодицами вспархивая*, спешит в сторону магазина, так знайте, туда что-нибудь завезли. Бибисара не то что другие, времени на вопросы и восклицания: «А вон то почем?» или «Ай-хай, больно уж дорого!» — не теряет, с хрустом отсчитывает деньги, и все. Если же на прибывший товар набегает много покупателей, посылает мужа: «Ступай, ты передовой механизатор, имеешь право без очереди взять».

Только не подумайте, что, кроме магазина, у нее других забот нет. Наоборот. На ее плечах тысячи всяких дел, хлопот, забот, долгов, обязанностей. Во-первых, она каждый год выращивает для колхоза гектар сахарной свеклы, во-вторых, все работы по дому выполняет одна. А им счета нет. Кроме всего, что делает каждая хозяйка, Бибисара еще пять-шесть ульев держит, каждый год,

с расчетом на базар, выращивает телку, откармливает двух-трех поросят. Подросшую уже дочку к этим хлопотам и близко не подпускает, от тяжелой работы, от грязи бережет.

Наряжается Бибисара, только когда с мужем на «Москвиче» в гости или по делу куда едет, в повседневных же хлопотах как оденется в утренние сумерки в старую одежду, в резиновые сапоги, так и до позднего вечера веретеном вертится, без устали по хозяйству носится. В сарайчике, булькая, пойло скоту варится, в хлеву свиньи визжат, гуси, куры, индюки раскричались, корма просят. С ними не успеешь развязаться, наступает полдень. Сначала обедать приходит Юламан, следом Самат. Теперь уже Бибисара превращается в кухарку.

И вот что удивительно: при такой-то беспокойной, хлопотливой жизни — никак не скажешь, что ей уже за сорок. Цвет свой держит, и все дела, как молодая сношка, не пешком, а на рысце делает. Удивляются некоторые: «Что ты так бьешься, что так хлопочешь? Тысячу лет собираешься жить?» Она отвечает: «Э, брось, сидеть без дела не могу, душа не принимает. Известно, каково матери, которая детей растит. Словно птица перелетная — и гнездо свей, и птенцов накорми». За «птенцов» она считает не только двенадцатилетнего сына и дочку, которой семнадцатый пошел, но и двадцатидвухлетнего Самата. В заботе о них день-деньской бьется, то, что уже нажито, удвоить, утроить, упятерить хочет, ни зернышка, ни лучинки впустую не потратит.

К счастью ли, к несчастью ли, над тем, что жизни человеческой есть предел, Бибисара не задумывалась. На это у нее и времени нет. От темна и до темна в работе, ноги по земле бегут, руки делают, глаза высматривают, за что еще приняться. Потому она, хоть с виду и сдобная, и здоровьем пышет, иной раз застонет тихонько от боли в груди и приляжет среди белого дня. О том, что у нее сердце болит, она не то что мужу и детям сказать — самой себе признаваться не хочет. Понимает Бибисара: если она сляжет, мир остановится, семья без присмотра останется, счастье, достаток, по крупицам добытые, рассыплются. Подумает об этом хозяйка, встает упрямо и снова в сорок своих хлопот бросается. После этого рвение еще больше возрастает, любовь и ласка к детям еще шире — половодьем — разливаются.

И вот под крылом такой матери в ласке и в холе вырос Самат. Отец в воспитание сына почти не вмешивался.

Не было у него на это ни времени, ни умения. Его дело — техника, рекорд. А добытое в надежных руках, под хозяйским глазом, дети сыты, обуты, одеты. Потому семейные вожжи Юламан со спокойной душой вручил Бибисаре.

Читателю уже известно, что Самат работает в сельсовете секретарем. Обязанности свои, хоть и без особой охоты, исполняет он добросовестно. Скромный, услужливый, мягкий. И ехидным, сказанным вгорячах словам Гаты верить нельзя. Чего только человек от ревности не наговорит! Самат крепкий, здоровый парень, пнет — железо разорвет. И лицо не желтое, как шафран. В общем, вполне может перепоясаться потуже, выйти на ристалище и вступить в схватку за Танхылыу. Но вот только...

Написал автор эти три слова «но вот только» и глубоко вздохнул. «Эх, доброта, доброта,— сказал он с горечью,— даже ты можешь стать тяжким бременем, гнущим человека к земле».— «Тоже выдумал! — скажет на это читатель.— Когда это доброта бременем была? Добрей доброты и нет ничего!»

Автор же в ответ еще раз вздохнет и покажет на Самата. Вот он, перед нами. Не будь его, автор над тем, что иной раз доброта становится тяжелой ношей, и не задумался бы. Теперь же остается только удивляться, как под бременем материнской доброты Самат и впрямь не пожелтел, как шафран.

Будучи у матери любимым сыном, он вырос, как уже было сказано, в ласке. Только и слышал на каждом шагу: «Деточка, ласточка моя, свет моих очей, на, скушай вот это!» или «Самат, жеребеночек мой, посиди дома, не играй с непослушными мальчиками!» Если же сын, на товарищей глядя, на дерево вскарабкается или на крышу сарая залезет, Бибисара, словно курица, у которой ветер понес цыпленка, бежит с кудахтаньем: «Уф, деточка, птенчик мой, упадешь, покалечишься!» Захочет Самат весной, в пору, когда солнце уже печет нещадно и земля просыхает на глазах, вместе с другими мальчишками босиком побегать, Бибисара уже на карауле: «Ой, сынок, простудишься, и так на тебе лица нет». Не слушая охов и вздохов сына, заталкивает его в сапоги, шею обматывает шарфом.

Но, как ни оберегала мать сына, как ни лелеяла, пылинке сесть не давала, однажды все же не углядела. Было это лет пятнадцать назад.

...Кормившая грудью ребенка Бибисара не заметила,

как шестилетний Самат тихо вышел из дому. Она спокойна, думает, что сын под столом играет, как вдруг с улицы донеслись чьи-то крики, плач детворы. Бибисара под стол — пусто! Белый свет почернел, выбежала за ворота, смотрит, пять-шесть мальчишек, вопя от ужаса, несутся по улице, за ними гонится колхозный бык-бугай, отец нынешнего Капрала.

Самата Бибисара увидела сразу. Да и как не увидеть — на сыне только что выстиранная красная рубашка, на всю улицу горит. Бык на других детей не смотрит, Самата настигает. Еще два-три прыжка — и подцепит рубашку на рога. Подцепит, крутнет и ударит оземь!

Закричала что-то Бибисара, бросилась быку наперерез. Но не успела. Бык подхватил Самата на рога, мотнул головой и бросил через плетень.

Тут, когда уже все случилось, набежали мужики. Один изверга ремнем полосует, другой дубьем охаживает, с криками и матом теснят быка к ферме. Бибисара перекинулась через плетень. Подняла сына, лежавшего среди лебеды, прижала к сердцу, ни слова сказать, ни заплакать даже не может.

Покалечиться Самат нигде не покалечился, но от испуга молчал три дня.

После этой беды чуткости и бдительности у Бибисары удвоилось и утроилось. «Сыночек, головка не болит?», «Деточка, повернись на другой бок, во сне заговариваешь», «Куда ты опять, посиди дома...» Крутится она вокруг него, уберечь, спасти, заслонить хочет — от сквознячка, от мелкой градины, от жизни самой.

Самат подрастал, уже вытягиваться начал, но чтобы, как его сверстники, в колхозе посильную работу делал или по домашним хлопотам бегал — такого и представить себе нельзя. Кашель, чих, насморк или вдруг надулся как мышь на крупу — мать в ужасе. Юламан иной раз покачает головой: «Ай-хай, женушка, изнежила ты парня. Уже вон какой вымахал, а ни к какому делу не способен». Бибисара ему: «У него здоровье слабое». А начнет муж спорить, отрежет: «Сами росли, мучились, пусть хоть дети в радости поживут».

Редко выпадало Самату досыта набегаться, вдоволь наиграться, на зеленой траве наваляться и накувыркаться. Если же и выпадало, так не в отцовском доме, а когда он вместе с бабушкой гостил у ее сестры в Яктыкуле. Сколько раз был этот праздник? Два раза? Три? Помнит Самат: яркий солнечный день, пышные валки сена, холо-

дящий зубы вкус крепкого айрана[1], запах мяты. Еще в памяти зов кукушки в лесу, низки смородины, и того больше — как идет он босиком, а стерня колет и щекочет ступни.

Нельзя сказать, что Самат не сопротивлялся педагогическим принципам матери, давал отпор. Или подожмет губы и молчит, или, закусив воротник рубашки или бешмета, жует со злостью, нитку за ниткой размачивает и выдергивает зубами.

Понемногу привычка жевать воротник стала постоянной. Если же мать или учитель Шамилов вытянут осторожно воротник из зубов, он тут же тайком отправит в рот какую-нибудь тряпочку или лоскут бумаги и жует дальше. Бибисара ему и подсолнух, и жевательную серу давала, и словами выговаривала, но от дурной привычки не отвадила. Самат пожует серу, пока мать смотрит, а как отвернется она, тут же выплюнет. На семечки же и смотреть не хотел, щелкать их лень. Однако рот пустовать не должен. Самат натянет ниток из тряпки или из тетрадного листа уголок оторвет — и в рот. Со жвачкой и урок легче усваивается. Тогда Бибисара махнула рукой: «От бумаги какой вред? Пусть жует, коли душа просит». Не знала мать, что сама своими руками толкала сына к пропасти.

В этом месте своего повествования автор, будучи не в силах одолеть соблазна, решил рассказать о некоторых случаях из собственного детства. Быть может, они покажут, какими возможностями располагает деревенская педагогика.

На таких мерах воспитания, как ивовый прут, ремень или кручение уха, задерживаться не будем — при одном только воспоминании о них у автора мурашки бегут по телу. Расскажем подробней о том, как его избавили от одной вредной привычки.

Дело в том, что автор в детстве был левшой. Не знаем, где как, а в Куштиряке это грех, и весьма постыдный. Почему это, когда все люди (во всяком случае, многие) больше пользуются правой рукой, этот мальчик предпочитает левую?

Нельзя!

Сначала просили: «Сынок, возьми ложку в хорошую руку», потом: «Возьми карандаш в правую!» Пользы никакой. И тогда к мальчику (будущему автору) примени-

[1] Айран — разбавленное водой кислое молоко.

ли меру покруче: левую руку, чтоб она наперед правой не лезла, привязали к худенькому телу. Походил маленький автор недельку, дней десять одноруким, и — что вы думаете? — правая уже в коренники вышла, а левая пристяжной пошла.

Поначалу автор (до того, как стать автором) только радовался: было у него прозвище — Навыворот,— слава богу, избавился! Однако потом очень жалел. И вот почему. По словам друга-критика, самые выдающиеся писатели вышли из левшей. «Кто?» — вырвалось у автора. «Изволь: А. Ибрагим, И. Фарит, К. Марат...» — пошел загибать пальцы друг-критик. Сам тоже правую руку в кармане держит, а пальцы загибает на левой, дает понять, что он тоже левша. (Узнать бы, однофамилец автора или С. Рашит — они какой рукой пишут?)

Но для Самата средства не нашли. А в результате? Привычка, которую Бибисара посчитала безвредной, чуть не испортила ему, как говорится, всей биографии.

Дело было так. Закончив в Яктыкуле восемь классов, Самат решил поступать в каратауский сельскохозяйственный техникум. Отец поддержал его и, несмотря на причитания жены: «Бессердечный ты, каменное у тебя сердце»,— решил: пусть сын учится на агронома. Расчет у Юламана верный: если агроном свой, то и тех, которые всякой проверкой изводят тракториста, ровно на одного человека станет меньше. Возможно, сын на этом не успокоится, дальше пойдет, выше поднимется. И Юламан, который всегда соглашался с женой, в этот раз, когда вопрос встал о судьбе Самата, настоял на своем. Бибисара поплакала и согласилась.

Самат и два его товарища отправились в Каратау пешком. Автобус в те годы не ходил, и «Москвича» Юламан тогда еще не купил. Мотоцикл-то уже был, но Бибисара сына к нему и близко не подпускала, а у отца отвезти его времени нет: самая страда. От Куштиряка до Каратау, как уже было сказано, двенадцать километров. Мальчики вышли в путь спозаранок. Придут, сдадут документы, глядишь, к полудню уже и дома. Время дорого, товарищи Самата — народ занятой, их работа ждет. У Самата причины так дорожить временем не было, но с попутчиками и дорога короче, потому его тоже разбудили пораньше.

Идет себе Самат, чуть отстав от своих товарищей, шагает, песенку веселую под нос напевает. И не знает, бедолага, что еще один попутчик объявился у него —

Зульпикей, бес-баламут. День ясный, тихий. Утренний воздух — дыши не надышишься. Вот уже скоро Самат освободится от надоедливых маминых забот и выйдет в самостоятельную жизнь. Если его в техникум примут, он будет жить в общежитии. А там, известно, пришел с уроков, иди куда хочешь, говори с кем нравится, кино смотри — досыта.

Шагает Самат, весь в мечтах о будущих вольных днях, и нет-нет да и сунет руку в карман, оторвет какой-то бумаги кусочек. Кусочку же путь известный — прямиком в рот. Пожует, выплюнет, и опять рука сама в карман лезет. Голова далеко, а рукой Зульпикей водит.

Читатель, наверное, уже понял, чем дело кончилось? Вот именно, пока дошли до Каратау, метрика, свидетельство об окончании восьмилетки, справки, взятые в колхозе и сельсовете, были съедены.

Пусть теперь и скажет дотошный читатель, какой ношей, каким бременем легла безмерная доброта Бибисары на плечи сына. Если бы она на каждый его чих не молилась, если бы нашла средство вроде того, которое когда-то применили к левой руке автора, если бы отвадила его от привычки жевать бумагу — свалилась бы на них эта беда? Ладно еще, пожалели материнские слезы, выдали новое свидетельство.

Это сказать просто — выдали. Самое меньшее по пять раз ходила Бибисара в яктыкульскую школу и в каратауское роно. И каждый раз надо объяснять все заново. Расскажешь — не верят, а поверят — смеются. Им — смех, матери — слезы. Понятно, Самат в техникум опоздал. Дело отложили на год, а потом еще на один. Тем временем мамин баловень стал парнем, и пришла ему пора идти в армию.

Полное описание того, как Бибисара провожала сына в армию, само по себе могло бы занять целую книгу, потолще даже, чем последний роман Нугушева. Но автор решил свое путешествие в историю на этом прервать. К тому же плач матери, надрывающейся по своему ребенку, ее обмороки и причитания, как говорит друг-критик: *не являются типичными чертами нашей эпохи.* Признаться, автор и сам слез не выносит, сразу душа раскисает.

Упомянем только, что зоркое армейское начальство заметило страсть Самата к бумаге и определило его в ротные писари. Но, к добру ли, нет ли, очень скоро вернули Самата под начало старшины. Причина уже знако-

мая: у всех прошедших через его руки военных документов, словно мышка изгрызла, были оторваны уголки.

Но прошел срок, вернулся Самат в родной аул. Служба в армии пошла ему на пользу — вся грудь в значках и сержант от привычки жевать бумагу отучил. Ростом вытянулся, плечи немногим ýже отцовских. В самый бы раз джигиту засучить рукава и взяться за достойную, требующую молодых сил работу хлебороба. Он и сам так думал. Однако мать думала по-другому. Когда старик, двадцать пять лет просидевший секретарем в сельсовете, вышел на пенсию, Бибисара собралась в лепешку расшибиться, но посадить на его место своего ненаглядного сына. Но расшибаться не пришлось. На этот стул конкурса не было. Молодежь в ауле предпочитает трактор, комбайн или машину — работа веселая, зарплата хорошая. И все же Самата взяли с испытательным сроком. Через две недели, убедившись, что углы у всех бумаг в целости-сохранности, утвердили в должности.

Сколько ни сопротивлялся Самат, но святой материнской доброты не смог одолеть и на этот раз, пошел в секретари. Отец, видя, как мускулы сына, которые поначалу, когда вернулся из армии, распирали рубашку, теперь дрябнут и опадают, лишь безнадежно качал головой: «Эх, если уж агрономом стать не смог, так хоть на трактор бы его посадить! На самосвал! Мужская ли работа — бумагами шуршать?»

Бибисара же была довольна: сын на солидной службе. С одной стороны — не надрывается, с ног до головы в поту, в грязи, в бензине и масле не ходит, и переживать, что побьется и покалечится, не нужно. С другой стороны — один почет чего стоит! В семи аулах механизаторов, если посчитать, сто или больше, а секретарь сельсовета — один.

Но Самат прекрасно понимал, что с такими парнями, как Гата и Алтынгужин — один мир повидал, с профессией вернулся, другой институт закончил, главный зоотехник колхоза,— ему состязаться будет трудно. Но если из-за Танхылыу, он и не собирается. Коли на то пошло, неизвестно еще, есть ли в Куштиряке девушка, что бы могла сравниться с его Галимой! Только другие парни не видят, какая она красивая. И хорошо, что не видят, Самату же спокойней. Он-то все видит: и красоту ее, и ум ее, и скромность.

А главное, Галима тоже что-то в Самате разглядела. И даже... уж не любит ли? Эх, если бы так! Зря отец с

матерью взахлеб твердят: Танхылыу да Танхылыу, красивая да работящая. Галима тоже на своей работе, в медпункте, плохо не работает, ее все время хвалят. Спокойная, приветливая, одна ее улыбка, мягкая, чуть сдержанная, чего стоит. А что ростом маловата, так это разве недостаток? На то и золото, чтоб самородочком. Нет, никто больше не нужен Самату. Пошумят-пошумят отец с матерью и согласятся, счастью сына поперек не станут. Они все по старинке думают, такие вещи, как любовь, во внимание не берут. Вот и сегодня мать: «Ступай, скажи. На другую нашего согласия нет!» — будто за какой хозяйственной надобностью, отправила его к Танхылыу. А он договорился сегодня вечером встретиться с Галимой. Если же вопреки всем уговорам после клуба увяжется за Танхылыу, как ему потом перед Галимой оправдаться? Она и без того, словно чуткая косуля, на каждое его слово настораживается. «Если такую девушку обидишь, не джигит ты больше!» — сказал себе Самат и для убедительности сжал в кармане кулак. Пригрозить-то он себе пригрозил, но и дома придется ответ держать. Взял бы и отрезал: «Не видел Танхылыу и видеть не хочу!» — но матери жаль. В последние год-полтора она хоть виду и не подает, но все чаще хватается за сердце...

Танцы в клубе в этот вечер были «под Бахтина». Из-за музыки ли, из-за того ли, что девушки-доярки не пришли, а может, еще по какой причине веселились вяло, молодежь, как обычно, не бесновалась. Самат тоже в круг не пошел, сел в сторонке, взглядом поискал Галиму. Ее не было. Он направился к парням, но кто-то дернул за рукав. Оказывается, Гата.

— Ых-хым! Чего не пляшешь?.. Слово к тебе есть. Выйдем?

Самату было все равно, можно и выйти. Чем сидеть и кукситься, лучше воздухом подышать. На улице хоть людям твоей унылой физиономии не видно.

Еще с крыльца не сошли, Гата спросил:

— Ты костюм какой размер носишь?

Самат удивился:

— А тебе зачем? Костюм, что ли, продаешь?

— Надо, вот и спрашиваю.

— Хм. Пятидесятый, рост третий.

— И я так думал. Пятидесятый. На размер меньше...— пробормотал Гата, потом сжал Самата за локоть: — Ых-хым! Это... А чего же ты тогда к Танхылыу пристаешь?

Еще больше удивился Самат. Странные повадки Гаты известны, но чтобы настолько...

— А при чем костюм, при чем Танхылыу?

— Значит, при чем!.. Давай-ка, Самат, выясним отношения. По-дружески говорю: ты мне поперек дороги не становись!

Видали? Вот как поставил вопрос Гата. Человек, который в другое время и двух слов связать не мог, больше на междометиях выезжал,— вон как заговорил! О любовь! Сила твоя безмерна! Трусливого храбрым делаешь, слабого — сильным, заику — златоустом. Все ты!

А Самат, наоборот, похоже, все слова растерял.

— На дорогу?.. Какую?..— промямлил он.

— Ты не придуривайся! — И Гата упер культяпный палец ему в грудь: — Ты, ты... ходишь, на Танхылыу рассчитываешь...

И тут, словно соловьиный щебет, пробившийся сквозь шум леса, раздался мягкий голос:

— Самат-агай?

— Галима! — вскрикнул Самат и, оттолкнув Гату Матроса, шагнул к девушке, поднял ее и покружил.

И двое влюбленных, говоря какие-то бессвязные слова, тихо посмеиваясь, пошли темным переулком. Гата же посмотрел им вслед и, вновь утратив незатянувшееся свое красноречие, сказал:

— Тьфу, абитуриент! — и почесал затылок.

Автору тоже ничего не остается, как повторить жест Гаты, ибо стоит он, как витязь возле камня, и не знает, как быть. Следом за Саматом и Галимой пойти или рядом с Гатой остаться? Пошел бы следом за влюбленными — глава-то как-никак о Сыртлановых,— но стесняется, боится им помешать. Вернулся бы к своему так долго ходившему без присмотра герою, да жаль нарушать плавное течение повествования. Беда, беда...

Подумал, подумал автор и решил сразу за двумя зайцами погнаться. Хотя, конечно, друг-критик случая не упустит, опять начнет пилить.

Гата дочесал затылок и расхохотался. Взлетел на высокое крыльцо, из десяти ступенек и двух не коснувшись, распахнул дверь и ворвался в клуб.

— Ставь быструю пластинку! — сказал он мальчишке возле аппарата.

И только мальчик поставил пластинку, как подремывавшие возле стены парни вскинули головы и начали дер-

гаться. Через каких-нибудь десять оборотов пластинки клуб уже весь дрожал.

Оттого грохот поднялся так быстро, что, во-первых, ко всем перешел задор Гаты, во-вторых, новая пластинка, которую Алтынгужин привез на днях из Уфы, оказалась не похожей на прежние пластинки композитора Бахтина. Мелодия вроде и его, но по шуму больше на магнитофон Гаты похожа. Значит, и Бахтин на месте не сидит, за старое не цепляется, а подчиняется запросам времени.

В эту минуту Гата от радости готов был обнять всю вселенную. Если не вселенную, так всю собравшуюся в клубе молодежь. Вот он, закинув назад голову, размахивая руками, то с одной девушкой кружится, то с другой. Даже то, что музыка не из его магнитофона, а ничем не хуже, не задевает его. В этот час от мучительного чувства ревности Гата был свободен. Одно жаль, не видит любимая его радости. Ни Танхылыу, ни девушек-доярок, ни Алтынгужина, распорядителя сегодняшнего вечера, в клубе не было. Как слышал Гата, на ферме какое-то собрание и все там.

Уже час пляшет Гата. Наверное, Самат с Галимой вдоволь наговорились, слова, какие хотели сказать друг другу, уже все высказали. Впрочем, разве такие слова кончаются? (Видать, автор уже заговариваться начал.) Если даже божьим промыслом две ночи кряду, без дня, придутся, все равно влюбленным времени не хватит, они даже не заметят ничего. Тепло ли, холодно ли, пусть хоть дождь льет, хоть камни с неба сыплются — им все нипочем. И Самат с Галимой на мороз бы не смотрели, так скоро не расстались, но мать Галимы строго-настрого наказала дочери долго не ходить.

Самат не хотел отпускать ее домой, просил, даже обидеться попробовал — не уговорил. Но уже возле ворот, то ли вину свою хоть как-то искупить хотела, то ли просто чувств своих не сдержала, Галима — чмок! — и поцеловала его. Когда Самат пришел в себя, уже стукнула калитка и он стоял один.

Самат, чтоб сохранить тепло ее дыхания, прикрыл ладонью щеку — там, где она поцеловала, и пошел, куда несли ноги. Пройдет немного и, забыв, что он человек при должности, представитель местной власти, подпрыгнет, как мальчишка, пройдет немного и опять подпрыгнет. При этом руки со щеки не отпускает. И так распрыгался, что налетел на Гату.

— Ых-хым! — сказал Гата.— Когда выпить успел... Постой-ка, Самат. Ты... это... дай пять!

— А? Что? — спросил Самат. Сам он уже стоял, но душа еще прыгала.

— Дай, говорю, руку. На дружбу!

— На,— сказал Самат нерешительно. Чтобы протянуть руку, ему пришлось убрать ее со щеки. Но только убрал, как сразу вспомнил, что он — Сыртланов, а Гата — Урманбаев.

Гата, видно, тоже подумал об этом.

— Это... плюнь. Нам делить нечего. И среди Сыртлановых, оказывается, хорошие парни есть.

Действительно. И какое им, молодым, дело до той из старины тянущейся распри? Им не в прошлом, им сегодня жить.

Кто знает, может, с этого рукопожатия двух парней когда-нибудь между двумя родами, двумя лагерями установится мир и согласие? Ведь и сближение целых стран начинается с того, что встречаются два представителя, присматриваются друг к другу, потом находят общий язык и говорят: «Дай пять».

9

Как это?.. В тихом омуте черти водятся? Наверное, это сказано про Самата. Мягкий, покладистый с виду парень вдруг уперся, как упрямая лошадь, и ни с места. Идти, куда мать с отцом заворачивают, не хочет никак.

После встречи с Гатой Самат три вечера подряд провожал Галиму. Бибисара, ждавшая от сына совсем другого, узнав об этом, схватилась за сердце, полежала с полчаса, а потом, показав на стул, посадила собравшегося куда-то Самата возле себя.

— Это правда?

Самат понял, о чем она спрашивает, и опустил голову.

— Разве я тебя Хатире в зятья растила? Вот какая мне награда за все мои заботы, за все мои выплаканные слезы, за то, что мухе на тебя сесть не давала!

— Мама, я только Галиму люблю и больше никого. Вот увидишь, все будет хорошо. Зря только расстраиваешься.

— Зря, говорит! Эх, детка, детка, так как же я эту Хатиру сватьей называть буду? — запричитала сквозь слезы Бибисара.— И что, дом у них состоятельный, нашему равный? Мало того, и вся родня-порода — сплошь

эти самые Урманбаевы. Твой отец их и за людей не считает, на ножи с ними готов. Всем складом-характером чужая эта твоя коротышка.

Самат очутился меж двух огней. И слезы матери дороги, и Галиму жаль. Но дальше отступать уже было некуда.

— Конечно, Танхылыу — девушка не простая, на виду. Но ты же джигит, коли уж потянулся — тянись за яблочком, что повыше висит,— пробовала она сыграть на самолюбии сына. Когда же и это не помогло, перешла к житейским доводам: — Сам подумай, две ваши зарплаты сложить — только-только на еду хватит. Как жить-то думаете?

— Будет день, будет пища, руки у нас покамест не отсохли. Работать будем, скотину будем держать. И зарплата у нас не маленькая, зря говоришь.— Самат нерешительно встал со стула.

Но Бибисара посадила его обратно. Если Самат будет так упрямиться, гнула она свое, то и отец заупрямится и большой, веселой, на весь Куштиряк свадьбы не будет, он Галиму и на порог не пустит, и помощи никакой они не получат, узнают, каково без родительской-то помощи и благословения.

— Эх, сынок, чужой греха не отпустит, говорят. Будет трудно, к кому пойдешь? Ты ведь не дитя малое. Еще не поздно, поговори с Танхылыу. Она твоего слова ждет. А дойдут эти слухи до нее, будешь локти кусать...

— Хватит, мама! — оборвал ее Самат, злясь, что под напором материнских слов опять слабнет его воля.— Неужели в такую, как сама говоришь, красивую пору будут два здоровых человека голодные и раздетые ходить? Мне вашего добра не нужно.

— Не нужно, говоришь! Для кого же я стараюсь?

— Если для меня, то зря стараешься. И так за вас стыдно! Разве нельзя просто, по-человечески жить? — Самат резко встал, прошелся до окна и обратно. Видать, и в его бумажных жилах вскипела куштирякская кровь.

— Пожалеешь, ай-хай, пожалеешь!..— снова начала Бибисара, но Самат не слушал ее причитаний, повернулся и (небывалый случай), ступая твердо, увесисто, вышел из дому.

Вот так, уважаемый читатель. Герои, ступая твердо, увесисто, уходят куда хотят и делают что хотят. А отдуваться будет автор. Придется ему, помня наставления

друга-критика, раскрыть, так сказать, внутренние пружины событий, объяснить, что к чему.

Откуда, к примеру, вдруг у Бибисары такая спесь? Почему Галиму, а больше Галимы — ее мать, Хатиру, даже знать не хочет? Оттого ли, что Хатира одна живет, без мужа, и такого хозяйства, как Юламан с Бибисарой, не нажила? Нет, насчет добра да приданого пусть Юламан думает, а у Бибисары свой счет.

Придется, видимо, опять обратиться к истории.

Вместе играли когда-то, вместе росли Бибисара с Хатирой, четыре года в куштирякской школе на одной парте сидели, потом три года, за руки взявшись, ходили в яктыкульскую семилетку. Казалось, меж двух закадычных подруг и ветерок не проскользнет. Думы — одни, мечты — пополам, даже одевались похоже. Кто знает, может, эта детская дружба до сих пор бы не остыла, но там, где не проскользнул ветер, пролезла и разъединила их любовь.

Бибисара с Хатирой на колхозную работу начали ходить, уже почти в девушек вытянулись, уже взгляды парней начали останавливаться на них, да и сами уже тайком да мельком поглядывали на них. Как раз тогда началось и восхождение Юламана наверх. Известно, молодому передовому трактористу не только начальство, но и девушки внимания больше уделяют. И Хатира с Бибисарой на него все чаще поглядывают, не на работе, так на вечерних играх шуткой ли, задиристым ли словом в него пустят. Поначалу Юламан подружек вроде и не замечал, взгляды и шутки пролетали мимо. Но в один вечер вдруг подхватил он Хатиру под руку и пошел провожать.

О долгих ночных слезах Бибисары, о мстительных планах, какие против Юламана, а того больше — против подружки строила, мы говорить не будем. И без того ясно. Есть ли чувство злее ревности! Слезы, рыдания, коварные оговоры, яд в бокале, удар кинжалом из-за угла и поздние раскаяния — все от нее. Впрочем, у Бибисары, кроме слез да всхлипов, ничего другого под рукой не было. Но и слез своих она людям не выдала. Сердце на огне ревности воском истаяло, но подружке ни слова не обронила. А Юламан, похоже, нашел, кого искал. Как вечер в клубе, он Хатиру провожает. Прослышали, что и в Каратау вместе ездили. А когда однажды вечером он прошел мимо дома Хатиры и пропел: «Чем сжигать в тоске-печали, лучше брось меня в огонь»,— больше Би-

бисара не вынесла, зажмурилась и, как отчаянный человек бросается в кипящую пучину, бросилась в схватку.

В те годы и тракторы, и трактористы были в подчинении МТС. Их МТС находилась в шести-семи километрах от Куштиряка, в ауле Тимерсе. Трактористы всю зиму живут там, ремонтируют тракторы, готовятся к весеннему севу. И Юламан неделями там безвылазно, изредка только наведывался домой. Правда, как Хатира приглянулась, он то и дело в аул торопился. Ради одного вечера — семь километров сюда, семь обратно. Промедлит Бибисара еще немного — и придется ей на подружкиной свадьбе плясать да, от ревности притопывая, горькие слезы глотать.

Начала Бибисара с того, что первый раз в жизни выщипала брови, припудрила лицо и приоделась, принарядилась по тогдашним возможностям. Потом от матери тайком увязала в платок четверть гуся, фунтовый катышек масла, хлеба полкаравая, пару суровой ниткой прошитых кожаных рукавиц, пару белых шерстяных перчаток и в дымящееся от мороза утро пошла в МТС. Проводником ей был, разумеется, Зульпикей.

Увидев Юламана, Бибисара подошла к нему и заводить речь издалека, говорить намеками не стала, по-куштирякскому обычаю резанула напрямик:

— К тебе пришла. Скажешь «уйди» — повернусь и уйду.

Юламан особенно не удивился. Посмотрел, как она, продев руку в узелок, дует на красные озябшие пальцы, сжал ее две руки в горсти, начал отогревать. Сходил отпросился и повел Бибисару к себе на квартиру. Хозяйка, не в пример другим бабам, допытываться, голову ломать и, как говорится, из пустого невесть что выискивать не стала. Дело-то обычное. Помогла накрыть стол, нашла повод и ушла...

Так поженились Юламан с Бибисарой. Через год и Хатира замуж вышла. Каждая своей семьей зажили. Но дружба их с тех пор — в мелкие, конечно, кусочки. Как-то Хатира, которая нашла свое счастье и на подружку теперь, как поначалу, уже не сердилась, сделала было шаг к примирению, так Бибисара и близко ее не подпустила.

И тоже дело знакомое: позавидует кому-то человек, сделает зло, потом обиженный-то у него и в злыднях ходит. Уж куда бы справедливей было, если бы Хатира на Бибисару зло затаила. Нет, Хатира же, видите ли, и ви-

новата. Даже четыре года назад, когда, похоронив умершего от инфаркта мужа, Хатира сидела в черном горе, Бибисара, сославшись на собственную болезнь, не пошла к ней, горя ей не облегчила.

И вот теперь эти два дома должны войти в свойство́. Коли не одолеет сына Бибисара, то хочет не хочет, а должна будет Хатиру как сватью во главе стола сажать, да и к ней в дом захаживать. А там и оглянуться не успеешь, как одному ребенку с двух сторон двумя бабушками станут!

Как подумает Бибисара об этом, работа с рук валится, кусок в горло не идет. Сначала мужа, который позже обычного вернулся и, как нарочно, слегка навеселе, в пух разнесла, потом немного отдышалась и отправилась к Танхылыу. Повидалась с ней, рассказала, как сама выходила замуж. Намек ясен: коли, дескать, Самата любишь — бери уздечку в свои руки, вот как я.

Но Танхылыу в этот раз не обнадежила. Да и сама, с тех пор как вышла на работу, смотрит невесело, будто потеряла или ждет чего-то. Мало того, еще и уму-разуму учит: «Пустые хлопоты, енге. Уже весь аул знает, что Самат с Галимой любят друг друга. Возьмите и сыграйте свадьбу. Лучше Галимы снохи не найдешь».— «А ты как же? Не жалко любимого другой отдать? Я вот, когда...» Танхылыу, видать, все забыла — и вздохи, и уверения свои, и мечты о том, как бы стать невесткой Бибисары, отмахнулась досадливо: «Милый-то мой — другой». Вот она, нынешняя молодежь, просто удивление! Сегодня одного любит, завтра уже другого...

Юламан же, так и не уломав сына, понял наконец, что тут «наша не давит» и в таком щекотливом деле угол не срежешь. Решил взяться за дело с другой стороны — пошел к Галиме.

В теплом, чисто убранном медпункте Галима сидела одна. При виде Юламана она встала и, потупив взор, сказала:

— Добро пожаловать, Юламан-агай! Приболел, никак?

Посмотрел Юламан на нее и, забыв все приготовленные слова, все раздражение, что изжогой изводило его в последние дни, опустился на стул.

Галима, веретеном снуя возле него, о чем-то расспрашивала, а Юламан, то ли слышал, что она говорит, то ли нет, только кивал: «Да, да...»

Наконец он встал, нахлобучил шапку, подумал о чем-то, усмехнулся и, подмигнув ей, сказал:

— Бибисара валидол просила.

Выйдя на улицу, он постоял, вспоминая, как маленькая Галима быстро сновала по комнате, покачал головой и, прошептав: «Ишь веретенышко!» — вдруг расхохотался. И впрямь смешно: пошел человек, полный решимости, наша, дескать, давит, Галиму отругать, Самата от нее отвадить, а сам, как теленок, тут же размяк.

Подошла топотушка Галима к нему, а Юламан — сон ли это, явь ли — вспомнил годы своей молодости, и встала перед глазами Хатира. Если не считать короткой прически и белого халата — та самая Хатира, к которой когда-то так неравнодушен был Юламан. Она тоже, бывало, посмотрит полным до краев взглядом и поправит туго, до треска, заплетенные косы. Эх, жизнь, жизнь! Где вы, встречи, ночные дороги между Куштиряком и МТС, чувства-страдания, только вчера ведь были! Не встань тогда Бибисара так решительно меж ними, кто знает, возможно... Впрочем, что теперь-то об этом думать? Минувшему — исполать! Но словно яркий луч вдруг осветил его заскорузлое, огрубевшее в тяжбах с людьми, с неурядицами, с самим собой сознание. Нет, это было не сожаление. С Бибисарой он не оплошал, хорошо живут. И сам еще в силе, от железа, как говорится, отщипнет, и со счетов его, как некоторые думают, еще не скинули. А все душа неспокойна, скребется в ней какое-то непривычное недовольство. Сам он с собой не согласен, с делами своими, с поступками...

Весь день пролежал он, вытянувшись на диване. Подходила жена, спрашивала, беспокоясь: «Уж не заболел ли ты? Чая горячего попил бы»,— ничего не отвечал. Даже к ужину не встал. Когда же Бибисара, покормив детей, сходила в хлев, задала скотине сена и, еще ежась от холода, присела к нему на краешек дивана, он только глянул и тут же отвернулся.

— Отец, говорю, послушай, что с тобой? Если ничего не болит, время ли сейчас разлеживаться? Самат твой совсем с привязи сорвался. Словно отбившаяся от рук скотина, и дорогу домой забыл. Ворота у Хатиры подпирает...— начала было жена, как Юламан, чуть не столкнув ее, вскочил с дивана и сел.

— Что ты к нему пристала? Если другую не хочет — шабаш! Пусть на Галиме женится. А ты не встревай!

От беспричинного крика, от слов мужа, обратных тем,

что он говорил еще утром, Бибисара растерялась. Округлив в испуге глаза, она зажала рот, попятилась назад.

Юламан и сам уже понял, что чересчур хватил, и вскинутую, как говорится, дубинку мягко опустил на землю.

— Садись-ка,— сказал он, показав рядом с собой.— Ты не обижайся. Не по себе как-то...

— Обязательно кричать надо,— проворчала Бибисара, самим ворчанием давая понять, что согласна не ссориться.— Только словам твоим удивилась...

После разговора с Танхылыу надежды ее тоже поостыли. «На Танхылыу свет клином не сошелся. Если уже сейчас так воображает, потом от нее и подавно добра не жди. Пусть Самат, кого сам хочет, приведет. Но только не дочку Хатиры!» — решила она.

И муж:

— Брось, женушка, не морочь парню голову. Танхылыу, видать, свой расчет держит, высоко глядит. Тут хоть режь — не глянулись мы им. Отец тоже, сколько раз я ходил,— взгляда приветливого не уделил.

— И то верно. Уж чего в ауле больше всего, так это девушек на выданье. Наш Самат такой — любую может выбрать.

— Уже выбрал, нас не спрашивал.

— Дочка Хатиры и в ворота не войдет! Рады бы вы с этой кикиморой за одним столом сидеть: «Пей, сват» да «Ешь, сватья»!

Мелет ведь, и язык не притомится! Как Юламан ни старался быть спокойным — сорвался:

— Нажми на тормоз! — взревел он и добавил уже потише: — Чем тебе навредила Хатира? Живет себе мирно, работает рук не покладая, дети ухожены, дом под присмотром. Хозяйство не хуже, чем у тех, кто с мужьями.

— Сейчас словом коснуться не даешь, потом на руках ее будешь носить,— испуганно сказала Бибисара.— Может, ты и согласие уже дал?

— Никто на твое согласие или несогласие и не посмотрит, теперь молодежь сама решает. Ты ведь тоже ничьего согласия не спрашивала,— усмехнулся он.— А начнем упираться, над нами же будут смеяться. Вот о чем подумай, чем Хатиру обсуждать, которая давным-давно была да прошла.

— А зачем ее хвалишь? Мог бы и хоть одно худое слово про нее сказать, для жениного удовольствия.

— Да где такая жена, чтоб с моей сравниться могла!

Иначе жил бы я с ней двадцать пять лет? — сказал Юламан и обнял жену за плечи.

— Хатиру этой рукой обнимал, теперь ко мне тянется! — оттолкнув его, проворчала Бибисара.

Разумеется, сказала не потому, что знала что-то. Да и причины для негодования особой нет. Дурной славы за Хатирой отродясь не было, и Юламан не озоровал, с пути не сбивался. Но того жена забыть не может, как муж, пока не остепенился, по Хатире маялся.

— Эх, дура,— рассмеялся Юламан, а Бибисара, надувшись, пересела на стул возле двери. Рассмеяться-то он рассмеялся, но случай один вспомнил.

Было это на пятый или шестой год, как они поженились. Нет, на седьмой, в то лето, когда бык Самата боднул.

Из долгожданного нового урожая колхозникам выдали на трудодни. Юламан вместе с Сагитом, мужем Хатиры, запрягли на двоих одну лошадь и поехали на мельницу. Прибыли они сразу после полудня, но прикинул Сагит, увидел, что очередь дойдет только к ночи, и решил ехать домой, а вместо себя прислать Хатиру. Он работал на комбайне, должен был выйти в ночную смену.

Мужчины, известно, в очереди ждать не любят, сразу какое-нибудь развлечение ищут, чтобы время убить. Ну, а какое развлечение самое лучшее — тоже известно. Юламан и еще три мужика принялись уговаривать мельника. Порядком поторговавшись, старик достал им то, что они просили, за двойную цену.

Короче, когда, смолов хлеб, уже ночью вышли в обратный путь, Юламан был изрядно навеселе.

Августовский зной спал, однако ночь теплая, и мягкий ветерок подует порой. Бессчетные звезды в ясном небе перемигиваются, лунный серп льет слабый загадочный свет. И охватывает человека ночная печаль. И слов никаких не надо, о твоих чувствах сама природа за тебя беззвучно расскажет. Вот и путники молчат, то ли красотой ночи заворожены, то ли просто задумались. Телега, кренясь то вправо, то влево, подпрыгивая на мягких ухабах луговой дороги, укачивает их.

Каждый раз, как завалится телега, Хатира, качнувшись, касается Юламана. Раз задела, два задела, три... Юламан, уставясь лошади в хвост, начал было клевать носом, но тут насторожился. Тихо натянув вожжи, перевел трюхавшую кобылу на шаг. Телега закачалась плав-

ней, заваливалась реже, но Хатира, будто того и ждала, еще больше прильнула к Юламану.

Ознобом, жаром омыло всего, забилось сердце. Юламан для проверки отсел на вершок. Нет, ладное, тонкое тело Хатиры все к нему клонится. Ясно... Не плошай, лев-мужчина! «Эх, Хатира!» — прошептал Юламан и обнял ее.

Хатира сначала причмокнула губами, вздохнула, потом встрепенулась, еще сонное ее тело выпрямилось, отвердело.

— Бесстыжий!..— И плотный увесистый кулак въехал в скулу, у Юламана из глаз искры посыпались.

— Сама ведь... Убудет тебя, позолота с тебя сотрется...— забормотал Юламан и, зажав лицо ладонью, спрыгнул с телеги. Сорвал какой-то холодный листок, приложил к глазу. Весь хмель вылетел.

Хатира же плетью огрела лошадь, крикнула:

— Но-а! Хау-але-ле! — и покатила к аулу, до которого оставалось уже совсем немного.

Когда Юламан доплелся до дома, запряженная лошадь стояла, привязанная к воротам, в телеге лежали два его мешка. Юламан одной рукой сгрузил мешки, распряг лошадь, а второй рукой держал на глазу последний оставшийся после веселья медный пятак. Потом и сырой глиной мазал. Но пользы от этих лекарств не вышло.

Утром за чаем Бибисара, заметив у мужа синяк под глазом, разохалась:

— Ох! Никак на мельнице с кем-то подрался, образина!

Юламан усмехнулся только:

— Было маленько.

Оттого и рассмеялся Юламан, когда Бибисара сказала: «Хатиру этой рукой обнимал, теперь ко мне тянется»,— что вспомнил тот случай, который произошел много лет назад по дороге с мельницы.

— Эх, дура,— повторил он.— Верно говорят: волос у бабы долог, ум короток.

— Не знаю, чьим умом жизнь идет,— ерзнула на стуле Бибисара, но, не углубляясь в теорию, вернулась к практическим вопросам: — Лежит, зубы скалит. Если такой умный, встань и скажи: что будем делать?

— Что будем делать? Свадьбу сыграем, женушка! Наша давит! По правде говоря, хорошую невесту отхватил Самат, днем с огнем ищи, лучше не найдешь. Чуткий нюх оказался у парня! Всем хороша, грамотная, характер мягкий, и видом — что картинка!

— В девчонке ли дело! — опять заупрямилась Бибисара.

— Сказала! А в ком же?

— Возьмешь ее снохой, а что же выиграешь? Забыл, какие на Танхылыу надежды возлагал?

— Вот еще печаль! Ничего, Юламан сегодня же ноги протянуть не собирается. Тракториста вроде меня тоже поискать надо. Наша давит! Потом не забудь, у Хатиры братишка — кто? Заведующий райсобесом, самый нужный начальник!

Борьба на этом не закончилась. Споры, крики, слезы еще на несколько дней протянулись. Наконец на семейный майдан выступили основные силы. То есть Самат привел Галиму показать родителям.

Разумеется, Юламан с Бибисарой ее не в первый раз увидели, Галима у них на глазах выросла. Но на то и называются смотрины, чтобы смотрели.

Бибисара, хоть еще и не сдалась окончательно, неприветливость свою спрятала в карман. Как-никак девушка в первый раз пришла к ним в дом. Переоделась хозяйка в хорошее платье, накрыла стол к чаю. Сама накрывает, а мимоходом нет-нет да на молодых посмотрит. А у тех, хоть и стараются не показать, от радости лица горят. Глянет Бибисара на девушку и вздохнет тихонько. Ведь вся из себя — вылитая мать в молодости! Забывшись, Бибисара чуть ее подружкой не назвала, еле удержалась. Чаепитие, говоря дипломатическим языком, «прошло в теплой, дружеской атмосфере». Потом, когда перешли в другую комнату и посмотрели семейный альбом с фотографиями, Галима подошла к сверкающему как зеркало пианино.

Юламан купил его года четыре назад. Приехал как-то фотокорреспондент из «Красного плуга», снял его дома, с гармошкой в руках — «почетный механизатор в кругу семьи». После съемок немного того, согрелись, корреспондент и говорит: «Ты лучше пианино купи, я тебя за пианино сниму. А что гармошка? Посмотрят и скажут: «Выпил — вот и с гармошкой». А про пианино, брат, так не скажут». Юламан тогда хоть и промолчал, но обиделся — и за гармошку, и за себя. Однако в словах корреспондента была своя правда. Юламан понял, что пусто без пианино в доме. Нельзя, чтобы у такого почетного механизатора — и не было пианино. Той же осенью купил. По правде говоря, расчет был на дочку, но та к пианино и близко не подходит.

Галима сняла длинную вышитую салфетку, на которой голубь передавал в клюве голубке сердце, и, откинув крышку, села на стул. Играла она не очень бойко, да и пальчики маловаты, но Юламану, который, не довольствуясь одним чаем, выходил раза два на кухню и там в честь гостьи опрокинул пару стопок, хватило и этого. Он шепнул на ухо жене:

— Наша давит! — и со слезами умиления огляделся кругом.

Молодец Юламан, хорошо живет! Жена хозяйственная, сын умница, своего счастья не проглядел, и сноха не сноха будет — золото. Скота-живности полон двор, под навесом «Москвич» стоит, дом — полная чаша, и мало того, что пианино есть, на нем даже играют.

И Бибисара, то ли радуясь, то ли печалясь, уголком платка вытерла глаза.

После такого вечера автору, кажется, и делать больше нечего. Всем известно, кончились на пути героев беды и преграды, можно дальше не читать. Это лишь разлуки и ссоры в каждом случае разные, а женятся везде одинаково. Как к венцу — так и книга к концу. Отсюда и всякие писательские хитрости и уловки — потому они стараются победу героя, торжество справедливости отодвинуть подальше, на самые последние страницы. Это из-за корысти и бессердечия автора парень с девушкой, как в сказках «Тысячи и одной ночи», должны по мосту, что волоса тоньше и сабли острей, пройти над преисподней. Лишь тогда зло будет повержено, а добро восторжествует. Но ненадолго. Им предстоит сразиться в других книгах. Ибо: не будь в мире зла, не было бы и добра.

Есть в литературе соблазнительная ситуация, от которой у автора глаза голодным блеском загораются. Это когда солидный мужчина, всеми уважаемый, семейный, вдруг влюбляется в молоденькую девушку. Ах, какие возможности дает эта ситуация, каких событий можно здесь накрутить! Возьмешь такую книгу в руки — еда не еда, сон не сон, оторваться нельзя. Мужчина любит, девушка любит, страсти полыхают, а соединиться влюбленные — не могут. Весь мир против них. Наконец под воздействием общественности отец семейства, присмирев, возвращается домой, к нелюбимой, а может, и к любимой (очень уж давно это было) жене, плачет, раскаивается, исповедуется, зарекается. А девушка? Она, как волшебный сон,

тает, забывается, исчезает. Впрочем, почему «исчезает»? В другую книгу переходит!.. К сожалению, не то что в Куштиряке — но и во всей Башкирии, считает друг-критик, такого случиться не может. Эх, если бы случилось, знал бы автор, с какой стороны взяться и как описать!

Ладно, по одежке протягивай ножки, по возможностям и праздник. Опишем, что есть, с нас и хватит. Порадуемся, что Самат с Галимой живы-здоровы, одолели страшные препятствия на своем пути и достигли желанной цели. И ничего больше им пока не нужно. Пусть будут счастливы!

Нельзя, однако, забывать и про Гату. Теперь, когда они с Саматом пожали друг другу руки, майдан-ристалище и вовсе опустел, ни одного серьезного соперника не осталось. Теперь Гате предстоит самая серьезная схватка — с сердцем девушки. Пожелаем удачи и Гате.

10

Кутлыбаев любит по утрам ходить на работу пешком. Дороги между Яктыкулем и Куштиряком, если хорошо шагать, и на час не будет. Встанет председатель с проблеском зари, прямо на ногах попьет чаю, скажет: «К обеду не жди, мама, где-нибудь перекушу»,— и выйдет в путь.

Дождь ли льет, мороз ли трещит, буран ли такой, что глаз не разлепишь, он ежедневного распорядка не меняет, лишь бы какого-нибудь неотложного дела не случилось. Летом пешком идет, зимой иной раз на лыжах.

Скажет ему Исмагилов: «Хочешь, чтобы и мы пешком ходили? Смотрите, дескать, председатель у вас какой, бензин экономит. А другие руководители — белая кость, на полкилометра машину гоняют». Кутлыбаев смеется: «Льва ноги кормят. Председателю крепкие ноги нужны. Это же утренняя зарядка!» Его Арсланом зовут — львом, значит,— на это намекает.

На самом же деле тянет его каждое утро в дорогу красота рассветного часа, когда земля просыпается от сна. И еще — возможность подумать в одиночестве.

В ясные дни край горизонта еле заметно сереет, потом переходит в розовато-желтый цвет, и вдруг яркий, словно полыхающее пламя, свет вычерчивает черные гребни далеких гор.

Зря автор сетует на скудость природы казаякских берегов. Глазами Кутлыбаева надо смотреть на эту землю!

Летним утром, только выйдешь с яктыкульской улицы, по правую руку выступают из убегающего тумана край широкого тугая, клочья мелколесья. Чуть подальше, на изгибе Қазаяка, прочерчиваются белые скалы, красноватые холмы. Птицы щебечут в кустах, доносятся крики петухов — отсюда слышны оба хора — и яктыкульский, и куштирякский. И вот, подсушенный солнцем, исчезает туман, и, насколько видит глаз, до самого горизонта раскинулись желтеющие поля, ветерок разносит по широкой долине запах нивы.

У зимы своя прелесть. Оттого, видно, что все бело, мир становится еще шире, сколько ни шагай, дорогам конца, полям края не будет. Вдыхая свежий с морозцем воздух, оглядывая окрестности, Кутлыбаев думает об этой земле, о ее людях, эти думы переходят на каждодневные заботы, на неотложные дела. Шаги убыстряются, его охватывает нетерпение. И к тому времени, когда председатель входит в правление, оказывается, что в уме он по всему своему большому хозяйству, по всем участкам, по всем неотложным делам уже прошел, людей, с которыми нужно встретиться, поручения, которые должен дать, взял на заметку.

Привычку встречать рассвет на ногах он усвоил в армии. Служил на заставе, на южной границе Казахстана, там и научился чутко спать, все замечать и каждое дело исполнять точно, доводить до конца.

И еще, привез он оттуда тайну. Уже сколько лет прошло, как вернулся он из армии, но часто вспоминает Арслан потрясшее его тогда языческое видение, чудо, какое бывает только в сказках.

Сон это, явь? Вокруг готовые рухнуть на тебя скалы, страшные пропасти, ущелья, дикая красота природы, безмолвная песня. Тянь-Шань... Прочертится рассвет, и светлеет тусклое небо, все ясней выступают гряды гор, белые вершины отливают позолотой. Но взгляд сначала проходит по ближним зеленым склонам и потом лишь поднимается далеко, высоко, к покрытым вечными снегами вершинам. Вдруг какая-то сила отдергивает занавес красноватых облаков, и сияющий хрустальный пик словно взлетает в небо.

Когда вершина впервые сверкнула ему, Арслан застыл на месте, ни шагнуть, ни слова сказать не может. Тело горы, высокого выше, белого белей, рассыпая лучи, летит в розоватом небе. То одна ее грань вспыхнет, то другая. Как будто обступившим ее горам, которые сбежа-

лись к ней, к подолу ее приткнулись, как малым своим детям улыбается, милосердием своим одаряет.

Одна минута прошла, пять минут? Этого Арслан не помнит. Наконец добрая могучая вершина вспыхнула в последний раз и погасла. И, словно оберегая от чужого глаза, набежали, обложили ее тучи.

За три года службы много раз видел Арслан эту вершину — и в часы восхода, и днем, и в печальный миг затухающей вечерней зари, но так и не мог смотреть на нее спокойно. Непонятную тревогу, тайну какую-то хранит она, о чем-то рассказать хочет, предупредить.

Арслан узнал, что гора эта с трехгранной хрустальной вершиной называется Хан-Тенгри, в казахских и уйгурских аулах, приткнувшихся к ее подножию, рассказывают о ней сотни легенд, былей, притч, и в них говорится о какой-то тайне, которую уже столько веков не могут разгадать люди. Значит, не только Арслана, парня из далекой башкирской степи,— чувство это охватывало и их.

Вот и сейчас, глянет Арслан на свою приземистую Разбойничью гору и вспомнит ту холодную волшебную вершину. Семь тысяч километров между этими горами и семь лет.

Да, семь лет прошло, как вернулся Кутлыбаев из армии. Тем же летом поехал в Уфу и поступил в сельскохозяйственный институт на заочное отделение. Очень ему хотелось на дневное, но болела мать. Арслан — единственный сын, тринадцать было ему, когда умер отец.

Но потом Арслан не жалел, что пришлось и работать, и учиться. Вместо одного сразу два института закончил, считает он. Действительно, работал прицепщиком-машинистом, каждое лето был на комбайне, сначала помощником, потом и комбайнером. Когда закончил третий курс, его поставили заведующим агротехнической лабораторией, но в лаборатории не понравилось — узко там было ему, хотелось в поле. Закончив институт, он стал агрономом, затем — главным агрономом. В Куштиряке, как и везде, какая лошадь тянет, на ту больше и кладут. Молодой коммунист Кутлыбаев, энергичный, с крепким упрямым характером, был выбран председателем колхоза. Вот так и семь лет прошло. День и ночь в работе. Потому, наверное, и не женился до сих пор. Сначала девушку по сердцу не встретил, потом встретил, да...

Смотри-ка, уж совсем рассвело! К тому времени, когда Кутлыбаев войдет в правление, и солнце взойдет. Проверит председатель выполнение данных с вечера наря-

дов и поедет в Степановку, оттуда в Ерекле, вечером, как договорились, с директором совхоза встретится. Вот так, работа к работе, забота к заботе, и день пройдет. Солнце-то давно уже на покой уйдет, а ему еще мотаться да мотаться. Хорошо, если он к тому времени вернется, когда Яктыкуль начнет зевать, потягиваться да укладываться спать. А то и до полуночи домой не доберется. Во всем ауле только в окнах председательского дома свет не погаснет, мать будет дожидаться его. Когда он нехотя поест, мать тоже присядет к столу и, издалека заводя, спросит: «Какие новости, сынок?» Тихо, не перебивая, выслушает хозяйственные новости сына и еще спросит: «А с другой стороны?» У сына на это уже отвечать нечего, «с другой стороны» даже маленькой, коротенькой новости нет. В тамошней путанице не то что матери рассказывать — и сам не разберется.

Это все будет вечером. А пока Кутлыбаев думает о том, что уже декабрь наступает, а снегу совсем мало. Или о ремонте тракторов вспомнит. Стоит ремонт, опять запчастей нет. Или опять на Разбойничью гору взглянет, и встанет перед глазами Хан-Тенгри. Есть такие стихи: «Всю жизнь на гору поднимался, всю жизнь — стремился я к тебе». Это про него, про Арслана. Мечта его, надежда, словно сверкающая на восходе солнца вершина, то приветлива, зовет к себе, улыбается, то вдруг нахмурится, уйдет в облака. Но всегда одинаково далека.

Вчера Исмагилов, словно зная его тайну, связанную с той величественной горой, сказал с обычной своей усмешкой: «Эх, Арслан, Арслан, если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе. Будь ты джигитом, не бойся!» Пошел бы Арслан к «горе», но та и близко не подпускает.

Так, задумавшись, он и вошел в Куштиряк. Очнулся от приветствия вышедшего навстречу Зарифа Проворного:

— Здравствуй, *пирсидатил!*

— А... Здравствуй, Зариф-агай.

— Тебя вот поджидаю. Дело к тебе есть, браток. В прежние времена, когда я председателем был, с покойным отцом твоим мы дружно жили, друг другу всегда помогали, берегли, как говорится, защищали... Арслан — наш паренек, говорю, поймет мою нужду. Я сам, когда председателем был...

Придется, видно, Кутлыбаеву остановиться, выслушать его просьбу.

— Чем тут стоять, надо было в правление идти,— проворчал он недовольно.

Ну что ты этому Зарифу скажешь? Пятнадцать лет уже, как не председатель, а все былой гордости забыть не может. На тяжелую, дескать, работу не гожусь — все время возле правления околачивается. Старается если не в руководстве, то в активе считаться.

— Там ведь тебя застать надо, а застал — пробиться. Народу — что мух в жаркий день. Каждому председатель нужен, никто заместителем или Фасхи не довольствуется. Все в твоих руках, сам судишь, сам расправляешься. Так и надо, я и сам...

В словах Проворного, простодушных ли, с насмешкой ли, была своя кислая правда, и Кутлыбаев, поморщившись, перебил его:

— Тороплюсь, агай, выкладывай свою просьбу,— а про себя подумал: «Нет, так не годится, кое-какие дела надо закрепить за заместителем. И обязанности других определить точней».

— И не то чтобы дело...— Зариф огляделся по сторонам и понизил голос.— Пару овечек надо бы. Я слышал, какие повредились, покалечились, продаются...

— Пару овечек? А что с ними собираешься делать?

— Одну! Да-да, одну овечку! Свадебные хлопоты вот-вот начнутся. Добро пожаловать, дорогим гостем будешь, во главе стола сядешь.

— Гату, выходит, женишь? Смотри-ка, вместе ездим, и ни звука.

— Наш Гата не особенно разговорчивый. Он и нам про свадьбу не сам сказал. Но шила в мешке не утаишь. Стой, сказал я себе, нельзя беспечным быть, коли такое дело — надо готовиться заранее. Дело ответственное, как бы перед будущим сватом не оплошать. Молчун-то широко замахивается. А невеста, и говорить нечего, самая фартовая. Коли свадьба, так пусть уж свадьба, чтобы с шумом, не отставать же от них...

— Ладно, поговорю, что актив скажет,— снова поморщившись на его скороговорку, перебил Кутлыбаев.— Вечером в правление зайди. Слышишь, в правление! На улице меня не лови.— На этом бы и разговор закончить, но он приличия ради спросил: — А с кем породниться собрались?

— И-хи-и! Весь аул об этом говорит, только он, оказывается, ходит и ничего не знает! Так ведь дочь Фаткуллы собираемся взять, Танхылыу!

— Ых-хым! — сказал Арслан.

— Ну, Гата! День-ночь с тобой на машине ездит и ни слова не сказал, а? Мой сын, на меня похож. В груди джигита оседланный-взнузданный конь лежит, говорили древние. Из нас попусту и слова не вытянешь...

— Вот, оказывается, как...— И Кутлыбаев, не дослушав всех радостных новостей, которые сыпал перед ним Проворный, зашагал дальше. Пройдя немного, остановился, сказал: «Ых!» — шага через три снова остановился, сказал: «Хым!» — потом огляделся по сторонам и нашел себя посреди Куштиряка.

В правлении он вошел в свой кабинет, повернул ключ в двери и, хлопнув себя ладонью по лбу, расхохотался. Чего же больше было в этом смехе — веселья или растерянности? Но думать об этом уже некогда. Беспокойный день председателя начался.

Он поговорил по тридцатиклавишному телефону с заведующими, с бригадирами и собирался уже выйти в путь, как осторожно открылась дверь и показалась голова Юламана Наша-давит.

— Можно ли? — сказал Юламан и, подойдя к столу, уселся в кресло.— Жив-здоров ли?

Человек, который в другое время уже с порога зычно, с хохотком начинал требовать, спорить, доказывать, сейчас заговаривать что-то не спешил. Снял богатую меховую шапку, положил на стол, достал из кармана маленькую железную расческу и причесал рыжие усы. Видать, намеревается поговорить обстоятельно, о чем-то попросить.

— Слушаю,— с тайным беспокойством сказал Кутлыбаев: такой необычный был Юламан, не поймешь, с чем пришел.

— Вот и послушай. Если ты, хозяин, слушать не будешь, к кому же мы, простые механизаторы, со своими невзгодами пойдем? Таки допекли ведь...— Юламан через плечо ткнул большим пальцем на дверь.— Ты это... Скажи Фатхутдину, пусть из зарплаты не высчитывает. За перепаханные тогда два-три гектара весь расход на меня начислил.

— Не два-три, агай, а все четырнадцать.

— Ну вот! Уже и ты по-ихнему заговорил! Ну, где теперь голову преклонить? Не пойму...

— Тут и понимать нечего. Проверяла комиссия, а правление, опираясь на ее выводы, вынесло решение.

— Эх, живьем режешь! При нашем-то достатке, когда по двадцать пять центнеров с гектара берем, и так ме-

лочиться! Если бы не свадебные хлопоты, я бы и не охнул...— начал было Юламан плаксивым голосом, но тут же высоко вскинул голову и пригладил усы. Поднялся, уперся кулаком в бок. Ну вот, прежний, знакомый Юламан Наша-давит; у председателя тоже с души отлегло.— Не выйдет, говоришь, а? Смотри, чтоб потом каяться не пришлось, товарищ Кутлыбаев! Сейчас пойду и парторгу то же самое скажу. Наша давит! — И он с топотом вышел. Но тут же вернулся, забрал шапку со стола и снова вышел.

В чем ему предстояло каяться, Кутлыбаев так и не понял. Но тут и гадать не о чем, обычные юламановские угрозы. Только слова: «Если бы не свадебные хлопоты» — заставили председателя задуматься на минуту. Значит, и Самат женится. Что же, естественно, прошла осень, наступила зима. Пора свадеб...

Побывав везде, где собирался быть, завершив все дела, Кутлыбаев решил съездить на куштирякскую ферму. Он ссадил Гату возле правления и повернул уазик на Казаяк.

Днем на людях, в делах он не замечал, как летит время. О своих делах побеспокоиться, о том подумать, как распутать запутавшийся узел, так и недосуг. А наступит вечер, остается один — мается, не знает, куда себя девать. Вот и сегодня. Мало того что с утра Зариф Проворный и Юламан Наша-давит со свадебными хлопотами к нему заявились, приехал в Степановку — там сразу в двух домах свадьбу играют. Шум, радость, суматоха. Признаться, от такого изобилия свадеб личное самочувствие председателя несколько испортилось. Может, потому он и на ферму поехал, что успокоения искал.

На ферме шла вечерняя дойка. Зная, что девушки не любят, когда в это время заходят посторонние: коровы, мол, стесняются,— председатель, не заглядывая в коровник, пошел прямо в комнату отдыха.

Там Кутлыбаев уселся на мягкий диван, просмотрел лежавшие на столе газеты. Уютно, тепло, долгая мелодия тянется из радиоприемника. Натрясся председатель на ухабистых дорогах, за делами не замечал усталости, а сейчас, в тепле, все тело обессилело и разомлело. И плавная музыка уводит от всех забот, к покою тянет.

И вправду, лежит он, раскинув руки, в высокой траве, взгляд в высоком голубом небе. В воздухе чуть слышно звенит мелодия курая, на краю горизонта клубятся белые облака. Все ближе и ближе подходят они, уже пол-

неба закрыли, но вдруг распахнулись, и, сверкнув, выступила перед ним хрустальная вершина, залила все вокруг ярким светом: каждая травинка блестит, словно выкованная из золота. Но вот уже уходит она, удаляется, и меркнут травы, Арслан хочет удержать ее, остановить...

Как распахнулась дверь, как вбежали девушки, как, шикая друг на друга, тихонько вышли, он не слышал. Когда он вздрогнул и проснулся — радио выключено, на вешалке вместо пальто белые халаты висят, а перед ним лист бумаги лежит. Кутлыбаев раскрыл сложенный вдвое лист. Глянул — и расхохотался. Крупными печатными буквами было написано на нем: «Засоня».

Будто не одно-единственное ехидное слово было на бумаге, а целый волшебный заговор — всю накипь смыло с души. Кутлыбаев вскочил и, подпрыгивая от радости, выбежал на улицу. «Он это что?» — удивится читатель. Действительно, приехал, дела своего не сделал, заснул на всеобщее обозрение — есть чему радоваться. Еще и прозвище получил: «Засоня». Он же, словно дали ему в руки краюшку теплого белого калача, намазанную густыми сливками (любимая еда автора), обрадовался, распрыгался, как мальчишка.

Председатель большого колхоза, с высшим образованием, спокойный, уравновешенный человек. Признаться, автор и сам полагал, что выдержки у Кутлыбаева должно было быть больше. Во всяком случае, такого за ним прежде не замечалось. Не иначе как влияние куштирякского Зульпикея коснулось и его. Вы только посмотрите — не видя дороги, срезая углы, несется он к правлению, а куштирякские бабы глядят ему вслед и качают головой: «И этот, кажется... соскочил».

Теперь, когда мы стали очевидцами того, как в яктыкульском парне вдруг взыграл куштирякский бес, можно поторопить дальнейшие события. Возможно, попутно и выясним, отчего Кутлыбаев вдруг запрыгал.

* * *

Посему автор считает необходимым вернуться на несколько дней назад и побывать на собрании, которое прошло на ферме.

В тот вечер, когда Гата и Самат выяснили между собой отношения, Исмагилов тоже решил, как сказал бы друг-критик, *внести ясность* в отношении Танхылыу. Разумеется, к такому ответственному делу он подготовился заранее. Конечно, самолюбие капризной девчонки

придется пощадить, но не в ущерб колхозным интересам. Парторг справился в совхозе о челябинских коровах: оказалось, что «бастовали» они только поначалу, теперь же, когда освоились, к чужим рукам привыкли,— только доить поспевай.

Значит, условие Танхылыу можно будет выполнить. Пока девчонка еще чего-нибудь нового не выдумала, надо поспешить, вернуть ее на ферму.

По правде говоря, Танхылыу все это и самой надоело. Уже больше месяца, как она, разобидевшись, ушла с фермы. Пусто было на душе без работы, оттого, что, будто сговорившись с Зульпикеем, мутила воду, морочила людям голову. И Гата до сих пор не теряет надежды, и отец его, Зариф Проворный, показал свое проворство, уже весь аул оповестил, о свадьбе хлопочет. Ладно, еще Самат джигитом оказался, не то попрыгали бы они на горячей сковородке все трое — Бибисара, Юламан и сынок их. Но вся эта путаница, показавшаяся поначалу увлекательной игрой, ей уже приелась.

Самое неприятное, о чем и вспоминать не хочется,— ссора с подругами. Раз подумаешь — правда на ее, Танхылыу, стороне, в другой подумаешь — на их тоже немножечко... правды есть. Гляди, как дружно поднялись против нее! Будто не она, Танхылыу, два года назад привела их на ферму! Теперь освоились — сами себе голова. Ну, не обидно ли? Даже Диляфруз и та: дескать, при тех условиях, какие создали ей, Танхылыу, любая будет в передовых. Ложись и помирай! Что она, сама себе условия выпрашивала? И с этими челябинскими коровами. Сначала дали, потом — нет, дескать, неправильно дали — обратно забрали. А все безволие председателя. Мямля!..

Ни минуты бы не думала, собралась и уехала, хоть в город, хоть в совхоз. Но... сначала решимости не хватило, а теперь и подавно не хватит. В тот год, когда школу закончила, сколько отец уговаривал: уезжай в город, ругал даже: «О будущем,— говорил,— совсем не думаешь...» А теперь даже шагнуть за околицу не даст.

Танхылыу пока и сама никуда не уедет. Она еще должна показать им, что не белоручка, что и на большее способна. Тем, которые сомневаются. И самой! Иначе душа не успокоится. А еще Танхылыу поняла... поняла, что жить вдалеке от Куштиряка уже не сможет. От Куштиряка и от...

Первая половина собрания прошла как нужно. Алтынгужин с колхозным механиком запустили навозный

транспортер и дали пояснения, как им пользоваться. Хитроумное это сооружение устанавливали десять дней и отладить успели только к этому вечеру. У доярок от радости макушка неба коснулась. А уж сколько благодарностей на Кутлыбаева и остальное колхозное начальство излилось!

Каждая рвалась сама запустить транспортер в работу. Запустят и смотрят в восторге — словно проточная вода, вычищая под коровами, скользит лента.

Для обсуждения второго вопроса все, кроме Алтынгужина и механика, перешли в комнату отдыха.

Танхылыу, будто поддразнить хотела, оделась как на праздник, во все самое лучшее. Поглядеть, так прямо гость издалека или представитель из района.

Может, оттого и девушки, которые только что смеялись, шумно радовались, как вошли в комнату, сразу притихли и, поджав губы, исподтишка посматривают на Танхылыу: а ты, дескать, что на ферме в таких нарядах делаешь? Диляфруз с этого и начала, не посмотрела даже, что подружка, сказала прямо в глаза:

— Вот, Танхылыу, ты целый месяц на работе не была, отдыхала, в красивых нарядах ходила, а на ферме полный порядок, и надои не упали. Но твоему возвращению мы рады. Так ведь, девушки? Только говорим заранее: прежних поблажек не жди. Что нам — то и тебе. Но с одной твоей просьбой согласны, бери челябинских коров. Ладно, попробуй, все равно их, кажется, продавать собираются.

— И пусть не важничает, не покрикивает!

— Явилась как на гулянье!

— И чтоб, коров на нас бросив, в район не бегала.

— И пусть корма, какие получше, не требует!..— наперебой закричали девушки.

— Комсомольская организация объявляет тебе выговор. Твое счастье — пожалели, решили на общее собрание не выносить,— сказала Диляфруз.

Исмагилов следил за Тынхылыу и про себя призывал ее к терпению, сам же вступать в разговор не торопился.

Танхылыу встала, оглядела собрание.

— Наверное, и я должна что-то сказать?

В комнате установилась тишина, было слышно, как где-то жужжит запоздалая муха (эта муха часто нашего брата выручает, не знаешь, как описать тишину — она тут как тут). Видит Исмагилов, в смятении девушка,

только вида не подает, и пришел ей на помощь, стараясь снять напряжение.

— Конечно, скажи, Тынхылыу! — нарочито весело сказал он.— Ты член коллектива, имеешь все права.

— Ладно, коли так... Вы тут о правах сказали, но надо, видно, и об обязанностях побеспокоиться, Исмагилов-агай... Значит, так, на работу выхожу, прощения просить не буду. Остальное работа покажет.

На этом собрание закончилось. Не успел Исмагилов выйти, как девушки окружили Танхылыу, затеребили ее, пошел шум-гам, будто целый год не виделись и наконец встретились. Где уж тут недавние подковырки, подозрительные взгляды! Все забыто.

Едва освободившись от подруг, Танхылыу поспешила домой. Чуть не бегом забежала за занавеску, поснимала с себя праздничную одежду и уткнулась лицом в подушку. В эту бессонную ночь предстояло ей передумать думы, которых никогда прежде не думала, поплакать, над чем не плакала, жизнь свою по зернышку, черное к черному, белое к белому, перебрать. (Автор, правда, сомневается, нужно ли это, будет ли так уж переживать Танхылыу. Ведь она все по-своему сделала: прогуляла больше месяца и челябинских коров получила. Но друг-критик сказал, что без ночных раздумий нельзя. В каждой книге, если в ней есть конфликт и если этот конфликт разрешается, герой, не отрицательный — отрицательному хоть кол на голове теши,— а заблудшийся, должен всю ночь думать и маяться — если это мужчина, сигарету за сигаретой курить, если женщина, рыдать, меняя платки,— и утром встать другим человеком.)

...В хорошее время, в обеспеченной семье росла Танхылыу. Единственной, долгожданной дочкой была у отца с матерью, ни в чем отказа не знала, ни упрека, ни попрека легкого не слышала. А как мать оставила этот мир, все заботы о подрастающей девочке взяла на себя тетушка Ниса, племянницу как куклу наряжала, старалась каждое желание предупредить, мыслям и чувствам наставницей быть. О Фаткулле и говорить нечего, весь смысл жизни — Танхылыу, она для него свет в окошке.

Но это не значит, что выросла девочка ленивой бездельницей. Хоть и много ее баловали, но сидеть сложа руки Танхылыу не любила, с малых лет у матери помощницей была. Когда же без матери осталась, почти весь дом лег на ее хрупкие плечики. Родительские поблажки да потачки обычно к добру не ведут, они на самих детях

и вылезают боком. Вспомним хотя бы злоключения Самата, который чуть было не стал жертвой неуемной материнской доброты. Но тут все по-другому: уверенная в себе и смышленая, Танхылыу всюду старалась быть первой, училась хорошо, в общественных делах была самой активной. Правда, и упрямством, своеволием частенько изводила родителей, а учителей ставила в тупик. Скажем, вдруг сложная для педагогов ситуация возникнет, спор среди учеников вспыхнет или внезапные раздоры начнутся, то, если разобраться, один конец ниточки к Зульпикею выведет, другой — к Танхылыу. Уже с седьмого класса одноклассницы признали ее своим вожаком, а мальчишки прозвали комиссаром. И когда колхозное начальство начало уговаривать девушек идти на ферму, они все разом повернулись к Танхылыу: а ты что скажешь?

Начало своей работы на ферме Танхылыу вспоминает как сон, запутанный и увлекательный. Только она в белом халате подошла и стала перед коровами, поднялся шум, раздались аплодисменты. А через неделю корреспондент приехал, вопросы задавал: «Как получилось, что вы стали дояркой? Наверное, вы с детства мечтали стать дояркой?» Еще через неделю в район вызвали, на совещание молодых доярок. Там ее хвалили. Понимала Танхылыу, что нет еще у нее заслуг, чтобы вот так расхваливать, но все равно приятно. Слова-то какие — «звеньевая молодежного звена» и даже «молодая передовая доярка».

Полгода не проработала, выбрали ее в правление колхоза. Коров ей дали поудоистей, корма ей доставались посытней, подефицитней, надои росли. Девушки ее славе не завидовали. Танхылыу для славы создана, считали они, всегда, везде должна быть первой. Она их вожак, а когда вожак в славе, отблеск и на них падает. К тому же, придя на ферму, девушки тоже не прогадали. Круглый год при деле, значит, и заработок не прерывается. А кто их привел сюда? Танхылыу. Где бы они сейчас были, куда разъехались, если бы не она?

Да ведь не для себя одной старалась Танхылыу! Это она каждый день ходила в правление и, входя в кабинеты, в дверь не стучала, а стучала по столу. И добилась: бросили строительную бригаду на ферму, привели коровник в порядок, сделали новые кормушки, полы перестелили. Опираясь на расчеты Алтынгужина, приблизила рацион животных к положенному уровню. И комнату отдыха обставили, и стирку халатов, полотенец в район-

ном доме быта организовали, и доярок изредка в Каратау стали на концерты возить — все стараниями Танхылыу.

Нелады между девушками и Танхылыу начались весной, когда вышли на яйляу. У одной из доярок, у Зайтуны, тяжело заболела мать. Как в таких случаях заведено, за ее коровами и коровами уехавшей на совещание Танхылыу присмотрели подруги. Но на вечерней дойке оказалось, что коровы Танхылыу дали на литр молока меньше, чем обычно. Поднялся скандал! Каких только слов не услышала на следующий день бедная Зайтуна! И в работе она вялая, и безответственная, и славе подруги завидует — все вывалила Танхылыу на ее поникшую голову. Ни на случившуюся с ней беду, ни на слезы, ни на раскаяние без вины — ни на что не посмотрела.

И после этого Танхылыу несколько раз напраслиной обижала подруг. Недовольство, словно огонь под мхом, тлело и тлело, а когда начали делить челябинских коров — вспыхнуло и вырвалось пламенем...

Все от зазнайства ее, бьющего через край самолюбия. Но девчата надеялись, что это у нее пройдет. Даже когда она бросила работу, верили, что скоро Танхылыу поймет свою ошибку. Да, они верили, а Танхылыу на другое рассчитывала. «Ничего, придут, поклонятся, прощения просить будут!..» — растравливала она обиду. А у девушек своя гордость. Они тоже два года на месте не сидели. Это они поначалу, коровьего фырка испугавшись, бросят ведро и убегут поплакать. Если же полведра надоят, то еще полведра слезами наплачут. Нет, выросли девушки, выучились, в работе наловчились. Придет новенькая на ферму — уже сами ее учат. Вот о чем забыла Танхылыу.

И вот сейчас — лежит она, думает. Вспомнит что-нибудь из недавнего, зароется лицом поглубже в подушку и простонет тихонько. На ровесниц своих, с которыми росла, десять лет вместе училась, кричать! Как она могла? По какому праву? А вспомнит про Зайтуну, и лицо словно пламя лизнет. Приветливая, исполнительная, смешливая девушка, с губ улыбка не сходит, а сама — как серебряный бубенчик, все время поет. А как мать слегла, молчит, с лица спала, ходит, головы не поднимет.

А ведь говорили Танхылыу. И не раз говорили. И Диляфруз, и Алтынгужин при случае пытались урезонить. Исмагилов тоже иной раз при встрече рассказывал какую-нибудь историю. И оказывалось, что очередная его история в сути своей схожа с тем, что, скажем, позавчера

случилось с ней. Но Танхылыу это сходство и эти намеки старалась не замечать, очень уж они были не в ее пользу.

Кстати, и Кутлыбаев. Тоже случая не упустит, всегда готов капризный ее характер раскритиковать, спуску не даст. Впрочем... Тут отдельный разговор, двумя-тремя словами не отделаешься. Кутлыбаев по молодости в каждое дело страсти, быстроты прибавить хочет, но, как известно, у мира свой ход, свой лад. Без времени и лист с дерева не упадет. Действительно, все — и как трава прорастает, и спящее зерно просыпается, и яйцо под курицей в желтого цыпленка обращается, и солнце всходит и заходит,— все, все доказывает, что течение жизни, законы бытия основаны на движении неторопливом и степенном. Значит, и читатель не может требовать от автора, чтобы идущие своим ходом события он тянул вперед за полу или подталкивал в шею. Всему свое время. На дне терпения — чистое золото.

А Фаткулла? Разве не видел он, что дочка ведет себя, мягко говоря, не так? Или ему было все равно? Нет, и видел, и не все равно. Не раз говорил с ней, пытался вразумить дочку. Но здесь, как и в любой семье, если и возникал какой-то спор, то разрешался он в пользу молодого поколения. Только в одном старшее поколение стояло твердо, не уступало — когда дело касалось идейных позиций.

О долгой ожесточенной войне, которая шла между отцом и аулом из-за места для тополя, Танхылыу знала до мельчайших подробностей. Шла из-за этого и малая война дома. И уговаривала Танхылыу, и обижалась, и целыми днями пробовала не разговаривать, но Фаткулла стоял крепко, словно скала, стойко держал свои позиции. Вот тогда и пришло дочке на ум поставить в конце улицы новый дом.

Нрав Танхылыу известен. Задумала — пусть хоть сто человек наперекор встанут, сделает по-своему. Поехала в Каратау, договорилась с одним знакомым тетушки своей, который имеет отношение к строительству, и однажды ночью, словно осенний гром, прогремели вываленные из кузова лиственничные бревна... Последующее читателю уже известно.

Расчет у Танхылыу был простой. Поставит она большой новый дом, тогда и отец за старую избенку, которой уже полвека, и за баньку, которой уже все сто, цепляться не будет, передаст вместе с ней. Место для тополя на старом подворье освободится, и Шамилов

получит желаемое. Как-никак Танхылыу — дитя Куштиряка, слава аула и ей дорога. Но Фатхулла одно твердил: «От дедов-прадедов достался мне этот фундамент. Как же я брошу его? Не нравится старый дом — поставим новый, но только на этом же месте».

К тому времени уже и птица любви успела свить гнездо в сердце Танхылыу. Фатхулла узнал об этом, но, конечно, не от самой дочери. Новость, под большим секретом, после страшной клятвы, что ни словом, ни жестом, ни намеком он не выдаст никому, сообщила ему сестра его Ниса.

Хоть досадно было Фаткулле, что на старости лет останется один, но сердечным выбором дочери был доволен. «Хорошего отца сын, и не для себя, для людей старается,— думал он о парне.— И что на пять-шесть лет старше ее — тоже хорошо. Созрел уже, ума набрался. Не то что некоторые молодцы — от ворот к воротам шастать не будет. Вот такой жених, трезвый умом, с твердой рукой, и нужен Танхылыу». И отец с дочкой тайком друг от друга начали готовиться к свадьбе. А Ниса, будучи наперсницей и брата, и племянницы, обе нитки их желаний, их хлопот сматывала потихоньку в один клубок.

Наконец-то!

Вот и настал миг, когда автор сможет удовлетворить желание измаявшегося читателя. Не то у него, у автора, в ушах уже звенит от нетерпеливых вопросов: «Что за загадка? Кого же любит Танхылыу? Что за автор — ничего не знает! А если знает, чего же молчит? Язык проглотил?»

По совести говоря, поначалу автор действительно ничего не знал. Правда, чувствовать маленько чувствовал. Но чувства, догадки — источники ненадежные.

Выше автор уже говорил, что в своем повествовании он опирается лишь на твердые свидетельства и исторические документы, кладет их друг к другу плотно, как кирпич к кирпичу, чтобы для сомнений даже маленькой щели не осталось. Поиски и проверки привели его туда, куда и должны были привести,— к почтенной его односельчанке Нисе, которая и раньше несколько раз вступала на край паласа нашего повествования (как сказали бы, наверное, в старинных книгах), чем придала его узорам еще большую красоту.

Доказано, что исторический ли документ, чистосердечный ли рассказ Нисы — свидетельства одинаково на-

дежные. Каждое слово из ее правдивых уст вылетает уже скрепленное круглой печатью. Итак...

Итак, случилось это в прошлом году. Стояли теплые весенние дни. Прошу заметить: весенние. Самая пора, когда Зульпикей тешится. Потому и многие исключительной важности события начинаются весной. Например, любовь. Именно в эту пору она, как видно из множества литературных произведений, вспыхивает особенно ярко и жарко (готовая кафия для будущей поэмы Калканлы). Если же это беспокойное чувство, спутав сроки, посреди лета вдруг нагрянет или, что уже ни в какие ворота не лезет, осенью — ничего хорошего не жди. От такой любви, как говорится, ни радости, ни сладости. Такая любовь — все равно что козленок-этембей, то есть осеннего приплода,— выхаживай не выхаживай, а хорошего круторогого козла в полном достоинстве из него не вырастет. А нрав весны известен каждому. Самое шальное, самое соблазнительное время года. По погоде и душа, оттого и любовь, начавшаяся весной, так сказать, весеннего приплода, полна сил и страстей — словом, всяческих переживаний, сомнений, колебаний, ссор, примирений, разлук и свиданий. В общем, кипит, бурлит и пенится.

Да, был весенний день. Танхылыу и еще несколько молодых доярок пошли на ферму соседнего колхоза, посмотреть, поучиться, что есть хорошего, перенять. Завершив дела, девушки отправились домой, а Танхылыу, сказав им, чтобы шли, она их потом нагонит, осталась поговорить с зоотехником, который водил их по ферме и давал объяснения. По кое-каким вопросам она хотела расспросить подробней. Так что возвращаться ей пришлось одной.

Солнце уже прогрело землю, черно-белые поляны, пятнами очистившись от снега, парят на припеке. Будто какое-то чудесное зелье кипит во чреве земли и целебные пары расходятся в воздухе. И хорошо Танхылыу, и немного грустно. То летящей куда-то птице рукой помашет, то без причины улыбнется, то чему-то вздохнет. Но без следа, как облако, пройдет непонятная тревога, безымянная грусть, и снова радостно ей.

А почему бы и не радоваться? В руках сила есть, в сердце страсть. Работа ладится, начальство ее уважает, товарищи в глаза смотрят. Если и дальше так пойдет, то, может, и она такой же, как у Тани Журавлевой, славы добьется. Всего-то на четыре года старше Танхылыу, а

имя на всю республику известно, на груди орден сверкает. Как говорят Урманбаевы, а мы чем хуже?

Тот зоотехник оказался мужем Тани. Втроем пошли к ним домой. Вот он где, рай-то! Тепло, светло, блестящая мебель, люстры под потолком на солнце сверкают. Куда ни посмотри, какие-то незнакомые Танхылыу цветы растут. Но самое лучшее украшение дома — трехлетний сын. Только дверь хлопнула, выкатился, как мячик, сообщил: «А мы с бабушкой вам блины печем!» — и, нисколько не чуждаясь, взял Танхылыу за руку, повел из комнаты в комнату: игрушки показывать, книжки, котенка, бабушку.

За чаем, разумеется, разговор шел не столько о работе, сколько просто о житье-бытье. Дом этот, оказывается, поставил им совхоз. Рассрочка на десять лет, каждый месяц понемногу платят. Танхылыу двухэтажный пятикомнатный дом весь осмотрела, где что стоит, какая комната каким нуждам служит, все запомнила.

Задумалась Танхылыу, идет не спеша, Таню вспоминает, ее мужа, их советы. И смелые планы теснятся в голове. Действительно, возможностей у куштирякской фермы ничуть не меньше, чем у совхозной. Внимания только не хватает, и не по-научному как-то все. А ведь в звене Танхылыу уже сейчас надои больше двух тысяч литров. Если же кое-какие новшества, которые она увидела на совхозной ферме, ввести у себя и работать еще старательней, как Таня работает, можно и до трех тысяч поднять. Надо сегодня же после вечерней дойки пойти в правление и поговорить там. Нет, не согласна Танхылыу, как пожилые доярки у них на ферме, день ко дню, месяц к месяцу пристегивать, тем, что есть, быть довольной и так жить годами. Ей все сегодня нужно. Если работать — так уж работать! Если уж слава — так чтоб всех ослепила!

Но в такой день не то что восемнадцатилетняя девушка, но даже пожилой, умудренный годами и опытом человек мыслями об одной лишь работе мозги себе сушить не станет. Как мы уже говорили, весной Зульпикей особенно резвится. Это он, баламут и подстрекатель, в тихом омуте чертей в пляс пускает, людей, которые без него прошли бы мимо друг друга, парой сводит.

Только повеселевшая Танхылыу, что-то напевая про себя, вышла на каратаускую дорогу, как сзади послышался стук копыт. Верхом на коне ее нагнал Кутлыбаев.

Поравнявшись с ней, он поднял коня на дыбы и остановился.

— Здравствуй, красавица,— сказал он. Слез с коня и пошел рядом с Танхылыу.— Не устала? Говорил же, вот просохнет дорога, на машине поедете.

— Если на ваших скоростях жить...— недовольно сказала Танхылыу. Потом взглянула на него и вдруг от изумления даже рот приоткрыла. Председатель-то совсем молодой парень, оказывается! Впервые увидела. Был председатель как председатель, а тут... Да что же это такое? Будто вдруг глаза ей промыли!

— День-то какой... хороший!

Это умное замечание Кутлыбаев произнес с таким видом, будто сам до него додумался. Но можете не сомневаться, слова эти нашептал ему на ухо Зульпикей. Видно, приметил он, что председатель давно уже бросает взгляды на Танхылыу.

И девушка поспешила поддакнуть этой глубокой мысли:

— Такой ранней весны, как нынче, и не помню...

Слышали? Не помнит... А ведь всем известно, что прошлогодняя весна и раньше пришла, и теплей была. Во всяком случае, влюбленные, которые в прошлом году повстречались, так говорят.

— Ты, кажется, все одна ходить любишь? — помолчав, сказал Кутлыбаев. Дескать, нет слов, так, чтоб связать оборвавшуюся беседу, сойдут и эти.

— Как придется...

Вся ее бойкость, находчивость, где они? Никогда прежде не скупилась, на каждое слово пятью возвращала. Видно, от своего внезапного открытия в себя прийти не может. И Кутлыбаев идет, потупившись, словно виноватый, потом покашляет, прочистит горло, расправит плечи и снова молчит. А ведь перед самыми красноречивыми уважаемыми аксакалами не теряется, что думает — говорит прямо, без обиняков. А тут? Э-эх! Покраснел, словечка даже найти не может, уздечку в руках теребит и дергает, словно порвать ее хочет. Лучше бы за язык себя так дернул, ей-богу!

Заметив, что уже подходят к аулу, он вздохнул:

— Если слово скажу, Танхылыу, не рассердишься? (Уф, наконец-то!)

— Разве на слово сердятся? Вы — председатель. Председатель скажет — для нас закон. (Гляди-ка, и эта уже перышки расправила.)

Кутлыбаев вскочил в седло — слово-то, значит, отсюда удобней сказать. Нагнулся к Танхылыу и сказал охрипшим голосом:

— Эх, Танхылыу, люблю ведь я тебя! — огрел коня плеткой и поскакал в аул.

Так началась история любви Танхылыу и Арслана. Когда они нашли удобный случай и опять встретились наедине, девушка дала понять, что тоже неравнодушна, но поставила условие — ну, прямо в огонь парня сунула! — отношения их держать в глубокой тайне и, пока не придет время, чтобы ни одна душа не знала. В общем, Арслану дается право ждать и надеяться, а сама девушка — ветер степной, когда захочет, тогда и решит, а до тех пор перед парнем ответа не держит.

Горел-страдал Арслан, в редкие встречи наедине винил Танхылыу в равнодушии, о свадьбе пытался договориться. Но девушка или шуткой отделывалась, или двумя словами: «Рано еще». И без всяких объяснений. Вот такие непонятные, на радость Зульпикею, отношения сложились между ними.

Нет-нет, пусть не подумает читатель, что не было у влюбленных и светлых минут. Были. Под настроение Танхылыу с упоением (именно!) слушала планы будущей их жизни, которые разворачивал перед ней Арслан. И даже сама к этим мечтам новые узоры добавляла. Однажды даже на день, назначенный Арсланом для свадьбы, согласилась. И тогда совершенно неожиданно встало новое препятствие.

Танхылыу — дочь Куштиряка. Для нее пойти в Яктыкуль снохой и жить там — самая ужасная несправедливость, прямо сказать — измывательство над человеком. Так что условие такое: если Кутлыбаев сам переедет в Куштиряк — тогда пожалуйста, она согласна. А нет — так извините, бросать родной аул она пока еще не дура. Да она с места не сдвинется! Так что ответом ее был тот ночной гром — в конце нижней улицы ссыпали сруб.

По правде говоря, сам Кутлыбаев это требование не счел таким уж невыполнимым. Правление и сельсовет в Куштиряке, почта, гараж — тоже здесь. Только средняя школа в Яктыкуле. А председателю даже положено жить поближе к правлению. Но он жалел чувства матери, даже заговорить с ней о переезде не смог. Хорош ли, плох ли, но Яктыкуль — родное их гнездовье. И могила отца здесь.

А Танхылыу как уперлась, так и стоит на своем. Потом еще эта история с челябинскими коровами. Кутлыбаев пробовал уговаривать ее, так она отрезала: «Ты во всем виноват. Председатель — а сам даже коров оставить за мной не мог».

После этого парень с девушкой не встречались почти два месяца. Огонь их любви не погас, но кого он греет, кому от него радость? Где мечты, где надежды? Подобно перелетной стае, у которой в долгом пути устали крылья, спустились они с небес на землю.

Поначалу Танхылыу хотела уехать из аула, но не смогла. Несколько раз порывалась с Кутлыбаевым встретиться, но гордость дальше двери не пускала. Думала, что, может, товарищи придут, уговаривать будут, чтобы вернулась на ферму. Не пришли, не уговаривали, не кланялись.

А ведь Танхылыу, когда хлопнула за собой дверью, рассчитывала на это. Наступит вечер, затихнут улицы, она возьмет какое-нибудь рукоделие и сядет к окну. Вот сейчас заскрипят ворота, и, насупленные, пристыженные, войдут девушки...

Слышно, как молодежь идет в клуб, шум машин доносится с улицы, чей-то смех, разговоры, но все это — мимо, ворота молчат. Словно не посреди аула, а среди дремучих лесов, непролазных трясин стоит их дом. Так вечер проходил за вечером, а девушки не шли, разве только Диляфруз забегала порой.

Что же заставило ее вернуться на ферму?

Уговоры Диляфруз? Та ей прямо сказала, что никто к ней не придет и кланяться не будет.

Беседы с Исмагиловым? Ведь после разговора с ним Танхылыу, видя, что парторг расположен к ней, но поведения ее ни понять, ни принять не может, впервые по-настоящему задумалась. Увидела Танхылыу, что в Куштиряке жизнь и без нее своим ходом идет, а вот она без Куштиряка, видно, уже не проживет. И сегодняшнее ее, и будущее, и счастье ее, и судьба — здесь, на этой земле, в этом ауле.

Сыграл свою роль и разговор с Аюханом. Поэта она поначалу встретила с усмешкой: какая еще, дескать, поэма? Жизнь — это одно, литература — другое; если писать о доярке, то уж лучше — о Тане Журавлевой, а о Танхылыу только фельетон можно написать; наверное, «Хэнэк» уже по ней плачет. Но Аюхан повернул разговор

на свой лад, пусть она — свое, а он — свое, расспрашивал, о себе рассказывал и понемногу все ее секреты узнал. Удивительно, другому и четверти, и десятой доли не сказала бы, а с ним своими думами, мечтами поделилась. «Старайся, красавица,— сказал под конец разговора Аюхан.— Разве ты Журавлевой хуже?» После этих слов Танхылыу рада была бы побежать на ферму к своим коровам, с ними-то она не ссорилась, тосковала по ним, но гордость и упрямство удержали ее и на этот раз.

Может, любовь была причиной, что она вернулась на ферму? Может, и она. Хотя поначалу Танхылыу даже имени Кутлыбаева слышать не хотела. Как она полагала, председатель-то и виноват во всем. Не защитил ее, с достоинством передовой доярки не посчитался. Если бы Арс... Кутлыбаев не допустил, то и девушки ничего бы сделать не смогли.

В общем, ничего само собой не делается, ничего само собой не случается, на все нужны причины. И кроме всех перечисленных выше причин не забудем еще об одной. Это — Зульпикей. Вернее, то, что отвлекся он, замешкался где-то в стороне, а Танхылыу тем временем разобралась, что к чему, увидела свою вину и, может быть, даже ахнула. Потом-то Зульпикей спохватился, снова начал виться вокруг Танхылыу, подбивать ее на всякие новые выходки, и не всегда, кстати, без успеха, но это уже была, как говорят в Одессе, игра на чужом поле.

Теперь Танхылыу заносчивые свои манеры оставила, но встреч с Кутлыбаевым избегала по-прежнему. Хотя обида на него еще и не улеглась, она уже понимала, что во всей этой двухмесячной сумятице виновата сама. Значит, и прощения просить придется ей, а это — ну, никак не в ее натуре.

И в эту пору, когда ходила и прятала от любимого глаза, она вдруг застала Кутлыбаева в комнате отдыха спящим на диване. Девушки посмеялись, тихонько пофыркали и на цыпочках вышли. Танхылыу вернулась с порога. Она жадно оглядела его исхудавшее лицо, на глаза навернулись слезы, рука невольно потянулась погладить его по волосам. Но удержалась Танхылыу, подавила тоску. Написала на листке бумаги: «Засоня»,— положила перед ним и вышла. Вот почему в тот вечер Кутлыбаев пошел с фермы, подпрыгивая, как мальчишка. Он и по печатному понял, чья эта рука.

Шутит — значит, любит.

11

«А Гата? А Шамилов? Как же они? Совсем с круга, то есть с майдана, сошли? Больше ничего о них не будет?» — может спросить недовольный читатель. Справедливые слова, обоснованное недовольство. Потому автор снова возвращается к своим на время забытым героям.

Когда снег выпадает, деревьев не сажают — это знает каждый. Упустив время, Шамилов был вынужден вопрос с тополем отложить до весны. Но к делу не остыл, от замыслов своих не отказался. Дела у его шакирда идут на лад, решил он, можно дать себе немного отдыха. Заодно подумать и о других пунктах плана по сохранению памятников старины.

Как вы помните, пункт насчет лачуги с булыжным очагом и окном, затянутым пузырем, был безжалостно исковеркан. Крепко переживал тогда Шамилов. Но в конце августа он поехал в Каратау на учительскую конференцию и заодно посмотрел там спектакль, который ставил театр из Уфы. И снова в Шамилове вспыхнул азарт. В этом спектакле, заполнив всю сцену, раскинулся аул. Артисты, они на выдумку хитры, взяли и расставили игрушечные дома. Даже мечеть есть, совсем как настоящая. В домах огни зажигаются, дым из труб идет, ворота, двери, все как положено.

Шамилов принялся за работу. Все вечера напролет с пятью-шестью учениками проводит в школе. Один у него из жердочек срубы ставит, другой двери, оконные рамы стругает, третий печи выводит, четвертый плетни плетет, пятый два тополя из веток и бумаги делает. Сам Шамилов в дальнем углу класса на большом столе готовит место для аула, ландшафт возводит. По его расчетам, макет старого Куштиряка к весне будет готов.

И за всеми этими заботами Шамилов чуть не проморгал самое важное. Шумные, на весь аул, предсвадебные хлопоты Зарифа Проворного сбили его с толку. И Гата довольный ходит, на лице улыбка, даже «ых-хым» свое теперь говорит мягко: «Эх-хем». А если Танхылыу невеста Гаты, так и Шамилову беспокоиться не о чем. Пусть только весна настанет. Хочет Фаткулла Кудрявый не хочет, а навалятся дочка с зятем, никуда не денется, даст место для тополя.

Да, увлекся Шамилов, хотел хоть в игрушке, но увековечить старый аул и упустил из рук уздечку событий. Хорошо еще, у жены его Асылбике нюх оказался чуткий.

Если бы и она оплошала, остался бы учитель, извините, в дураках.

Дело было так. Однажды вечером, вернувшись из школы раньше обычного, Шамилов сел смотреть телевизор. Запыхавшаяся, вернулась откуда-то жена, поспешно скинула пальто и прошла к мужу. Села рядом и прильнула к нему. Зимний морозец и свет еле сдерживаемого торжества разрумянили лицо Асылбике. С таинственной улыбкой она ждала, когда Шамилов повернется к ней. По всему видно, новость принесла, такую новость, что еле удерживает, сейчас выплеснет.

Но Шамилов, не отрываясь от телевизора, приложил палец к губам, дескать, помолчи пока. Шла передача о новых обрядах. Интеллигентный человек, внимательный к новостям культуры и искусства, такого пропускать не должен.

В центре передачи, словно рубин в золотом кольце,— картины свадьбы. Через весь экран с шумом несутся украшенные разноцветными лентами, воздушными шарами машины, распахиваются широкие двери роскошного Дворца бракосочетаний. Брачующиеся молодые, пара за парой, встают перед толстой женщиной с двойным подбородком и сытым лицом. Женщина, уткнувшись в бумагу, держит пламенную речь.

Заслушавшись плавной красивой музыкой и горячими словами толстухи, Асылбике чуть не забыла, с чем прибежала.

— Послушай-ка, отец, может, и у нас такую свадьбу сыграть? — сказала она, обняв мужа за плечо.

— А почему не сыграть? Чем Куштиряк хуже их? — сказал Шамилов и с довольным видом ткнул пальцем в телевизор.— Возьмем и сыграем вот так же свадьбу Гаты и Танхылыу. На зависть всей округе!

Асылбике отскользнула от мужа и презрительно посмотрела на него.

— Гаты? — усмехнулась она язвительно.— Чья это баба принесла, что Гата на Танхылыу женится? Пусть держит карман пошире.

— Глупая,— сказал Шамилов безмятежно.— «Чья баба»... Весь аул об этом говорит. Гата сам говорит.

— Может, и Танхылыу говорит?

— Какая разница? Заяц пойман — освежеван,— рассердился учитель, еще раз доказав, что и ему, как и другу-критику, образные выражения не чужды.

Но лишь это и доказал, ничего больше.

По телевизору началась другая передача. Шамилов встал, сладко зевнул и собрался идти спать. Но вдруг повернулся и схватил Асылбике за локоть.

— Выкладывай! Все как есть! — сказал он, почуяв, что есть у жены какая-то новость, которая не дает ей покоя.

Но жена, видно, уже успела обидеться — решила поднять цену своему секрету. Молча прошла в соседнюю комнату, переоделась, вышла, начала прибираться и только после уговоров Шамилова сказала, посмеиваясь:

— Танхылыу потешается, а вы с Гатой поверили, ротозеи! Пока вы тут ночь напролет из пустого в порожнее переливали, птица-то любви на чужие ворота села.

— Ых-хым,— повторил учитель любимое выражение ученика,— а на чьи верота? Ты думай, что болт... Зная говоришь или сплетни притащила?

— Сплетни! Еще неизвестно, кто их больше таскает,— снова было обиделась Асылбике, но тут же успокоилась, как-никак предстояло приятное дело: не разлив, не расплескав, подробно рассказать о том, чему была свидетельницей.

...Вчера она ходила в Яктыкуль. Дела сделала, в гостях посидела, припозднилась, домой вышла уже в самую ночь.

Асылбике — куштирякская женщина. Подойдя к аулу, она сошла с санной дороги и завернула на тропку, идущую через урему напрямик,— срезала угол. Вдруг за кустами послышался чей-то приглушенный голос. Асылбике перепугалась. Разве добрый человек будет в такую темь, в такой глуши в кустах прятаться?

В жару и в ознобе, спотыкаясь, понеслась она обратно. Но вдруг встала как вкопанная, постояла минутку и крадучись пошла на голос. Хвала тебе, Асылбике! Еще раз доказала, что из всех чувств самую большую власть над женщиной имеет любопытство. И не только в Куштиряке.

Она подошла поближе. Среди мелколесья стояли двое на лыжах, но кто, не узнать. Асылбике присела под куст и прислушалась. Разговор доносился обрывками, так что и по голосу не поймешь.

«...Думала, рукой уже махнул...» — это женский голос. «Эх, глупая...» — сказал мужчина. Дальше Асылбике не разобрала, эти двое перешли на шепот. Тень поменьше нырнула в объятия большей, и — чмок, чмок, чмок, чмок — Асылбике насчитала четыре поцелуя. Потом

меньшая махнула лыжной палкой, крикнула: «Завтра к Разбойничьей выйду! Пока!..» — и прошла мимо куста, под которым притаилась Асылбике.

Это была Танхылыу. Асылбике, вся в поту от волнения, стала вглядываться в другого лыжника. Но тот словно язык проглотил. Постоял молча, раззява, и, что-то напевая под нос, повернул в сторону Яктыкуля.

Поначалу он шел не спеша, плавным шагом, только иной раз оттолкнется палками и проедет немного. Асылбике, стараясь не скрипеть валенками, втянув голову в плечи, семенила шагах в тридцати сзади. Ничего, что обратно в Яктыкуль идет, ради того, чтобы узнать парня, с которым Танхылыу на прогулку вышла, она готова всю ночь меж Яктыкулем и Куштиряком, как челнок, бегать. Секрет, от которого весь аул всколыхнется, вот-вот будет в ее руках — тут уж не до усталости.

Вдруг лыжник, словно проснувшись, взмахнул палками, бросился вперед и с каждым рывком стал уходить все дальше и дальше. И Асылбике прибавила шагу, потом понеслась рысцой. Только разве за долговязым лыжником угонишься! Просвистели лыжи, и он исчез, попробуй разгляди тень во тьме.

Наверное, в эту минуту Асылбике пожалела, что не крылатой птицей родилась она на свет, а может, и мотолет Карама вспомнила. Подхватив полы пальто, она неслась по зимней укатанной дороге, тупая дробь сыпалась из-под валенок. Все! Перехватило дыхание, встала, схватилась за грудь, не в силах отдышаться, и села посреди дороги. Из глаз брызнули слезы. Поплакала, полегчало. Обессилевшая, притащилась домой.

Но не из тех женщин Асылбике, что задуманное на полдороге бросают. Словно азартный охотник, она весь день следила за домом Фаткуллы Кудрявого, Танхылыу все сторожила. В сумерки, побросав домашние дела, она прокралась за гумно и поспешила на Разбойничью гору.

Лунный свет как вода разлился. Тихо. Сыплет мелкий снежок. Притаившись под стогом, Асылбике залюбовалась красотой вечера и чуть не забыла, зачем пришла сюда. Даже в дрему немножко отплыла. Она-то задремала, да не дремлет Зульпикей. Вдруг, прорезав ее сон, заскрипели лыжи, и два путника подъехали к стогу.

— На гору полезем?

Так, это Танхылыу.

— Давай,— ответил мужской голос. И ни слова больше.

Асылбике, отодвинув шаль, выставила ухо. «Тьфу, молчун. Скажи еще, чего ты язык-то свой так бережешь!» Уйдут они, ничего больше не сказав, и останется тетушка Асылбике, как вчера, по-русски говоря, *с носом*. Нет уж, сегодня она такой разиней не будет. В случае чего прибегнет к крайнему средству: выйдет из своего убежища, встанет перед ними и топнет пяткой. Вот тогда они и впрямь языка лишатся.

Те двое действительно, тихо смеясь, пошли вверх по склону. Уф! Укатится заветный клубочек, прямо из рук ускользнет, а ведь в пальцах уже держала! Хоть как, а надо остановить лыжников! Иначе и сегодня вернется домой с пустыми руками.

Стой, а что это? Черное на белом снегу. Зоркая наша тетушка метнулась, словно щука, хватающая плотву, цапнула то черное и снова нырнула под стог. Выставив на свет, она рассмотрела ее. Кожаная варежка. Вот ведь как ловко вышло! Вскочит она сейчас и с криком: «На свою варежку!» — бросится следом.

Она уже начала выбираться из соломы, как вдруг один из лыжников, тот, незнакомый, повернул обратно.

— Что случилось? Или горы испугался? — рассмеялась Танхылыу.

— Варежку обронил,— ответил ее спутник, подходя к стогу.

Вовремя же Асылбике зажала себе рот! А то бы вскрикнула! Что именно? В таких случаях куштирякские кумушки кричат «Астагафирулла!», или «Здорово живешь!», или, на худой конец, «А-ха-а!», чем выражают свое изумление, недоумение, торжество. Асылбике была готова издать все три возгласа разом. Торжество ее было полным: потерявший варежку разиня был не кто иной, как председатель колхоза Култыбаев Арслан!

Сунув варежку за пазуху, она забилась в стог, выдавать себя не имело смысла. Нет, теперь-то она своей находки из рук не выпустит. Что ни говори, вещественное доказательство. Ничего, не холодно, рука у председателя и без варежки не замерзнет. А замерзнет, так Танхылыу отогреет.

Потоптался Кутлыбаев, осмотрел место, где они только что стояли, пробормотал:

— А ну ее! И так не замерзну,— и пошел следом за Танхылыу.

Когда две фигурки пропали из глаз, Асылбике засмеялась радостно и с видом Клеопатры, которой удалось

очередное ее коварство, с высоко поднятой головой зашагала к аулу. Всю дорогу сопровождала ее плутоватая песня Зульпикея:

Кто забрасывает удочку умело, тот всегда
и в снегу поймает рыбку — не нужна ему вода.
Тот, кто сам искать умеет, обязательно найдет,
все, что хочет, из-под носа у растяпы унесет.

...И перед Шамиловым, который, затаив дыхание, не зная, верить или не верить, слушал рассказ жены, шлепнулась кожаная варежка. Жена ожидала, что теперь-то они обстоятельно поговорят обо всем, всласть обсудят, начнут строить всякие предположения и догадки, но муж минут на двадцать лишился языка. Наконец он словно бы очнулся и сказал: «Да-а...», еще минут через десять сказал: «Не-ет...» — и начал быстро одеваться.

— Ты куда это, на ночь глядя? — встревожилась жена.

Он же ответил ей спокойно, твердо и даже немного торжествующе:

— Покуда ни звука! — сунул варежку в карман и вышел.

Сначала он пошел к Гате, но оказалось, что Гата по какому-то делу уехал в город. Открывать тайну Зарифу Проворному Шамилов не собирался. «Бегай, готовься к свадьбе»,— усмехнулся он про себя. Учитель направился к Фаткулле Кудрявому. Но возле самых ворот остановился, задумался. Потом хлопнул себя председательской варежкой по бедру и пошел домой.

Утром он спозаранок пришел в правление, оттер Юламана Наша-давит, пришедшего пригласить председателя на свадьбу, в сторону и, войдя в кабинет, захлопнул перед его носом дверь. Юламан до того растерялся, что не ринулся следом, чтобы сказать нахалу пару слов, а, потоптавшись, приник ухом к двери. Услышал он немного. Разговор, хоть и бурный, шел, кажется, шепотом. Только отдельные слова разобрал Юламан: «Тополь... давить... как председатель не могу... как зять можешь... это шантаж...»

* * *

Подробно о том, как прошел разговор Шамилова с Кутлыбаевым, автор узнал лишь через несколько месяцев. Уже в городе он получил письмо от Шамилова. Но его сообщение опоздало и на ход повествования оказать

влияния уже не могло. Письмо пришло в тот день, когда в «Куштиряке» была поставлена последняя точка, вернее, многоточие («это шантаж...»).

Теперь уже иные заботы навалились на автора. С рукописью под мышкой он поспешил к своему другу-критику.

Надо сказать, что критик никакого снисхождения, хотя бы по старой дружбе, автору не оказал. Говорил с ним как с начинающим, назидательно и свысока. Правда, мучил недолго, минуты четыре. Потом сунул рукопись в ящик стола, пугнул напоследок такими башкирскими диалектизмами, как *сюжет, коллизия, конфликт,* и посмотрел на часы. Дал понять, что разговор окончен. Автор послушно шмыгнул в дверь.

За два дня, пока критик читал его произведение, автор постарел на два месяца. Измаявшийся, исстрадавшийся, сидел он, обхватив голову руками, и гадал, что же ему предстоит услышать, как раздался стук в дверь. Это был наш друг-критик.

Автор засуетился, забегал, принялся накрывать небольшое застолье. Известное дело: всякий, кто держит карандаш, в лепешку разбиться готов, лишь бы услышать о своем произведении теплое слово. Потому и автор, еще до того, как засесть за «Куштиряк», купил знатный чужой напиток по названию «Наполеон».

Но гость лишь мельком глянул на стоявшее перед ним угощение и прямо перешел к разбору, принялся трепать несчастный роман вдоль и поперек.

Но это было вступлением, дальнейшее обсуждение пошло в виде диалога. Автор решил привести небольшой кусок из этой беседы.

Предупреждаем заранее: наш друг-критик любит говорить кратко, часто пользуется образными выражениями. От других же требует пространности и обстоятельности. Требование это переносит и на литературу.

— Мало написал. Лошадь есть, а сбруя не подогнана,— сказал он, взвесив на ладони рукопись.

— Так ведь... Много писать, слов не напасешься,— пробормотал автор, уткнув взгляд в край стола.— И так чуть не десять листов...

Критик. Ты почаще романы Нугушева читай. Вот пишет так пишет! Последний роман — тысяча страниц!

Автор. Не знаю, как написать, а вот прочитать такое — ай-хай!

Критик. Книги читать — не орехи щелкать. Труд это.

Тяжелый труд. Терпение нужно. Ты мне, друг, вот что скажи: почему свадьбу Танхылыу с Кутлыбаевым не показал?

Автор. Да как сказать... Вроде и так ясно.

Критик. Тебе ясно. А читателю? Он любит, чтобы такое подробно, со вкусом было описано. Он хочет тулуп не только раскроенным, но и сшитым увидеть.

Автор. В следующем своем произведении...

Критик. Дающему и пять много, берущему и шесть мало. Читателя надо уважать.

Автор. Так я потому и...

Критик. Вас понял. Значит, писатель, которого мы только что помянули, нас, читателей, не уважает, а ты уважаешь? Странно, странно... А тополь? Посадили тополь? Тоже утаил. Кто победил? Шамилов? Фаткулла Кудрявый?

Автор. Так ведь... Разве это важно? Разве в тополе дело?

Критик. А не в тополе, так зачем плетень плести, огород городить?

Автор. Я думаю, посадят. Зима же сейчас. Дерево только по весне сажают или по осени.

Критик. Это хорошо. Пусть посадят. Без тополя — какой же это Куштиряк. Еще вопрос. Гата Матрос? Что собирается делать?

Автор. Он на Диляфруз женится.

Критик. Слишком просто. Пусть он от стыда и обиды обратно в Одессу уедет.

Автор. Нет уж, друг, не может он из Куштиряка уехать. Разве силу куштирякского притяжения ты не почувствовал?

Критик. Не в Одессу — так на БАМ. В любом классическом произведении герой куда-нибудь уезжает. Как правило. Впрочем, твой «Куштиряк» в число таковых не входит.

Автор. Ых-хым!.. Ты угощайся.

Критик. ...Хорошая вещь, легко пьется, сразу Париж вспомнил. Вот город так город!

Автор. Когда ездил?

Критик. Давно собираюсь, но все не по пути... Кстати, тот автор, который роман в тысячу страниц написал, угощал этим... «Мартель» называется. Райский напиток. Нектар. Ладно, это к данной теме не относится, к слову пришлось. Как говорят французы, *между прочим.* Если

смотреть в корень проблемы, «Куштиряк» — историческое произведение. Афарин! Однако...

Однако автор раздел речи своего друга-критика, который можно было бы назвать «Но и Однако», рискнул опустить. Но, памятуя некоторые его замечания, решил упомянутое письмо товарища Шамилова привести здесь полностью.

Вот оно (с разрешения автора письма):

«Здравствуй, дорогой товарищ автор и земляк!

В первых строках своего письма от имени своей семьи и от себя лично, а также от всего Куштиряка, от мала до велика, шлю тебе множество горячих приветов. От Гаты и Диляфруз, от Танхылыу и Кутлыбаева, от всех родственников и свойственников каждой из четырех сторон, от товарища Исмагилова, от Алтынгужина, от Фатхутдина Фатхутдиновича, от Сыртлановых Наша-давит, от их сына с невесткой также отдельные приветы. Горячий привет и от Карама Журавля (сейчас он снова своим мотолетом занят).

Прежде чем перейти к общественным новостям, вот что скажу: очень ты не вовремя уехал. Мало что на одной — сразу бы на двух свадьбах гулял. Гата, как тебе известно, самый близкий мой ученик. Поначалу он очень переживал. Но есть я! Сели мы с ним как-то, поговорили по душам. Жизнь я понимаю, что к чему, разбираюсь, и взлеты знал, и падения, всего — и хорошего, и дурного повидал. Если не меня, то кого послушает Гата? Его свадьбу с Диляфруз я организовал сам. Все сделал как по телевизору. Вместо «Волги», правда, «Жигули» были, но зато сверх городского три лихие тройки пустили. Свадьба Самата с Галимой тоже неплохо прошла. Разве что Юламан Наша-давит на пьяную голову, когда молодых расписываться привез, своим «Москвичом» сельсоветское крыльцо боднул, а так другого ущерба или шума не было. Впрочем... не хотелось бы о невеселом писать, но ты свой человек, должен все знать. От свадебных хлопот, а того больше — от многолетних без сна и отдыха хозяйственных трудов и забот Бибисара надорвалась и слегла, сейчас в каратауской больнице. Еще и плачет: «Пропадет, прахом пойдет! Скотина, хозяйство, дом!» Бестолковая! Тут о голове надо думать, а она о скотине.

А Кутлыбаеву я крепко хвост прищемил. Пришел к нему утром в правление и шлепнул варежку на стол.

«Ну что, говорю, я со своей стороны все разведал. Сейчас пойду по аулу — подмигивать да поддразнивать». Он покраснел, заюлил, забормотал: «...Любовь, издревле так заведено, весной поженимся, обещал в тайне держать, не губи, агай, ты же характер Танхылыу знаешь...» — «Тогда,— говорю,— давай решать с Фаткуллой Кудрявым. Ты председатель, у тебя в руках власть, пусть даст место под тополь».— «Не могу я как председатель давить на него!» — «Как председатель не можешь, как зять можешь».— «Я еще не зять!» — «Будешь зять».— «Это,— говорит,— шантаж! Ты нашу любовь для своих целей использовать хочешь!» — «Не для своих, а для общественных». Наконец он сдался: «Ладно,— говорит,— после свадьбы надавлю на тестя». Слово дал как председатель и как зять. Отдал я ему тогда варежку, он ее сразу в стол запер.

Теперь я каждый день по проулку Фаткуллы Кудрявого хожу. Пусть старый лис укрепляет свою баню, пусть напоследок с ума посходит. Все они теперь у меня в кулаке. А Танхылыу еще раньше мне свою поддержку обещала.

Только на ферме все еще мира нет. Танхылыу заставляет колхозное начальство разве что не плясать. Хотели ее заведующей поставить, да где уж тут! Во-первых, сама не согласилась, говорит: «Сначала до трех тысяч надои подниму, тогда посмотрим». Во-вторых, в правлении теперь и сами побаиваются столько власти ей давать, при ее-то характере. Но, как подумаю я, что Култыбаева впереди ждет, даже жалко его становится, ей-богу!

Боюсь, как бы года через два от такой заведующей фермой (если, конечно, поставят) и такой жены (если, конечно, сыграют свадьбу) не сбежал наш председатель и зять куда-нибудь на БАМ. (Тут автор вздрогнул: интересный намечается поворот сюжета!)

Да, есть еще у меня к тебе предложение. Работает на ферме доярка по имени Зайтуна, хорошая скромная девушка. Вроде тихая, неприметная была, а такая ловкая стала да такая умелая — теперь на равных с Танхылыу соревнуется. И есть еще парень, уже после твоего отъезда из армии вернулся. Зовут его Апуш (то есть Абдулла). У них, у Зайтуны с Апушем, уже, как говорится, каша варится. Только каша больно горячая, кажется, часто дуть и размешивать приходится — то есть один день парень с девушкой дружные ходят, на дру-

гой — рассорятся из-за пустяка. Влияние той самой диалектики. А ведь это, сказал я себе на днях, хороший жизненный материал нашему автору. Для его нового произведения. Подумай над этим всерьез и обстоятельно. А не то приедет какой-нибудь заезжий поэт, вроде Калканлы или Аюхана, и пустит такой хороший материал себе на поэму. Кстати, как там они, написали поэму? Решайся. А я для такого случая согласен помочь тебе, то есть быть соавтором.

С дополнительным приветом,
Шамилов».

Прочитал это письмо автор и, словно аргамак, заслышавший шум скачек, потерял покой. Верно говорит Шамилов. Не такой аул Куштиряк, чтобы летописцу обычаев, традиций и народной этики — то есть писателю — дать пожить мирно и спокойно. Бери и пиши! Если уж столп науки, страж просвещения готов, покрепче перетянув пояс, взяться за карандаш или, как говорит мой друг-критик, *стило*, как же от такой помощи откажешься?

Трех месяцев не прошло, как автор оставил свой аул и вернулся в город, но уже снова его душа потянулась туда, в Куштиряк, на берега Кавказа, к гордым и задорным своим землякам. И плутовская песня Зульпикея все никак не смолкает в ушах: «Кто забрасывает удочку умело, тот всегда и в снегу поймает рыбку — не нужна ему вода...»

И потому автор, заканчивая свое произведение, не говорит: «Прощай, Куштиряк!» Наоборот, раскрыв объятия, с надеждой на новую встречу он восклицает: «Здравствуй, Куштиряк! Здравствуй, родное гнездовье! Здравствуй... ых-хым... Зульпикей!»

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание
Библиотека «Дружбы народов» в 15 книгах
Приложение к журналу «Дружба народов»

Ахияр Хасанович ХАКИМОВ
ПЛАЧ ДОМБРЫ

Оформление «Библиотеки» **Г. Метченко**
Редактор **Е. Панфилова**
Художественный редактор **И. Суслов**
Технический редактор **Е. Медведева**
Корректор **Н. Гринева**

●

ИБ № 1713

Сдано в набор 10.09.90. Подписано в печать 21.01.91. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 34,38. Тираж 180 000 экз. Заказ 7452. Цена 4 р. 60 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени тип. изд. «Звезда», 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

ИНДЕКС 70251 (книга 14)

Хакимов А. Х.

Х 16 Плач домбры: Романы. Повесть. Пер. с башк.— М.: Известия, 1991.— 608 с., ил.

ISBN 5—206—00213—5

В книгу войдут три произведения писателя, разные по стилистике и материалу. «Плач домбры» — это исторический роман, в котором повествуется о жизни и судьбе башкирского поэта, музыканта и воина Хабрала. Это конец XIV века, время распада Золотой Орды. Роман «Куштиряк» — сатирическое произведение о жизни современного башкирского села, это как бы пародия на производственную деревенскую прозу с ее конфликтами хорошего с отличным, с заорганизованностью, с созданием так называемых маяков. И, наконец, повесть «Свадьба» — рассказ о трагической судьбе башкирской женщины. Время действия — Великая Отечественная война. Место действия — глубокий тыл, башкирская деревня.

Х $\frac{4702110600—018}{074(02)—91}$ 97—91

ББК 84Баш7

В 1991 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Й. Авижюс. Потерянный кров. Роман. Книга 3. Книга 4. Перевод с литовского.

М. Алданов. Истоки. Роман в двух томах.

С. Алексеев. Рассказы из русской истории.

Т. Ахтанов. Свет очага. Роман. Перевод с казахского.

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Театральный роман. Собачье сердце. Романы.

А. Гогуа. Елана. Повести. Рассказы. Перевод с абхазского.

В. Астафьев. Зрячий посох. Роман. Повести.

В. Некрасов. Маленькая печальная повесть. Повести. Рассказы.

Ю. Тынянов. Восковая персона. Кюхля. Повести.

М. Унт. Повести. Рассказы. Перевод с эстонского.

М. Хвылевой. Синий ноябрь. Повесть. Рассказы. Перевод с украинского.

А. Хакимов. Плач домбры. Романы. Повесть. Перевод с башкирского.

Р. Эзера. Невидимый огонь. Роман. Повесть. Перевод с латышского.

В 1991 году издается
5 книг розничной серии
приложений к журналу
«ДРУЖБА НАРОДОВ»:

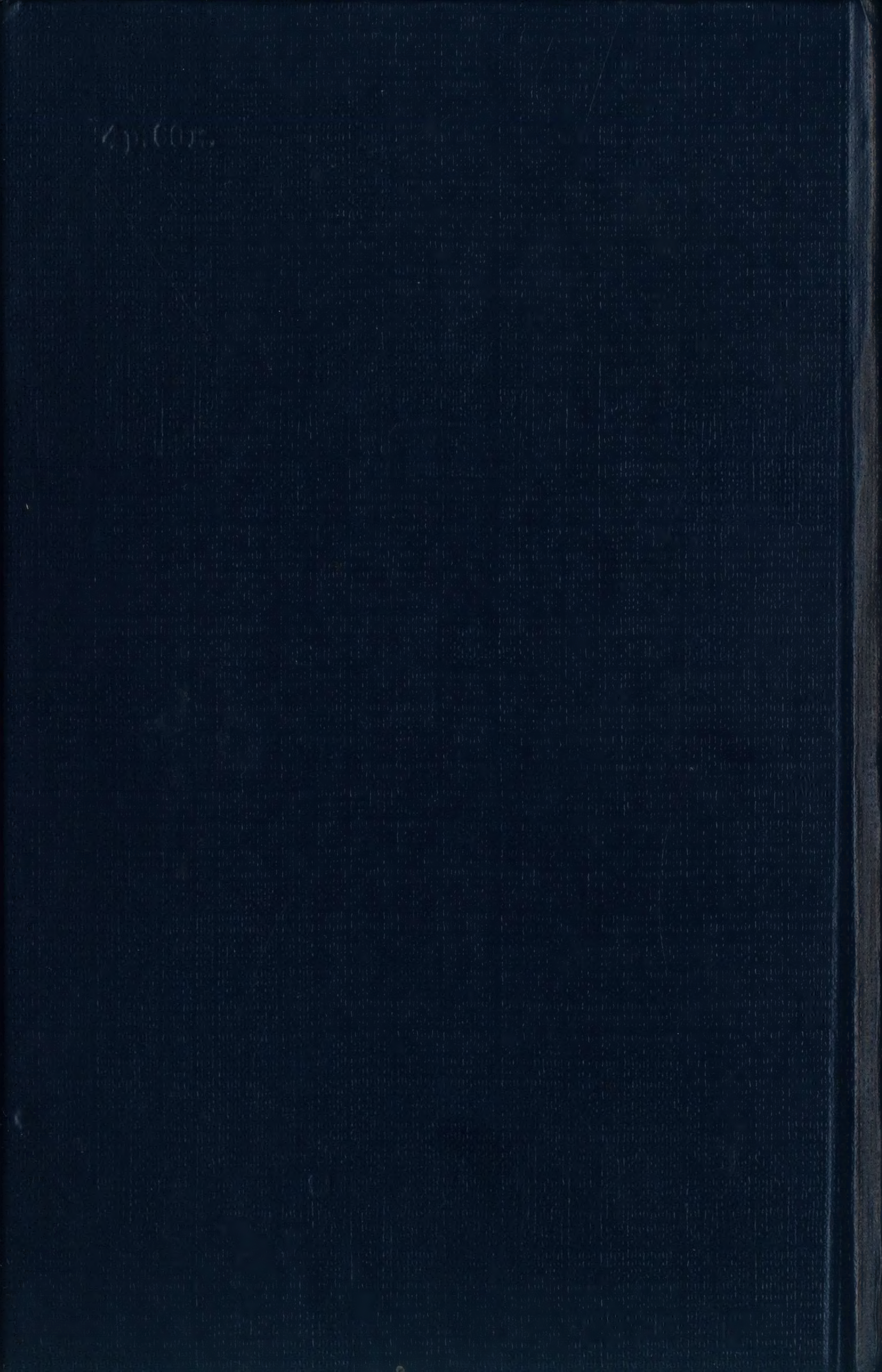
С. Алексиевич. Цинковые мальчики.

С. Каледин. Стройбат. Смиренное кладбище.

А. Львов. Бизнесмен из Одессы.

В. Лихоносов. Время зажигать светильники.

М. Зощенко. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца.



А.ХАКИМОВ
Плач домбры